ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Столетие
1859—1959
со дня рождения



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в шести томах

Редакционная коллегия:
М. С. БЕЛЕНЬКИЙ, С. З. ГАЛКИН, Вс. В. ИВАНОВ, Н. Г. ЛУРЬЕ, Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Романы:

«СТЕМПЕНЮ»
«ИОСЕЛЕ-СОЛОВЕЙ»

Повести:

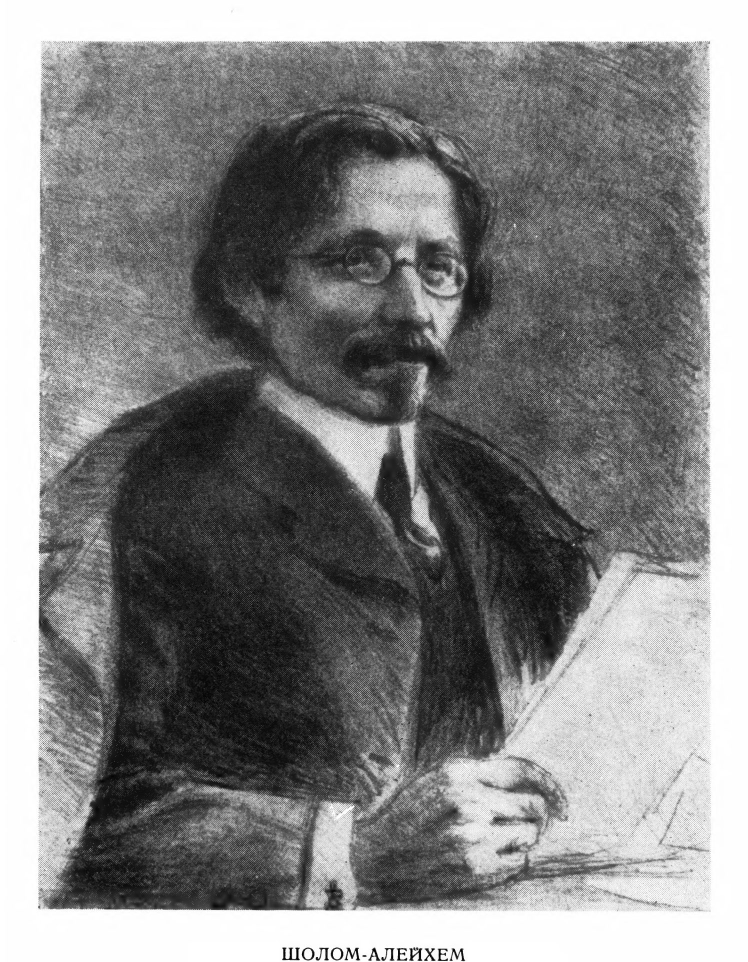
«МЕНАХЕМ-МЕНДЛ»
«ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК»

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Перевод с еврейского

Критико-биографический очерк
Р. РУБИНОЙ

Оформление художника
Г. А. КРАВЦОВА



ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

С автолитографии художника
М. Горшмана

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Критико-биографический очерк

1

Шолом-Алейхем — это еврейское приветствие, которым обмениваются при встрече простые люди. В переводе на русский язык оно означает «Мир вам». Такой псевдоним выбрал себе писатель, который писал о народе и для народа.

Еще совсем молодым человеком Шолом-Алейхем (настоящее имя его Шолом Рабинович), следуя, так же как его старший собрат по перу Менделе Мойхер-Сфорим, традициям русской реалистической литературы, писал:

«Народный писатель, художник, поэт, настоящий поэт, является для своего времени, для своей эпохи зеркалом, в котором отражаются и сверкают лучи жизни, точно так же, как в чистом ручье — лучи светлого солнца.

Поэтому я утверждаю, что не может быть такого жизненно важного события, радости или горя народного, которые бы не затронули писателя, и по-настоящему затронули, до мозга костей» («Суд над Шомером»).

В произведениях Шолом-Алейхема всегда пульсирует жизнь; его образы ярки, зримы. Они отличаются огромной силой обобщения, доходящей порой до символа.

Шолом-Алейхем — очень сложный писатель. Реалист с острым насмешливым глазом, тонкий наблюдатель, жадно впитывающий в себя впечатления, необыкновенно чуткий к общественным

явлениям, неутомимо изучающий людей, он вместе с тем мечтатель с необузданным воображением. Некоторые его произведения, как «Менахем-Мендл», «Семьдесят пять тысяч», «Заколдованный портной», находятся на грани фантастики, а «Рассказы для детей», «Тевье-молочник», «Великий переполох среди маленьких людей», «Песнь песней» и многие страницы повести «С ярмарки» — это подлинная поэзия, бьющая из чистейшего источника.

Творчество Шолом-Алейхема охватывает период от 70—80-х годов прошлого века почти до середины 1916 года. В ярких образах писатель показал, как отразился на жизни еврейского населения процесс крушения средневеково-феодальных устоев в России; он показал смятение патриархального местечка перед новыми, не понятными ему общественными явлениями, которые подчас оборачивались для него новыми бедами.

В произведениях Шолом-Алейхема нашла свое отражение трагедия еврейских народных масс, скученных в нескольких губерниях бывшей Российской империи, в так называемой «черте оседлости». Они были лишены права селиться в крупных промышленных центрах и сельских местностях. Этим-то народным массам, обреченным царским правительством на нищенское существование, писатель и дал высказаться.

Персонажи Шолом-Алейхема сами рассказывают о себе. Они простодушные люди, без хитростей, у них «что на уме, то и на языке». «Не знаю, знаете ли вы меня, или нет. Я — Ента, Ента Куролапа», — с трогательной наивностью рекомендует себя смешная говорунья, своей болтливостью доводящая слушателя до обморока («Горшок»). И когда мы читаем рассказ о горшке, мы от души смеемся и в то же время не можем отдать себе отчета в том, как же случилось, что нам сжало горло и мы уронили слезу на страницы комичной истории.

Ведь рассказ о горшке — это, в сущности, рассказ о вымирании целой семьи от туберкулеза, а смешная говорунья — самоотверженнейшая из матерей.

Персонажи Шолом-Алейхема ведут упорную борьбу за существование и не перестают мечтать о лучшей жизни. А если им пока плохо, они находят утешение в остром словечке, в шутке. Смех служит «веселым беднякам» самозащитой.

Монолог в том виде, как его создал Шолом-Алейхем, то есть доверительный рассказ от первого лица, как нельзя лучше служил излиянию души «веселого бедняка». Однако автор вовсе не пользовался этой формой в целях всепрощения. Поставив перед лицом

мира свой персонаж таким, каков он есть, во всей его наготе, Шолом-Алейхем нисколько не приукрашивал эту наготу. Он не закрывал глаза на пороки, порожденные нищетой, невежеством, социальным и национальным гнетом. И подобно тому, как рецензент «Вестника Европы» в свое время обвинил Салтыкова-Щедрина в «глумлении» над народом, такого же типа рецензенты обвиняли в том же грехе Шолом-Алейхема, ибо тупоголовым обывателям и шовинистам, какой бы они ни были национальности, не понять благородной очистительной роли сатиры и юмора.

Именно любовь к народу вдохновляла Шолом-Алейхема на беспощадное высмеивание ограниченности умственного кругозора, неприспособленности к жизни, вредных иллюзий. Его смех не унижал народ; в самых смешных, нелепых, отсталых людях писатель находил светлый образ человека.

В смешных, нелепых, но не в подлых. А подлыми в глазах Шолом-Алейхема были всякие ловкие предприниматели, ростовщики, новоиспеченные богачи. Для их изображения писатель остается верен своей излюбленной форме монолога, но здесь монолог выполняет разоблачительную функцию.

«Человек из Буэнос-Айреса», торгующий живым товаром, и герой рассказа «Нельзя быть добрым», возмущающийся «неблагодарностью» ограбленных им сирот, тоже изливают душу, они раздеваются перед читателем догола. И не прекрасное тело народа, иногда изувеченное внешними условиями его бытия, предстает перед читателем, а воинствующее, самовлюбленное уродство. Писатель как бы ставит под луч прожектора как самого рассказчика, так и людей и события, которые он освещает. О казненном революционере Иосифе в одноименном рассказе повествует самодовольный пошляк-коммерсант. Чем больше этот коммерсант выставляет напоказ свои мнимые достоинства, тем непривлекательнее он становится, и чем меньше он проявляет понимания и сочувствия к великому делу революционеров, с которыми его столкнуло увлечение девушкой из их среды, тем больше вырастает в глазах читателя их благородство и общественный подвиг.

2

«Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего поса-

дить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира...»[1]

Интерес к «низкой» действительности, к обыденному существованию маленьких людей с их большими горестями и маленькими радостями ознаменовал собой новое, демократическое, гуманное направление в русской литературе девятнадцатого века, и это направление оказало большое влияние на творчество Шолом-Алейхема. Гением Гоголя он восхищался с юных лет и уже знаменитым писателем долгие годы хранил в особом конверте свой свободный перевод следующего места из «Мертвых душ»:

«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!»[2]

«Видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» — вариант этой мысли Шолом-Алейхем задолго до смерти наметил для эпитафии на своем будущем надгробье. Ему была кровно близка боль за человека, который, честно трудясь всю жизнь, мечтает о новой шинели как о недостижимом идеале, боль за несправедливо устроенную жизнь, которая делает человека и жалким и смешным.

Шимен-Эля Вонми-Гласу, веселый местечковый портной, возымел дерзкую мысль обзавестись козой («Заколдованный портной») и, подобно герою Гоголя, Акакию Акакиевичу Башмачкину, был за это жестоко наказан. Акакий Акакиевич не успел натешиться шинелью, она явилась ему только «на миг», такой же недолгой была и радость Шимен-Эли. Стоило ему привести купленную козу домой, как она перестала доиться и превратилась в «черт знает что». Шинель Акакия Акакиевича исчезла по воле случая, как будто ее вовсе и не было, как будто она и осталась только мечтой. А коза Шимен-Эли, с которой происходят удивительные превращения по воле богача, которому захотелось потешиться

---

[1] Н. Гоголь, Шинель, Собрание сочинений в шести томах, том 3, Гослитиздат, М. 1952, стр. 155.
[2] Там же, т. 5, стр. 139.

над бедняком, — не является ли она тоже лишь плодом воображения, как полные кувшины молока, сыр и масло, которые мерещатся голодному портному?

Конечно же местечковый портной Шимен-Эля нисколько не похож на мелкого петербургского чиновника Башмачкина, как не похоже бедное заброшенное местечко на величественный Петербург с его резкими контрастами между пышными дворцами и лачугами. «Заколдованного портного» объединяет с «Шинелью» сочувствие к человеку, самое невинное желание которого оборачивается для него злым роком. Шинель — в одном случае, коза — в другом явились причиной гибели героев.

Шолом-Алейхем продолжает линию Гоголя также в бичевании пошлости, мелких страстей, от которых становится «скучно жить на свете». Рассказ о ссоре двух местечковых обывателей («Два шалахмонеса» [1]) живо напоминает «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Шолом-Алейхему также очень близка юмористическая гиперболика Гоголя. У Гоголя самый обыкновенный человеческий нос, сбежав от своего хозяина, начинает жить самостоятельной жизнью («Нос»), у Шолом-Алейхема мирно висящие на стене прадедовские часы вдруг бьют тринадцать («Часы»).

Используя все огромные богатства русского языка для характеристики своих персонажей, Гоголь в их собственные уста обычно вкладывает мало слов. Убожество мысли у этих персонажей часто характеризуется бедностью речи. Иван Иванович, предлагая закурить, неизменно говорит: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?» Иван Никифорович неизменно говорит: «Одолжайтесь!». Башмачкин же и вовсе «изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения».

«Частицы, которые решительно не имеют никакого значения» — эти обязательные спутники примитивного мышления, — мы встречаем и у персонажей Шолом-Алейхема, как и бессмысленные повторения, смешные оговорки, законсервированные словесные комплексы («рассмотрим то же самое с другой стороны»; «я не о том, я о другом» и т. д.). Но в рассказах Шолом-Алейхема персонаж ведь сам рассказывает о себе, поэтому естественно, что его слово выполняет иную функцию, чем у Гоголя. Здесь сказывается различие во времени, в изображаемой среде, в националь-

---

[1] Праздничные гостинцы.

ных особенностях и в индивидуально-творческом своеобразии писателей.

Шолом-Алейхем обычно показывает своего персонажа фронтально, en face. Держа слушателя за пуговицу или за лацкан пиджака, он из уст в уста передает историю, в которой как бы заключается смысл всей его жизни. Его энергия, не находящая себе практического приложения, находит свое выражение в словесной ажитации. Рассказчик захлебывается в безудержном потоке слов, мучительно стараясь разъяснить то, что в корне запутано. Он не виновник, а жертва этой путаницы. И писатель, не скупясь, дарит ему перлы собственного остроумия.

8

В рассказах Шолом-Алейхема мы встречаемся с большим количеством вымышленных и настоящих названий местечек и городов — Злодеевка, Козодоевка, Кодня, Деражня, Егупец (синоним Киева) и т. д. Однако его персонажи — это большей частью касриловцы, то есть жители Касриловки, географического пункта, который вы не найдете ни на одной географической карте. Касриловка — это нарицательное имя. Оно так вошло в сознание писателя, что в своей автобиографической повести «С ярмарки» он пишет о себе: «Герой этого биографического романа рос и воспитывался в той самой Касриловке, которая уже отчасти знакома миру».

На фоне вымышленной Касриловки разворачивается действие в «Монологах», в «Веселых бедняках», в «Рассказах для детей» и в других произведениях. Помимо этого, Шолом-Алейхем создал целый ряд произведений, посвященных уже непосредственно Касриловке (1901—1916) и завершающих ее образ («Великий переполох среди маленьких людей», «Касриловские погорельцы», «Новая Касриловка» и т. д.).

Если шолом-алейхемовские «маленькие люди» примыкают к той линии в русской литературе, которую представлял Гоголь и блестяще продолжил современник Шолом-Алейхема — А. П. Чехов, то Касриловка, город «маленьких людей», так же, как Глупск и Тунеядовка у Менделе Мойхер-Сфорима, примыкают к описаниям провинциальных городов, столь распространенным в русской литературе девятнадцатого века и нашедшим свое завершение в «Городке Окурове» А. М. Горького.

Затхлая жизнь провинции, где еще больше, чем в крупных городах, законсервировались косность и невежество, где еще нагляднее проявлялся произвол власть имущих, давала писателям-гуманистам яркий материал для бичевания тогдашнего общественного строя России. Образ целого города с недифференцированным скопищем людей отражал подавленность человека при этом общественном строе. Бичуя Угрюм-Бурчеевых и высмеивая глупость глуповцев, Салтыков-Щедрин боролся не только против самодержавного произвола, но и за высокоразвитую, свободную человеческую личность.

«Черта оседлости» — та же провинция. Это небольшие города и местечки на «окраинах» бывшей царской империи, где была сосредоточена наименее обеспеченная часть еврейского населения. Купцы первой гильдии и люди с высшим образованием (а это тоже чаще всего были выходцы из имущих классов) имели право жительства в больших городах. Все, что происходило в стране, находило отклик, иногда с некоторым опозданием, иногда в несколько искаженном виде, и в «благословенной черте». Яркое художественное изображение искусственной изоляции народа и результатов, к которым эта изоляция приводит, было глубоко прогрессивным явлением. Стремление вывести народ за пределы той черты, за которой замкнуло его царское правительство, желание пробудить в этом народе чувство собственного достоинства и помочь ему найти свое место в человеческом общежитии, объективно служило делу освободительной борьбы, которую вели лучшие люди России.

Большая часть касриловских рассказов написана не в форме монолога. В монологах же в роли рассказчика выступает сам автор, приехавший якобы по истечении многих лет в родное местечко. Поскольку здесь о Касриловке рассказывает не касриловец, то получается бóльшая, чем обычно у Шолом-Алейхема, дистанция между изображаемым явлением и рассказчиком.

Писатель изображает чудовищную нищету и беспризорность большого человеческого коллектива. Писарь местной управы, ничтожество, почерпнувшее всю свою образованность из черносотенных листков, доводит до такого ужаса население целого местечка, что в один прекрасный день оно поднимается — мужчины, женщины, старики и дети — и бросается бежать. Касриловцы решили искать себе приюта в Козодоевке, но на полпути они встретили козодоевцев, которые, в свою очередь, бежали к ним. И тут оба местечка сообразили, что бежать-то им, соб-

ственно, некуда, а поменяться местами не имеет смысла. Выхода не было, и касриловцы вернулись в свою Касриловку, а козодоевцы — в Козодоевку.

А вот другая ситуация. Касриловка погорела. Помощи ждать неоткуда. И местечко посылает ходоков в Егупец к «своим», к еврейским богачам («Касриловские погорельцы»). На одной из егупецких улиц странных путешественников замечает городовой. Чувствуя за спиной приближение блюстителя порядка, касриловские ходоки, которые уже успели подойти к дому богача, начинают отчаянно звонить. На их звонок из двери выскакивает «субъект с красной откормленной физиономией и в белых перчатках» и преграждает им путь.

«Напрасно наши касриловские избранники умоляли субъекта в белых перчатках пустить их внутрь, хотя бы в переднюю, хотя бы на кухню. Напрасно они задирали головы к высоким окнам: а вдруг господь сотворит чудо (он, если захочет, все может), и сам богач, или же кто-нибудь из его домочадцев, увидит соплеменников в опасности и распорядится, чтоб их не тронули...»

Кучка местечковых бедняков, зажатых в тиски слугой его императорского величества, с одной стороны, и лакеем его величества еврейского богача, с другой, — это поистине символическая сцена.

«Великий переполох маленьких людей» писатель назвал «поэмой» [1]. Элегический тон этого произведения усиливает ощущение грустно-веселого кошмара, которым оно проникнуто. Старая средневековая Касриловка с ее, как стоячее болото, «зачарованной жизнью» уходит в небытие. Обобщенным образом этой Касриловки является кладбище с заросшими травой, забытыми могилами со стертыми надписями на них, бедное кладбище, куда сбежались все касриловские козы, брошенные в день «переполоха» своими хозяевами.

На смену старой Касриловке приходит новая, которой уже коснулся «прогресс». И место действия здесь явно новое — не местечко, а уездный город. В первом варианте «Новая Касриловка» называлась «Весь Бердичев». В «Новой Касриловке» и в «Касриловском прогрессе» нет и намека на элегию. Каждая фраза здесь вызывает безудержный смех. Если в Касриловке появился трамвай, то это всего лишь убогая конка, которая больше стоит, чем ходит; если появилась гостиница, то это «Туркалия»,

---

[1] Вспомним, что Гоголь называл поэмой «Мертвые души».

где путешественнику представляется на выбор номер «с пением» (за одной стеной этого номера заливается кантор, за другой — репетирует бродячая труппа актеров) или же с клопами; если появилась пресса, то она пуста и продажна, как консервативная, так и «передовая».

Жалкое подражание буржуазной цивилизации не меняет положения народа. Люди с бледными голодными лицами попрежнему гоняются в горячечном экстазе за грошовыми заработками, и худосочные руки все так же тянутся за милостыней.

4

Формой монолога Шолом-Алейхем пользуется не только в рассказах, но и в своих крупных произведениях. Письма Менахем-Мендла и его жены Шейне-Шейндл, рассказы Тевье-молочника, история мальчика Мотла — все они написаны в первом лице.

Образы Менахем-Мендла и Тевье всю жизнь находились в центре внимания Шолом-Алейхема. Себя самого он в шутку называл то Тевье, то Менахем-Мендлом, употреблял имена этих персонажей как нарицательные и даже заставил их раз встретиться («Тевье-молочник» — рассказ «Химера»). Эти два образа в разных вариантах мы узнаем и в других произведениях Шолом-Алейхема. От них пошли две основные линии в его творчестве — трагикомическая с элементами сатиры, с одной стороны, и лирико-юмористическая — с другой.

Менахем-Мендл из одноименной повести в письмах, не находя себе занятий в местечке и прослышав о том, что в большом городе люди делают блестящие дела, устремляется туда, полный радужных надежд. Очертя голову он бросается в водоворот разных махинаций: торгует имениями и лесами, хотя никогда в жизни не видел ни имения, ни леса; ворочает миллионами, не имея ни гроша за душой. Менахем-Мендл терпит неудачу за неудачей. Но это его не обескураживает. После каждого падения он поднимается и, как ни чем не бывало, начинает все сызнова. Он вертится в заколдованном кругу вымышленных удач и действительных провалов, маниакальных комбинаций и самой неприглядной нужды. Его любимое выражение «а я тоже, как и все» — иллюзия. На самом деле он «как и все» только тогда, когда дело доходит до оплеух и других малоприятных обстоя-

тельств. Одинокий и беспомощный, он отчаянно карабкается вверх по социальной лестнице, судорожно тянется к мелькающему перед его глазами золотому дождю и снова и снова скатывается с мнимых высот.

Менахем-Мендл с его касриловским кругозором видит только внешнюю сторону жизни капиталистического города, не замечает его сложного механизма, поэтому он часто действует как во сне; он напоминает человека, стоящего перед вертящейся дверью, в которую никак не может попасть. «Я всегда и всюду как бы в стороне», — признается он в минуту отрезвления («Миллионы»).

Каждая серия его писем композиционно построена таким образом: Менахем-Мендл сообщает своей жене Шейне-Шейндл о деле, которое он затеял, потом в нескольких письмах идет нарастание, появляется все больше и больше шансов на успех. В приподнятом настроении Менахем-Мендл обещает купить жене подарки, рассказывает ей об Одессе и Егупце и даже рассуждает о политике. Затем в письмах появляются тревожные нотки и, наконец, описание краха и сопутствующая ему просьба о высылке денег на дорогу домой.

«За что бы я ни принимался, все на первых порах идет чинно и благородно, вот-вот, кажется, и счастье у тебя в руках, вот оно как будто бы уже в кармане, а под конец колесо поворачивается в обратную сторону, и все оказывается нелепым сном», — так пишет Менахем-Мендл в вышеупомянутом письме.

Каждое письмо Менахем-Мендла заканчивается припиской: «Главное забыл». Разное у него бывает главным. Но в тех случаях, когда это «главное» заключает серию писем, оно является по существу не концом, а началом новой серии.

Построение сюжета у Шолом-Алейхема часто больше походит на замкнутый круг, чем на прямую линию. Автор не любит излагать конец истории или же рассказывать о дальнейшей судьбе персонажей. В целом ряде монологов рассказчик под конец просит совета у читателя, оправдывается перед ним или же призывает его в свидетели. Так, в монологе «С призыва» рассказчик, к горю своему запутавшийся в бюрократическом недоразумении и которого к тому же обзывают «нудным человеком», к концу рассказа пребывает точно в таком же положении, как в начале: «Это я-то нудный человек, я!..» А рассказчик из монолога «Станция Барановичи» заканчивает словами: «Какой там конец? Это только начало...»

«Главное забыл» у Менахем-Мендла означает, что у него появилась новая идея, что он затевает новое дело. Вот эта неизменность в построении, замкнутость круга, так же как и канонизированные обращения и концовки в письмах с той и с другой стороны, усиливают впечатление обреченности всех усилий Менахем-Мендла.

Не развитием характера поражает повесть «Менахем-Мендл» (характер дан готовый) и не увлекательностью сюжета (уже в самом начале каждой последующей истории читатель предвидит провал персонажа). Сила художественного воздействия объясняется здесь удивительной пластикой, живостью изображения, как и редкостным богатством языка, которое, к сожалению, очень трудно передать в переводе. Нарастание и смешного и грустного создается сменой ситуаций. И по мере накопления этих трагикомических ситуаций все яснее становится образ Менахем-Мендла. Его переписка с женой иногда напоминает диалог глухих. Охлаждающие письма Шейны-Шейндл, полные, при всей ее касриловской ограниченности, здравого смысла, проходят мимо сознания Менахем-Мендла, одержимого манией обогащения.

В своем вступлении ко второму изданию «Менахем-Мендла» Шолом-Алейхем писал: «Все, что висит в воздухе и держится на ветру, должно в конце концов рухнуть». Причину всех неудач своего персонажа писатель видит в беспочвенности его мечтаний и дел.

Менахем-Мендл олицетворяет собой конвульсивные усилия мелкого буржуа приспособиться к капитализму, который безжалостно его давит. Это образ мирового звучания, трагикомический образ человека, застрявшего на рубеже двух миров.

5

Тевье-молочник из одноименной повести представляет собой прямую противоположность Менахем-Мендлу. Это здоровый человек из народа, привыкший в поте лица своего есть хлеб свой. Новые веяния в стране часто застают Тевье врасплох, но это другие веяния. Ведь не только победно шествующий капитализм меняет привычный уклад его жизни, но и революция 1905 года, а также наступившая после нее реакция.

Все новое проникает в дом Тевье через его дочерей. Прежде всего рушится патриархальная семья. Не традиционный сват

устраивает личное счастье дочерей Тевье, они следуют велениям сердца. Судьба их складывается по-разному. Цейтл выходит замуж за бедняка портного, который через некоторое время умирает от чахотки; Годл влюбляется в революционера и вместе с ним отправляется в далекую ссылку; Хава, нарушив заветы отцов, выходит замуж не за еврея; Шпринца кончает собой, потрясенная вероломством взбалмошного сынка богатой вдовы, которого она полюбила. Младшая дочь Тевье, Бейлка, вырастает в годы реакции, и ее поведение резко отличается от поведения сестер. Лишенная всяких общественных идеалов она, кроткая девушка, желая обеспечить отца на старости лет, выходит замуж за нелюбимого, за богача.

Беды так и сыплются на голову Тевье. Жизнь не пощадила его дочерей, всех до единой красавиц и умниц. Жена умирает от горя. И в довершение всех несчастий царским указом, запрещающим евреям жить в деревне, Тевье, честного труженика, изгоняют из родных мест, где жили его деды и прадеды. Этому изгнанию Шолом-Алейхем посвящает чуть ли не самые горькие страницы повести о Тевье:

«Прихожу я перед отъездом домой, а дома ничего уже нет — разор! Стены голые, и кажется, будто они слезами плачут. На полу — узлы, узлы, узлы! На припечке кошка сидит, как сирота, печальная, бедняжка, — меня даже за сердце взяло, слезы на глаза навернулись... Кабы не стыдился дочери, поплакал бы всласть... Что ни говорите, все-таки батьковщина!.. Вырос тут, маялся всю жизнь и вдруг, пожалуйте, изыди! Говорите что хотите, но это очень больно!»

Тут и горе, и оскорбленное человеческое достоинство, и боль за собственную беспомощность.

«Конечно, будь я моложе лет на двадцать хотя бы, будь жива моя Голда, будь я тот же Тевье, что прежде, я бы так скоро не сдался! Я боролся бы до крови!»

Тевье всем своим существом привязан к «батьковщине», к родной земле, к своим соседям-крестьянам.

«Скажи-ка мне, ваше благородие, а знаешь ли ты, что я живу тут гораздо дольше тебя?» — наскакивает Тевье на урядника, который приехал его выселять. «А сколько раз я, бывало, ходил к тебе, господин начальник, за крестьян хлопотать, чтобы ты их не обижал?..»

Тевье хочет понять, откуда приходят к нему несчастья. Его острый язык не щадит ни поклоняющихся золотому тельцу бога-

чей, ни самого господа бога, по его понятиям так несправедливо распределившего блага на земле. Чуткое сердце Тевье открыто для восприятия благородных устремлений его дочерей. Даже поступок Хавы, который по тем временам мог показаться непростительным, заставляет Тевье задуматься:

«И приходят мне в голову какие-то необыкновенные, странные мысли: «А что такое — еврей и нееврей? И зачем бог создал евреев и неевреев? А уж если он создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от бога, а другие — не от бога? И досадно мне, почему я не так сведущ, как иные, в книгах, почему не так учен, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы».

Тевье понимает, что вышедшая за богатого подрядчика Бейлка во сто крат несчастнее сестер, связавших свою судьбу с бедняками.

«Столько бы мне радостей, думаю, насколько лучше поступила твоя сестра Годл! Конечно, что правда, то правда, — нет у нее такого дома и таких финтифлюшек, как у тебя, но зато у нее муж, Перчик... Ведь это человек, который о себе и не думает, обо всем мире заботится... И к тому же у него голова на плечах, а не макитра с лоснящейся лысиной...»

Ведь именно этот подрядчик первый, еще до урядника, задумал изгнать Тевье из родной страны, потому что ему не пристало иметь тестя-бедняка.

Тевье — удивительно цельная личность. Он всегда поступает сообразно своей натуре и никогда не грешит против совести. Он не только понимает людей, но и тонко чувствует красоту. Повесть о Тевье проникнута поэзией украинской природы. И утренние зори в родной стороне, и закаты, и весны, и зимы, и лес, и степь даны писателем через его восприятие, увиденные его глазами.

Неудачник Менахем-Мендл нередко вызывает сочувствие своей наивностью, доверчивостью, и, наконец, читателю становится просто жаль впустую потраченной человеческой энергии. Но ни сочувствие, ни жалость не могут сделать Менахем-Мендла не смешным. Смешна его торопливая, сбивчивая речь, смешна путаница в оценке людей и событий, смешно его топтание на месте, в полной уверенности, что он преодолевает пространство. Многострадальный Тевье, простодушный и благородный, ни при каких обстоятельствах не бывает ни жалок, ни смешон. Не сгибаясь перед лицом несчастий, он стоит, словно кряжистый дуб, который

никакой вихрь не сметет. Его кудрявая речь, пересыпанная шутками, поговорками, изречениями из священных книг, на свой лад переиначенными и эпикурейски истолкованными, — это кладезь мудрости. Подшучивание над собой и своими невзгодами возвышает Тевье. Его юмор выражает народный оптимизм, жизнеспособность народа. И самый близкий друг, которому Тевье-молочник поверяет историю своей жизни, — это сам автор, выступающий здесь в роли слушателя.

7

В повести «Мальчик Мотл» нашли свое яркое выражение основные тенденции в творчестве Шолом-Алейхема — трагикомическая и лирическая. Начал он печатать повесть в 1907 году. Естественно, что М. Горький, который «смеялся и плакал» над этой, по его выражению, «чудесной книгой», отметив, что «вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу», с горечью добавил: «А это чувство так редко в наши дни». В мрачные дни реакции Шолом-Алейхем, который никогда не был революционером в подлинном смысле слова, а только сочувствовал революции и верил, что над Россией «взойдет солнце», не стал сжигать то, чему поклонялся. Мудрую любовь к народу он пронес через всю свою жизнь; только повод для веселья все труднее становилось находить. Весело рассказать печальную историю всполошенных, гонимых нищетой и национальным бесправием людей, попадающих из огня да в полымя, было бы, пожалуй, не под силу самому что ни на есть веселому бедняку. Поэтому повествование в «Мальчике Мотле» вложено в уста ребенка.

В повести «Мальчик Мотл», в этих «записках мальчика-сироты», изображено все прогрессировавшее обнищание еврейских народных масс. Если бесплодному мечтателю Менахем-Мендлу противопоставляется его трезвая, рассудительная жена Шейне-Шейндл, пока еще прочно чувствующая себя на земле, то в «Мальчике Мотле» десятки таких, как Шейне-Шейндл, сами укладывают свои пожитки. Нагруженные подушками и допотопными ротондами, со своими не менее допотопными представлениями об устройстве вселенной, они отправляются искать счастье. Менахем-мендлизм в «Мальчике Мотле» изображен уже как массовое явление, поэтому он выглядит еще более провинциальным, примитивным. Предел мечтаний брата мальчика Мотла, Эли, составляет сотня, в то время как Менахем-Мендл «ворочает» миллионами;

Эля торгует чернилами и квасом, в то время как Менахем-Мендл «продает» имения, леса и заводы.

В «Мальчике Мотле» писатель в лице Пини, человека «с идеями», закадычного приятеля Эли, высмеивает духовный менахем-менделизм. Вера Пини в возможность хорошей жизни для бедняка в стране доллара, так же как и его вера в буржуазную демократию, проделывает точно такой же круг, как все фантастические предприятия его друга Эли, хотя последние его нисколько не привлекают. Наоборот, ведь не кто иной как Пиня решительно положил им конец, бросив в огонь раздобытую Элей чудодейственную книгу, которая учит тому, как превратить «рубль в сотню».

Пиня привлекателен своим бескорыстием, душевной добротой, восторженностью, стремлением к знанию, но вместе с тем он смешон своей неприспособленностью к жизни, непониманием реальных взаимоотношений в обществе. Слова «Дизраэли», «Бокль», «история цивилизации», которыми он сыплет без удержу, представляются ему чуть ли не заклинаниями, которые предоставят в его распоряжение Европу и Америку. Но в первые же минуты въезда в Лондон Пиню, несмотря на все его красивые слова, смяли прохожие. Так же он проваливается при первом знакомстве с Америкой. Пиня всюду выступает как энтузиаст. Но так как его энтузиазм не имеет реальных оснований, то, как правило, он попадает в переделку, из которой выходит «измятым и поблекшим, как старая шляпа». Его самые лучшие намерения превращаются в свою противоположность. Пиня не замечает, что вместо царства свободы, он попал в новую «черту оседлости», в грязные гетто Уайтчепеля и Ист-Сайда уже не по царскому указу, а в силу законов капиталистического общества. «Точь-в-точь как у нас, — говорит мальчик Мотл об Уайтчепеле, — никакой разницы. И грязь такая же, как у нас. И пахнет так же, как у нас, иногда даже хуже».

В отличие от Менахем-Мендла, брат Мотла, Эля, не заглядывается на витрины ювелирных магазинов, не стремится стать ни Бродским, ни Ротшильдом. Он отчаянно борется за кусок хлеба. И если он бывает смешон, то в этом не его вина. Ведь ему действительно осталось только морить крыс. Для Менахем-Мендла обратный путь в местечко еще не отрезан. Ему мешает возвратиться туда главным образом иллюзия «больших дел». Персонажи повести «Мальчик Мотл», возможно, и хотели бы, чтобы все осталось по-прежнему, но обратный путь для них заказан. За спиной ничего не осталось. И поэтому писатель смотрит на них

с сочувственной, ободряющей улыбкой. И поэтому он озаряет их, казалось бы, беспросветную жизнь оптимизмом детства.

Мальчик Мотл не отдает себе отчета в грустном смысле собственных слов: «Мне хорошо — я сирота». Ему действительно хорошо даже тогда, когда из его родного дома выносят для продажи одну за другой самые необходимые вещи, ему хорошо в битком набитом грязном вагоне, а также в очередях у дверей всевозможных благотворительных комитетов. Принимая участие во всех предприятиях брата, он радуется их провалу не меньше, чем успеху. Мотлу хорошо, потому что в конечном счете жизнь всегда хороша, интересна. В ней много неизведанного, и она, не скупясь, открывает мальчику свои тайны.

Как и Тевье-молочник, Мотл никогда не бывает смешон. Смешны окружающие его взрослые, а не он. Мотл — тонкий наблюдатель и юморист. В этом образе, как и в образе Тевье, писатель выразил свою тоску по чистому, нетронутому, самобытному; показал, как сквозь все рогатки, воздвигаемые на их пути нищетой и невежеством, прорывается разум народа, его одаренность.

8

Рассказ о детях под названием «Ножик» (1886) был первым произведением Шолом-Алейхема, обратившим на себя внимание критики. И всю дальнейшую жизнь писатель выступал как неутомимый защитник детей бедноты.

Ребенок в его произведениях часто выглядит старше своих лет. На его детскую фигурку напялен слишком длинный сюртучок («на вырост»), картуз, иногда отцовский, сползает на глаза. Маленькая детская фигурка сгибается под непосильным грузом религиозных обязанностей и запретов (нужно изучать пятикнижие, нужно много молиться, соблюдать посты, но нельзя купаться в реке, нельзя кататься на коньках, рисовать, играть на скрипке и т. д.). Дрожа от холода в своих отрепьях, маленькая фигурка бежит в промозглый осенний вечер домой из хедера, освещая касриловские лужи зажатым в застывшей руке фонарем. А дома эта фигурка будет снова раскачиваться в молитве. Наскоро проглотив постную похлебку, ребенок будет читать «Поминальную» по преждевременно умершему любимому отцу, которого он никогда не осмеливался поцеловать, потому что «хи-хи-хи, как можно целовать отца?», а перед глазами страшным кошмаром

будет стоять избитый до крови товарищ, над которым учитель принудил его произнести приговор.

Точно так же, как великий английский гуманист Диккенс, Шолом-Алейхем обрушился на губительную для народа систему воспитания, при которой в ребенке подавляется все детское, все живое и здоровое. И точно так же, как Марк Твен, он показал сопротивление ребенка, его упорное стремление к свободе, его бьющую ключом энергию. Вслед за Менделе-Мойхер-Сфоримом Шолом-Алейхем нанес сокрушительный удар хедеру как институции, призванной поставлять миру физических и духовных калек.

Как можно не смеяться, когда смешно? Как можно не любить дворняжку Серко, которая терпеливо ждет маленького Шолома под окнами хедера? Как можно не прыгать и не издавать радостное «му» вместе с теленком, если и теленок и мальчик Мотл одинаково почувствовали прелесть теплого весеннего дня? Чувство природы невозможно задушить даже в таком ребенке, которому она представляется только в виде купленной на базаре зелени на праздник или же в виде бледной вытянутой ножки зарезанной курицы.

Однако противоестественность навязываемых ребенку норм поведения, подчинившись которым он должен перестать быть ребенком, иногда извращает его здоровые чувства. Обилие запретов делает сладким самый горький плод, и поэтому некоторые детские проказы так жестоки, от них веет грубостью бурсы («Мафусаил»).

Многие рассказы Шолом-Алейхема о детях написаны по заказу как праздничные фельетоны для газет, которые эксплуатировали талант великого писателя. Однако эти рассказы ни в какой степени не выполняли своей развлекательной функции. В них больше чем где бы то ни было ощущается грусть: детские образы особенно оттеняют неприглядную жизнь взрослых. Эти рассказы удивительно поэтичны: они отличаются особой плавностью повествования, музыкальностью, обилием лирических повторов. Их основная тема — омраченный праздник.

9

Рядом с ребенком Шолом-Алейхем часто ставит в своих произведениях музыканта, бродячего актера, народного комедианта («Скрипка», «У царя Артаксеркса», многие страницы повести

«С ярмарки» и романа «Блуждающие звезды»). В то время как для всякого обывателя ребенок прежде всего объект для нравоучений, какой-нибудь музыкант или актер находит с ним общий язык. Это относится также к трудовому люду, к ремесленникам, к веселым людям с нормальными человеческими чувствами.

Сам Шолом-Алейхем был на редкость веселым человеком. Смех был его жизненной программой, он боролся за его право на существование. Он смеялся сквозь слезы, но все же смеялся. И даже в самых грустных своих рассказах избегал печальных концов, хотя у него и нет таких благополучных концов, как это бывает у Диккенса, когда героя при самых тяжелых обстоятельствах его жизни выручает счастливый случай, когда размягчаются самые каменные сердца и после всех несчастий люди находят утешение в лоне семьи или же в окружении друзей, в близости чистых сердец. Даже там, где есть сходство, оно является чисто внешним. Так, рассказ «Флажок» кончается добрыми пожеланиями к празднику, как и «Колокола» Диккенса. Но у Шолом-Алейхема этот конец откровенно-условный; ему предшествует поговорка: «Не под стать бедняку счастье». И еще:

«Так как сегодня канун праздника, а в праздник, тем более в праздник торы, полагается быть веселым, то и мне хочется закончить историю с флажком весело».

А когда история по всему своему ходу предвещает совсем трагичный конец, автор не доводит ее до этого конца.

«А несчастный портной? А вывод? А мораль какая из всей этой истории?» — спросит читатель.

Не принуждайте меня, дети! Конец нехороший. Началось все очень весело, а кончилось, как и большинство веселых историй, очень печально...

А так как вы знаете, что автор этого рассказа не меланхолик и плачевным историям предпочитает смешные, и так как вы знаете, что он не терпит «морали», что читать нравоучения не в его обычае, то сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали.

Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться...»

Известный девиз Шолом-Алейхема: «Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться...» — не так уж прост. В нем скрыто не меньше горечи, чем в девизе мальчика Мотла: «Мне хорошо — я сирота». Но точно так, как мальчику Мотлу было, вопреки всем горестям, все же хорошо, так и Шолом-Алейхем смеялся от души, любил

жизнь и все ее радости. И друзьям своим он завещал, чтобы каждый раз к годовщине смерти на его могиле прочитывали какой-нибудь из самых смешных его рассказов.

Смех Шолом-Алейхема представлял собой вызов остаткам средневековья с его религиозным аскетизмом. Смехом писатель помогал народу проявить скрытые в нем силы, искал пути для выражения критической мысли народа. Тем и привлекали писателя музыканты, что им была свойственна некоторая внутренняя свобода, что они были жизнелюбцами [1].

Еще молодым писателем Шолом-Алейхем опубликовал один вслед за другим два романа: «Стемпеню» (1888), посвященный музыканту, и «Иоселе-соловей» (1890), посвященный молодому кантору. Еврейские народные массы знали в те времена только один вид музыканта — свадебного, и один вид певца — кантора, то есть, по существу, исполнителя молитв.

Ранние романы Шолом-Алейхема, несмотря на некоторую их наивность, привлекают любовью к народным талантам, к этим, по выражению автора, «жемчужинам», разбросанным по еврейскому гетто. И не только талантливых самородков показывает здесь Шолом-Алейхем, но и облагораживающую роль искусства. Обыватели, которые считают музыканта низменным существом и никогда бы не решились принять его в свою среду, забывают обо всем обыденном, когда слушают игру Стемпеню. Его талант чарует, увлекает людей в мир возвышенных чувств. Та же обывательски-торгашеская среда, однако, душит талант. И не только талант, но и все прекрасное в человеке. Красавица Рохеле, которую томит безделье и пошлость, подавляет в себе вспыхнувшую в ее сердце любовь к Стемпеню и сама погрязает в обывательском болоте. А Стемпеню находит единственное утешение в скрипке.

В конце романа этот музыкант-самородок предстает перед нами грустный и одинокий, в жалкой роли мужа ростовщицы, которая превращает в капитал каждый взмах его смычка.

Намного трагичнее сложилась судьба Иоселе-соловья из одноименного романа. Одаренный от природы певец, он интуитивно стремится к настоящему искусству. Но путь к этому настоящему искусству для бедного юноши закрыт. Иоселе попадает

---

[1] Характерно, что такие же качества подчеркивал в еврейских народных музыкантах блистательный современник Шолом-Алейхема — И. Л. Перец.

в цепкие лапы ловкого предпринимателя, который наживается на его таланте. А потом, когда испорченный славой и выжатый, как лимон, своим «покровителем», певец начинает изредка пускать петуха, этот «покровитель» весьма выгодно для себя устраивает брак Иоселе с Переле-дамой и таким образом сбывает его с рук. Переле прилагает все усилия к тому, чтобы потушить в нем искру божию; она опутывает певца паутиной мелких интересов, склок и дрязг. Иоселе гибнет и морально и физически.

В отличие от Рохеле, покой которой любовь возмутила ненадолго и она так и осталась женщиной из «хорошей семьи», Эстер являет собой пример самоотверженного любящего женского сердца. Когда родня заставляет ее выйти замуж за постылого ростовщика, она в душе сохраняет верность Иоселе. Уже замужней женщиной она не отступает от постели любимого во время его болезни и потом медленно угасает в богатом доме мужа.

В романах о народных талантах «Стемпеню» и «Иоселе-соловей», а также в сатирическом романе о крупной еврейской буржуазии «Сендер Бланк» (1888), можно узнать много отличительных черт Шолом-Алейхема — писателя. Однако мы не погрешим против истины, если скажем, что в этих романах писатель еще не нашел себя по-настоящему, что сказывается в недостаточно гармоничном слиянии отдельных частей произведения. Глубоко прогрессивная тенденция этих произведений не всегда воплощена в полнокровных художественных образах. В особенности это относится к роману «Сендер Бланк».

Ранние романы Шолом-Алейхема привлекают верой в одаренность народа наряду с резкой критикой буржуазии. Одиночеству художника в капиталистическом мире, нашедшему впоследствии в «Блуждающих звездах» свое великолепное художественное воплощение, Шолом-Алейхем и здесь, в романах «Стемпеню» и «Иоселе-соловей», посвятил много прекрасных страниц.

Все три ранних романа Шолом-Алейхема были опубликованы в 1888—1890 годах, одновременно с его программными критическими статьями «Суд над Шомером» и «Еврейская беднота в лучших произведениях наших народных писателей». Низкопробному бульварному роману пресловутого Шомера писатель противопоставлял настоящие художественные произведения, где в роли главного действующего лица выступает человек из народа. Романы Шолом-Алейхема того времени были такими же программными, как и статьи. Ими (романами) завершился определенный

этап в творчестве писателя, тот этап, который расчистил дорогу для дальнейшего развития еврейской реалистической литературы.

К жанру романа Шолом-Алейхем не возвращался много лет. Он окончательно определился как новеллист, и в этом жанре достиг наибольшего совершенства. В романах «Потоп» и «Кровавая шутка», написанных после революции 1905 года, несмотря на отдельные блестящие места в них, Шолом-Алейхем — романист еще не может быть поставлен рядом с Шолом-Алейхемом — новеллистом. «Блуждающие звезды» — это первый роман, в котором талант писателя засверкал всеми красками (1909—1911). Здесь как бы собрались воедино все его художественные достижения, богатейшие наблюдения над жизнью и глубокое осмысление этих наблюдений, а также его собственный горький опыт «пролетария пера».

10

Шолом-Алейхем долгие годы вынашивал мысль о написании третьего (после «Стемпеню» и «Иоселе-соловья») романа, посвященного народным талантам, но окончательно эта мысль созрела во время посещения им Америки (1906—1907). Не будет преувеличением сказать, что именно Америка превратила Шолом-Алейхема из юмориста в сатирика. Почти нигде его перо не было таким злым, как в «Касриловском прогрессе», написанном непосредственно в Америке, и в «Блуждающих звездах». Увидев воочию капиталистический ад в его самой развитой форме, писатель в первой части романа сказал свое последнее «прощай» (если не считать автобиографической повести «С ярмарки») милой его сердцу Касриловке и со всем пылом обрушился на «страну свободы» — Америку.

Главные герои романа — это актер Лео Рафалеско и певица Роза Спивак. Впервые мы их встречаем в небольшом местечке в Бессарабии в возрасте четырнадцати — пятнадцати лет. В местечко приезжает бродячая труппа. Юноша и девушка, которых связывает наивная детская любовь, увлекшись театром, решают бежать от родителей с актерами, в полной уверенности, что они всегда будут вместе. Но их разлучают. Девушку увозит директор труппы Альберт Щупак, а юношу — актер этой же труппы — Гольцман. Это первое горькое разочарование накладывает роковую печать на всю последующую жизнь обоих.

Каждый из них отдельно проходит свой тернистый путь. А когда, наконец, их осеняет слава, она не дает ожидаемого счастья. Не только потому, что путь к совершенству труден, но и потому, что чем больше слава, тем крепче держат художника «золотые цепи», как пишет в одном из своих писем Роза Спивак.

Хотя в «золотые цепи» закованы оба героя, судьба их все же сложилась по-разному: Розе Спивак удалось после долгих мучений получить музыкальное образование, а Рафалеско так и остался самородком; Роза Спивак выступает в концертах вместе с замечательным музыкантом Стельмахом, и в искусстве у них существует полное взаимопонимание, а Рафалеско выступает как единственный талантливый человек среди пошлых, бездарных и в большинстве случаев элементарно неграмотных людей, которые даже не понимают, чем он хорош, и объясняют его успех исключительно удачей. Рафалеско не с кем делиться и не у кого учиться. Даже пышные разглагольствования о литературе и театре доктора Левьюса, «мецената», который, закуривая дорогую сигару, достает специально для знаменитого артиста сигару похуже, оказались полезными Рафалеско. А игра замечательного актера Зоненталя, которого ему случайно удалось увидеть в роли Уриеля Акосты, вдохновила и окрылила его.

Рафалеско, Спивак, Стельмах сами себе хозяева только на сцене, но стоит опуститься занавесу, как они превращаются в жалкие игрушки, в марионеток, которыми искусно управляет бесчисленное количество жадных рук. Талантливые артисты, о которых изо дня в день трубят газеты, нисколько не интересуют «трубачей». Артисты — только предмет наживы. На них ставят ставку, как на лошадей. Так, капиталист Кламер ставит ставку на Рафалеско и на этом основании ссужает труппу деньгами на переезд из Лондона в Нью-Йорк, выговорив себе право на половину всех доходов театра. Вокруг Рафалеско происходит грызня, свалка, борьба между всевозможными дельцами, которые сманивают его друг у друга. Рафалеско — это деньги, «бизнес», и в борьбе за него все средства хороши. А если бы случилась с Рафалеско беда и он стал бы просто человеком, а не «бизнесом», те же самые дельцы прошли бы по его телу «в сапогах и в калошах, его бы топтали и растоптали, и даже петух об этом не прокричал бы».

Рафалеско по природе добр и доверчив. Тем легче всяким дельцам держать его в руках, и не только как актера, но и как человека. Раз Рафалеско представляет собой «бизнес», то и

мечты его, и любовь, и весь он принадлежит им. С потрясающей силой автор изображает крысиную возню целой кучи интриганов вокруг личной жизни Рафалеско. Достаточно вспомнить зловещую сцену помолвки Рафалеско с «примадонной» Генриеттой Швалб, с этой глупой и вздорной женщиной,— помолвки, которую неожиданно для жениха инсценировали предприимчивые братья невесты совместно с «интеллигентным» мистером Кламером. А организована была эта помолвка для того, чтобы навеки закабалить Рафалеско, закрепить его за труппой.

В «Блуждающих звездах» Шолом-Алейхему удалось показать страшное царство зла, каковым является капитализм как система. Мистер Кламер, мистер Никель, братья Швалб, Муравчик — все они находятся во власти неотразимой силы, которая лишает их покоя, треплет и швыряет во все стороны, заставляет врать, интриговать, пожирать друг друга. Бизнес и необходимый для этого блеф — вот что заполняет их жизнь, не оставляя места ни для каких других человеческих чувств.

«В Америке не живут, в Америке спасаются», — сказал как-то Шолом-Алейхем. И поэтому не удивительно, что «золотую цепь» иногда замыкают любящие руки. Так, старик Стельмах крепко держит на поводке своего талантливого сына, да и не только сына, но и строптивую, гордую Розу Спивак. Еще когда Гриша был вундеркиндом, отец его понял, что пока он кинд (ребенок) — он вундер (чудо), но стоит ему вырасти из штанишек, и чудо перестанет быть чудом. И отец не преминул воспользоваться одаренностью мальчика, насколько это было возможно.

А когда мальчик стал взрослым мужчиной, то его предполагавшаяся женитьба на Розе Спивак тоже импонировала старику отчасти потому, что такой союз между знаменитым музыкантом и знаменитой певицей был неплох для бизнеса.

А директор труппы Гольцман, бывший голодный актер, которым все помыкали? Ведь он тоже по-своему любил Рафалеско. Но это нисколько не мешало ему эксплуатировать одаренного юношу и дрожать всю жизнь над тем, как бы его кто-нибудь не сманил, потому что «денежки, черта их батьке...» — они превыше всего. Для того чтобы закрепить за собой Рафалеско, Гольцман вызывает из далекого маленького местечка сестру, надеясь на ее чары, и тем губит ее.

Колесо бизнеса и блефа захватывает независимо от их желания и тащит за собой, как соломинки, и Лео Рафалеско, и Гришу Стельмаха, и Розу Спивак. Их души раздваиваются

между поэзией творчества и грубой реальностью. Вот почему Рафалеско и Спивак, которые долгие годы искали и наконец нашли друг друга, не смогли соединиться.

Проще всего было бы закончить роман благополучным браком, как это и намечалось в одном из вариантов. В последнем варианте романа любовь героев осталась прекрасной мечтой, которая является человеку только раз в жизни. Благополучный конец в «Блуждающих звездах» означал бы признание автором возможности абсолютной гармонии в мире хищников, который он изобразил. Писатель, наоборот, показал, как окружающая грязь коснулась и их самих, его положительных героев. В горькие минуты раздумья Рафалеско не раз казнит себя за содеянное им.

В романе «Блуждающие звезды» огромное количество персонажей. Если не считать Розу Спивак, образ которой во второй части несколько бледнеет, Шолом-Алейхем здесь достиг исключительной пластики. Каждый персонаж, вплоть до тех, которые появляются в романе на какой-нибудь один момент, тщательно вылеплен, дышит и живет своей неповторимой жизнью. Больших вершин достиг здесь автор в области языка. Особенно интересно разработаны колоритная речь актеров и раздуто-сенсационный язык буржуазной прессы.

11

По роману «Блуждающие звезды» видно, как живо Шолом-Алейхем интересовался театром, как ему претил пресловутый «американский вкус», ориентация на кассу и в актерском исполнении и в драматургии. Начиная с 1887 года, когда он написал первые две одноактные пьесы «Развод» и «Доктор», писатель в разные периоды жизни пробует свои силы в области драматургии.

Видное место в пьесах Шолом-Алейхема занимают богатеи новейшей формации, выскочки, разбогатевшие на всяких торговых и биржевых спекуляциях. Конфликт в этих пьесах или семейный (между родителями и детьми), или же подчеркнуто социальный (между богачами и обслуживающими их «людьми»).

Что касается семейного конфликта, то он чисто внешний, за исключением драмы «Вразброд» («Цезейт ун цешпрейт»). Дети

нуворишей, черствых, невежественных людей без всяких традиций, являются достойными потомками своих отцов. Они в душе такие же грубые и тщеславные. Конфликт здесь выражается только в том, что дети, получив кое-какое образование, начинают презирать своих отсталых родителей, беззастенчиво пользуясь благами, которые те им предоставляют. Родительский деспотизм выражается единственно в том, что они мешают своим детям вступать в брак по новейшей моде, то есть без сватовства, а «по любви». Но тут их в большинстве случаев берет под свое покровительство мать, которая от нечего делать читает романы с такими названиями, как «Холодный жених, или Ночь среди мертвецов»; «Влюбленный разбойник, или Отец с того света» («Якнегоз»), и тоже знает, что такое «любовь».

Элемент конфликта между господами и слугами наличествует у Шолом-Алейхема всюду, где только изображается буржуазия. А две одноактные пьесы — «Помолвка» («Мазлтов», 1899) и «Люди» (1907) — специально посвящены этой теме. В обеих пьесах подчеркивается суетность, грубость и бесчеловечность хозяев, которые портят людям жизнь и сами при этом не знают ни настоящей радости, ни настоящей любви. А на кухне обретаются люди веселые, отзывчивые и непосредственные.

Обе пьесы — «Помолвка» и «Люди» — кончаются взрывом протеста со стороны слуг.

«А то, что вы гоните людей из дома, что ж, гоните. Но это нехорошо с вашей стороны. Знаете, почему? Теперь другое время. Не то, что прежде... Вы бы заглянули в мои книжки (реплику произносит книгоноша реб Алтер. — *Р. Р.*). Сицилисты говорят... пропади вы пропадом!» («Помолвка»).

«Не швыряйтесь так людьми, мадам, потому что «люди» — это тоже люди, черт вас побери!» («Люди»).

Шолом-Алейхем был замечательным мастером диалога, живого, остроумного, по самому существу своему сценичного. Это столь драгоценное для драматурга качество имело и оборотную сторону. Некоторые пьесы Шолом-Алейхема представляют собой скорее прозу в лицах, чем драматические произведения в собственном смысле. И автор это чувствовал. Со свойственной ему беспощадностью в оценке собственных слабостей Шолом-Алейхем пишет в предисловии ко второму изданию пьесы «Вразброд», незадолго до того прошедшей с большим успехом в переводе на польский язык в польском театре в Варшаве:

«Несколько лет тому назад в «Еврейской народной газете» был напечатан мой фельетон «Вразброд» — картины из еврейской жизни [1].

Хотя эти картины были написаны в драматической форме, мне и не снилось, что я когда-нибудь удостоюсь увидеть их на сцене». А увидев, автор, несмотря на восторг публики, пережил очень тяжелые минуты, он чувствовал, что «на сцене играют фельетон, а не драму». «Я тогда был чуть ли не единственным, который освистал автора пьесы», — пишет он. И для постановки на сцене Шолом-Алейхем коренным образом переработал пьесу, с тем чтобы «если галерка не сможет удержаться и будет когда-нибудь кричать «браво», то пусть хоть кричит не зря».

Точно так же как театр не может существовать без хорошей драматургии, драматург не может существовать без хорошего театра. Взаимодействие здесь полное. Трудный путь Шолом-Алейхема в драматургии объясняется прежде всего невысоким уровнем театральной культуры в еврейской среде того времени. Шолом-Алейхему пришлось, наследуя обличительному пафосу еврейских просветителей, преодолеть их резонерское морализирование. Обращение к традиции гоголевской драматургии в своей сатирической комедии «Якнегоз» и влияние драматургии Чехова в пьесе «Вразброд» помогли ему перейти от разговора на сцене к сценическому действию.

Наиболее удачные пьесы Шолом-Алейхема, помимо вышеупомянутых, это «Золотоискатели» (1908) и «Крупный выигрыш» (1915).

В местечке, где происходит действие комедии «Золотоискатели», распространился слух, что молодой граф, которому это местечко принадлежит, собирается продать его в казну. Жители встревожены, не придет ли тогда конец их грошовому благополучию, не снесет ли казна их дома и лавчонки. Но тут Лейви Мозговоер, один из уважаемых обывателей местечка, предлагает выход из положения: нужно отыскать клад — тринадцать бочек золота, — который якобы хранится на старом кладбище со времен Наполеона. Недаром Мозговоеру снился накануне покойный отец, который обещал ему, что он скоро разбогатеет. Вслед за этим мальчишка случайно нашел на старом кладбище золотой, который, как выясняется впоследствии, потеряла на могиле роди-

[1] Слово «фельетон» здесь надо понимать не в современном значении, а как произведение, напечатанное в газете.

телей вдова Элька. Этот золотой окончательно убеждает жителей местечка в наличии клада, и они все сообща начинают его искать.

Во главе золотоискателей стоит тот же Лейви Мозговоер, который печется не столько о себе, сколько о всем городе. Он воображает себя чуть ли не мессией, призванным спасти народ. Во имя своей донкихотской идеи он не щадит себя, терпит бесконечные неприятности и готов даже пожертвовать благополучием собственной дочери.

Лейви Мозговоер напоминает своим беспочвенным гуманизмом касриловского меламеда («Будь я Ротшильд»), который размечтался о том, как бы он осчастливил человечество, если бы стал Ротшильдом. Он додумывается даже до упразднения денег, так как они являются причиной войн и других общественных бед. Под конец к нему, однако, возвращается чувство реальности, и он спрашивает себя, где бы ему взять деньги, чтобы справить субботу. Лейви Мозговоера не так легко сбить с занимаемых им позиций. Когда из соседнего местечка приходит пешком Элька, чтобы получить свой утерянный золотой, и тем самым разоблачает миф о кладе, Мозговоер не верит. Он подозревает, что кто-то нарочно подослал к нему бедную вдову.

События в пьесе нарастают, как снежный ком. Тут и интриги городового, который является «четвертой рукой царя», как уверяет Мозговоер шляхтича Влоцлавского:

«Городовой Головешка, пане, знаком с исправником, исправник, пане, знаком с губернатором, а губернатор, пане, ездит к царю».

Тут и притязания самого пана Влоцлавского, который претендует на долю в кладе, не прилагая никаких усилий для его отыскания и отказывающийся дать хоть копейку на это дело. «Субсидирует» раскопки Идл Торба, меняла и мелкий ростовщик, который норовит урвать львиную долю клада. Наконец приехавший граф, который, очевидно, решил, что раз люди ищут, значит в этом что-то есть, велит оцепить и раскопать старое еврейское кладбище.

Золотоискателей во главе с Лейви Мозговоером еще не коснулся век рационализма. Над ними еще довлеет средневековье с его суевериями, как и в комедии «Развод», где две женщины всерьез ведут разговор о том, что какой-то просвещенный молодой человек навел порчу на луну. Не показывается, да и только.

На таком фоне приехавший из Америки племянник Мозговоера Беня-Бен представляет собой в какой-то мере положитель-

ное явление. Этого уже сказками о кладах не проведешь. Этот уже знает, что золото находят в Клондайке, а не на старых кладбищах. Однако ловкач Беня-Бен, не верящий ни в бога, ни в черта, с исключительной самонадеянностью устраивающий свои дела под девизом «каждый за себя», не вызывает особых симпатий.

Кульминацией пьесы, где наиболее ярко выступает ее трагикомический смысл, является ночная сцена на кладбище, где согбенные фигуры с фонарями в руках, ища несуществующий клад, обмениваются такими репликами:

«Первая фигура. Знаете, кому я завидую? Покойникам.

Вторая фигура. Покойникам...

Третья фигура. Лежат себе спокойно... Они уже свое отбыли...

Четвертая фигура. Им уже не приходится ждать чудес, искать клады...»

В этих репликах выражено и сомнение в осуществлении надежды, и характеристика того отчаяния, которое порождает эфемерные надежды.

Комедия «Крупный выигрыш», имеющая подзаголовок «Народное представление», написана совершенно в другом плане, чем «Золотоискатели», и социальная среда здесь иная, и все же между этими двумя пьесами есть существенная точка соприкосновения. По идее «Крупный выигрыш» является как бы продолжением «Золотоискателей».

Лейви Мозговоер получил знамение «свыше» о том, где находится клад, и все-таки клад ему не дался, а портному Шимеле Сорокеру он открылся. Портной выиграл по лотерейному билету двести тысяч, и именно в тот день, когда хозяин собирался выбросить его из квартиры, а мясник и бакалейщик также потребовали немедленной уплаты за свой товар.

«Крупный выигрыш» — это единственное произведение Шолом-Алейхема, в котором мечта бедняка о богатстве исполнилась. Но и здесь она исполнилась условно. Шимеле — богач на миг. Он всего лишь участник веселого народного представления, где показан бедный портной, который выиграл двести тысяч. В таком плане поставил комедию Московский Государственный Еврейский театр с народным артистом СССР Михоэлсом в заглавной роли.

Оставаясь, по существу, самим собой, Шимеле с детским увлечением играет в богача. Ему нравится сидеть в мягком кресле, ему нравится его новое имя (не Шимеле, а Семен Макаро-

вич), его забавляют деловые предложения, которые поступают к нему со всех сторон, ему приятно заниматься благотворительностью. Но вместе с тем Шимеле тяготится своей новой ролью. Прежде всего его томит безделье: «Впору с ума сойти. Хоть бы какая-нибудь работенка!» Потом он не может привыкнуть к фальши, которая проникла в его жизнь, ко всяким «светским» приличиям. Каждый раз, когда лакей докладывает ему о ком-нибудь, Шимеле спрашивает с удивлением: «Ну так почему же он не входит?» — забывая, что без доклада к нему уже нельзя входить. Он забывает, как с кем надо разговаривать, и больше всего радуется встрече с портновскими подмастерьями Коплом и Мотлом, которые оба влюблены в его дочь и потом дружно помогают ей бежать из родительского дома, еще не зная, кому из них она отдаст предпочтение. Дочь портного и оба влюбленных в нее парня воспринимают богатство Шимеле как несчастье.

«...Суждено же человеку стать буржуком... миллионщиком»,— с сожалением, будто речь идет о тяжелом заболевании, замечает Копл, узнав о крупном выигрыше.

Уже в начале второго действия, когда Шимеле впервые предстает перед зрителем в роли богача, подчеркивается условность всего того, что с ним происходит.

Шимеле сидит в кресле с книжкой в руках. На вопрос жены, что он читает, Шимеле отвечает, что читает «критику», написанную каким-то шутом по имени Шолом-Алейхем, и что тот высмеивает портного, который был когда-то бедняком и вдруг разбогател. Шимеле весьма сочувственно относится к автору «критики», он и сам готов посмеяться над собой вместе с этим «свойским парнем» Шолом-Алейхемом.

В конце последнего действия Шимеле уже по собственному почину рассказывает свою историю:

«Люди! Вы, наверно, слышали, что бедный портной выиграл крупный выигрыш, двести тысяч? Это я и есть, Шимеле Сорокер меня зовут...»

Доверившись в простоте своей двум жуликам, Шимеле в один момент теряет все богатство. И как человек, которому снился сладкий сон, сменившийся тут же кошмаром, вначале кричит, а потом, проснувшись окончательно, рад, что сон прошел, так и Шимеле после первого потрясения мгновенно трезвеет.

«А теперь чад вышел, и я отрезвился: и я вижу, что был дураком и заслужил, чтобы мне всыпали...»

Этими словами Шимеле отметает то нечистое, что прилипло к нему, когда он выступал в роли богача. Он рад тому, что дочь «соединяется со своей ровней, выбрала себе мужа из нашенских, своя братва — утюг да игла. И слышать не хотела о том шалопае, об аристократе, который строил глазки пятидесяти тысячам, что я собирался дать ей в приданое...»

Сон Шимеле развеялся, как дым. И никому не жалко, что не стало богача Семена Макаровича Сорокера. Зато портновская братия осталась без потерь.

12

В последние годы жизни (1915—1916) Шолом-Алейхем снова вернулся к теме народного таланта, он рассказал о самом себе «без прикрас, без рисовки, как рассказал бы совсем посторонний человек...»

Автобиографическая повесть «С ярмарки» приводит нас к истокам творчества писателя, в ней мы находим идеи, темы и сюжеты многих его произведений. В ней дан и образ самого Шолома в детстве и в юности, показано формирование личности будущего народного писателя.

Этим, однако, не исчерпывается значение повести «С ярмарки». Здесь развернута широкая картина еврейской жизни 60—80-х годов прошлого века, здесь показаны страдания народные, которые побудили Шолом-Алейхема к писательскому подвигу.

Спокойно, с большой обстоятельностью, нанизывая, как это ему свойственно, историю на историю, лепя портрет за портретом, писатель рассказывает о разорении народных масс и об их стремлении к счастью и свету. Он показывает образованных людей-экстернов и влияние на них русской передовой общественной мысли. В повести «С ярмарки» мы видим одаренность народа не только в образах детей (самого Шолома и его товарищей — сироты Шмулика и Меера из Медведевки), но и в ярких образах музыкантов и даже в свадебной пляске «на свечах» дяди писателя.

История мытарств молодого Шолома в поисках места в жизни далеко перерастает рамки автобиографии. Вопросы «Что делать?», «Как найти свой жизненный путь?» мучили и сейчас еще мучают не одного молодого человека из народа, не находящего приложения своих сил в капиталистическом обществе.

В зимнюю стужу у ворот покосившегося дома с широким фасадом сидит на лавочке белокурый мальчик. В дом он не решается войти. Вот если бы сейчас к воротам подъехала большая подвода, пахнущая таранью, укрытой циновками, или извозчик привез бы веселых мастеровых, мальчик указал бы им огромный двор с сараями для лошадей и повозок, крича во весь голос: «Сюда, дяденька, сюда заезжайте!»

Затем он ввел бы пассажиров в неуютный дом, разгороженный на несколько каморок с деревянными койками для постояльцев, и тогда он сам мог бы погреться на кухне у печки. Но, увы, зимой пароходы по Днепру не ходят, и проезжих в городе Переяславе мало. Если и приезжает какой-нибудь богатый купец в медвежьей шубе и с большими желтыми чемоданами, он останавливается не в заезжем доме Нохума Рабиновича (отца мальчика), а в богатой гостинице Рувима Яснoградского.

Мальчик, сидящий на лавочке у ворот, — это Шолом Рабинович, будущий писатель Шолом-Алейхем, сто лет со дня рождения которого отмечается всем миром в 1959 году.

У Шолома богатое воображение. Оно уносит его далеко от неприглядного, скучного дома, и он забывает про стужу. Глубоко засунув руки в рукава рваного полушубка, он мечтает о кладе, который якобы зарыт в местечке Воронкове, где Шолом провел ранние годы детства. Родился Шолом-Алейхем второго марта 1859 года в городе Переяславе (ныне Переяслав-Хмельницкий), куда семья Рабиновича вернулась обратно после постигшего их разорения в Воронкове.

Холод и голод берут свое. Шолом входит в дом. Но тут на него набрасывается мачеха с ее «богатой, цветистой речью». Слова ее «вертятся, вьются, льются, как масло:

— Чтоб тебя скрутило, творец небесный, чтоб тебе и болячки, и колики, и ломота, и сухота, и чесотка, и сухотка, и чахотка, чтоб тебя кусало и чесало, трясло и растрясло, и вытрясло, и перетрясло, боже милостивый, отец небесный святой и милосердный!»

Так жил Шолом, в тринадцать лет лишившийся матери, в большой разоренной семье. Тут были и его родные братья и сестры, и дети отца с мачехой, и дети мачехи от первого брака. Жить было трудно, но Шолома выручала его природная веселость. Первым его «произведением» был список проклятий, расточаемых мачехой, составленный в алфавитном порядке.

Летом, когда на Днепре открывалась навигация, заезжий дом Рабиновича бывал полон постояльцев. Здесь останавливались мелкие торговцы, мастеровые, маклеры, музыканты. Шолом с жадностью присматривался к этим людям, следил за их мимикой и жестикуляцией, прислушивался к их разговорам, не подозревая, что пройдут годы, и многие из них заживут второй жизнью на страницах его произведений.

Шолом, так же как и его любимый герой — мальчик Мотл, часто подмечал смешное. Он так похоже имитировал окружающих, их манеры, повадки, разговоры, что все, видевшие эти «представления», покатывались со смеху. Но ему так же нередко попадало и от мачехи и от учителей за то, что он, насмешник, передразнивает всех уважаемых людей города.

Отец Шолома, хотя и был человеком патриархального воспитания, отличался ясным умом и тяготел ко всему новому. В его доме собирались передовые люди города, среди них и Арнольд из Подворков, описанный с большой любовью писателем в его автобиографической повести «С ярмарки».

Не имея возможности получить образование, Арнольд только благодаря исключительной силе воли, живя отшельником в крошечной каморке, постиг науки. Он открыто и смело порицал богачей и заправил города за притеснение народа, высмеивал невежество, социальные и религиозные предрассудки, ратовал за светское образование для детей. Благодаря влиянию Арнольда отец разрешил Шолому поступить в Переяславское уездное училище.

Окончив училище с отличием, Шолом мечтает о поступлении в Житомирский учительский институт, единственное учебное заведение, доступное в те времена для еврейского юноши из несостоятельной семьи. Но и туда ему не удалось попасть.

Для Шолома настает очень тяжелое время. Он ощущает в себе необыкновенную духовную энергию, но еще не знает, к чему эту энергию приложить. Он скитается по маленьким городкам и местечкам, дает частные уроки и терпит бесконечные унижения. Нередко ему приходится спать на полу, нередко он ловит на себе за столом свирепый взгляд хозяйки, которую раздражает его аппетит. Случалось ему также укачивать по ночам маленьких хозяйских детей.

Шолом попадает домашним учителем к богатому арендатору помещичьих земель — Элимелеху Лоеву, где он впервые встречается со своей будущей женой, Ольгой Лоевой. Счастье как буд-

то улыбнулось ему. Все в доме хорошо относятся к способному юноше. К его услугам довольно богатая библиотека. Он пополняет свои знания, с увлечением читает произведения русских и европейских классиков; к этому времени относятся и его первые литературные опыты. У Шолома много досуга, и он гуляет по полям, по лесу. Он впервые по-настоящему видит природу, познает ее прелести. Эти впечатления позднее выросли в замечательные картины украинской природы, с которыми мы встречаемся в произведениях Шолом-Алейхема.

В один ясный зимний день на Шолома обрушился неожиданный удар. Когда он вышел утром из своей комнаты, то застал в доме одних слуг. Хозяева внезапно уехали всей семьей. На столе лежал пакет с жалованьем. Ни записки, ни малейшего объяснения. На дворе стояли запряженные сани для учителя, и он со стесненным сердцем, полным жгучей обиды, уехал. Впоследствии выяснилось, что богач Лоев, несмотря на свое благосклонное отношение к Шолому, пришел в страшную ярость, когда узнал, что этот бедняк учитель посмел полюбить его дочь.

В течение нескольких лет Шолом писал письма, полные отчаяния, своей возлюбленной, но Лоев подкупил почтмейстера, и тот передавал все письма ему в руки.

Изгнанный из дома Лоевых, Шолом отправляется в Киев искать работы. Но тщетно. Тогда он становится казенным раввином в Лубнах Полтавской губернии, где он провел два с лишним года, гнушаясь взятой на себя ролью.

В 1883 году Шолом Рабинович и Ольга Лоева снова встретились и против воли ее отца поженились. В этом же году были опубликованы первые произведения Шолом-Алейхема на еврейском языке —«Два камня», «Выборы» и «Перехваченные письма».

В 1885 году в жизни Шолома Рабиновича произошла еще одна значительная перемена. Молодой интеллигент мечтатель, горький бедняк вдруг стал обладателем большого состояния, которое он получил в наследство после смерти своего тестя Лоева. Со свойственной его натуре пылкостью он начал «ворочать делами» на киевской бирже. Почуяв богатую добычу, вокруг него завертелись жулики и спекулянты, и в течение пяти лет он потерял все свое состояние.

В 1888 году Шолом-Алейхем начинает издавать на свои средства сборники «Еврейская народная библиотека», вокруг которых собираются прогрессивные силы тогдашней еврейской литературы.

Где только теплилась искра таланта, Шолом-Алейхем обязательно находил ее и своим дружеским вниманием помогал ей разгореться. Письма его летели во все концы России, в самые глухие углы, заставая иногда какого-нибудь писателя за конторскими книгами, за прилавком магазина, в сапожной мастерской, а то и в погребальном братстве. Жить одним только литературным трудом еврейскому писателю было тогда невозможно.

Шолом-Алейхем установил в своих сборниках неслыханно высокие гонорары, кроме того, он поддерживал материально особо нуждающихся и престарелых писателей. Заботясь о просвещении простого народа, он привлекает к участию в «Еврейской народной библиотеке» представителей различных отраслей знания. Тут же он печатает свои собственные романы «Стемпеню» и «Иоселе-соловей», а также прогремевший в свое время памфлет «Суд над Шомером», где писатель дал бой бульварной литературе, которая навязывала народным массам несбыточные иллюзии и насаждала дурной вкус. Сборники «Еврейская народная библиотека» прекратили свое существование вместе с денежным банкротством Шолом-Алейхема.

В период своего кратковременного пребывания в роли богача писатель близко узнал мир дельцов, наблюдал маклеров, спекулянтов, подрядчиков. Впоследствии деловой мир Киева нашел художественное воплощение в комедии «Якнегоз» (1894), в образах которой некоторые киевские богачи узнали себя и добились от царской цензуры запрета этой комедии. Здесь же, на киевской бирже, зародилась идея одного из самых замечательных произведений Шолом-Алейхема — «Менахем-Мендл» (начато в 1892 году). Вскоре, в 1894 году, он начал писать второе свое основное произведение — «Тевье-молочник».

Творчество Шолом-Алейхема с трудом поддается хронологии, несмотря на то что автор с большой тщательностью датировал свои произведения. Трудность заключается в методе его работы. Темы и образы так и роились в его воображении, и он писал одновременно несколько вещей. Писатель оставлял одно начатое произведение, чтобы взяться за другое, потом снова возвращался к первому. Так, «Менахем-Мендл» и «Тевье-молочник» создавались параллельно в течение двадцати с лишним лет. В этот же период были написаны основные касриловские серии, а также «Железнодорожные рассказы» (1902—1910). Многие главы повести «Мальчик Мотл» и автобиографической повести «С ярмарки» тоже совпадают по времени написания. На протяжении де-

сятилетий Шолом-Алейхем сохранял свежесть восприятия материала. К оставленным на время персонажам он возвращался так, как будто никогда с ними и не расставался. Он только проводил их через новый этап жизни в стране и, следовательно, также их собственного существования.

Революция 1905 года вызывает у Шолом-Алейхема самый горячий отклик. Он пишет фельетоны и памфлеты, направленные против царского строя; ряд его рассказов этого периода посвящен революционерам («Годл», «Шмулик», «Иосиф»). Пережив ужасы киевского погрома в октябре 1905 года, Шолом-Алейхем эмигрирует в Америку.

В первое время пребывания Шолом-Алейхема в Америке не только еврейская, но и американская пресса всячески приветствует и рекламирует его. Но вскоре писатель ощутил вокруг себя пустоту и полное непонимание. Достаточно указать, что печатание повести «Мальчик Мотл» было вдруг прервано по причине... ее «нехудожественности». В театре Шолом-Алейхем застал еще более неприглядную картину, чем в литературе. Его поразила господствовавшая здесь бульварщина, против которой он вел такую беспощадную борьбу еще в 80-х годах, в начале своего творческого пути. Кроме того, вокруг него самого закипели грубые предпринимательские страсти, и Шолом-Алейхем с ужасом в душе покинул «страну свободы», прожив там меньше года.

Спустя несколько лет после возвращения на родину писатель, поправившись на курорте на десять фунтов, шутя пишет в одном из своих писем, что если дело так дальше пойдет, он через год будет весить 330 фунтов, а с таким весом ему успех в Америке обеспечен. Не надо ничего писать, надо только дать анонс:

> ¡«ЧУДО ЧУДЕС!
> ¡ПРИХОДИТЕ! ВАЛИТЕ ТОЛПАМИ!
> СМОТРИТЕ! ¡УДИВЛЯЙТЕСЬ!
>
> САМЫЙ КРУПНЫЙ ЮМОРИСТ В МИРЕ!
> ВЕСИТ 330 ФУНТОВ!
> —*ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ*—
>
> Вход один доллар...
>
> Не прозевайте! Передайте своим друзьям!»

На основе американских впечатлений у Шолом-Алейхема окончательно созрел замысел давно задуманного романа «Блуждающие звезды» (1909—1911) и многих рассказов. В одном из них портной, описывая пережитое им горе другу-портному в Америке, заканчивает письмо следующими словами:

«По твоему письму я вижу, что имей мы здесь настоящую конституцию, нам бы никакая Америка не нужна была. Тогда мы бы имели здесь лучшую Америку, чем вы там... Ты только не горюй, Янкл! Такой бы мне слиток золота и такую бы болячку Крушевану [1], какую конституцию мы еще будем иметь!..»

В 1908 году Шолом-Алейхем совершил поездку по городам и местечкам России, где читал свои произведения. Во время этой поездки он заболел туберкулезом и по совету врачей уехал лечиться в Италию. К концу того же года был отпразднован двадцатипятилетний юбилей литературной деятельности Шолом-Алейхема. Слава писателя росла, а материальное положение его оставалось тяжелым. Обремененный большой семьей, он заключал кабальные договоры с частными издателями на печатание своих произведений. Издатели наживались на его книгах, а писателю не было обеспечено мало-мальски сносное существование. Лишь в 1909 году юбилейному комитету удалось выкупить у частных издателей произведения Шолом-Алейхема и передать их в собственность автора. Вся прогрессивная часть еврейского населения России вносила для этой цели свои трудовые гроши.

В том же году издательство «Современные проблемы» начало издавать произведения Шолом-Алейхема на русском языке. По поводу повести «Мальчик Мотл», которая была напечатана в первом томе этого издания, Алексей Максимович Горький выразил свое восхищение в известном письме к автору.

С А. М. Горьким Шолом-Алейхем был лично знаком с 1904 года, но в переписке с ним состоял и раньше. Горький, всегда бережно и любовно относившийся к литературе угнетенных народов, вел переговоры с Шолом-Алейхемом об издании на русском языке сборника еврейских писателей. Осуществлению этого замысла помешал разразившийся в 1903 году в Кишиневе погром с сотнями человеческих жертв. Шолом-Алейхем обратился с письмами к Льву Толстому, Чехову, Короленко и Горькому, приглашая их принять участие в задуманном им сборнике в помощь пострадавшим от кишиневского погрома. Русские писатели горячо отклик-

---

[1] Известный черносотенец.

нулись на его призыв. Толстой в ответном письме с возмущением указывал, что погром полностью инспирирован царским правительством, что русский народ в нем не повинен. Сборник вышел под названием «Помощь».

В 1914 году Шолом-Алейхем снова предпринял поездку по городам и местечкам России и всюду с восторгом был принят народными массами. Шолом-Алейхем был исключительно талантливым чтецом, и многие поклонники его таланта сопровождали писателя из города в город, чтобы лишний раз насладиться его чтением, как это было в свое время с Чарльзом Диккенсом.

Первая мировая война застала Шолом-Алейхема на одном из немецких курортов. Как русский подданный он был выслан из Германии, а вернуться в Россию уже не было возможности из-за военных действий. Писатель был вынужден отправиться в Америку. Там он и умер, вдали от родины, 15 мая 1916 года, пятидесяти семи лет от роду. До последних дней жизни он все мечтал по окончании войны с первым же пароходом вернуться домой. Последнее высказанное им пожелание было, чтоб его похоронили рядом с отцом, в Киеве.

В своем завещании Шолом-Алейхем писал:

«Где бы я ни умер, пусть меня похоронят не среди аристократов, богачей и знати. Пусть меня похоронят там, где покоятся простые евреи рабочие, настоящий народ, дабы памятник, который потом поставят на моей могиле, украсил простые могилы вокруг меня, а простые могилы дабы украшали мой памятник — как простой честный народ при моей жизни украшал своего народного писателя».

Произведения Шолом-Алейхема переведены на многие языки как в Советском Союзе, так и за его пределами. Его творчество, простое и ясное, то повергающее человека в грустную думу, то озаряющее его душу ярким светом надежды, дорого всем народам.

И. Л. Перец, писатель с большим общественным темпераментом, охарактеризовал роль Шолом-Алейхема такими словами:

«Важнейшее социальное назначение юмориста в том, что он соскабливает плесень. Снимая плесень, он обнажает гнилое, нездоровое. Найдутся руки, которые эту гниль устранят, и еще руки для созидания».

Шолом-Алейхем — писатель мирового значения. Он стоит в первом ряду писателей прошлого, которые своим творчеством прокладывали путь для созидателей будущего.

Р. РУБИНА

СТЕМПЕНЮ

Еврейский роман

Моему дорогому дедушке реб *

МЕНДЕЛЕ-МОЙХЕР-СФОРИМУ * [1]

Милый, дорогой дедушка!

Мой первый еврейский роман «Стемпеню», посвященный Вам, в полном смысле слова — *Ваш* роман. Он Ваш не только потому, что посвящается Вам, но и потому, что Вы вдохновили меня на этот труд.

В одном из Ваших писем ко мне Вы говорите:

«Я бы Вам не советовал писать романы: Ваш жанр, Ваше призвание — совершенно иного рода. Вообще, если в жизни нашего народа и бывают *романы*, то они носят весьма своеобразный характер, это надо учесть и писать их по-особому...»

Ваши слова запали мне глубоко в душу. Я понял, чем должен отличаться еврейский роман: ведь вся еврейская жизнь, в особенности обстановка, в которой возникают любовные отношения, совсем не те, что у других народов. К тому же еврейскому народу присущи свои особые черты, свои обычаи, привычки, свой жизненный уклад. Все эти своеобразные национальные особенности должны найти отражение в романе, если он претендует на жизненную правду.

---

[1] Слова и понятия, отмеченные звездочкой, пояснены в примечаниях в конце тома.

Таков основной вывод, сделанный мною из Вашего наставления. Эти мысли я и пытался воплотить в образе молодой еврейской женщины — красавицы Рохеле, героини моего романа, и в образах других, окружающих ее персонажей. Не мне судить, насколько мой замысел удался. Но у меня было искреннее желание дать такой именно роман, какой Вы совершенно справедливо требуете от еврейского романиста.

Стемпеню еще и потому Ваш, дорогой дедушка, что Вам принадлежит как название, так и идея этого романа. В одном из ваших последних произведений я как-то встретил мимоходом имя Стемпеню, обладателя бутылочки с «любовными каплями», которыми он снабжает для определенных целей лакеев и прислуг... Этого было достаточно, чтобы в моей памяти ожили все те удивительные рассказы о Стемпеню, которых я в детстве наслышался в хедере*. Остальные дополнила фантазия.

Найдется, наверно, немало мест, особенно в Литве, где о Стемпеню никто и слыхом не слыхал, и самое имя его там покажется странным. Зато это имя пользуется большой известностью у нас во всей глупской округе* от Мазеповки* до самого Егупца*, а о Ваших местечках — Гнилопятске, Цвиачице, Тунеядовке * — и говорить нечего: там и ребенок знает, кто такой Стемпеню, откуда он родом и чем прославился.

Но дело не в одном только Стемпеню. Я хотел изобразить в своем романе три основных типа или, как принято выражаться, вывести на сцену трех героев: *еврейского артиста-скрипача Стемпеню*, *еврейскую женщину из хорошего дома — красавицу Рохеле* с ее пониманием семейной чести и *еврейскую молодуху Фрейдл* с ее торгашеской натурой, с ее жадностью к деньгам. Это — три разных мира. Стемпеню, Рохеле и Фрейдл — это, так сказать, мои почетные пассажиры, занимающие главное место в фургоне. Остальные персонажи — только попутчики, кое-как примостившиеся на задке. Поэтому этим персонажам я уделил мало внимания, сосредоточив все силы творческого воображения на обрисовке главных героев.

Я считаю, что еврейские музыканты — это особый мирок, заслуживающий более внимательного наблюдения, чем это сделано в моем романе. Но, чтобы проникнуть в этот мирок, нужен Ваш глаз, дорогой дедушка, Ваше перо и Ваше трудолюбие.

Ах, где взять это трудолюбие, вдумчивое отношение к каждому слову? Как вооружиться терпением?

«Над каждым произведением, дорогой внук, — пишете Вы в другом письме, — надо много и долго работать, трудиться в поте лица, оттачивать каждое слово. Запомните мой наказ — шлифовать, шлифовать и шлифовать!»

Легко сказать — шлифовать! В том-то и беда, что мы, писательская молодежь, вечно торопимся, что мы норовим закончить начатое произведение, как говорится, «стоя на одной ноге», не переводя дыхания, не вдумываясь в каждый образ, не обрабатывая и не шлифуя каждое слово так, как это делаете Вы.

Я знаю, милый дедушка, я чувствую, что моего «Стемпеню» надо было бы перемыть в нескольких водах прежде, чем пустить в свет божий. Конечно, из-под Вашего пера, дедушка, «Стемпеню» вышел бы совершенно иным: Ваш «Стемпеню» имел бы совсем другой облик. У Вас, дедушка, получился бы рассказ в рассказе, да сверх рассказа рассказ, а потом уже и сам рассказ.

«Мне мало того, — говорите Вы в одном из своих писем, — что на картине изображено хорошенькое личико; хочется еще жизненной правды, ума, мысли, как у живого человека. Всякая картина, помимо блесток стиля, *должна дать что-нибудь уму и сердцу*».

Но эта тайна, увы, открыта только Вам. Создать картину, которая имела бы два лица, — лицевую сторону и изнанку, верх и подкладку, видимый образ и его скрытую сущность, — на это только Вы, дедушка, способны, и никто другой в нашей литературе. Кто посмеет сравнивать себя с Вами? Мы, молодежь, считаем себя удовлетворенными, если произведение

выходит из наших рук хотя бы неискалеченным, с живыми чертами литературного творения.

Примите же, милый, дорогой дедушка, мой скромный дар — мой первый роман. Да будет воля того, чье имя свято, чтобы Вы приняли моего Стемпеню со всей благосклонностью и чтобы он доставил Вам удовольствие, как Вы сами того желаете.

Ваш преданный внук

Автор.

Киев, 1886

I

Родословная Стемпеню

Прозвище Стемпеню перешло к нему по наследству от отца, происходившего из села Стемпеню, неподалеку от Мазеповки. Его покойный отец был, как и он, музыкант, звали его Берл-бас, или Берл из Стемпеню. Берл-бас не только играл на контрабасе, но и был великолепным бадхном* — рифмоплетом и затейником. На свадьбах он то плясал по-медвежьи, то, выворачивая веки, прикидывался нищим, то изображал роженицу, которая кричит не своим голосом: «Ой, бабка, клянусь всем святым, больше этого никогда не будет!»... Или пустит, бывало, неожиданно посреди свадебного зала струю воды, заставляя мужчин подбирать полы своих длинных сюртуков, а женщин — юбки... А то вдруг незаметно пристегнет какую-нибудь ерунду к переднику матери невесты или выкинет другую забавную шутку в этом роде.

Профессию музыканта Стемпеню унаследовал от дедов и прадедов. Его отец, Берл-бас, как мы уже знаем, играл на контрабасе. Дед, реб Шмулик-трубач, играл на трубе, прадед, Файвуш-цимбалист, — на цимбалах, а прапрадед Эфраим-файол... Словом, род Стемпеню до десятого колена состоял сплошь из музыкантов.

Надо отдать справедливость нашему Стемпеню: он не стыдился своей профессии, как это бывает с иными музыкантами. И ничего удивительного: ведь Стемпеню приобрел славу не только в Мазеповке, имя его прогремело чуть ли не на весь мир. Шутка ли — Стемпеню!

Каждый еврей считал великой для себя честью послушать пение Нисона Бельзера, шутки и песни бадхна Годика или музыку Стемпеню. Уже по одному этому вы можете судить, что Стемпеню не был заурядным музыкантом и не зря пользовался славой наравне со всеми «великими».

Евреи любят музыку и знают в ней толк, — вряд ли кто будет оспаривать это. Нужды нет, что им не очень-то часто приходится услаждать свой слух музыкой, — с какой это радости человек вдруг запоет или пустится в пляс? Но все же, говорите что хотите, — евреи умеют ценить и музыку, и пение, и прочие искусства.

Приедет к нам в местечко известный кантор, — не иначе как по билетам пускают в синагогу. А уж о свадьбах и говорить не приходится — свадьбы, как известно, без музыки не бывают. Слушать, как заливается оркестр за свадебной трапезой, играя что-нибудь жалобное (веселое будет после), — за это мы готовы все отдать! Народ сидит и благоговейно слушает. А музыканты играют грустную, заунывную, за сердце хватающую мелодию. Скрипка то жалобно стонет, то плачет, остальные инструменты поддерживают ее, издавая такие же скорбные звуки. Хмурое облако надвигается на лица слушателей, душу томит печаль — сладостная, но все же печаль. Каждый задумчиво опускает голову и, водя пальцем по тарелке либо скатывая шарики из свежей халы, погружается в размышления, в мир безрадостных мыслей. У каждого свое горе, своя забота: забот еврею не занимать стать. Так сливаются воедино печальные мелодии и грустные думы, и каждый вздох скрипки стоном и болью отдается в сердцах свадебных гостей. Человеческое сердце вообще, а еврейское в особенности, что скрипка: нажмешь на струны — и извлекаешь всевоз-

можные, но больше скорбные звуки... Но под силу это лишь большому музыканту, подлинному мастеру — такому, каким был Стемпеню.

Ну и мастер же был Стемпеню! Бывало, только возьмет в руки скрипку, проведет по ней смычком, и скрипка заговорит. Да как заговорит! Живым, подлинно человеческим голосом. В этом голосе — мольба и упрек, душераздирающий стон, мучительный крик, идущий из самого сердца... Стемпеню склоняет голову набок. Длинные черные локоны в беспорядке падают на широкие плечи. Глаза, черные сверкающие глаза, глядят ввысь, а прекрасное светлое лицо смертельно бледнеет... Еще мгновение — и нет Стемпеню! Видишь только, как летает рука вверх и вниз, вверх и вниз, — и струятся звуки, и льются мелодии, самые разнообразные, но больше всего унылые, скорбные, болью отзывающиеся в сердце. Слушатели замирают, немеют от восторга. Сердца смягчаются, слезы выступают на глаза. Люди вздыхают, люди стонут, люди плачут... А Стемпеню? Где Стемпеню? Какой там Стемпеню? Спросите его, где он находится — он и сам не скажет. Знай свое — водит смычком вверх и вниз, вверх и вниз, и больше ни до чего ему дела нет... Кончив играть, Стемпеню бросает скрипку и хватается рукой за сердце. Глаза горят, как венчальные свечи. Прекрасное лицо все светится.

Гости словно очнулись от сна, печального, но сладостного сна. Все хором выражают свой восторг: охают, вздыхают, восхищаются, расхваливают музыканта на все лады и нахвалиться не могут:

— Ну и Стемпеню! Ай да Стемпеню!

А женщины? Что тут говорить о женщинах? Вряд ли накануне Судного дня при поминании дорогих покойников они столь неистово плачут, как плачут в те минуты, когда Стемпеню заливается на своей скрипке. Плач о разрушении храма Соломонова ничто в сравнении с тем потоком слез, которые проливают женщины, слушая игру Стемпеню.

— Благословил бы меня господь, чтобы на свадьбу моей младшей дочери я была в состоянии пригласить Стемпеню, о боже праведный!

Такие и подобные им пожелания шепчут про себя женщины, вытирая заплаканные, распухшие от слез глаза и раскрасневшиеся носы. При этом они мечтательно вскидывают головы, выставляя напоказ ожерелье на шее; а золотые серьги, перстни, броши, цепочки и прочие украшения так и сверкают, так и переливаются всеми цветами радуги.

Что уж говорить о девушках! Они стоят неподвижно, как прикованные к месту, и широко раскрытыми глазами глядят на Стемпеню и его скрипку. Ни одна не шевельнется, бровью не поведет. А сердечко бьется под корсетом, и часто из глубины души вырывается затаенный вздох...

II

Стемпеню и его оркестр

Трудно представить себе то возбуждение, ту шумную радость, которая охватывает жителей местечка при появлении там Стемпеню с его оркестром.

— Глядите, глядите! Вон там, за мельницей, показалась четверка лошадей. Не иначе, как родные жениха. Как по-вашему?

— Нет, по-моему — музыканты. Это едет Стемпеню со своим оркестром.

— Кто? Стемпеню? Стемпеню уже здесь? Вот веселую свадьбу затеял Хаим-Бенцион Глок, болячка ему в бок!

Румянец заиграл на щеках молодых женщин. Девушки спешат причесаться, заплести свои длинные косы. Мальчуганы, засучив штанишки, бегут встречать Стемпеню. Отцы семейств, бородачи — и те не могут скрыть радостную улыбку: им доставляет истинное удовольствие приезд знаменитого музыканта к Хаим-Бенциону Глоку. Да отчего бы им и не радоваться? Денег им это стоит, что ли?

К тому времени, когда четверка лошадей подкатывает к заезжему дому, улица уже запружена наро-

дом. Всем любопытно поглядеть на Стемпеню с его компанией, и каждый останавливается хоть на минуту у крытого фургона.

— Ишь как прет! — слышатся восклицания, и каждый, как водится, расталкивает толпу, стараясь пробраться в первые ряды. — Глядите, глядите на него, как он локтями орудует! Непременно хочет быть первым. Чего вы тут не видали? Музыканты как музыканты!..

Так кричат люди со всех сторон, что не мешает, однако, этим же самым крикунам настойчиво протискиваться к фургону с музыкантами.

Тем временем музыканты один за другим начинают выходить из повозки.

Впереди всех — Иокл-контрабас (что играет на контрабасе), сердитый мужчина с приплюснутым носом и клочьями ваты в ушах. За ним — Лейбуш-кларнет, заспанный человечек с толстыми губами. Затем — небезызвестный бадхн Хайкл-горбун. Потом — черномазый взъерошенный детина с такими мохнатыми бровями, что страх берет, неимоверно волосатый, похожий на дикого жителя пустыни, — это Шнеер-Меер, вторая скрипка. За ними из фургона выскакивают два-три молодца удивительно безобразного вида, с одутловатыми щеками, подбитыми глазами и с огромными, как лопаты, зубами, — это ученики. Пока что они работают бесплатно; со временем они станут настоящими музыкантами. И наконец напоследок выкатывается на своих кривых ножках рыжий Мехча с барабаном, который своими размерами значительно превосходит барабанщика. У Мехчи пробивается бородка, рыжая бородка, и только на одной стороне лица, на правой, другая же сторона его лица — левая — гола, как пустыня. Мехча-барабанщик, надо вам знать, женился на тридцатом году жизни, и жена его, как поговаривают, полуженщина-полумужчина.

Ребятишки, разумеется, тоже не остаются в стороне, когда в местечко приезжает Стемпеню со своим оркестром. То и дело какой-нибудь озорник, подкравшись к музыкантам, бухнет кулачком в барабан

либо дернет толстую струну контрабаса. Разъяренный Иокл-контрабас тут же дает шалуну подзатыльник.

Между тем оживление на улице растет. Вот и сам жених прибыл и с ним несколько десятков юношей, которые выехали встречать его далеко за местечко, туда, где стоят мельницы. Словом, в местечке Ямполе — радость и ликование.

И не только в Ямполе, но и в Стриче, и во всех других местечках, которые Стемпеню удостаивает своим посещением. То же происходит в Мазеповке, где Стемпеню поселился навсегда... Всюду прославленный музыкант вызывает бурю восторгов.

III

Приготовления Стемпеню

Отчего так ликует Мазеповка?

Реб Хаим-Бенцион Глок выдает замуж свою младшую дочь Ривкеле. Так почему бы не повеселиться? На такой свадьбе стоит побывать: ведь Глок, что ни говори, один из первых богачей в Мазеповке. Много народу придет к Хаим-Бенциону Глоку на торжество: кто — по дружбе, кто — из зависти, кто — ради приличия, а кто — для того, чтобы блеснуть новыми сережками или ожерельем, купленными жене на последней ярмарке. Но больше всего привлекает людей Стемпеню.

Одним словом, народ валом валит на торжество; чуть не вся Мазеповка веселится на свадьбе Ривкеле, дочери Хаим-Бенциона Глока. А уж об Айзик-Нафтоле с его женой и детьми и говорить нечего: Айзик-Нафтоля, во-первых, компаньон Хаим-Бенциона и по лавке и по мельнице; во-вторых, они состоят между собою в некотором родстве, правда, весьма отдаленном: жена его приходится свойственницей жене Хаим-Бенциона со стороны матери, как говорится — седьмая вода на киселе.

Не удивительно, что жена Айзик-Нафтоли Двося-Малка, как и подобает родственнице, хлопочет и суетится на свадьбе больше всех. В сущности, она ничего не делает, но кричит, командует, распоряжается и размахивает руками за десятерых...

Невестка Двоси-Малки, красавица Рохеле, стоит возле невесты, разодетая, словно принцесса. Ее большие синие глаза сверкают как алмазы, щеки — что две свежераспустившиеся розы. Одной рукой она поддерживает распущенные волосы невесты, которой женщины перед «покрыванием» * с плачем и причитаниями расплели косы, другой поглаживает свою белоснежную шею, совершенно не замечая, что два больших черных сверкающих глаза неотрывно глядят на нее.

Нанятая по случаю торжества прислуга — мужчины и женщины — носится, как угорелая. Сваты кричат:

— Ой, батюшки! Пора «усаживать» невесту. Доколе мучить бедных детей? Такой долгий летний день, а они все постятся *.

Кругом галдят: «Пора, пора», но это нисколько не меняет дела.

Айзик-Нафтоля в бархатном картузе бегает взад и вперед, заложив руки за спину, а Двося-Малка вопит во всю глотку. Родные жениха, так же как и родные невесты, без толку мечутся по комнате с простертыми руками, словно они жаждут дела, но не знают, с чего начать.

— Ну, почему же никто ничего не делает? — спрашивает родня жениха.

— Почему не приступают к делу? — возмущается родня невесты.

— Видали вы нечто подобное?! — вопит родня жениха. — Так долго морить голодом детей!

— Слыхали вы что-нибудь подобное?! — негодует родня невесты. — Так долго мучить голодных детей!

— Что это за беготня?

— И зачем они мечутся без толку?

— Все бегают, все суетятся, а дело ни с места! Ну и порядки!

— Бегают, шумят, а как доходит до дела — никого нет!

— Не довольно ли пустых разговоров? Пора приниматься за дело! Хватит суетиться без толку!

— Где же музыканты? — спрашивает родня жениха.

— Музыканты где? — вторит родня невесты.

Музыканты заняты своим делом: натирают смычки, настраивают инструменты. Иокл-контрабас дерет за ухо мальчишку, тихо приговаривая: «Ты шалопай этакий! Я тебе покажу, как дергать струну!» А Мехча-барабанщик, ни на кого не глядя, почесывает ту половину лица, на которой едва заметна скудная растительность. Бадхн Хайкл беседует с знакомым меламедом *, берет у него двумя пальцами понюшку табаку и сыплет шутками да прибаутками, как из дырявого мешка. Остальные музыканты, молодцы с одутловатыми лицами и огромными, как лопаты, зубами, перешептываются со Стемпеню о каком-то важном деле на своем музыкантском наречии.

— Кто эта девуля, что рядом с невестой? — спрашивает Стемпеню, кивая на красавицу Рохеле. — Поди-ка, Рахмиел, — обращается он к одному из одутловатых музыкантов, — разведай, кто она. Да прытко, Рахмиел, прытко!

Рахмиел не заставляет себя долго ждать.

— Это не девуля, — докладывает он, — это уже бабочка. Сноха Айзик-Нафтоли, родом из Сквиры. А вон тот, что шмыгает по комнате в бархатном картузе, — видите? — это ее муженек.

— Пропади ты пропадом, Рахмиел! — восклицает благодушно настроенный Стемпеню. — Так быстро все разузнал? Эх, да ведь она и вправду очень красивая бабочка! Смотри-ка, смотри, как она таращит свои гляделки!

— Если хотите, — говорит одутловатый Рахмиел, — я пойду покалякаю с ней.

— Провались ты сквозь землю, Рахмиел! Никто тебя не просит быть посредником. Пойду сам с ней покалякаю.

— А ну-ка, метни из скрипки пару черных глаз! — неожиданно врывается в разговор Шнеер-Меер. — Вымотай-ка жилы у публики своей скрипкой!

Стемпеню берет в руки скрипку и глазами подает знак оркестру. Музыканты настраивают свои инструменты.

IV

Скрипка Стемпеню

Наконец, с божьей помощью, усадили невесту на возвышение.

Ах, чувствую, что перо мое бессильно описать, как Стемпеню «усаживал» невесту. То не была обычная игра, пустое пиликанье на скрипке, а подлинное священнодействие, полное возвышенных чувств, проникнутое благородством. Стемпеню стал против невесты и обратился к ней с речью на скрипке, с длинной трогательной, блестящей речью о счастливой вольной девичьей жизни до замужества и об ожидающей ее тяжелой и мрачной женской доле. Еще несколько минут — и конец девичьему приволью! Наденут на голову фату, скроются под ней навеки длинные, пышные косы... Прости-прощай, веселая юность! Впереди бабье счастье! Ой, до чего же грустно, прости господи!

Так говорила скрипка Стемпеню. Женщины прекрасно понимали печальный смысл этой речи без слов, чувствовали его и заливались горючими слезами.

«Давно ли я сама была невестой, — думала про себя молодая женщина, глотая слезы. — Давно ли я вот так же сидела с распущенными волосами и думала, что светлые ангелы реют надо мной, что нет предела моему счастью? А теперь!.. Увы, теперь...»

— Благослови, господи! — молитвенно шепчет про себя старая мать, у которой полон дом дочерей на выданье. — Благослови, господи, мою старшую дочь, пошли ей скорее суженого! Но да будет доля ее счастливее моей, и да живет она со своим мужем не так,

как я со своим, — прости мне, господи, грешные мысли!..

Такие думы волнуют сердца женщин. А Стемпеню знай себе играет, и скрипка его говорит. Она играет жалобную мелодию, и ее поддерживает весь оркестр. Все замерло, никто не шелохнется. Тишина. Все, все хотят слушать Стемпеню. Приумолкли женщины, призадумались мужчины, и девушки и юноши взобрались на стулья и столы — все хотят слушать Стемпеню!

Тсс!.. Тише, замолчите!

Стемпеню заливается на своей скрипке, и сердце тает, как воск. Только и слышно: тех-тёх-тех!.. Только и видно: рука летает вверх и вниз, вверх и вниз... И раздаются чарующие звуки, струятся дивные напевы, печальные, тоскливые — прямо за сердце берут, душу выматывают. Толпа замерла, затаила дыхание. Сердца переполняются до краев, размягчаются, и слезы навертываются на глаза. Люди вздыхают, люди стонут, люди плачут... А Стемпеню? Где Стемпеню? Нет его! Исчезли и Стемпеню и его скрипка; лишь звуки, сладостные звуки наполняют комнату...

А красавица Рохеле, никогда до того не видавшая Стемпеню, Рохеле, знавшая о его существовании, но никогда в жизни не слышавшая его чудесной игры, прислушивается к волшебным звукам, к изумительным мелодиям и не понимает, что с ней творится: эти звуки и томят и ласкают. Что же это такое? Рохеле смотрит туда, откуда несутся сладостные звуки, и видит прекрасные пылающие черные глаза, глядящие на нее в упор, — они пронзают ее насквозь, как остро отточенные стрелы. Эти прекрасные горящие черные глаза смотрят на нее, кивают ей, говорят с ней без слов. Рохеле хочет отвести от них взгляд — и не может.

«Так вот он каков, Стемпеню!» — думает Рохеле.

Между тем обряд «усаживания» закончился, и родня засуетилась: пора вести молодых к венцу.

— Куда девались свечи? — спрашивает родня жениха.

— Свечи куда делись? — спрашивает родня невесты.

Снова шум и суета. Все хлопочут, бегут неведомо куда, толкаются, наступают друг другу на мозоли, в толчее обрывают кой-кому подолы платьев, потеют, бранят изо всех сил сарверов, те, в свою очередь, ругают родителей новобрачных, а свойственники тоже спорят между собой. Словом, весело хоть куда!

После венчания Стемпеню, воспользовавшись суматохой, покинул свою капеллу. Вот он уже в толпе женщин, около красавицы Рохеле, снохи Айзик-Нафтоли. Он заговорил с ней, улыбаясь и поглаживая рукой свою пышную шевелюру. Рохеле слегка покраснела и, потупив глаза, отвечала через пятое на десятое. Не пристало же ей ни с того ни с сего заводить разговор с музыкантом, да еще на людях!..

V

Первая встреча Стемпеню с Рохеле

О Стемпеню рассказывают всякие небылицы. Ходят слухи, будто он знается с колдунами, ворожеями и прочей нечистью, будто ему ничего не стоит отбить невесту у жениха, будто он владеет таким колдовством, что стоит ему только взглянуть на девушку, как в сердце ее вспыхнет такая пламенная любовь, что господь спаси и помилуй!

Многим матерям известна эта тайна, и поэтому они всячески оберегают своих дочерей-невест. Когда девушка разговаривает со Стемпеню, рядом всегда очутится старшая сестра, тетка, золовка или хотя бы посторонняя замужняя женщина... Правда, для Стемпеню в этом нет ничего лестного. Но что за беда! Слава его от этого не убавится. Какое отношение имеют подобные слухи к музыке? Все знают, что Стемпеню — отчаянный повеса. Ну и что ж? Ведь на свадьбу его приглашают не для того, чтобы породниться с ним.

Благословенна судьба ваша, еврейские женщины, и да благословит небо ваших мужей за то, что они

одарили вас прекрасным даром — свободой! Горе бедным девушкам, скованным цепями неволи! Они не выходят из-под бдительного надзора до тех пор, пока не накроют им головы свадебным покровом. Лишь тогда девушка становится женщиной, свободной, счастливой женщиной!..

У Рохеле, как у замужней женщины, не было никаких оснований бежать от Стемпеню, когда он подошел к ней со скрипкой под мышкой и с улыбкой на устах. Чего ей бояться? От кого ей таиться? Свекор Айзик-Нафтоля весь поглощен свадьбой: прохаживается, заложив руки за спину, и следит за прислугой, чтоб живее пошевеливалась. А свекровь Двося-Малка так запарилась, что сорви кто-нибудь парик с ее головы, она бы и то не почувствовала. Пробегая мимо Рохеле, она, правда, на миг остановилась посмотреть, какие такие дела завелись у Стемпеню с ее невесткой, но тотчас же подумала:

«Глупости! Пустые разговоры! Гроша медного не стоят!»

И побежала дальше распоряжаться, поторапливать прислугу.

Айзик-Нафтоля с женой распоряжались весьма искусно. Прислуга металась как угорелая. Родные жениха и невесты, как водится, галдели без умолку. Гости же, помыв руки *, торопились занять места на длинных скамьях за длинными столами, на которых стройными рядами лежали свежеиспеченные булки. Вдруг поднялась тревога: в кадке иссякла вода.

— Где бы достать воды? — спрашивает родня жениха.

— Воды где бы достать? — вторит родня невесты.

— Воды! — кричит Двося-Малка слегка охрипшим голосом.

— Воды! Воды! — поддерживает ее Айзик-Нафтоля, задрав фалды своего сюртука с видом чрезвычайно занятого человека.

Стемпеню воспользовался новой суматохой, чтобы обменяться с Рохеле еще несколькими словами. Вид

у нее был задумчивый, сосредоточенный. Ее красивые голубые глаза глядели мимо Стемпеню куда-то вдаль. А уши тем временем ловили его слова.

А говорить Стемпеню был мастер! Красно говорил повеса! Он опутывал собеседницу своей речью и, как опытный искуситель, неотрывно смотрел ей в глаза... Нет, не в глаза!.. В сердце он ей глядел, в самое сердце!

Стемпеню говорил, а Рохеле слушала. В комнате стоял такой гомон, что до посторонних могли дойти только обрывки их разговора.

— Это ваш Мойше-Мендл? — спросил Стемпеню, указывая взглядом на молодого человека, который, ухватившись за лацкан чужого сюртука, отчаянно, с остервенением, убеждал в чем-то этот лацкан.

— Да, мой Мойше-Мендл, — ответила Рохеле и, словно обидевшись, отошла в сторону.

Рохеле и в самом деле почувствовала себя оскорбленной и с этой минуты даже взглядом не удостаивала тот уголок, где сидели музыканты. Долго потом вертелся возле нее Стемпеню. Напрасно! Он был ей противен, этот Стемпеню, противен до отвращения своими дерзкими повадками и вызывающим взглядом. «Фи, стыд и срам! Порядочной женщине зазорно даже стоять рядом с ним», — думала Рохеле, подходя снова к невесте. Она уж готова была забыть о самом существовании Стемпеню.

Но что это? Отчего все вдруг насторожились? Это Стемпеню в сопровождении оркестра снова заиграл «Заунывную». Сразу все затихло — ни звука, ни шороха. Задумчиво стоят мужчины, приумолкли женщины. Юноши и девушки взбираются на стулья и скамьи. Все хотят слушать Стемпеню.

Айзик-Нафтоля, склонив голову набок, с видом знатока внимает звукам скрипки. Двося-Малка застыла на месте с тарелкой в руке. Даже слуги — мужчины с подобранными фалдами сюртуков и женщины с подоткнутыми подолами юбок — остановились в оцепенении посреди комнаты... А Стемпеню залился на своей скрипке такой грустной мелодией, что народ и дохнуть боится. Все замерли. Сердца

смягчаются, увлажняются глаза. Люди стонут, люди плачут... А Стемпеню?! Где Стемпеню? Нет его!.. Никто не видит Стемпеню, никто не видит его скрипки. Все слушают божественные звуки, которые наполняют комнату.

А красавица Рохеле, никогда до того не слышавшая Стемпеню, упивается изумительными звуками и не понимает, что с ней: мелодии словно ласкают ее, сердце переполнено... Рохеле смотрит туда, откуда несутся эти удивительные звуки, и видит прекрасные черные глаза, которые глядят на нее в упор, пронзают насквозь, как остро отточенные стрелы. Эти прекрасные, огненные черные глаза устремлены на нее, ласкают, говорят что-то без слов... Рохеле опускает голову и видит пред собой сверкающие черные глаза. Она глядит во все стороны — и видит те же черные огненные глаза...

VI

После свадебного пира

Свадебный ужин давно окончен.

Уже отгремели все «виваты» *, уже поднесены свадебные подарки новобрачным, невеста уже протанцевала свой «целомудренный танец», а веселье все еще в полном разгаре. Каждый из гостей заказывает оркестру танец. Резник Ионтл танцует «казачка», а навстречу ему важно выступает мать невесты, с огромным животом. Публика хлопает в ладоши, а благочестивый резник не замечает даже, что танцует с женщиной. Залихватски откалывая коленца, он идет вприсядку. Мать невесты притопывает подбоченясь и улыбается реб Ионтлу широкой улыбкой, которая расплывается по всему ее широкому лунообразному лицу.

Веселье разгорается. Мужчины танцуют уже, не в обиду им будь сказано, чуть не в одних исподних. Вот и Айзик-Нафтоля скинул сюртук, выставив на-

показ широкие рукава белой сорочки. Не так-то легко было уломать его, чтоб он согласился снять сюртук. Кто-то напялил ему на голову чужую шляпу, нахлобучил ее на глаза. Все гогочут, глядя на него веселыми пьяными глазами. Даже его родной сын Мойше-Мендл (муж Рохеле) и тот схватил отца за белый рукав сорочки и настойчиво тащит в круг.

— Не жалей ног! — кричит Мойше-Мендл отцу, подпрыгивая чуть не до потолка.

Музыканты играют уже без Стемпеню. Они вошли в раж. Верховодит ими один из одутловатых юнцов с лопатообразными зубами. Черный лохматый Шнеер-Меер — вторая скрипка — дремлет; Иокл-контрабас храпит. А молодежь старается изо всех сил. Больше всех усердствует Мехча-барабанщик, — он как зверь колотит барабан. Его рыжей головы и не видать; видно только, как он подергивает плечами и притопывает кривыми ножками. А Стемпеню? Тот снует между молодыми женщинами, постепенно подбираясь к Рохеле.

— Не пойти ли нам домой, свекровь? — обратилась Рохеле к Двосе-Малке, которая во все глаза смотрела на Айзик-Нафтолю с выставленными напоказ рукавами белой сорочки и с чужой шляпой на голове.

— Что ж, пойдем, доченька, пойдем. Завтра базарный день — надо выспаться. Глянь, как они разгулялись!

И Двося-Малка с невесткой уходят.

Край темно-голубого неба светлеет. Близится рассвет. Запел петух, и десятки других ответили ему приветным ку-ка-ре-ку. Где-то вдали залаяла собака. Все хатенки погружены еще в глубокий сон. Только в доме резника Герш-Бера светится огонек: он встает за час до рассвета и в предутренней тишине читает священные книги...

— Что скажешь, Рохеле, про дочку Гнеси? И боже мой, как расфуфырилась! Ну, как она тебе понравилась?

Погруженная в свои думы Рохеле ничего не ответила. Кто знает, о ком сейчас ее помыслы?

— Свекровь, — неожиданно заговорила она, — я ведь сегодня впервые слышала Стемпеню.

— Что ты, дитя мое! Как это впервые? А у вашего богача реб Лейбци-Авврома-Герша? А у реб Нехемьи-быка? А у Соры, дочери Бенциона? Наконец у самого цадика? *

— Не помню, — ответила Рохеле. — Все слышу: Стемпеню да Стемпеню, но видеть его никогда не приходилось.

— Оно и понятно! Где тебе и помнить?! Ты еще была совсем цыпленком, когда Стемпеню играл на свадьбе у дочери сквирского цадика. Ох и свадьба была! Всем моим близким и друзьям желаю справлять такие свадьбы! Можешь себе представить — я тогда была беременна Иосинькой... На каком же это месяце? На шестом, видно... А? нет, на восьмом... Куда ты, Рохеле? Вот ведь наш дом, а ты прямо к Гнесе. Вот так штука, ха-ха-ха!

— Что за вздор! — сама себе удивилась Рохеле, оглянувшись кругом. — Смешно, право, ха-ха-ха!

Смеясь, свекровь с невесткой вошли в дом. Надо было вздремнуть хотя бы часок-другой: с утра в Мазеповке предстоял большой базар, почти ярмарка.

VII

Рохеле не спится

Вот беда — Рохеле не может уснуть! Ворочается с боку на бок, то сбросит одеяло, то снова натянет его на себя... Не спится! Как ни старается она гнать от себя всякую мысль о Стемпеню, образ его, бог весть почему и зачем, упорно стоит перед ее взором. Она крепко-накрепко смежает веки — и снова перед нею Стемпеню с его прекрасными черными глазами: они глядят на нее в упор, эти глаза, ласкают, притягивают к себе.

— Ах, чтоб ему ни дна ни покрышки! — с досадой шепчет Рохеле. — Хоть бы Мойше-Мендл пришел.

Она открывает глаза и опять видит Стемпеню со скрипкой в руке. Ей чудится, будто она все еще слышит изумительную музыку.

— Какая игра! Ах, что за игра! Недаром о нем такие чудеса рассказывают...

Рохеле вспоминает удивительные рассказы о Стемпеню, слышанные ею в детстве, когда она жила в Сквире и обучалась грамоте и письму у «учителя для девочек» Мотла Шпрайза. Ну и наслышалась же тогда Рохеле от подруг о Стемпеню! Рассказывали, например, о том, как Стемпеню однажды отбил невесту у жениха, как невеста, не вынеся позора, умерла и ее повенчали уже мертвую под черным балдахином... О том, как Стемпеню отомстил когда-то девушке, назвавшей его шарлатаном... О том, как Стемпеню играл однажды на свадьбе у одного крупного помещика, графа; как дочь графа, паненка редкой красоты, страстно влюбилась в скрипача и заявила: «Умру, а Стемпеню будет мой!» Услыхав такие речи, граф призвал к себе Стемпеню и сначала угрозами, а потом добром стал уговаривать его принять христианство и жениться на его дочери-паненке, обещая в приданое три деревни. Но Стемпеню ответил ему по-французски (Стемпеню, конечно, говорил и по-немецки и по-французски), что своего червонца он не променяет даже на горы чужого золота. С тех пор Стемпеню пользуется большим почетом среди благочестивых евреев, сам цадик уважает его. Паненка же, услышав ответ Стемпеню, одетая бросилась в реку...

И много таких диковинных историй, которые и слушать-то страшно, рассказывали Рохеле ее подруги.

Вспоминаются Рохеле и уверения одной из подруг, будто у Стемпеню имеется какой-то пузырек с «любовным напитком». «Вздор! — думает Рохеле, воскрешая в памяти все эти россказни. — Гроша ломаного я бы не дала за этот напиток и за такую, с позволения

сказать, любовь! Мой Мойше-Мендл любит меня без всякого любовного напитка... А я его? А я Мойше-Мендла?..»

Рохеле повернулась на другой бок, лицом к стене, и крепко призадумалась. Впервые пришла ей в голову такая мысль. «Вот еще страсти какие! Чепуха! Небылицы на тараканьих ножках! Причем тут «люблю — не люблю»! Во всяком случае, не ненавижу!..»

Да и говоря по совести, отчего ей не любить мужа? Мойше-Мендл не урод какой, прости господи. Он — человек современный: пейсы закладывает за уши, чтобы их не было видно, читает газеты. Любит в разговоре блеснуть острым словцом, позабавиться в компании молодежи... Вполне приличный молодой человек! Правда, с ней, с женой, он все еще обращается как-то дико: двух слов с ней никогда всерьез не вымолвит. Кинет словечко и тотчас же отвернется: спешит в синагогу либо на базар. Нет того, чтобы улучить часок-другой, подсесть к жене да поговорить по душе, как водится у людей, потолковать о том о сем, — дикарь, да и только!

Да, не о том мечтала Рохеле, когда была невестой. Тогда ей казалось: все завидуют тому, что у нее такой чудо-жених. Она была уверена, что лучшего, чем Мойше-Мендл (как он был хорош тогда!), во всем мире не сыщешь, что она будет счастливейшей женщиной... А теперь! Ее подружки живут припеваючи: одна поселилась с мужем в большом городе и шлет оттуда восторженные письма; другая тоже обзавелась своим домком, живет самостоятельно; даже Хана-Мирл, так убивавшаяся, когда судьба заставила ее выйти за вдовца с пятью детьми, — и та сейчас счастлива. А она, Рохеле? Увы, ей нечем похвастать. Всю неделю сидит взаперти, будто птичка в клетке. Ешь, пей и спи! Свекор и свекровь изводят ее своими неусыпными заботами, — день и ночь все Рохеле да Рохеле! А Мойше-Мендл с его привычками, с его скупыми фразами, что она для него? Тс... кто-то стучится в дверь. Должно быть, Мойше-Мендл. Свекровь вышла отворить ему дверь.

— Мойше-Мендл?

— А? Что?

— Это ты, Мойше-Мендл? — спрашивает мать.

— Ну и пляска! — лепечет Мойше-Мендл. — Пропади они пропадом! Бррр!..

— Что ты мелешь, Мойше-Мендл, — говорит мать. — Раздевайся и спать ложись.

— Пропади они пропадом! Ну и здорово же напились! Берл-Менаше, ха-ха-ха!

— Бог с тобой, Мойше-Мендл, что за вздор ты несешь! — воскликнула Двося-Малка, зажигая спичку.

— Разве вы не видите, свекровь, что он пьян как стелька? Зажгите, пожалуйста, свечку, не то он себе нос расшибет.

— Бррр!.. Еще рюмочку!.. Ну их ко всем чертям!

Бормоча под нос что-то невнятное, Мойше-Мендл повалился на кровать, и тотчас послышался его оглушительный храп. Заснула и Двося-Малка. Детишки давно уже почили сном. Со всех сторон раздаются свист и храп. Все сладко спят в этом доме. Одна Рохеле никак не может уснуть. Не спится, хоть что хочешь делай! В окно светит луна. Длинная бледная полоса света падает на кровать, на которой лежит, разметавшись во сне, Мойше-Мендл. Рот у него широко открыт, голова запрокинута, шея вытянута, и из нее выпирает уродливый острый кадык. Глядеть тошно!

Рохеле не хочет смотреть и все же смотрит. Никогда еще муж не казался ей таким противным, как теперь, в эту ночь. Невольно она сравнивает его с другим — с этим повесой Стемпеню. Неужели это тот самый Мойше-Мендл, еще совсем недавно ее жених, белолицый и красивый, с приветливой улыбкой на устах, с живыми глазами? Куда девались его стройная фигура, приятные манеры, остроумие? Да неужто же это тот самый Мойше-Мендл?

И снова Рохеле невольно сравнивает мужа с другим — со Стемпеню.

Прочь, прочь, греховные мысли! Не смущайте душу добропорядочной женщины!

VIII

На обед, посвященный обряду «повязывания»! *

На следующий день после венчания, когда посыльная из синагоги Хьена явилась к Двосе-Малке с сообщением, что мать невесты, сама невеста, ее жених и все сватья приглашают Двосю-Малку и ее семью на торжественный обед, Рохеле уже была повязана и разодета по последней моде местного дамского портного Довида-Механика. На ней было шелковое платье небесно-голубого цвета с белыми кружевами и широкими рукавами, какие тогда носили в Мазеповке, где мода обычно запаздывает на несколько лет. Сквозь накинутый на голову ажурный шелковый платок просвечивали повойник и косы... правда, чужие косы; ее собственные белокурые волосы уже давно острижены, запрятаны от людских глаз навсегда, навеки. Затем она нацепила на себя, как водится, весь набор приличествующих случаю украшений: несколько ниток жемчуга, длинную золотую цепочку, брошь, браслеты, перстни, серьги.

Принаряженная, сидела Рохеле в своей комнате, где Мойше-Мендл еще лежал все в той же позе, как и вчера с выпирающим кадыком, и, открыв широко рот, неистово храпел.

«Какая огромная разница между Мойше-Мендлом — женихом и Мойше-Мендлом — мужем! — думала Рохеле. — Тот Мойше-Мендл был так привлекателен, глаза его блестели, как венчальные свечи, голос звучал нежно, и во всем он был мил. А этот? Какая нелепая долговязая фигура! Грудь — узкая, спина — сутулая! А на щеках высыпала реденькая рыжая бородка. Откуда взялась у Мойше-Мендла этакая козлиная бородка?»

И невольно мысли ее снова и снова возвращаются к тому шалопаю, чей образ всю ночь не давал ей заснуть.

«Вот не было печали! — продолжает размышлять Рохеле. — Нет, я сама виновата, сама, сама! Новая

напасть на мою голову — Стемпеню! И с чего это я вдруг разговорилась с музыкантом? Фи, стыд какой! Что сказали бы люди, если бы заметили, как я стою и разговариваю с ним? Хорошо, что вокруг был такой ералаш... А что бы сказал Мойше-Мендл?»

С ласковой улыбкой подошла она к постели мужа, склонилась к его изголовью и окликнула по имени. Мойше-Мендл открыл свои серые глаза и долго глядел на жену непонимающим взглядом.

— Мойше-Мендл! — повторила Рохеле, склонясь над ним еще ниже. — Не узнаешь меня, что ли, Мойше-Мендл? Чего ты на меня так смотришь? Очень уж, видно, понравилась я тебе?

— Оставь меня в покое!.. Спать хочу! — И, повернувшись лицом к стене, Мойше-Мендл снова неистово захрапел.

— Жених и невеста, их родители и вся их родня просят вас, вашу свекровь и вашего мужа на обед, посвященный обряду «повязывания»!

Так одним духом выпалила посыльная из синагоги Хьена, просунув голову в дверь. Но, увидев Рохеле, склонившуюся над изголовьем мужа, отпрянула назад.

Рохеле застала невесту еще неповязанной. Подруги расцеловались, и, как и полагается при встрече двух молодых замужних женщин, между ними завязалась оживленная беседа.

Понемногу начали собираться гости. На столах уже красовались редька в меду, пряники, миндальные баранки, медовый хлеб, штрудель.

Как и вчера, нищие и синагогальные служки были тут как тут. Отец невесты, Хаим-Бенцион, в своем бархатном картузе, гладко причесанный, мечется по комнате сам не свой. Мать невесты, хоть и совершенно охрипшая, все еще гонит одного туда, другого сюда и распоряжается, кричит из последних сил:

— Да вы хотите меня вконец извести, не приведи господи! Поставили торт и редьку на меду там, где

полагается стоять водке и рюмкам. Горе мне несчастной! Хоть возьми да разорвись! Ну и свадебка! Стоит кучу денег и в конце концов — изволь-ка радоваться! Даже музыканты — и те не явились. Как тут не лопнуть с досады!

— Тише! Замолчи ты! — кричит Хаим-Бенцион. — Вот разоралась! Подумаешь, осчастливила! Сама ничего не делает, только знай — кричит! Ну, чего раскричалась? Первый раз, что ли, дитя замуж выдаешь? Полюбуйтесь на нее, охрипла даже! Созвала родственников и гостей, чуть не весь город, бегает очертя голову, кричит! Спросите ее, зачем и для чего!

— Кто кричит, сумасшедшая твоя голова? Кто здесь кричит?

— Мне и невдомек, кто здесь кричит. Скажи сама, послушаем.

— Уж конечно не я. Это ты кричишь.

— Я кричу? Вот как! Наоборот, стало быть?

— Да вот же ты кричишь, Хаим-Бенцион. Что это на тебя нашло такое?

— Привет и почтение жениху и невесте, их родителям, всей их родне и всем дорогим гостям! Музыка, виват!

Этим приветствием Хайкл-бадхн возобновил свадебное торжество. Музыканты взялись за инструменты... Гости стали вытирать руки полами своих длинных сюртуков и засучивать рукава, лишь после этого они приступили к омовению рук. Затем все уселись за длинные столы, и началась торжественная свадебная трапеза...

Тут-то Стемпеню взял в руки скрипку. Как и вчера вечером, он показывал чудеса, да еще похлеще, и прибавил несколько новых. Публика слушала его с благоговением, не находя себе места от восторга. Все взоры были прикованы к нему, к Стемпеню. Одна Рохеле не глядела даже в ту сторону, где сидели музыканты, — и все же видела его и чувствовала, что он смотрит на нее. Лишь после того как Стемпеню

кончил и в комнате поднялся гул, Рохеле подняла глаза и увидела... Стемпеню.

— Что скажете? Каков, а? — обратилась к ней невеста, которая все время молчала.

— Кто? — не поняв, спросила Рохеле.

— Да Стемпеню! Хорош, не правда ли? Чудодей!

Рохеле ничего не ответила. Она почувствовала, что краснеет.

— Вам жарко, Рохеле? — спросила невеста. — Не правда ли, вам жарко?

— Да, жарко, ужасно жарко! Выйду-ка на минуту подышать свежим воздухом, — ответила Рохеле и вышла из-за стола.

Сарверы и сарверки, с которыми она то и дело сталкивалась, почтительно уступали ей дорогу не столько из уважения к самой Рохеле, сколько из уважения к ее шелковому платью. Не так-то легко было протиснуться к выходу. Прежде всего Рохеле пришлось пройти мимо музыкантов, которые, пожирая ее глазами, перекидывались на ее счет непонятными словечками, вроде: «Бабочка хоть куда! надо побалаболить с ней». Когда глаза Рохеле встретились с глазами Стемпеню, сердце ее забилось так сильно, как никогда раньше. От этого она еще больше покраснела. На нее пахнуло жаром, словно из объятого пламенем дома. А тут, как на беду, она у самого порога столкнулась нос к носу с отцом новобрачной, Хаим-Бенционом, и произошла новая история: Хаим-Бенцион, человек до крайности набожный, боялся женщин как дьявола. Ему бы надо попятиться, когда он налетел на Рохеле, но, как на грех, он отскочил вправо. А так как Рохеле тоже шагнула вправо, они чуть не стукнулись лбами; тут Хаим-Бенциона озарило, и он бросился влево. К несчастью, Рохеле пришла в голову та же мысль, и она тоже подвинулась налево. Хаим-Бенцион сразу смекнул, что ему следует быстро податься вправо. Но не успел он и шагу ступить, как Рохеле, точно назло, опять очутилась перед ним. Кто знает, сколько бы они так вертелись друг против друга, если бы на помощь не

подоспела вконец охрипшая хозяйка. Она, по обыкновению, шумно заспорила о чем-то с мужем, и Рохеле удалось наконец выскользнуть за дверь и очутиться на свежем воздухе.

IX

Прошлое Рохеле и роман Хае-Этл

Оказалось, однако, что на улице еще жарче, чем в доме. Был июльский полдень. Солнце стояло над самой головой и жгло немилосердно. На тесовых и соломенных крышах мазеповских лачуг дрожали и колебались, как речные волны, яркие полосы солнечного света. «Благодать божия снисходит», — говорят в таких случаях ученики хедера.

Перед Рохеле раскинулась базарная площадь — широкая и безлюдная. Лавчонки с красными занавесками открыты; перед дверьми сидят на табуретах женщины и с неимоверной быстротой вяжут чулки. Сбоку — сита с ягодами, лепешками, коржиками. Подкрадывается коза, готовая наделать бед, но ее гонят прочь. Вдали пара волов тащит воз, доверху нагруженный снопами. В облаке пыли за возом плетется босоногий мальчонка в огромной барашковой шапке, с сумой за плечами и с длинным кнутом. Рядом, высунув язык, бежит большая собака.

Рохеле долго глядела на знакомую будничную картину, сравнивая ее со своим праздничным убором, с небесно-голубым шелковым платьем, жемчугом, браслетом, сережками, перстнями, — и почувствовала, какая она чужая в этом окружающем ее обыденном мире. Кто она, в самом деле? Ни то ни се, ни базарная торговка, ни графиня. Просто дитя народа, еврейская женщина, свободная от каких бы то ни было забот и обязанностей: вышла замуж и живет у свекра и свекрови на всем готовом, палец о палец не ударяет. А муж либо в синагоге, либо шатается с тросточкой в руке по базару да балагурит со всеми встречными.

И вот теперь, стоя на улице в непосредственном соприкосновении с природой, Рохеле, быть может первый раз в жизни, задумалась над смыслом своего существования. Неожиданно для себя самой она поняла, что ей чего-то не хватает. Чего именно, — она не знает, но чего-то ей недостает.

Рохеле была заурядная еврейская женщина, ничем не блиставшая, такая же, как и все. Она росла в многодетной семье, и родители с ней особенно не носились: невидаль какая, девица! Родилась, ну и ладно, расти на здоровье...

Чтобы она не околачивалась без дела и дабы в доме было одним ребенком меньше, ее в детстве послали в хедер обучаться вместе с братишками, а когда она чуть подросла, ее отвели к Мотлу Шпрайзу, который обучал девочек письму.

Тут, как водится, у Рохеле появились подруги и моложе и старше ее. Охотнее всего она общалась со старшими девочками, потому что они знали много историй, занимательных чудесных историй. Подруги тоже любили Рохеле за ее звонкий голосок, за умение петь.

— Спой что-нибудь, Рохеле, спой, сердечная. Не стыдись, — мальчиков тут нет.

Петь в присутствии мальчиков или же взрослых людей Рохеле стеснялась. Да и подруги говорили, что петь при мальчиках непристойно. Нельзя...

— Ну, пой же, Рохеле! Упрашивать тебя надо, что ли?

И Рохеле послушно затягивала своим тонким бархатным голоском:

Плачет сизая голубка
И воркует и зовет —
Где-то есть мой друг любимый,
А к подруге не идет!

Рохеле пела с таким чувством, будто и в самом деле понимала, что такое любовь. Подруги же, видимо, и впрямь вкладывали в это слово свой особый

смысл: стоило Рохеле запеть, как они задумывались, начинали вздыхать, а иногда и слезу роняли.

Больше всех любила слушать песенки, которые пела Рохеле, одна из ее старших подруг, по имени Хае-Этл, очень красивая девушка, сирота. Она была одной из многих еврейских девушек, биография которых так же коротка, как молитва, произносимая пред питьем воды. Вот вам и все ее жизнеописание:

Когда-то, не очень давно, жили-были в городе Сквире два брата. Одного звали Арн, второго — Лейб. Недолго пожил на свете Арн, а вскоре за ним последовала в могилу и его жена. Осталась после них единственная дочь Хае-Этл. Дядя Лейб сжалился над бедной сироткой и взял ее к себе в дом вместе с наследством, оставшимся ей от отца. Надо правду сказать, — дядюшка обошелся с племянницей-сиротой совсем не по-родственному: наследство он забрал себе (около трех тысяч, говорили люди), а девушку выдал замуж за ничтожного, подлого человека, который изводил ее... И бедная Хае-Этл скончалась совсем молодой, двадцати двух лет от роду.

Хае-Этл была самой близкой подругой Рохеле. Девушки друг в дружке души не чаяли. Как-то в субботу днем сидели они у окна, аккуратно причесанные и, как водится, одетые по-праздничному. Рохеле, по обыкновению, напевала песенку, а Хае-Этл слушала. Это была очень простая песенка:

Ой, ты уезжаешь,
Ой, ты уезжаешь,
И меня здесь покидаешь...

— Рохеле, голубушка! — взмолилась Хае-Этл. — Повтори еще разок.

— Повторить? — изумилась Рохеле. — Что ж, могу тебе спеть сначала:

Ой, ты уезжаешь,
Ой, ты уезжаешь,
И меня здесь покидаешь...

Вдруг Рохеле увидела, что Хае-Этл уронила голову на руки и плечи ее судорожно вздрагивают. Рохеле замолкла, прислушиваясь к всхлипываниям подруги.

— Бог с тобой, Хае-Этл, чего ты плачешь? Ни с того ни с сего — слезы! Скажи, что с тобой, Хае-Этл! Вдруг расплакалась!

— Ой, Рохеле! — ответила Хае-Этл, обливаясь слезами. — Ой, Рохеле! Эта песенка... песня твоя...

— Моя песенка? Что же в ней особенного? И чего тут плакать.

— Ой, Рохеле, не спрашивай, не выпытывай. Мое горе! В груди у меня огонь. Жжет меня вот здесь, видишь?

И Хае-Этл показала на сердце. Рохеле смотрела на нее растерянно и удивленно.

— Что ты так смотришь на меня, Рохеле? Не понимаешь? Да где тебе понимать? Мне так тяжко, я такая одинокая, такая покинутая, — мне надо все рассказать тебе, все-все!

И Хае-Этл поведала свой младшей подруге печальную, хоть и довольно обычную повесть о том, как издевался над ней дядюшка Лейб, а еще больше — эта злая карга тетушка. И не будь младшего сына дяди — Биньомина, она давно бы сбежала из дому или бросилась бы в реку. С этим Биньомином — единственной отрадой в ее жизни — они вместе росли. Он был ей ближе родного брата, а теперь он уехал и оставил ее в беде, как чужой, совсем чужой, совсем чужой.

— Не понимаю, Хае-Этл, чего тут так убиваться. Если бы даже родной брат уехал, и то не страшно, а тем более — двоюродный.

— Ой, Рохеле, ты представить себе не можешь, как он мне был близок, в душу он мне проник! Ну совсем, как родной, даже больше, поверь! Когда я видела перед собой Биньомина, у меня светлело в глазах, а когда он уехал...

— Биньомин ведь должен был уехать, Хае-Этл. Ведь он женился.

— Ой, Рохеле, родная моя, не говори мне этого, слышать не могу! «Биньомин женился!» Эти слова лишают меня последних сил! Когда я слышу эти ужасные слова, я чувствую: конец мой приходит. Ты этого не можешь понять, Рохеле, и дай тебе боже, никогда этого не узнать. Не гляди на меня так, Рохеле! Биньомин дал мне слово, поклялся, что только меня возьмет в жены.

— Отчего же он тебя не взял?

— Ты, Рохеле, задаешь детские вопросы. Значит, мне не суждено. Значит, счастье ее, разлучницы...

— Но ведь он клялся, что женится на тебе.

— Ну и что же! Он все собирался сказать дяде, но боялся — ты же знаешь моего дядю Лейба, — все откладывал со дня на день, пока его не сосватали. Когда я с ним заговорила об этом, он ответил, что до свадьбы еще далеко, что он еще успеет сказать. А время шло... И наступил тот день, самый злосчастный день в моей жизни... Я была на его свадьбе, собственными глазами видела, как он надел ей обручальное кольцо на палец, слышала, как он прошептал молитву. Кантор с певчими запел, а Биньомин опустил глаза, чтобы не видеть меня. Но я знаю, что он меня видел! Ой, Рохеле, как после этого жить на свете? Где взять силы пережить такое горе?

— В таком случае твой Биньомин — большой врун. И как только земля его терпит!

— Не говори так, Рохеле! Ты не знаешь Биньомина. Не представляешь себе, что это за золотой человек! Какая у него благородная душа! Виноват только дядя Лейб, душегуб, только он один, — воздай ему, боже праведный, за кровь отца моего!

— Я вижу, Хае-Этл, что тебе очень больно...

— Больно, говоришь? Я умираю. Силы мои кончаются... А ты говоришь — больно.

— Ну, а она, скажи, Хае-Этл, она хоть красивая?

— Кто?

— Ну, она... жена Биньомина.

Рохеле заметила, как при этих словах Хае-Этл изменилась в лице, как на побледневших щеках выступили багровые пятна. Рохеле еще тогда не могла

понять, почему Хае-Этл ей не отвечает, однако чувствовала, что повторять вопрос неуместно. «Раз молчит, значит — не подобает говорить. А может, ей очень больно, и поэтому она не хочет сказать».

Некоторое время спустя Рохеле встретилась с Хае-Этл на свадьбе, — то была свадьба самой Хае-Этл. И она ничем не отличалась от других невест: сидела как полагается невесте, — молчала, затем пошла к венцу. На другой день после венчания была, как водится, повязана. Правда, она немного побледнела, и выражение лица у нее было слегка задумчивое и невеселое. Но что за беда? Такой, собственно, и должна быть новобрачная на другой день после венчания. Не пуститься же ей в пляс!

А что у нее было на душе? Кто знает! Девичья душа — тайна, сокровенная тайна, сундук за семью замками, и не пристало мужчине заглядывать туда, — неприлично!

X

Еще о Рохеле

«Каково-то, должно быть, теперь на душе у Хае-Этл!» Рохеле крепко задумалась над этим вопросом на свадьбе своей подруги. Рохеле ни с кем не поделилась своими мыслями, но она смутно чувствовала и разум ей подсказывал, что Хае-Этл, должно быть, невесело сидеть рядом со своим суженым, совершенно чужим парнем, в то время как ее родной Биньомин теперь где-то далеко со своей женой... Ей, Рохеле, очень хотелось в эту минуту спросить у Хае-Этл, как поживает Биньомин, пишет ли ей. Но, подойдя к подруге, всмотревшись в ее бледное лицо, прислушавшись к ее частым вздохам, — она не решилась завести разговор.

Мы, пожалуй, не ошибемся, если скажем, что Рохеле тогда впервые задумалась над подобными вопросами... Нередко какое-нибудь потрясающее жизнен-

ное событие возбуждает больше мыслей и сильнее действует на воображение, чем десятки прочитанных книг. Правда, Рохеле была девушка простая, ничем особо не выделявшаяся, но умом природа ее не обидела. И этот врожденный ум помогал ей постигнуть многое. Она никогда не читала романов и понятия не имела о книжных героях, но почему бы ее чистому сердцу не почувствовать чужое горе, не понять мук ближнего? Благодаря несчастной любви Хае-Этл Рохеле как-то сразу стала старше на несколько лет.

К тому времени Рохеле уже и сама была невестой. О своем женихе Мойше-Мендле она наслышалась таких похвал, что считала себя самой счастливой девушкой на свете. Со всех сторон ей уши прожужжали:

— Вот так счастье привалило, не сглазить бы!

— Золотое дно! Реб Айзик-Нафтоля — человек зажиточный, самый почтенный человек в Мазеповке. А сын у него — единственный, да еще какой сын! Ну и повезло же Рохеле!

И подлинно, Мойше-Мендл был парень хоть куда и мог понравиться всякому: приятный, живой, искушенный в талмудической премудрости и большой знаток библии. А уж почерк у него! Вся Мазеповка диву давалась. Даже «учитель для девиц» Мотл Шпрайз, напялив очки на багровый нос, долго всматривался в письмо Мойше-Мендла, адресованное Рохеле, и как истый ценитель должен был признать, что у жениха золотые руки и что со временем, когда он достаточно напрактикуется, у него, с божьей помощью, будет почерк на редкость.

До свадьбы Рохеле почти не пришлось беседовать со своим женихом: где жил он и где — она! От Мазеповки до Сквиры расстояние не маленькое. Виделись же они только раз, да и то всего два часа, к тому же в присутствии десятка посторонних, причем жених находился в одной комнате, а невеста — в другой. Зато они в течение целого года, вплоть до самой свадьбы, почти каждую неделю обменивались письмами. Правда, в этой переписке — чего греха таить! — большое участие принимал учитель Мотл Шпрайз. Так как жених в своих письмах блистал знанием трех языков — древне-

еврейского, русского и немецкого, — то Мотл Шпрайз должен был приложить все старание, чтобы и невеста не ударила лицом в грязь. Стараясь наглядно показать всем, что из школы Мотла Шпрайза девушки не выходят неучами, как бывает у других учителей чистописания, он к трем языкам жениха прибавил еще четвертый — французский, — то есть вставлял в каждое письмо французские буквы, в которых «учитель для девиц» был весьма искушен. Вообще можно сказать, что жених и невеста целый год играли в любовную почту. Эта игра оборвалась лишь тогда, когда начали всерьез готовиться к свадьбе.

Свадьба прошла, как все еврейские свадьбы. Родители невесты не совсем угодили семье жениха, показали себя далеко не с лучшей стороны... Родители жениха дулись, подшучивали над отцом невесты и втихомолку — не без основания, правда! — называли его свиньей. Но большой беды в том нет: за стаканчиком вина стороны простили друг другу взаимные обиды и расстались друзьями. Новобрачная попрощалась с родными, ее проводили за город, поплакали, расцеловались в последний раз — и с плеч долой! Дочь уехала к свекру и свекрови жить у них на всем готовом.

XI

Снова Рохеле

Для Рохеле началась новая жизнь. В доме свекра ее любили, души в ней не чаяли. Оно и понятно: как-никак единственная невестка и к тому же такое сокровище! За ней ухаживали, старались предупредить малейшее ее желание, пылинке не давали сесть на нее. А свекровь Двося-Малка, безмерно счастливая тем, что бог послал ей такое утешение, буквально из кожи лезла вон, чтобы услужить невестке. Только и знала, что Рохеле да Рохеле. Лучший кусок мяса, самое вкусное блюдо, — все для Рохеле. По утрам, едва Рохеле открывала глаза, глядь — на столе уже стоит чашка

цикория, а Двося-Малка, женщина, в сущности, очень занятая — она держала лавку на базаре, — вертелась вокруг Рохеле, следя за тем, чтобы невестке все было подано вовремя.

— К чему вам затруднять себя, свекровь?

— Пустое! Пей, Рохеле, ешь, Рохеле!

Нередко Рохеле замечала, что свекровь, едва прибежав с базара, тут же устремлялась в кухню и набрасывалась на кухарку с такими криками и проклятиями, точно ее резали.

— Что случилось, свекровь? — спросит, бывало, Рохеле.

— Я думала, ты уже давно встала, а тут молоко кипит да кипит, чтоб ей в горячем котле кипеть, девке проклятой! Я бросаюсь туда-сюда, сама не знаю, на каком я свете. В лавке — чтоб не сглазить! — теснота такая, что господь спаси и помилуй! А он, кормилец мой, утешение мое, стоит, заложив руки в карманы, точно сват на свадьбе. Я прошу, умоляю: поди домой, отнеси пару свежих бубликов, очень они вкусные! Я всегда покупаю баранки у Лейцихи, у другой не возьму, хоть золотом меня осыпь, — да вознаградит ее господь за ее муки! Сколько она, бедняжка, настрадалась от своего пьянчуги мужа! И как только его земля терпит, не понимаю. Позорит память отца своего, царство ему небесное!.. Да, так что я хотела сказать? Голова, прости господи, так забита... Погоди, вот она, красавица... явилась наконец! Где ты была, девка?

Град проклятий сыплется на голову кухарки за то, что она не позаботилась о молоке для Рохеле, о цикории для Рохеле, о завтраке для Рохеле. Одним словом, Рохеле да Рохеле. Даже свекор, всегда занятый самим собой и своими делами, то и дело справляется о невестке, не оставляет ее своими заботами.

Эта чрезмерная заботливость, по правде говоря, была неприятна Рохеле, тяготила ее. И надо сказать, что Рохеле была привязана к ним несколько меньше, чем они к ней.

Говоря «к ним», мы имеем в виду только свекра и свекровь. Главный герой, Мойше-Мендл, не в счет: между молодыми супругами существовали отношения,

которые нельзя назвать ни хорошими, ни дурными. Молодые очень редко беседовали между собой, да и не приходилось как-то: не останется же такой добропорядочный молодой человек, как Мойше-Мендл, среди бела дня дома лишь затем, чтобы поговорить с женой. А если им и случалось иногда по вечерам оставаться наедине, то очень ненадолго: не пройдет и минуты, глядь — то Айзик-Нафтоля зайдет проведать детей, то нелегкая принесет Двосю-Малку с горшочком, кувшинчиком, стаканом или блюдцем.

— Попробуй-ка, Рохеле, это варенье.

— Господи боже мой! Я ведь уж наверно сто раз пробовала это варенье, свекровь!

— Что ты, господь с тобой, дитя мое! И вздумается же сказать такое! Этого варенья ты еще и в глаза не видела.

И бедная Рохеле вынуждена в сто первый раз отведать варенье, которое ей уже осточертело.

— Ой, порази меня гром небесный! Как ты побледнела, Рохеле! Разве можно так мало есть. Не знаю, чем только ты живешь. Если увидит тебя кто-нибудь из Сквиры, проклянет он мою головушку. «Хороша, скажет, свекровь, болячка ей в печенку! Здорово же, скажет, кормит она свою невестку, петлю ей на шею, такой свекрови!» Горе мое горькое! Ну, съешь что-нибудь, Рохеле, хоть для виду.

— Ах, оставьте меня, ради бога, свекровь! Я сыта по горло, дай бог всю жизнь не хуже!

— Ну, сделай это для меня, доченька! Можно же сделать иногда одолжение и свекрови. Вообрази, что я — твоя родная мать. Возьми хоть крошку, не огорчай меня понапрасну.

И Рохеле берет еще крошку, давится еще одним куском. И томительно тягостна ей эта жизнь, хоть она прекрасно знает, что все ее любят, бесконечно ей преданы. Попроси она птичьего молока, ей бы и то добыли: «Раз Рохеле хочет, надо достать. Какой тут может быть разговор!»

Но человек — не вол и не гусь, чтобы находить удовлетворение лишь в том, что его хорошо кормят.

Мало радости человеку от того, что за ним ходят по пятам, не спускают с него глаз, сдувают пыль с того места, где ступала его нога, следят за каждым куском, который он отправляет в рот, вечно стоят за его спиной, склоняются к его изголовью, когда он спит. Короче говоря, человеку мало радости от того, что вся его жизнь, без остатка, отдана в чужие руки.

Именно в таком печальном положении застала Рохеле история, которую мы здесь рассказываем, и ей некому было даже пожаловаться на свою судьбу. Родители считали ее счастливейшей женщиной. Их письма дышали довольством и восторгом, были полны благодарности всевышнему, ниспославшему их дочери такое счастье. Ее же письма тоже пестрели такими словечками, как: «радость и благодать», «счастье и удача», «слава богу», «дай бог и дальше не хуже»; заканчивались же они неизменно словами: «в радости и благоденствии... с весельем в сердцах — аминь».

Но в глубине души Рохеле таила обиду на Мойше-Мендла, за то, что он держится в стороне от нее, смотрит на нее как будто сверху вниз, как подобает добропорядочному еврейскому супругу: не может же он держать себя с женой на равной ноге, это было бы дико, противоестественно. Нельзя сказать, чтобы Мойше-Мендл не любил своей жены. Наоборот, он был ей очень предан, любил искренне и наивно. Когда однажды Рохеле заболела и слегла на несколько дней, Мойше-Мендл ни на шаг не отходил от нее, охал, вздыхал, изводил себя.

— Жалко мне ее! — говорил он матери со слезами на глазах. — Надо позвать доктора или фельдшера. Больно смотреть, как она, бедненькая, мучается, вся горит. Жалко мне ее!

На третий день болезни, когда Рохеле стало легче, Мойше-Мендл, не отходивший от жены ни на минуту, присел к ее изголовью; казалось, самое подходящее время, чтобы побеседовать по душам с милой, красивой Рохеле. Надо сказать правду: обоим этого очень хотелось. Мойше-Мендл придвинулся к жене так близко, что ее прекрасная головка, лишь наполовину прикрытая белой косынкой, очутилась у него в руках...

Рохеле устремила на мужа большие синие глаза и ждала, не заговорит ли он. Мойше-Мендл потупился. Когда она отвела глаза, он стал смотреть на нее; однако как только Рохеле снова взглянула на него, он повернулся лицом к окну. И долго молодые супруги украдкой обменивались беглыми взглядами, не произнося ни слова. За весь год, протекший со дня их свадьбы, им впервые представился случай поговорить наедине. Но никто из них не решался заговорить, не зная, с чего начать. Рохеле как женщина вправе была ожидать, что муж заговорит первый, а Мойше-Мендл как добропорядочный супруг ждал, что начнет жена. И так они оба долго молчали, лишь перебрасываясь взглядами.

— Что такое, Мойше-Мендл?

— А что?

— Чего ты смотришь на меня?

— Кто смотрит?

— Кто же, как не ты?

— Я смотрю?

— А кто же?

Рохеле повернулась лицом к стене, а Мойше-Мендл, закусив кончик бороды, долго-долго глядел на жену и тяжко вздыхал. Наконец Рохеле повернулась к нему лицом и уловила его упорный взгляд.

— Что с тобой, Мойше-Мендл?

— А что?

— Почему ты вздыхаешь?

— Кто вздыхает?

— Ты, конечно.

— Я вздыхаю?

— А кто же вздыхает?

Молодая чета опять умолкла.

Мойше-Мендл придвинулся еще ближе, откашлялся и, набравшись духу, начал было говорить:

— Понимаешь, Рохеле, по-моему, то, что ты говоришь...

Но тут дверь отворилась и с шумом и с треском ворвалась в комнату Двося-Малка.

— А что же, не знала я разве, что индюки перебьют мне всю посуду? Индюков ему вдруг захотелось!

Как ты чувствуешь себя, Рохеле? Знаешь, что я тебе скажу, доченька? Мне сдается, что у тебя того... как ее... трясовица. Говорила я тебе, Рохеле, не выходи на улицу без платка. Я снова послала за лекарем Екусиелом. Айзик-Нафтоля сам пошел за ним.

— К чему вам беспокоиться, свекровь? Пройдет и так. Простудилась немного.

— Немного... Вот так немного! И не говори, дитя мое! Дай-ка присяду на минутку. — Двося-Малка придвинула стул к кровати и уселась.

— Знаешь что, мама, — неожиданно обратился к ней Мойше-Мендл. — Пошла бы ты лучше в лавку. Я тут сам посижу с Рохеле.

Его глаза встретились с глазами жены, и он прочел в них:

«Ох, и умница же ты, Мойше-Мендл!»

— Скажешь! — ответила Двося-Малка, еще ближе придвигаясь к невестке. — Вот те на — в лавку! Чего я там не видала? И какая теперь, с позволения сказать, торговля? Всем моим врагам желаю такую торговлю, от всей души желаю! Лучше бы ты, Мойше-Мендл, пошел ко мне в спальню, прилег бы на папину кровать, — ты же всю ночь не спал.

Так живут счастливые, по рукам и ногам связанные, молодые, на всем готовом, под постоянной опекой бесконечно преданных родителей, которые не дают им свободно вздохнуть. Но ни муж, ни его юная жена никогда не ропщут, не жалуются друг другу.

Мойше-Мендлу все же легче переносить эти путы. Он иной раз заглядывает в книгу, принимает некоторое участие в делах отца, встречается со сверстниками, с которыми не прочь поразвлечься при встрече в синагоге или на рынке. Одним словом, Мойше-Мендл как-никак живет своей жизнью.

А Рохеле как бы и не живет вовсе! Она ест и пьет, по двадцать раз в день отведывает варенье, ровно ничего не делает, ни с кем не встречается. Не станет же сноха Айзик-Нафтоли водить знакомство с «первой встречной», а «первая встречная» не станет водить знакомство со снохой Айзик-Нафтоли. Айзик-Нафтоля считает себя самым богатым и самым добропорядоч-

ным человеком в Мазеповке, а те, кого он называет «первыми встречными», наоборот, считают себя и богаче и добропорядочнее Айзик-Нафтоли. И так изо дня в день прозябает Рохеле в доме свекра и свекрови, будто в плену... Только и знает, что есть да спать, и видит перед собой только неугомонную свекровь с кофейником или банкой варенья в руках. И так круглый год, каждый божий день!..

XII

Рохеле поет

В таком состоянии мы застали Рохеле на свадьбе у дочери Хаим-Бенциона, когда она, уйдя с торжественного свадебного обеда, вышла на улицу подышать свежим воздухом и глазам ее представились во всей своей обыденности базар с его лавчонками, торговки на табуретках, воз, запряженный парой неуклюжих волов, и мальчонка в огромной барашковой шапке.

В таком состоянии Рохеле довелось опять услышать упоительную игру знаменитого Стемпеню.

Слушать музыку Рохеле любила с детства, ох, как любила! Музыка всегда доставляла ей радость. Стоило ей только раз услышать песню, она тотчас перенимала ее и пела своим приятным бархатным голоском. Родители не могли нарадоваться на свою дочку.

— Мужская голова у девчонки! — говорили они. — Хорошо, что она родилась девочкой, а не мальчиком, — не то бы весь мир перевернула вверх дном.

Отец и мать Рохеле, видимо, чувствовали, что в их дочери таится какая-то сила — то, что мы теперь называем талантом. Но им, людям патриархальным, казалось, что способность дочери быстро воспринимать и искусно исполнять разные мелодии — чисто умственная способность: у нее, дескать, мужская голова на

плечах. Известно, что голова у нас играет самую главную роль. Слова «ай да голова! ну и головушка!» звучат у нас как высшая похвала...

Как бы то ни было, до пятнадцати — шестнадцати лет Рохеле пела, как вольная пташка; услышит ли новую хасидскую песенку, подхватит ли новую мелодию у кантора в синагоге или у музыкантов на свадьбе, она сейчас же повторит ее своим нежным, чистым голосом. И любо было слушать, как она поет!

Но когда Рохеле стала невестой, мать сказала:

— Фи, доченька, довольно тебе щебетать! Представь себе, ты живешь у свекра и свекрови и вдруг ни с того ни с сего зачирикаешь при них, — срам-то какой!

Рохеле, разумеется, сразу поняла, до чего это будет неприлично, и заблаговременно перестала петь. Но совершенно отказаться от пения было свыше ее сил. Часто из груди ее невольно вырывалась песня, видно, по привычке. Что поделаешь, когда само собой поется! Как приостановить бег ручья, когда не знаешь, где его истоки?.. Даже после свадьбы Рохеле нередко забывалась и начинала петь, как, бывало, пела в девичьи годы. В такие минуты она совершенно забывала, что неподалеку сидит свекровь и слушает каждое слово.

— Ой, батюшки! Ох, гром меня порази! — восклицала Рохеле, вдруг заметив свекровь.

— Ничего, ничего! Эка важность! — спешила успокоить ее свекровь, усиленно шмыгая носом и делая вид, будто ничего не слышала. Затем она подносила невестке банку с вареньем и говорила: — Видишь, Рохеле, я боюсь, как бы наш крыжовник не засахарился. Была уж у меня такая неприятность в прошлом году: полпуда варенья испортилось.

Если Рохеле стеснялась свекрови, то о муже и говорить нечего: ни за какие блага в мире она не согласилась бы петь при Мойше-Мендле. В присутствии мужа вдруг раскрыть рот и запеть — просто дико, нелепо. Мойше-Мендл, пожалуй, не прочь бы послушать ее, — это, несомненно, доставило бы ему удовольствие. Он не раз случайно подслушивал пение жены и

знает, что у нее ангельский голосок. Но какой уважающий себя супруг усядется среди бела дня рядом с женой, чтобы слушать ее песенки? Неподходящее это занятие для добропорядочного молодого человека. Если бы как-нибудь удалось послушать ее невзначай, это еще куда ни шло. Такие случаи бывали, хоть и весьма редко. Тогда он долго простаивал за дверью и не мог вдоволь наслушаться. Наконец, громко кашлянув для того чтоб его приход не застал жену врасплох, он вступал в комнату с видом человека, который ничего и знать не знает.

Так прожила Рохеле круглый год одна-одинешенька среди добрых, любящих и беззаветно преданных ей людей. Нельзя сказать, чтобы ей здесь жилось плохо, как нельзя сказать, что ей здесь жилось хорошо. Она чувствовала себя чужой среди своих, одинокой среди родных, покинутой среди любящих ее людей.

Склонившись над вышиваньем, Рохеле, по обыкновению, напевала песенку. И внезапно тоска закрадывалась в сердце, — ее тянуло туда, где она провела детство.

Мчится, мчится, мчится
Пташка золотая
Через синь морей...
Мой привет, родная,
Пташка золотая,
Отнеси ты доброй матушке моей.
Мчится, мчится, мчится
Пташка золотая
Через долы, реки, мчится без конца!
Мой привет, родная,
Пташка золотая,
Донеси до сердца моего отца!

Частенько Двося-Малка подкрадывалась на цыпочках к комнате невестки, чтобы послушать, о чем она поет.

— Что с тобой, Рохеле? По отце-матери соскучилась?

— О нет, свекровь! Я так... — с улыбкой отвечала Рохеле, утирая слезы.

XIII

Письмо от Стемпеню

Мы оставили Рохеле в тот момент, когда, погруженная в думы, она смотрела на широкую базарную площадь местечка. Нить ее мыслей вскоре была прервана нашим удальцом Стемпеню.

Этот сорви-голова сразу заметил, как приглянувшаяся ему Рохеле вышла из-за стола. Выждав несколько минут, он последовал за ней и стал рядом возле двери. Стемпеню завел разговор о Мазеповке, о родном местечке Рохеле — Сквире, которое он знал вдоль и поперек со всеми его достопримечательностями. Затем речь зашла о городе Егупце. Стемпеню как-то слышал, что Рохеле там бывала. Рохеле отвечала невпопад, с пятого на десятое.

— Скажите, — неожиданно спросил Стемпеню, — отчего это вы никогда не выйдете погулять — ни в субботу, ни в праздник? Вы здесь почти год, — пожалуй, даже больше года, — и ни разу не показались на Бердичевской улице. И забрались вы в такую даль, чуть не на край местечка. Представьте, я даже не знал, что вы здесь живете. Вчера только узнал, когда увидел вас на свадьбе... Хотел поговорить с вами, но не было возможности. Не знаете разве наших местечек? Сразу начнут языком трепать... Послушайте меня, выйдите-ка прогуляться в субботу днем по Бердичевской улице... Там все местечко будет... Обязательно приходите, слышите? Ради всего святого, в субботу днем на Бердичевской улице!

Рохеле не успела ответить, так как Двося-Малка, заметив ее отсутствие за торжественной трапезой, тут же бросилась на поиски невестки. Застав Рохеле рядом со Стемпеню, преданная свекровь вначале несколько удивилась: «С чего это вдруг они оказались вместе?» Но Стемпеню, обладавший необыкновенной способностью изворачиваться и находить выход из самого затруднительного положения, сейчас же принялся за Двосю-Малку.

— Мы здесь говорили о свадьбе у сквирского цадика. Ваша невестка была еще ребенком, когда я играл на свадьбе у дочери цадика. Она даже не помнит этой свадьбы.

— Ну, понятно, куда ей помнить! — ответила Двося-Малка. — А я вот хорошо помню свадьбу у цадика. Мы были там с мужем и ночевали в поле, такая теснота была в местечке.

— Теснота? Еще бы... Вот я вам расскажу историю почище.

И Стемпеню завел с Двосей-Малкой нескончаемый разговор о разных разностях.

Рохеле между тем ускользнула и вернулась в дом к новобрачной.

Мы уже раньше заметили, что Стемпеню был из тех, которые за словом в карман не полезут. Тут следует упомянуть еще об одном таланте Стемпеню: он, как никто, умел разговаривать с пожилыми женщинами, судачить о том да о сем, заговаривать им зубы. В этом он был мастак. «Ученая колдунья, — гласит поговорка, — опаснее природной». У Стемпеню язык был хорошо подвешен — он прошел блестящую школу. Но об этом речь впереди.

«Какая наглость! — возмущалась Рохеле. — Приглашать меня на Бердичевскую улицу! Ишь что выдумал! Не иначе, как в субботу днем на Бердичевскую улицу! Да еще ради всего святого! Да как он смеет! Только музыкант может себе позволить этакое!»

С такими мыслями вернулась Рохеле со свадьбы домой.

Пришла суббота.

После обеда, когда свекор со свекровью, а также ее муж Мойше-Мендл, как всегда, прилегли, чтобы вкусить сладость субботнего сна, которому евреи спокон веку предаются с особым наслаждением, Рохеле, по обыкновению, сидела одна у окошка и, напевая песенку, глядела на прохожих. Перед ее глазами, как обычно по субботам, мелькали аккуратно причесанные девушки с алыми и голубыми лентами в косах, в модных платьях — красных, желтых, зеленых, в натянутых на руки перчатках и в новеньких, с иголочки,

блестящих скрипучих ботинках. Все они шли туда, «на гулянье», на Бердичевскую улицу. Там они будут щеголять друг перед дружкой своими алыми и голубыми лентами, своими красными, желтыми и зелеными платьями. Украдкой, как бы мимоходом, будут бросать взгляды из-под стыдливо опущенных ресниц на красивых юношей в нанковых брючках, в картузах с блестящими козырьками; и зарумянятся щеки, и забьются сердечки у девушек... Одним словом, весело будет на Бердичевской улице.

Рохеле все это хорошо знакомо. Почему бы ей этого не знать? Еще так недавно она тоже вплетала алые и голубые ленты в свои косы и гуляла по субботам на улице вместе с другими девушками... А теперь...

Рохеле обвела взглядом комнату. Все спят, аппетитно похрапывая. Все, все! Она одна томится здесь, словно не среди живых людей живет, а в царстве покойников. Подперев голову руками, она задумывается. На память ей приходит старинная песенка, которую она певала в юности:

Одна все, одна я,
Что камень немая —
Мне некому слова сказать...
С собой говорю я,
С собой и горюю,
Что некому слова сказать...

— С субботой вас!

Рохеле подняла голову и увидела... Стемпеню.

— С субботой вас! — говорю.

«Это еще что? Как вы попали сюда?» — чуть было не спросила Рохеле, отпрянув от окна.

— Вас также! — невольно вырвалось у нее, и она покраснела, как маков цвет.

— Вы не послушались меня — не вышли на Бердичевскую улицу погулять. Напрасно я глаза проглядел, вас дожидаючись. Я хотел... Мне надо... Вот читайте...

Стемпеню подал Рохеле сложенный вчетверо листок бумаги и скрылся.

Рохеле долго-долго держала в руке листок бумаги, не зная, что с ним делать, не понимая, к чему он ей. Наконец она опомнилась от удивления и развернула послание. Это оказался большой лист нотной бумаги. На нем крупными еврейскими буквами с большим количеством ошибок было написано:

«Мой дражайший ангел небесный! Когда я впервые увидел твой светлый образ, у меня посветлело в обоих глазах, и яркий огонь обжег мое сердце от горячей любви к тебе, душа моя, которая своими небесными очами вместе с твоим светлым лицом влекли меня к себе с первой минуты, ибо ты — душа моей души и жизнь моей жизни. Я не сплю по ночам и вижу тебя во сне, без тебя светлое солнце темнеет в моих глазах, и я тебя люблю, как свою сладкую жизнь, и я умираю всем своим существом, изнывая от желания вечно видеть тебя, и вечно любить тебя, и вечно быть с тобой. Навеки любящий тебя, тоскующий и вздыхающий по следам ног твоих и издали целующий твои прекрасные глаза.

Стемпеню».

XIV

От «героини» снова к «герою»

Оставим на время нашу «героиню» и вернемся к «герою». Забудем о Рохеле и поговорим о Стемпеню.

Правда, письмо, которое мы только что воспроизвели слово в слово, особым блеском не отличалось. Но что поделаешь? Стемпеню был и хорош собой, и удал, и музыкант, каких мало, — словом, всем взял, но... писать он был не мастер. Его покойный отец, Берл-бас, очень рано убедился, что к музыке сынок обнаруживает сильнейшее рвение, а к науке его совершенно не тянет. Не хотел учиться, хоть режь его, хоть жги его. И отец быстро приспособил его к делу, перепробовал с ним все инструменты и остановился наконец на скрипке. Берл-бас, у которого был полон дом сыновей и все — музыканты, уверял, что Стемпеню унаследо-

вал талант своего дедушки Шмулика-трубача (который, как говорят, был знаком с великим скрипачом Паганини). К двенадцати годам Стемпеню умел уже «усаживать» невесту и играть все, что полагается на еврейской свадьбе.

Не удивительно, что Берл-бас любил Стемпеню больше, чем других детей. Все они были у него одеты в отрепья, а то и бегали вовсе нагишом. Хотя отец как строгий командир частенько драл своего любимца за уши, порол его, бил смертным боем, он в глубине души гордился сыном, считал его украшением дома, драгоценной жемчужиной, утешением на старости. Указывая на Стемпеню, отец, бывало, с гордостью говорил на своем музыкантском жаргоне:

— Видите, байструки, этого щенка? Он даст мне «папе» * на старости лет. Поверьте, на него можно положиться...

Старому Берлу-басу не суждено было, однако, удержать у себя любимого сына.

Пятнадцати лет от роду Стемпеню с трехрублевкой в кармане и старой поломанной скрипкой под мышкой отправился странствовать по свету. Он скитался по бесчисленным городам и местечкам, сходясь с разными компаниями музыкантов. Больше года ему не сиделось на одном месте. Его тянуло все дальше и дальше: из Мазеповки в Степовку, из Степовки в Корец, из Корца в Балту, из Балты в Староконстантинов, оттуда в Бердичев. Так он добрался до Одессы. Но отсюда его потянуло обратно, и он снова пошел странствовать по маленьким городам и местечкам, где легче блеснуть, прогреметь, приобрести славу.

И он добился своего: где бы он ни появлялся, слава опережала его. Повсюду шла молва о странствующем по свету Стемпеню, который не знает себе равного в игре. Легко поэтому представить себе шум, который поднимался в том или ином местечке при появлении там Стемпеню со своей «капеллой». К восемнадцати годам Стемпеню, видите ли, уже сколотил компанию и играл только на богатых и знатных свадьбах. Со временем Стемпеню положил на обе лопатки

все другие оркестры: «конотопских музыкантов», тоже пользовавшихся большой известностью, «Смелянскую компанию», «винницкую», «шаргородскую» и много других, слава которых гремела по свету.

Разумеется, вырывая у музыкантов кусок изо рта, Стемпеню не мог нажить себе среди них друзей, и немало проклятий сыпалось на его голову. Но в глаза ему все льстили, и в глубине души каждый относился к нему с уважением: любой музыкант отдавал себе отчет в том, что стоит Стемпеню взять скрипку в руки, и всем другим музыкантам остается только уйти на покой.

Известно, что музыкальная братия испокон веков склонна к преувеличениям. В их среде вы услышите немало удивительных рассказов, легенд и причудливых вымыслов. О Стемпеню же распространялись самые невероятные небылицы, о его скрипке говорили, будто на ней играл когда-то сам Паганини.

Когда в местечке начинали поговаривать о приезде Стемпеню, местные музыканты выходили из себя. А музыкантские жены осыпали его градом таких проклятий — не приведи господь!

— Круглый год мучаешься, живешь впроголодь, влезаешь в долги, закладываешь последний скарб, глотаешь собственную слюну, и все ждешь: первого «Элула» * будет свадьба в доме богача. И вот изволь-ка радоваться: нелегкая приносит тебе черт знает кого, нечистую силу, дьявола, Стемпеню какого-то, и этот бездельник вырывает у тебя последний кусок хлеба, чтоб его на семьдесят семь кусков разорвало!

Однако подлинных врагов Стемпеню не нажил себе нигде. Он был, что называется, свойский парень. Когда свадебное празднество заканчивалось, он собирал местных музыкантов, задавал обед на славу, не скупясь ни на вина, ни на яства, а на прощанье раздавал гостинцы детишкам музыкантов... Словом, показывал себя с наилучшей стороны.

— Понимаете, — говорили потом меж собой жены музыкантов, — нельзя судить о человеке, пока не узнаешь его поближе.

Особым расположением пользовался Стемпеню у дочерей музыкантов, к которым сватался чуть не в каждом местечке. Немало черных и голубых глаз обворожил он. Когда Стемпеню уверял девушку, что любит ее до безумия, это было доподлинно так: в ту минуту он и в самом деле был влюблен (дочери музыкантов в большинстве на редкость хороши собой). Но едва Стемпеню покидал местечко, любовь его немедленно испарялась, исчезала, как дым. А приехав в другое местечко, он снова влюблялся в дочку какого-нибудь музыканта, снова клялся в любви до гробовой доски, целовал следы ее ног, уверял, что без нее ему жизнь не мила, щедро одаривал новую избранницу сердца. Затем прощался, уезжал... и был таков! А в новом месте — снова та же история...

Нельзя сказать, чтобы эти любовные истории всегда оканчивались благополучно... для невесты. Правда, многие девушки так же скоро забывали Стемпеню, как и он их, и выходили за других музыкантов. Но были среди них и такие упрямицы, которые, влюбившись в этого повесу, верили ему и ждали, что не сегодня-завтра он приедет и поведет свою избранницу к венцу. Бедные девушки чахли, таяли как свечи. В то самое время, как Стемпеню украдкой целовался в темной комнатушке с дочерью какого-нибудь музыканта, где-нибудь в другом захолустном местечке одна из бывших невест Стемпеню лежала, уткнувшись лицом в подушку, и оплакивала свою злосчастную долю, сетуя на возлюбленного, который забыл ее, бросил и никогда-никогда не вспомнит о ней.

Чуть ли не в каждом городе, который проезжал Стемпеню, можно было найти такую обездоленную невесту. Но иной раз и на счастье приходит ненастье. Бывает, споткнешься так, что и не поднимешься. Споткнулся и Стемпеню и неожиданно попал в такую беду, какая ему никогда и во сне не снилась. Пришлось ему, бедняге, жениться, хоть он всегда был ярым противником брачных уз.

XV

Неожиданный брак Стемпеню

Однажды Стемпеню приехал со своим оркестром в Мазеповку и сыграл на трех свадьбах подряд вместе с местными музыкантами. Они настаивали на том, чтобы их приняли в компанию, угрожая в случае отказа переломать ребра знаменитому музыканту. И, несомненно, привели бы в исполнение свою угрозу, если бы Стемпеню, человек по природе покладистый, не согласился играть на всех трех свадьбах совместно с ними на товарищеских началах.

Так как между одной свадьбой и другой был промежуток в несколько дней, то Стемпеню от нечего делать завел знакомство с дочерью Шайки-скрипача — красивой девушкой лет двадцати двух, смуглолицей и пышнотелой. Стемпеню, как всегда, влюбился не на шутку, целовался и миловался, покупал подарки, как заправский жених. А когда наступило время отъезда, смуглолицая девушка (звали ее Фрейдл) потребовала, чтобы он без всяких проволочек с ней обручился, как водится у порядочных людей. Стемпеню, не привыкший к такой решительности, попробовал было отвертеться, лепетал что-то несвязное, — ничего не помогло, хоть что хочешь делай! Фрейдл была, что называется, «казак-девка», и так цепко взяла в руки Стемпеню, что увильнуть ему не удалось, и он вынужден был согласиться на помолвку «в добрый час». Музыканты задали в честь именитого жениха пир на весь мир. Три дня шла гульба в доме Шайки-скрипача, вплоть до того момента, когда любезный жених и уважаемые гости уехали в другое местечко.

Само собой разумеется, что едва Стемпеню выехал из Мазеповки, из памяти его мгновенно улетучились и помолвка, и смуглолицая девушка, и все прочее. Он по-прежнему переезжал из местечка в местечко, играл на свадьбах, всюду заводил любовные интрижки и наслаждался жизнью вовсю... Но вдруг... нет ничего вечного под солнцем. Все — до поры до времени. Пришло и для Стемпеню время держать ответ за грехи

прошлого. Великое несчастье обрушилось на него, положило конец его вольной молодости. Послушайте, какая беда с ним стряслась.

Играл он как-то на свадьбе в одном из городишек Малороссии. У него только что завязался роман с очень хорошенькой девушкой, дочерью Герша-флейтиста. Стемпеню уже успел заверить ее, что непременно женится на ней, как вдруг явился вечно заспанный Мехча-барабанщик и, лукаво подмигивая, буркнул в нос:

— Идите-ка, Стемпеню! Там в доме ждет вас какая-то девушка.

— Девушка? Какая девушка?

— Смуглая девушка с зелеными глазами.

Стемпеню вошел в дом и увидел смуглую девушку — дочь Шайки-скрипача, свою нареченную невесту Фрейдл.

— Что ты на меня так смотришь, Стемпеню? Не узнал? Поглядите-ка, как он глазами хлопает, как присматривается! Да ведь это я, Фрейдл, твоя невеста, дочь Шайки-скрипача...

— А? Знаю. Ну, конечно. Как же не знать? Понятно, знаю. Но откуда ты взялась, Фрейдл? И как ты попала сюда?

— Как попала? Очень просто. На собственных ногах притащилась. Едва доискалась. Откуда я взялась? Из дому.

— Вот как! Ну, что же слышно нового? Давно ты из дому?

— Какие у нас могут быть новости, Стемпеню? Все по-старому. Давно ли я из дому? Да недель шесть, а то и семь. Весь свет исколесила. Куда ни приедем, всюду один ответ: был, да уехал. Еле-еле напали, наконец, на твой след. Ну, как же ты поживаешь, Стемпеню?

— А? Я как поживаю? Ничего... Как мне поживать? Пойдем, Фрейдл, чего мы тут стоим?.. — вдруг оборвал он разговор, заметив, что музыканты обступили их, разглядывая смуглолицую девушку с длинной черной косой и зелеными глазами.

— Что ж, можно и пройтись, — согласилась Фрейдл.

Стемпеню накинул на плечи легкое пальто, взял в руки тросточку и вышел с невестой. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что здесь их никто не слышит, Стемпеню заговорил более внушительным тоном:

— Скажи мне, пожалуйста, что все это означает?

— То есть как так, «что это означает»?

— Зачем ты сюда приехала?

— Полюбуйтесь, каким дурачком прикидывается! Я не я, и лошадь не моя.

— Слуша́й, Фрейдл! — сердито проворчал он. — Я не люблю, когда со мной выкидывают такие штуки. Я спрашиваю, что ты тут делаешь, а ты вздумала шутки шутить.

В зеленых глазах Фрейдл вспыхнул огонек. Закинув рукою за спину свои черные косы, она тоже заговорила серьезным тоном:

— Хочешь знать, что я тут делаю? К тебе приехала, Стемпеню! Во время помолвки ты обещал не позже, чем через две недели написать письмо и назначить день свадьбы. Мы ждали-ждали, больше двух месяцев ждали, а от тебя ни слуху ни духу. Тогда мы пораскинули умом и решили отправиться в путь-дорогу — искать, как говорится, вчерашний день. Объездили чуть не весь свет, еле-еле с божьей помощью нам удалось...

— Скажи мне, Фрейдл, кто такие это «мы»? Я все слышу мы да мы: «мы ждали», «мы поехали»...

— Да мы обе. Я и моя мама.

— Твоя мама? — воскликнул окончательно сраженный Стемпеню. — Твоя мамаша здесь? Что ей тут надо?

— Тише, Стемпеню, чего раскричался? А ты как думал? Девушка не может пуститься в дальний путь одна. Как по-твоему?

— Да, но причем тут я? Что общего у меня с твоей мамашей?

— Она приходится тебе сватьей, Стемпеню, а немного погодя станет твоей тещей.

— Ты, видно, и впрямь собираешься выйти за меня замуж?

— А ты как думал, Стемпеню? Шутки шутить?

— Глупости!

— Почему глупости?

— Очень просто: у меня и в мыслях нет жениться.

Фрейдл на минуту остановилась, посмотрела Стемпеню прямо в глаза, оглянулась кругом и тихо проговорила:

— Послушай, Стемпеню, не думай, что ты напал на какую-то размазню, которая позволит себя обвести. Я тебя насквозь вижу. Я знаю, что ты — шарлатан и любишь каждую неделю обзаводиться новой невестой. Но это не беда — все до поры до времени... По натуре ты человек добрый, сердце у тебя мягче воска, красавец ты, каких мало, играешь на скрипке великолепно и обеспечить жену всегда сможешь. Поэтому-то ты мне и нравишься, и поэтому я выйду за тебя замуж, и притом очень скоро. А что ты ерепенишься, так это все впустую, напрасный труд, Стемпеню, поверь. Наклонись ко мне, Стемпеню, я тебе кое-что шепну на ушко.

И смуглолицая Фрейдл шепнула ему что-то такое, отчего Стемпеню задрожал всем телом. Он остановился среди улицы как истукан и не мог произнести ни слова. Но тут весьма кстати подоспел рыжеволосый Мехча-барабанщик и сообщил Стемпеню, что местный богач приглашает его для переговоров по поводу свадьбы.

Стемпеню кивком головы попрощался с Фрейдл и с глубоким вздохом промолвил:

— Мы еще увидимся, Фрейдл.

— Еще бы! Конечно, увидимся, — ответила Фрейдл и, весьма довольная, рассталась с дорогим женихом.

Каждый, кто видел в этот день Стемпеню на свадьбе, удивлялся его бледности и рассеянности. Совсем не тот Стемпеню, краше в гроб кладут! Всю его веселость, весь задор как рукой сняло. Да, чуяло его сердце, что приходит конец его свободе, что не порхать

ему больше по свету вольной пташкой. Тяжелое ярмо приходится надеть, да навсегда, на всю жизнь. Прощайте светлые летние вечера, прощайте прогулки по полям и лесам с дочками музыкантов! Прощайте длинные благоухающие косы, распущенные волосы, большие карие глаза! Прощай серебристая луна!..

Стемпеню делал еще попытки отбояриться от брака, метался, как рыба в сетях, боролся из последних сил, пускался на всевозможные уловки. Но это помогло ему не больше, чем покойнику припарки. Фрейдл и ее мамаша стояли перед ним, как призраки, являющиеся во сне и возвещающие о приближении часа Страшного суда. Особенно повергала Стемпеню в трепет мамаша невесты, его будущая теща. Ее черные губы были плотно сжаты, будто шнурком стянуты, лицо пылало; она каждую минуту готова была накинуться на Стемпеню, как дикая кошка, и выцарапать ему глаза. К счастью, дочка сдерживала ее порывы.

— Не трогай его, мама! Этим только испортишь дело. Знай поглядывай и молчи! Да следи за каждым его шагом, чтобы он не увильнул от нас. Будь спокойна, мама, все уладится. Стемпеню — мой! Да, он мой!

XVI

Самсон на коленях у Далилы *

Фрейдл шла напролом и добилась своего: обвенчалась «по закону Моисея и Израиля» со Стемпеню и сразу прибрала его к рукам. В этом деле верной помощницей Фрейдл была ее мамаша, едва дождавшаяся счастья стать тещей, и Стемпеню изведал муки ада. Молодая чета поселилась в Мазеповке, куда переехал на постоянное жительство и весь оркестр.

— Конец! Довольно скитаться, Стемпеню! Хватит странствовать по свету! — сказала Фрейдл мужу.

Он был весь в ее власти, она умела добиться от него чего угодно, и только добром.

Новая жизнь началась для Стемпеню, жизнь, ничуть не похожая на прежнюю. Сразу после свадьбы его холостяцкие замашки исчезли как дым. Очутившись в цепких лапах своей жены, именитый музыкант потерял весь прежний блеск, решительность и смелость. У себя в доме Стемпеню был совершенно безгласен.

— Ты, Стемпеню, знай свое: твое дело — музыканты да свадьбы. К чему тебе деньги, глупенький?

И Фрейдл забирала у мужа все до последней копейки.

Фрейдл отличалась необыкновенной жадностью к деньгам... Родившись в очень бедной семье, она никогда медного гроша в глаза не видала. Каждая ленточка, каждая гребенка доставалась ей ценою горьких слез. До пятнадцати лет она ходила босиком, нянчила младших братьев и сестер, получала часто затрещины и от матери и от отца, особенно когда тот бывал навеселе. Питались в доме родителей скудно. Платье на Фрейдл было под стать ее босым ногам. Лишь в праздник «пурим» * ей удавалось заработать несколько копеек. Она разносила по домам местечка праздничные гостинцы. Заработанные деньги Фрейдл, бывало, прятала глубоко за пазуху, чтобы мать не отняла. С этими грошами она не расставалась даже по ночам. А на пасху покупала себе цветную ленточку либо гребешок. Так жила Фрейдл до восемнадцати лет. Родители и не заметили, как она превратилась во взрослую девушку, высокую, красивую, здоровую, — хоть сейчас под венец!

Став невестой Стемпеню, Фрейдл и сама еще не представляла себе, какое счастье ей привалило. Но мамаша представляла себе это довольно ясно и учила дочь уму-разуму. Она, дочка, должна твердо помнить, что ее жених — большой добытчик, но вместе с тем и шарлатан, деньги для него — трын-трава. Поэтому пусть она держит ухо востро. Без ведома и согласия жены он и шагу не должен ступить, точно так, как ее отец Шайка-скрипач.

Выйдя замуж, Фрейдл не забыла советов матери. Не спеша, обдуманно, внушала она Стемпеню пред-

ставление о правах жены: у мужа не должно быть никаких секретов от жены, потому что «жена — не чужая, жена — не полюбовница»; жена и муж — одна плоть и кровь, он — что она, а она — что он. Одним словом, он должен знать, он должен постоянно чувствовать, что у него есть жена.

Когда Фрейдл стала самостоятельной хозяйкой и в руках ее зазвенели целковики (Стемпеню приносил их домой частенько), она необычайно пристрастилась к деньгам и набросилась на них, как голодный на пироги. Но деньги не пошли ей впрок. Ее вечно мучили сомнения: а что, если завтра этих целковиков не будет? Что, если муж, не приведи господи, вдруг перестанет зарабатывать? И она начала копить грош за грошем потуже завязывая узелки.

— К чему ты так жадничаешь? — спросил как-то Стемпеню жену, заметив ее новые повадки.

— Много будешь знать, скоро состаришься. Тебя это не касается, Стемпеню, — с улыбкой ответила Фрейдл.

И по-прежнему скаредничала, сокращала свои покупки на базаре, в бакалейной, в мясной лавке, готовила скудный обед, часто недоедала и все копила копейку к копейке. Сколотив значительную сумму, Фрейдл мало-помалу начала давать деньги под заклад. Вначале это были случайные ссуды: попросит какая-нибудь соседка несколько рублей взаймы на короткий срок, Фрейдл ссужает ее, — отчего не пособить человеку в нужде? Но, заметив, что от этих «добрых услуг» капиталец ее растет, что с течением времени рубль превращается в два, она вошла во вкус и вскоре стала заправской ростовщицей, со всеми особенностями этой милой профессии, которой некоторые наши богатеи — пусть это останется между нами! — занимаются довольно охотно.

Удивительное дело! Откуда взялась у Фрейдл эта страсть к стяжательству? Ни у своего отца Шайки-музыканта, ни у других музыкантов она этому научиться не могла. У кого еще, как не у музыканта, деньги — что ветер: сегодня заведется целковый, а завтра ни гроша за душой. Еврейские музыканты, —

особенно в те времена, — своего рода цыгане, своеобразное племя со своим особым жаргоном, нравами и обычаями. Они всегда жили беззаботно и весело, не задумываясь о том, что будет завтра. Они старались превратить жизнь в сплошной праздник: вечно пиликали на своих инструментах, острили, забавлялись, проказничали. Явившись домой, к жене и детям, музыкант все так же зубоскалил, хлебал свои клецки с фасолью (порой и тех не было) и, не унывая, полуголодный укладывался спать. А утром он занимал у кого-нибудь несколько грошей или же закладывал последнюю подушку... На первые заработанные деньги выкупал заклад, и опять все повторялось сначала.

Дочери музыкантов тоже были веселые создания, вольные, как птицы. Их жизнь, как и волосы, не была скрыта от человеческих взоров. Одним словом, музыканты жили как бы в раю, который обладал всеми достоинствами и недостатками рая... А в раю кому взбредет на ум задумываться о будущем?

Отец Фрейдл, разумеется, тоже не принадлежал к печальникам. Шайка-скрипач был бедняк, каких мало, но веселый, жизнерадостный бедняк. Заработав копейку, он ее спускал, как говорится, одним духом. Мать Фрейдл тоже любила пожить, то есть хорошо поесть. На теле иной раз рубахи не было, но, покуда оставалась в доме последняя подушка, ели сытно. «Лучше пекарю, чем лекарю», «Нет лучшей доли, чем поесть вволю, на то нам и жизнь дана», — так говаривала мать Фрейдл. Даже среди жен музыкантов она слыла расточительной.

Откуда же у Фрейдл взялось скопидомство? Кто знает? Быть может, источником ее жадности была именно нужда, которую она терпела в родительском доме. А возможно, что природа наделила ее этой чертой: чья-то скаредная душа по ошибке вселилась в дочь музыканта.

Как бы то ни было, лицо у Фрейдл искажалось гримасой, передергивалось и покрывалось потом, как только речь заходила о деньгах.

Жены музыкантов завидовали Фрейдл.

— Эко ей счастье привалило! — говорили они в один голос.

В одном только Фрейдл не повезло — детей не было. Как знать? Быть может, оттого-то она всей душой и предалась страсти к деньгам, что радость материнства была ей недоступна? Бездетные женщины вообще большей частью бывают злы. Им не хватает той теплоты и мягкости, которые свойственны матерям. Такие женщины чаще всего любят только себя. Вот этой особенностью отличалась и Фрейдл.

Было бы, впрочем, ошибкой утверждать, что Фрейдл не любила мужа. Почему ей не любить его? Красавец писаный, музыкант на редкость, к тому же (это, пожалуй, важнее всего) прекрасно зарабатывает.

— Моему Стемпеню, — хвастала Фрейдл перед соседками, — стоит раз провести смычком — и вот тебе целковый, два раза — два целковых, три раза — три целковых! Понимаете?

В своем отношении к деньгам Стемпеню был полной противоположностью жене: деньги для него ничего не значили. Вот он, потрудившись со своим оркестром, напихал полные карманы, а вот — все деньги на ветер, и снова ни гроша за душой. Были у него деньги — он раздавал их направо и налево, не было денег — он брал взаймы у других. Стемпеню как подлинного артиста занимала только музыка. Сочинить новую музыкальную пьесу, разучить с оркестром какую-нибудь оперную увертюру, сыграть на свадьбе так, чтобы слушатели замерли от восторга, — вот это было его делом.

Больше всего на свете знаменитый музыкант любил себя и свою скрипку. Собой он был занят неизменно: вечно прихорашивался, завивал волосы, одевался щегольски, словом, «корчил из себя холостяка», как иронически выражалась Фрейдл.

Когда Стемпеню был занят собой, он даже про скрипку забывал. Но стоило ему взять ее в руки, он забывал и себя и весь мир. Всякий раз, когда им овладевала тоска, он запирался у себя в комнате и несколько часов подряд играл то, что изобретала его

фантазия. Вот полились скорбные звуки, тихо плачет скрипка, и вдруг — скорбь сменяется гневом, который все нарастает, пока снова стон не вырывается из глубины души. Гаснет пламя, смиряется гнев, и текут без конца нежные мелодии, сладостные напевы, все печальнее и печальнее. Но вот сквозь них прорывается радость...

Правда, это бывало не часто. Не всегда Стемпеню брался за скрипку. Но если уж он начинал играть, оторвать его было невозможно. Воображение художника разыгрывалось, било, как из свежего источника.

Люди с живой душой заслушивались этой свободной музыкой, которая и в ноты не укладывается. В звуках скрипки слышался им стон измученной души, мольба о милости, о сострадании, молитва, которую там, в небесах, должны услышать, не могут не услышать... Рассказывают, что у Ружинского цадика был собственный оркестр, игравший всякий раз, когда цадик пел хвалу предвечному. Это, несомненно, возвышенная мысль, которая могла прийти в голову лишь человеку с глубоко поэтической душой.

— Толстуха Кейля — чтоб ей ни дна ни покрышки! — уплатила мне проценты только за прошлую неделю. А за эту неделю, говорит, после субботы внесет...

Такого рода сообщениями встречала Фрейдл музыканта, когда он выходил из своей комнаты после трехчасовой импровизации. Щеки его еще пылали, черные глаза горели тем огоньком, которым Стемпеню привлекал к себе сердца людей. Но при встрече с зелеными глазками Фрейдл огонек этот мгновенно гас.

Когда Стемпеню возвращался со свадьбы, Фрейдл встречала его с улыбкой, ласкалась к нему, как кошечка.

— К чему тебе деньги, Стемпеню? — говаривала она, вытряхивая его карманы. — На что тебе деньги? Тебе разве не хватает чего-нибудь? Слава богу, у тебя есть все, что нужно. Ты не голодаешь — не приведи господь! — и голышом не ходишь. А если тебе нужно несколько копеек на расходы, разве я не даю тебе? Отдай лучше деньги мне, душа моя! Поверь, в моих

руках они — как за семью замками. Ну, давай же, давай!

А Стемпеню стоит перед женой, как провинившийся школьник, и безропотно подчиняется ей. Он весь в руках этой смуглолицей женщины...

Стемпеню, что с тобой? Словно могучий Самсон на коленях у Далилы, ты даешь сесть себе на голову такому ничтожеству, как Фрейдл, позволяешь водить себя за нос — какой стыд, Стемпеню, какой позор!..

XVII

Еще не все кончено...

Жаль Стемпеню!..

Но положение нашего героя не так уж безысходно, как вам кажется, и особенно жалеть его не приходится. Если у себя дома Стемпеню был ничем, тряпкой, то он создал свой собственный мирок, совершенно недоступный бдительному оку Фрейдл. Там, в своем мирке, Стемпеню был сам себе властелин, и, как мы увидим, был даже счастлив.

Половина дня у него уходила на «репетиции», что означало не только разучивание с оркестром новых номеров, но и веселое времяпрепровождение в товарищеском кругу. Всегда было, над чем посмеяться. Бадхн сыпал остротами, чаще всего по адресу Мехчи-барабанщика, на котором он любил изощрять свое остроумие. Музыканты же всегда имели про запас какое-нибудь любопытное происшествие. Не бывает же свадьбы без приключений: тут жених заартачился, и хоть убей, не хочет идти к венцу, пока ему не выплатят все обещанное приданое чистоганом; дескать, вынь да положь! Там невеста пред венцом слишком много плакала и в конце концов упала в обморок, так что ее насилу привели в чувство (бадхн отпускает по ее адресу скабрезную шутку). А на одной свадьбе случилась история почище: после ужина, когда начались танцы... Громкий хохот, подобный пушечному выстрелу, покрывает слова рассказчика.

— Что у вас там за смех? Ишь, разгоготались! — кричит Фрейдл из своей комнаты.

— Не твое дело! Тысячу раз просил тебя: не вмешивайся в наши дела! — с достоинством отвечает Стемпеню.

И ему кажется в эту минуту, что он и впрямь полновластный хозяин в своем доме, подлинный повелитель.

Время, свободное от репетиций, Стемпеню посвящал туалету: чистил платье, наводил зеркальный блеск на сапоги, завивал свои черные кудри, разглаживал белую крахмальную манишку. Затем, взяв в руки тросточку с набалдашником из слоновой кости, надвинув на брови черный картуз с блестящим козырьком и задрав голову так, чтобы кудри разметались по плечам, он отправлялся на прогулку по местечку. Там у него свой круг знакомых, с которыми ему приятно повстречаться. Проходя мимо лавок, он здоровается с молодыми женщинами-торговками. Те краснеют, вспоминая, что не так давно они были девушками и водили знакомство со Стемпеню... Хорошая была пора! А теперь? Теперь не до того!

Впрочем, среди молодых женщин, а еще чаще среди девушек, и теперь находились охотницы постоять со Стемпеню у двери лавчонки, побалагурить о том о сем, посмеяться...

Не всегда такие встречи сходили гладко: увидит любопытная соседка и тотчас расскажет другой, другая — третьей, и пойдет и пойдет... Попадешь на язычок кумушкам, не обрадуешься...

— Скажи мне, Стемпеню, что это опять за толки и пересуды на твой счет? Новую кашу заварил? — допытывалась Фрейдл.

— Какую кашу? В чем дело?

— Еще спрашивает! Известно какую! Никому спуску не даешь. Во всем местечке только и разговоров, что о вас.

— Понять не могу, чего ты от меня хочешь, Фрейдл?

— Чего я хочу? Хочу, чтобы ты бросил свои старые замашки. Давно пора! Где только ни есть в ме-

стечке девушка или молодуха, — он обязательно должен водить с ней знакомство и битых три часа разговаривать с ней — не оторвешь!

— А! ты, верно, намекаешь на то, что я разговаривал с Эстер, дочерью Авром-Якова?

— Ну, допустим, что с Эстер. Что же она, святая?

— Но ведь мы же о деле толковали.

— О деле!.. Знаем мы тебя, Стемпеню, с твоими делами!

— В том-то и дело, что ничего ты не знаешь. Авром-Якову захотелось отпраздновать свадьбу своей дочери в Егупце, — приходит же человеку в голову этакая блажь! Ну, само собою, когда я увидал Эстер, я сейчас же завел с ней разговор об этом: жаль ведь выпустить из рук такую свадьбу, как по-твоему?

— Вот рехнувшийся дьячок! С чего это ему вздумалось устраивать свадьбу в Егупце? — взволновалась Фрейдл.

В ее зеленых глазках загорелся тот огонек, который всегда загорался в них, когда она чуяла запах денег.

— Что с него возьмешь, когда у него не все дома! — отвечает Стемпеню и, как водится, выходит сухим из воды.

Вот таким образом ему удавалось замять одну историю, и другую историю, и все истории вместе взятые. Стемпеню никогда не терялся; он знал, чем взять Фрейдл.

Когда Стемпеню случалось выезжать со своим оркестром в другое местечко, для него снова начиналась прежняя привольная жизнь, и у него не было ни малейшего желания возвращаться домой. Тут уж, как говорится, ему сам бог велел дать волю своему нраву. И приключения следовали за приключениями, как веселые, так и невеселые. Одним словом, у Стемпеню был свой замкнутый мирок, и сколько бы Фрейдл ни старалась туда проникнуть, вход для нее был закрыт навсегда. Она даже сделала было попытку подкупить Мечху-барабанщика, но ей это не удалось. В своем обособленном мирке Стемпеню был другим человеком, совершенно непохожим на того Стемпеню, которого Фрейдл знала у себя в доме.

XVIII

Любовь разгорается

Стемпеню жил в замкнутом мирке, который сам создал для себя. Все большее и большее место, чуть не главное место в его жизни, стала занимать Рохеле. Письмо, брошенное ей в окно, было написано вполне искренне, от всей души, так как Стемпеню влюбился в Рохеле в ту же минуту, как увидал ее на свадьбе у дочери Бенциона Глока.

Не сразу, однако, у Стемпеню родилась мысль написать письмо. Прошло несколько дней, прежде чем огонь, зажженный в его сердце синими глазами Рохеле, разгорелся в яркий костер. Тогда, не в силах совладать с собой, он заперся в своей комнате, где обычно переписывал ноты, и тем же пером, на той же нотной бумаге, написал письмо Рохеле.

Стемпеню немало потрудился над этим письмом, не так-то легко оно ему далось. Он был самоучка, грамоте нигде не обучался. Не удивительно, что в письме он был неловок.

Несколько дней носил Стемпеню письмо у себя в кармане и не находил способа передать его Рохеле. На чужбине хорошим посланцем в таких случаях служил Мехча-барабанщик, но здесь, под боком у Фрейдл, этот почтальон был опасен.

Стемпеню едва дождался субботы. Он вырядился, точно девица, надел высокую шляпу — последний крик тогдашней моды — и вышел, как всегда по субботам, погулять на Бердичевскую улицу, надеясь встретить там Рохеле. Увы! Много девушек и молодух промелькнуло пред глазами Стемпеню. Иные, зардевшись, поглядывали на него и улыбались. Все были тут. Не было только одной — Рохеле. Письмо не давало Стемпеню покоя. Его влекло к Рохеле с неодолимой силой.

«Надо бы пройтись по той улице, где живет Айзик-Нафтоля. Авось я ее там встречу...» — подумал Стемпеню. И он, не торопясь, подошел к окну, где сидела Рохеле, погруженная в свои думы, и пела знакомую нам песенку:

Одна все, одна я,
Что камень немая —
Мне некому слова сказать...
С собой говорю я,
С собой и горюю,
Что некому слова сказать...

Услышав неожиданное приветствие «с субботой вас» и увидав пред собой Стемпеню, Рохеле вначале подумала, что это сон (несколько раз уже Стемпеню являлся ей во сне). Но, развернув нотную бумагу и прочитав послание, она поднялась, выглянула в окно и произнесла про себя:

— Счастье его, что он ушел! Я бы его отчитала как следует! Вот еще напасть!

Рассерженная Рохеле хотела было выбросить послание Стемпеню в окно. Но вдруг раздумала, еще раз прочитала и, свернув в трубку, спрятала в карман.

Гнев все сильнее овладевал ею. Она решила во что бы то ни стало повидаться с ним с глазу на глаз и спросить, что все это означает. Как назвать его поступок? Как он смеет? Кто он такой, чтобы писать ей записочки?

И Рохеле стала думать да гадать, как бы встретиться со Стемпеню в таком месте, где никто не сможет подслушать их разговор. И в голове ее родилась блестящая мысль.

XIX

Рохеле покупает ожерелье у жены Стемпеню Фрейдл

— Знаете что я вам скажу, свекровь? Если бы это обошлось недорого, я бы непрочь купить нитку жемчуга, крупного жемчуга.

— Ну, скажи сама, Рохеле, сколько раз я тебе говорила: пойди, дочка, к Фрейдл, к жене Стемпеню; там ты найдешь все, что душеньке угодно. Если хочешь, пойдем сейчас же. Мне она уступит по дешевке.

Фрейдл в заклад под ссуды чаще всего брала ожерелья и мало-помалу сама стала торговать ими. Получая эти ожерелья от своих должниц почти задаром, она, естественно, имела возможность продавать их дешевле любой другой торговки. Постепенно Фрейдл вошла во вкус и начала не на шутку вести торговлю с Бердичевом и Бродами. Вся Мазеповка знала, что хорошую нитку жемчуга можно найти только у Стемпенихи.

Надо только удивляться, откуда взялись у Фрейдл такие способности к торговле, такое умелое обхождение с покупателями, такое искусство убеждать.

Когда Двося-Малка с невесткой вошла в дом Стемпеню, Фрейдл шумно приветствовала их.

— Кого я вижу?! Как поживаете, Двося-Малка? Знаете, я уж давно жду не дождусь вашего прихода.

— Моего? Почему, Фрейдл?

— Почему, спрашиваете! Уже год, как вы прячете такое сокровище у себя в доме! Зашли бы разок с невесткой выбрать что-нибудь подходящее для такой красавицы. Фи, Двося-Малка, нехорошо! Право, мне даже стыдно за вас.

— Вы тысячу раз правы, Фрейдл, милая! Но посудите сами, виновата ли я, если моя невестка не хочет никакого ожерелья? Сколько я ни упрашивала, — все зря.

— Вот еще новости! Как это не хочет? Значит, не смогли уговорить. У меня, небось, разохотилась бы.

Фрейдл проворно раскрыла большой зеленый сундук и нитку за ниткой стала вытаскивать и выкладывать на стол разнообразные ожерелья. Предлагая свой товар покупательнице, она как заправская торговка осыпала ее градом льстивых похвал и добрых пожеланий.

— Знаете, Двося-Малка, если бы вы меня послушались, я бы посоветовала вашей невестке взять вот это ожерелье, только это! Клянусь, вы нигде не увидите такого настоящего орлеанского жемчуга, — не видеть бы мне так горя и беды и вам также. Пожалуй-

ста, прошу вас, — обратилась она к Рохеле, — наденьте это ожерелье. Клянусь богом, оно так и просится украсить вашу белую шейку! Носите на здоровье! Дай боже, чтобы ваша свекровь смогла через год купить вам по крайней мере пять ниток такого крупного жемчуга! Как он вам идет! Ну, скажите сами, Двося-Малка, вы ведь знаете толк в жемчуге: как это ожерелье ей к лицу, боже праведный!

С этими словами Фрейдл схватила зеркальце, лежавшее в сундуке, и стала с ним против Рохеле. Ее зеленые глазки сверкали от удовольствия, а на лбу даже пот проступил от чрезмерного усердия, божбы и лести.

— А ваш Стемпеню знай свое, — заметила Двося-Малка, указывая рукой на соседнюю комнату, откуда доносились очаровательные звуки.

— Да, играет, — ответила Фрейдл, показывая покупательницам все новые ожерелья.

Между Фрейдл и Двосей-Малкой завязался длинный разговор, обычный между двумя торговками, когда дело касается коммерции.

Рохеле сидела в сторонке, совершенно безучастная к разговору свекрови с Фрейдл. Она слышала другую речь, внимала другому голосу, другим словам. Каждый звук, который Стемпеню извлекал из своей скрипки, проникал глубоко в сердце Рохеле. Она лишь тогда поднялась с места, когда скрипка замолкла и в дверях показался Стемпеню. Их взгляды встретились, кровь прилила к их щекам. Стемпеню остановился в дверях неподвижно, словно пришитый к месту. Рохеле, не сводя с него глаз, сказала свекрови, что пора отправляться домой. Двося-Малка встрепенулась и заломила руки.

— Ой, гром меня порази! Смотрите, как мы тут заговорились! Ну, Фрейдл, что вы возьмете с меня за эту нитку? С меня вам грех запрашивать, Фрейдл. Со мной уж торгуйтесь по совести.

— По чистой совести, Двося-Малка, подавиться мне первым глотком, если я лгу! Сося мне давала за эту самую нитку восемнадцать рублей, клянусь вам своим здоровьем и здоровьем моего мужа. Но одно

дело Сося, а другое — Двося. Словом, я возьму с вас пятнадцать целковых. И накажи меня господь, — пусть я потеряю все свое состояние! — если я хоть копеечку на этом наживаю, боже праведный, милосердый!

— Пятнадцать не пятнадцать, но двенадцать я вам дам, Фрейдл. Двенадцать целковых наличными.

— Ну что вы, Двося-Малка, дай вам бог здоровья! Не торгуйтесь ради всего святого! — с жаром воскликнула Фрейдл, схватив обе руки покупательницы, как будто собираясь отплясать с ней «Веселую».

Тем временем Стемпеню и Рохеле удалось обменяться несколькими фразами.

— Я хотела вам кое-что сказать, Стемпеню.

— Я тоже, Рохеле.

— Вы уже сказали.

— Когда?

— В письме.

— Этого мало.

— Слишком много.

— Даже и сотой доли...

— Ошибаетесь.

— Клянусь жизнью, я изнываю! Где можно с вами встретиться?

— Не знаю, где мы можем встретиться.

— Разве вечерком?

— Где?

— На Монастырской улице.

— Когда?

— В субботу. Вы выйдете с противоположной стороны к монастырскому саду.

— Я не хочу! Не могу!

— Вы должны, Рохеле, умоляю вас! На одну только минутку приходите. Будьте там, ради бога, в субботу вечерком. Я буду вас ждать.

— Я не приду.

— Вы придете, Рохеле, вы придете!..

— Ну, дочь моя, — окликнула ее Двося-Малка, — пойдем домой. Еле выторговала за четырнадцать целковых. Я и не знала, Фрейдл, что вы такая ловкая торговка.

— Эх, Двося-сердце! Ну и мастерица же вы торговаться, дай вам бог здоровья! До свидания! Всего хорошего! С обновой вас! Носите на здоровье! Порвите на здоровье!

— На костылях бы ей ковылять! Всю кровь мне испортила! — сказала Фрейдл мужу после ухода покупательниц. — А она, невестка, эта белая телка, тоже хороша! Сидит и молчит. Ей так пристало ожерелье, как свинье хомут.

XX

Опять об ожерелье

Когда Рохеле вернулась домой с ожерельем на шее, свекровь первым долгом подвела ее к Айзик-Нафтоле. На ее лице сияла счастливая улыбка, словно она сделала бог весть какое приобретение.

— Взгляни-ка, Айзик-Нафтоля, какое ожерелье: дешевка, настоящая находка.

Айзик-Нафтоля подошел к Рохеле вплотную, хорошенько присмотрелся к ожерелью с видом знатока, потянул носом и, наконец, спросил:

— Сколько заплатила?

— Угадай. Ты же купец, вот и отгадай, — с улыбкой ответила Двося-Малка.

— Я ведь не знаю, дорого ли ты заплатила или дешево.

— Говорят же тебе, дешево, остолоп этакий, дешевле краденого! Положим, немало крови я себе испортила, до хрипоты накричалась с этой мошенницей, с этой музыкантшей, чтоб у нее рожа распухла! Ну и умеет же торговаться! Настоящая базарная торговка. Черт ее ведает, где и когда она этому научилась! Язычок — точно на шарнирах! Изо рта пламя пышет. Мечется, как щука в сетях, когда с покупателем разговаривает, погибель на нее, на эту Стемпениху!.. Ну, чего же ты молчишь, Айзик-Нафтоля? Скажи,

какая, по-твоему, цена этому ожерелью, — послушаем, какой ты ценитель.

— Цена этому ожерелью, — схватившись за бороду, завел Айзик-Нафтоля, — такая нитка жемчуга должна стоить не более и не менее — погоди-ка, дай мне хорошенько прицениться, — тут ведь и ошибиться недолго!.. Дешевка, говоришь, да? Дешевка? Гм... Если в самом деле дешевка, то и тогда ты должна была заплатить за эту нитку не менее, чем пять с полтиною, а красная цена ей семь целковых.

— Балда! — как из пушки выпалила Двося-Малка. Айзик-Нафтоля даже вздрогнул и отскочил в сторону. — Остолоп эдакий! Ослиная голова! За такую нитку жемчуга пять с полтиной? Скотина безмозглая! Немой, и тот бы лучше сказал!.. Есть у тебя глаза или нет? На, присмотрись хорошенько, дурак набитый!

И, схватив Рохеле за руку, Двося-Малка снова подвела ее к Айзик-Нафтоле, приподняла ей голову — полюбуйся, мол, какая дешевка! — и продолжала осыпать мужа бранью и насмешками.

Бедный Айзик-Нафтоля моргал глазами и шмыгал носом, боясь слово вымолвить. Но тут судьба прислала ему на выручку сына, — он только что пришел с прогулки с неизменной тросточкой в руке. Теперь уже настал черед Мойше-Мендла оценить жемчуг на стройной белоснежной шее его жены. И он точно определил, что цена этой нитке без преувеличения три целковых.

Двосей-Малкой овладела такая ярость, что она даже расплакалась — то ли от досады, что никто не оценил по достоинству ее дешевую покупку, то ли от обиды на Стемпениху, так бессовестно ее обманувшую.

— Тоже мне, с позволения сказать, ценитель! — гаркнула Двося-Малка на сына. — Такой же знаток, как и его папаша! Почему целых три рубля, сыночек? Почему не дешевле?

— А потому что им красная цена — три рубля. Это же самое обыкновенное монисто! Я, мама, видывал на своем веку жемчуг. Представь себе, мне не раз

приходилось видеть нитку жемчуга, настоящего жемчуга.

Целый день все трое ссорились и грызли друг друга из-за ожерелья.

— Если бы он угодил мне пулей прямо в сердце, — жаловалась Двося-Малка, — мне было бы гораздо легче, чем слышать такую нелепицу. «Пять с полтиной»! Допустим, эта мошенница, эта торговка — холера бы ее задушила сию же минуту! — обманула меня, хотя до сих пор меня еще никто никогда не обманывал. Ну, да черт с ней, со Стемпенихой, будь она трижды проклята вместе со своим Стемпеню! Но зачем растравлять рану и называть такую цену? «Пять с полтиной»! Пять с половиной дюжин волдырей ей в самую печенку и пять с половиною недель трястись ей в лихорадке! Положим, я у нее вырву из рук мои кровные денежки, как у собаки из зубов! Вырву, можете быть уверены! Но как это человек позволяет себе сказать «пять с полтиною»?!

Вся эта сцена показалась Рохеле до того омерзительной, что она перед сном сняла ожерелье с шеи и запрятала на дно сундука с твердым намерением никогда больше не надевать его. Обиднее всего было то, что Мойше-Мендл проспорил с мамашей весь день об ожерелье, а на нее, Рохеле, не обратил ни малейшего внимания, — даже не поздравил с обновкой. Весь день ее подводили то к одному, то к другому, как корову на ярмарке. Каждый задирал ей голову, щупал ожерелье, а о ней самой забыли.

По натуре незлобивая, неспособная, казалось, сердиться, она в этот раз пылала гневом на всех, особенно на своего муженька. А муженек спокойно пообедал и тотчас побежал в синагогу. А так как в синагоге в тот вечер происходило какое-то торжество, то он, как нередко с ним случалось, остался там чуть не до рассвета.

Рохеле была вне себя, все у нее внутри кипело. Лицо у нее пылало, голова чуть не разрывалась от боли, в ушах шумело и звенело. Она сама не знала,

что с ней... К ужину в этот вечер она даже не прикоснулась. Двося-Малка, как водится, покоя ей не давала: почему она ничего не ест? отчего не пьет? Но на этот раз не действовали никакие уговоры. С воспаленными глазами Рохеле удалилась к себе в комнату, быстро разделась, бросилась на кровать, и из глаз ее внезапно полились слезы, горячие слезы, и она плакала долго, долго...

XXI

Трудная ночь

О чем плакала Рохеле? Она и сама не могла бы ответить на этот вопрос. Она даже не чувствовала, что плачет. В сердце ее давно накопилась горечь, и долго сдерживаемая боль неожиданно прорвалась наружу неудержимым ручьем слез. Рохеле, как выше было сказано, чувствовала себя одинокой в доме мужа, что-то ее здесь не удовлетворяло, но что именно, — она не знала и знать не могла.

Одно только Рохеле знала твердо: родители выдали ее замуж — и с плеч долой! «С плеч долой!» — одних этих слов достаточно, чтобы почувствовать, до какой степени дочь после замужества отрывается от родителей и родители от нее. Слова «с плеч долой» слишком уж часто приходится слышать чуть не в каждой семье. «С плеч долой!» — какое это оскорбление, какой позор для народа, щеголяющего своим добросердечием!..

Больше всех раздражал Рохеле Мойше-Мендл своими манерами и своим обращением с ней. Рохеле ясно видела, как ничтожна та роль, которую она, при всей ее красоте, доброте, честности и преданности мужу, играет в его жизни. Рохеле понимала, что она для него ничто.

Помимо всего прочего, Рохеле последние дни вообще немного развинтилась. Шутка ли, как взбудоражил, как возмутил ее покой Стемпеню! Рохеле, бла-

гочестивая Рохеле, за всю свою жизнь, не позволившая себе отступления от догматов веры, беспрекословно выполнявшая все религиозные предписания, обязательные для женщины, — эта добродетельная Рохеле думает о постороннем мужчине, получает от него записочки, встречается с ним и... не чувствует за собою никакой вины. Наоборот, ее влечет к нему. Никакого греховного соблазна в этом влечении, разумеется, нет, — ей хочется только видеть Стемпеню и слушать его игру на скрипке.

Боже, как он играет! Как играет! Она готова не есть, не пить, глаз не смыкать, только бы слушать его игру. Слушать и... глядеть на него... Ах, его глаза! Они ласкают и греют...

Рохеле сжимает обеими руками голову. В висках у нее стучит, судорожно бьется сердце и ноет, и ноет... Она сама не знает, что с ней. Она закутывается с головой в одеяло, и вдруг видит перед собой Хае-Этл, мир праху ее. Вспоминается история покойной Хае-Этл и Биньомина. Мороз подирает по коже Рохеле. Она сбрасывает с себя одеяло и слышит знакомый напев, игру хорошо известной ей скрипки. Вначале она подумала, что это ей показалось, но чем дальше, тем явственнее слышала она мелодию, с которой обычно провожают свойственников после свадьбы. Рохеле уже не сомневалась в том, что слышит именно эту мелодию и что играет ее Стемпеню. Но как он попал сюда? Никакой свадьбы на этой улице сегодня нет. Никаких родителей здесь не надо провожать. Что же означает эта музыка?.. Все ближе и ближе дробь барабана. Весь оркестр играет с жаром. Но больше всего выделяется скрипка Стемпеню; ее нежные звуки, ее мягкая напевность покрывают все инструменты.

Рохеле не лежится больше в постели. Она вскакивает, раскрывает окно и по пояс высовывается наружу.

Такой волшебной ночи Рохеле давно не помнит. Полная луна плывет по ясному небу, усеянному мириадами звезд, сверкающих, как брильянты. Какой теплый, какой свежий, живительный воздух! Ни один листик не шелохнется на высоких тополях, выстроившихся в ряд на Монастырской улице, точно солдаты

на параде. Изредка только повеет из монастырского сада ароматом цветов, к немалому удовольствию обитателей Мазеповки, вдыхающих днем совсем иные запахи.

Ах, как гармонировала с этой прекрасной ночью сама Рохеле — нежная, чистая, добродетельная Рохеле с ее стройной белоснежной шеей, которую обвили разметавшиеся в беспорядке густые белокурые волосы. Разве могла она в такой момент помнить о том, что луна и автор настоящего романа увидят ее собственные волосы. Глаза ее были так же чисты и сини, как это чистое синее небо; ее светлое лицо так же прекрасно, как эта светлая лунная ночь. Но Рохеле меньше всего думала о себе. Все ее помыслы были устремлены туда, откуда доносились волнующие звуки, сердце рвалось туда, где пела скрипка Стемпеню.

Музыканты играют что-то бесконечно жалобное, точно поют отходную, провожая человека в путь, откуда нет возврата. Так уж заведено у нас, что сквозь радость прорываются рыданья, ликуя, мы проливаем слезы. Но особенно грустно звучит свадебная мелодия в полночь, когда весь мир погружен в сон и лишь небольшая кучка возвращающихся со свадьбы людей, низко опустив головы, развлекается грустной мелодией. Откуда эта грусть? Устроили, понимаете ли, судьбу своего ребенка, обеспечили с божьей помощью, ну и с плеч долой...

В эту тихую летнюю ночь скрипка Стемпеню звучала сильнее, чем обычно, заставляя сердце трепетно биться, млеть и замирать в восторге.

Полунагая Рохеле стоит у окна и слушает. Она хотела бы убежать отсюда, захлопнуть окно и убежать, но неведомая сила держит ее, притягивает точно магнитом. Она вглядывается в даль и прислушивается к несущимся оттуда звукам с таким напряжением, словно это не скрипка поет, заливается, а сам Стемпеню говорит с ней, обращается к ней с жалобной мольбой и горьким упреком...

Не одна Рохеле слушает игру Стемпеню в эту светлую летнюю ночь. Луна, звезды, напоенный свежей прохладой воздух, вся природа, все живое пробу-

дилось от сна и вышло поглядеть, кто это так чудесно играет среди ночи, откуда берутся эти звуки.

Ночной певец, запоздалый соловей из монастырского сада, услышав звуки музыки, захотел помериться силами со скрипкой Стемпеню и, по своему обыкновению, залился раскатистой трелью. Но был уже конец июля, и соловью не удалось перещеголять Стемпеню: он, бедненький, еще в начале лета потерял голос и вместо нежных трелей издавал только жалобный писк, точно кантор, надорвавший глотку после новогодних песнопений в синагоге... Крикун-петух, услыхав музыку, видимо, решил, что светает; он захлопал крыльями, прокричал свое протяжное «ку-ка-ре-ку» и снова удалился на покой, возмущенный тем, что его напрасно потревожили. Собаки на Монастырской улице, услыхав среди ночи игру еврейских музыкантов, залаяли было по привычке, завыли, но и они быстро умолкли, выбирая себе для отдыха место получше. Даже рябая корова Двоси-Малки перестала на минуту жевать жвачку, навострила уши и, словно великая грешница, испустила тяжелый вздох из самого живота. Две соседские козы, лежавшие на земле, поднялись от избытка чувств, поменялись местами и заодно уже показали друг дружке, что у них есть рога. Одним словом, все ожило, всколыхнулось, слушая музыку в тихую, теплую волшебную летнюю ночь.

В это самое время наша добродетельная Рохеле, как пригвожденная к месту, стояла у окна, изумленная, полная смятения. «Ну и ноченька! Что за ночь, господи!» Она слушала всем своим существом и полной грудью вдыхала ночную свежесть. Как завороженная, смотрела она в синее небо и вспоминала, как она еще девочкой сидела в темные летние вечера на завалинке и, любуясь светлыми полосами лунного света, играла в камушки и напевала песенку:

В полночь светит луна,
Льет свой свет у дверей,
Где Переле плачет одна —
Горе ей! —
И вздыхает она, и рыдает она —
Горе ей!

Она пела эту песенку, не понимая ее смысла. Теперь она понимает, хоть и не вполне — постигает ее не столько умом, сколько сердцем. Рохеле чувствует, что ее влечет и манит туда, на вольный воздух. Здесь тесно, душно, тошно, ой, как тошно!.. Рохеле вспоминает еще одну песенку, которую она в детстве не раз певала летом, примостившись на пороге:

Ты ждешь меня на берегу,
Зовешь оттуда, может быть,
Ой, как мне жаль, что не могу,
Что не могу к тебе приплыть!
Что не умею плавать я,
А ты зовешь, любовь моя!

Но ведь он уже совсем близко! Вот он, Стемпеню, со своей скрипкой, с длинными локонами, с пламенными черными глазами, которые всегда смотрят на нее, ласкают и греют. И в эту минуту ей хочется быть рядом с ним, вечно слушать его музыку, вечно глядеть в его прекрасные глаза...

Одного только не может понять Рохеле: каким образом очутился здесь среди ночи Стемпеню? Что привело сюда свадебных гостей? Этого она не могла понять, сколько ни ломала себе голову. Правда, была сегодня свадьба, но где-то далеко отсюда, на Синагогальной улице. Как же попали свадебные гости сюда? Лишь тогда Рохеле разгадала загадку, когда увидела совсем близко, почти у самого своего дома, музыкантов и всю родню новобрачных, когда Стемпеню, остановившись прямо против ее окна, стал играть еще вдохновеннее, чем прежде. Лишь тогда она поняла, что натворил Стемпеню, — потащил за собой всю родню жениха и невесты, всех гостей за десять улиц и нарочно привел их сюда... Для кого это делалось?

В первую минуту Рохеле была приятно поражена и сердце чуть не выскочило у нее из груди от радости. Она непроизвольно разразилась таким раскатистым смехом, что испугалась собственного голоса. И тут только она отдала себе отчет в том, что стоит полу-

нагая у окна, высунувшись на улицу, выставив напоказ собственные волосы. Она быстро захлопнула окно и бросилась на кровать.

«Горе мне, горе! — подумала Рохеле. — Вот до чего можно дойти, забывшись. Показаться ночью у окна перед посторонними мужчинами чуть не голой! Носиться с глупыми, грешными мыслями о Стемпеню! И он тоже хорош! Тащить за собой толпу за десять улиц! Ради чего? Ради кого? Какая наглость! Откуда у человека такая дерзость берется? Я скажу ему, во что бы то ни стало скажу! Надо положить этому конец. Он хочет погубить меня. Надо объясниться с ним, и раз навсегда. Недаром говорят: «Лучше первая ссора, чем последняя». Сказки мне рассказывает — «любовь»! Очень прилично, что и говорить... Он хочет, чтобы в субботу вечером я пришла на Монастырскую улицу, — там уж он выскажется до конца, откроет, что ему от меня надо. Ах, скорее бы дождаться субботы! Послушаем, что он скажет! Я пойду, непременно пойду. Чего мне бояться? Бояться надо только одного бога... Вот напасть! Наваждение какое-то! Недаром о нем столько историй рассказывают... Но почему он пристает ко мне? Зачем губит мою молодость? А кто виноват? Сама виновата. Почему я его сразу не оборвала? Будь Мойше-Мендл дома, я бы ему все рассказала!.. Но где он? Разве он думает обо мне? Что ему до того, что я страдаю, извожу себя?.. Помолиться бы на сон грядущий. Нехорошо засыпать без молитвы...»

На помощь твою уповаю я, боже.
Я уповаю, о боже, на помощь твою.
Боже, на помощь твою уповаю я.

Рохеле уткнулась лицом в подушку, натянула на голову одеяло, чтобы не слышать музыки, и стала повторять вслух слова молитвы: «На помощь твою уповаю я, боже...»

Но в окно крадутся ласкающие звуки скрипки. Они удаляются, слабеют, мало-помалу начинают стихать.

Рохеле еще и еще раз повторяет слова молитвы:

На помощь твою уповаю я, боже.
Я уповаю, о боже, на помощь твою.
Боже, на помощь твою уповаю я.

Скрипку Стемпеню уже еле-еле слышно. Замирают последние звуки. Глаза Рохеле слипаются, но губы все еще шепчут бессвязно:

На помощь . . . .
уповаю . . . .
на помощь . . . .
уповаю . . . .

И Рохеле засыпает.

Рохеле засыпает, и снится ей, что Стемпеню надевает ей на шею ожерелье, в то время как Фрейдл жестоко избивает свекра Рохеле Айзик-Нафтолю в молитвенном облачении. Мойше-Мендл, мертвецки пьяный, сидит верхом на кочерге и корчит страшные рожи. А рядом Стемпеню надевает Рохеле ожерелье на шею. В стороне стоит Хае-Этл, по-праздничному одетая, нарядная как принцесса, и с ласковой улыбкой на лице зажигает много, много свечей.

— Что ты делаешь, Хае-Этл? — спрашивает Рохеле. — Зачем зажигаешь столько свечей?

— Неужто не знаешь? — смеется Хае-Этл. — Ведь суббота наступает. Пора помолиться над субботними свечами.

Рохеле глядит на ярко горящие свечи, а Стемпеню все надевает ей на шею ожерелье. Он придвинулся к ней так близко, что она слышит его дыхание. Он смотрит ей прямо в глаза, нежным, теплым взглядом. Рохеле ликует, смеется и поет. А Стемпеню все надевает ей ожерелье на шею.

Внезапно свечи гаснут. Исчезает Хае-Этл, и все кругом пустеет. Темно, холодно, как в подземелье, как в могиле... Ветер свистит, воет и откуда-то доносится пение, грустное пение; скрипка плачет, знакомая скрипка, все та же скрипка Стемпеню. Самого музыканта уже нет, но скрипка его поет мелодию,

подобную скорбной предвечерней молитве в Судный день. Слышен чей-то плач и стон. Это Хае-Этл оплакивает свою загубленную молодость, промчавшуюся как сон, и жалуется на милого ее сердцу Биньомина, который променял ее на другую, забыл свою Хае-Этл, забыл...

— Ой, маменька! — вскрикивает Рохеле, просыпается, поворачивается на другой бок и... снова засыпает.

И снятся ей самые причудливые сны. Всю ночь напролет ей мерещится, — нет, не мерещится! — она ясно видит, она чувствует, что Стемпеню стоит возле нее и надевает ей на шею нитку жемчуга... И снова появляется Хае-Этл с черными свечами в руках и плачет, сокрушается, читая вслух молитву: «Всемогущий отче небесный, царь царей, владыка над владыками, от века и до века единый и вездесущий! Услышь и исполни нашу горячую мольбу! Внемли молитве чистых душ, стоящих пред святым престолом твоим и молящих о милосердии к тем, что живут на земле и исполнены грехов, как гранат косточками, и отцы отцов наших...»

Хае-Этл произносит молитву громко, во весь голос. Она плачет, заливается горючими слезами, сетует на свою судьбу и внезапно исчезает...

XXII

Пламя разгорается

Есть в Мазеповке монастырь, сооруженный, как говорят, еще во времена Мазепы. Высокая каменная белая стена опоясывает монастырь со всех сторон и охватывает чуть ли не три четверти городка. С одной стороны в нишах стены размещены самые крупные лавки местечка, с другой — подвалы. Предание гласит, что в былые времена здесь прятали оружие гайдамаки. Теперь сюда складывают яблоки и другие фрукты. С третьей стороны стена покрыта вьющимися растениями и защищена высокими тополями,

растущими в монастырском саду. С четвертой стороны стена совершенно обнажена — штукатурка во многих местах отвалилась, кое-где не хватает кирпичей, — давно пора бы заделать здесь прорехи. Напротив стены ютятся дома и домишки, дворы и дворики, населенные евреями и неевреями. Узкая улица между этой частью стены и стоящими напротив домишками называется Монастырской.

Здесь на углу улицы под тополями, высящимися над монастырской стеной, и состоялось свидание наших влюбленных — Рохеле и Стемпеню.

Читатель, привыкший к «сверхзанимательным романам», немало, вероятно, натерпелся, бедняга, читая наш роман, в котором нет ни душераздирающих сцен, ни сногсшибательных приключений. Никто не стреляется, никто не принимает яда. Нет ни графов, ни маркизов. Вместо них выступают простые люди — музыканты какие-то и самые заурядные женщины. Этот читатель с нетерпением, конечно, ждет субботнего вечера, когда на Монастырской улице разыграется любопытная, пикантная сцена. Я должен, однако, предупредить читателей, что их ждет горькое разочарование: никаких соблазнительных сцен здесь не произойдет, потому что Рохеле пришла сюда не как распутница, прости господи, жаждущая испить чашу наслаждений под покровом ночи, помилуй бог!.. Она пришла только спросить: как смел он, Стемпеню-музыкант, писать ей, невестке Айзик-Нафтоли, жене Мойше-Мендла, письмо, да еще такое письмо?

— Я должна отчитать его как следует! — говорила себе Рохеле. — Раз навсегда сказать ему решительно и твердо... «Лучше первая ссора, чем последняя».

Эта мысль пришла ей в голову не вдруг. Всю неделю она думала об этом, особенно же — в последний день недели, в субботу. Боже, сколько она перенесла за этот день, какую выдержала борьбу с соблазном. Нет, слово «соблазн» здесь решительно не подходит. Откуда ни с того ни с сего проникнет соблазн в сердце благочестивой еврейской женщины, которая никаких романов не читала и не имеет представления о любовных приключениях? Единственная

любовная история, о которой она слышала, — это роман ее покойной приятельницы Хае-Этл, царство ей небесное, роман, о котором мы уже рассказывали. Итак, откуда же тут возьмется соблазн, любовь? Глупости! Будь она девушкой, — тогда другое дело. Девушка как-никак вольная пташка, волосы-то у нее еще не покрыты, значит, сама себе госпожа. Но как может замужняя женщина, благочестивая, да еще из хорошей семьи, как смеет она думать о другом мужчине? Она негодовала на самое себя, она готова была разорвать себя на части, места себе не находила: то бросалась на кровать, то вскакивала, как в бреду, и порывалась бежать, сама не зная куда... Ей было дурно, тошно, — вот-вот душа выскочит... Вдруг она встрепенулась, взяла в руки «Тайч-хумеш» *, торопливо раскрыла ее и наткнулась на следующие строки:

«И Дина, дочь Лии, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Шхем, сын Хамойра, и овладел ею насильно. И прилепилась душа его к Дине. Бехас пишет: Шхем уговорил ее».

Рохеле заглядывала в библию, которую свекровь подарила ей, когда она еще была невестой, но мысли ее были далеко, на Монастырской улице, там, где обещал ждать ее под тополями Стемпеню, и он, конечно, будет ждать. И едва на мысль пришел Стемпеню, ее безотчетно и неудержимо потянуло к нему.

— Я хочу только спросить его, что ему от меня надо, зачем он губит мой век?

И Рохеле вновь вспоминает свою подругу Хае-Этл. Как она, бедняжка, страдала из-за Биньомина!.. Но ведь Хае-Этл приходилась Биньомину двоюродной сестрой и к тому же была девушкой. А она, Рохеле, «мужняя жена» (как суров смысл этих слов для еврейской женщины!). А он! Кто он такой? Музыкант! Что общего может быть между ними? Кто он такой, чтобы письма ей писать? Какая дерзость! Какая наглость! Да как он смеет!

— Нет! — твердо решила Рохеле. — Будь что будет, а я ему скажу! Чего мне бояться? Я поговорю с ним с глазу на глаз. Я пойду туда... Никто меня не

увидит. Я выбегу на минутку. Это ведь недалеко — вот тут, почти напротив.

Рохеле глядит в открытое окно на Монастырскую улицу. Видит ряд стройных, горделивых тополей, слушает щебетание птиц в Монастырском саду. И мысль ее уносится туда, где час спустя, а может быть, еще раньше, она увидит Стемпеню, поговорит с ним с глазу на глаз. Сердце ее бьется, трепещет, и — надо сказать правду! — минуты тянутся бесконечно. Она ждет не дождется вечера, когда муж со свекром придут из синагоги и займутся проводами субботы, а свекровь, сняв праздничный наряд, начнет хлопотать о самоваре и о борще. Тогда Рохеле накинет на голову шаль и тихонько выскользнет из дому, якобы прогуляться. Кто заметит ее отсутствие? Она пойдет туда, где... Боже, как она вся дрожит! Как горят щеки! А сердечко — бедное сердечко! Вот-вот выскочит из груди!.. С каждой минутой все сильнее и сильнее тянет ее туда, к нему. Она уже не в силах думать ни о чем другом. Ничего не видит, кроме высоких тополей на Монастырской улице да Стемпеню с его огненными глазами; ничего не слышит, кроме звонкого щебетания птиц в монастырском саду и божественной игры Стемпеню.

Одна мысль овладела душою Рохеле — туда, к Стемпеню. Быть с ним! И не было той силы в мире, которая могла бы удержать ее в эту минуту.

XXIII

Огонь вспыхнул и тут же погас

Как только наступил вечер, Стемпеню отослал своих музыкантов на «Змирес» [1], да и сам для виду взял скрипку, чтобы Фрейдл подумала, будто и он

[1] В вечер последней субботы перед свадьбой девушки, по старинному обычаю, собирались у невесты потанцевать. Называлось это «Змирес» (песнопения), а в иных местах просто «субботние вечера». *(Прим. Шолом-Алейхема.)*

идет с ними к невесте. Но, выйдя из дому, он тотчас передал скрипку Мехче-барабанщику, а сам понесся на Монастырскую улицу. Шагая взад и вперед в тени деревьев, он часто останавливался и смотрел туда, откуда должна была прийти красавица Рохеле. В том, что она придет, не могло быть сомненья. Сердце подсказывало, что придет. Он ясно прочитал в ее глазах согласие в тот день, когда она приходила к Фрейдл покупать ожерелье.

Ожидания не обманули Стемпеню. Не прошло и четверти часа, как в конце улицы показалась женщина с белым платком на голове. Она шла быстро, пугливо озираясь по сторонам. Белый платок надвинут на самые глаза. Она вся охвачена волнением: руки дрожат, зуб на зуб не попадает, высоко вздымается грудь. На мгновение она останавливается, бросает взгляд вокруг и, заметив Стемпеню, быстро направляется прямо к нему.

— Я пришла спросить вас, как вы смели!..

— Рохеле, прошу тебя, не говори мне «вы»! Говори «ты», — взмолился Стемпеню, схватив ее за руки и пристально заглядывая ей в глаза.

Рохеле увидела в его взоре блеск тех самых звезд, что глядели с темно-синего неба в эту пленительную летнюю ночь.

Мазеповские мужчины уже пропели молитву о наступающих буднях, воспели хвалу Илье-пророку и, охая и вздыхая о плохих временах, мечтали о счастливой доле того праведника, который сподобился видеть собственными глазами Илью-пророка и обменяться с ним рукопожатием... Мазеповские женщины сняли праздничные головные уборы, сбросили с себя праздничные одежды и драгоценности и принялись за будничную домашнюю работу. Одним словом, Мазеповка занята проводами «царицы-субботы». И никому во всей Мазеповке не пришло бы в голову, что в этот самый час благочестивая Рохеле, невестка Двоси-Малки, беседует на Монастырской улице с музыкантом Стемпеню о предметах, ничего общего не имеющих с благочестием.

Только синее небо, светлые звезды, высокие монастырские тополи да ночные птицы, перекликающиеся в саду на своем наречии, — только они одни были свидетелями этого свидания. Никто, кроме них, и не догадывался, что в эту чудесную, полную чарами ночь под сенью монастырских деревьев, на христианской улице, бок о бок со Стемпеню Рохеле испытывала блаженство, заставившее ее забыть обо всем на свете. Здесь, на лоне благодатной природы, она чувствовала себя так хорошо, как никогда в жизни... Тревога, охватившая ее, когда она направлялась сюда, бесследно исчезла. Ей казалось, что у нее вырастают крылья и она вольной птицей может закружить в воздухе.

Стемпеню еще ближе придвинулся к Рохеле и положил ей руки на плечи. Она вздрогнула, хотела отстраниться, но не сделала этого. Только посмотрела на него, и на ее длинных ресницах блеснули две слезинки.

— О чем ты плачешь, Рохеле? — спросил Стемпеню, вытирая ее слезы.

— Ах, Стемпеню, мне так хорошо тут, возле вас... возле тебя, Стемпеню! Почему я... почему я не...

— Не моя, хочешь ты сказать? Ты моя, Рохеле, моя!

— Твоя, Стемпеню? Как это возможно?

— Ты моя, моя, потому что я твой, весь твой, навсегда, до последнего вздоха, до гробовой доски! Жизнь моя! Радость моя!

— Биньомин тоже так говорил, клялся, а на самом деле...

— Какой Биньомин? — изумился Стемпеню и посмотрел на Рохеле так, как глядят на милое дитя, лепечущее невесть какой вздор. — О каком Биньомине ты говоришь, душа моя?

— Биньомин, двоюродный брат моей подруги Хае-Этл. Был у нее, у сиротки Хае-Этл, двоюродный брат, которого звали Биньомином. Они сговорились повенчаться. Он обещал ей, клялся всем святым, а на самом деле... Боже, какой печальный конец! Умерла бедная Хае-Этл, царство ей небесное!..

Биньомин был ей дороже жизни, она изнывала от тоски по нем. Она сама мне об этом рассказывала. Как живая, стоит она пред моими глазами, и часто чудится мне, будто она сидит у меня на подоконнике, слушает мои песенки, плачет и предостерегает меня: «О, не верь мужчинам! Им верить нельзя!»

Рохеле рассказывает о своей покойной подруге, сиротке Хае-Этл, а Стемпеню в это время целует ей руки, обнимает ее, заглядывает в глаза... Рохеле продолжает печальную повесть о Хае-Этл, угасшей, как свеча, от любви к своему милому, дорогому Биньомину...

Хае-Этл уже несколько лет в могиле, но Рохеле хорошо помнит ее. Покойная подруга часто приходит к ней во сне... И теперь ей вдруг почудилось, что Хае-Этл в белом саване глядит на нее поверх монастырской стены и, указывая на Стемпеню, качает головой, как бы говоря: «Ты что тут делаешь?»

— К чему, Рохеле, к чему, жизнь моя, говоришь ты об этом? Зачем к ночи вспоминать о таких вещах? Взгляни лучше на меня своими прекрасными светлыми глазами! Они сверкают, как два брильян...

Не успел Стемпеню закончить последнее слово, как Рохеле вдруг вырвалась из его рук с такой стремительностью, что Стемпеню испугался.

— Бог с тобой, Рохеле, что случилось?

Он хотел снова взять ее за руку, но она не давалась. Дрожа всем телом, она шептала:

— Видишь, вон она! Вон стоит! Смотрит сюда, прямо на нас!..

— Кто стоит? Где стоит? О чем ты говоришь, Рохеле? Душа моя, приди ко мне, дай мне руку!..

— Ах, оставь меня, оставь меня, Стемпеню! Оставьте меня! Видите? Вон стоит что-то белое... Ой, это она, Хае-Этл! Хае-Этл!.. Оставьте меня! Пустите меня! Как вы смеете? Спокойной ночи... спокойной...

И Рохеле скрылась из виду в тени деревьев. Перед глазами Стемпеню промелькнули концы ее шали, будто два белых крыла. Так исчезает добрый ангел, так рассеивается сладостный сон...

Прибежав домой, Рохеле хотела признаться, рассказать во всеуслышание, где она была и с кем говорила. Но она застала всю семью за столом, на котором пыхтел большой самовар. Присутствовало также несколько гостей, и все были заняты серьезным деловым разговором. Так уж исстари заведено у евреев: на исходе субботы соберутся у кого-нибудь и после отдыха в течение целых суток заведут беседу о делах, о предстоящей ярмарке, о политике, о том о сем.

— Я и не думаю обзаводиться своей палаткой на ярмарке, — говорил толстый торговец красным товаром. — Провались они сквозь землю, эти ярмарки! Знаю я их, — не впервые мне бывать на ярмарках. Ничего, кроме огорчений и досады, от них не дождешься.

— Отчего же, — возразила ему Двося-Малка, скрестив руки на груди. — Не понимаю, право, реб Юдл, отчего вы так недовольны ярмарками. Кажись, в прошлую ярмарку вы, не сглазить бы, так бойко торговали, что дай боже всем нашим друзьям торговать не хуже. Весь день, кажется, зарабатывали денежки.

— У тебя все называется — зарабатывать денежки, — прервал Айзик-Нафтоля, не глядя на жену и продолжая щелкать на счетах.

— А я пожелал бы себе, — вмешался в разговор Мойше-Мендл, глядя в приходную книгу, — чтобы послезавтрашняя ярмарка была не менее удачной, чем прошлая. Не понимаю, к чему скрывать это.

— В том-то и дело, — отозвался Юдл, — что вы никак не хотите верить человеку. Увидите вы в чужой лавке десяток покупателей, которые только и шарят глазами, что бы такое сцапать, и вам уже кажется, что человек деньги зарабатывает, и вам уже завидно.

— Знаете что, реб Юдл, — произнес молодой человек, косивший на оба глаза, — к черту ярмарку! Завтра еще долгий день впереди, — поверьте, успеет она всем нам трижды осточертеть, эта ярмарка! Поговорим лучше о чем-нибудь другом.

И завязалась оживленная беседа о всякой всячине, о синагогальных делах, о мировых вопросах, ну и — разумеется — о войне. Шум, гам, клубы табачного дыма, смешанные с паром весело шумящего самовара. Печка на кухне жарко натоплена: там готовится борщ с гусиными потрохами для «проводов царицы-субботы»...

— Где ты была, Рохеле? — спросила Двося-Малка невестку.

— Здесь недалеко. На Монастырской улице.

— Ну, как там на улице? Погода хорошая? Дай боже, чтобы она продержалась до окончания ярмарок. Отчего ты побледнела, Рохеле? Голова разболелась, что ли? Пошла бы к себе в комнату, прилегла бы.

Все обернулись, посмотрели на бледное лицо Рохеле и в один голос решили, что она угорела от самовара.

Рохеле ушла к себе в комнату, легла в постель. В столовой между тем нашлась новая тема для беседы — заговорили об угаре. Такой пустяк, такая, с позволения сказать, чепуха, как дым, — и поди ж ты! Сколько раз, случалось, людей насмерть душил этот дым. Один из гостей рассказал, что в доме его покойного дедушки раз как-то целое семейство чуть не отправилось на тот свет от угара. Другой поведал еще более потрясающую историю о том, как семья его дяди чуть не отравилась какой-то рыбой, которая называется «маринкой», — насилу спасли. Третий разводил узоры насчет домовых, колдунов, чертей и прочей нечисти. Рассказывали, рассказывали, пока не набрели на тему о смерти.

— О чем ни говори, — воскликнул один из гостей, — а разговора о смерти не миновать.

Мойше-Мендл в это время напевал «Илью-пророка»:

— «Илья-пророк...» надо бы посмотреть... «Илья из Тишби...», что поделывает... «Илья из Гилода...» моя благоверная...

Он поднялся из-за стола и пошел к Рохеле.

XXIV

Рохеле возвращается на путь истинный

— Помогите! — внезапно послышался крик.

Все бросились в комнату Рохеле. Она лежала, вытянувшись на кровати, запрокинув голову... Возле нее, ни жив ни мертв от испуга, стоял Мойше-Мендл.

— Что случилось? В чем дело? Обморок? Воды! Скорей воды!

— Воды! воды! — кричали все в один голос, но никто не трогался с места.

— Ой, порази меня гром небесный! — всплеснула руками Двося-Малка. Она быстро принесла кружку воды, набрала полный рот и прыснула в мертвенно-бледное лицо Рохеле.

— Пошлите за доктором! — не своим голосом кричал Мойше-Мендл.

— Доктора! доктора! — глядя друг на друга, вторили ему гости.

— Свяжите ей руки платком и зажмите нос!

— Нос! нос! — хором кричали все, продолжая стоять как пришитые к месту.

— Так, так, Двося-Малка, сильнее! — подстегивали гости хозяйку, которая трудилась изо всех сил: натирала невестке виски, зажимала нос, насильно раскрывала ей глаза, брызгала на нее водой. Наконец удалось привести Рохеле в чувство.

Она села и огляделась по сторонам, точно очнувшись от сна.

— Где я? Мне душно, душно!

— Расходитесь, пожалуйста! — скомандовала Двося-Малка, выпроваживая публику в столовую, а сама с сыном осталась возле Рохеле, не спускавшей глаз с мужа.

— Что с тобой случилось, доченька? — спросила свекровь.

— Что с тобой, Рохеле? — спросил Мойше-Мендл, наклонясь к жене.

— Пусть мама уйдет, — шепнула ему Рохеле.

— Мама, прошу тебя, выйди, пожалуйста, — сказал Мойше-Мендл.

Выпроводив мать, он снова подошел к постели жены.

— Скажи мне, что с тобой, — впервые с глубокой нежностью обратился к ней Мойше-Мендл.

— Ой, Мойше-Мендл! Поклянись, что никому не расскажешь. Поклянись, что все останется между нами. Обещай, что простишь меня за то, что я против тебя... Если бы не Хае-Этл, царство ей небесное, если бы Хае-Этл мне не напомнила... Ах, Мойше-Мендл, дорогой мой!

— Подумай, Рохеле, что ты говоришь. Бредишь ты, что ли? Что за Хае-Этл? Ее уже давно на свете нет.

— Она много раз приходила ко мне во сне... Но сегодня... только что... Ах, Мойше-Мендл, наклонись ко мне поближе... еще ближе... вот так... Я боюсь... я каюсь... каюсь...

Рохеле тянулась все ближе к мужу, пока не очутилась в его объятиях. В комнате было темно. Только узкая полоса света пробивалась сквозь дверную щель из столовой. Рохеле и Мойше-Мендл едва могли видеть друг друга. Их глаза встретились, в них вспыхнул огонек, — так глядят друг на друга только счастливые влюбленные в час первого свиданья, когда не язык говорит, а сердце, когда взгляды заменяют слова.

— Скажи мне, Мойше-Мендл, мой милый, я и вправду тебе дорога?

— Что за вопрос! — вырвалось у Мойше-Мендла. — Ты заполнила все мое сердце, как... Я и сам не знаю, как...

По-другому Мойше-Мендл не смог выразить своей любви к Рохеле. Но можно ему поверить, что он говорил от чистого сердца, что он переживал это чувство так же глубоко, — а может быть, и гораздо глубже, чем иной человек, обладающий большим даром расписывать словами все, что творится в его душе.

Но оставим счастливую чету в их неосвещенной комнате, где за год совместной жизни им впервые представился случай поговорить друг с другом по душам, пусть спят, как два голубка. То, что в течение целого года было скрыто глубоко в сердце каждого, теперь всплыло наружу.

Рохеле стало легче, и вот Мойше-Мендл, сидя рядом с ней, уже снова тихо напевает молитву:

— «Илья-пророк, Илья из Тишби, Илья из Гилода...»

Рохеле перебила его:

— У меня к тебе просьба, Мойше-Мендл. Скажи, исполнишь ты ее или нет?

— А именно? Что за просьба? Скажи, Рохеле, я все готов для тебя сделать. Хоть луну с неба добыть...

— Довольно нам, Мойше-Мендл, сидеть на родительских хлебах. Ты ведь не синагогальный бездельник. Маленький капиталец у нас, слава богу, есть. Давай переедем в большой город — в Егупец. Там, среди моих родных и друзей да вместе с тобой я буду чувствовать себя счастливой. Пора нам зажить самостоятельно. Хватит сидеть на всем готовом, до того опротивело, что — поверишь! — жизнь мне стала немила... Мы ведь тут среди твоих, как чужие, как совершенно чужие.

Мойше-Мендл на минуту задумался и с удивлением посмотрел на Рохеле. Потом опять начал раскачиваться, все так же напевая «Илью-пророка».

— Ох, это прекрасно... «Илья-пророк...» С моей стороны... Отчего же нет?.. «Илья из Гилода...» Хоть на этой же неделе.

— Все ты готов для меня сделать Мойше-Мендл, все! — с любовью сказала Рохеле. — Не правда ли? Мы будем жить одни, своей семьей. Я буду хозяйничать и ухаживать за тобой, беречь тебя, как зеницу ока... Ой Мойше-Мендл! Ты такой рассеянный, доброго слова от тебя никогда не услышишь. Но сегодня ты другой, совсем другой.

— «Илья-пророк», — продолжал напевать полушепотом Мойше-Мендл, — «Илья из Тишби... Илья из Гилода...»

В это самое время в столовой между хозяевами и гостями шел разговор совсем иного рода.

Всякий строил свои догадки о причинах внезапного обморока невестки реб Айзик-Нафтоли. Один полагал, что это от дурного глаза; другой, наоборот, уверял, что от сквозняка. Наконец третий, уже пожилой человек, у которого было несколько женатых сыновей, высказал свою догадку:

— Послушайте, что я вам скажу. У меня самого три невестки. Я уже достаточно опытен в таких делах. Уверяю вас, — это предвестник. Готовьтесь, реб Айзик-Нафтоля, стать дедушкой... Двося-Малка, от души поздравляю вас! Ваша невестка... Ну, ну, что же тут такого? Чего тут стесняться, Двося-Малка? Дело житейское.

Двося-Малка тает от блаженства: она уже давно ждет не дождется этой радости.

— Вот еще! Ах, оставьте! — говорит она, притворно сердясь. — Подите вы с вашими шуточками. Загляну-ка я на кухню, посмотрю, что с борщом. Что-то он сегодня слишком долго варится, никогда он у меня столько не варился.

XXV

Год спустя

«Пресная история!» — скажет, пожалуй, разочарованный читатель, воспитанный на «увлекательных» романах, в которых герои вешаются, стреляются, бросаются в пучину или принимают яд, где меламед становится графом, служанка — принцессой, а певчий у кантора — неведомым зверем. Но как же нам быть, если нет у нас ни графов, ни принцесс? Есть только простые люди, обыкновенные еврейские жен-

щины и свадебные музыканты... Но к чему оправдываться? Теперь читатель может говорить, что ему угодно; раз нам удалось довести его до этого места, то он уж и дальше проследует за нами — ведь интересно же ему знать, что сталось с Рохеле, со Стемпеню.

Пропускаем целый год (что значит год в жизни человека?) и заходим в дом к Айзик-Нафтоле в субботу вечером. Мы застаем здесь тех же людей, что и в прошлом году, слышим те же речи, что и в прошлом году, — ничего не изменилось. Разговор идет о ярмарке, о барышах, о детях и, наконец, касается Мойше-Мендла и Рохеле, живущих теперь в Егупце.

— Покажи-ка, Двося-Малка, письмецо, которое дети прислали нам из Егупца, — обращается Айзик-Нафтоля к жене. — А ну-ка, реб Юдл, почитайте.

— Пусть он прочитает, — Юдл указывает рукой на косоглазого молодого человека.

Косоглазый берет письмо и читает без запинки:

«Мир и вечное благоволение возлюбленному отцу моему, мудрому, ученому, высокопросвещенному, выдающемуся мужу, высокоуважаемому господину Айзик-Нафтоле, сыну Мойше-Иосифа, да будет благословенна память его!

И благочестивой, непорочной матери моей, прославленной, как Эсфирь и Авигаил, высокопросвещенной госпоже Двосе-Малке, дочери Мойше-Мендла, да будет благословенна память его!

И всем чадам и домочадцам — мир и благословение!

Как сияет солнце в лазурном небе, прорезая тьму облаков, как сверкают лучи его с высоты небес, с голубой лазури, разгоняя сумрак ночи...»

— Нет, не то, не то! — кричат гости. — Это же все только для красоты, пустословие одно, дребедень, ребячья забава! Читайте дальше, на обороте!

Косоглазый переворачивает листок и читает дальше:

«...А насчет того, что ты просишь меня, дорогой

отец, написать о том, чем торгуют и на чем хорошо зарабатывают у нас в Егупце, то сообщаю тебе...»

— Во-ао! С этого бы и начали, — с удовлетворением замечают гости. — Читайте, читайте дальше!

«...Сообщаю тебе, что больше всего здесь идет красный товар, а также галантерея, но галантерея не так хорошо, как красный товар. Бакалея тоже неплохо идет, не хуже, чем у вас в Мазеповке. Шерстяные товары здесь в большой цене, прямо на вес золота. Сахар, мука и отруби — тоже прибыльный товар, они идут за границу, и на них люди наживают целые состояния. Одним словом, Егупец — благословенный край. Самый город очень велик, — стоит поглядеть на него. Это вообще совсем другой мир. Здесь, в Егупце, вы можете встретить еврея, с виду совершенно на еврея не похожего. Бумага здесь тоже товар. В Егупце всё товар. И люди околачиваются тут на бирже, покупают и продают всевозможные акции, и маклеры на этом великолепно зарабатывают.

Также моя жена, госпожа Рохеле, кланяется вам всем от всей души. Она сама вам напишет. Да сподобит нас всевышний услышать от вас такие же добрые вести, аминь!

Еще сообщаю вам, что магазин, который я снял, находится в самом центре Александровской улицы, и торгуем мы, с божьей помощью, совсем неплохо. Моя благоверная, госпожа Рохеле, — продли, господи, ее годы! — уже немного освоилась с торговлей, умеет разговаривать с покупателями. Но закупать товары на ярмарке я езжу один, без нее. Я пользуюсь кредитом у московских и лодзинских купцов. С Москвой очень хорошо иметь дела: Москва продает на совесть и любит покупателя-еврея. Даже если какой-нибудь купец обанкротится, Москва поддержит его и не даст человеку пасть.

Квартиры здесь очень дороги. За две комнаты с кухней я плачу сто семьдесят пять рублей в год, помимо воды и отопления. Здесь вообще все дорого, всё на вес золота. В городе очень много людей занимается посредничеством и делает хорошие дела. Егупец — такой город, где можно прилично зарабатывать на жизнь,

Пошли вам господи здоровья и сил и дай боже слышать от вас такие же утешительные вести, какие желаю вам.

От меня, вашего сына, который желает вам мира и счастья в вашей жизни.

Мойше-Мендл,
сын высокоуважаемого Айзик-Нафтоли из Мазеповки.

Кланяюсь моему дорогому дяде и моей дорогой тете со всеми их чадами и домочадцами.

Кланяюсь почтенному богачу реб Юдлу со всеми его чадами и домочадцами.

Кланяюсь почтенному богачу реб Симхе-Гершу со всеми его чадами и домочадцами.

Кланяюсь почтенному богачу реб Дойв-Беру со всеми его чадами и домочадцами.

Кланяюсь госпоже Стысе-Бейле со всеми ее чадами и домочадцами.

Также мой сын Иосиф — да не померкнет светоч его! — кланяется вам сердечно

Вышеупомянутый».

«Также и я кланяюсь моему многоуважаемому свекру и моей милой свекрови, желаю им счастья! Сообщаю вам о своем добром здоровье, дай бог и впредь не хуже.

Также мой Иоселе кланяется вам и благодарит многократно, дорогая свекровь, за присланную рубашонку. За это он обещает вам, если господь продлит его годы и он, с божьей помощью, через три-четыре года начнет ходить в хедер, — хорошо учиться и стать, с божьей помощью, благочестивым евреем, долгую жизнь пошли ему господи, аминь!

Дорогая свекровь! Если вы можете связать для Иоселе ермолочку и пару чулочков из шерсти, я была бы вам очень благодарна, так как я сама очень занята в деле мужа, а нанимать кормилицу для Иоселе я не хочу, — не стоит. Я только наняла девушку и плачу ей четыре целковых с моей одежей; она смотрит за ребенком и выгоняет корову в поле. Поглядели бы вы, какую я купила корову! Четыре кварты молока дает — очень хорошее молоко! — и я имею, благода-

рение господу, творог и масло. Но дорогой Мойше-Мендл вдруг невзлюбил молочного. Отчитайте его за это, прошу вас. Он совершенно не бережет себя. Иоселе надрывается, хочется ему, бедненькому, покушать, — мне, господи, воздай за все его прегрешения в будущем! Кончаю свое письмо. Кланяюсь сердечно всем друзьям и близким и прошу вас, ради бога, ответить нам и остаюсь

ваша преданнейшая и с пожеланием счастья невестка *Рохл».*

— Ну? — отозвался Берл-толстяк, когда чтение кончилось. — Дай боже, чтоб моим детям жилось не хуже!

— Вы грешите, Двося-Малка! — сказал Юдл. — Право, грешите...

— Разумеется, слава его святому имени! Моим детям, не сглазить бы, хорошо живется. Но я тоскую по ней. Не могу забыть ее, реб Юдл, не могу!

И Двося-Малка начинает перечислять Юдлу все достоинства своей невестки, все ее манеры, стараясь объяснить ему, почему она не может забыть Рохеле.

Снова разгорается оживленная беседа, теперь уже о Егупце и егупецких делах. Затем, наполнив рюмочки, чокаются, подолгу держа в руке рюмку с водкой и желая друг другу всех благ, а всему народу — добрых вестей, вызволения от бед и утешения в горе. Наконец на столе появляется борщ, наполняя комнату своим вкусным запахом. Настроение поднимается. В общем оживлении вскоре забывается и Мойше-Мендл, и Рохеле, и город Егупец, и все прочее.

XXVI

Муки ада

Один только человек ни на минуту не может забыть красавицу Рохеле.

Читатель, конечно, догадывается, что речь идет о Стемпеню.

Да, именно о нем идет речь. Кто в силах передать его страдания? Кто поймет его сердечную боль и обиду?

«Как обидно! — думает Стемпеню. — Какая досада! Уехала и даже не вспомнила обо мне, не дала знать. Хотя бы для виду черкнула два слова: знай, дескать, что я уезжаю. Фи, какой позор!»

Ничего подобного Стемпеню еще никогда не испытывал. Хоть ему случалось уж бывать в разных переделках и не раз его похождения оканчивались для него весьма постыдно, нередко даже скандально, но такого позорного провала, такого удара, какой выпал на его долю теперь, он никак не ожидал. Стемпеню, который был в таком почете при дворе самого цадика, так что дочери этого святого мужа иногда позволяли себе перекинуться с ним шуткой, Стемпеню, приводивший в восторг панов и даже графиню Бжежевскую, которая не раз посылала за ним карету и вела с ним разговор на французском языке, — этот самый Стемпеню был так глупо посрамлен простой еврейской женщиной!

— Сердце тоскует по ней! — признавался Стемпеню музыкантам. — Не могу унять тоску по этой женщине. Я охотно поехал бы за нею в Егупец, если бы... если бы не...

Стемпеню оглядывается по сторонам, и компания легко догадывается, *кого* именно он ищет глазами.

Музыканты от всей души любили Стемпеню и готовы были пойти за него в огонь и в воду. Но в той же мере, в какой они любили Стемпеню, они ненавидели Фрейдл. Их отталкивала ее скупость, жадность, ее отвратительный нрав.

— Покуда он был холостяком, — говорили меж собой музыканты, — рубль ему был нипочем. Разжиться у него несколькими целковыми ничего не стоило: иной раз займешь у него трояк или пятерку на вечные времена, а в другой раз он и сам подарит. А с тех пор как эта ведьма, чтоб ей провалиться, забрала его в свои лапы, он сам подыхает по копейке, гроша ломаного за душой не имеет. Миновали добрые старые времена, кончились ужины у Стемпеню, прошла пора

веселых разъездов. Теперь хоть пухни с голоду, хоть ноги протяни — не от кого ждать помощи. Сидишь день-деньской без куска хлеба, только и ждешь свадебного сезона. Хоть бы для приличия попотчевала когда-нибудь нашего брата стаканом чаю, предложила бы чего-нибудь поесть, — съели бы ее черви, проклятую!

— Поверите ли, часто бывает — так хочется лопать, что черти в животе пляшут; но если бы она мне положила золото на стол, я бы и то не притронулся, у такой злюки я бы и куска хлеба не взял.

— И как он только живет с ней, с такой ящерицей, с эдакой стервой! Я бы давно такую либо повесил, либо отравил. Будь я не я, если бы не отправил ее на тот свет, ко всем чертям...

— Ах, Стемпеню, Стемпеню! Попал же ты, бедняга, в переделку, трепыхаешься в пекле...

Так говорили между собой музыканты, которые знали, как ему тяжело живется, и сочувствовали его невзгодам, хотя он сам и словом о них не обмолвился.

Когда Фрейдл уходит на рынок либо занимается своими должниками и покупателями, еще куда ни шло: Стемпеню угощает тогда всю компанию папиросами. Истребляя без зазрения совести хозяйский табачок, музыканты сидят развалясь, балагурят, вспоминают былые проказы. Но вот показывается Фрейдл, и всем становится не по себе. Музыканты один за другим выскальзывают из комнаты.

— Гляньте-ка, гляньте, как тут накурено! Точно в кабаке! — говорит Фрейдл, шмыгая носом и с сокрушением глядя на пачку табаку, значительно потерявшую в объеме. — Курят, дымят, пыхтят! У меня уже голова болит от дыма! В могилу вы меня сведете вашим курением! Думаешь, Стемпеню, тебе полезно так много курить? Поверь, ты губишь свое здоровье. Послушайся меня, Стемпеню, брось курить, душа моя!

— К чему, Фрейдл, эти пустые разговоры о моем здоровье? Признайся попросту, что тебе жаль пятиалтынного на восьмушку табаку. К чему комедию ломать!

— Вот те и раз! Комедию ломать! Я только и думаю что о нем, а он — комедию ломать! Вот уж точно, не хватало мне неприятностей на сегодняшний день! Все утро драла глотку, грызлась и не заработала ни гроша. Мало того, меня еще обругали, как последнюю служанку, хуже, чем кухарку, очернили, с грязью смешали. А товар лежит и гниет.

— Хотел бы я знать, Фрейдл, зачем ты так хлопочешь. К чему твоя скаредность? Дети у тебя кушать просят, что ли?

— Взгляните, пожалуйста, на этого невинного теленка! Ему готовенькое в рот положи да еще помоги разжевать. Что же, должно быть, я все добро отношу моей мамаше? Не так ли, Стемпеню? А может быть, я все это проедаю? Ведь твоя жена — известная мотовка? Господи спаси и помилуй? Это ты хотел сказать, Стемпеню? А ну-ка, посмотри мне прямо в глаза, Стемпеню: это ты хотел сказать?

— Разве я говорю, что ты проедаешь? Я говорю как раз обратное: я говорю...

— Ты говоришь... Знаю я, что ты говоришь! Ты еще не доволен, Стемпеню, не так ли? Бог послал тебе такую мотовку-жену, которая умеет из гроша сделать два, которая и денно и нощно только и думает что о тебе. Скажи сам, чего тебе недостает! Молчишь? Хотела бы я только знать, что сталось бы с тобой и с твоей скрипкой, Стемпеню, не будь у тебя такой жены, как я!

— У, страсти какие! Подумашь!

— Вот именно что «подумаешь»! Забыл уж ты, видать, каков ты был до свадьбы? Ни рубахи на теле, ни целой пары носок, ни подушки, ни наволочки, ничегошеньки не было! А загребал груды золота! Куда ты все свои денежки девал?

— Так я и стану сейчас отдавать тебе отчет в моей холостяцкой жизни!

— Вот в том-то и беда, Стемпеню, что ты не терпишь, когда тебе говорят правду. Ты только и знаешь, что попрекать жену, которая ради тебя работает до седьмого пота, готова лбом стену прошибить, отказывает себе в куске хлеба, жизнь себе, можно ска-

зать, отравляет! И ради кого, спрашивается? Все ради него! И подумать только, какая ждет меня за это награда! Ну, конечно, золотой памятник поставит он над моей могилой, доля моя злосчастная!

— Что я тебе сделал? Кто тебя трогает?

— Что ты мне сделал? О, ты достаточно сделал. Жизнь ты мне загубил. Встретил молодую девушку, невинное дитя, вскружил ей голову своим язычком, посулил золотые горы и обманул, кругом обманул! Мне было бы лучше, если бы я тебя никогда не знала. Я нашла бы себе ровню. Ну, и не была бы женой Стемпеню. Подумаешь, эко счастье.

— Может быть, ты раскаиваешься, Фрейдл? Так за чем же дело стало? В Мазеповке есть раввин, речка тоже есть *, — можно развестись.

— А-а! Вот чего захотел! Наконец-то проговорился! Думаешь, я не знаю, что ты только этого и ждешь? Хочешь избавиться от меня! Знаю, Стемпеню, все знаю! Меня не проведешь! Я тебе глаза мозолю, Стемпеню. Но чем, скажи, чем я это заслужила? Ну, сам скажи, по чистой совести, чем я заслужила? Мне бы тоже не мешало знать...

— Да ну тебя! — машет рукой Стемпеню, уходит к себе в комнату и достает со стены скрипку.

Скрипка — единственный друг Стемпеню, единственное его утешение. С ней он забывает сердечную боль, с ней он вспоминает свою молодость, свою навсегда потерянную свободу! Много дорогих лиц оживает в его памяти при звуках скрипки. Много прекрасных, светлых, радостных образов возникают перед ним, едва он начинает играть. Возникают и тут же скрываются.

Среди бесчисленных картин прошлого больше всего волнует его один незабываемый образ — это образ Рохеле с ее светлым лицом, синими глазами и длинными ресницами, с ее белоснежной шеей. А улыбка ее, добрая и ласковая, — он готов отдать за нее все на свете.

Поет-заливается скрипка. Долго играет Стемпеню, боясь, как бы не скрылась Рохеле. Ему любо видеть хотя бы ее тень. Даже самая мысль о ней бесконечно ему дорога.

Никогда еще Стемпеню не играл так вдохновенно, как в то время. Его искусство достигло недосягаемой высоты. Кто в те дни не слыхал игры Стемпеню, тот не слыхал подлинной музыки.

Так восторгаемся мы порой пением птицы в клетке. Ей грезятся зеленые листочки, распускающиеся цветы, вольный воздух, широкий простор полей, и хочется ей петь, излить в песне свою печаль. И поет птица, рассыпается трелью, тоскует, а мы в это время любуемся ею, восторгаемся, получаем удовольствие.

— Не могу побороть свою тоску по ней, — в сотый раз говорит Стемпеню. — Я тоскую по ней, как по самому родному человеку. Я бы поехал вслед за ней в Егупец, если бы не...

Стемпеню озирается по сторонам и видит Фрейдл, — она страстно уговаривает какую-то покупательницу купить у нее ожерелье, шелковые платки, шерстяные нитки. Фрейдл мало-помалу завела у себя в доме целый магазин и стала заправской торговкой, под стать заматерелым мазеповским лавочницам.

Частенько к Фрейдл приезжает в гости ее мать, толстая Ципойра. Она сообщает, что Шайка-скрипач очень соскучился по дочери и послал ее, Ципойру, проведать, как поживает Фрейдл. Но дочь прекрасно знает, что это — ложь, что ее мамаша просто-напросто изголодалась у себя дома и приехала к ней «разговеться», пожить в свое удовольствие.

— Знаешь, дочка, испекла бы ты такие сдобные булки, какие я, бывало, пекла: плетеные, поджаристые. Со стаканчиком цикория это очень пользительно, а если можно себе позволить намазать побольше масла, еще лучше. А к завтраку вели подать гусиные шкварки с луком. Твой папаша, если помнишь, очень любит это блюдо. Здоровье, дочка, не в пилюле, а в кастрюле...

Ципойра даже облизывается и каждый день придумывает новые блюда к завтраку, к обеду, к ужину. Нельзя сказать, чтобы Фрейдл была в восторге от заказов матери... Первые несколько дней она, скрепя

сердце, кое-как идет навстречу ее неутолимому аппетиту. Но проходит неделя, и Фрейдл начинает дуться на мать, а та — на дочку. Слыша их взаимную перебранку, Стемпеню старается восстановить мир между женой и тещей, — и в конце концов ему же достается от обеих.

— Не твое дело! — обрывает его Фрейдл. — Не тревожься — твоего достояния я маме не отдам, можешь быть совершенно спокоен, Стемпеню.

— Ну и зятек! — в свою очередь язвительно шипит теща. — Отрастил бык длинный язык, а трубить не может. У порядочных людей теща пользуется таким же уважением, как мать, а ему что! Прекрасно, кажись, видит, как честит меня моя доченька, — так честит, что не знаешь, куда деваться от стыда, а он хоть бы языком пошевелил. Тоже, с позволения сказать, муженек! Только и знает, что пиликает на скрипке. Не понимаю, как ему не надоест, боже праведный! И с чего это моя дочка так нос задирает, не могу понять. У кого дело спорится, у того и бык доится. Видали мы таких! Твой тесть, Стемпеню, был скрипачом хоть куда, тебе не уступил бы. Но что поделаешь? Новая метла, как говорится, чисто метет. Всюду нужна удача, как говорит пословица: «Захочет бог, так и веник выстрелит». Ты не должен обижаться на меня, Стемпеню, что я говорю тебе в глаза правду. И хоть каждый пес, как говорят, у своего порога хозяин, но я все же тебе не чужая, как-никак тещей тебе прихожусь. «Играешь с кошкой, дружок, полюби и ее коготок».

Ципойра, как из мешка, сыплет поговорками да прибаутками. Когда она разойдется, ее не остановишь. Но Стемпеню не дослушивает до конца. Он берется за скрипку, как всегда, когда у него на душе кошки скребут. Со скрипкой в руках он забывает и жену, и тещу, и все беды и напасти. Он снова видит перед собой синеглазую Рохеле.

— Сердце тоскует по ней, так тоскует! — шепчет про себя Стемпеню. Он перебирает в уме тысячу возможностей бежать к ней, увидеть ее хоть один еще раз... Тщетные мечты! Он не понимает, что песенка

его почти уже спета, что лучшая часть жизни уже позади; не замечает Стемпеню, как мало-помалу редеет его прекрасная черная шевелюра, как гаснет огонь в его глазах и как морщины бороздят его белый лоб.

Глупый богатырь! Не обольщайся! Погляди: бок о бок с тобой сидит твоя Далила, твоя жена Фрейдл. Эта Далила убаюкала тебя, усыпила на своих коленях, втихомолку срезала твои длинные локоны и лишила тебя силы, всей твоей богатырской силы, как библейская Далила — своего Самсона-богатыря... Одна утеха осталась у тебя — скрипка.

Играй же, Стемпеню, играй на своей скрипке! Сыграй, а мы послушаем...

ИОСЕЛЕ-СОЛОВЕЙ

Роман

*Лучшему другу и вернейшему товарищу О. М.**
в знак глубочайшей преданности посвящает

Автор

Дорогой, любимый друг!

Мой второй еврейский роман «Иоселе-соловей» я преподношу тебе сегодня, в день твоего рождения. Надеюсь, что этот подарок будет тебе по душе. И не потому что я считаю его каким-то особо замечательным. Я прекрасно сознаю, что еще не смог до конца выполнить преподанное мне дедушкою *реб Менделе* правило: *«Произведение надо шлифовать и шлифовать!»* Не смог по двум причинам: во-первых, время не разрешает. Ведь я всего лишь грешный человек, да к тому ж только *наполовину* писатель, вернее — полукупец, полуписатель, как это водится у евреев; приходится проявлять заботу и об этой нашей, земной, жизни, не только о потусторонней. Во-вторых, говоря между нами, я ведь как-никак молодой человек, а у молодых людей вечно не хватает времени; это какие-то бегуны, все делают на ходу, на лету, боятся, упаси боже, куда-либо опоздать. На что же я все-таки надеюсь? Ведь ты хорошо знаешь, как много положил я сил, как трудился над моим Иоселе, пока господь сподобил меня, и я увидел, что он обрел образ живого человека.

Прими же, любимый друг, этот подарок таким, каков он есть, и пусть он говорит тебе о том, как тебя любит и ценит

твой лучший, по-настоящему преданный друг,

Автор.

Киев, 26 декабря 1889

I

Иоселе до смерти хочется петь

Таких расточителей, как прихожане Холодной синагоги в Мазеповке, свет еще не видал. «Всякий пожелал бы себе иметь в кармане столько, — говорят о них в городке, — во сколько им обходится содержание канторов *». А идет это вот откуда: как известно всему миру, мазеповцы испокон веков большие знатоки пения, но таких любителей, как прихожане Холодной синагоги, днем с огнем не сыщешь. Коль заявится в Мазеповку знаменитый Пици, где он поет? — в Холодной синагоге. Где можно послушать Иерухима, Ниси или Мици? — В Холодной синагоге. Уж так оно повелось с давних пор, и все тут. Никто этому не удивляется. Ох, и тяжко приходится им, пока они не найдут себе настоящего кантора, чтобы перед людьми не осрамиться и самим удовольствие получить! Немало там друг другу крови попортят, пока кантор понравится каждому, придется всем по вкусу. Но если уж он приноровится, то останется у них навсегда, навечно, тогда лучшего места для него во всем мире нет. Вот какие чудаки эти прихожане Холодной синагоги, и вот каков их кантор — Шмулик Ямпольский. У этого Шмулика был не голос, а львиный рык, и вместе с тем своим фальцетом он замечательно брал верхи. «От его «С престола твоего...» умереть можно!» — гово-

рили люди. Этот мотив он позаимствовал у кантора из Крутьи. У Шмулика и голос был хорош, и текст он подавал отлично. Можно было заслушаться, когда он читал молитвы.

— Если б наш Шмулик, — говорили прихожане Холодной синагоги, — если б, к примеру, наш Шмулик знал ноты, он переплюнул бы и Пици, и Мици, и Ерухима, и всех нынешних мировых канторов. Наш Шмулик, стоит ему лишь захотеть, может еще и сегодня затмить одним только своим исполнением молитвы «Кесер» или валашской мелодии * всех нынешних новоиспеченных ловкачей со всеми их хорами.

В дни покаяния Шмулик молился с певчими. Ему помогал своим дискантом сынишка Иоселе, некий бас и еще какой-то крикун. Вот он и весь хор! Остальное выделывал Шмулик своим благословенным горлом. Мотивы, которыми блистал в эти дни кантор, горожане повторяли потом целый год. Это не значит, конечно, что собирались где-то в одном месте и пели; для этого и времени свободного нет, и на душе не так уж весело, чтобы вдруг ни с того ни с сего усесться петь. Но каждый в отдельности, у своего стола или идя по улице, тихонько напевал под нос мелодии Шмулика.

О нотах, как выше было сказано, Шмулик понятия не имел. Слышать-то он слышал, что есть канторы, которые поют по нотам, но видеть такое ему довелось лишь один раз в жизни. Случилось это, когда Пици со своими восемнадцатью певчими проехал через Мазеповку. За свою жизнь Шмулик слышал немало канторов, но все они пели по старинке — либо по затверженному, «как все», либо «из головы», как бог на душу положит. Возьмем, к примеру, такого большого кантора, как Паричский; Шмулик слышал, как он исполнял у ребе вторую половину субботней службы, и, представьте, безо всяких нот, а запомнилось это на всю жизнь. Лишь когда Пици прибыл со своими восемнадцатью певчими в Мазеповку, Шмулик впервые услышал, как поют по нотам. Он был до того восхищен, что поначалу с места не мог сдвинуться. «Вот

что значит петь по нотам! — повторял он без конца. — Вот так ноты!»

Всю субботу Шмулик ходил как шальной, места себе не находил. «Вот так ноты!» — твердил он. А дождавшись вечера и благословив исход субботы, заявил жене своей Зелде, что ему невмоготу больше, что он должен сходить к Шабсаю на заезжий двор, повидаться с этим Пици и потолковать с ним с глазу на глаз. Подпоясавшись и взяв с собой Иоселе, Шмулик отправился на постоялый двор. Разговорившись с Пици о канторском искусстве, Шмулик попросил его исполнить что-нибудь по нотам и хорошенько растолковать, в чем тут дело. Сначала Пици посмеялся над ним, позабавился немного, но простодушие Шмулика тронуло его. А затем, услышав его голос, Пици и вовсе расчувствовался, в нем заговорил кантор-профессионал; вместе со своими восемнадцатью певчими он исполнил для Шмулика несколько отрывков из молитвенника с нотами Зульцера. Шмулик был потрясен, в глазах его стояли слезы.

— Что и говорить! Только теперь, реб Пици, я вижу, какой я калека! Да я черт знает что! — наивно воскликнул Шмулик. Затем он указал на Иоселе: — Видите этого мальца? Это мой сынишка. Послушали бы вы его!

Пици проверил Иоселе, и голос ему очень понравился. Шмулик из собственных уст знаменитого кантора услышал такой отзыв: «Ребенок этот — совершенство. У него замечательное сопрано. А со временем, если он будет работать над голосом, из мальчика может выйти толк». Слова эти крепко засели в голове у Шмулика, и с той поры он, не переставая, раздумывал: «Что же делать с Иоселе? Ладно, я уж пропащий. Что и говорить! Помру калекой! Но Иоселе?.. Пусть только подрастет, пусть только ему исполнится тринадцать лет, и я сразу отдам его к какому-нибудь большому кантору — к Пици или к Мици, а то и вовсе к Иерухиму». С тех пор ему рисовалось, что его Иоселе со временем станет знаменитым кантором, вроде Пици, а может, и таким, как Ниси. Это будет мировое имя! А почему бы и нет?

Что ж тут такого? Разве мы не видали, как из мальчишки-сопляка вырастает человек? Да еще какой человек.

— Иоселе! — спрашивал Шмулик у сына, когда тот, раскрасневшийся, со съехавшей на ухо шапчонкой, прибегал из хедера. — Хочешь быть знаменитым кантором, проказник эдакий?

Иоселе на мгновенье замирал, а глаза у него сразу загорались. Что за вопрос? Хочет ли он быть знаменитым кантором? Мечтает об этом с малых лет! Ничего лучшего, ничего более замечательного он себе и представить не может. А с того времени, как он услышал Пици, эта страсть еще больше овладела им. Пение Пици и его капеллы перевернули в душе Иоселе все вверх дном, как и в душе его отца.

В то время как Шмулик беседовал с Пици, Иоселе подсел поближе к маленьким хористам и узнал от них много любопытного. Они, оказывается, разъезжают по всему свету, и повсюду, куда бы они ни явились, их встречают очень торжественно, так что дым коромыслом стоит, носят их на руках, угощают самым лучшим, самым вкусным. В общем, жизнь такая, что дай бог каждому. Иоселе разглядывал хористов, их красивые черные сюртучки, их круглые бархатные шапочки и по-настоящему завидовал им; и не столько их сюртучки и шапочки привлекали его, сколько пение у амвона рядом с Пици. Иоселе считал бы себя счастливейшим человеком, если бы мог петь у Пици. «Скорей бы уж исполнилось тринадцать лет!» — вздыхал он, и счастливчики певчие не шли у него из головы. Ему не раз попадало от учителя за то, что, склонившись над Пятикнижием, он вдруг начинал думать неведомо о чем.

— Видано ли, чтобы у мальчишки вечно птички были на уме, букашки всякие! — говорил учитель.

Учение в хедере было для Иоселе тяжелой обузой. Как только выдавалась свободная минута, он принимался петь. Мальчик старался изо всех сил, подражая то тенору из хора Пици, то его басу.

В горле у него как будто постоянно что-то щекотало, звуки сами рвались наружу. Дать бы себе волю, попеть бы всласть, и он почувствовал бы себя заново рожденным.

II

Шмулик рассказывает разные истории про канторов, а Иоселе внимательно слушает

Мир, в котором жил Иоселе, был с детских лет полон звуков. От отца он наслышался всяческих историй о знаменитых канторах, которые своим искусством обрели себе имя, и оно навеки осталось жить в потомстве. Эти рассказы о Гершеле-мальчике, о Виленском Молодожене *, об Арке-скрипочке и им подобных не давали покоя Иоселе, он бредил ими во сне и наяву. Иоселе рисовалось, что это он сам — Гершеле-мальчик, который к одиннадцати годам облачился в талес *, стал у амвона и своим пением прогремел на весь мир. Когда Иоселе случалось оставаться одному, он заворачивался в отцовский талес, становился лицом к стене и, размахивая руками, начинал подражать кантору: выводил рулады, распевал знакомые молитвы, раздирая с натуги горло. Однажды Шмулик, застав озорника за таким занятием, воздал ему по заслугам и тотчас погнал в хедер. Однако не лежала у Иоселе душа к хедеру, и это доставляло учителю немало хлопот. Учитель не мог себе представить: как это мальчишка вечно о чем-то думает и голова его забита бог знает чем?

Еще с детских лет самую большую радость доставляло Иоселе время, когда отец в канун покаянных дней, примерно недель за шесть до Нового года, готовясь к богослужениям, принимался перепевать со своим хором все требуемые молитвы. В эту пору душа Иоселе витала в облаках. Едва дождавшись счастливой минуты, когда учитель отпустит ребят поесть, Иоселе прибегал домой, наскоро проглатывал обед и, забравшись в уголок, прислушивался к тому,

как отец, молитвенно простерши руки, сладко-сладко поет: «Ой-ой, ой-ой, ой-ой, ой-ой», а хористы дружно поддерживают его. Иоселе был счастлив, если его не замечали в его норке, и тогда он выслушивал праздничную службу до конца.

Но больше всего Иоселе любил рассказы отца про знаменитых канторов, как они добывали себе славу. Ему очень нравилась история о том, как Пици сделался кантором.

— Происхождением он из Бердичева, — начинал Шмулик свой рассказ о знаменитом Пици. — Жил где-то там у плотины. Отец его был синагогальный служка. Пици еще с детских лет обнаружил талант. Некоторое время он был певчим у кантора, потом потерял голос, и его отдали к золотых дел мастеру. Однако пения он забыть не мог, вот почему постоянно терся возле музыкантов. Чем только он не был! И на барабане играл, и звякал в медные тарелки. Говорят, даже водовозом был. Наконец он встретился с великим кантором Цалелом. И Цалел ему сказал: «Что и говорить! Дурень ты эдакий, нашел себе дело — воду возить! У тебя есть прекрасный инструмент — твое горло». Короче говоря, Пици отправился в Лемберг* и вернулся оттуда с именем и со славою, дай бог моему Иоселе хотя бы половину того.

У Иоселе чуть сердце не выскочило из груди, когда он услышал слова отца. Ему уже представилось, что и его отправили в Лемберг, и он возвращается оттуда с именем и со славою. Точно как Пици.

Шмулик мог многое порассказать о канторах, одна история у него была занимательней другой. Он знал подноготную каждого из них.

— Ну, а Бахман? — говорил Шмулик своим певчим. — Сам великий Бахман! Что и говорить? Кем, думаете, был он раньше! Поезжайте в Кишинев, там вам расскажут. А вы как думали? Так вот, встал утром — и ты уже Бахман, Пици или Ниси?! Один лишь Сендер Мирер был богат и пел ради своего удовольствия и почестей. Это как раз у него я позаимствовал «Да узрят наши очи». Что и говорить!

Есть, конечно, и теперь большие канторы — Ниси Бельзер к примеру, Хезкеле, Пици, Эля-Довид Черниговский, шкудский кантор. Что и говорить! Много есть канторов. Но таких, какие были раньше, теперь уж не найти. Ну, где вы, например, возьмете такого певца, как Арке-скрипочка из Витебска, которого приезжали послушать со всего света?! Это был не голос, а настоящая скрипка. Или где найдете вы такого, как Канарик, который получил подношение от самого императора Франца-Иосифа? А где нынче ровня Довиду Хмельникеру, который пел со своими тремя сыновьями? Он подлинно достоин был петь перед лицом королей. Бывало станет в своем длинном талескотне* и в цилиндре молиться, запустит трель — одно удовольствие слушать. Ну, где теперь найти такого, как кантор из Крутьи, дедушка великого Ниси? А известный щеголь реб Авром-хасид из Лемберга! Или Каштан, который перед смертью сам себе пропел отходную?! А Виленский Молодожен, как его прозвали?! Где услышишь теперь таких? Что и говорить! Вы, наверное, знаете историю Виленского Молодожена. Замечательная история! Вот послушайте! Звали его Иоел-Довид, и был он писаным красавцем, каких свет не видывал. О голосе и говорить не приходится. Можете себе представить, что к одиннадцати годам он пел в дни покаяния у амвона. Слава о нем докатилась до самого графа, и тот вздумал послушать, что там такое болтает народ. И вот граф послал за ним. Иоел-Довид явился в графские покои и, представьте, — в ермолке. А там было полно всяческих вельмож. Наш Молодожен вначале крепко смутился и даже немного струхнул, но все же стал лицом к стене и стал выделывать свои фокусы — играть голосом, одним словом показывать свое мастерство. Он пел в сопровождении только одной скрипки. Ошеломленная публика не могла различить, где тут человеческий голос, где скрипка, — до того был чист и ясен голос у Иоел-Довида и так высоко он мог брать, как говорится, добирался до самого потолка. Уже почти к концу у скрипки вдруг лопнула струна, и скрипачу при-

шлось взять октавы на две выше. И что же вы думаете? Наш Молодожен собрался с духом и тоже взял так высоко, как это может взять только скрипка, да еще защелкал соловьем. Когда он кончил, растроганный граф подошел и поцеловал его в лоб. Граф был добрейшей души человек, но жена его, графиня — сгинуть бы ей! — была настоящая ехидна и, как вы понимаете, терпеть не могла евреев. Когда Виленский Молодожен вошел в зал в ермолке, она до того разъярилась, что готова была голову ему снести. Однако своим пением Иоел-Довид обезоружил ее окончательно, и она тоже подошла к нему, схватила его за руку и поблагодарила несколько раз, спросила, как его зовут, сколько ему лет. Иоел-Довид ответил все по порядку, не глянув, однако, ни разу ей в лицо, так как она была редкой красоты женщина. Графиня же смотрела на него во все глаза, любовалась им, не отпускала от себя; она все жала ему руку и благодарила. На следующий день — что и говорить? — является от графа посланец и приглашает Иоел-Довида в графские покои, — и чтобы без всяких отговорок. Что поделаешь? Тут уж ничто не поможет. Раз граф просит, нельзя быть свиньей, надо идти. И что же вы думаете? Графа даже дома не было. Это все она, графиня, — погибель на нее! Вышла навстречу Иоел-Довиду и его певчим разодетая, вся в золоте и брильянтах. Она дружески протянула Иоел-Довиду руку, точно была знакома с ним неведомо с каких пор. Певчих она попросила подождать в зале, а Иоел-Довида позвала на свою половину, усадила на дорогой бархатный диван и принялась угощать — что и говорить! — сладкими яствами на золотом блюде и замечательным французским вином. Иоел-Довид, конечно, от сладких яств отказался и французского вина не пил. Как она ни упрашивала — ничего не помогло. Видя, что у нее с ним не ладится, графиня — да сгинет имя ее! — ухватила Иоел-Довида за сюртук, как некогда жена Потифара — Иосифа-прекрасного *. Иоел-Довид едва ноги унес оттуда. Рассказывают: графиня с тех пор стала еще злее прежнего, — что и

говорить! — увидев еврея, прямо-таки багровела вся. Она и графа настроила — он тоже стал злейшим евреененавистником. А с Виленским Молодоженом графиня разделалась на особый манер. Нашлись людишки среди своих, которые за деньги погубили человека. Как думаете, что они сделали? Дали Иоел-Довиду какое-то зелье, и у него пропал голос. Потеряв голос, несчастный впал в черную меланхолию, — что и говорить? — стал совсем никуда. Он ходил потом по миру, оборванный, ободранный, ни с кем словом не обмолвится. Таков конец Виленского Молодожена. И все из-за этой графини, да сгинет имя ее!

Рассказы отца привели Иоселе в совершенное смятение. Скрипочка, Канарейка, графиня, жена Потифара — все эти образы не выходили у него из головы, и его все влекло туда, к этим Пици, к Ниси, к Иерухиму. Ему уже шел десятый. Еще год, еще год, и отец пошлет его, как обещал, учиться. Весь мир казался Иоселе наполненным волшебными звуками, чудесными мелодиями. В голове у него беспрерывно толкались какие-нибудь канторы или певчие. И вот, в то время как учитель старался изо всех сил втолковать Иоселе какое-нибудь особенно мудреное место из талмуда, ученик его забывался, и из его горла, помимо воли, вырывался визг, хрип или еще какой-нибудь диковинный звук, вроде петушиного ку-ка-ре-ку. Понятно, учитель отпускал ему тут же хорошую затрещину:

— Там, возле своего отца, у амвона будешь кукарекать, а не здесь!

Иоселе помогал отцу у амвона только на Новый год и в Судный день и это было самое радостное для него время. Во-первых, его забирали тогда на месяц раньше из постылого хедера, во-вторых, он тогда пел. Пение было для него слаще всего. Там, у амвона, он пощечин не боялся, горло у него было свободно, и он мог петь вволю, сколько душе угодно. На Новый год и в Судный день прихожане наслаждались не только могучим басом Шмулика, но и нежным дискантом его сынка, и радовались вдвойне. Знатоки говорили, что Иоселе будет замечательно петь и еще превзой-

дет своего отца. Но Шмулику от этого было мало радости. Ему было не до похвал. Он видел, что талант Иоселе пропадает зря, но помочь ему ничем не мог.

Хотя Шмулика в городе очень уважали, это не мешало ему быть совершенным бедняком, впрочем, как и всем другим богослужителям Мазеповки, которые добывали хлеб насущный своим ремеслом. Как известно, оплата канторов, служек, резников и раввинов в Мазеповке была весьма мизерной. Если бы эти люди должны были жить только на свое жалование, им пришлось бы, как говорится, класть зубы на полку. Самое главное для них были — случайно добытый рубль, сторонние доходы, так сказать: тарелки для мелочи, которую ставили в канун Судного дня в синагоге, пожертвования в дни ханука *, подарки в праздник пурим, благословения на семейных торжествах, за которые хозяева давали всякие подачки.

У кантора Шмулика мог быть самый бесподобный голос, он мог петь, как Ниси, как Пици и даже как Иерухим, но когда наступал пурим, он был вынужден, отбросив самолюбие, брать в одну руку палку, в другую фонарь и отправляться по квартирам горожан, неся каждому пожелание «дожить до будущего года», чтобы в благодарность получить... подаяние. Также и в праздник пурим он должен был, забыв амбицию и положив в чашку какой-нибудь пряник или сладкий маковый пирог, посылать с этим угощением кого-нибудь из своей семьи по домам, чтобы взамен опять-таки получить... милостыню.

III

Как Шмулик познакомился со своей соседкой галантерейщицей Златой и как их дети сблизились между собой

Иметь собственное жилье в Мазеповке — великое дело. Пусть это будет какая-нибудь дыра, халупа, землянка — только бы своя, только бы ни от кого не зависеть, не состоять у кого-нибудь в квартирантах.

У торговки галантереей Златы был собственный дом, — не какой-нибудь дворец, не анфилада покоев; там были три низенькие, приплюснутые комнатенки с кривыми углами и кухня, вот и все; без сеней, без сарайчика, и никакого двора. Только чердак над головой. Но с этим можно было бы примириться, если б крыша была настоящей, да ведь ее и крышей-то назвать было нельзя. Тут, с позволения сказать, лежали только две перекладины, крытые почерневшей соломой да землей, и все это поросло зеленоватыми грибами, так что издали домик походил на кущи. Но и это было бы с полгоря, если бы граф, хозяин городка, не докучал своими причудами. Ему, видите ли, хотелось, чтобы все его дома в городе были заново покрыты железом, гонтом или по крайней мере досками, а соломы чтобы и в помине не было.

Злата немало потрудилась, пока скопила копейку к копейке, и тотчас принялась крыть свою лачугу. И вот тут стряслась беда. Только-только стали разбирать кровлю, как к ней в дом с воплями ворвался кантор Шмулик:

— Злодейка! Богом молю! Что вы делаете? Хотите совсем обездолить? Трудился, трудился, еле сколотил халупу, а вы ее разоряете!

— Вот тебе и на! Кто это вас разоряет? — спросила удивленная Злата. — Кто вас трогает и кому нужны ваши хоромы?

— Вы еще спрашиваете, кто меня трогает! — крикнул Шмулик. — Баба остается бабой, — волос долог, ум короток.

— Знаете что? — ответила в негодовании Злата. — Хоть вы и кантор Холодной синагоги, а правду я вам все-таки скажу, уж вы не обижайтесь: с той самой поры, как бог промышляет дураками, он еще такого дурака, как вы, не создавал.

— Ага, значит, вы к тому же и нахалка! — взбеленился Шмулик. — Мало того что вы разоряете мой дом, губите меня вконец, вы еще имеете наглость обругать честного человека! Что и говорить? Видал я на своем веку разных соседей, но такую, — что и говорить? — не видывал. Тьфу!

— На вас тьфу, со всем, что вам дорого и мило. Бог мой, пусть навалятся на вас всяческие напасти, все, что я желаю моим врагам, где бы они ни были! Я тоже, слава тебе господи, видывала всяких соседей, но такого злосчастья не встречала, с тех пор как стою на ногах. Как это человек осмеливается ворваться в чужой дом, наброситься на бедную вдову и наплевать ей в лицо просто так, с бухты-барахты!

— Тише, ш-ш... Что здесь происходит? — крикнула, вбегая, перепуганная Зелда, жена Шмулика, невысокая, смуглая женщина с красивыми добрыми глазами. — Что здесь за крики?

Шмулик и Злата принялись наперебой рассказывать канторше про ссору. Но так как они кричали оба разом, Зелда никак не могла разобрать, кто из них прав, кто виноват.

— Вот что, Шмулик, — сказала она, — пойди домой, я приготовила тебе там стаканчик цикория. А вы, милая Злата, присядьте рядом со мной на скамейке, и мы спокойно потолкуем. К чему эти крики? Набегут люди с улицы, подумают, что здесь, упаси бог, режут кого-нибудь среди бела дня.

Только когда Шмулик ушел, Злата и Зелда, наговорившись досыта, столковались обо всем.

А дело было такое: домик Златы стоял впритык к строению, которое Шмулик совсем недавно на выплату купил у резника Шолом-Шахне; их разделяла лишь легкая переборка. Собственно, это был один дом, разгороженный тонкими досками и крытый одной крышей. Понятно, что, тронув первое же стропило, Злата сразу завалила крышу и над Шмуликом. Вот почему он ворвался к ней, разъяренный. Злата и Зелда, которые были еле знакомы (Злата считала себя родовитой, — как-никак сноха реб Авремеле, о котором речь впереди), после этой беседы стали такими друзьями, что и водой не разольешь. Обе совсем переменились. Они порешили крыть крышу сообща, так обойдется намного дешевле, да и чердак у них будет общий. Слава богу, они друг

дружке вполне доверяют, и красть одна у другой не станет.

— Ваш муж, — говорила Злата соседке, — порядочный человек. Кто этого не знает! Ну, а вы, Зелда, тоже, слава богу, не из тех, что позарятся на чужую луковицу.

— А вам, — отвечала ей Зелда, — совсем не нужен мой мешок картошки. Думаете, вас не знают? Прекрасно знают, кто был ваш муж и какого вы происхождения. Оказывается, моя мама, царство ей небесное, частенько захаживала в дом к вашей бабушке Эстер, закупала ей для кухни всякую всячину. А хозяйство у вашей бабушки было, дай бог половину того каждой хозяйке! Вашей дочери, наверно, по ней имя дали?

Злата даже всплакнула от ласковых речей соседки. И с тех пор между ними завязались любовь и дружба. И дети их тоже стали близки между собой. Сын Шмулика — Иоселе и дочь Златы — Эстер постоянно бывали вместе, можно сказать, в одном доме росли. Позже, когда Зелда умерла и Иоселе остался сиротой, дети еще больше сблизились. Говорят ведь: беда сближает, нужда сдружает.

Пока Зелда была жива, Шмулик горя не знал: перебивался и жил, как все другие в Мазеповке. Неожиданно стряслось несчастье — жена скончалась. Зелда была хорошей, честной женщиной. Ее внезапная смерть явилась для всех, кто ее знал, большим ударом, но для Шмулика это было таким горем, что он поклялся перед людьми, что не выдержит этого и уйдет следом за женой. Тут нет никакого сомнения. О новой женитьбе и говорить не приходится. «Какое там! Когда на ладони волос вырастет, тогда женюсь», —говорил Шмулик, сидя в трауре. Однако добрые люди не давали ему покоя, изо дня в день твердили одно и то же: «Хотите, реб Шмулик, быть умнее всех, идти против божеского закона и мирского обычая?! Испокон веку так уж повелось — мужчине нельзя оставаться одиноким. А вы хотите, видно, мир переиначить?!» Ему это так долго твердили, что, на-

конец, спустя две недели после траурного месяца Шмулик съездил со сватом Калменом в Бердичев и вскоре привез оттуда женщину в турецкой шали.

Бердичев, слава тебе господи, известен всему миру как место, где за сходные деньги можно быстро пристроить такого рода товар — вдовца, разведенного или молодого парня, — это уж как придется. Бердичев в этом отношении благословенный край, он поставляет городам всей округи жен любых сортов: вдов, разводок, девиц, что кому по вкусу. Туда если попадет вдовый, будут его водить по квартирам, показывать товар всяких мастей и видов так долго, пока он, наконец, не сыщет себе пару, не уторгует какую-нибудь дешевку. Обратно он уж непременно вернется вдвоем.

Сюда вот и заявился наш Шмулик. Здешний народ с ним долго не возился: раз, два — и под венец! Когда Шмулик по́ходя, в спешке, чтобы обязательно поспеть домой к субботе, смотрел свою красотку, ему показалось, что его, благодарение богу, постигла удача. «Женщина, видать, порядочная, что и говорить! Вроде даже и характер неплохой, мило разговаривает, улыбается».

Только недели через две по возвращении домой несчастный Шмулик раскусил, какую напасть, какое злосчастье послал ему господь. Жена сделала его вскоре седым и дряхлым. Шмулику выпала тяжелая старость, измучился он со своей супругой. А бедный Иоселе страдал по-иному. Он был у мачехи, словно кость в горле, глаза ей измозолил.

— Мальчишка этот, не приведи господи, в могилу меня сведет! — беспрестанно твердила она. — С утра до вечера только и знает — жрать да жрать. Рот не закрывается ни на минуту. К тому же он еще и наглец: скажешь слово — заплачет, распустит нюни, неженка эдакий!

Бог знает, что сталось бы с Иоселе, если бы не соседка, галантерейщица Злата, которая постоянно заступалась за бедного сиротку.

IV

Галантерейщица Злата и ее дочка Эстер

Галантерейщица Злата еще при жизни мужа считалась не только в Мазеповке, но и во всей округе деловитой женщиной. Имя ее было известно на всех больших базарах и ярмарках.

В то время как у других народов все еще решается вопрос о том, человек ли женщина и можно ли ей доверить какую-нибудь работу, или ее дело — только дом, горшки да дети; в то время как великие умы уже много лет ломают себе голову над этими вопросами и переводят уйму чернил и бумаги, мазеповцы стоят в сторонке и посмеиваются над их мудрствованиями. Ведь в Мазеповке женщина испокон веков равна мужчине: жена здесь ни в чем не уступает мужу. Более того, можно сказать, что почти всю торговлю в Мазеповке ведут женщины. Случается, что жена здесь и вовсе затмевает мужа. В городе есть такие мужчины, которых и вовсе не знают: знают только «ее» — жену.

Злата была как раз из тех женщин, которых называют бой-баба. В городе даже при жизни мужа ее звали Злата-галантерейщица, а не Злата Лейвина, то есть Злата — жена Лейви. Наоборот, Лейви часто называли — Лейви Златин, то есть Лейви — муж Златы.

Такой была и мать Златы, как ее звали — Бася-оптовщица. Она сама была женщиной хоть куда и дочерей воспитала так, чтобы они могли, когда придет время, прокормить своих мужей. В зятья Бася брала себе редкостных молодых людей, деликатных, родовитых. За знатное происхождение Бася готова была душу отдать. Например, из-за Лейви, мужа Златы, она удвоила приданое, только чтобы заполучить его себе в зятья. Лейви был сыном Авремеле из Славуты; Авремеле же сам был знатного рода и состоял в родстве чуть ли не со всеми цадиками. Лейви был очень славный молодой человек, только слабого здоровья, страдал одышкой. Он так долго

кашлял, пока, наконец, не отдал богу душу. Злата осталась молодой вдовой с тремя малышами на руках: дочери Эстер было тогда лет восемь, а два мальчика, Эфраим и Менаше, только пошли в хедер.

Эстер, единственная дочь у своей матери, отнюдь не росла неженкой, так как хороших перемен у своих родителей она вовсе не знавала. С тех пор как Эстер помнила себя, она, кроме горя и печали, ничего в доме не видела. Отец вспоминался ей всегда болезненным, хмурым, озабоченным. А мать, занятая своей лавкой, вечно торопилась куда-то, постоянно сердилась на кого-то и все проклинала день и час своего рождения. К тринадцати годам Эстер уже была неплохим помощником матери в лавке. Вначале она просто наблюдала, чтобы там чего-нибудь не своровали, затем сама стала разговаривать с покупателями, подавала товар, а позже начала и торговать вместе с матерью. Эстер уже в эти годы слыла в городе умницей, умелой в делах и быстрой в счете. Где она научилась писать и считать? У Мотла Шпрайза, который обучил чтению, письму и счету всех мазеповских девчонок. Вообще, в Мазеповке не в диковинку удачные дети, которые вовсе нигде не учились и до всего дошли сами.

Лейви Златин, как любящий отец, как благородный и книжный человек, конечно, очень хотел, чтобы его Эстер была образованной. И по тому, как она себя показала с детских лет, Лейви иначе и не представлял себе, что Эстер будет, бог даст, особенной, не такой, как другие мазеповские девушки. Конечно, обучить Эстер наукам было не так-то просто, — ведь Злата, которая верховодила в доме, на первых порах всячески сопротивлялась затее мужа.

— Вот тебе раз! — возражала она. — Женщина — и ученая! Курица, а кукарекает! Право, неплохо придумано!

Во всем уступал Лейви жене, но здесь он стоял как скала: что бы там ни было, но Эстер должна учиться! Однако человек полагает, а бог располагает. Не суждено было бедному Лейви осуществить свою мечту. После нескольких лет борьбы с чахоткой он

вынужден был к двадцати с лишним годам распроститься с жизнью, оставив на руках у Златы свою дорогую, любимую Эстер.

Теперь уж Эстер не смела и думать об учении. Скудные знания, которые она приобрела, остались, конечно, при ней, до остального она дошла своим умом, вращаясь в кругу торговых людей. И Мазеповка ценила Эстер. Сват Калмен, зайдя как-то в лавку к Злате, не постеснялся сказать матери прямо в глаза о достоинствах девушки.

— Послушай-ка! — обратился он к Злате, посапывая носом и глядя как будто в сторону. — Послушай-ка! А ведь у тебя уже взрослая дочь, к тому же красавица, не сглазить бы, и расторопная, говорят. Девушка хоть куда! Сколько же ей лет? Не пора ли, как говорится, о женихе подумать? А? Красивая девушка — половина приданого. Не так ли?

— Да ну вас! — отвечала Злата, довольно улыбаясь. — Что это вы спешите? Успеется. Пускай еще погуляет.

И Эстер гуляла.

День и ночь она точно в упряжке ходила, не знала ни радости, ни веселья. Можно сказать, Эстер никогда и ребенком-то не была. Глупые детские годы промелькнули как сон, — рано узнала она нужду, заботу, лишения. Не помнит она, чтобы ей когда-нибудь было весело, как другим мазеповским девчонкам. Если иной раз Эстер и хотелось посмеяться, мать ее сразу осаживала:

— Не пойму, — говорила она, — отчего на тебя такое веселье напало? Не оттого ли, что отец помер, оставив меня несчастной вдовой с тремя малютками мучиться на белом свете?!

Для Эстер это было хуже пощечины. Когда ей напоминали об отце, у нее сердце в груди обрывалось, и ей уж не поднять было головы. Отец вспоминался ей точно сквозь сон, потому что умер он, когда ей было лишь семь-восемь лет. Он представлялся ей всегда больным, желтым, исхудалым, но глаза его, большие, добрые, синие, смотрели на нее так жалостливо, точно Лейви уже тогда знал, что его единствен-

ная дочь скоро останется сиротой. Эстер помнит, как отец, бывало, гладит ее по головке и вдруг надолго зайдется в кашле. Никогда не забудет она того дня, когда отец, уже потеряв речь, безмолвный, лежал на постели и не сводил с нее своих добрых синих глаз; подозвав ее знаком к себе, он все гладил ее волосы. Этот взгляд долго преследовал ее потом. Стоило ей припомнить этот взгляд, как сразу уходила радость, которая изредка посещала ее. А ведь Эстер была тогда еще совсем маленькой. Правда, Злата не дала ей долго оставаться ребенком, она быстро приспособила девочку к делу. И Эстер показала такое уменье, что мать не могла нахвалиться ею.

— Одна у меня, да стоящая! Слава предвечному хотя бы за это! —говорила Злата. — Что бы я, несчастная вдова, стала делать, если бы выдались у меня такие детки, как у некоторых других, да простит меня бог за греховные речи? Одной рукой господь карает, другой исцеляет... Вот так, дочка, учись, учись! Будешь мне и моим крошкам сиротам подмогой, да и сама станешь человеком.

Дочь старалась все перенимать у матери и уже была докой в торговом деле.

Эстер наловчилась не только работать в лавке, она еще была и мастерицей скрывать от чужих глаз бедность в дому. Скрыть бедность — этой премудрости надо учиться у мазеповцев. Не всякий это умеет. В самые тяжелые времена Эстер так вела дом, что, войдя к ним, никто не мог бы определить — богаты они или бедны. У них было так чисто, так прибрано, как ни у одного состоятельного человека в Мазеповке. Об изысканной пище в этом доме, конечно, говорить не приходится, но скатерть, посуда поражали своим блеском. Для неимущего придумать обед без мяса, без рыбы, без жиров, сготовить что-либо одними пятью пальцами — это не простая штука. А Эстер это умела. Мебель в доме Златы была совсем неприличная — старомодная, расшатанная. Но она была затянута чистейшими чехлами, а на окнах висели затейливые занавески так, что тут блестело в каждом углу. Одежда на них была не модная, зато она была

целенькая, постиранная, выглаженная, — любо посмотреть. Ни один ребенок в Мазеповке не был так чисто одет, как Эфраим и Менаше; об Эстер и говорить не приходится. Глядя на нее, люди говорили: «Видать, у Златы дела неплохи!» Обмыть, причесать и нарядить нищету так, чтобы никто ее не узнал, — на это Эстер была большой мастерицей. Но имя, которое она заслужила в родном городе, было ничто в сравнении со славой, какой она пользовалась во всей округе. О ней говорили повсюду благодаря ярмаркам, которые устраивались в Мазеповке три раза в году.

Три больших ярмарки бывали в Мазеповке, во время которых город ходуном ходил. Весьма сомнительно — была ли бы Мазеповка без них Мазеповкой. Эти три знаменитых ярмарки назывались — Юрий, Спас и Покров. Их-то с нетерпением и дожидались мазеповцы долгие месяцы, возлагая на них самые большие надежды. Еще за несколько недель до срока мазеповцы начинали готовиться к ярмаркам, то есть метались как затравленные, выискивая получше место да захватывая его пораньше. «Нет времени, нужно готовиться к ярмарке!» — говорили мазеповцы, даже те, у кого не было ни лавки, ни корчмы, ни заезжего двора, ни хлебного амбара, даже те, кто не мог поставить к ярмарке и бутылки обыкновенного квасу. Не было обывателя, который не готовился бы к ярмарке. Даже канторам и меламедам грезилась ярмарка.

Казалось бы, какое отношение имеет учитель или кантор к ярмарке? И все же меламед в эти дни распускал учеников чуть пораньше, а кантор останавливал певчих посреди молитвы, и оба они мчались на торг. Возвращались они оттуда с тем, с чем и приходили туда, — с пустыми руками и к тому же раздосадованные: «Как же так! Все что-то покупают! Приобретают по дешевке всякое добро!» А дома им вдобавок попадало от собственных жен за то, что только они ничего не приобрели на ярмарке, между тем как все за бесценок покупают там вещи. «Черный, траурный день на головы наших врагов! — кри-

чали жены. — Экая на него радость напала, счастье привалило! Ишь, невидаль, на тебе — ярмарка! Принес бы кусок полотна детям на рубашки или хотя бы хороший венок луку на зиму, или черт твою душу ведает что!» — «Не было печали, так вот тебе ярмарка!» — приговаривал, повесив нос, безутешный учитель или кантор, выслушивая от жены целую кучу проклятий.

Вот какой властью обладали ярмарки в Мазеповке.

Удивительно ли после этого, что с приближением Юрия, Спаса или Покрова с торговцами творилось что-то несусветное! Удивительно ли, что они дрались за место на ярмарке, отбивали друг у друга покупателей, чуть не раздирали их на части!

Кто хочет получше узнать мазеповца, все его достоинства и недостатки, пусть понаблюдает за ним со стороны, когда он стоит с женою на ярмарке у своего балагана и разговаривает с шестью покупателями разом. Одному он показывает товар, с другим торгуется, остальным отвешивает или отмеривает что-либо. Там, в балагане — зимою ли, летом, — и едят и спят. Очень уж приноровился к ярмарке наш мазеповец. Одним ртом он говорит за десятерых, двумя руками делает три дела, двумя глазами смотрит в четыре стороны, чтобы тотчас позвать обратно несговорчивого покупателя: «Эй, человече, поди сюда!» Но самое главное на ярмарке — это наблюдать, чтобы не крали. «Торговать, — говорят люди, — это еще полбеды, самое главное несчатье — покражи. Прямо из рук хватают. Наблюдая в эти минуты за мазеповцем, думаешь, что и он, и его жена, и детишки только и созданы для ярмарочной сутолоки: лица у них пылают, глаза горят, нос сопит, язык мелет, руки в ходу, все тело в движении, все кости кричат: «Не зевайте, люди, на то и ярмарка!»

Злата и Эстер трудились на ярмарке весь день не покладая рук, наравне со всеми. Как долог этот день! Бубнишь до устали, говоришь до хрипоты; измаешься, изголодаешься, как после изнурительного поста. Еле дождешься, когда, наконец, бог даст, кончится

день и наступит ночь. Тогда балаганы наглухо затягивают огромными полотнищами, лавочники и их жены садятся на стойки и принимаются подсчитывать выручку. А подсчитавши, говорят со вздохом: «Вот так ярмарка! Одна шумиха! На такой ярмарке не заработать — это уж не слыхано!»

— Можете себе представить, — рассказывает бывалый торговец красным товаром, — у меня, даже у меня, стянули восемнадцать аршин! Торгую я уже тридцать лет, и ни разу нитки не украли, а тут... Чудеса, да и только! Никак не могу понять — вот оно лежало перед глазами и в момент исчезло... морозовское полотно, первый номер, восемнадцать аршин. Разбой, да и только!

Люди разговорились. Каждый рассказывает свое. В общем гуле слышится и голосок Эстер. Мазеповцы слушают ее, разглядывают и, почесываясь, довольно улыбаются: «А ведь настоящий человек эта Златина девчонка! Кажется, совсем ребенок, а понимает толк в деле!»

Сутолока на ярмарке, оживленная торговля заставляли проворных мазеповских женок использовать здесь и своих мужей, которые обычно большую часть года ничего общего с коммерцией не имели. Использовали они своих мужей главным образом как сторожей от покраж. Мужья эти стояли там вроде пугал на огороде. По виду почтенные люди с бородами, а в сущности, большие неудачники, никудышники, бабы в штанах, женщины с бородами и пейсами.

Вот такую роль играл когда-то и Лейви Златин у своей жены. И постоянно, когда Злата вспоминала о нем, она, пустив слезу, с сожалением говорила так: «Нету моего Лейви, некому посторожить лавку».

Злата часто плакалась своему соседу Шмулику, упрашивала его отпустить к ней Иоселе, который все равно бездельничает, посторожить у нее в лавке, посмотреть, чтобы не крали. «Пускай он хоть чем-нибудь займется!» — говорила она. Шмулик делал ей одолжение, и Иоселе трудился на ярмарке бок о бок с Златой и Эстер, «помогал им торговать». Иоселе доставляло удовольствие помогать Эстер, быть ей

чем-нибудь полезным. Ради Эстер Иоселе был готов хоть на край света, хоть в огонь и в воду. И все это только за ее преданное, доброе сердце, за ее ласковое обращение с ним, бедным, одиноким сиротой.

V

Иоселе шатается без дела, и его влечет все «туда»

Люди говорят: при матери отец — тятя, при мачехе — дядя. Пока Зелда была жива, Иоселе был у Шмулика — что твоя куколка, отец нарадоваться на него не мог. «Мой Иоселе! Увидите, что из него со временем выйдет!» Но когда Зелды не стало, и в доме появилась женщина из Бердичева в турецкой шали, Шмулик в угоду ей все больше остывал к сыну, хотя в душе любил его, вероятно, по-прежнему. Злата бесилась, глядя на то, как обращаются с Иоселе.

— Как вы думаете, реб Шмулик,— спрашивала ядовито Злата, — если бы, скажем, Зелда, царство ей небесное, осталась вдовой, Иоселе тоже шатался бы без дела, как теперь у вас? Она тоже забрала бы его из хедера, как вы, чтобы он вырос бездельником и гицелем?! *

Шмулик отвечал только тяжким вздохом, старался поскорей улизнуть от соседки, чтобы не слышать ее речей, которые задевали его за живое.

Иоселе, как говорилось выше, был в доме у Златы совсем своим человеком, а с тех пор как осиротел, он стал ей еще ближе; она жалела мальчика, заступалась за него, не давала мачехе расправляться с ним. Из-за этого Злата и новая жена Шмулика были вечно на ножах, ненавидели друг друга. Потакая жене, и Шмулик был вынужден рассориться с Златой. Собственно, ссоры никакой не было. Злата только несколько раз намылила Шмулику шею за то, что он все спускает жене, которая уже на голову ему села, позволяет ей тиранить своего ребенка.

— Не обижайтесь, реб Шмулик, но я скажу вам напрямик. Не мужчина вы, а козел безрогий. Зачем

вы ее слушаете, эту бердичевскую ведьму? Если б Зелда, мир праху ее, встала из могилы и поглядела на своего Иоселе, она скончалась бы второй раз. Хорош отец, нечего сказать! Честное слово, я могла бы ожидать скорей, что вас хвороба хватит, чем видеть такое. Разве так поступает порядочный человек?!

Шмулик выслушивал ее и, точно набрав воды в рот, быстрехонько уходил к своим певчим сочинять новый мотив к праздникам. Златы он боялся больше, чем своей благоверной, этой «бердичевской ведьмы». Невесело было встречаться с соседкой, которая изо дня в день напоминала ему о Зелде. Это было ему очень тяжко. Вот почему он остерегался ее как огня, старался, когда она возвращалась с базара, держаться поближе к своим певчим, разучивать с ними молитвы к Новому году и Судному дню или самому петь что-либо, только бы избежать встречи.

Зато Иоселе дневал и ночевал у Златы. Десяти лет его уже забрали из хедера, и с тех пор он шатался без толку, бездельничал, не знал, куда девать себя. Он сидел у Златы в лавке, присматривал за всем или помогал ей по дому, при этом всегда что-нибудь напевал своим приятным голоском, который так нравился Эстер. Эстер и Иоселе были как брат и сестра. Оба они были почти однолетки, вместе росли, оба осиротели, оба рано познали горе и нужду. Когда Эстер становилось грустно, она просила Иоселе спеть ей «Виленскую улицу». Иоселе становился посреди комнаты и на манер заправского актера затягивал своим мягким, нежным голосом:

Выхожу на Виленскую —
Слышу крик людской,
Кто-то стоном стонет:
— Ой-ой!
Слышу крик людской...

Тут Иоселе приходил в раж, закатывал глаза и, прижав руки к груди, заливался, делал гримасы, как настоящий актер.

— Где ты научился таким ужимкам? — спрашивала Эстер.

— Так делал тенор у Пици, когда мы с папой ходили к ним. Этот тенор рассказал мне, что так поют в триатре. Там, когда поют, вытягиваются, размахивают руками, ворочаются в разные стороны и еще по-всякому делают. Ну и поет этот тенор! Он послушал мой голос и сказал, что Пици хоть сейчас возьмет меня к себе. Я думал тогда поговорить с отцом, но побоялся. Теперь, если бы Пици заявился, я был бы умнее.

И Иоселе задумывался. В его маленьком детском сердце пылал неугасимый огонь, его влекло на широкие просторы, в большой и светлый мир. Его мечтой, пределом всех его желаний в эти годы были Ниси, Пици, Иерухим и еще ноты. Достичь этого — было высшей его целью. Самые разнообразные золотые сны непрестанно роились в его маленькой головке, но сладчайшим из них был один: уйти однажды к Пици в Одессу или к Мици в Тетеревец и там выучиться нотам. Возможно, и Шмулик мечтал о том же для сына, но как раздобыть деньги на дорогу? К тому же без разговора с благоверной тут не обойтись, а это было Шмулику совсем невмоготу, все равно что море посохом рассечь*.

Когда горе подступало очень близко, Иоселе не раз задумывался — а не сбежать ли ему к Пици, попросту взвалить ноги на плечи, и айда, — нету Иоселе! Тогда ему некого будет бояться. Иоселе уже и план выработал — когда и как это сделать. Жаль только оставить отца одного. Шмулик уже не мог без него обходиться. Мальчик был его главной подмогой у амвона. Покуда Иоселе брал верхи, рассыпался трелями, Шмулик мог чуть передохнуть, затем, набравшись сил, идти дальше. Как бы Иоселе не было плохо дома, он все же любил и жалел отца. «Что станет он без меня делать? Кто будет носить прихожанам в праздник пурим пироги с маком? Кто будет им доставлять «особую» мацу* в канун пасхи или цитрусы в праздник кущей?» В добрые времена, когда жива была Зелда, которая тяжким трудом добывала для семьи пропитание, — откармливала гусей, топила на продажу смалец, щипала перья, — Шмулику не

приходилось гоняться за этими унизительными заработками. Теперь же, когда Зелды не стало и в доме появилась женщина из Бердичева, а в семье прибавилось три ни в чем не повинных младенца, которые непрестанно просили есть, Шмулик вынужден был скрепя сердце посылать Иоселе в праздник пурим с гостинцами к обывателям. Шмулику было очень тяжело видеть, как бедный мальчик ходит босой из дома в дом.

Самого Иоселе это мало трогало. Ради отца он готов был на все, только бы ему знать, что делать. «Будь я Пици, — размышлял Иоселе, — последнее отдал бы отцу, чтобы не видеть его мук».

Чем дальше, тем явственней чувствовал Иоселе, что его куда-то влечет. Он бродил одинокий, погруженный в свои думы. Мысли его были далеко-далеко. В него вселился какой-то дух, и Иоселе не понимал, чего ему от него нужно. Иоселе уносило к заоблачным высям, ночами что-то не давало спать, все звало: «Туда! Туда иди! Там твоя дорога!»

VI

Он находит свой рай, но его с позором изгоняют оттуда

Иоселе без дела шатался по городу, мерил улицы вдоль и поперек. Иной раз он забирался далеко за город и, вытянувшись там на лесной опушке, принимался распевать вовсю, исполняя на отцовский манер какую-нибудь праздничную молитву. Тут, на просторе, он мог петь сколько душе угодно, и близкий лес звонким эхом откликался на его пение, как будто деревья хором поддерживали его. Здесь, на лужайке, Иоселе чувствовал себя куда лучше, чем у себя дома; никто не мешал ему петь, никого он здесь не стеснялся. Не было над ним командира-мачехи с ее вечными попреками, не было и отца с его охами и жалобами на свою горькую судьбину. Какой-то особый мир со-

творил себе здесь Иоселе: этот лес принадлежит ему, он создан для того, чтобы Иоселе мог здесь привольно распевать; ложбина — это его поместье, его рай. Здесь, в этом своем раю, где никто не видит и не слышит его, он может разрешить себе удовольствие петь, кричать, прыгать, гримасничать сколько душе угодно.

Увы, ничто не вечно под луной. Очень скоро Иоселе изгнали из обретенного им рая, вытурили палками, забросали камнями, затравили собаками, хотя никакой вины он за собой не чувствовал.

Был безоблачный, знойный день. В городе, понятно, солнце жгло немилосердно, загоняя базарных торговцев и торговок под стойки, где они, полеживая, без конца отдувались, а жирных домохозяек, которые жары уж вовсе не выносят, — в погреба. Учителя в хедерах, сбросив с себя сюртуки и оставшись в пожелтевших талескотнах, с обнаженной грудью, потряхивали широченными рукавами рубахи. Истекая потом, точно в бане, они поминутно приподнимали ермолки и обдували ими головы. Учеников они отпускали купаться на реку, верней, бултыхаться в грязной луже. Пéкло, деваться некуда. Мужчины, надвинув потуже шапки и засучив рукава, бродили по базару с палочками в руках и почесывались. «Ну и жара! Ну и денек! Прямо-таки невтерпеж!» Даже легкомысленные козы, которые обычно, взобравшись на какую-нибудь крышу, дергали там солому из-под стрехи, а то обдирали стены у синагоги или кидались к лоткам на базаре, где получали по заслугам от торговок, —даже эти легкомысленные козы, разомлев от жары, вытянулись, поджав под себя ноги, выставив вперед удивительно глупые мордочки и высунув красные язычки. Все это означало, что город раскален, пышет жаром, и все ждут не дождутся наступления благодатной ночи.

Совсем не то было за городом, на лужайке, подле огромного, зеленого леса. Сюда вот и забрался Иоселе, чтобы петь, кричать, разговаривать с самим собой. Пробираясь вдоль опушки под сенью густых деревьев и вдыхая полной грудью свежую прохладу, Иоселе не замечал, как далеко он забрел. Перед его

глазами расстилался огромный зеленый ковер, такой бархатистый, такой ласковый, что хотелось броситься на него, вытянуться во всю длину и лежать, лежать без конца. Чем дальше он шел, тем трава становилась все гуще, все чудесней, и его тянуло вперед и вперед. На душе у него было отрадно, чувствовал он себя необыкновенно легко, в горле что-то щекотало, звуки сами рвались, и хотелось петь. В голове зарождался новый вариант праздничной молитвы, и Иоселе начал брать с каждым разом все выше, петь все звончей; а звуки лились так легко, так свободно, что ему казалось — как он ни возьми, все равно можно взять выше. И он пел, заливался, истекал звуками, пуская такие переливчатые трели, что сам дивился, как он это может. Из звуков складывалась какая-то удивительная мелодия, и он сам не знал, куда забредет и чем кончит он свою фантазию. Иоселе дошел до слов: «Блажен муж, не забывающий тебя и черпающий в тебе силу, ибо последователи твои никогда не споткнутся, и во веки веков не устыдятся ищущие в тебе защиты». Тут он запел звончей, замахал руками, без конца повторяя во весь голос последние слова:

Ищущие в тебе защиты!
Ищущие в тебе защиты!

Внезапно Иоселе услышал дикие выкрики: «Куси-куси-куси! Ату его! Куси-куси!» Он оглянулся и обмер: на него мчалась целая орава пастушат. На голове у них были большущие шапки, за плечами сумки, в руках — здоровенные дубины. А впереди скакал страшный, кудлатый черный пес. Иоселе почувствовал сильный удар в спину, а потом вроде кто-то поволок его по земле, и стал дергать, рвать, тащить, затем... Затем он уже ничего не помнит.

. . . .

Когда Иоселе очнулся, кругом никого не было. Ошалевший, перепуганный, пришибленный, он поднялся с земли и зашагал домой. Одежда на нем была разодрана в клочья, на душе было очень горько, и он

заплакал. Не мог он понять, почему господь взыскивает с него больше, чем с любого другого мальчика. За что так карает его? Молится он как будто каждый день, честно выполняет все заветы, почитает отца, даже мачеху почитает больше, чем она того заслуживает.

— Господи, за что насылаешь на меня такое? Чем я провинился, что ты меня наказываешь?

И, обернувшись последний раз, Иоселе со вздохом распрощался со своим раем — с вольным лугом, с зеленым, тенистым лесом, распростился навсегда, навечно.

VII

Иоселе кается и попадает в новую беду

Изгнанный с позором из своего рая, побитый, растрепанный, в разодранном сюртучке, Иоселе явился домой, и поначалу его как следует благословила мачеха, а там и отец добавил.

Собственно, Шмулик никогда не бил своего сына, и на этот раз он только выговорил ему:

— Я вот спрашиваю тебя: разве так поступает порядочный мальчик? Сюртучок разорвал в клочья! Как же, жди, сейчас я тебе справлю новый! Что и говорить, при нынешних заработках! Если бы мама сейчас воскресла! Не знаю... Что и говорить...

Иоселе отдал бы неведомо что, только бы не слышать упреков отца. В эти минуты Иоселе поклялся до конца жизни не ходить за город, не шататься по лесу, хоть бы ему сулили золотые горы.

Это все случилось в четверг, а назавтра, в пятницу утром, Иоселе помчался в синагогу и стал молиться так проникновенно, так горячо, как никогда ранее. Вернувшись домой, он сам, не спрашивая мачехи, принялся чистить медную посуду; в одно мгновенье сбегал на базар и закупил ей перцу, лаврового листа, корицы да еще сверх того «на три гроша меду» для субботней «бабки» и вина для «кидеша»*.

Затем опять же по собственной воле принялся натирать хрен, рубить телячью ножку, колотя медным пестиком по ножу, да так ретиво, что мачеха не выдержала и, раздувая уголья в печи, проговорила про себя:

— А то что же? Так и должен вести себя мальчик! Не ожидать, пока ему кто-нибудь скажет: поди-ка!.. Не огрызаться! А то — посылочки, разговорчики, указочки...

Эти слова еще больше подзадорили Иоселе. Он ощутил в себе такую прыть, что, кажется, мог бы мир перевернуть, прямо богатырь какой-то, Самсон. Заметив, что мачехе нужна вода, он, не долго думая, подобрал полы починенного на скорую руку сюртучка, схватил ведро и через мгновенье принес его полным до краев. Попозже он уселся читать вслух отдел из торы*, назначенный на эту неделю, и «Песнь песней»; распевал он так прочувственно, что канторша сама поднесла ему лапши на дуршлаге, сдобрив ее жареной луковицей. В этот и следующий день сердце Иоселе было преисполнено любви и преданности к своим близким и раскаяния за грехи перед создателем. В субботу после обеда, когда все мальчишки разгуливали по Бердичевской улице, Иоселе стал усердно читать «Поучения отцов синагоги», а затем петь псалмы; но тут же решил, что это не к месту: благочестивые люди читают псалмы в синагоге, а не подле грязной лохани. Надо идти в синагогу!

И Иоселе надел субботний сюртучок, повязал шею белым платком и отправился в синагогу. На душе у него было так радостно, как никогда. Он чувствовал себя как человек, который с кем-то поссорился и только что помирился. Ему казалось, что между ним и великим, вечно живым богом установилась какая-то близость. Он, Иоселе, и этот большой мир, который открыт его взору, составляют нечто единое. Солнце, которое только что стало закатываться, быстро опускаясь все ниже; светлые небеса, окаймленные внизу ярко-красной полосой; птички, стайкой перепархивающие с места на место и реющие вверху, как кораблики на море, — все, все это было ему близко, казалось родным, имело к нему прямое отношение.

Погруженный в свои думы, Иоселе шел все дальше и дальше, не замечая, что давно уже оставил позади Холодную синагогу, переулок, где она стоит, Бердичевскую улицу, миновал шорников, кузнецов, новый мостик и забрел на Польскую улицу. Он пошел бы, наверно, и дальше, если бы его не остановило какое-то чудное пение, божественная игра, изумительные звуки, каких он никогда в жизни не слыхал. Он застыл на месте, слушал и никак не мог наслушаться.

Иоселе хорошо знал, что на Польской улице, на самой горе, стоит костел; знал, что там играют на орга́не, однако же никогда его не слыхал, потому что, во-первых, на Польской улице в каждом дворе есть собака, во-вторых, с той поры как разрушен храм Соломона, вообще запрещено слушать орга́н... Иоселе было очень обидно, что евреи прогневили бога и нет у них теперь своего храма, нет своего орга̀на и нет левитов*, которые играли там на различных инструментах и пели божественные гимны.

А из костела тем временем плыли звуки орга̀на, и Иоселе неудержимо влекло на гору. Оттуда лилась теперь неземная мелодия, слышался человеческий голос, нет, множество голосов, целый хор, и какой-то бас, как гром, грохотал ежеминутно и низвергался вниз, так что стены дрожали, земля сотрясалась под ногами у Иоселе. А затем вновь слышались нежные, ласковые голоса; песнопения потрясали душу, а прекрасный бархатистый голос человека наполнял сердце до краев, вызывал множество разных дум. Иоселе представлялось, что именно так должны были петь левиты, играя на орга́не и воздавая хвалу господу богу, владыке всех владык, и сердце его трепетало безмерно и летело к облакам. Заслушавшись музыкой и пением, Иоселе уже себя не помнил; глаза его налились светом, на него нашло какое-то озарение, казалось, он вот-вот взмоет ввысь, вознесется к небесам...

И вдруг кончилась игра, оборвалось пение. Иоселе услышал знакомый голос, идущий совсем с противоположной стороны. Мальчик обернулся и увидел жирное, бритое лицо, кажется знакомого ему барина.

Пригляделся и узнал... Ксендз! Ксендза он видел не раз в лавке у Златы, куда тот заходил купить что-нибудь. Его круглое, скобленое лицо с красным толстым носом, вроде шишки, казалось ему странным и всегда смешило. Иоселе спохватился: «Да где же это я?» — и опрометью кинулся вниз.

Внизу, под горой, посреди улицы стояли кучкой евреи, молодые и старые. Они разглядывали вновь строящийся мост и, как это водится в таких случаях, оценивали работу, подсчитывали затраты и высказывали всякие соображения на сей счет. Увидев бегущего с горы Иоселе, они остановили его и принялись расспрашивать:

— Откуда это? Из костела? Чей будешь, мальчик?

— Что значит чей? — заметил один. — Не знаешь, что ли? Ведь это Шмуликов сын, кантора мальчик.

— Вот так мальчик! Значит, в костел ходишь?

— Глянь-ка на этого бедняжку! Стоит, хоть дои его! Да, хорош парень!

— Нынешние дети! Дожили! Отведи-ка его домой, Довид-Герш, он ведь с твоей улицы! Хороша сказочка, да коротка...

Весь ад со всеми его страхами, которые описаны в наших священных книгах, с преисподней, где грешников швыряют из одного конца мира в другой, со всеми его злыми духами-разрушителями, — ничто в сравнении с тем, что измыслил себе Иоселе после страшного грехопадения, которое совершил, сам не ведая как, где и когда он к этому пришел. Он считал себя погибшим, потерявшим и этот и потусторонний мир. Он готов был претерпеть всяческие кары, какие только человек может придумать, готов был распроститься с жизнью, но не проронить ни слова: «Режьте! Бейте! Ешьте мое тело, пейте мою кровь, но я ничего не скажу!»

Понятно, спервоначала Шмулик подступил к нему с нравоучениями, донимал словами и требовал лишь одного:

— Скажи только, как ты туда попал?

Но Иоселе был нем как рыба. Этого канторша не стерпела и накинулась на Иоселе с кулаками; она

пинала его, щипала и ревела при этом диким зверем. Если бы не Злата, которая услышала из-за перегородки, как бухают кулаки и звенят пощечины, Иоселе, наверное, живым не вырвался бы из рук мачехи. Злата буквально оторвала канторшу от мальчишки и отправила его поскорей к себе, а сама как следует отчитала Шмулика за то, что он допускает, чтобы чужие руки истязали его родное дитя, собственную плоть и кровь. Конечно, канторша в долгу не осталась, но Иоселе был все же вызволен из ее безжалостных рук.

VIII

Эстер делает все, что в ее силах, и Иоселе уезжает в Тетеревец

Одно теплое слово Эстер, один ее ласковый взгляд были для Иоселе лучшим лекарством от всех горестей — от укоров отца и побоев мачехи. Возвратившись довольно поздно домой с гулянья и увидев приткнувшегося в уголке Иоселе, прибитого и жалкого, похожего на ощипанную курицу, — шапчонка его была примята, щеки горели и вспухли, как пампушки, — она подошла к нему, взяла за руку и, глядя с состраданием, мягко спросила:

— Что с тобой, Иоселе? Опять она?

Только теперь Иоселе расплакался, как малое дитя. Он рассказал Эстер все, что с ним стряслось, ничего не утаив, покаялся, как перед господом богом. У Эстер сердце сжалось от боли. Пока мальчик говорил, она все время расплетала и заплетала свою чудную длинную косу, глядя в лицо ему прекрасными синими глазами. Потом она закинула косу назад и, подойдя к нему еще ближе, промолвила:

— Знаешь, что я тебе, Иоселе, скажу? Тебе нечего здесь делать. Твое место в большом городе, у какого-нибудь прославленного кантора. Если ты останешься здесь, толку из тебя не будет. Помяни мое слово!

— Послушай! — вскрикнул Иоселе, и глаза его сверкнули в темноте. — Слушай! Ведь я об этом только и прошу. Я хочу попасть к Мици в Тетеревец. Там, я знаю, чему-нибудь научусь, перестану баклуши бить да прислуживать мачехе. Тетеревец — это совсем иной мир. Туда, когда приедешь...

— Постой-ка! — прервала его Эстер. — Тебе хочется в Тетеревец? Я знаю одного человека из Тетеревца. На будущей неделе он приедет к нам на ярмарку. Я с ним переговорю, может, что-нибудь и выйдет.

— Ты не о том ли мануфактурщике говоришь, который всегда становится рядом с вами?

— Да, да! Молодой, очень симпатичный, душевный человек. Попробую поговорить о тебе... Тише, мама идет.

— Доброй недели! — сказала, входя в комнату, Злата. — Почитай, Эстер, молитву и зажги огонь. А ты можешь уже идти домой, — обратилась она к Иоселе. — Уж и поругалась я из-за тебя... Но ты тоже хорош! У людей дети как дети, сидят в субботу в синагоге, а ты по костелам шляешься. Слыхано ли дело!

— Да нет же, мама! — заступилась за него Эстер. — Дело было совсем не так. Он вовсе не был в костеле, а стоял возле костела...

— Новый защитник нашелся, — оборвала ее Злата. — Поди, Иоселе, домой, тебя больше не тронут. Только смотри веди себя прилично! Если б твоя мама воскресла, радости у нее было бы мало.

Иоселе ушел домой, а Эстер тотчас принялась обдумывать, как отправить мальчика в Тетеревец. «С таким голосом он мог бы петь у лучшего кантора. Жаль беднягу, очень уж он здесь мучается».

Если бы три вышеупомянутые ярмарки существовали только для мазеповских лавочников, то-то было бы им хорошо. Беда в том, что сюда на эти ярмарки съезжаются чуть ли не со всего света: из Макаровки, из Кашперова, из Бердичева, из Ермолинца, из Тетеревца и еще из многих мест. Как съедутся в Мазеповку, поставят свои балаганы на ярмарке — глаза

разбегаются глядючи. К тому же приезжие — большие мастаки по части торговли; местным лавочникам приходится крепко подпоясаться, чтобы выдержать беспримерную конкуренцию. Вот почему между мазеповцами и приезжими часто возникают ссоры. Мужчины тогда обмениваются ругательствами, а женщины суют друг другу дули под нос. Нередко дело доходит и до драки.

Зато, когда придет святая суббота и ярмарка утихнет, снова наступают мир и благоволение. Забыты оплеухи и дули, и все вместе дружно идут в синагоги слушать мазеповских канторов. Там приезжих принимают как самых дорогих гостей, уступают им лучшие места и приглашают к чтению торы. Конечно, это делается не столько ради самих гостей, сколько ради их пожертвований, из которых потом складывается кругленькая сумма. К такой субботе Шмулик готовится особенно тщательно. Он старается изо всех сил ради приезжих, и Иоселе тоже показывает свое уменье, так что все пальчики облизывают. Гости, бывая в других городах, рассказывают потом:

— Послушали бы вы мазеповского кантора! Голос на удивление! А помогает ему сынишка, мальчик лет двенадцати; голос тонюсенький, поет как дудочка. Ну, прямо умереть можно от удовольствия. И ведь где? В Мазеповке!

Вместе с другими в Мазеповку наезжал один купец из Тетеревца. Был он, видать, знатоком по части канторов и вообще смыслил в пении, потому что, слушая Шмулика, он постоянно, склонив голову набок и прикрыв глаза, притопывал в такт ногой. После богослужения он задерживался в синагоге и затевал с Шмуликом разговоры насчет канторов. Приезжий этот любил похваляться тетеревецкими канторами, при этом выказывал знание и вкус по части пения: «Послушали бы вы, как у нас в Тетеревце поют!» К Иоселе приезжий относился весьма благосклонно. Ущипнув его за щеку, он как-то сказал, что, если мальчик будет дальше петь, у него выработается замечательный голос. Ему бы только изучить ноты.

Если бы он со своим голосом попал к Мици, из него вышел бы настоящий человек.

Шмулик слушал этого приезжего с горькой усмешкой. «Да, — думал он, — но где взять наличные?» А Иоселе при этих разговорах даже облизывался, сердце чуть не выпрыгивало у него из груди от радости. В такие минуты он всей душой уносился в Тетеревец, к Мици.

Иоселе этот приезжий стал очень дорог и мил. Он видел в нем своего избавителя, посланца божьего. Сам он, его счастье, вся его жизнь были в руках у этого человека.

А ярмарка есть ярмарка, она шла своим чередом: приходилось трудиться, разговаривать с множеством людей, вести торговлю. Иоселе, как всегда, стоял у Златы в лавке, следил за всем, подавал что нужно, ходил куда пошлют, помогал складывать и разбирать товар, и делал все это с большим усердием. За все это время он ни словом не обмолвился с Эстер насчет Тетеревца и приезжего, боялся даже заговорить об этом. Когда он замечал, что Эстер беседует с приезжим, он поспешно отходил в сторону, а сердце у бедняги так и колотилось. «Господи, — молил Иоселе, — вложи в него благие намерения, пусть возьмет меня с собой!»

А Эстер тем временем старалась вовсю. Она уже переговорила с купцом, и тот согласился свезти Иоселе в Тетеревец за свой счет. Осталось еще нелегкое дело — уговорить Шмулика и Злату. Как ни угнетала Шмулика забота о сыне, он не мог решиться на разлуку с ним: «То есть, как это можно отпустить от себя ребенка!» А тут еще вмешалась мачеха: ей было непонятно, зачем вообще возиться с этим сорванцом? Да и Злате все это было не по душе: взять мальчонку, которому еще и тринадцати нет *, и забросить неведомо куда, на чужбину, оставить у незнакомых людей?! Однако Эстер все преодолела и добилась своего — ей удалось уговорить и собственную мать.

Как только закрылась ярмарка, Иоселе тут же прихватил узелок и в добрый час отправился в Тете-

ревец. В то утро сердце у мальчика трепетало от радости. Он был преисполнен глубокой признательности к Эстер и, если бы не стыд перед людьми, обнял бы ее и поцеловал.

Можно ли передать чувства, которые питал Иоселе к Эстер, к своему истинному, верному другу?! Словами этого не выразишь. Такие чувства выдают только слезы. Когда Эстер пожелала Иоселе доброго пути, он как-то странно заморгал глазами, спрятал лицо и, как бы поперхнувшись, чуть слышно ответил: «Будь здорова». Эстер заметила, что глаза его влажны от слез, от слез, которые, конечно, рождены были счастьем. И смотрели эти глаза в далекую даль, на тот большой и просторный путь, который предстояло проделать ему в жизни.

IX

Кантор Мици слушает пение Иоселе и приходит в восторг

Пока они не миновали гребли, границы Мазеповки, Иоселе все еще не верилось, что он едет в Тетеревец. Он привставал, оборачивался назад, боясь, как бы его не вернули обратно домой. Мало ли что бывает! Вдруг мачехе взбредет в голову воротить его. Только у ветряков за лесом Иоселе понял, что он все-таки едет, и на сердце у него стало так радостно, как у человека, который вырвался из мрачного, тесного каземата на милые, вольные просторы. Глядя на приближающуюся рощу, Иоселе вспомнил о своем рае, из которого его с таким позором изгнали, и рассмеялся: «Тоже мне событие — лесок! Подумаешь! Вот в Тетеревце, там настоящая жизнь!» Одного Иоселе никак не мог понять: фургон полон людей, едут все в Тетеревец, и о чем же они говорят? О ярмарке, о выручке, о мазеповских покупателях! Есть же такие дикари на свете!

Тетеревец, как представлял себе Иоселе, это такое место, где все кругом поет и радуется. Люди

разгуливают праздно, без всякого дела, ходят в обнимку; не ссорятся, не поедают друг друга живьем, как в Мазеповке; никого не занимают такие пустяки, как ярмарка, покупатели, выручка, заработки; все ходят нарядные, лица сияют, глаза блестят, живут, как в раю, совсем, как на том острове, который лежит по ту сторону моря-океана, где круглый год лето и люди никогда не умирают, как рассказывали Иоселе приятели в хедере. А кроме всего прочего, ведь там Мици! Шутка сказать, Мици!

В таких думах Иоселе провел всю дорогу, почти не замечая ни сел, ни местечек, которые они миновали во время путешествия. Иоселе тем и отличался от своих товарищей, что постоянно пребывал в каких-то грезах, уносился в заоблачные дали, и мир виделся ему совсем иным, чем его друзьям-мальчишкам. Он жил больше вымыслом. Стоило ему послушать какую-нибудь историю, как воображение сразу рисовало ему необычайные, странные картины; стоило углубиться в себя, как думы уносили его неведомо куда, в какой-то фантастический мир. Сидя в хедере рядом с другими мальчишками над талмудом или занимаясь дома каким-нибудь делом, он обычно ничего вокруг себя не видел и не слышал. Душа его была в это время неведомо где, в ушах звучали чудесные мелодии. Можно было три раза подряд повторить ему одно и то же, и он все равно ничего не понимал. За это ему частенько попадало. Даже Эстер, которая была ему как сестра, не раз замечала, что до него будто не доходят ее слова. Из всего этого легко понять, что так как вещи постоянно представлялись ему какими-то необычными, они позже делались заурядными, ничтожными, быстро надоедали.

На третий день поутру Иоселе почувствовал, что фургон затрясло и он грохочет так, будто они катят по камням. Глазам его открылась чудесная панорама — вокруг были высокие, белые дома под железными, крашеными крышами, просторные, красивые дворы, обсаженные деревьями. «Видимо, это и есть Тетеревец», — подумал Иоселе.

— Возьми свой узел! — сказал в это время мануфактурщик, передавая Иоселе платок, в который были увязаны его филактерии*, молитвенник, субботний сюртучок, две нижние рубашки да оставшийся с дороги кусок черствого хлеба. — Вот здесь живет Мици. Слезай и попроси его от моего имени, чтобы он тебя принял. А завтра приходи ко мне.

Фургон покатил дальше, а Иоселе с узелком в руках остался подле большого дома, не зная, куда ему податься.

— Кого тебе, мальчик? — спросила простоволосая женщина, высунувшись из окна нижнего этажа.

— Мне нужно к Мици, — ответил поспешно Иоселе. — К кантору Мици.

— Потрудись сойти по тем ступенькам, а там свернешь направо, — ответила с усмешкой женщина.

Иоселе никогда не видал такой большущей лестницы и сроду не спускался так глубоко вниз. Прежде всего он попал в темный коридор, а потом вошел в очень хорошую комнату с крашеными полами. Здесь были красивые стулья, висело большое зеркало. По тогдашним представлениям Иоселе все это было великолепно. Откуда-то доносились чудесные звуки. Иоселе различал низкие, совсем низкие голоса, среднего тембра, высокие и высокие до визга. И все это сливалось в цельную гармонию, совсем так, как Иоселе когда-то слышал в Мазеповке, когда Пици пел у них в сопровождении своего восемнадцатигласного хора. Потом все смолкло, и только один голос повел чистую, прозрачную мелодию. Постепенно голос затихал, слабел и наконец совсем замер. Иоселе как завороженный недвижно стоял посреди комнаты и слушал. Не заметил он перед собой и той самой женщины, которая указала ему квартиру Мици.

— Поди вон туда, в ту комнату! — указала женщина.

Иоселе открыл дверь и сразу увидел множество юношей и мальчиков. Они стояли шеренгой, точно солдаты, и глядели в какие-то большущие книги. Один из них держал в руке палочку. А отдельно на стуле

сидел самый обыкновенный человек, с самой обыкновенной рыжей бородкой клином.

— Что скажешь? — спросил его совсем просто этот человек.

«Неужто это сам Мици?» — подумал Иоселе.

— Мне нужно видеть кантора Мици. Мне нужно передать ему привет.

— Привет? — спросил Мици. — От кого?

— От одного местного мануфактурщика. Я с ним приехал сюда.

— От местного мануфактурщика? — переспросил Мици. — Как его зовут?

— Как его зовут? — повторил Иоселе. — Эх, совсем забыл спросить, как его зовут и где он живет.

Комната грохнула раскатистым смехом, точно ударил орудийный залп. Смеялись певчие, смеялся сам Мици, глядя на растерявшегося Иоселе. На нем был разодранный, заплатанный сюртучок, сапожки стоптанные, кожа на них потрескалась, фуражка была без козырька, и в руках он держал узелок. Но лицо у мальчика было красивое, волосы вьющиеся, а большие карие глаза ярко светились, точно внутри там горел огонек.

— Скажи мне, кто ты и откуда взялся? — обратился к нему Мици с ободряющей улыбкой.

— Меня зовут Иосл, я — сын кантора Шмулика из Мазеповки, — ответил не без гордости мальчик. — Привез меня один здешний мануфактурщик, наш знакомый, чтобы устроить певчим к кантору Мици.

— Вот оно что! — проговорил Мици. — Что ж, положи узелок и подойди ближе. Послушаем, как ты поешь.

Вначале Мици проверил, знает ли он ноты. Увидев, что мальчик и не нюхал, чем это пахнет, кантор велел ему спеть что-нибудь просто так. Иоселе решил, что надо исполнить какую-нибудь цельную вещь и начал петь новогоднюю молитву «Восемнадцать благословений». Певчие тут же прикрыли руками рты, чтобы не видно было, как они заливаются. Но постепенно смех стихал, лица становились серьезными. Изумленные певчие переглядывались, не понимая, что

здесь происходит: настолько необычен был голос Иоселе. Мици подпер голову рукой, впился в Иоселе глазами и раскрыл рот, точно собирался проглотить его тут же на месте. С тех пор как он знался с певцами, он никогда еще такого пения не слыхивал и даже не представлял себе, что так можно петь. Иоселе, в отличие от многих, пел без всякого напряжения, не драл горло, не тратил сил попусту; из его уст сами собой лились чудесные, пленительные, бархатистые звуки, шедшие из сердца, из самых его глубин, и покоряли всех кругом. При этом в его пении ощущалось и большое мастерство. Легко переходил он от низов к верхам и обратно, рассыпаясь такими трелями, что все застыли на месте, не понимая, откуда у этого мальчонки такое уменье.

Когда Иоселе умолк, Мици вскочил со стула и, ухватившись обеими руками за голову, забегал по комнате, выкрикивая, как помешанный:

— Ай-яй-яй-яй! — Потом он кинулся к Иоселе. — Нет, скажи мне, кто ты такой? Откуда ты взялся? Чей ты есть?

— Да ведь я вам уже сказал, — простодушно ответил Иоселе. — Я Иосл Шмуликов из Мазеповки. Приехал к вам устраиваться певчим.

— Певчим? — воскликнул Мици. — Ай-яй-яй-яй! Певчим, говоришь ты? Мирл, поди-ка сюда! Мирл!

На его зов в комнату вошла та самая женщина, которая указала Иоселе, где живет кантор. А Мици, тыкая пальцем в Иоселе, громко кричал:

— Видишь этого мальчонку? Это сын мазеповского кантора. Приехал поступать ко мне певчим. За всю мою жизнь, с тех пор как я имею дело с певцами, я еще такого голоса не слыхал. Нет, Мирл, это невероятно! Неслыханно! Невиданно, говорю тебе! Послушай, тебя зовут Иосл? — спросил он, хлопнув мальчика по плечу. — Иоселе, я беру тебя. Ты останешься у меня. Мирл, ему надо сшить новый сюртучок, приодеть получше. Иоселе, ты, наверно, проголодался? Мирл, накорми его! Нет, ты послушала бы, как он поет! Что тебе сказать? Чудеса, да и только!

X

Новое место, новые люди, новые беды

Тетеревец для Иоселе был первое время новым раем. Прежде всего он разузнал, где здесь находится синагога, а когда вошел туда, то вообразил, что он в храме Соломона. Он увидел необыкновенно высокий расписной потолок, а по бокам лепные стены, на которые мастер не пожалел красок и изобразил на них всякую всячину: музыкальные инструменты, яблоки, груши, зеленые огурцы, горящие огнем половинки арбузов, которые сами просились в рот. Иоселе казалось, — чудесней, лучше этого ничего на свете не может быть. Что уж говорить про первую субботу в синагоге, когда Мици со всеми своими певчими (конечно, Иоселе был среди них) стал у амвона, и хор грянул утреннюю молитву в том духе, в каком ее обычно исполняют в хоральных синагогах! Иоселе почувствовал, как мороз подирает по коже и волосы на голове дыбом становятся. Иоселе не узнавал своего голоса — так звенел он в этом высоком, красивом здании.

Все в городе было для Иоселе в новинку. Первое время он беспрестанно ходил по улицам, задрав голову и придерживая рукой шапчонку, чтобы она не свалилась, и от всего приходил в восторг. Об одном лишь жалел он, что рядом с ним нет Эстер и она не видит всех этих диковинок. Сердце его было переполнено благодарностью к создателю, который во здравии привел его в такой замечательный город.

Понятно, со временем Тетеревец потерял в его глазах свою прелесть, так как он стал привыкать к нему. К тому же на новом месте Иоселе начал испытывать те же беды, что и в Мазеповке, только на другой манер.

Мици с первой же минуты симпатизировал мальчику, относился к нему благожелательно, супруга же, наоборот, косилась на него, холодно и неприветливо, а позже начала обходиться с ним почти так, как мачеха в Мазеповке. Но все это не так угнетало Иоселе, как неприятности, которые причиняли ему

товарищи по хору. Это были молодчики, собранные со всяких мусорных свалок, сбежавшиеся из разных мышиных нор. Редко встречался здесь мальчик поприличней, из порядочной семьи. Большей частью это были пустые, никчемные парни, страшные ябедники. Они терпеть не могли Иоселе, завидовали ему, часто наговаривали на него кантору, выслеживали, копали ему яму, но все это не мешало им выуживать последнюю копейку из его карманов. А деньгами Иоселе частенько снабжал мануфактурщик, который привез его в Тетеревец. Этот торговец красным товаром, его звали Бенця Лейбцин, иногда приглашал его к себе в субботу или на праздники, заботился о нем и три раза в году, возвращаясь с ярмарки, передавал ему сердечные приветы из дому. Эти приветы были Иоселе много дороже денег или какого-нибудь его обеда. А если Бенця Лейбцин привозил к тому же письмо от отца, то лучшего подарка мальчик и желать не мог. На эти письма Иоселе обыкновенно отвечал одно и то же: что слава богу жив, здоров, идет стезею праведников, придерживается заветов отца, не свернул с пути истинного и ведет себя точно так, как дома, ничуть не иначе; ходит каждый день в синагогу, молится и читает псалмы; учится также писать и исполняет в точности все, что отец наказал ему перед отъездом. Он надеется с божьей помощью вскоре благополучно вернуться домой и воочию увидеть всех в веселье и здравии. Аминь. При этом он просил передать приветы праведнице Злате — да живет она! — и дочери Эстер — да живет...

Стоило ему вспомнить Эстер, как его начинало тянуть к ней в Мазеповку, и он не мог себе дать отчета, почему так происходит. Эстер крепко запала ему в душу, совсем как родная сестра, и ни по ком он так не скучал, если не считать отца, как по ней. Наибольшим праздником для него было, когда Бенця Лейбцин передавал письмецо, где ее собственной рукой было приписано приветствие ему. Эти строки он перечитывал десятки раз, крепко прижимал письмо к груди, будто малое дитя, дорогое, любимое. Как его влекло когда-то из Мазеповки в Тетеревец, так теперь

его тянуло обратно в Мазеповку, даже сильней. Если бы Мици не удерживал его, согласился бы отпустить, Иоселе, наверное, давно уехал бы домой. Мици, однако, крепко полюбил его, носился с ним, как с каким-то сокровищем, хвалился каждому своим певчим:

— Только у меня можно найти такое чудо! Если я захочу, то любого человеком сделаю!

Эти разговоры как-то услышал бывший певчий Мици, некий Гедалья-бас, и крепко обозлился. Этот Гедалья уже сам где-то был теперь кантором. Однажды, проезжая мимо Тетеревца, он, как полагается доброму знакомому, зашел к Мици, — как-никак когда-то ел его хлеб. Здесь он услышал, как Иоселе поет, и уже не отходил от него ни на шаг. Гедалья все старался застать Иоселе одного. И вот однажды Гедалья застукал его у Бенци Лейбцина и взял его в оборот. Вначале он все выспрашивал, выпытывал тихонько, делал неясные намеки, наконец заговорил прямо о том, что Иоселе нет никакого резона даром петь у Мици и к тому же еще быть на побегушках у Мицихи.

— Такого злодейства свет не видывал! — говорил Гедалья-бас. — Взять ребенка, закрепостить его, сделать своим вечным рабом и после этого похваляться всем и каждому чужим голосом! Прямо с души воротит, когда слышишь это. К тому же, какая наглость — заставить служить Мицихе! И это сына реб Шмуела! Ну и ну! Разве я не знаю твоего отца! Да и кто не знает реб Шмуела — мазеповского кантора. Хорошее дело! У тебя что же, голоса нет? Петь не умеешь? Нот не знаешь? Нет, глупенький, кроме шуток, у меня для тебя есть место, такое место, что и родной отец скажет, что это клад для тебя. Гм... Я говорю клад? Но зачем тебе клад? Ты и сам клад! Знаешь ли ты это? А не знаешь, глупенький, спроси меня, я тебе скажу.

И Гедалья-бас стал изображать, как Иоселе будет счастлив, если он бросит Мици и поедет с ним, Гедальей, как в свое время отправились путешество-

вать по свету известные всем Арке-скрипочка, Виленский Молодожен и им подобные знаменитости, добившиеся мировой славы.

В сознании Иоселе тотчас всплыли прекрасные картины, которые виделись ему в былые времена, и он готов был тут же целиком отдаться этому чудесному, этому честному, этому верному человеку.

— Об одном только я хочу вас просить, реб Гедалья, — сказал Иоселе.

— Проси, дитя мое.

— Я хочу сначала побывать дома, повидать отца, друзей.

— Ах, пожалуйста! Как же иначе?! — вскрикнул Гедалья-бас. — Как же иначе? Сказано ведь — чти отца твоего. Эге, да ты совсем еще дитя, как я посмотрю. Кто еще ближе, чем отец родной!

Этими речами Гедалья-бас окончательно завоевал сердце Иоселе, и мальчик решил бесповоротно: надо ехать домой! Прошло три года. Хватит маяться на чужбине. Пора, право же, пора!

При прощании с Мици и товарищами по хору был и Гедалья-бас. Он журил Иоселе за то, что тот покидает такое замечательное место, и советовал ему, как родной отец, поскорей вернуться, потому что здесь его дорога, только здесь он станет человеком. Мици по-настоящему жалко было расставаться с Иоселе. Он обнял его, как родного, поцеловал, пожелал прибыть домой в добром здравии и просил передать привет отцу, которого он, правда, лично не знает.

— Всего вам хорошего! — кричал Иоселе, забираясь в фургон, где уже сидело много пассажиров, и размещаясь получше для трехдневного пути. — Будьте здоровы! Будьте здоровы! — кричал он снова и снова, высовываясь из фургона.

Наконец упряжка тронулась и, громыхая, покатила по булыжной мостовой, позвякивая колокольцами: «дзинь-дзинь-дзинь». Иоселе чуть не подскакивал от радости при мысли, что он едет домой. Громыханье, стуки, звон колокольцев усыпляли Иоселе, а думы уже несли его туда, в Мазеповку, домой, домой...

XI

Иоселе приезжает домой, и Мазеповка дивится: «Как большой город может изменить человека»

Одну вещь мазеповцы никак не могут понять: почему каждый, кто покинет их город и поездит по белу свету, возвращается совсем другим человеком? Мазеповцы разглядывают, ощупывают его и приходят в изумление: «Кажется, ничего особенного! Тот же самый, что и был, — и все же не тот! А помните, как он бегал босиком? Чудеса господни! Как большой город меняет человека!»

Разглядывая сынка Шмулика после его возвращения из Тетеревца, где он, как известно, пробыл целых три года, мазеповцы крепко дивились и никак не могли уразуметь, как это могло случиться, что мальчишка преобразился в такой короткий срок. Мальчик Иоселе превратился в юношу. Он уже совсем самостоятельный, смышленый парень, хотя ему не более шестнадцати. Одно удовольствие на него поглядеть: «Во что большой город превращает человека». Все знали, что Шмулик отдал своего сына певчим к Мици, но никто не ожидал, что Иоселе, который совсем недавно носил прихожанам маковые пироги в праздник пурим, так преобразится, станет человеком. Но если от всего этого в восторг приходили совершенно посторонние люди, как же должен был ликовать родной отец!

Это было в канун субботы. Шмулик как раз парился в бане, когда ему сообщили радостную весть о приезде сына. Он отшвырнул в сторону шайку и веник, быстро оделся и побежал домой. Здесь он, попарившийся, прибранный, прежде всего помыл руки и лишь после этого поздоровался с Иоселе, обнял его, расцеловал и принялся оглядывать сына с ног до головы. Иоселе за эти три года, как говорится, оперился. Он и раньше был пригож, у него были красивые карие глаза, милое личико. Это был умный занятный мальчик. Однако от постоянной нужды и бедности лицо его имело зеленоватый оттенок: он, как и многие другие мальчишки его достатка, выгля-

дел тогда пришибленным, бесприютным. Теперь же Иоселе, по-видимому, хорошо отъелся у Мици в Теревце, обрел румяные щечки и веселое выражение лица. К тому же одет он был как никогда у своего отца. Шмулик не мог нарадоваться на своего сына и изумленно твердил, как и другие мазеповцы: «Как большой город меняет человека».

— Как же ты поживаешь? — спросил Шмулик, присаживаясь с сыном у стола и поглядывая на его отличный сюртучок, красные щечки и зачесанные виски.

— А ты как поживаешь, папа? — ответил, как водится, Иоселе вопросом на вопрос. Он никогда так свободно не разговаривал с отцом.

Шмулик удивленно поглядел на сына. Эта вольность сначала не очень понравилась ему; он никогда еще не слыхал, чтобы сын так отвечал отцу.

— Что и говорить! Живем как всегда, — сказал Шмулик, надевая шелковый субботний сюртук и собираясь в синагогу. — Как там поживает Мици?

— Как поживает Мици? — протянул Иоселе совсем как большой. — Желал бы тебе хоть половину его успехов.

Иоселе видел, как отец состарился за эти три года, как поседел и согнулся, видел его сморщенное лицо, большие потухшие карие глаза, и сердце плакало в нем от боли. Он готов был, кажется, жизнь за него отдать. Шмулик со своей стороны был до того взбудоражен неожиданной радостью, что долго не мог справиться со своим сюртуком и еле нашел в нем рукава. Даже мачеха, увидя Иоселе, остановилась посреди комнаты изумленная: «Что ты скажешь! Вроде человеком стал!»

Приезд сына так разволновал Шмулика, что он, разговаривая с Иоселе, забрался бог весть в какие дебри, стал вдруг толковать о тетеревецких жителях, про улицы и дома в Тетеревце, хотя все это интересовало его, как прошлогодний снег. А Иоселе почудилось, что отца и в самом деле занимает Тетеревец, и он, захлебываясь, принялся описывать широкие мощеные улицы, огромные дома, от которых голова кружится, как поглядишь, и все прочие диковинки,

которые ему довелось повидать. Шмулик же, наблюдая, как сын жестикулирует, вслушиваясь в каждое его словечко, таял от восхищения.

Внезапно он спохватился:

— Да ведь уже помолились над свечами! Давно пора в синагогу!

В городе сразу стало известно, что сынок Шмулика возвратился из Тетеревца. Едва окончилась вечерняя молитва, как все полезли к Шмулику с поздравлениями: «С дорогим гостем вас!» Каждый совал Иоселе руку и при этом разглядывал, какой он из себя. Самые почтенные горожане, богатеи тоже подходили к Шмулику, расспрашивали его о сыне: где он был, что делал, надолго ли приехал и что собирается делать дальше. Один из них, Алтер Песин, предложил:

— Было бы, реб Шмулик, совсем недурно, если бы ваш сынок зашел ко мне завтра на исходе субботы и спел бы что-нибудь, а мы послушали бы. Ведь говорят, он поет — заслушаешься!

— Отчего ж не спеть? Что и говорить! Пожалуйста, — сказал Шмулик, поглядывая на сияющего Иоселе, которого засыпали со всех сторон приветствиями.

— А я бы сказал вот что, — отозвался какой-то прихожанин, — пусть ваш сынок подарит нам завтра полуденную молитву и благословит новолуние. Говорят, он замечательно поет. Айзик-Берл Фейгин, который ехал с ним в фургоне, слышал его пение и теперь не нахвалится.

— И в самом деле! Ну чего же, ей-богу? — Подхватило несколько человек. — Будет очень правильно, если он споет у нас. Велите ему, реб Шмулик. Жалко, что ли? Ведь это вам ничего не стоит!

— Тэ-э, — проронил Шмулик, поглядывая на своего Иоселе, после чего довольные прихожане стали расходиться по домам.

В ту пятницу Злата и Эстер замешкались в лавке, а придя домой, услышали от Эфраима и Менаши радостную весть о приезде Иоселе:

— Поглядела бы, мама, как он вырос! — наперебой кричали ребята. — Страх каким большим стал!

Для Златы это была очень приятная новость, а для Эстер тем более. Она быстренько умылась, оделась по-праздничному, то есть просто, но чисто и аккуратно; платье было ей к лицу, она прямо блистала в нем. Эстер не имела привычки наряжаться, напяливать на себя всякие тряпки, нацеплять всякую чепуху, натягивать на себя черт знает что, как это делают мазеповские модницы. Среди мазеповских расфуфыренных девушек и разодетых дамочек Эстер была единственной, которой мода не коснулась.

Увидев в окно, что люди уже возвращаются из синагоги, Злата и Эстер вышли навстречу Иоселе и Шмулику. Был светлый летний вечер, какой бывает в начале июня, когда даже известное всему миру мазеповское болото пересыхает, когда даже в местечко ветерок доносит сладкие запахи зеленой травы и свежих листьев, когда слышится нежное щелканье соловья, живущего в монастырском саду. Эстер еще издали узнала Иоселе, и у нее учащенно забилось сердце. Шмулик остановился, пожелал Злате и Эстер доброй субботы, а они в свою очередь поздравили его с гостем. Шмулик рассказал им, какую честь оказали Иоселе прихожане, пригласив его петь завтра полуденную молитву у амвона. А Иоселе тем временем пододвинулся поближе к Эстер и при свете народившегося месяца и брильянтовых звезд, которые отражались в ясных глазах девушки, разглядывал ее. Его так влекло к ней, что он готов был схватить ее за руку, если бы тут не было отца и Златы. После трех лет разлуки Иоселе очень хотелось в эту чудную летнюю ночь остаться с Эстер с глазу на глаз и ему никак не хотелось идти домой, творить молитву перед едой, ужинать и затем вместе со всеми лечь спать.

А ночь была так светла, так тепла, так чудесна! Вся природа ощущала величие субботы. Месяц сиял, будто серебряный светильник, звезды горели, как возжженные в праздник свечи, а она, прекрасная невеста-суббота, предавалась отдыху и радовалась вместе со всеми мазеповцами. Притихли улицы в городке —

всюду суббота. Во всех окнах горели свечи, а от света мельтешило в глазах. Мазеповцы были уже дома. Они встречали субботних ангелов, но тотчас же выпроваживали их в постоянную обитель. В воздухе плавал вкусный запах свежей халы и аромат фаршированной рыбы. Люди вкушали пищу, наслаждались еврейской кухней.

А Шмулик все еще стоял на улице и беседовал с Златой и Эстер о приезде сына. Старые, потухшие глаза его на мгновенье загорались прежним огнем, и лицо сияло при свете месяца. Он поминутно выражал свою радость, свое счастье вздохами. Злата хорошо понимала его. Она и сама восторженно глядела на Иоселе и чувствовала гордость за него, будто это ее дитя родное. А Иоселе пододвигался все ближе к Эстер. Он смотрел ей в глаза, а она под его взглядом опускала свои длинные ресницы, и Иоселе не понимал, почему она так смущается сегодня. Не хотелось ему уходить отсюда, ох, как не хотелось! Но отец сказал: «Пойдем, Иоселе, сотворим «Кидеш»! И бедняга вынужден был пойти. Перед уходом Иоселе еще раз обернулся к Эстер, снова встретился с ней взглядом, и этот взгляд остался в памяти обоих надолго. Всю ночь Эстер видела этот взгляд, он не покидал ее ни на миг, будил в ее сердце самые разнообразные чувства; ее фантазия рисовала такие прекрасные, светлые картины, навевала такие чудесные, сладкие сны, о которых Эстер до той поры и понятия не имела.

XII

Иоселе поет в Холодной синагоге и приводит людей в восторг

Холодная синагога, где Шмулик вот уже более двадцати пяти лет был кантором, не была рассчитана на большое количество верующих. При ее преклонном возрасте и обветшалости было вполне достаточно, если она вмещала только своих постоянных прихо-

жан. Да и они не всегда были довольны синагогой, — каждому хотелось иметь место получше, у восточной стены или хотя бы поблизости от нее. Постоянные молельщики никак не могли договориться о местах в синагоге, о призыве к чтению торы и еще о многих важных для них вещах. Как же обижаться на них, если они не хотели пускать весь город, внезапно хлынувший к ним в синагогу в ту субботу, когда Иоселе должен был петь у амвона?! Они заранее договорились между собой: сразу же после утренних молитв запереть синагогу и никого не пускать, будь то даже собственный отец синагогального старосты. Но, с другой стороны, разве это справедливо? В чем провинились прихожане других синагог? И вообще, что за самоуправство? Как можно запереть святое место?!

Вокруг Холодной синагоги толпа с каждой минутой становилась все гуще. Сюда явились из всех синагог, большей частью молодежь — парни, ребята. Они колотили в дверь до тех пор, пока она, наконец, не приоткрылась и оттуда выставилась рыжая борода — это служка высунул голову, чтобы обругать собравшихся и унять их.

— Вон отсюда, поганцы, бездельники, шалопаи! — кричал служка, топая ногами и размахивая кулаком. — Пошли отсюда, дармоеды!

Но тем только того и надо было. Толпа хлынула разом, сорвала дверь, служку загнала в угол, и там его как следует отхлестали по щекам. В синагоге сразу стало так тесно, что люди буквально лезли друг другу на голову. Да и снаружи синагогу обложили толпы народу. Город кипел, творилось что-то невероятное. Как же, Иоселе благословляет новолуние, будет петь у амвона!

Иоселе облачился в талес, поднялся на возвышение, готовясь петь, и окинул взглядом толпу. Разгоряченное лицо его сияло из-под талеса. По толпе прошел шепоток, а женщины наверху разом ринулись к окошечкам. Собравшиеся неистовствовали, толкали друг друга, подвигаясь поближе к возвышению, чтобы лучше разглядеть молоденького кантора. Солидные

люди стали стучать о пюпитры, требуя тишины. Все зашикали: «Тише! Дайте послушать!»

Иоселе выпрямился, откашлялся как заправский кантор и, когда в синагоге стало совсем тихо, прозвенел своим прекрасным голоском: «Да низойдет с небес спасение!» И по толпе разом пробежал холодок, заставивший каждого вздрогнуть и на мгновенье застыть, оцепенеть. Лишь когда Иоселе, кончив молитву, произнес «аминь» — все очнулись. Послышались возгласы изумления. Люди переглядывались, поводили плечами. Они забыли, что во время молитвы о наступлении нового месяца, надо помнить о дне новолуния. До новолуния ли тут! Кому оно нужно! Синагога все еще полнилась трелями соловья. Звуки растекались по всем жилочкам, обласканное сердце притихло, будто елеем облитое, душа замерла от восторга.

Какое там новолуние! Причем тут новолуние!

Иоселе снова запел, и казалось, будто десятеро запело вместе с ним; Иоселе залился, и казалось, заиграла целая капелла музыкантов. Вот он разом возвысил голос, и будто десяток голосов поддержало его, один другого лучше, один другого звончей, так что даже стекла в окнах задрожали. А вот он снизошел до шепота, голос замер, затих, чуть слышен. Льется сладостное воркованье, звуки такие чистые, такие прозрачные, такие мягкие, будто ласкает тебя, убаюкивает душу расслабляет тело. А потом Иоселе вновь взял громче, и будто сразу заиграло множество скрипок, загремели трубы и флейты. Он открыл рот, и плывут звуки, наполняя синагогу такими мелодиями, каких никто еще не слыхивал. Даже слывшие знатоками люди не видали такого кантора и не слыхали такой жаркой, такой сердечной, такой задушевной молитвы.

При словах: «Да благословит он всю эту святую общину», — Иоселе простер руки, точно указывая на толпу и моля бога за этих людей, стоящих перед ним, за их жен, сыновей и дочерей их; и все это, воздев очи, со скорбным ликом отчеканивая каждое слово и исторгая его из самых сердечных глубин. А при сло-

вах: «Тот, кто подает кусок хлеба путнику и милостыню нищему», — он сделал такое горестное лицо, точно напоминал собравшимся, что есть люди, которые нуждаются в куске хлеба, что есть нищие, которые ждут подаяния, — и тут он, по своему обыкновению, залился, молитвенно повторяя все это несколько раз. А вслед за этим он тотчас перешел на иной манер, показывая все свое мастерство, все свое уменье, так что люди прямо-таки ошалели, стояли точно зачарованные, не зная, что с ними творится, и долго еще не могли прийти в себя. Только уже после освящения новолуния, во время тихой молитвы «Восемнадцати благословений» прихожане стали переглядываться, переговариваться между собой знаками: «Ну, как?». Молитву прочитали наскоро и стали ожидать, что же еще преподнесет им Иоселе.

К гимнам все заранее приготовились, то есть хорошенько откашлялись, привели в порядок носы и насторожили уши. И Иоселе исполнил для мазеповцев гимны так, как даже дедам их не снилось. Это была чистая импровизация, которую может создать фантазия певца лишь один раз в жизни, больше она уж не повторится. Творение это словами не передать, нотами не схватить, и идет оно от сердца к сердцу; язык его всем понятен, и каждый может толковать его по-своему. Иоселе пел легко и свободно, уснащая пение всевозможными фиоритурами, закручивая вихрем звуки, переплетая их, растекаясь по октаве, перескакивая с одной октавы на другую мастерски добираясь до самых-самых верхов. Те, кто слушал эти гимны, клялись потом, что при словах «сонм горний ангелов», в выси реяли херувимы, а внизу всколыхнулись люди, и все вместе они пели гимны, возвещая сладостно один другому: «Свят, свят, свят!»

Иоселе кончил словами: «Я вызволил вас» — во весь голос, величественно. Казалось, это возгласил не кантор, а пророк, который вещает именем бога. Он обещал, бодрил, призывал не падать духом, так как бог велик и всемогущ.

Иоселе умел выразить голосом глубокую мысль, большое чувство, способен был извлекать из своего

горла редкой красоты звуки, сладкие, как сахар, чистые, как елей, возвышенные, как небо, глубокие, как море, сверкающие, точно ясное золото. Будто от сладкого сна пробудились люди, точно от райского миража оторвались, когда Иоселе кончил гимн и запел дальше уже другим голосом и совсем по-иному.

При словах: «Да будет, господи, воля твоя», — Иоселе воздел очи горе и вознес мольбу создателю: «Возврати нас в радости в страну нашу... и посели нас в пределах этой страны». Теперь в его голосе послышалась такая горестная мольба, такие душераздирающие, скорбные звуки, что его больно было слушать, и на глазах у многих навернулись слезы. Люди всплакнули немного, распустили нюни пред своим богом, будто любимые детки, избалованные, изнеженные, единственные.

— Ну и Иоселе! Ну и поет! — повторяли все, возвращаясь из синагоги, и пробирались поближе к Шмулику, чтобы пожелать ему доброй субботы и сказать: «Ну и Иоселе! Ну и Иоселе! До конца жизни не забудем это пение! Навеки запомним! Навеки!»

— Это какое-то нечеловеческое горло, какой-то нечеловеческий голос! — восторженно восклицали слушавшие его, уже сидя у себя за столом. — Не иначе как у него там какая-то дудочка! Это какая-то птица певчая! Соловей! Ну да, настоящий соловей, вот что.

XIII

Горожане поздравляют кантора с гостем, а соловей заливается вовсю

Обычай «поздравлять с гостем» сохранился в Мазеповке и поныне. Когда к кому-либо приезжает желанный гость, добрые друзья посылают хозяину к субботнему столу бутылку вина или меда, и это называется «поздравить с гостем».

В ту субботу двери у Шмулика не закрывались ни на минуту: один входил, другой выходил. То явились от богача Абе-Меера, то от Мендла-боль-

шого, то от Менаше-рыжего, то от Янкла-черного. Шмулик каждому посланцу говорил примерно так: «Слышишь, девочка! Скажи своему папе, пускай он доживет до свадьбы своей старшей дочери, и тогда мы его тоже угостим добрым вином». Или: «Слышишь, мальчик! Скажи своему папе, бог даст к твоему тринадцатилетию...» И так далее. Лицо у Шмулика пылало от радостного возбуждения, а потухшие глаза вновь зажглись былым огнем. В ту субботу он, можно сказать, был на седьмом небе. Даже его благоверная, от которой он не слыхал доброго слова с той самой поры, как узнал ее, тоже расчувствовалась и по-своему выказала свое расположение гостю. Она испекла два кугеля сразу — один из лапши, в честь субботы, другой — слоеный, с изюмом — в честь гостя.

— Ну-ка, — сказала она со сладенькой улыбкой, — посмотрим, удачный у нас гость или неудачный! Сейчас субботняя «бабка» покажет нам это.

— Видно, вы только приступаете к обеду, — проговорила Злата, входя вместе с дочерью к соседям. Ради гостя Злата помирилась с канторшей еще в синагоге во время чтения торы.

Канторша первая заговорила. Пододвинувшись к Злате, она сказала:

— Гм... Ну и гость сегодня у нас! Муж мой так рад ему!

Злата сердито глянула на нее. Ей хотелось сказать: «Ага, пришла на тебя погибель!» Но из человечности она ответила довольно дружелюбно:

— Поздравляю вас с гостем!

И пошел у них долгий и весьма занимательный разговор, в котором было перемешано все на свете: и хала, и рыба, и корова, и соседка, и соседкин борщ, и соседкина невестка-распутница, которая ходит, не покрывая волос париком, и так далее и тому подобное.

— Не забудьте же, Злата! — несколько раз повторила канторша. — Не заставляйте себя долго ждать. Сразу же после обеда обязательно приходите вместе с Эстер.

Злата отбросила свою нелюбовь к канторше и зашла почтить Шмулика. Канторша очень хорошо приняла их, угостила субботней «бабкой» и разговаривала с Златой исключительно «по-немецки», как говорят у них в Бердичеве:

— Почему вы, Златушка, ничего не вкушаете? Право же, вы еще совсем ничего не вкушали!

Попозже к Шмулику зашла младшая сестра Златы, добрая приятельница и близкая соседка, тетя Ентл со своим мужем Бейнишем. Заявился также благодушно настроенный сват Калмен и поздравил всех с субботой. А пригубив вина, он пожелал Шмулику дождаться больших радостей от своего сына и лучше всего — скорой помолвки.

— У меня этого добра хватит, — сказал Калмен, заворачивая рукава атласного сюртука до локтей и ухватив рукой кончик седой бороды. — Видите вот эту бороду? В ней меньше волос, чем у меня невест вот здесь. — Калмен хлопнул себя рукой по лбу. — Слышишь, Шмулик?

— Что и говорить! — перебил его Шмулик. — И чего только не взбредет вам в голову! Об этом мы еще даже не помышляем.

Тут Иоселе и Эстер невольно переглянулись, и у обоих в тот же миг мелькнула одна и та же мысль, совсем неожиданная мысль, которая до сих пор никогда не приходила им в голову; мысль, от которой мазеповская девушка и мазеповский юноша краснеют до корней волос, а сердца их на миг замирают; это мысль о замужестве, о браке. Жених и невеста. Слова эти звучат для мазеповской девушки и для мазеповского юноши как увлекательный роман, простой, но чудесный, изумительный роман, не написанный, не выдуманный, но настоящий роман, без фокусов и выкрутасов, простой и истинный, как сама природа.

— А теперь разделаемся с оставшимся вином! — предложил Шмулик, хлебнув положенное после обеда и уже будучи чуть-чуть навеселе. — Ну-ка, Бейниш, берись за дело, попробуй винца!

Бейниш, как человек из нынешних, взялся, несмотря на субботу, откупоривать бутылки, и гости

стали пробовать каждого сорта по капельке: чокались, желали друг другу всяких благ — заработков, благих вестей и радостей, так что вскоре все были под мухой... Они уже говорили все разом, посмеивались, клевали носом прямо в рюмку и проносили мимо рта.

— Смотрите-ка! Смотрите, как они нализались! — говорили женщины, забравшись в уголок и показывая со смехом на мужчин: — Не грешно вам, ей-богу, и прилечь немного.

Мужчины, однако, не слушали их. Они продолжали свое: подливали в рюмки и желали друг другу всяких благ. Женщины же затараторили о хозяйственных делах, стараясь во что бы то ни стало переговорить друг дружку. И никто не заметил, как Иоселе подошел к Эстер и принялся рассказывать ей свои приключения за эти три года. Никогда еще ему не было так хорошо, как в ту субботу. Ему представлялось, что он уже взрослый, большой, хлебнул немало горя в жизни; глаза его сияли, щеки горели, жестикулировал он, как бывалый человек, и поэтому в своем длинном сюртуке издали казался маленьким евреем, коротышкой, но со всеми ужимками и повадками взрослого.

Иоселе рассказал Эстер, какие это были для него мучительные три года, сколько он вытерпел у Мици, пока выбился в люди. Мици относился к нему очень хорошо, хвалился им всем и каждому. Однако жена кантора не очень-то благоволила к Иоселе. Она смотрела на него как на лишний рот в доме. Ведь у нее и без того было немало едоков. Она была не бесплодной и приносила Мици каждый год по маленькому певчему; каждый год — новый, собственный хорист! Не видно было, однако, чтобы муж и жена восторгались обилию деток. Что поделаешь? Конечно, будь у них ребенком меньше, было бы лучше, но раз он уж явился на свет, пускай, как говорят, валяется. И детки действительно валялись там как чурбаки. Пока они становились на ноги, бедняги эти, голые, босые, переносили и голод, и холод, и всяче-

ские болезни. Легко понять, что Иоселе, оказавшись среди этой ребятни, меда не лакал. Он маялся наравне с ними, но горе затаил глубоко в себе.

Выходит, что и в Тетеревце Иоселе суждено было обрести мачеху. Мициха приспособила его для домашних работ. Он был у нее на побегушках, носил ей кошелки с базара, ходил к резнику с птицей, укачивал ребят и так далее. К тому же канторша частенько отвешивала ему хорошую оплеуху, щипала, давала подзатыльники, словом, обходилась с ним, как со своими. Нередко Иоселе засыпал, не евши и не пивши. Ну, а сколько пакостей устраивали ему приятели по хору! И еще было немало всякого горя. Да, это были для него три тяжких года. Но сносил он все втихомолку, ничего не рассказывая Мици, чтобы, упаси боже, не потерять место. А местом своим он очень дорожил. Иоселе усердно изучал певческое дело. Он прошел все ступени канторского искусства, развил свой голос. И теперь он мог твердо сказать, что не нуждается больше в науках Мици. В нотах он, слава богу, разбирается не хуже любого другого певчего и не обязан больше носить канторше корзинки с базара и укачивать ее ребят. Он может занять место у самого знатного кантора. А если он поездит немного по свету, ему будет совсем неплохо.

— Я приехал сюда, чтобы недели две отдохнуть, — закончил Иоселе свою повесть, — а там я уж знаю, что делать. Дождусь только письмеца от одного человека, который обещал возить меня на свой счет да еще платить хорошее жалованье. К тому же будут у меня и побочные заработки. В общем, если я с ним поезжу, он обещал озолотить меня. Человек этот и сам был когда-то певчим у Мици, зовут его Гедалья-бас. Однажды он услышал в Тетеревце, как я пою «Аллилуйя», и прикипел ко мне. «К чему, — говорит он, — быть тебе у кого-то певчим? Становись сам кантором, как тот Виленский Молодожен, который прославился на весь мир». А за это я должен благодарить тебя, Эстер. Ведь это вы с мамой отправили меня в Тетеревец. Если бы не вы, я до сих пор маялся бы в этой злосчастной Мазеповке.

При этих словах Иоселе очень захотелось взять Эстер за руку и рассказать ей также, как тосковал он по ней все эти три года, как молился не только за отца, но и за нее; как она нередко являлась ему во сне, обнимала его, точно в детские годы, когда они были еще совсем малышами. Но он чувствовал, что сейчас все как-то не так, и Эстер как будто совсем не та. За эти три года она очень изменилась — выросла, похорошела, лицо потеряло свою детскость. Глаза будто те же — светлые, лучистые, а все же взгляд не тот, и выглядит она, как взрослая; речь, манеры — все как у девушки-невесты. Ему показалось даже, что на ее широком, белом лбу лежит морщинка, совсем как у женщины. И смех ее уже не тот. Когда-то Эстер смеялась так, что в каждом уголке звенело, теперь она смеется сдержанно, как это делают большие. Иоселе сидел подле Эстер и пристально разглядывал ее. Ему хотелось найти в ней ту самую Эстер, с которой он провел почти все детские годы. Но той Эстер не было. И чем больше Иоселе глядел на нее, тем больше она смущалась; чем больше ему хотелось приблизиться к ней, тем больше она отдалялась. Между этими детьми, которые выросли под одной бедной крышей, неожиданно встала стена, им мешала какая-то преграда. Обоих охватило смущение, появилась мысль об уважении, почтении друг к другу.

— Мне не пришлось послушать, как ты поешь, — сказала Эстер, дружески улыбаясь. — Пока я накрывала на стол, собирала чашки-ложки, в синагогу набилось столько народу, что я не смогла пробиться.

— Вот как? — встрепенулся Иоселе. — Ты ходила в синагогу? — И глаза его изумленно сверкнули.

Внезапно его охватило непреодолимое желание петь, в гортани защекотало, из горла сами рвались звуки. Его вздымало ввысь, как на крыльях. Да, он должен петь! Непременно петь!

Пел Иоселе обычно тогда, когда являлось желание петь, а желание это являлось, когда на душе было либо очень радостно, либо очень грустно, — тогда он заливался соловьем. И теперь подле Эстер

Иоселе почувствовал, как вздымается его грудь, ощутил какую-то легкость. Иоселе вышел из-за стола, стал посреди комнаты и запел.

Мужчины, которые уже были крепко под мухой, продрали глаза и уставились на него. А женщины бросили разговоры и тоже приготовились слушать.

Пел Иоселе без слов, «брал позицию», как это называется у канторов. Когда-то так делал Виленский Молодожен на исходе субботнего дня перед Новым годом. Рассказывали, что люди плакали при этом навзрыд. Вот так запел теперь Иоселе. Из его горла вылетали чудесные звуки, сплетаясь в дивные мелодии, полня собой весь дом. Вот полился грустный, душераздирающий мотив, жалостливый, молящий; Иоселе украшал мелодию всяческими фиоритурами; звуки, казалось, опускаются в воду и, звонкие, идут из-под воды. А вот он разгневался, и от его голоса даже стекла задрожали в окнах. А потом, все больше снижая звук, дошел, наконец, почти до шепота. Казалось, он теперь где-то далеко-далеко, опустился в низину и оттуда, с большой глубины, шлет мягкие, нежные звуки, сыплет частую трель, и слышится, будто горошинки катятся и падают одна за другой со страшной быстротой. И тут он снова встрепенулся, поднялся с воплем, с криком, неистовствуя и моля.

Мужчины опустили носы, картузики сдвинули, закручинились, приуныли, выглядели вроде и празднично и вместе с тем бесприютными, горестными, какими евреи обычно бывают, когда слушают музыку или пение. А женщины сложили руки на груди и сделали постные лица, как в синагоге, когда им нужно на пение кантора ответить: «Благословен господь, благословенно имя его, аминь!»

О Шмулике и говорить нечего: этот был вне себя. От нескольких рюмок, которые он проглотил, лицо у него раскраснелось, глаза сверкали, и, улыбаясь, он теперь выглядел как человек, который собирается всплакнуть. Вино совсем затуманило ему голову. Ему привиделось, что вот здесь, невдалеке, стоит его Зелда, смотрит сквозь слезы на своего единственного

сынка и улыбается. «Ну как, Зелда? — спрашивает ее Шмулик. — Что и говорить! Ожидала ты что-либо подобное от нашего Иоселе?» Ему рисуются всякие заманчивые картины: люди обивают его порог — всем хочется иметь у себя Иоселе кантором. Мазеповцы прямо-таки из кожи лезут — готовы платить двадцать рублей в неделю, да еще сулят приработки. Но и тетеревцы не дураки — они не желают отдать Иоселе. А из Ямполя, из Кашперова, из Макаровки и разных других городков его забрасывают письмами: «Дайте его нам, реб Шмулик! Червонцем больше, червонцем меньше, беда не велика. Только давайте его сюда, вашего Иоселе!» Вот такие радостные картины мелькают перед взором Шмулика, навевая на него блаженные сны.

А Иоселе, не переставая, пел, изощряясь в своем мастерстве, разливаясь на тысячи ладов, как певчая пташка, увидевшая теплое, милое солнышко. Иоселе увидел Эстер и пришел в восторг от нее, от ее красоты и теперь изливал душу дивными, неземными звуками, которые он исторгал из своего замечательного горла. Соловей, почуяв только что ожившую весну, расщелкался, распелся на свой лад.

XIV

Гедалья-бас вывозит Иоселе в большой, светлый мир

Гедалья-бас, которого ожидал Иоселе, явился очень скоро, быстрей, чем можно было предполагать. Заехал он прямо к Шмулику, втащил свой узел и расположился как человек, который собирается облагодетельствовать всех в этом доме. Его приезд очень обрадовал Шмулика. Он считал большой честью для себя то, что люди специально приезжают к нему. К тому же гость показался ему весьма порядочным человеком.

Гедалья-бас был такой субъект, что не сразу раскусишь. По виду вроде из «нынешних»: сюртук чуть

укорочен, большие черные пейсы заложены за ухо, а густая смоляная борода округлена. Боже сохрани, она была не подстрижена, но только искусно подогнута. Зато когда он становился на вечернюю молитву, то молился битых полтора часа, при этом рьяно раскачивался, кидал голову то вправо, то влево и время от времени глубоко вздыхал. «Видать, благочестивый человек!» — думал Шмулик, приглашая гостя омыть руки и сесть за стол. За ужином Гедалья все время молчал, разглядывал хозяина и его семейство, и только бросил два-три слова в ответ на расспросы Иоселе о хористах Мици.

Лишь после затрапезной молитвы, во время которой гость закатывал глаза и скандировал каждое слово, Шмулик уселся с ним в укромный уголок и завел разговор о деле, по поводу которого гость приехал.

— Значит, хотите, чтобы Иоселе все-таки отправился с вами? — спросил Шмулик, заглядывая гостю в глаза.

— Что значит, я хочу? — ответил Гедалья-бас, поглаживая бороду. — Разве он у меня один? У меня их, слава богу, семнадцать штук. Надо ведь содержать такую компанию! Это не шутка! Как вы думаете, реб Шмулик? Ведь вы, как говорится...

— Разумеется, о чем толковать? — сказал Шмулик, тоном человека, хорошо разбирающегося в таких делах. — Но я думаю о том... Я говорю о моем Иоселе... Что он, например, будет иметь от этого?

— Что значит иметь? — ответил Гедалья, снова отклоняясь в сторону. — Можно иметь и не иметь. Иной раз с чем приедешь, с тем и уедешь. Как там сказано: «Если пришел один, пусть один и выйдет». А иногда бывает наоборот: поймаешь счастье за хвост. Одним словом, реб Шмулик, на расходы кое-как выколачиваем. Так вот и изворачиваешься. Вы ведь понимаете. Вам-то нечего рассказывать.

— Да, конечно... Что и говорить! — пробормотал Шмулик. — Однако я насчет того... Ведь каждый человек хочет знать, как ему быть. Есть ли смысл, или нет смысла? Вы понимаете?

— Что значит, есть ли смысл? Можно ли сказать о канторе — есть ли смысл петь, или нет смысла? Я вас спрашиваю, реб Шмулик. Ведь вы и сами, как говорится, не из тех канторов... Кантор все равно что мельник. Пока колеса вертятся... Вы понимаете? Вот мы и вертимся.

— Да, конечно. Честное слово, вы правы. Однако мне нужно знать свое. Что и говорить... Вы понимаете? Представьте себе — вы покупатель, я продавец. Назначьте цену, а я уж подумаю, поразмыслю. Понимаете?

— Ну, как тут назначишь цену?— заявил Гедалья, разводя руками и приятно улыбаясь. — Это уж зависит немножко от удачи, немножко от того, как люди примут. Разве вы, реб Шмулик, не знаете наших людишек? Одному нравится, другому не нравится. Возьмите Пици! Как будто уж сам Пици! И все же дай бог мне столько счастья, сколько случается... Э!..

— И то правда. Да я не о многом мечтаю. Довольствовался бы и половиной, третью того, что имеет Пици. В сущности, мой Иоселе еще ребенок. Что и говорить...

— О, вы говорите — ребенок, реб Шмулик? По-вашему, выходит, что ребенку ничего не нужно. Но всякой мелочи наберется, понимаете ли, в десять раз больше, чем вы думаете.

— Да я не о том, — перебил его Шмулик, чувствуя, что забрался совсем не туда. — Я хочу сказать другое.

— Что же? Наверное, беспокоитесь о его поведении? Можете мне поверить, реб Шмулик, что...

— Боже сохрани! — вскрикнул Шмулик. — Я совсем не о том. Я о другом думаю.

— Э, разрешите, мой дорогой. Я хочу вам сказать как раз о том, о чем вы сами заговорили, — насчет детей...

Так они болтали до поздней ночи, но Шмулик все же лег спать ни с чем.

На следующий день Гедалья стал торопить Иоселе в дорогу. Он ходил за ним по пятам и поддавал жару. А Иоселе, хотя ему и было приятно проводить время

со своими милыми, хорошими друзьями, все же не прочь был уже отправиться, — его тянуло в этот большой и светлый мир. Он понимал, что оставаться в Мазеповке, где он будет связан по рукам и по ногам, ему не следует. Своей цели он еще не достиг. Те чудесные картины, которые давно рисовались ему, заманчивые сны про Виленского Молодожена, Канарейку предстали перед ним во всем блеске и великолепии и не давали ему покоя. Он только упросил Гедалью-баса задержаться еще на два дня, чтобы провести это время с родными и попрощаться перед таким далеким путешествием.

— Как вы рассчитываете, когда Иоселе сможет вернуться домой? — спросил Шмулик в день отъезда Гедалью-баса, и в его голосе послышались дрожащие нотки, как у человека, который вот-вот расплачется.

— Что значит домой? — ответил Гедалья-бас, по своему обыкновению отклоняясь в сторону. — Разве мы едем куда-то в одно место? Ведь мы странники, — сегодня здесь, завтра там, как ярмарочные торговцы. Разве знаем мы наперед — будет нам хорошо или плохо? Но раз поехали, значит, едем.

С кантора сразу слетел весь кураж. В этот день он чувствовал себя не в своей тарелке, ходил растерянный. «Кто этот Гедалья-бас? Что он собой представляет?» Однако вопрос этот пришел Шмулику в голову слишком поздно. А тут еще Злата долбила его, доказывая, что он попросту козел безрогий, а не отец. Какой же это отец не расспросит раньше, что да как?!

А Иоселе собирался в путь. В доме у Шмулика была кутерьма, — Иоселе уезжает. Ему готовили провизию на дорогу — пекли коржи, коврижки, сахарное печенье. С тех пор как Иоселе возвратился из Тетеревца, мачеха совершенно переменилась. Она смотрела теперь на него с уважением. А уж раз она стала добра, то этой доброте и границ не было. Все утро не отходила она от печи, без конца варила, жарила, парила для Иоселе. Вся красная, со съехавшим платком, она собственноручно укладывала багаж пасынка. Видя ее сердечность, Иоселе простил ей все муки, которые она ему причинила, все оплеухи, которыми она

его одарила. Он готов был обнять ее как родную мать.

Перед отъездом сердце Иоселе было мягко как воск, всему открыто и всякому радо. Все вокруг было ему мило и дорого. Люди, улицы, дома казались ему прекрасными, светлыми, радостными. Мазеповка с ее грязными, темными уличками, с ее мрачными, покосившимися домиками, с ее озабоченными, понурыми людьми выглядела в его глазах райским садом, где все цветет и благоухает, где все живет и радуется. И он готов был схватить в объятья первого встречного и расцеловать его. Фантазия уносила его далеко-далеко, на душе было до того легко, что, казалось, у него выросли крылья. Он не шел, а летел, не глядел, а сиял, не говорил, а пел. Иоселе чувствовал себя на седьмом небе — он едет, едет!

Захватив с собой палочку и филактерии, Иоселе направился в синагогу молиться, но, проходя мимо дома Златы, завернул туда, чтобы попрощаться с Эстер.

XV

Как Иоселе несколько раз прощался с Эстер

Один день в жизни Эстер выдался светлый, радостный, счастливый — это был день сборов Иоселе в дорогу.

Было еще совсем рано, когда Иоселе с филактериями под мышкой вошел к Злате в дом. Хозяйка была в лавке, Менаше и Эфраим еще спали. В комнате была одна Эстер. Она стояла у печи и готовила на шестке цикорий к завтраку. Увидев Иоселе, она быстро спустила закатанные до локтей рукава, прикрыв свои прекрасные белые руки. Щеки ее так и пылали от огня, волосы, кое-как собранные на затылке и заколотые одной шпилькой, разметались по плечам. Это придавало ей еще больше прелести. Белый передник сверкал на ней и делал еще светлей ее сияющее лицо. Скрестив руки на груди и задумчиво

глядя в огонь, она слушала Иоселе, который говорил без конца.

Начал он с того, что отправляется в далекий путь и, боже мой, чего только там не увидит! Он побывает в Макаровке, в Кашперове, в Гнилопятовке, в Глупске, в Днепровце, в Тунеядовке. Где только он не побывает! Гедалья-бас обещает заехать с ним еще в Хмельницк и в Гонтоярск и показать ему театр, где бывший Пицин тенор служит теперь хористом, то есть поет там каждую ночь. И говорят, он очень счастлив, пересылает отцу уйму денег. Отец его, кантор в синагоге у мясников в Макаровке, был бедняк бедняком, а с тех пор как сынок заделался важным человеком, ему живется как нельзя лучше. Иоселе заявил, что если бог поможет ему хоть вполовину того, хоть в одну десятую, он как следует обеспечит отца на старости лет и не даст ему надрываться у амвона.

— Довольно, потрудился! Пора и на отдых!

Тут Иоселе разгорячился, покраснел весь, глаза его зажглись. В сущности, Иоселе был еще ребенком, семнадцатилетним мальчишкой, но из тех, что до времени созревают. Горе, которое выпало на его долю с малых лет, быстро сделало его взрослым. Ходил он чинно, по-стариковски, говорил разумно, вел себя как самый благочестивый еврей. Эстер слушала его и дивилась: за это время он вроде старше стал не на три года, а на целых десять лет. И, разглядывая Иоселе, его «солидную» фигуру, она не в силах была сдержаться и расхохоталась. Эстер была старше его года на полтора и смотрела на Иоселе как на мальчишку. Услышав теперь рассуждения парня, она еще пристальней стала его разглядывать, не прерывая, однако, потока его речей. А Иоселе говорил, говорил, чем дальше, тем жарче, излагал всякие планы, рисовал бог весть что.

Когда Иоселе на мгновенье остановился, Эстер сказала с милой усмешкой:

— Смотри, как бы ты не забыл того, что сейчас говоришь, как Залмен-Герш, старший сын тети Брайны. Помнишь его? Собираясь в Броды, он наобещал ей золотые горы. А уехавши, написал раз, другой и

примолк. Так и по сей день молчит. Я говорю это потому, что давать обещания не трудно.

Из этих слов видно, что и Эстер не очень-то была довольна его отъездом. Как-то душа у нее была не на месте. Замечание ее, видимо, крепко задело Иоселе.

— Значит, ты равняешь меня с этим шарлатаном Залмен-Гершем? — запальчиво сказал юноша. — Он всегда был бесстыдником и наглецом. Не было дня, чтобы его не отхлестали за какие-нибудь проделки. Что ж ты нас на одну доску ставишь? Не бойся, я своего отца не покину! Я буду там, но сердце мое останется здесь, подле близких и дорогих мне людей. Я буду часто слать письма. Тебе, Эстер, я буду писать каждую неделю. Будешь отвечать?

Эстер чувствовала, что у нее горит лицо, и она опустила глаза. После, когда их взоры встретились, они оба хорошо поняли друг друга и им незачем было больше разговаривать; незачем было спрашивать друг у друга согласия. Романов они не читали, не знали, как вести себя в подобных случаях, да и незачем им было это знать: природа не знает никаких романов. Иоселе и Эстер с малых лет были вместе, и им показалось бы диким, если бы теперь им пришлось расстаться навсегда. До сих пор каждый из них держал эти помыслы в себе. Теперь же, когда оба выдали себя не словом, а взглядом, тайное стало явным. Говорить об этом все же было излишне, да и не так-то легко и просто. Ясно, у них полная договоренность: они — жених и невеста. О чем же еще толковать? Оба они пока молоды. Иоселе сначала поездит по свету, потом вернется, и он... и она... Одним словом, все будет в порядке!

— Ну, а теперь, Эстер, давай попрощаемся, — сказал Иоселе, протягивая ей руку, совсем как городской человек, который хорошо знает, как нужно себя вести в таких случаях. — До свиданья.

— Счастливого пути, — пожелала Эстер, протягивая ему руку первый раз в жизни.

Эстер чувствовала, как Иоселе крепко-крепко жмет ей руку, и не отнимала ее. Кто не испытал сладости такого рукопожатия? Кто не знает смысла такого

прощания?! Иоселе и Эстер были безмерно счастливы. Они на мгновенье забылись, близость их была так велика, что они, кажется, готовы были теперь друг за друга жизнь отдать. Их взгляды вновь встретились, и снова повели они разговор на языке знаков, на том языке, который хорошо знаком каждому молодому существу в пору, когда в сердце цветет весна, в пору первой, истинной, горячей, неземной любви.

Уже стоя на пороге, Иоселе снова обернулся и опять сказал Эстер: «До свиданья», а Эстер ответила ему: «Счастливого пути». Иоселе опять повторил: «До свиданья», — и уже собрался уходить, когда за его спиной появилась Злата.

— Глядите-ка на него! Что это за «до свиданья» на заре? Погоди немножко. Покуда возчик Лейзер соберется да прикатит на своей дохлой тройке, ты еще успеешь шесть раз попрощаться. Поди-ка помолись, а потом позавтракаешь с нами. И последний раз пообедать ты тоже должен у нас. Каждый скажет, что это справедливо... Слышишь, Эстер? Фрума-Блюма принесла мне в лавку рыбу! Это что-то особенное! Сходи посиди в лавке, я там оставила мальчонку одного. Выручка нынче, слава тебе господи, такая что хоть замок вешай на дверь. Посиди-ка эдакий денек, пожарься на солнце! И спрашивается: зачем, ради чего?.. Помни же, Иоселе, — к обеду обязательно к нам! Отца и мачеху я сама позову. Кстати, сейчас почти праздник — как-никак начало месяца. Пускай приходят!

Тот день, можно сказать, был самым лучшим, самым светлым, самым радостным днем в жизни Эстер. Да, всему свое время. Приходит время и для крохотного цветка, что растет заброшенным, забытым в сумрачной чащобе, в темнеющем углу. Приходит и для забытого цветка доброе, сладкое время, когда на него падет луч солнечного света. Посвежевший, оживший, поднимет он на мгновенье головку, распустит свои лепестки, зацветет, глянет в ясное небо и жарко поблагодарит мать-природу, которая не забыла и его, одинокий, бедный цветочек.

XVI

Уехал — и попрощаться забыл

Как метеор, который пролетит по темному небосклону, сверкнет в глазах и, оставив после себя длинный, яркий след, исчезнет с горизонта, так летел Иоселе-соловей в еврейском музыкальном мире, в мире канторов. Вот он приехал в какой-нибудь город, наделал шуму среди местных жителей, показался на людях, увидел, околдовал своим замечательным, сладостным голосом, своим божественным пением и исчез, ошеломив город, оставив изумленных горожан, чтобы они потом без конца толковали о нем, рассказывали всякие чудеса и вспоминали его пение всю оставшуюся на их долю жизнь.

Еще за неделю до его приезда в городе начинался переполох: «Едет! Он едет! Иоселе-соловей приезжает к нам на субботу!» А когда уж Иоселе приезжал, начиналось настоящее столпотворение: все хотели послушать мазеповского соловья. Чаще всего Иоселе-соловья ходили слушать по билетам, которые разбирались в одно мгновенье. Больше одной субботы Иоселе нигде не оставался, хоть бы его озолотили, — ведь городов и местечек уйма, и всюду надо побывать. Самая кутерьма начиналась только после его отъезда. Люди передавали друг другу свои ощущения примерно в таких восторженных тонах:

— Что скажете о соловье?! Как вам нравится его голос? Видели ли вы его хоть как следует в лицо? А его певчие! Ну и Мазеповка! Ну и соловушка!

Находились и такие, которые отправлялись вслед за ним в другой город, чтобы послушать его еще хоть разок. На улице следом за Иоселе бежала целая орава мальчишек-шалунов и кричала вслед: «Соловей! Это соловей!» И не только дети, но люди с бородами останавливались, чтобы поглазеть на мазеповского соловья. Кажется, чего там смотреть? Юноша лет семнадцати, румяные щеки, приглаженные пейсы, длинный сюртук до пят, заячья шапка на голове — вот и весь Иоселе-соловей. Но имя его было настолько

славно, голос настолько изумителен, пение так божественно-чудно, что его облик приобретал у всех в глазах особую прелесть и каждый считал для себя счастьем видеть его.

Как о всяком большом человеке, о Иоселе рассказывали удивительные истории, и в народе о нем ходили всякие легенды. Например, рассказывали, что в горле у него какой-то инструмент, вроде гармоники или дудочки, благодаря чему он издает такие чудные звуки. Да иначе оно и быть не может, ибо так петь — это не в человеческих силах. Другие говорили, что там у него не гармоника и не дудочка, а это у него такое горло от рождения. Однажды, еще будучи ребенком, он у матери на руках так распелся, что все перепугались и понесли его к цадику. Тот посмотрел ребенку в горло, благословил его и пожелал ему понравиться другим так же, как понравился ему. Еще рассказывали, что Иоселе ничего не ест — ни хлеба, ни мяса, ни фруктов, — пьет лишь горячее молоко и глотает гоголь-моголь. Этим и живет. Выпивает он каждый день шесть десятков яиц, оттого у него такой чистый, такой ясный голос. «А благочестив он, — передавали люди, — как никто на свете. И к тому же большой знаток писания». И хотя никто никогда не толковал с ним как следует, но уж по одному его виду понимали, что это юноша тонкого воспитания. «А красив он так, — сообщали другие, — что даже больно в лицо ему смотреть. Всякие господа, вельможи, графы, князья заглядывались на его светлый образ».

Все эти рассказы, конечно, доходили и до Мазеповки и служили Шмулику, Злате и Эстер хорошим бальзамом, исцеляли раны, которые наносил им Иоселе. Было договорено, что на праздник кущей Иоселе приедет домой отдохнуть, а затем уж отправится дальше. Однако прошли кущи, пасха, пятидесятница, а Иоселе все нет и нет. Прошли еще одни кущи, а Иоселе не приезжает. Прошли и третьи кущи, а Иоселе все нет. «Вот я приеду. Вот я приеду», — писал он и не являлся. Если бы знать, где он, можно было бы написать, съездить к нему. Но ведь он летает по свету — сегодня здесь, завтра там. Поди ищи его!

Счастье, что он хоть шлет письма. Но вскоре и этому счастью пришел конец. Около полугода они получали от него веселые, славные письма; поначалу довольно часто, а там все реже, реже. И все же это были добрые вести о том, что он разъезжает по свету, имеет шумный успех, нравится людям, зарабатывает деньги и катит дальше. Шмулик несколько раз получал от сына пухлые пачки ассигнаций, и Мазеповка ходуном ходила:

— Что вы скажете о нашем канторе Шмулике? Сынок пересылает ему груды денег. Богачом станет на старости лет!

Годом позже Иоселе не только перестал присылать деньги, но и письма от него начали приходить раз в три месяца, да и то в несколько строчек: «Во-первых, уведомляю, что я жив-здоров, дай бог слышать от вас то же самое. Вовеки аминь!» И все тут, больше почти ничего нет в письме. Ну, а там перестали приходить даже такие письма. Иоселе пропал, как в воду канул. Нету Иоселе! Перед бедным Шмуликом словно бездна разверзлась. Он оплакивал своего дорогого сына, своего единственного, своего кормильца на старости лет. Измученный, истомленный, ходил он сам не свой, не зная, что ему делать, на что решиться.

Однако как ни велика была беда, позор был больше того. Шмулик не раз плакался на свое горькое горе близкому ему человеку — Злате, советовался с ней: как быть, что делать? Но какой совет могла ему дать Злата — женщина, да к тому еще вдова? Она, по обыкновению, всю вину валила на него же, как следует мылила ему шею и заявляла, что будь она отцом, то совсем иначе вела бы себя с ребенком. Ну, а если бы Зелда, царство ей небесное, была в живых, все шло бы по-иному. Такие разговоры происходили в присутствии Эстер, которой было очень больно слушать все это. Но поведать кому-либо свое затаенное горе она не смела.

Черные тучи заволокли светлые горизонты Эстер, и мир, который на мгновенье предстал перед ней ясным и чистым, снова омрачился и выглядел пустынней, чем раньше. До этой поры Эстер жила в своей

среде, среди своих. Она, как зародыш в яйце, не ведала, что делается по ту сторону ее маленького мирка. Эстер нашла бы, конечно, равного себе, свою пару и в добрый час вышла бы замуж. Была бы она счастлива или жизнь не очень баловала бы ее, но претензий она никому бы не предъявляла, как и прочие мазеповские девушки. Теперь же, когда сердце ее ощутило святое, трепетное чувство, когда она уже считала себя наисчастливейшей со своим Иоселе, со своим суженым, которого она так долго дожидалась и о чем никто, никто не знал, — теперь ей нужно было распрощаться со своей мечтой и к тому же затаиться, упрятать в себе, похоронить свое горе глубоко в сердце. Эстер не могла себе представить, чтобы Иоселе такое сделал — бросил, забыл, навечно забыл! Как это возможно?! Как допустить это? Чтобы Иоселе сделал такое?! Где же его речи? Где его преданность отцу? Где его клятвы и заверения? «Если уж Иоселе мог такое сотворить, — говорила себе Эстер, — значит, конец миру! Конец!»

Но то, что переживала Эстер сейчас, пустяки в сравнении с тем, что ей предстояло пережить в будущем.

XVII

Иоселе-соловей поразил весь мир и сделался шалопаем

Есть двух родов скитальцы. Один мечется по белу свету потому, что его толкает на это горе-беда, отрывает от близких, родных, делает его бездомным перекати-поле. Другого эти скитания увлекают, он рад им; безмерные удовольствия в пути кружат ему голову, опьяняют, и он забывает все на свете. Вот таким скитальцем и стал наш Иоселе.

Беззаботно разъезжая из города в город, Иоселе совсем забыл, кто и что он. Ему вовсе не нужно было думать, куда ехать, как ехать. Это было не его

дело, для этого существовал Гедалья-бас, который заботился о нем, обеспечивал всем необходимым лучше родного отца. Басом его называли по старой памяти. Но с той поры, как он стал возить Иоселе, он распрощался со своим басом и занялся делами совсем иного рода. Гедалья ездил теперь из города в город и «устраивал субботы». В то время как Иоселе-соловей пел, Гедалья-бас был уже в другом городе, торговался с каким-нибудь старостой синагоги до потери сознания, устраивал для Иоселе «субботу» и забирал поскорей деньги. А когда Иоселе приезжал сюда, Гедалья катил дальше, в другой город. И так без конца. Гедалья знал свое дело хорошо, и Иоселе вполне мог на него положиться. Гедалья вел все хозяйство — нанимал певчих, расходовал сколько нужно и где нужно, рассчитывался со всеми. Иоселе оставалось только приехать, спеть и отправиться дальше. Для Гедальи Иоселе был как собственное дитя: он оберегал его как зеницу ока. И Иоселе было очень хорошо у него, так по крайней мере писал он своим близким на первых порах. Доброта Гедальи была, однако, Иоселе тогда не совсем понятна.

Певчие, да будет вам известно, эдакая теплая братия; все больше веселые, жизнерадостные парни, избавившиеся недавно от тесного, мрачного хедера и противного ремня учителя, а то и от хозяйской расправы. Вырвавшись на свободу, эти молодцы ведут себя совсем как необузданные жеребята; не знают, за что бы им раньше взяться, что бы такое сотворить. Все это мальчишки, которым не всегда перепадал черствый кусок хлеба, воспитанники талмудторы *, портновские подмастерья, подручные приказчики. Кто бы они там ни были, а лишь сойдутся, сразу заводят компанейство, все у них в складчину — одна чашка-ложка, одни думы и заботы, и жизнь для них — сплошной рай. На еврейскую религию им, конечно, наплевать, творят, что в голову взбредет. Как доберутся до города, так давай скорей есть. Еда для них — самое главное в жизни. Как голодные волки, как

саранча, набрасываются они на кушанье в первом же постоялом дворе, сразу же накупают всякой всячины. А в свободное время ходят по городу, курят папиросы, шумят, озоруют, — одним словом, живут напропалую.

Когда Иоселе жил у Мици в Тетеревце, у него были какие-то обязанности, он учился, был поглощен пением. К тому же его поддерживали отцовские письма, частенько напоминавшие, что надо быть благочестивым, каждый день вовремя молиться, соблюдать заветы отцов, помнить, что он не ровня разным певчим, что он из порядочной семьи, и не заниматься глупостями. Эти письма были лучшими его наставниками. Он слушался отца, был благочестив и с певчей братией почти не водился, да и времени у него для этого не оставалось. В свободные от пения минуты у него были еще иные обязанности: укачивать ребят Мици, носить канторше кошелки с базара, чистить медную посуду и тому подобное. И Иоселе все это терпеливо сносил, только бы петь у Мици.

Однако позже, когда хорист Иоселе стал «Иоселе-соловьем», человеком независимым и очутился в компании веселых, жизнерадостных ребят, пройдох, продувных бестий, которые изъездили свет и знают, что такое жизнь, — он тоже переменился. Вначале он с трудом мирился с штукарством певчих и все жаловался Гедалье-басу. Тот выслушивал его и говорил со смешком: «Какой же ты еще ребенок, Иоселе! Надо знать эту компанию. Они просто веселые ребята!» Потом Иоселе заметил, что и сам Гедалья нет-нет да и пропустит словцо в молитве, а то и вовсе не помолится вечером. «Молитва — не коза, никуда не денется», — острил Гедалья, заметив, что Иоселе удивленно смотрит на него. Иоселе изумлялся и даже досадовал на то, что такой порядочный человек, такой благочестивый еврей, как Гедалья-бас, который постоянно носит талескотн, садится играть с этой братией в карты на целую ночь, спокойно наблюдает их бесстыдство, выслушивает всякие их словеса.

Постепенно, однако, Иоселе сдружился со всей певчей компанией, стал относиться к ним по-приятельски и даже во многом подражал. Как и они, он теперь частенько забывал помолиться, садился играть в карты, любил очко, лакомился конфетами, а иной раз за компанию пропускал и стаканчик горькой. Сюртук свой он укоротил, пейсы подрезал и остатки их прятал за уши, волосы мазал помадой, беспрестанно наряжался и в конце концов превратился в настоящего щеголя. Деньги Иоселе не очень-то умел беречь. Подле него грел руки каждый певчий, но особенно, конечно, перепадало Гедалье-басу.

Вел себя Иоселе, как взрослый, несмотря на свои семнадцать лет. Ему очень нравилось, что всюду, где бы он ни появлялся, в любом городе, за ним бежали следом, указывали на него пальцами, восхищались его красотой, часто говоря это ему в глаза, особенно тут старались девушки и молодухи. Иоселе-соловья они называли красавцем, и он вполне мог похваляться, что девушки бегают за ним, целуют следы его ног, вешаются ему на шею.

Красивое лицо иной раз большой недостаток. Очень может быть, если б Иоселе не был красивым парнем, он не испортился бы так скоро. Можно сказать, красивое лицо и сгубило его. Гораздо лучше было бы для него, для отца, вообще для всех, если бы он не был таким красавчиком; если бы на него не указывали пальцем; если б не заморочили ему голову глупые мальчишеские бредни. Вот из-за чего Иоселе утратил свою непосредственность, свою порядочность, верность дому и свой прежний добрый нрав, а со временем весь свой облик кантора, весь свой пыл, а вместе с этим уважение и любовь у бога и людей.

Кантор — это не актер. Конечно, люди любят, чтобы для них хорошо спели, показали им свое мастерство у амвона, чтобы голос у кантора звенел. Однако кантору нельзя забывать, что он посланец паствы, ее заступник перед богом, и поэтому от него

требуется, чтобы он был человеком хорошего поведения, благочестивым, а не каким-то штукарем. Синагога не театр.

Покуда Иоселе-соловей вел себя пристойно, был благонравен, как это положено, его пение у амвона имело особую прелесть, и сам он казался прекрасным. Но стоило ему изменить свое поведение, как он сразу опротивел людям, стал ненужным, непотребным.

— Хорош кантор, — говорили о нем, — играет в карты, жрет трефную * колбасу и разгуливает с девками! Замечательный кантор!

Как водится у всех, так и у нас: покуда человек на вершине славы — похвалам нет конца, его боготворят, его возносят, о нем трубят на всех перекрестках. Но стоит ему потерять уважение у людей, и в нем отыщут всякие недостатки, возведут на него всякую напраслину, узна́ют вдруг о нем такое, от чего волосы дыбом станут. Так было и с Иоселе-соловьем. Когда он был хорош, он был хорош без меры, но чуть о нем заговорили злые языки, как про него стали рассказывать всякие грязные истории. Один сообщал, что видел собственными глазами, как Иоселе-соловей ходил в постоялом дворе без шапки, распевал солдатские песни и крутил с кем-то любовь. Другой передавал, что Иоселе в Судный день лакомился поросенком в масле. Третий докладывал, что в некоем городе Иоселе согнали с амвона за какую-то непристойность.

Одним словом, о Иоселе пошла такая слава, что ему волей-неволей пришлось бы в конце концов оставить канторство и перестать петь, несмотря на уговоры Гедальи-баса не обращать внимания на сплетни.

— Пускай наши людишки хоть треснут болтаючи, только бы деньги платили! — говорил Гедалья-бас.

Ухаживал Гедалья-бас за Иоселе неспроста. Иоселе-соловей был для него хорошей доходной статьей. Здесь черпал он средства на жизнь, притом

полной пригоршней. Помимо прочего, у Гедальи были еще особые виды на Иоселе — он намеревался его женить. У Гедальи была дочь, возможно, и не слишком красивая, зато умная девица. Правда, была она уже в летах, давно в летах; уже за двадцать, — то есть почти около тридцати.

— Не везет! — плакался частенько певчим Гедалья так, чтобы Иоселе слышал. — Не везет, да и только! Такая у меня замечательная дочь, и никак не найду жениха. Кого попало она, конечно, не хочет, а то, чего ей хочется, я не могу найти. Нынешние девушки!..

Так вот говаривал Гедалья-бас, пользуясь, по своему обыкновению, разными намеками да экивоками и надеясь, что тот, кому это нужно, поймет. Надо быть очень уж большим дураком, чтобы не уразуметь, на что Гедалья намекает, рассказывая про свою дочь. И Иоселе очень хорошо это понимал, но притворялся глупеньким. Иоселе уже привык к подобным разговорам. Всюду, где он пел, в каждом городке, где он бывал, сваты буквально обивали у него пороги. Предложения были одно заманчивее другого: десять тысяч, пятнадцать тысяч, двадцать тысяч приданого. Находились среди богачей охотники, которые готовы были немедленно выложить деньги, только бы заполучить Иоселе в зятья. Это было понятно, в ту пору, когда Иоселе славился, вел себя благопристойно. Конечно, в таких случаях обращались не к Иоселе, а к Гедалье-басу, как к старшему. А Гедалья, недоговаривая, намекая на что-то, всеми силами старался расстроить любое сватовство, отвадить людей, отделаться от них, так как все это шло вразрез с его видами на Иоселе.

Настало, однако, время, когда Гедалья убедился, что его намерения не осуществятся, что это пустые бредни, которые нужно поскорей выбросить из головы, забыть их, навсегда расстаться с глупыми фантазиями. Иоселе твердо заявил, что и не собирается жениться. Ему бы поскорей вернуться домой, а суженую он уж себе найдет среди своих. Гедалья

понял, что игра его провалилась. А тут подвернулось одно дельце. Затуманили ему голову, заморочили мозги, ослепили его глаза деньги, порядочная сумма денег, на которые Гедалья всегда был большой охотник. А все это произошло таким вот образом.

XVIII

Важная дама Переле собирается покинуть Стрищ, но ради Иоселе она остается

Между Ямполем и Макаровкой, как раз на полпути, находится всем известный городок Стрищ, который славится в мире своими знатными людьми, отпрысками цадиков, каббалистами * и вообще достопочтенными людьми, нищими, которые шатаются по белу свету, каждый с родословным списком, ибо поскольку он является внуком своего дедушки, ему полагается хорошее денежное вспомоществование. Чем живут эти люди, трудно сказать. Если остановить местного жителя и спросить его, как и чем он пробавляется, он ответит: «Так вот, как видите». И ведь он думает, что этим уже все сказал.

Главное занятие стрищенцев — маклерство. Когда в местечко заявится чужой человек, он теряется сразу, приходит в недоумение от этой оравы маклеров: хлебный маклер, денежный маклер, маклер по продаже домов, маклер по найму прислуги, маклер по приисканию канторов. Почти все жители Стрища — маклеры. Здесь уйма синагогальных бездельников и куча всяких обществ: «Общество изучения талмуда», «Общество чтения псалтыри», «Общество бодрствующих ради ранней молитвы» и еще многое множество обществ. Здесь несколько синагог, ряд молелен, да еще в частные дома сходятся помолиться; одна баня, два кладбища, старое и новое, и уже подыскивают место для третьего.

Богачей здесь можно по пальцам перечесть и зовут их тут «стрищенские акцизники». Прозвище это,

надо полагать, осталось за ними с той поры, когда акциз был на откупе. Эти «братья акцизники» * славятся вовсе не щедростью, а только своими богатствами. «Богат, как Корей библейский, — говорят о них в Стрище. — Живет, как вельможа, но гроша из него не выколотишь. Господь, да славится имя его, одному дает все, другому ничего».

Все же, когда один из этих братьев акцизников помер, все позакрывали лавки, и город оплакивал Мойше-Волфа, как и подобает оплакивать городского богача. Умер Мойше-Волф бездетным, и все свое состояние завещал двум младшим братьям — Меер-Гершу и Пейсах-Лейбу. Порядочную сумму он оставил и своей третьей жене, молодой вдове, которую совсем недавно, года за два до смерти, привез из Бердичева. Вдовица, помимо того, еще при жизни мужа наскребла, как говорят, кругленькую сумму и собиралась теперь увезти с собой из Стрища около двухсот тысяч рублей, а уж в Бердичеве обзавестись молодым муженьком, не таким, как ее старец Мойше-Волф. Тут-то как раз и подвернулся Иоселе-соловей, и молодая вдовица, мадам Переле, до поры до времени осталась в местечке.

Ее называли в Стрище мадам Переле, потому что была она здесь почти единственной, которая носила барские наряды, выезжала в карете, держала в доме собаку и играла на фортепьяно.

Когда Мойше-Волф отсиживал траурную неделю по покойной жене, уже тогда в городке говорили, что на сей раз богач отхватит себе жену молодую, из нынешних. А почему бы и нет? Денег у него достаточно: значит, можно себе позволить что угодно. И город угадал. Переждав траурный месяц, Мойше-Волф отправился в одно место, — ну, понятно, в Бердичев, — и вскоре привез с собой «даму». Потому «даму», что с той поры как Стрищ есть Стрищ, здесь не видывали, чтобы женщина держала собаку и играла на фортепьяно.

Понятно, услышав первый раз ее игру, стрищенцы запрудили улицу, где жил Мойше-Волф. «Жен-

щина — и вдруг музыкант!» И полетели остроты насчет собаки и фортепьяно. Ее прозвали «Мадам Переле», или «Важная дама», и имя это так уж и осталось за ней.

Многие возлагали большие надежды на «даму» и уже шили себе вместительные карманы:

— Как же, такая дама! Разве пристало ей торговаться! Насчет благотворительности и сомневаться нечего! Так уж водится у этих господ.

Однако чуть погодя все убедились, что горько ошиблись в своих расчетах. Мадам Переле, выросшая в таком коммерческом городе, как Бердичев, торговалась хлеще любой стрищенской бабы; а подавать милостыню любила еще меньше, чем ее муж.

— Как же, надо обязательно уметь колотить на этом топчане! — язвили стрищенские женщины. — Надо быть такой вот аристократкой, чтобы при покупках довести человека до умопомрачения!

Или говорили еще так:

— Переле, дай вам бог здоровья, подарите нам хлебец! Пусть вам кажется, что вы бросили его вашему псу.

Еще когда Иоселе был в Макаровке, его пригласили в Стрищ на ближайшую субботу. Иоселе морщился, не хотел ехать в эту дыру, к беднякам и нищим. К тому же он рассчитывал из Макаровки заехать в Кашперов, а оттуда завернуть домой, в Мазеповку. Осточертели ему уже эти разъезды, вечное скитание, оторванность от дома. Он даже собирался черкнуть своим несколько слов (давно уж он не писал), но тут вошел Гедалья, — чтоб ему пропасть! — наболтал всякого вздору и уговорил, что лучше им сначала съездить в Стрищ на субботу, оттуда в Фляскодриговку, а уж потом в Мазеповку, так чтобы миновать Кашперов, оставив его в стороне. Потому что «Кашперов столь примечательное место для канторов, что пусть оно трижды сгорит до нашего приезда к чертовой матери!» Так посоветовал Гедалья, и так оно и сталось без лишних дискуссий.

Заявившись в Стрищ, Иоселе-соловей со своей братией отвалил такое служение в синагоге, что городок долго не мог прийти в себя. Заезжий дом, где остановился Иоселе, окружили со всех сторон, чтобы хоть издали взглянуть на мазеповского соловья. Среди этих зевак была и молодая вдова, мадам Переле, которая, послушав в синагоге Иоселе, пришла домой сама не своя, возбужденная, взволнованная.

— Хочу его увидеть поближе! — заявила она своим людям.

И вот в субботу после обеда она надела свое шелковое платье, навесила на себя жемчуг, алмазы, брильянты и в сопровождении горничной вышла погулять, а там сразу же направилась в сторону гостиницы, где остановился Иоселе со своей компанией.

Была летняя пора, окна в заезжем доме были раскрыты настежь. Опершись руками о подоконник, Иоселе стоял у окна и разглядывал город и его обитателей. Голову его прикрывала шитая золотом ермолка с серебряным ободком; длинные русые волосы были зачесаны назад и рассыпались по плечам; лицо было очень бело, большие, сверкающие карие глаза, окаймленные густыми, темными ресницами, улыбались. Подле него стояла компания певчих и отпускала шуточки по адресу города Стрища и его обитателей.

— Как тебе нравится этот «прыщ»? — спрашивали друг друга парни. — Городок этот — пережиток былого зловония.

— Что там за дамочка, увешанная брильянтами с головы до ног? — спросил вдруг Иоселе, разглядывая Переле и встретясь с ней взором.

Переле была весьма недурна собой — совсем еще молодая, пышная, белая, точно хорошо выпеченная булка. На ее алебастровой гладкой шее покоились большие жемчужины; на руках у Переле были запястья, браслеты, цепочки, на пальцах — кольца с брильянтами. И вся она, в шелке и бархате по последней бердичевской моде, выступала, точно пава. Пройдясь несколько раз под окнами гостиницы

и увидев Иоселе, она вернулась домой еще более расстроенной, почувствовала, что вся изнемогает.

Еще при жизни Мойше-Волфа она про себя решила, что, овдовев, возьмет себе в мужья молодого красавчика и обязательно блондина. А ведь вдовой ей когда-нибудь доведется быть, — Мойше-Волф и стар и немощен. Взял он ее только за красоту и сразу осчастливил — отписал сто тысяч, пообещав не обойти и в завещании после ста двадцати лет жизни. Переле была тогда еще совсем молода, любила наряды, как, впрочем, и другие бердичевские девушки, придерживалась моды и мечтала о богатом женихе. Конечно, Мойше-Волф был ей не по душе, но сто тысяч, экипаж, прекрасная обстановка и все прочее так вскружили ей голову, что она на все согласилась. С одним только она не могла примириться — с тем, что городок, где ей предстояло жить, называется Стрищ. «Подумайте только — Стрищ! Ну, и имечко! Тьфу — даже тошнит!» — размышляла Переле, беспрестанно терзая этим себя.

Однако Мойше-Волф сделал одолжение своей жене и сразу же после свадьбы слег, а там, похворав года два, отправился на тот свет, развязав таким образом ей руки. Все же Переле повела себя вполне благопристойно и соблюла еврейские законы. Она, к примеру, отсидела траурную неделю, переждала, как положено, месяц траура и лишь после этого вместе со своей горничной принялась укладывать вещи и собираться в дорогу. Конечно же к ней тотчас кинулись сваты со всех концов, предлагая замечательные партии. Но мадам Переле и видеть их не хотела. Ей бы поскорей выбраться отсюда, чтобы не знать этот чертов Стрищ. Она даже написала уже родителям, что на следующей неделе выезжает в Бердичев. А кончилось все это, как известно, тем, что она осталась в Стрище. Из-за кого? Из-за Иоселе-соловья.

— Что ты скажешь о Иоселе? — спросила Переле свою горничную, прохаживаясь мимо заезжего дома и поглядывая на окна.

— Что же тут сказать? — ответила Лейца. — Конечно, он прекрасен, как утренняя заря, совсем как тот Соломон из «романса» — высокого роста, красивого телосложения и к тому же белокур.

Горничная Лейца любила читать книжки того сорта, где на первой странице стоит: «Чрезвычайно занимательный роман. Перепечатка воспрещается». Романы эти Лейца читала Переле вслух, когда Мойше-Волф лежал прикованный к постели. Переле делала вид, что ее смешат все эти выдумки, на самом же деле она слушала их с большим удовольствием.

Переле привезла эту прислугу с собой из Бердичева. Вся работа Лейцы сводилась к тому, чтобы одевать мадам, сопровождать ее на прогулках, быть всегда подле нее. Лейце мадам поверяла все свои тайны, и обе они с одинаковым нетерпением ожидали, когда же, наконец, их хозяин перекинется, хотя высказывать это открыто стеснялись. Но они отлично понимали друг друга без слов и не чаяли, когда же, наконец, можно будет отправиться восвояси.

Лейца была некрасивая, рябая девица, но в Бердичеве у нее все же был женишок. Звали его Лейви-Мотл, и работал он по табачной части, или, попросту говоря, был папиросником. Для других Лейви-Мотл мог быть чем угодно — старым, рыжим, прыщавым холостяком, но в ее глазах это был «ангел небесный, высокий ростом, красивый телосложением». И поэтому она с ним «любилась» точно так же, как это описано в «романсах», которые она читала. Лейца любила своего жениха и была ему беспредельно предана. Она пересылала своему Лейви-Мотлу последний грош, не разрешала себе сшить лишнее платье, купить бурнус, заказать сапожки. «Надо отправить Лейви-Мотлу. Наверно, он нуждается в деньгах!» В благодарность за это Лейви-Мотл каждую неделю присылал ей по письму, и все они были похожи друг на друга, как близнецы, будто одна мать их родила.

«И кланяюсь тебе, — писал ей каждую неделю Лейви-Мотл, — и благодарю тебя моя дорогая невеста за твой подарок и я справил себе сапоги с калошами

и прошу тебя напиши как твое здоровье и жив ли еще твой хозяин а я слава богу здоров а работы не подворачивается а гильзы нынче дешевы а денег не зарабатываешь и вышли еще моя дорогая невеста на новый костюм а тот костюм уже совсем износился и напиши мне как твое здоровье и жив ли еще твой хозяин...»

Письмами этими Лейца страшно дорожила и берегла их как зеницу ока. Она тем только и жила, что могла доставить Лейви-Мотлу удовольствие, что он разгуливает в костюме, сапогах и калошах, купленных на ее деньги.

— Дура ты дура! — говорит ей Переле. — Глупая ты девица! Он, наверное, поставит тебе золотой памятник на могиле, женишок твой! Как думаешь?

Лейце нечего было возразить своей мадам. И все же она делала свое. Она считала минуты и секунды до того дня, когда, наконец, сможет вернуться в Бердичев и пойти под венец со своим Лейви-Мотлом. «Бог весть что она говорит, моя мадам! И чего только не взбредет ей в голову! Если б можно было вынуть сердце и показать ей, знала бы она тогда, как потешаться над такими вещами».

Пришло, однако, время, когда Переле заговорила совсем по-другому; пришло время, когда она узнала, что «любовь не подойник», как выражалась Лейца, и рукой от нее не отмахнешься.

Вернувшись с прогулки, Переле бросилась в кресло, затем подозвала горничную и велела пощупать у нее лоб.

— Мадам, у вас голова болит? — спросила Лейца. — Ах, горе мне!

— Голова, говоришь? Сердце, глупенькая, сердце болит! Не знаю, куда деваться, умираю, горю, жжет меня, а ты вон что говоришь!

— Что же такое с вами, мадам? Расскажите!

— Ах, Лейца! Не знаю, что и сказать. Плохо мне, пришел мой конец. Вот тут у меня горит, вот здесь, в груди. С той самой минуты, как услыхала я пение, а потом увидала его, я потеряла покой. Умираю!

Переле даже расплакалась. Лейца стояла, углубившись в свои думы, размышляла, как ей быть, что предпринять. Впрочем, никаких фокусов она не понимала и долго думать ей не пришлось. Рассудив все по-своему, она тут же брякнула:

— Ну, кого вам бояться, мадам? Вы ведь теперь, слава богу, совсем свободны и к тому же, не сглазить бы, богачка, дай бог мне того же! Послушайте меня, выходите за него замуж.

Переле даже подпрыгнула от восторга, затем со слезами на глазах рассмеялась:

— Глупая ты девица! Что значит, выходите за него замуж? Надо ведь и его спросить.

— Ну, и чего вы боитесь? Думаете, он не захочет? Как бы не так! Что вы безобразны или, упаси бог, бедны? А то, что вы вдова, так черт с ним! Верно говорю, многие женщины хотели бы оказаться на вашем месте. Или, может быть, грешно это — взять за себя молодого парня? Но этого и сумасшедший не скажет. Так в чем же дело? Нечего говорить, замечательную жизнь провели вы со своим мужем! Два с половиной года промаялись в этом паршивом Стрище! Зачем? Для чего? Великое счастье постигло вас! Прожить с больным мужем столько лет под одной крышей тоже чего-то стоит. Никто не знает, кому ботинок жмет. И поди расскажи кому-нибудь все это!

— Ах, Лейца, душа моя, сердце мое! — вскрикнула Переле и бросилась в ее объятья.

В большой реке водится всяких сортов рыба; в таком большом городе, как Бердичев, живут разного рода люди. Происхождения мадам Переле была не очень знатного. Отец ее, Меер Зайчик, был тем, что у нас называют «покупатель на все». Он покупал и продавал все, что попадалось под руку, но торговли своей сроду не имел. Продавали ли где-нибудь старый заводик, фабрику, дом на снос, поместье, черта, дьявола — он был тут как тут. Все готов был купить Меер Зайчик. Вывозил ли кто-либо старую карету, подержанную мебель и тому подобные вещи, — Меер Зайчик предлагал свои услуги, только бы ему немного заработать. У Зайчика в доме вы могли найти что вашей

душе угодно. Нужно железо? — пожалуйста, железо; нужна медь? — есть медь; пух? — берите пух. Одним словом, все там было. Капитала своего он никогда не имел — оборачивался чужими деньгами. Как водится у торговцев, иной раз возносился, другой раз падал в бездну. Но держал он себя всегда солидно, как человек при деньгах: брал ссуды, хватал у одного, отдавал другому — и жил себе. Детей своих он воспитывал в еврейском духе — никогда не помышлял дать им светское образование, обучать игре на фортепьяно и тому подобным штукам, как это нынче повелось в некоторых домах. «Моим дочкам, — говорил Меер, — нужно только приданое. К чему им все эти премудрости?» Но вот какой-то барин покидал город, и Меер Зайчик купил у него по случаю старое фортепьяно, дешево, совсем задаром. Покупателя на него долгое время не находилось, и оно стояло в доме, покрытое простыней, до тех пор пока Зайчику не пришла в голову идея: «Фортепьяно стоит. Переле растет, прекрасна как золото. Почему бы ей не научиться бренчать на нем? Мало ли что бывает? По нынешним временам благодаря игре можно подцепить хорошего женишка. Что скажешь, Малка?» Жена тоже согласилась с этим, и осталось лишь одно: найти учителя, который бы взял подешевле.

Помаленьку, полегоньку Переле начала учиться музыке и, представьте, выказала способности в этом деле, хотя вообще-то головка у нее была довольно тупая. Игра ее наделала в доме Меера целый переворот. «Там играют на фортепьяно!» — заговорили в городе. И по этому случаю Переле заняла в доме особое положение. В то время как младшие сестры выполняли всякие домашние работы, Переле сидела сложа руки или, приодевшись, уходила гулять, так вот, ни с того ни с сего, «посреди среды, под субботний вечер». В доме ей услужали, подносили все готовенькое. «Она играет на фортепьяно — шутка сказать!» Даже сами Меер и Малка с уважением стали относиться к своему дитяти. И Переле привыкла смотреть на них свысока, считала себя лучше всех в доме.

Перед чужими Зайчики (так называли их в городе) постоянно похвалялись своей дочкой.

— Сыграй нам немного, Переле, на фортепьяно! — просили они ее при людях, а когда она садилась за рояль, восхищенные, повторяли: — Наша Переле играет! Наша Переле!..

Попозже, однако, когда Переле подросла, игра эта, как говорится, вышла им боком. Разве можно ее сравнить с какой-нибудь другой девушкой! Ей нужно хорошо одеваться. Ей нужна шляпка, ей нужен зонтик, нужны перчатки и всякая другая чепуха, как подобает такой мамзели. Ну, а в театр ей ведь тоже надо ходить! Как можно, чтобы девушка, играющая на рояле, не посещала театр?! Но все это пустяки в сравнении с тем, что претерпели родители, когда пришло время выдавать ее замуж. Вот тут-то они узнали, почем фунт лиха. На жениха, которого они ей предлагали, Переле плевала с высокого дерева, а жениха, которого ей хотелось, они — ох, горюшко! — предоставить дочке не могли, ибо женихи, бывшие ей по нраву, обязательно заводили разговор насчет денег. Вот тогда-то Зайчики и поняли, каков у них бог! Дочка вела себя с ними совсем неприлично, не как барышня, которая играет на рояле, а как самая обычная бердичевская девка, бесстыдно орущая и на отца своего и на мать. Бог знает, что делали бы они со своей дочкой, если б не подвернулся жених из Стрища! Эдакая золотая, счастливая партия! Меер воздел обе руки к небу и молитвенно произнес: «Благословен господь, избавивший меня...» А после он наказал внукам и правнукам своим: фортепьяно в доме не держать!

Уехав из Стрища, счастливая дочь не оставила родителям ни гроша, а из своего нового обиталища Переле писала им хорошие, ласковые письма, но тоже ничем не помогла, не поддержала их ни на сколечко. Хоть бы глотком воды попотчевала! Очень неважно повела себя Переле по отношению к своим родителям.

Вот такого рода мадам была эта Переле.

XIX

Появляется новый персонаж — Берл-Айзик, и Иоселе катит в карете

Богачу во всем удача. Мало того что он богат и ему доступны все наслаждения мира, он к тому еще окружен толпой раболепствующих, готовых сделать для него что угодно, в надежде, что в свое время им за службу что-нибудь перепадет. Видя такую уйму низкопоклонствующих, богачи думают, что так оно от бога и положено, что они достойны всего этого, и начинают взирать на народ свысока, как господин на рабов.

Вот такого рода господа были и стрищенские богачи, «акцизники», как их там называли. Каждый из этой братии постоянно молился с одними и теми же людьми, имел своих «последователей», то есть попросту своих дворовых прислужников. Каждый из этих прислужников старался быть поближе к богачу, и если тот проявлял малейший признак расположения, «последователь» таял от раболепия, сгибался в три погибели, готов был для него спуститься хоть в преисподнюю.

Самым преданным, близким и к тому же бесплатным слугой Мойше-Волфа, царство ему небесное, был Берл-Айзик. Кто он, этот Берл-Айзик, и чем он занимался, сказать трудно, так как никакого дела у него по существу не было. Он постоянно терся возле Мойше-Волфа, вечно вертелся подле его дома и вот так добывал себе средства к жизни.

Он даже доводился каким-то родственником Мойше-Волфу, чуть ли не двоюродным братом, но когда Берл-Айзик заметил, что родство это богачу не по душе, он отбросил родство в сторону: «Какая мне разница! Пускай мы не в родстве. А все же он богач».

Ходил Берл-Айзик не спеша, смотрел в сторону, говорил чуть слышно и мало, чтобы не докучать, как некоторые, и всегда появлялся как раз в то время, когда в нем возникала необходимость. Поэтому-то он и был вхож в дом Мойше-Волфа больше, чем кто-либо другой. Если, случалось, его распекали, Берл-

Айзик спокойно все выслушивал, упрятывал брань поглубже в карман и — молчок. «Все богачи на один лад, — говорил он. — Приходит время, когда им хочется покричать, — ну, и надо дать им накричаться».

Когда Мойше-Волф лежал больной, Берл-Айзик ни на шаг не отходил от своего благодетеля. Как верный пес охранял его дом, наблюдал за всем, приглядывался, принюхивался к всякой мелочи, тихонечко и неспешно ступая обследовал каждый уголок. У него был тайный наказ от двух братьев Мойше-Волфа: как только, упаси бог, с Мойше-Волфом будет плохо, немедленно сообщить им, потому что брат их дряхл и болен, детей у него нет, а положиться на нее, на этого жеребчика в юбке, никак нельзя.

Берл-Айзик дело хорошо понимал, пальца в рот ему не клади. И он сотворил все, как полагается: Мойше-Волф только начал отходить, а оба брата уже были у него в доме. Разумеется, Берл-Айзик остался не в накладе. Все же, когда Мойше-Волф отправился на тот свет, Берл-Айзик рассудил так: богача не стало, значит, богачом жена стала. Чего тут не понимать? Во время траурной недели, а затем и траурного месяца Берл-Айзик ни на минуту не отходил от дома: а вдруг он кому-нибудь понадобится. Но на какого дьявола он сдался мадам Переле? Она терпеть не могла стрищенцев, и каждый из них был ей отвратен, как смерть.

И прислуга тоже ненавидела Берл-Айзика лютой ненавистью.

— Этот человек, — говорила Лейца, — со своим тихоньким говорком и косым взглядом вот где сидит у меня, — и показала на свою шею. — Видеть его не могу!

Берл-Айзик все это прекрасно понимал и изо всех сил старался понравиться Переле, угодить ей чем-нибудь. «Не сегодня, так завтра, — тешил он себя, — а придет такое время... Придет коза до воза».

И такое время пришло.

В тот субботний вечер, когда мадам открыла сердце своей прислуге, Лейца, как на зло, повстречалась с Берл-Айзиком. Повязав шею платком,

он разгуливал по двору и, как обычно в субботний вечер, мурлыкал что-то себе под нос.

— Когда же вы собираетесь ехать? — спросил Берл-Айзик, чуть-чуть скосив на нее глаз.

— Ехать? — ответила сердито Лейца. — По-вашему, так вот сели и поехали?

— А что такое? Еще не все уложено? — снова спросил он со сладенькой улыбкой, и все лицо его пошло морщинками.

— Какое там уложено? — фыркнула сердито Лейца. — Вот далось ему — ехать! Есть дела поважнее. Послушайте-ка, Берл-Айзик. Вы ведь, я знаю, порядочный болтун. Так вот, я хочу вас кое о чем спросить... Хочу кое-что рассказать... Только раньше поклянитесь женой и детьми, что это останется между нами.

Лицо Берл-Айзика, на котором только что была легкая усмешка, сразу стало серьезным. Лейца по кусочку, намеками рассказала ему всю историю и еще раз заставила поклясться, что даже птичка на ветке об этом не узнает. Берл-Айзик выслушал ее, подумал немного и, поглядывая своими косыми глазами по сторонам, заявил:

— Ладно. Сегодня вечером он будет здесь.

— Помните же, Берл-Айзик, вы поклялись женой и детьми, что все это будет втайне.

— Втайне, втайне! — успокоил ее Берл-Айзик и не спеша направился в заезжий двор, где остановился Иоселе-соловей со своей братией.

Разговор, который повели там Берл-Айзик и Гедалья-бас, был сугубо дипломатичный. Оба все время были настороже, прощупывали друг друга, клонились то в одну, то в другую сторону, как опытные борцы во время состязания. Так продолжалось до тех пор, пока они окончательно не договорились обо всем. А договорившись, они совместными усилиями выработали план действий.

Первым делом Гедалья позаботился о том, чтобы Иоселе познакомился с мадам Переле, не подозревая даже, для чего это делается.

— Просто так, — ответил он на вопрос Иоселе. — Есть здесь одна богачка — мадам Переле, она хотела бы с тобой познакомиться. Она знает всех великих канторов, очень любит пение и сама играет на фортепьяно. Тебя, что же, убудет, если ты к ней сходишь?

Иоселе послушался его. Вдвоем с Гедальей-басом они отправились к Переле. Перед ними предстали большие, светлые комнаты, нарядные и богато обставленные. Здесь были бархатные диваны, мягкие кресла, хрустальные с бронзою люстры, громадные зеркала, комнатные растения, разные картины в золоченых рамах. Иоселе видел все это первый раз в жизни, и у него даже голова закружилась.

— Если бы ты был умницей, — шепнул ему на ухо Гедалья, — все это могло бы стать твоим.

Иоселе удивленно глянул на Гедалью и сразу понял, что речь идет о сватовстве. В первую минуту он готов был повернуть оглобли и бежать. Ему казалось, он сквозь землю провалится со страха и стыда. «Беги отсюда, Иоселе! — шептал он себе. — Беги, пока ноги несут! Беги домой, беги куда глаза глядят, только скорей!» Но было уже поздно. Навстречу ему шла Переле, прекрасная, вся в золоте и драгоценностях. Глядя на эту даму, Иоселе невольно вспомнил свою Эстер, дорогую, милую Эстер, с которой он, бог даст, скоро свидится. Сравнивая их обеих, Иоселе внутренне смеялся: «Еще чего? Кто ж такое сделает? Променять Эстер вот на эту?! Ну и ну! Какое может быть сравнение!»

Переле подала ему руку, маленькую белую ручку, к тому же совершенно холодную, и он в тот же миг почувствовал, что ручка эта жжет его. Перед глазами у него пошел туман, в ушах зазвенело, голова как бы раскололась надвое, и он окончательно растерялся.

Чуть ли не впервые слышал Иоселе игру на рояле. Издали он, конечно, слыхал ее не однажды, но сидеть вблизи прекрасной женщины и видеть, как она маленькими белыми пальчиками извлекает из этого ящика мягкие, нежные звуки, из которых складываются такие дивные мелодии, — этого ему еще никогда не приходилось. Вся комната наполнилась

звуками, и Переле вдруг обрела особую прелесть. И тут же сразу все преобразилось в глазах Иоселе: комната стала палатой. Переле — принцессой: попал он сюда каким-то чудом. И вот он слышит божественные звуки, которые точно елеем смягчают его сердце, ласкают, наполняют всего живительной силой. И ему вдруг захотелось сопровождать эту игру, вплести и свой голос в эти звуки. Иоселе начал в такт подпевать, а затем залился своим сладким, нежным голосом так, что Переле перестала играть и заслушалась. Но Иоселе попросил ее продолжать. И вот она играет, а он поет, импровизирует, сыплет трелями, щелкает, как настоящий соловей.

Развалившийся в мягком кресле чуть поодаль Гедалья-бас давно уже не слыхал, чтобы Иоселе так пел, как в тот вечер у Переле. Сухая душонка, Гедалья, по-настоящему ценивший только деньги, и тот заслушался; он испытывал истинное наслаждение. Это не помешало ему, однако, сообразить, что во всех отношениях будет разумней, если он уберется в гостиницу, оставив Иоселе с вдовушкой наедине. Лейца почтительно поднесла ему на серебряном подносе стакан ароматного чаю, но Гедалья, буркнув, что ему нужно еще успеть в одно место, отказался от угощенья и незаметно исчез.

Только в полночь, уже собираясь уходить, Иоселе заметил, что Гедальи нет. Переле, Иоселе и Лейца разразились хохотом и тут же порешили разбудить кучера — пускай запрягает и везет Иоселе в гостиницу. Но будить кучера не пришлось — карета уже стояла у крыльца, а на пороге дремал Берл-Айзик. Лейца глянула в его настороженное, заспанное лицо и дружески сказала:

— Это вы, реб Берл-Айзик, позаботились о карете? Э, да вы совсем-таки...

— Ну, как думаешь, Лейца, он мой? — спросила у горничной совсем уже раздетая Переле и бросилась в постель.

— Еще бы! — ответила Лейца, укрывая мадам мягким атласным одеялом. — Конечно, ваш! Разве вы

не видели по его сверкающим глазам, что он совсем спекся?!

— Лейца, душа моя, сердце мое! — вскрикнула Переле и, обхватив служанку обеими руками, крепко-крепко прижала ее к груди.

А развалившийся в карете Иоселе-соловей катил в гостиницу. Он ощущал в себе какой-то новый живительный ток, и образ Переле неотступно витал перед его глазами. Он забыл обо всем на свете и мечтал лишь об одном — завтра снова отправиться туда, снова увидеть ее, услышать ее игру. И еще одно внезапно мелькнуло у него в голове: «Двести тысяч!», двести тысяч, о которых мельком обронил словцо Гедалья. Новая мысль завладела Иоселе, и ему представилось, что он въезжает в Мазеповку в карете, которую мчит четверка рысаков. Люди высыпали на улицу, стоят, изумляются. Отец выбегает навстречу: «Благословен вошедший... * Иоселе!» Иоселе выхватывает из кармана пачку ассигнаций и говорит отцу: «На, папа, десять тысяч... двадцать тысяч... Бросай петь! Пора уже, право!»

А Эстер? В ту минуту Иоселе вовсе забыл, что есть такая Эстер, которая ждет не дождется его. А когда уж Эстер пришла ему на ум, он поленился даже спросить себя: «Ну что тут особенного произошло?»

XX

Он попадает в сети, но замечает это слишком поздно

Иоселе куда трудней было переступить первый раз порог в доме Переле, нежели спустя некоторое время согласиться на помолвку и пойти с ней под венец. Гедалья-бас взял на себя все хлопоты — договорился с раввином, с кантором, со служками. Он всюду бегал сам, добывал что нужно и делал необходимые приготовления к свадьбе. Конечно, ему помогал и его компаньон Берл-Айзик.

Хорошая работенка выпала на долю Гедальи-баса: ему пришлось выдержать бой с двумя деверьями Переле, с этими акцизниками. Они стали стеной и заявили:

— Пускай льется кровь рекой, но мы не допустим у себя в Стрище эдакого позора. Пусть она отправляется в свой Бердичев и там вешается на шею кому угодно. А мы не дадим здесь надругаться над памятью брата. Еще место его не остыло. Это что ж такое? Что за распутство?!

Но и Гедалья не молчал. И хотя изъяснялся он по своему обыкновению намеками да экивоками, был в состоянии переговорить кого угодно. И он доказал им, что, во-первых, это для их брата, мир праху его, не позор, а честь. Потому что бог весть в какие руки может попасть по нынешним временам вдова с эдаким добром. А Иоселе все-таки благородного происхождения: в роду у него сплошные раввины. Еще сейчас в семье у него два раввина и три помощника раввина. Во-вторых, ему ни к чему ее деньги, он и сам, не сглазить бы, достаточно богат и дает деньги под проценты. Шутка сказать, какой это золотопряд! А рубль он бережет как зеницу ока. Уж не беспокойтесь, Гедалья знал, чем взять стрищенского богача. К тому же он разнюхал, что акцизники имеют какие-то претензии к вдове по поводу компанейского контракта с одним помещиком. Гедалья занялся этим делом и добился, чтобы она отказалась от контракта в их пользу: «Пропади они пропадом!» Переле морщилась, кривилась, но, увлеченная своей любовью, скрепя сердце отдала контракт. И на третий день после помолвки состоялась свадьба. А там все разъехались восвояси.

Гедалья рассчитался с певчей братией и отправился домой, увозя в кармане порядочную сумму денег, которой вполне хватит и на женитьбу дочери и еще себе останется про черный день. Ему повезло во всех отношениях. Последнее время Гедалья не раз замечал, что соловей стал пускать петуха, и, кажется, он скоро вовсе лишится голоса. Голос у него, как говорят, ломался, а до того времени, когда установится

настоящий голос, может пройти и год и два. «Отныне, — думал Гедалья, — пускай он хоть зверем воет, хоть белугой ревет, — я не стану плакать». Но попрощался он с Иоселе как с родным, пожелал ему состариться с «ней» в богатстве и чести и уж не петь у амвона до скончания века.

А Переле буквально повисла на своем молодом муже, не отпускала его от себя ни на шаг. Лейца, напевая, укладывала в дорогу вещи. Сердце ее трепетало от мысли, что через несколько дней она увидит своего Лейви-Мотла. Берл-Айзик помогал ей собираться — бегал, подавал, суетился, словно какой-нибудь близкий Переле. «За богачом, — говорил себе Берл-Айзик, — служба не пропадет. Я опять-таки твержу свое: «Придет коза до воза». Во всяком случае к богачу не доложишь». Но Берл-Айзик непоправимо ошибся. На прощанье Переле, как говорится, даже руку не позолотила ему. Смирненьким котеночком стоял Берл-Айзик, чуть пригнув голову набок, страдальчески улыбался и все помогал, услужал, желая каждому доброго пути, счастливой дороги. Но в груди у него бушевало адское пламя: «Ах ты чертова баба! Ах ты сучка! Господи, свернуть бы ей шею на ровном месте!»

— Доброго пути! Доброго пути! — проговорил в последний раз Берл-Айзик, приподнимая шапочку и низко кланяясь. Сам же он думал сейчас только о пачке ассигнаций — своей доли за сводничество, полученных от Гедальи-баса, которые грели ему грудь, ласкали его сердце, как что-то очень дорогое.

Итак, три наших героя — Переле, Иоселе и Лейца, радостные, веселые, в большом мягком экипаже, запряженном четверкой лошадей, катили из Стрища в Бердичев. Лейца всю дорогу притворно дремала, чтобы не видеть, как мадам виснет на шее у Иоселе, как они целуются, милуются, будто два голубка.

«Наконец-то дорвалась! — рассуждала Лейца о мадам. — Еще и травинки на могиле покойного не выросло, еще душа его не очистилась там от грехов, а она уже вцепилась в этого. И отыскала же, прости

господи! Не могла дождаться лучшего — повисла на канторе! Хи-хи. Был бы здесь мой Лейви-Мотл, уж он бы посмеялся. Эти богачи прямо-таки с жиру бесятся. А ведь моя мадам тоже хорошая штучка! «Душенька, любушка, сердечушко!» — сладкие речи, да только до кармана. Вот складывала я ее белье, — боже мой, мне бы хоть половину того! — имей же совесть, предложи пару чулок, рубашку или какую-нибудь старую юбку, скажи, хоть бы для приличия: «На, Лейца, возьми на память от меня!» Куда там! Другая на моем месте тоже дожидалась бы приглашения! Как бы не так! Обобрала бы до нитки, лоскуточка не оставила бы, не то, что я, глупая... Ладно! Что до меня — пускай она сгорит вместе со своим добром, со всеми своими тряпками. А мне пусть бог поможет приехать домой с миром и поскорей повенчаться».

Такие мысли проносились в голове у Лейцы в то время как любящая пара целовалась и миловалась, а лошади мчали экипаж мимо лесов и полей, мимо деревень и городков. Никто не замечал, как летит время. Каждый был занят своими думами, у каждого были свои радости, свои утехи. Переле еще никогда в жизни не была так счастлива как сейчас здесь, в карете рядом со своим героем, красавцем, ангелочком. Он принадлежал ей, только ей! От одной мысли, что Иоселе — персонаж, которого можно встретить только на страницах романа, что этот херувим принадлежит ей, — у нее кружилась голова, она пьянела и погружалась в сладкие, сладкие грезы.

Ну, а Иоселе-соловей?

Иоселе-соловей, придя в себя, готов был поклясться, что ничего, ровным счетом ничего не помнит из того, что с ним стряслось. Когда, где, каким образом женился он на мадам Переле, он не знает. Помнит только, как густой туман окутал его, в глазах сверкало золото, алмазы, брильянты, как мелькнуло несколько светлых, радостных дней в веселье и торжествах; как люди прислуживали ему, будто принцу, а сбоку сидела она, его принцесса. Она не оставляла

его ни на миг, все обнимала его, ласкала: «Иоселе! Иоселе! Жизнь моя! Душа моя! Сокровище мое! Ангел мой!» И еще много подобных слов слышал Иоселе.

У него кружится голова, он будто в чаду, оглушен, опьянен. Он в каком-то земном раю: благоухают цветы и травы, струится вино, сочится масло, цветет миндаль, щебечут птицы и праздно разгуливают люди. И поется ему так хорошо, так чудесно, что, кажется, пел бы не переставая. Переле играет на рояле, а он поет, и весь мир полонен звуками, зачарован песней. Всю жизнь, вечно пребывать бы в этом земном раю, в этом чудесном мире и петь, петь без конца.

Поездка из Стрища в Бердичев в мягком экипаже, в благоухании теплого летнего дня, бок о бок с Переле казалась ему каким-то сладким сном. Он даже не пытался отдать себе отчет в том, куда он едет и зачем. Ему лишь хотелось, чтобы сон этот длился долго-долго, чтобы ему не было конца. Однако сон в этом мире, где жизнь лишь миг, вечно не может длиться; он должен обязательно кончиться. Приходит время, и человек вынужден пробудиться, ничего не поделаешь. И Иоселе очнулся. А очнувшись, стал оглядываться по сторонам, припоминать, что с ним стряслось, как пьяница в похмелье: «Боже мой, куда я попал?»

Иоселе видит перед собой большой город, беспросветно унылый, грязный. Мужчины и женщины снуют взад и вперед. Он слышит выкрики извозчиков, говор лавочниц, перебранку уличных торговок. Огромные лужи издают такое зловоние, что приходится затыкать нос. Где это он? В Бердичеве. Экипаж остановился подле запакощенного четырехэтажного дома. Спустившись по грязным, липким ступеням, они темным коридором проходят в какую-то комнату. Перед Иоселе возникает длинный, сухощавый человек в шляпе и низенькая, толстая женщина в косынке. Длинный человек приветствует его и целуется с ним, а толстая женщина говорит ему «ты» и поздравляет. Затем они оба разглядывают его со сто-

роны. Это — его тесть и теща, которых Переле уже предупредила письмом, что везет домой «прекрасное наследство и еще более прекрасного муженька».

Радость, ликованье — дочь приехала! Слава богу, слава богу! Пусть всем дочерям сопутствует такая удача! Вскоре в дом явились друзья. Жениха и невесту поздравляют, и все смотрят, смотрят на Иоселе, глаз с него не сводят. А он оглядывается по сторонам, как малый ребенок, которого впервые привели в хедер. Дрожь пробегает у него по телу — все выглядит как-то непривычно, неприветливо. Он оборачивается к своей принцессе, но это не та Переле, какой она была в Стрище. Совсем другая женщина. Там она ему казалась восхитительной, в глазах ее был совсем иной блеск и говорила она с ним иным языком. Прежнюю Переле будто подменили — та Переле исчезла, явилась какая-то незнакомка.

А жизнь в Бердичеве! Нет, он непривычен к такой жизни, к таким разговорам, к таким делам. Все, все было ему здесь чуждо, и сам он казался себе чужым. Что он здесь делает? Какой дьявол занес его сюда? Какое ему дело до Меера Зайчика и его торговых махинаций? Какое отношение имеют к нему ссуды, которые дает Переле, все эти векселя, проценты и тому подобное (явившись домой, Переле тотчас занялась передачей своего капитала в надежные руки)? Его влечет в широкий вольный мир. Ах, боже мой! Разве такой представлялась ему жизнь, когда он женился на Переле? Разве думалось ему, что придется прозябать в какой-то каменной дыре среди совершенно чужих людей, света божьего не видеть, радости не знать?! Где уж там говорить о пении или музыке?!

Встанет он утром, выпьет кофе, глянет в окошко — мрак, запустенье, грязища, упаси господи! Выслушает долгий разговор о купле-продаже — опять проценты, снова деньги, еще раз торг! Пообедали — и Переле отправляется с мамашей по магазинам надувать торговцев — покупать по дешевке вещи. Иоселе ужасается, слушая, как Переле разговаривает с бердичевскими бабами на их жаргоне, — она божится, бранится, как настоящая уличная торговка. День и ночь

в доме крики, ругань, божба. Переле ссорится с сестрами, грызется напропалую, выслушивает сплетни и сама наговаривает. Отец и мать всегда принимают ее сторону — ведь богачка-то в семье она!

Чем дальше, тем больше отрезвляется Иоселе, и он все яснее видит, кто она такая, его жена. Наблюдая ее бесстыдные манеры, глядя, как она дрожит над копейкой, Иоселе думает про себя: «Неужели это та самая Переле, которая представлялась мне такой хорошей, милой, нежной?! А теперь!..» Он пробует снова говорить с ней насчет своих планов: поехать за границу, поступить учиться... петь... играть... Где там!

— Хочешь все-таки быть кантором? — говорит она и бросается ему на шею. — Зачем тебе это, глупенький? Вот погоди немного, размещу надежно деньги, и мы поедем с тобой на воды, на виноград, на курорт. Понимаешь, глупенький, туда ездят все богачи. А ты говоришь — петь учиться! Фу, душа моя! Забудь это, моя жизнь! Забудь! И давай я лучше поцелую твои брильянтовые глазки, твои белокурые волосы, ангелочек, герой ты мой!

С каждой минутой Иоселе становилось все ясней, что он такое натворил, — сам себя связал, опутал на веки вечные. Он еще мечется из стороны в сторону, как птица в клетке, но видит, что игра проиграна. Сладкие сны расползлись, как туман, золотые грезы развеяло, как дым, на смену им пришли иные, горькие думы. Нет сладостных звуков, нет волшебных картин, которые рисовались ему. Торжественный въезд в Мазеповку в богатой карете, изумление знакомых и друзей, мечты о счастье отца — все это померкло, ушло, пропало. Другие картины перед его глазами, и живет он совсем иной жизнью. Не благоухающий райский сад перед ним, а зловонное бердичевское болото; не дворец, как ему грезилось, а запакощенный дом и нечистые люди. Вместо сладкогласного пения, ему денно и нощно слышится карканье о векселях, процентах, доходах и расходах. Не прекрасная, чистая жена у него, а какая-то жирная женщина, которая вечно виснет на нем, беспре-

станно целует, не отпускает от себя ни на шаг. И все кругом так буднично, так убого! Опротивело ему все на свете, тошно жить. А за спиной у себя он то и дело слышит возгласы: «Это тот самый Иоселе, что взял богатую вдову!» И его тотчас будто кто уколет в сердце. Разглядывая свою Переле, он вспоминает об Эстер, и тогда в голову ему приходит, что он сотворил что-то очень гадкое — сам себе напакостил, плохо обошелся с Эстер, обидел отца. Он ходит сумрачный, обескураженный, понурый.

— Иоселе, душа моя, сердце мое, дорогой мой соловушка! — говорит Переле, оставшись с ним наедине и перебирая его прекрасные, длинные волосы. — Что с тобой? Чем ты озабочен? Ходишь задумчивый, грустный. Скажи, чего тебе недостает? Неужели я не заслужила, чтобы ты открыл мне всю правду? Я опротивела тебе, надоела? Тебе тяжко со мной? Опротивела? Скажи!

«Опротивела? — размышляет Иоселе. — Да, опротивела до смерти!» — но он крепится и говорит ей грубую ложь:

— Опротивела, говоришь? Боже сохрани! Как это можно!

Но все его помыслы, все его чувства далеко отсюда — они там, в Мазеповке.

XXI

Мазеповка судачит, а бедная Эстер горюет

Умные люди давно уж ломают голову, чтобы разгадать, каким это образом мазеповцы моментально узнают новости со всего света. Хотя газеты там совсем не в почете, это всем известно, но пускай где-нибудь в высших сферах заговорят о войне, и Мазеповка тотчас об этом проведает. Новый закон, еще до того как он издан, поступает сюда, и мазеповцы изучают его досконально, со всех сторон, толкуют его и так и эдак. У них редкий нюх, у этих мазеповцев, и

до многого они доходят чутьем, понимая, что по здравому разумению так оно должно быть.

Неизвестно, откуда дошел до Мазеповки слух, что Иоселе-соловей где-то там женился, взял сто тысяч приданого и теперь уже не кантор. Одни говорили, что какой-то богатей, услышав его пение, пригласил Иоселе к себе домой и отдал ему свою дочь в жены. Другие утверждали, что Иоселе женился на богатой вдове и ей пятьдесят лет. Некоторые сообщали совсем противоположное, что взял он не вдову, а разводку и при этом передавали любопытную историю. Как-то в субботу вечером Иоселе пригласили на трапезу к одному очень состоятельному человеку. Жена, вторая уже, из нынешних, ученая мадам, услышав, как Иоселе поет, влюбилась в него с первого взгляда и готова была бежать с ним хоть на край света. Узнав об этом, муж сказал ей: «Зачем тебе бежать и срамить меня? Даю развод, выходи за него замуж». Что же она придумала? Она оказалась совсем не дурой. «Дашь сто тысяч, — ответила она, — согласна, а не дашь — попомнишь меня». Одним словом, говорили они, разговаривали, вмешались люди, и супруги сошлись на восьмидесяти тысячах... Как бы там ни было, а наш Иоселе стал большим человеком. Но то, что он не шлет денег отцу, это вот нехорошо.

Когда слух о женитьбе Иоселе разнесся по городу, все в один голос заявили, что, в сущности, так оно и должно было быть. Здравый смысл подсказывает, что Иоселе должен был сделать блестящую партию. Каждый знал это заранее. И разве могло быть иначе?

— Вас надо поздравить? — обращались к Шмулику в синагоге. — Говорят, ваш Иоселе женился? Как? Вы ничего не знаете? Возможно ли? Ну да, ну да! Говорят, он очень счастлив — взял сто тысяч... двести тысяч... Но как же это? Оказывается, реб Шмулик, он вам ничего не пишет? Нынешние дети! Страдаешь, мучаешься, жертвуешь собой ради них, а они тебе камнями воздают. Ну и век! Ну и времена!

Услышав эти разговоры, Шмулик крепко пал духом. «Как же это? Чтобы Иоселе так поступил с род-

ным отцом?!» Ему и без того совестно было перед людьми, — ведь целый год он и строчки не получил от сына, не знал, что передумать. А тут еще вон какая новость! «Невероятно! Поразительно! Жениться, разбогатеть и забыть отца! Нет, не может этого быть!» Единственным спасением для Шмулика было — не верить. «Не может этого быть — и все тут!» Если бы не надежда, что Иоселе не сегодня-завтра вернется, Шмулик не выдержал бы. У него и без того было немало печалей: в последнее время, видно, из-за простуды, голос у него стал сдавать. Его львиный рык, который славился на весь мир, оказался с изъяном, звучал глухо. Шмулик сипел, как надтреснутый инструмент. Там, где он бывало поднимался до фальцета, рассыпался трелями, свободно играл своим вторым голосом, теперь слышался хрип недорезанного вола или кукареку неоперившегося петушка. Пение Шмулика было вымученным, деланным. Сколько он ни старался, взбираясь на верхи, ничего у него не выходило. Не те уж у него были силы. Конец голосу, не о чем больше говорить! Капут Шмулику! Это еще хуже, чем смерть. Спасало Шмулика только то, что он уже давно поет в этой синагоге.

Подтолкнуть падающего, отнять у несчастного последний кусок хлеба, лишить бедняка заработка, на это мазеповцы не способны, потому что в общем-то они мягкосердечные, сострадательные, к тому же и благочестивые люди. Сказать, однако, что они безгрешные праведники, тоже нельзя, потому что вели они себя со Шмуликом не очень-то тактично. По его адресу пускали всякие колкости, делали различные намеки, нарочито расспрашивали, как поживает Иоселе, корили Шмулика за его пение. Правда, слишком винить прихожан Холодной синагоги тоже нельзя, ведь они порядочно избалованы: с давних пор привыкли слушать хороших канторов, наслаждаться редкими голосами. Что же было им делать? Пение Шмулика было несносно. Да и для самого Шмулика его канторство стало му́кой. Но все же это не шло ни в какое сравнение с теми страданиями, какие ему приходилось переживать дома. С тех пор как в городе

пошли слухи о том, что Иоселе женился, благоверная Шмулика снова переменила свое мнение о пасынке, принялась донимать мужа своим язычком, бередила его раны.

— Нечего сказать, прекрасно обошелся с отцом! Очень даже благородно! Недаром говорят, из свиного хвоста не сошьешь ермолки. Твой Иоселе был шарлатаном, шарлатаном и остался. Теперь мне понятно, почему я его с малых лет невзлюбила. Ничего, у меня хороший нюх, сразу узнаю человека. Видать, уж от рождения был он черт знает чем. Не понимаю только, почему Злата кипятится, когда речь заходит о его покойной мамаше? Чего ради заявляет, что такой праведницы, как твоя Зелда, мир еще не видал? Да простит она мне, где она там есть...

Шмулик выслушивал все эти речи и проглатывал их, как горькую пилюлю. Гораздо больней было ему встречаться со своими добрыми друзьями — с Златой и Эстер. Что скажет он им, если они спросят о сыне? Однако он напрасно беспокоился. Злата снова поссорилась с его женой и к тому же была крепко занята своими собственными делами. У нее теперь было достаточно своих хлопот, своего горя: пришла пора подыскивать дочке жениха. Эстер — уже девушка на выданье, а средств никаких. По нынешним временам без приданого совсем не берут. Самый обыкновенный парень, замухрышка, и тот требует — выложи ему несколько сот рублей, да еще подарки подай! А Эстер все растет и растет, ей уже пошел двадцатый. Ну, хоть караул кричи! Правда, сейчас кое-что наклевывается, пусть и не ровня, но и то счастье — богатое место, будет как сыр в масле кататься. Но поди скрути все это одна-одинешенька, бедная вдова с крошками сиротами!

А что же Эстер? Как она себя чувствует, узнав, что Иоселе женился? Невозможно себе представить, как она была оскорблена, как страдало ее бедное, разбитое сердце. Ей всегда казалось, что она хорошо знает Иоселе, она верила ему, и все, что он говорил, было для нее свято. Неужели же он ее так бесстыдно обманул? Солгал, кругом солгал! Эстер казалось, что

Иоселе любит отца, уважает, как ни один сын на свете. Вот стоит он перед ней накануне отъезда, клянется, что отца ни за что не забудет, позаботится о его счастье. Еще звенят у нее в ушах его ласковые речи, она слышит его сладостное пение, в котором он излил перед ней свое сердце, и где, как ей чудилось, он обещал навеки остаться тем же Иоселе, каким был, не забывать близких и дорогих ему людей. И что же? Прошел почти год, а о нем ни слуху ни духу. И вдруг новость: Иоселе женился! Да еще как! Взял не то вдову, не то разводку. Польстился на деньги! Проделал все это втайне, прячась от всех! «Боже мой! Неужели Иоселе мог так поступить?!»

Эстер никому ничего не говорила. Как всегда, она была спокойна, уравновешенна, работала в лавке, заботилась о доме, — все как положено. Но что делалось у нее на душе — этого никто не знал, как никто не знал о тех сладких, золотых снах, в которых она пребывала целых два года с той поры, как Иоселе уехал. Можно сказать, все эти два года были для Эстер сплошным сладостным сном, где образ Иоселе не покидал ее ни на мгновенье. Где бы она ни была, что бы ни делала, везде с ней был Иоселе.

Не однажды Злата замечала, что дочь ее какая-то странная, не от мира сего.

— Что с тобой, Эстер? — спрашивала она. — Ты так рассеяна! Отмеряешь тринадцать аршин — считаешь за двенадцать. Галантерейщика Гедалья-Меера зовешь Меер-Гедалья. Все шиворот-навыворот.

Иногда, сидя подле лавки на скамеечке с какой-нибудь работой, Эстер начинала вдруг петь — сначала тихо, затем громче, громче, пробуя повторить какую-нибудь мелодию Иоселе и не замечая, что неподалеку мужчины. Частенько она в мечтах уносилась вслед за ним, была с ним, любовалась им, слушала его чудный голос, сладостное пение, точно так же, как тогда, в субботу днем, у Шмулика в доме. А порой ей чудилось, что вот сейчас к ним заявятся с доброй вестью, скажут: «Знаешь, Эстер, кто приехал? Иоселе, сынок Шмулика, Иоселе-соловей!»

Однако очень даже нередко в голову ей закрадывались дурные мысли. Надвинется туча, заслонит на мгновенье ясное солнце — и зашевелятся иного порядка думы: она затоскует и тяжело вздохнет из самой сердечной глубины. Но уйдет туча, засияет яркое солнце, и Эстер отгонит дурные мысли. Вновь явятся светлые грезы, вновь встрепенется сердце от счастья и радости, вновь всплывут те сладкие сны, придут золотые мечты, и она запоет, зальется, как Иоселе.

— Что с тобой, дочка? — перебьет ее Злата. — Я тебя спрашиваю, как это можно вот здесь, среди улицы петь? Да еще при чужих людях!

Тогда Эстер, точно пробудившись от сна, удивленно спросит:

— Петь? Кто поет?

Последний год, когда Иоселе перестал писать, Эстер, конечно, немало страдала. Однако она так верила в него, что и не допускала дурной мысли, даже оправдывала его про себя: «Человек вечно в разъездах, все время в скитаниях. Что же тут удивительного?» И она все ждала, надеялась. И вдруг это горе! К такому она и не готовилась. Весть эта точно громом сразила ее. Она точно очнулась от долгого забытья и увидела, что все ее счастье, вся ее радость — попросту сон, в котором она пребывала целых два года, лучшие два года своей жизни. Она внезапно увидала вокруг себя столько фальши и зла, узнала, как горька, мрачна, безобразна жизнь.

Но кто знал о ее муках? Кому до этого было дело? Кто в Мазеповке станет думать о какой-то бедной девушке, которая вот только что была самой счастливой на свете, витала в облаках и вдруг свалилась на землю!

Ночью, в тиши, у себя в постели Эстер хорошенько выплакалась; плакала она не раз, много раз; но слезы эти ничуть не облегчали ее сердце. Потому что, помимо этой беды, на нее свалилось еще новое злосчастье, какая-то божья кара пришла, костлявая смерть позарилась на ее молодые годы. И имя этой костлявой — почтенный местечковый богач Алтер Песин.

XXII

Алтер Песин — вдовец, и сват Калмен из кожи вон лезет

Алтер Песин — состоятельный человек. У него замечательно легкое и доходное дело — он ростовщик. Однако его не сравнишь с другими ростовщиками, которые в заботах света божьего не видят. Мазеповский процентщик вечно в тревоге, ночами не спит, все опасается, как бы тот или иной должник не зажулил его деньги. Со временем он превращается в мрачного меланхолика. Ему все чудится, что его хотят обжулить, обобрать, ограбить, еще при жизни наследовать. Ему сдается, что каждый точит на него нож. А что, если однажды все его должники обанкротятся? Тогда, не приведи господь, останется только надеть суму и пойти побираться! Такие мысли делают мазеповского ростовщика скрягой, готовым на смертоубийство из-за гроша. Он ходит оборванный, в рубище, отказывает себе в куске хлеба. Но Алтер не таков. Он хорошо знает мазеповцев и прекрасно понимает, что доход он будет иметь до конца дней своих. Хотя его имя треплют всюду и за глаза его обзывают пиявкой, людоедом, кровопийцей, но разговаривают с ним почтительно и называют не иначе как реб Алтер. Ничего не поделаешь, деньги-то у него, обращаться приходится не к кому-нибудь, а к нему.

Вот почему наш Алтер живет не тужит, много раз в день заглядывает в горшок, заботится, чтобы курица была вкусной, бульон жирным, лелеет свой животик и ограждает себя от всяких треволнений. Как червяк, который, забравшись в самое румяное яблоко, тихонько, незаметно для всех полеживает там и с достоинством сосет его сок, не желая знать, что делается по ту сторону кожуры, точно так и Алтер кормится в Мазеповке. Какое ему дело до того, что о нем говорят, что мелют языки? Чепуха все это! Было бы ему только тепло и уютно. Напротив, если вы станете его пробирать: «Право же, реб Алтер, вы

должны уступить! Много ли вам прибавится, если вы уж вырвете у меня этот полтинник? Разбогатеете от этого, что ли? Мало у вас и без того! Иль, может быть, жена и детки сидят у вас на горбу?» — он хладнокровно выслушает вас, ухмыльнется и так же хладнокровно ответит: «Верное слово, не могу». И после этого можете с ним толковать сколько угодно — ничего не поможет. Или попробуйте его заставить пожертвовать на три гроша больше, чем он обычно подает. Он ответит вам вежливо, учтиво: «Верьте, больше никому не подаю». И можете после этого не беспокоиться, — разговор окончен.

Вот каков Алтер!

Алтер Песин весьма прилично выглядит, хорошо одевается. Он уже в летах, крепко упитан, но благодаря своему здоровому виду, холеному лицу, крошечной бородке может сойти совсем еще за молодого мужчину. У него порядочное брюшко; люди говорят — на крови своих жертв отрастил. Небольшой его рот стянут, зашнурован, красные, жирные губы — вроде присосков у пиявки — готовы всегда впиться и сосать; щеки — румяные и вздуты, как две хороших пампушки. В общем-то Алтер весьма благообразен, только глаза у него больно нехороши: один большой, другой махонький. Как глянет он этим глазком, человека до самого нутра холодок проберет. Ходит Алтер медленно, говорит негромко, эдаким фальцетиком, и всегда улыбается. За собой он следит, любит чисто одеваться. Шелковая каскетка, люстриновый сюртук, все его одеяние выглядит новеньким, только с иголочки; сапоги блестят и играют на нем. Кажется, и пылинки на него не сядет.

Всегда свободный, всегда довольный, Алтер не знает никаких забот, никаких терзаний. После обеда он обычно спит некоторое время, затем отправляется на базар, просто так, потолкаться, поговорить с тем или другим, взять папироску. *Взять у другого что-нибудь* — для него самое большое удовольствие. И хотя он знает, что за глаза его за это называют свиньей, — это его мало трогает. «Не все ли равно!» — говорит он со смешком. Посетителей он прини-

мает наилучшим образом — радушно, любезно; усадит на самое почетное место, не скупится на ласковые речи. И все же его в Мазеповке не любят, терпеть не могут, несмотря на всю его сладость. Собственно, никаких претензий ему не предъявишь, — он и мухи на стене не тронет. И все же пуще смерти ненавистен он мазеповцам. Видать, крепко въелся он им в печенки. Может, вы думаете, он не знает этого или его коробит такое отношение? Нет, это его ничуть не трогает.

Вот каков Алтер!

Его зовут Алтер Песин по имени его матери Песи, мир праху ее. Это была женщина сноровистая и недурная собой, а в молодости, говорят, она даже была красавицей. Этими достоинствами она совсем затмила мужа своего, Хаим-Шаю, который все годы просидел в синагоге за священными книгами, служил, так сказать, богу. Дом вела Песя. Кормила ее корчма.

— Э, так себе... Не жалуюсь... — отвечала она на расспросы. — Кусок хлеба всегда есть.

И с этого «э» она сколотила порядочную сумму, можно сказать, значительную сумму, так что со временем возвела дом, купила две лавки, приобрела драгоценности; иногда, если ее крепко просили, давала и взаймы, особенно попам. С попами Песя больше всего любила дело иметь. «Отдам трех евреев за одного попа!» — заявляла она. В городе даже болтали, что... Впрочем, мало ли что в Мазеповке могут придумать! «Ну и ловкая же эта Песя!» — твердили многие, с завистью поглядывая на Хаим-Шаю. «Ну и замечательная у вас женушка, — говорили ему молодые люди в синагоге. — Трех мужчин стоит ваша благоверная».

Ничего им на это Хаим-Шая не отвечал, только поднимет, бывало, густые брови, глянет поверх очков, вздохнет и задумается, почесывая пальцем под талескотном, затем снова примется за фолиант. Так вот, сидя в молельне, Хаим-Шая и уснул однажды, уснул навеки. Никто не знал, отчего это он ни с того ни с сего умер. «Кажется, здоровый мужчина, крепыш, и вдруг — на тебе!» — «Что ж, наверное, конч-

лись его годы, царство ему небесное. Хороший был человек, честный», — говорили о нем в городе. И устроили ему такие похороны, какие многие пожелали бы себе через сто двадцать лет. «Да, хороший был, тихий такой, и большой учености человек». — «И жил он вроде отшельником». — «Отшельником или не отшельником, но благочестивым человеком он был безусловно, хотя и не очень острого ума, да простит мне покойник», — так толковали в городе после его кончины, а там и вовсе забыли о нем.

А Песя осталась по-прежнему при своем деле и при своих попах. И не грешно сказать, что было ей совсем неплохо. Никто никогда не замечал, что перед ним несчастная вдова. Она никому никогда не плакалась на свою долю, как это обычно водится в таких случаях. Песя справила траурную неделю, соблюла траурный месяц, как муж того заслужил, целый год носила черный передник, как положено, и осталась все той же Песей: занималась корчмой, попами и своим Алтером, дай ему бог здоровья. Песя была очень преданной матерью. Алтера она оберегала как зеницу ока. С малых лет и почти до самой свадьбы он держался, как говорят, за мамину юбку. И она выпестовала его на зависть всем мазеповским женщинам. «Ну и откормила она своего наследника, не сглазить бы!» Сыну отдавала она всю свою любовь.

— Единственное мое дитя, — говорила Песя. — И достался он мне нелегко. Больше семи лет после свадьбы у меня не было ребенка. Уж думалось — бесплодна я. Где только не побывала, пока дождалась этой благодати! И на Алтере опять все кончилось.

Песя не отпускала от себя Алтера ни на шаг. Десять раз на день приходила в хедер навестить свое дитя, и каждый раз приносила ему какое-нибудь лакомство или просто что-нибудь поесть. Товарищи завидовали Алтеру, слюну глотали глядя на него, мечтали о его доле. Бить или пороть Алтера учитель не смел ни в коем случае. Стоило кому-нибудь пальцем дотронуться до мальчика, как Песя готова была глаза выцарапать обидчику. Зимой в большие

морозы и летом в зной Песя не пускала сына из дому. «Никуда твое ученье не денется!» — говорила она. Алтер был несколько туповат, и прилежания за ним тоже не наблюдалось. Песя знала, что раввина из него не выйдет, и ничуть не волновалась из-за этого. «Ну и очень хорошо! Пускай не будет похож на своего отца», — говорила она и в шестнадцать лет забрала его из хедера, подержала года два подле себя и в добрый час оженила.

В жены Песя подыскала ему девушку деликатную, хрупкую. Была Песя любящей матерью, а тут стала еще и замечательной свекровью. Относилась она к Фейге, — так звали жену Алтера, — как к собственному дитяти, души в ней не чаяла, ходила за ней по пятам, глаз с нее не сводила. «Фейгеле-душенька, не хочешь ли этого? Не дать ли тебе того?» Очень хорошо жилось Фейге, и была она совершенно счастлива. Однако недолго длилось это счастье. Не бывает так, чтобы человеку было кругом хорошо. Бог покарал Фейгу и не дал ей детей. Алтер очень хотел ребенка, Песя не могла дождаться внука — утеху на старости лет.

И вот оба они омрачили Фейгину радостную жизнь. Началось все якобы с шутки, с красного словца, сказанного невзначай: «Да ведь ты бесплодная, что с тобой говорить!» А после Алтер начал дуться на жену, Песя стала уговаривать ее попробовать какое-нибудь средство, съездить куда-нибудь. Может, все-таки поможет!

— У меня самой, дочь моя, долгое время не было детей, — говорила Песя. — Увидела я, что дело плохо, и стала всякое делать. У кого только не побывала? У татарина, у цадика, у той знахарки, о которой я тебе говорила. А зелья сколько выпила за эти годы, боже мой! Что ж было делать? Оставаться вот такой? Чего стоит женщина, если она, с позволения сказать, не рожает детей? Дети есть — и муж любит, а упаси боже, нет детей — нос воротит, а то и вовсе плюнет.

С каждым днем Песя все больше ярилась, рвала и метала, всю кровь из Фейгеле выпила.

— Зачем она тебе нужна, эта тощая коза? — говорила она сыну. — Дай ей развод, и делу конец!

Фейга слышала все это, и ей было очень больно. Но горе свое она затаила глубоко в сердце. Фейга стала болеть, лечилась, пила травяные настои, принимала порошки да микстуры, пока не умерла.

Не суждено было Песе дождаться радости от своего сына. Алтеру предлагали много невест, партии все наклевывались и наклевывались, да так ничего и не выклевалось. Как-то не везло Алтеру с женитьбой, и он уже вдовствовал порядочное время. Уже Песя перебралась в лучший из миров, а Алтер все еще сиднем сидел. Сказать, однако, что это его очень огорчало, нельзя. Случись хорошая партия, он не отказался бы жениться, но гнаться за таким делом Алтер не намерен. Правда, сват Калмен не сидел сложа руки, действовал вовсю: он писал повсюду письма, толковал с людьми, одним словом, землю носом рыл.

Частенько Калмен забегал к Алтеру и вопил:

— До каких же это пор? До каких пор, реб Алтер, вы будете меня мучить? Должно же это когда-нибудь кончиться!

— Видать, тебе очень некогда, шут ты эдакий? — отвечал ему обычно, улыбаясь, Алтер.

— Дайте же мне пока хоть немного денег!

— Денег? Фу!

— На расходы, реб Алтер! На расходы!

— Да ну тебя! — отвечал Алтер и прекращал на этом разговор.

Вот каков этот Алтер Песин!

XXIII

У Алтера губа не дура, и тетя Ентл принимается за дело

Но все до поры до времени. Однажды произошло следующее: Алтер заперся с Калменом в той каморке, где у него стоит денежный сундук, — здесь он всегда разговаривал с людьми по секрету, — и долго

там с ним о чем-то толковал. Калмен вышел оттуда красный, шмыгал носом, качал головой и все приговаривал: «Чудесно! Чудесно!» Что он там еще бормотал, не разобрать было.

Раскинув полы своего длинного сюртука, он тотчас направился к Ентл, сестре Златы; там долго разговаривал с ней наедине, шмыгая носом и покашливая, как человек, который собирается с духом, чтобы сказать что-то очень важное. Ентл все время стояла посреди комнаты, подперев рукой подбородок, и слушала, как Калмен мелет языком, что-то недоговаривая по своему обыкновению. А когда он, наконец, выжал из себя все, что надо, Ентл хлопнула себя обеими руками по ляжкам и закричала до того сердито, что перепуганный Калмен отступил к двери.

— С ума вы сошли, спятили или вовсе рехнулись? — сыпанула Ентл. — Все дурные сны, которые снились мне этой ночью, прошлой ночью и прошлогодней зимой, пусть свалятся на головы моих недругов! Хороша парочка, нечего сказать! Я все думала — вы про Злату толкуете, а вы, оказывается, вон куда загнули! Недолго думано, да складно сказано! Видать, у вашего Алтера губа не дура! Ну, что за чепуха! С ума сойти можно! Такая молоденькая, цыпленочек можно сказать, кровь с молоком! Здорово свели — зиму с летом! Эдакую красотку — и такому дряхлому псу! Простите за выражение, старый хрен! Горькая редька!

— Редька, говоришь? Пусть будет редька, но сочная, жирная, упитанная. Денег там полный кошель. Ведь это счастье для твоей Златки, — пускай бог пошлет мне такой радостный год, как это правда! И смотри-ка, я стараюсь сделать ей добро, а она еще ерепенится! Не хочешь — как хочешь! Я предложил — твое дело подумать, твое дело.

— Полный кошель? — повторила Ентл уже спокойней. — Ну да, деньги уйдут, кошель останется. Я, как вы знаете, тоже радовалась когда-то золотому кошельку. Ну ладно, все это шито-крыто, забыто... Что же вы хотите, чтобы я поговорила с сестрой? Поговорю. Слово — не оплеуха. Только я, реб Калмен,

заранее знаю, дело это не пойдет. Эстер — совсем другого сорта девушка, не сравнить с мазеповскими девчонками.

— Ну что ж, нет так нет. Разве здесь кто-нибудь принуждает. Девушка — что полотенце, всяк может утереться. Ну, а кто такая твоя Эстер? Баба как баба. Грош ей цена, грош, говорю! Конечно, если ты постараешься, все будет ладно.

— Да, — произнесла Ентл, раскидывая умом и взвешивая сказанное по-всякому. — А как полагаете, за ним остановки не будет?

— Ты это об Алтере? — спросил Калмен, подступаясь к Ентл. — Странное дело, право. Тот умирает, бредит ею, а она спрашивает: не будет ли за ним остановки?

— Да не о том речь, — заметила Ентл. — Я насчет приданого говорю. Злата, между нами, не в состоянии даже сотняги выложить. С бедняги хватит и того, что приходится дочку замуж выдавать и не на что. Говорится ведь: легче поднять пьяницу, нежели бедняка.

— Что ты такое, Ентл, мелешь? Алтеру очень нужны Златины деньги! Как же! Некому, право, смеяться, некому.

— Ну, если так, — Ентл, раздумывая, закусила палец, — если так, то поглядим. Надо попробовать! Не мытьем, так катаньем.

— Попробуй! — промолвил Калмен, разводя руками и чуть пригнув голову. — Да-да, нет-нет. Но, конечно, если ты захочешь — дело пойдет, тут и говорить нечего. Тянуть тебя за язык не приходится. Надо только как следует взяться, и главное — не дать делу остыть... Всего хорошего!

— Всего! — ответила Ентл. — Я еще посоветуюсь со своим Бейнишем. Послушаем, что он скажет. Вдвоем оно крепче.

— И то верно, — согласился Калмен. — Хочешь с ним поговорить? Пожалуйста, делай как знаешь. Все-таки, как говорится, муж... Всего!

— Всего!.. Смотрите же, реб Калмен, не проговоритесь до времени Злате или моему Бейнишу, чтобы

не получилось, как это бывает, много пели да мало съели.

— Ладно, ладно, — ответил Калмен и вышел из дому весьма довольный.

Всю обратную дорогу он, не переставая, разговаривал сам с собой.

Последнее заявление Ентл насчет мужа было лишь дипломатическим ходом. Так ей полагалось сказать, что она переговорит с Бейнишем. На самом же деле она не смела даже намекнуть ему на это. Бейниш мог ей только помешать, а не помочь.

Бейниш был из того сорта людей, которых в Мазеповке называли просвещенцами. Родом он был из большого города Кашперова. Это вот чудо заморское и откопала Бася для своей младшей дочери. Во время жениховства Бейниш слыл редкостной жемчужиной, настоящим мудрецом. Однако, поженившись, он показал себя не с лучшей стороны: о своей раввинской учености он тотчас позабыл и принялся за светские книжки. Ладно еще об этом вовремя узнали и сразу дали ему по рукам. Бася тут хорошо поработала. Она требовала развода, и больше никаких. «Мне такой товар не нужен! — кричала она. — Я обманулась в своем предмете!» Бася вызвала из Кашперова родителей Бейниша, и вместе они трудились до тех пор, пока не поставили Бейниша на ноги, пока не сделали его человеком, похожим на всех мазеповцев. С той поры Бейниш стал купцом, оставил книжки в покое, даже в руки их не брал. На то у него и жена была бой-баба. Ентл муштровала мужа каждый божий день, чтобы он знал, что такое жена, и помнил, что ее нужно слушаться. Но в глубине души Бейниш остался все же просвещенцем, крепко любил таких людей и терпеть не мог мазеповцев всех подряд, особенно уважаемых всеми местных ростовщиков, которые расхаживали по базару с палочкой в руке; этих червяков, которые точат бедняка, высасывают последнюю каплю крови из ремесленника.

— Ах, как я их ненавижу! — говорил Бейниш. — Один бог только знает мою правду. Всех бы их вздер-

нул на одной веревке, а начал бы с этого пуза, с реб Алтера, провалиться ему!

— Да что он тебе сделал? Поглядите, как он расходился! — пробовала Ентл притушить его пыл. — Не будь таким свирепым, Бейниш! Будет время — самому придется прибегнуть к его помощи, посмотрим, что ты тогда запоешь. Как говорят, не забирайся высоко — упадешь.

Но ведь вот беда — Ентл угадала! Когда попозже Бейниш стал купцом, он вынужден был не однажды обращаться к Алтеру за ссудой и с этих пор стал ненавидеть его пуще прежнего. Теперь только при одном его имени Бейниш дрожал от бешенства. Ентл это очень нравилось, и она нарочито злила мужа. Особенно часто она стала говорить об Алтере и о его богатствах после визита Калмена, бросая при этом колкости в адрес своего супруга.

— И заметь, нажился он, не зная ни фолиантов, ни книжек! — говорила Ентл, давая этим понять, что она тоже кое-что смыслит.

— Прошу тебя, — кричал Бейниш, — не говори мне об этом злодее, об этом людоеде! Имени его не могу слышать!

— Но скажи по крайней мере, что он тебе сделал? — спрашивала Ентл, кривя рот. — Да, он богат, но какое кому дело до этого? Многие хотели бы так разбогатеть, но для этого надо иметь его ум. Проценты, глупенький, без дождя растут.

— Но ведь я прошу тебя, Ентл, не упоминай при мне этого проклятого имени! Сделай одолжение, не говори о нем!

— Погляди, как он расхорохорился? Расходился, будто озолотил меня! Ну, что тебе взбрело в голову? Стали толковать об Алтере, вот я и говорю, что он совсем не такой, каким его изображают. У каждого человека бывают враги. Есть такое словцо...

— К чему мне твое словцо? Скажи-ка лучше, Ентл, чего это ты вдруг так разговорилась об Алтере? Что-то здесь неладно. Нет, это неспроста.

— Вот тебе на! Это уж как говорят: коль у лука луковица, так у чеснока чесноковица. Немой не

наговорил бы столько за год, сколько ты за минуту.

— Нет, Ентл, я уж тебя знаю. Это неспроста.

— Знаешь, Бейниш, замолчи-ка лучше! Как говорят: меньше рассуждай — больше понимай! Отрастил бык длинный язык, а трубить не может. Так и с тобой. Если иной раз и можно было бы с тобой кашу сварить, так ты сейчас же выскакиваешь со своими мудрствованиями. Нашелся мудрец Бейниш! В умники не попал и из дураков не вышел! Уходи, уходи с глаз долой, чтобы я тебя больше не видела!

И ведь какая удача! Бейниш любит свою супругу как раз тогда, когда она распечет его на все корки, как следует изругает. Тогда он становится мягким, податливым, хоть мни его, хоть меси его, как тесто. И Ентл мяла его, делала с ним в эти минуты все, что ей вздумается.

— Вот что, Бейниш, — сказала она, — тебя просят лишь об одном: слушай, смотри и помалкивай! Потому что испортить дело может даже драная кошка.

XXIV

Ентл старается изо всех сил, и Алтер становится необычайно покладистым

Впутаться в чужое дело, высказать свое мнение там, где оно никого не интересует, дать совет, которого никто не просит, последить за своим ближним, заглянуть в чужой горшок — на это всяк охоч. Но вот впутаться в дело, когда речь идет о судьбе человеческой, помнить, что у кого-то есть сын, а у другого, наоборот, дочь, сосватать юношу с девушкой, наладить свадьбу — на это способны одни только мазеповцы; тут они, можно сказать, единственные в мире мастера. Каждый мазеповец — это сват, посредник по брачным делам. Боже упаси, не ради денег! Но если при этом что-нибудь перепадет, — пожалуйста, кто ж откажется от случайного заработка?! Многие, однако,

даже не помышляют о деньгах. Они займутся этим только, чтобы сделать благое дело. Увидят, к примеру, парня и девушку, вдовца и вдову, разведенного и разводку, и у них сразу возникает идея: «Да, это было бы ладно! Совсем равные браки!» И они тут же начинают действовать, разумеется, только ради блага ближнего: вдовцу они сватают девушку; парню предлагают разводку, а разведенному прочат в жены вдову. И в таких случаях здесь бросают все дела, забывают все на свете, из кожи лезут вон, только бы брак состоялся, как будто для них это жизненно важно или сулит большой заработок. Они не могут стерпеть, их буквально с души воротит при виде старого холостяка или девицы в летах.

— До каких же пор вы будете сидеть? — кричат они. — До седых волос?

Самое страшное в Мазеповке — засидеться в девках. С таким чадом стыдятся на люди показаться. Со старой девой мужчины держатся вольно, как с существом своего пола. Женщины глядят на нее так, точно перед ними перезрелый хрен, — всем он противен и от него отворачивают носы. Все эту девушку жалеют, и выдать ее замуж считается богоспасительным делом.

— Ты можешь, конечно, Злата, сердиться, но от правды никуда не уйдешь. Как говорится — за правду бьют. Я — старшая сестра и обязана высказать тебе все, что у меня на душе. Твоя Эстер, конечно, славная, хорошая, честная девушка, тут не о чем говорить. Не заботиться бы мне так о заработках, как тебе нечего заботиться о ее замужестве. И все же, не забывай, что молоденькой ее уже назвать нельзя. У тебя в ее годы было двое или трое деток. Дай бог мне такую хорошую жизнь, как хорошо отзываются о ней в городе. Но когда я слышу, как вслед твоей дочери шепчут: «Вон она идет, старая дева!» — у меня начинает колоть под седьмым ребром, — ты ведь понимаешь. Как говорится: это меня вовсе не трогает, только прожигает насквозь.

Так мужским баском наставляла Злату старшая ее сестра Брайна, торговка бусами, толстая, дород-

ная женщина, с корявым лицом и черными усами на верхней губе. В городе ее считали большой умницей, честной, добродетельной и покровительницей бедноты, для которой она частенько становилась «ходатаем», то есть попросту брала платок и еще с какой-нибудь женщиной обходила дома, собирая милостыню для неимущих рожениц, для бесприданниц, на хлеб для нищих и тому подобное. Нельзя сказать, чтобы ее в городе сильно любили, потому что она достаточно надоела всем своими частыми сборами. «Вон она идет, старостиха с платком», — говорили, увидев ее издали. Муж ее, Мойше-Авром Зализняк, знал лишь свое скобяное дело. А Брайна, выросшая в доме у своей предприимчивой матери, Баси-оптовщицы, тоже не могла сидеть сложа руки, — промышляла на свои деньги продажей бус. Муж не особенно рад был ее предприятию, так как все ее заработки полностью уходили на нищих, бедных рожениц и неимущих невест, которых она усиленно выдавала замуж. Но что поделаешь? Дочери Баси не выносили, чтобы мужья вмешивались в их дела, давали им советы.

Для Златы мнение Брайны было всегда очень веским.

— Что же мне делать, несчастной вдове с крошками сиротами? — спросила Злата. — Что предприму я, если жених не находится? Силой ничего не поделаешь, коль счастье нейдет. Ты ведь понимаешь, что мне и больно и горько смотреть на свою Эстер.

Расчувствовавшись, Злата даже всплакнула, а Брайна изо всех сил принялась утешать ее. Она говорила теперь совсем противоположное: что Эстер не такая уж старуха, чтобы убиваться о ее судьбе, что еще придет ее пора, и суженый явится, сам найдет этот дом, это замечательное место, потому что в городе, нечего обманываться, не так уж много таких девушек, как Эстер. А господь, если захочет, может крепко помочь. «Ты еще, бог даст, дождешься от нее немало радостей».

Не так, однако, повела себя Ентл, младшая сестра Златы. Она взялась за дело рьяно, совсем по-иному. Ентл могла отдаться этому вся, целиком и полностью,

потому что у нее всегда было достаточно свободного времени, — ведь она домовничала и не мчалась каждый день на базар, подобно Брайне или Злате. Младшая дочь, поскребыш так сказать, она росла у матери, когда та уже по старости лет не могла уделять ей столько времени, сколько она уделяла старшим дочерям, выводя их в люди. К тому же Ентл всегда была с ленцой, любила судачить на чужих крылечках и вмешиваться в чужие дрязги, особенно если речь шла о сватовстве, о семейных делах, о братьях и сестрах, — сюда уж она обязательно совала свой нос. Бросит словцо, заварит кашу, а когда все как следует вцепятся друг другу в волосы, станет в сторонку и стоит смирнехонько, как агнец невинный. Понятно, что там, где ее знали, а знали ее повсюду как злую фурию, Ентл боялись пуще огня. Если две женщины разговаривали на базаре и появлялась Ентл, они тотчас умолкали: «Тише! Вон она идет, нечистая сила, «шито-крыто, забыто». Даже своих сестер она, бывало, так стравливала, что те годами потом не разговаривали друг с дружкой. Ентл обладала необыкновенным даром: что бы она ни рассказывала, ей верили. Талант ее скрывался в языке, в жестах, в выражении глаз. Времени у нее хватало, дети у нее не водились, дела вел Бейниш (он занимался хлеботорговлей), а двери домов всегда были для нее открыты, — как-никак все же она дочь Баси-оптовщицы.

Умом бог Ентл не обидел, — Калмен знал, кого выбирать себе в помощники. Ентл принялась за дело так ловко, так искусно, что Злата, которая тоже была не из тех, что идут десяток за грош, не замечала здесь никакого подвоха. Тем более что, разговаривая об Алтере, Ентл то и дело проходилась на его счет, высмеивала его, издевалась над его манерами.

— Тоже мне жизнь! — бросила она мимоходом. — Живет один в четырех стенах. Ест, пьет и считает деньги. Богат, черт его побери, как Корей. Чего ему недостает? Разве только головной боли! Будь он хоть немного моложе, ему сосватали бы какую-нибудь девушку, пускай бесприданницу.

— Нашла человека! — ответила Злата. — Тот за деньги самого себя продаст. А она говорит...

— Ох, и крепко ты ошибаешься, Злата. Калмен поклялся мне такой клятвой, что и псу поверишь, будто он подыскивает для Алтера невесту из бедного сословия, была бы она только из порядочной семьи. Пускай без приданого, была бы сама хороша. Тогда жених еще сам доплатит. Скажу по правде, если б господь не покарал меня бесплодием и дал бы дочь, я бы долго не раздумывала. Черт с ним! Пускай он свинтус, лишь бы дитя было пристроено. Э, слушай, Злата, зови меня дурочкой, только пряниками корми.

Такие разговоры Ентл вела со своей сестрой довольно часто, но всегда так ловко касалась Алтера, что та и заподозрить не могла ее намерений.

Однажды Злата как-то обронила:

— Как думаешь, Ентл, пошла бы за него моя Эстер?

— Да что ты? Совсем сдурела! — вскрикнула Ентл. — Что такое? Твоя Эстер какой-нибудь урод, что ее нужно поскорей с рук сбыть?! Да ну тебя, лишь бы языком молоть!

— Нет, не говори, Ентл! Один бог знает, как я страдаю. Думаешь, мне приятно слушать, что говорят...

— Что ж такое про тебя говорят, хотела бы я знать? — спросила Ентл, прикинувшись дурочкой.

— Чего тебе еще надо? Достаточно, что говорят про Эстер, м-м-м, мол, она в летах...

— М-м-м, мало что говорят... М-м-м, мало что болтают... Что ты все ме-е да ме-е! Мекает коза! Пускай они говорят о своей кончине и о своей погибели! Пусть лучше поглядят на себя, и тогда у них не будет голова болеть о других. Нет, скажу тебе правду, терпеть не могу, когда вмешиваются в чужие дела, готова растерзать всех, кто так говорит. Какое им дело до того, что Эстер еще не невеста? Почему это их волнует? Почему не трогает меня, что дочка Леи-Ципойры утрамбована годами, как мешок половой? Почему не тревожит меня, что от девки Минцы уже попахивает могильной травкой? Почему я помал-

киваю о трех дочках рыжего Бенци, которым давно уже минул призывной возраст, между тем даже сумасшедшему не взбредет в голову взглянуть на них? Почему я не бегаю по городу и не кричу о невестке Малки-Гени, которая ни с того ни с сего сняла с головы парик? Если муж ее заработал много денег, так, думаешь, он со временем не прогорит? Еще как! А дочка Голды, торговки монистами, разве не целовалась на прошлой неделе с приказчиком под стойкой? Не могу я, прямо сама не своя, меня в дрожь бросает, когда слышу, как злословят, как оговаривают ближнего, замечают дурное только в другом, и никак не в себе.

Ентл до того разволновалась, что ушла, забыв якобы зачем приходила.

Через несколько дней она снова появилась у Златы в лавке и подсела к ней на скамейку подле двери с рукодельем в руках.

— Послушай, Злата! — сказала она. — Я дома поразмыслила, а потом и с Бейнишем потолковала о том самом, о чем ты обмолвилась прошлый раз. Оказывается, не такая уж это кривда, как я думала. Говорят ведь: запряг криво, да поехал прямо. Как-никак все утверждают, что он несметно богат. Денег полно, а детей нет...

— Что ж, у него никогда их и не было? — спросила в раздумье Злата, почесывая спицей под платком.

— Какой черт! — ответила Ентл, отложив работу в сторону. — Хотя да, что-то у него там было. Жена, знаешь, какая у него была холера. Разве не помнишь Фейгу. Испокон веков зеленая, черт знает какая, — да простит она мне! — вечно лечилась, бегала по докторам. Раза два у нее были выкидыши, а потом не рожала до самой кончины.

— Я как-то намекнула Эстер, — со вздохом сказала Злата, — а она молчит. Кто ее знает, чего она молчит? Нынешние дети! Поди узнай, что у них на душе! Но все же Эстер у меня девушка толковая, понимает что к чему и никогда мне не перечит.

— Ну, а тот и в самом деле не прочь ее взять? — как бы невзначай спросила Ентл.

— Спрашиваешь, не прочь ли? Странный вопрос, право. Тот умирает по ней. Уже несколько раз засылал ко мне Калмена и сам не однажды заглядывал в лавку, когда там была Эстер. А ты спрашиваешь, хочет ли! Да он готов озолотить ее.

— Вот как! — сказала Ентл, точно и впрямь ничего не знала. Она сразу же оставила беседу и принялась заговаривать сестре зубы всякой всячиной — гусками, вареньем, удачной халой к субботе и тому подобными вещами.

Злата никогда прямо не заговаривала с Эстер о замужестве, о браке, но эта тема сама собой частенько приходила им на язык. Самым большим удовольствием для Златы было урвать несколько грошей из своего бюджета и купить что-нибудь дочери в приданое. В сундуке у Златы давно уже лежали: полдюжины женских сорочек с замечательными кружевами и тонкими прошвами по последней моде, вышитые наволочки, два пикейных одеяла, мотки ниток для чулок и тому подобные вещи. Сундук был для Златы вроде казначейства или банка, куда она по мелочи, понемногу откладывала всякое добро для дочери.

— Для кого ты это копишь? — спросила однажды Ентл, увидев, как Злата возится у сундука.

— Для кого коплю? — ответила с досадой Злата. — Что ж тут непонятного. Конечно, для второго мужа стараюсь.

— Недолго думано, да складно сказано, — ответила Ентл по своему обыкновению красным словцом. — Пускай мне достанется то, чего я тебе желаю. Ну, что особенного? Вижу, укладываешь — вот и спросила, для кого это. За слово пощечиной не казнят. Ну, ладно, пускай на этот раз будет по-твоему.

— Ты прекрасно знаешь, — чего тут прикидываться, — что все это я готовлю в приданое Эстер, к свадьбе, дай бог поскорей ее дождаться. Пора уж!

Эстер, которая сидела тут же, отвернулась к окну, чтобы никто не видел, как щеки ее залились густым румянцем.

Как-то зимним вечером Злата сидела на лежанке, склонившись над решетом с перьями, а сбоку на скамейке пристроилась Эстер; дочь шила ситцевые талескотны для Эфраима и Менаши. Злата и Эстер обо всем уже переговорили, и теперь каждая делала свое дело. Ни в доме, ни за окном не слышно было ни шороха, ни звука, только старый серый кот на печке временами всхрапывал во сне. Внезапно Злата испустила громкий протяжный вздох, похожий скорее на икоту: «Ох-ох-ох-ох-охо!»

— Что с тобой, мама? — испуганно спросила Эстер.

— Как что со мной? — переспросила Злата.

— Почему ты так тяжко вздохнула? — повторила Эстер вопрос и отложила работу.

— Отчего вздохнула? — ответила Злата. — Вздыхается, вот я и вздохнула. Было бы хорошо на душе, не вздыхала бы. Не от радости это, сама понимаешь. Как осмотришься кругом, разворошишь то да се — в голову поневоле полезут всякие мысли. Тужишь, думаешь, как устроить эту свою бренную жизнь.

— Чего же тужить? — мягко сказала Эстер. — Сама видишь, бог ведет нас своей стезей, как и всех других людей. Скоро вот начнутся Красные торги[1], надо думать, заработаем немного денег.

— Ну вот, деньги-шменьги! Есть заботы поважнее. Как подумаешь о детях... Растут, надо их пристраивать, а я все еще собираюсь. Взять хоть бы тебя. Ну, что мне с того, спрашивается, что Калмена из дому не вытолкаешь? Приданого-то у меня нету. А без приданого кто же возьмет? Зовемся хозяевами, вот он и думает, что у нас хоть пруд пруди, вот и лезет. Поди расскажи, что у тебя на душе! А время не ждет, с каждым днем тебе все больше лет. Ох, не дожить мне лучше до того, чтобы о моем ребенке говорили — до седых кос досиделась!

В этот момент отворилась дверь, и в комнату ввалились раскрасневшиеся от мороза Эфраим и Ме-

---

[1] **Красные торги** — базарные дни, когда в местечко из деревень наезжали крестьяне. *(Прим. Шолом-Алейхема.)*

наше. На них были кошачьи тулупчики, круглые гарусные шапочки, а в руках бумажные фонарики.

— Добрый вечер,— произнесли они в один голос, подпрыгивая и сбрасывая с себя тулупчики.

— Кушать! Кушать! — тотчас закричал Менаше и потянул Эстер за юбку.

— Тише, тише! Сейчас даю, — сказала Эстер, поднимаясь, и поставила перед детьми их ужин — суп гороховый с клецками.

Эфраим старше Менаше всего лишь на год, однако он казался намного взрослей и степенней своего брата. Бледный, худощавый, с двумя длинными, жидкими пейсами, он выглядел как истый знаток торы. «Он, царство ему небесное, весь он, долгие ему годы!» — говорила о сыне Злата, видя в нем своего покойного Лейви. Менаше — маленький, полный, озорной, лакомка и болтун, готов был всюду совать свой нос; не мальчик, а вьюн, огонь. Он был рад ездить верхом даже на козе, перевернуть все кверху дном, но учиться — дудки!

— Мама, мама! Знаешь? — крикнул Менаше, глотая слова вместе с клецками. — Знаешь, мама? Эфраим уже сам читает талмуд! Учитель задал ему приготовить кусок на четверг. А Пиня, сын Меер-Пини, вон уже какой, а не смыслит ни тютельки. Ну и всыпали ему — сколько влезло! Его счастье, что к учителю зашел реб Калмен насчет сватовства. Учитель сватает кого-то, вот Калмен и ходит к нему изо дня в день. Они просиживают часа по три, а мы тем временем хохочем вовсю. Так вот Пиня, сын Меер-Пини спасся от лупцовки. А талмуд он знает столько же, сколько серый волк.

— Ну, а ты знаешь талмуд? — спросила Эстер, скрестив руки на груди и с удовольствием наблюдая, как ребята уплетают свой ужин после целого дня занятий в тесном хедере при трехгрошовой свече.

А Злата, та и вовсе растаяла, наблюдая своих «брильянтовых» детей. Сердце ее наполнилось благодарностью к предвечному за его милости, которые он оказывает ей, несчастной, горемычной вдове.

И вдруг радость ее омрачилась. Эфраим, до сих пор сидевший молча, внезапно произнес:

— Мама, учитель просил деньги.

— Угу, мама, — подхватил Менаше. — Учитель и жена его очень просили деньги. Они должны уплатить за квартиру, за дрова и еще на базар им нужно. Берл, сын Мойше-Авремла, принес вчера только два рубля, — ну и «угостил» же его учитель! А Пине, сыну Меер-Пини, он раз десять наказал, чтобы без денег он и на порог не являлся. Учитель и его жена очень просили, чтобы ты прислала плату за учение.

«Опять плата за учение! — подумала Злата, и у нее екнуло в груди. — Ему уж, верно, следует рублей пятнадцать. Как же не послать хотя бы десятку?! А тут идут Красные торги. Только заполучишь копейку, сразу пускаешь в оборот. Лавку-то ведь надо подновлять, пятью пальцами немного наторгуешь. И все же платить за учение надо!» На лице у Златы появилась досада. Легла она спать совсем убитая, будто голову ей сняли с плеч.

Всю ночь Эстер слышала, как мать ворочается, стонет, вздыхает, и в голове у нее мелькали тысячи планов, как спасти мать от нужды. Разумеется, в первую очередь ей на ум пришел Иоселе. С ним она уж обязательно придумает что-нибудь. Да и вообще, если она выйдет замуж, матери сразу станет легче. Оба они будут трудиться, сделают так, чтобы и Злата и Шмулик были довольны ими. Но светлые грезы быстро улетучились. Налетели мрачные думы, задели черным крылом.

«Ну, а если ничего не выйдет? Если не суждено мне счастья на земле? Тогда пойду служить, чтобы маме стало легче. Поеду куда-нибудь и там наймусь. Все говорят, что я справилась бы с любой работой в магазине и при другом деле не оплошала бы». Потом эта затея самой Эстер показалась дикой. «Как это такая вот девушка поедет одна куда-то служить? Пустой разговор! Но что же делать? Выйти замуж? — от этой мысли ее бросало и в холод и жар. — Как же это она выйдет замуж не за Иоселе?!»

Утром, уже собираясь в лавку и звякая ключами, Злата излила свою досаду на несчастных детей, которые ни на шаг не отступали от нее и все кричали: «Мама, денег! Мама, денег!» Злата изругала их на все корки, а Менаше она даже влепила две оплеухи, чтобы не дерзил матери, не был бы шалопаем. «Погонялы! Наемщики!» — кричала она на своих детей, которые вчера еще были «брильянтовыми», и с тяжелым сердцем сунула им деньги для учителя, дала завтрак и вытурила вон, в хедер.

Эстер это было тяжело, но она вполне добросердечно сказала:

— Не понимаю. Если ты уж дала деньги, к чему нужно было ни за что ни про что терзать детей?

Тут Злата не совладала с собой и выпалила все разом. Она и сама знала, что дети здесь ни при чем. Но на сердце у нее и без того было тяжело, Ентл и Калмен ни на день не оставляли ее в покое, вот она и накинулась на дочь. Будь что будет, но нарыв должен прорваться! Ничего не поделаешь!

— Выслушай меня, дорогая доченька, милостивица моя! Ты заступаешься за детей? Тебе их жалко? Почему же не пожалеешь ты своей матери, горемычной вдовы, у которой трое детей да к тому же вот такая взрослая девица, слава тебе господи, которую давно пора под венец вести, а матери ее на старости лет испытать хоть каплю радости в жизни? Жалеешь их? Почему же ты меня не пожалеешь? Может, у меня сохнут мозги оттого, что я все раздумываю, как пристроить тебя, как обеспечить тебе хорошую жизнь, не дать засидеться в девках до пришествия мессии, чтобы люди не тыкали в меня пальцами. Отца твоего величали Лейви, сын реб Авремеле из Славуты. Но, признаюсь, я совсем не уверена, что по этому случаю мне поставят золотое кресло в раю. Пока я знаю лишь одно — страдаю, мучаюсь, надрываюсь, — всем врагам мою участь! — а в случае чего знатное происхождение только поперек горла становится. А в чем дело? Вот ходит следом вдовец, очень порядочный человек. Чего ему недостает? Чем он плохой для меня

зять? Богат, дай бог всякому, порядочен, ни детей, никакой обузы на шее. Сватается, хочет замуж взять, сохнет по ней, а она тут выскакивает со своей жалостью! Ах, какая жалость — жемчуг, видите ли для нее не густо в ожерелье нанизан! Слыхали вы эдакое?!

Злата еще долго шумела, чесала языком, распекая Эстер. А та, конечно, и слова не вымолвила в ответ. Только две ниточки слез потянулись по ее прекрасным щекам и медленно-медленно покатились вниз.

Злата отдала бы неведомо что, только бы не было того проклятого утра, когда она изругала ни в чем не повинную Эстер. Несколько недель подряд она потом заискивала перед дочерью, все заглядывала ей в глаза, стараясь загладить память о том проклятом утре. Не раз Злата вставала среди ночи с постели и, подойдя к сладко спящей Эстер, долго стояла над ней, как над малым дитятей, стояла и шептала про себя:

— Пускай все твои горести падут на меня, душа моя, звездочка моя, зеница ока моего!

А Эстер уже давно забыла о неприятности, которую преподнесла ей мать в то противное утро. Да она и привыкла уже к таким утрам. Кроме того, голова у Эстер, как говорилось выше, была занята другими сокровенными думами, а сердце полнилось иными страданиями. Что это за вдовец, кто этот приличный, честный человек, на которого намекала мать, она узнала у тети Ентл. Но Злата с дочкой об Алтере до времени не разговаривала, держала это про себя. Наконец наступило снова такое же «проклятое утро». Злата была сильно возбуждена и выпалила как из пушки; выложила Эстер все, что накопилось на сердце, уже без всякой дипломатии, совершенно открыто. Эстер это было более по душе, чем всякие там намеки. И вот так понемногу девушка начала свыкаться с мыслью, что ей придется идти за Алтера.

Злата долгое время боролась с собой. «Как это я стану спрашивать дочку? — говорила она себе. — Кто я, мать или не мать? Если я сказала, то так оно и должно быть! Не ей мне указывать! Она ведь не

дочка аптекаря, которая шатается с парнями по улицам и может сказать: того хочу, этого не хочу! Нет, она, слава богу, не из таких. Она — внучка Авремеле из Славуты». А с другой стороны: «Почему бы не спросить ее? Может, ей все же Алтер не по душе? Как-никак — вдовец и в летах! Не велико дело повести девушку к венцу, но к чему заживо хоронить дитя, губить ни за что ни про что, да еще такую милую, преданную дочь, долгие годы ей?» А чуть позже Злата снова начинала рассуждать по-иному: «Да чего с ней разговаривать, с ребенком! Ведь это ей на благо! Счастье, и только! Он богат, бездетен. Чего ей там будет недоставать? А у меня до чего она досидится? Как же, велико приданое, которое я ей смогу дать?! Белье, которое я ей справлю к свадьбе?! Кто ее по нынешним временам возьмет, бедную сироту? К тому же девушка в летах!» А тут еще Алтер Песин стал необычайно ласков, мягкосердечен.

Такую отзывчивость и доброту, какую Алтер начал вдруг проявлять к галантерейщице Злате, он еще никогда ни к кому не проявлял. Можно сказать, он сам навязывался ей с деньгами. «Жаль несчастную вдову», — сказал он как-то на людях. Это передали Злате, и она пришла в умиление от доброты Алтера. Разумеется, Злата не пойдет к нему домой просить деньги, Эстер подавно не пошлет. Вдовец все-таки, неловко. Но встретившись с ним как-то на улице, она остановилась и излила перед ним душу.

— Вон как! — Алтер сердечно посмотрел на нее. — А я и не знал, что ты так стеснена в деньгах. Почему бы тебе иной раз не обратиться ко мне? С твоим Лейви, мир праху его, мы были большими друзьями. Ай-яй-яй, как же ты так! Ну, а что поделывают твои детки? У тебя их, кажется, трое?

— Трое, дай им бог здоровья, — ответила Злата. — Только радости от них пока маловато.

— Радости? — переспросил Алтер, дружески улыбаясь. — Больно ты спешишь. Иль, может быть, страдаешь оттого, что не находится жених для дочки? Чего-чего, а этого добра хватит. Говорят, у тебя замечательная девица?

— Грех жаловаться. Однако надо кое-что иметь в придачу к девице. Я говорю насчет звонких. Понимаете? Где их взять?

— Э, — протянул Алтер, — тоже мне забота!.. Ну, на всякий случай, Злата... В будущем, если тебе очень понадобятся деньги, присылай ко мне. Что ни говори, а мы все-таки старые друзья. Будь здорова!

С той поры Алтер частенько стал оказывать Злате всяческие услуги. То просто так даст ей деньги взаймы, когда у нее нужда, то возьмет небольшой процент, по совести, как у своего человека. Эти услуги, однако, вскоре вышли ей боком. Тут-то Злата узнала, что такое услуга мазеповского ростовщика.

XXV

Эстер — гость у себя на помолвке

Бывает, заберется в дом нечистая сила, не к ночи будь сказано, или черт знает откуда взявшийся чужак, и пропал покой в семье, — все злятся, все шипят, все дуются друг на друга, хоть и сами не знают, за что и про что. Вот такой нечистый забрался в дом к галантерейщице Злате, и имя было ему Алтер Песин, ни дна ему, ни покрышки! К незажившим ранам, которые нанес Эстер Иоселе, прибавился целый ад терзаний, имя которому Алтер. Куда бы она ни ткнулась, куда бы ни повернулась, она всюду слышала: Алтер, Алтер и Алтер!

Однако ей было во много раз легче слышать в открытую от матери, что она желает этот брак с Алтером, нежели колкости и намеки от посторонних людей; легче было выслушивать долгие речи Златы насчет свадьбы, устройства своего будущего; разговоры о том, что пора ей стать хозяйкой в своем доме, взять мужа с деньгами — пить, есть, красиво одеваться, рожать мужу детей, жить в свое удовольствие, жить не так, как живет она, Злата, сноха Авремеле из Славуты, вынужденная надрываться как ишак, целую

неделю ходить в упряжке, хотя дети все равно не имеют того, что полагается иметь детям.

— Э, дочь моя! — каждый раз со вздохом заканчивала Злата разговор. — Дай бог, чтобы ты была счастливее меня. Не будем гнаться за знатностью, как моя мамаша, которой обязательно хотелось, чтобы я стала снохою реб Авремеле.

— Лучше лот золота, чем пуд знатности, — поддерживала мать тетя Ентл, которая всегда была тут как тут.

Однажды утром Эстер осталась одна в доме, возилась по хозяйству. Злата ушла в лавку, а дети были в хедере. Внезапно на пороге появилась Ентл.

— Доброе утро, дорогая Эстер.

— Добрый день. Так рано, тетенька? Садитесь!

— Спасибо. Я сегодня уже вдоволь насиделась, да и немало набегалась. Даже охрипла от разговоров. И все с ней, все с ней.

— С кем же это, тетенька?

— С кем, спрашиваешь? С твоей маменькой. Ты не знаешь ее? И все из-за тебя!

— Из-за меня?

— Из-за кого же мне еще с ней ругаться, как не из-за тебя? Разве вообще-то я ругаюсь со своей сестрой? Нет, я это на самом деле говорю. Ведь печенка может лопнуть, когда видишь эдакое! У тебя одна дочь, и не такая уж она злосчастная. Чего ж ты мечешься и вопишь: «Замуж! Немедленно замуж!» Ну, ладно, отдавай замуж, но за ровню! К чему тебе искать легкой удачи, упрямиться: «Хочу, чтобы моя дочь была обязательно богачкой?» Ну, что ты с ней поделаешь! «Не могу я больше, — говорит она. — Дела так плохи, что не только приданого, но даже рубахи я ей не могу справить. Дитя растет, годы уходят. Нет, больше не могу...» Ну, что это такое? Говорить с тобой она не может, но очень хочет этого брака. И почему бы ей не хотеть? Не будем обманывать себя. Во-первых, это и впрямь для тебя большое счастье. А, во-вторых, ведь говорят: около жирного горшка ходить, тощим не быть. Она спрашивает у меня, Злата: что я думаю на этот счет? А я знаю, что мне думать?

С Эстер, говорю, нечего спешить, найдется охотник. «Где же он? — кричит она. — Где этот охотник? Подай мне его сюда!» — «Не торопись, отвечаю, Злата, он сам явится». — «Ну да, отвечает, без денег, без одежды, без ничего возьмет, разутую, раздетую, нищую и к тому же на выданье! Еще бы, ведь она знатного рода, внучка реб Авремеле! Шутка сказать!» — «Ну, говорю, если ему уж так хочется, — об Алтере говорю, — пускай чуточку подождет, над ним ведь не каплет». — «Нет, отвечает, он и так уже немало ждал. Кого попало он не возьмет». А тебя только потому, что ты есть — ты, он вроде согласен взять как есть и озолотить — тебя, маму, всех, всех, до внуков и правнуков. «Я и гроша не дам за все эти посулы, говорю. Разве не бывает так, что дочь живет в роскоши, а отец и мать голодают, как им и положено?! Ого, дай бог столько счастья!» А она указывает мне на Блюминых детей. Они, мол, содержат свою мать, горемычную вдову. «Но где же, спрашиваю, ты найдешь еще таких детей?!» — «Эстер, — отвечает она мне, — такая дочь, что жизнь отдаст за родных». Ты, — говорит она, — ради матери в огонь и в воду пойдешь. Все несчастье, говорит, в том, что она не может толковать с тобой о таких делах. «Ну, это уж глупости, отвечаю. Чего тут стыдиться? Кто еще ближе, чем собственное дитя? Ладно, пускай...»

Тут как раз в комнату вошла Злата, а немного погодя заявился и Калмен. Втроем — Ентл, Злата и Калмен — они очень долго о чем-то разговаривали, убеждали друг друга, приводили всяческие примеры, сыпали пословицами, поговорками. В конце концов Злата расплакалась.

— Чем так жить, лучше уйти туда, куда до времени ушел мой Лейви. Говорю вам истинную правду — завидую ему, что не приходится ему видеть горе, какое обступило меня со всех сторон.

— Не греши, сестрица, — заметила Ентл. — Скажи слава богу, что у тебя такие дети. Они понимают что к чему, желают и себе и тебе добра и не перечат, как некоторые нынешние.

Что тут оставалось делать Эстер? Рассказать матери, что она дожидалась Иоселе, а он ее обманул? Но на что это будет похоже? Разве приличествует девушке такое говорить? Может, указать на недостатки Алтера? Но кто она такая, чтобы затевать с матерью спор о браке? Она и рот не посмеет раскрыть, чтобы вести разговоры о таких вещах? Ну, не Алтер, так будет какой-нибудь другой черт. О ее тяжкой доле ей нечего рассказывать, она сама прекрасно знает, что такое бедная невеста, а монастырей, как известно, у евреев нет. Но больше всего ее тронули мамины слезы, которых она никогда не могла переносить. И она отдалась целиком в руки тех, кто во что бы то ни стало хотел устроить ее жизнь, осчастливить ее, чтобы она помнила их веки вечные. Покорная, как овечка, она дала связать себя, разрешила делать с собой все, что им вздумается, не проронила ни звука, не сказала ни слова — все честь по чести, чинно, благородно.

А тут и Алтер показал себя перед родней с лучшей стороны — все расходы по помолвке он взял на себя. Алтер стал вдруг так мягкосердечен, так добр, так кроток!

— Хоть прикладывай его заместо пластыря к болячке! — говорила, бегая взад и вперед, страшно довольная, раскрасневшаяся Ентл, как будто она здесь сотворила невесть какое благое дело.

Злата разглядывала подарки, которые Алтер доставил невесте еще до обручения, много раз перебирала их, оценивала вместе с Брайной, Ентл и другими знатоками жемчуга и золота. Никогда еще Алтер не был так сговорчив; его покладистость превзошла все ожидания: свадьбу он взял на себя, наряды невесте — на себя, все расходы — на себя.

— Ну и повезло Злате, не сглазить бы! — говорили в городе и открыто завидовали ей.

Любой мазеповец желал бы себе такое счастье, такую удачу, какая выпала на долю Златы и ее дочери.

— Вы еще сомневаетесь, счастье ли это? — толковали мазеповцы. — Не каждый день бывает такое

чудо. Взять девушку, как есть, одеть ее с ног до головы и ввести в дом хозяйкой! Вот это счастье! Это удача!

— Ох, и счастье! Ох, и удача!

На обручение к Злате пришла вся родня и просто добрые знакомые — мужчины, женщины. Писать брачный контракт взялся Шмулик. У Златы сердце оборвалось, когда она увидела, как горе состарило Шмулика за это время. У нее сил не хватило подойти и расспросить его о сыне. К тому же она была занята гостями.

Женщины затараторили так, как это бывает только, когда их соберется сразу много, и особенно на таком торжестве. Они говорили без умолку, каждая рассказывала свое, и все же каждая знала, о чем идет речь и на чем она остановилась. Мужчины, конечно, посмеивались над женским полом: «Глядите, ну, прямо так гусыни!» Но и сами они неплохо мололи языками, курили, выпивали, при этом желали Злате, Алтеру и всему народу и счастья и удачи, — все это со вздохом и с воздетыми к потолку глазами.

Шмулик поднял рюмку и, обращаясь к Злате, начал произносить какую-то здравицу: «Пусть бог пошлет...» И вдруг осекся. Из самой глубины у него внезапно вырвалось тяжелое: «Ох!» Злата хорошо поняла его, ответила «аминь» и поскорей отошла к другим, которые сидели с полными рюмками и ожидали, когда она подойдет и ответит согласно обычаю каждому на его пожелание. Лишь один Калмен сам по себе шагал по комнате, заложив руки за спину, и как человек, занятый серьезными делами, морщил лоб, качал головой и по своему обыкновению разговаривал сам с собой. Калмен никогда не отказывался от рюмочки, наоборот, «горькая капля» была ему всегда по душе. Но человек разумный должен знать, когда можно и когда не следует пить. На все свое время. На свадьбе — пожалуйста! Там реб Калмен разрешает себе напиться всласть и паясничать в свое удовольствие, ломать комедию. Но сейчас, во время обручения, когда предстоят переговоры и с той и с другой стороной насчет денег, когда нужно хоро-

шенько подпоясаться, чтобы побольше выторговать себе за сватовство, тут необходимо быть в здравом уме и при полном рассудке. Гости, конечно, могут наклюкаться, сколько влезет, но у Калмена должна быть чистая голова и ясный ум, ему надо полностью отдавать себе отчет в том, что делается вокруг.

Суета в доме была так велика, что невесту вовсе не замечали. А Эстер сидела в укромном уголке в окружении пяти взрослых дочерей Брайны, не блиставших красотой, но вполне созревших для того, чтобы идти под венец. Все они говорили наперебой, визжали, гримасничали, смеялись, видимо, для того чтобы развлечь невесту. Но, увы, невесту трудно было развлечь. Эстер была страшно рассеянна, и глаза ее смотрели куда-то вдаль. По ее взгляду можно было догадаться, что она почти ничего не слышит, ничего не видит перед собой. Как будто сидела она здесь не как невеста, а как гостья на чужом пиру, как совершенно посторонний человек.

Злата поднесла ей жемчуг, купленный женихом, показала и другие его подарки: дорогое ожерелье, не менее дорогую брошь, золотые часики с цепочкой, чудесные брильянтовые серьги, два замечательных браслета и прекрасные кольца, правда, не новые, видать из заклада, но хорошие кольца. Эстер вместе со всеми разглядывала подарки Алтера, как совершенно посторонний человек, будто все это ее вовсе не касается и не к ней относится. Она смотрела на драгоценности отсутствующим взглядом, еще не понимая до конца, какой смысл приобретают они в ее девичьей жизни; не понимая, что она уже больше чем наполовину находится по ту сторону девичества; что она вот-вот выйдет из-под опеки матери и поступит в распоряжение властелина-мужа; что наступает конец ее грезам, тем золотым, счастливым грезам, в которые она погружена еще и по сию пору.

Надо правду сказать — хотя весь город и говорил о том, что Иоселе женился, Эстер не верила этому или хотела себя убедить, что это неправда, ложь, выдумки, одна из многих мазеповских сплетен. Ей все еще казалось, что вот-вот откроется дверь и на

пороге появится Иоселе, тот самый Иоселе, каким он был когда-то, и тогда уж она никого не станет стесняться. Она сама расскажет матери, что они уже давно жених и невеста, что обо всем у них давно договорено. Отдавшись этим думам, Эстер вместе со всеми разглядывала подарки, которые ей преподнес жених. А Злата, стоя сбоку и посматривая на свою дочь, радостно шептала: «Слава тебе господи! Кажется, девочка довольна. Пошли ей бог счастливой жизни, много радости и утех в жизни!»

Меж тем Эстер чувствовала себя у себя на обручении совершенно чужим человеком, будто все происходящее здесь ее вовсе не касается. Только когда разбили тарелку и горшок, у нее будто сердце оборвалось. Подарки вывалились из рук, до нее дошел наконец смысл этого грохота; она поняла, что с этой минуты наступил конец ее вольной жизни, конец ее счастливым, милым, сладким снам, что она вступает в иной мир и ожидает ее теперь новая доля.

XXVI

Здесь приводится история дочери Иевфая Гилеадского

Помните, что рассказывается в библии о дочери Иевфая Гилеадского?

И дал Иевфай обет господу, — так написано там. — И сказал: «Если ты отдашь в мои руки, боже праведный, врагов моих, сынов Аммона, то обещаю по возвращении домой с миром первого вышедшего навстречу мне подарить тебе и вознести сие на все сожжение!» Так оно и было. Иевфай разбил сынов Аммона, победил их в этой войне. А в родном городе, ликуя, навстречу ему с песнями вышла единственная его дочь: «Отец мой возвратился! Отец родимый!» Увидел ее Иевфай, и горько стало ему. Разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня! Ты сделала меня несчастным! Я дал обет гос-

поду принести в жертву первого, кто выйдет мне навстречу. Что же мне делать, дочь моя?» — «Если ты так обещал, родимый, — ответила дочь, — то должен свое слово сдержать пред богом, который сокрушил врагов твоих. Лишь об одном молю я, дорогой отец, — отпусти меня на два месяца, я пойду — взойду на горы и там с подругами оплачу юные годы мои». И отец отпустил ее на два месяца, дабы она взошла на горы и там с подругами оплакала свои юные годы. А когда истекли два месяца, она вернулась к отцу своему, и Иевфай поступил с ней согласно своему обету. И с той поры вошло в обычай у евреев: девушки ежегодно уходят в горы скорбеть и оплакивать несчастную дочь Иевфая Гилеадского.

Тот обычай давно забыт, у еврейских девушек нашлись иные обычаи. Речь идет здесь о девичниках — «Предсвадебном» и «Жениховом пире», которые справляют в Мазеповке накануне свадьбы у невесты в доме; здесь она прощается со своими подружками, танцует с ними в последний раз. Предсвадебный девичник устраивают в последнюю субботу перед венцом. Девушки поют и танцуют кадрили, лансье, шеры и польки; они играют песни, пляшут, щелкают орешки и развлекают невесту. Невеста прощается со своими девичьими годами, с подружками, — ведь она вот-вот станет женщиной и уже будет вращаться в ином кругу. То же самое происходит в день свадьбы, и опять-таки в доме невесты. Девушки считают богоугодным делом прийти потанцевать с невестой в последний раз. Женщины стоят в сторонке и прихлопывают танцующим в ладоши. Вот эти обычаи строго соблюдают в Мазеповке с давних пор. Понятно, на свадьбе у Эстер их тоже соблюли до самых мелочей.

Эстер танцевала свой последний девичий танец, и мазеповские девушки досыта не могли наглядеться на ее прекрасное лицо, хотя невеста и была бледна как смерть. Но это не существенно, невесте полагается быть бледной. Во-первых, это ей к лицу, во-вторых, у нее действительно есть о чем горевать. Кто этого не знает!

В последний раз тетя Брайна завила ее прекрасные черные волосы, просвещая одновременно насчет свадебных дел, подготовляя понемногу к обязанностям замужней женщины. Эти завитые волосы придали красивому лицу девушки такую прелесть, что Брайна не удержалась и поцеловала ее в лоб.

— Право, грех покрывать такую светлую головку, такое ясное чело. Но не горюй, Эстер, тебе повезло, ты попала в хороший дом. Ведь о положении твоей мамы нечего тебе рассказывать, ты знаешь его лучше меня. Любая мать мечтает о том, чтобы ее ребенок был счастлив. Немало нагорюется она, глаза на лоб полезут, пока, наконец, она поведет свое дитя к венцу. Бог даст, будешь матерью, сама испытаешь это. А твоя мать, поверь, вполне заслужила, чтобы ей при твоей помощи стало чуть легче жить, чтобы она, наконец, развязала себе руки... Лучше ходить за груженым возом, чем за порожним. У богачей, Эстер, всегда родятся маленькие богатеи.

Еще много хороших слов наговорила тетя Брайна невесте, убирая ее волосы и подготовляя ко второму девичнику. После того как Эстер протанцевала свой последний девичий танец, тетя Брайна поднесла невесте свой молитвенник и указала, какие молитвы ей нужно прочитать и какие можно пропустить.

— Во время покаянной молитвы, дочь моя, поплачь! — говорила тетя Брайна. — Если невеста в это время поплачет, она вымолит у бога хорошую жизнь с мужем и славных детей. Сегодня у тебя, дочь моя, день суда, как бывает, к примеру, у нас у всех Судный день. Надо плакать перед богом, чтобы он смилостивился, начертал тебе счастливую долю и простил все прегрешения.

Эстер стала на предвечернюю молитву и молилась горячо, усердно, горько-горько плача при этом. Но не грехи заставили ее лить слезы, как представляла себе тетя Брайна, ибо не знала она за собой никаких грехов, не преступала ни против бога, ни против людей. Плакала она потому, что в груди у нее открылся родник слез, и плакалось так хорошо, так легко. Но плакать ей было из-за чего: куда бы она

ни кинулась, было плохо, тоскливо, горько, и ни на кого она не могла пожаловаться, никого не могла винить. Разве можно винить мать за то, что она пожелала иметь зятем Алтера? Как всякая мать, она всегда мечтала о том, чтобы дочка ее стала богатой хозяйкой. Разве Эстер пыталась когда-либо сказать матери, что она не хочет этого брака? Да и как смеет она сказать это ей? Эстер плачет потому, что счастье ее так быстро иссякло, что доля ее безвозвратно сгинула, что Иоселе ее так бесстыдно обманул. Ну, кто мог сказать два года тому назад, что все это столь печально кончится?

Эстер, точно грешница, колотит себя кулаком в грудь, обливает молитвенник горючими слезами, поминая при этом не грехи свои, а своего Иоселе. Иоселе, в которого она так верила, на которого так надеялась, слово которого было для нее так дорого, так свято, обошелся с ней бессовестно: уехал, забыл! Написал бы хоть слово, попытался бы хоть оправдаться! Так бесстыдно поступить, как он поступил! Только теперь поняла она, как дорог, как мил он ей, как глубоко вошел в ее сердце. Эстер потому колотила себя в грудь, что признавалась самой себе в любви к нему. Она любила его все время, с малых лет, теперь же должна распроститься с ним навеки, прогнать, вырвать из груди, забыть окончательно.

Потом мысли ее перескочили к Алтеру, и кровь в жилах у нее застыла. Вот этот человек, которого ненавидит вся Мазеповка только за то, что он есть Алтер, будет ее мужем! С ним должна Эстер коротать свои дни и годы, с ним она должна будет прожить долгую жизнь, с этим человеком она вынуждена соединиться навсегда, навеки. Алтер введет ее в свой дом, передаст ей ключи, и она станет хозяйкой. Он будет давать ей деньги на базар, и она будет закупать птицу, сажать ее в курятник, откармливать, чтобы она стала «капитально» жирной, а затем готовить для него бульон. Всю неделю она будет сидеть в четырех стенах, слушать, как люди вымаливают у него деньги под заклад; будет следить, чтобы все для него было сготовлено вовремя. Она встанет рано

утром, отправится на базар, купит хорошей рыбы, жирного мяса с довеском, ногу для холодца. Зато в субботу она наденет шелковое платье, накинет бархатное пальто на лисьем меху, отправится в синагогу и там усядется на лучшее место, где когда-то сидела Фейга.

Вдруг Эстер пришли на память слышанные еще в детстве рассказы о том, как Алтер отправил на тот свет свою жену Фейгу. Эстер перебирала в уме все подробности, и у нее волосы дыбом встали. Рассказывали, что Алтер все гонял ее к врачам и к знахарям, чтобы она рожала ему детей. А мать Алтера, которая еще тогда жива была, поступала с ней так, как не поступают с злейшим врагом: по целым дням парила ее в горячей воде, гнала из нее пот, поила хмелем. И вот так ее замучили до смерти.

Незадолго до свадьбы Эстер спросила у тети Ентл, правда ли то, что люди рассказывали про бедную Фейгу. И Ентл поклялась ей всеми известными клятвами, что все это сплошные враки, клевета, ложь, что нет здесь ни единого слова правды.

— Не знаешь разве, что в Мазеповке могут наплести! — сказала Ентл. — А отчего это вдруг стали трепать языками, будто я скоро Бейниша вгоню в могилу? Что такое? Желала бы я, чтобы все мои друзья и близкие жили так, как мы с Бейнишем! И чего только в Мазеповке не наплетут! Удивительно, как это еще до сих пор про твоего жениха не говорят, что он собирается переменить веру. Чего только не выдумают эти бездельники?! В общем, это такой городок, что лучше б ему сквозь землю провалиться! День и ночь все плетут, наговаривают, выискивают все дурное, хотя сами-то хуже худшего, нет ни одного порядочного человека. И все же головы у них болят о соседе. Признаюсь, город этот опротивел мне донельзя, вот здесь он у меня, в печенках сидит. Тьфу, гадость, а не город! Представляешь, если уж могут выдумать такое про Фейгу, которая давно в земле лежит!.. Да и вообще чего тебе беспокоиться? У тебя, слава богу, мать, жить ей до ста двадцати лет, которая присмотрит за тобой; волосу с головы не даст

упасть. И родня у тебя, слава богу, тоже есть. Чего ж тут разговаривать? Ты еще совсем дитя, Эстер; козочка ты, право, дай тебе бог здоровья!

И как вспомнились Эстер все эти разговоры о первой жене Алтера, у нее кровь в жилах застыла. А как встала перед глазами сама Фейга, она чуть в обморок не упала. По комнате двигались люди, играли музыканты, танцевали женщины, а у Эстер кружилась голова, и ей казалось, она вот-вот упадет.

— Что это невеста бледна как смерть? — спросила какая-то женщина. — Видно, ей тяжело дается пост!

— Ничего, — отозвалась другая. — Пускай попостится, пусть вымолит у бога счастливую жизнь со своим мужем.

XXVII

Бедной невесте тяжело дается пост

Еще один обычай есть в Мазеповке, он тоже касается невесты. Обычай этот соблюдают там почти как закон, — речь идет о сотворении молитвы над свечами перед венцом. Ничего, пускай невеста понемногу привыкает делать добрые дела! Пускай знает, что через несколько часов она станет женщиной и на ее долю придется три богоугодных дела *, предписанных религией женщине. И вкус одного из них пусть узнает уже сейчас, пусть помолится над свечами!

Тетя Ентл поднесла Эстер две свечи в серебряных подсвечниках, а тетя Брайна подсунула ей «Моление над свечами», составленное «ученой женщиной, благочестивой Саррой, дщерью Товима, которая пожелала скрыть свое настоящее имя», и сказала очень ласково:

— Произнеси, дочь моя, прежде всего вот это моление, а после уже прочитаешь молитву, благословляющую всякое начало. Не вредно, доченька, в первый раз поплакать над свечами.

И Эстер принялась шепотом читать моление над свечами, не понимая ни единого слова из него:

«Ты господин всего мира и всей вселенной с небесными сводами сверху и глубочайшими безднами снизу снизойди со своего величия и возложи на слугу твою которая стоит здесь перед тобой вместе со всеми любимыми тобою детьми народа мы обязаны честно придерживаться во всем как король честно поддерживает свою королеву или как жених свою невесту потому что я твоя слуга уже возожгла свечи в первый раз две свечи которые твои мудрецы велели и обереги нас от всех случайностей и от всяких происшествий и эти мои свечи которые я возожгла пусть ясно и ярко горят, чтобы прогнать злых духов чертей дьяволов происходящих от демона Лилит* чтобы они улетели а твоя слуга что стоит перед тобою чтобы удостоилась как наша праматерь Рахиль* которая когда евреев вели в изгнание их вели недалеко от могилы праматери Рахили и когда они взошли на могилу в которой покоилась Рахиль и начали взывать матерь матерь как можешь ты спокойно смотреть как нас ведут в изгнание праматерь Рахиль восстала к создателю с горькими воплями и так говорила создатель мира ведь ты милосерд и более добросердечен чем человек а все же я пожалела свою сестру Лию, которая плакала день и ночь чтобы ей не попасть в руки Исава* до тех пор пока глаза у нее не помутились от великого плача так тем более ты господь...»

Эстер припомнилась трагическая история Лии, которую ей читала мать по субботам из «Тайч-хумеша». Но теперь она плакала не над участью Лии, которая боялась попасть в руки Исава, а над своей горькой участью; плакала потому, что попала в руки Алтера. Отыскался-таки Исав на ее голову, который сгубит ее молодые годы! И она плакала, заливалась горькими слезами. Но кому какое дело до того, что она плачет? На то она и невеста, чтобы ей плакать перед «покрыванием». Играют музыканты, пляшут девушки, снуют мужчины и женщины, без конца шмы-

гают один за другим сваты. Брайна и Ентл — дру́жки. Они взяли Эстер под руки и, усадив посреди комнаты на стул, принялись согласно обычаю расплетать ей косы.

Невеста сидит в белом шелковом платье, с распущенными волосами, как принцесса. Вокруг нее толпятся женщины. Они берут волосы Эстер, ее золотистые волосы в свои руки. Музыканты начинают традиционную печальную мелодию, и женщины плачут. Они глядят на расплетенные косы невесты, сморкаются в фартуки, трут глаза и плачут. Злата вовсе истекает слезами, сердце у нее болит за своего ребенка: бог весть в какие руки попадет ее дитя, ее дорогое дитя! О горе, горе! Плачет и Ентл. Как ей не плакать, если детей у нее не водится?! Сколько раз она уже ездила к цадику, ничего не помогает. А Брайна плачет потому, что у всех девушки выходят замуж, только ее дочки сидят, дожидаются женихов, пять взрослых дев, — горе, горе великое! Молодушки, глядя на невесту и оплакивая ее, оплакивают и свою долю. Они-то хорошо знают, что значит «покрыть голову невесте», скрутить молодое создание, выдать девушку замуж; она уходит из-под опеки отца и попадает во власть мужа. Оплакивают Эстер те, кто хорошо знают жениха и помнят первую его жену — несчастную Фейгу; они понимают, что лакомиться медом она у мужа не будет. Другие плачут потому, что у них отец или мать умерли, при смерти ребенок, и его никак не спасти. А некоторые плачут просто потому, что музыканты играют грустную мелодию.

Плачут, в общем, все, но больше всех, конечно, Эстер. За всю свою жизнь она еще никогда так не плакала. Она прячет свое чудное, ясное лицо в платок, чтобы никто не видел ее слез. От поста, от тоскливой музыки, от рыданий вокруг, от мрачных мыслей у нее совсем помутилось в голове. Она чувствует, что силы покидают ее, и сейчас она богу душу отдаст. Вдруг у нее темнеет в глазах; мельтешат большие, маленькие черные, желтые, красные, зеленые круги, а потом становится все светлей, свет-

лей и в конце концов делается совсем легко и хорошо. Очень хорошо! Ей представляется гробница праматери Рахили; она раскрывается, и оттуда выходит скелет в саване и машет ей рукой, подзывая поближе. Эстер хочет крикнуть: «Шема * — Исроел», и не может. Ей чудится, что она умерла. Она лежит на земле, и на нее накинуто черное покрывало. Мама ломает руки, бьется головой о стену и оплакивает свою единственную дочь. Потом Эстер чувствует, как ее поднимают и несут по городу, мимо лавок, слышит, как бренчит кружка, известная всем жестяная кружка, и кто-то взывает: «Благодеяние спасает от смерти!» И вот ее приносят на кладбище. Здесь над ее телом ставят черный венчальный балдахин, как это положено, когда умирает невеста. Затем ее опускают в могилу, и она слышит оттуда чей-то знакомый голос. Она хорошенько вслушивается, и ей сдается, что это поет Иоселе-соловей. Да, это он творит молитву по усопшему, и все отвечают «аминь». Эстер вслушивается в каждое его словечко и как ему отвечают хором. Вдруг кто-то падает на ее могилу, и люди принимаются кричать: «Заберите его! Отца заберите! Заберите отсюда отца!»

Эстер очнулась и увидела себя на том же стуле, где ее усадили к «покрыванию»; возле нее суетились женщины и мужчины, что-то кричали, брызгали ей в лицо водой, терли нос и уши; у нее расстегнули ворот, распустили корсет. А мать кричала:

— Эстер, дочь моя! Бог с тобой! Люди, невеста упала в обморок! Давайте начнем венчание! Ради бога, кончайте «покрывание».

— Не кричите так, Злата! Тише! — отозвалась какая-то женщина. — Не кричите, вон идут сваты. С ними и жених. Не кричите! Успокойтесь!

Алтер Песин приблизился, расфранченный, причесанный, праздничный, — из его раздутых щек вот-вот брызнет кровь; брюшко его округлилось, толстый загривок выбрит, а рот по-прежнему крепко зашнурован. По обеим его сторонам шли дружки — Бейниш и Мойше-Авром Ализняк; на плечах у них хрустящие накидки, а в руках по плетеной свече.

Жених держал перед собой покрывало. Подойдя к невесте, он накинул ей его на голову, а женщины осыпали жениха хмелем и овсом, крича при этом: «Поздравляем! Поздравляем!»

После венца музыканты рванули фрейлехс *, женщины захлопали в ладоши, и Злата первая пошла плясать. Она была очень счастлива: господь сжалился над ней, довелось ей все-таки выдать дочку замуж. Злата, подбоченившись плясала фрейлехс, кружилась посреди комнаты, молотила каблуками и вся сияла, как, впрочем, и положено матери, выдающей замуж первую дочь. На нее глядя, за руки взялись Ентл и Брайна (две сестры уже три года не разговаривали между собой) и, встав против Златы, пошли притопывать. При этом Ентл напевала:

Гоп, Брайна, живей!
Дай ответ поскорей:
Не моя ты, ей-ей,
Как же быть мне твоей?

Музыканты играют, Злата, Ентл и Брайна кружатся, каждую минуту обнимаются, целуются, лобызают друг дружку. Женщины, хлопая в ладоши, приплясывают на месте и вопят: «Живей! Живей!»

Внезапно в круг врывается реб Калмен, рукава у него завернуты до локтей. Заткнув полы сюртука, он пускается в пляс, выделывает замысловатые коленца, прыгает чуть ли не до потолка. Глядя на него, Бейниш ухватил Мойше-Аврома, и оба они принялись кружиться на еврейский лад — положили друг другу руки на плечи и, закрыв глаза, стали, вскинув головы, топать на месте. Не удержались и сынки Златы, озорные Менаше и Эфраим — ворвались в круг и давай дрыгать ногами, как молодые бычки: брык-брык-брык. Чем дальше, тем больше становится танцующих в кругу. Наконец все берутся за руки и устраивают еврейский хоровод, покрикивая при этом музыкантам: «Живее! Громче!» Все танцуют, прыгают, топают, хлопают. В комнате становится тесно, шумно, начинается настоящая кутерьма, ералаш какой-то, обычный, впрочем, на еврейской свадьбе.

XXVIII

Ямпольский извозчик передает Лейзеру диковинного пассажира

С той самой поры, как Лейзер-балагола возит путников из Мазеповки в Кашперов и из Кашперова в Мазеповку, ему еще никогда не попадался такой замечательный пассажир, как однажды в конце августа. Бог послал его Лейзеру через одного ямпольского извозчика. Ну, и спасибо!

Смазывая колеса, Лейзер обещался доставить пассажира совсем рано, еще до захода солнца. Пассажир может положиться на его лошадок, а баловать их в пути он не собирается, потому — раз нужно быстро, так ведь нечего разговаривать.

— Далибуг, панычу, то правда ест [1], — поддержал его ямпольский извозчик, обращаясь к пассажиру по-польски, и тотчас затараторил с Лейзером на родном языке: — Чего там лясы точить, реб Лейзер! Убил я вас жирной пампушкой! Хороша щучка! Тут-то вы уж пальчики оближете! Ведь у этих людей деньги — трын-трава. Где бы мне в обратную дорогу нащупать такого фраера?

— Помолчи, человече! К чему эти речения? — произнес Лейзер на смеси разговорного и библейского языков.

— А что такое?

— Что такое? Разве не видишь, что господинчик улыбается, как дохляк немытый! Может, он каждое слово разумеет.

— Го-го! Хоть до завтра хлещи его кнутом! Понимает, как тот покойник. Когда минете черный ветряк, не постесняйтесь, реб Лейзер, попросить у него прибавки. Черт его не возьмет, выдержит! На дворе «элул», дорога, простите, задрипанная. Боюсь только, как бы в пути у вас не было передряги, потому что вон та, ваша пристяжная, сдается мне, собирается выкинуть какой-то фокус. Ну, езжайте

---

[1] Честное слово, барин, это правда (*польск.*).

в добрый час! И, реб Лейзер, не завезите мой магарыч, потому как, понимаете ли, бог есть бог, а водка остается водкой... Бувайте здоровы, панычу! — Ямпольский извозчик приподнял картуз и махнул пассажиру рукой.

Выехав из Кашперова и свернув на Мазеповский тракт, Лейзер спросил у своего пассажира, не из семинаристов ли он часом, потому что прошлый год в эту пору он уже возил двух славных панычей, тоже из семинарии.

И вдруг он услышал, как кто-то сказал по-еврейски:

— Вы меня совсем не узнали, реб Лейзер?

Испуганный извозчик чуть не свалился с облучка, стал озираться по сторонам, кинул взгляд под повозку, задрал голову кверху, но так и не понял, откуда голос идет.

— Реб Лейзер, ха-ха-ха, вы меня не узнали? Вглядитесь получше! — повторил пассажир и громко захохотал.

Извозчика охватила оторопь. Он остановил повозку и, выпучив глаза, принялся разглядывать своего пассажира.

— Хоть свежуй, хоть на месте убей — не припомню! — сказал Лейзер. — Вроде личность знакомая, а все ж не знаю. Вы, случаем, не зятек Менаши-часовщика?

— Какой зятек? Какого часовщика? Я сын кантора Шмулика, Иоселе я — Иоселе-соловей.

— А-а-а... Как же ты поживаешь? Ну, здравствуй! А я, осел эдакий, стою и таращу глаза, как телок. Вот голова! Как же ты поживаешь? Но-но, орлики мои! Двигайте ногами, дохлятины мои! Гость у нас! Гость! И какой гость! Значит, ты сынок Шмулика? Если б с меня шкуру содрали, и тогда не сказал бы, что ты еврей. Волосы у тебя длинные — вот и думал, что ты из семинаристов. Так это ты и есть Иоселе-соловей? Ну и ну! Дольше живешь — больше ешь! Я еще помню, как ты пел в Холодной синагоге. Так, значит, Иоселе? А я, скотина в образе осла, стою и моргаю, хоть картину с меня малюй! Но откуда мне

знать? Он сказал: паныч. Пускай будет паныч. Поди догадайся, вот напасть! Правда ведь, Иоселе? Но, благородные мои! Но-но, дохлые мои!

Лейзер-балагола и Иоселе-соловей сильно обрадовались друг другу и сразу стали душу отводить. Иоселе взобрался к Лейзеру на козлы и принялся расспрашивать его обо всем, что делается в Мазеповке. Лейзер добросовестно отвечал на все его вопросы, ничего не тая. Рассказал даже о своих лошадках, которых выменял в Кашперове на ярмарке. Надули его там лошадники, мошенники эдакие.

— Таких негодяев, скажу я тебе, на всем белом свете не сыщешь. Закрутят, замутят, самого бывалого барышника обманут; так забьют голову, что очумеешь; взнуздают тебя — и ни тпру, ни ну! Хуже цыгана! Чтоб мне так жить, в тысячу раз хуже цыгана! Но! Чтоб вам подохнуть, холеры мои! Овса хотите? Горе я вам свое дам и нищету в придачу. Сгореть бы шкуре вашей!

— А что поделывает там наша соседка, галантерейщица Злата? — с бьющимся сердцем спросил Иоселе.

— А что ей поделывать? — ответил Лейзер. — Свадьбу справляет — вот и все дело...

— То есть как свадьбу справляет? Кого она женит?

— Дочку замуж выдает.

— Дочку? — переспросил Иоселе и рванулся к Лейзеру. — Как так? Где? Когда?

— Ну да, дочку замуж выдает, — ответил Лейзер. — Как ее там зовут? Забыл как зовут. Кашперовская ярмарка и тамошние барышники совсем заморочили мне голову. Ну ничего не помню. Сгореть бы костям вашим, дохлятины мои! Но!

— Ее зовут Эстер. Значит, она выходит замуж? Когда? За кого?

— За... Как его зовут, вражину этого, процентщика? Черт его душу знает!

— Янкл, сын Меер-Пини? Берл, сын Мойше-Липы? Ицик, сын Аврома? А может быть, Симхе-Дон? Гецл-Менаше?

— Нет, — сказал Лейзер, почесывая кнутом загривок. — Ну, как его зовут, будь он неладен. Ведь вот вертится на языке! Еще богат он, черт его возьми, набит деньгами! Толстый, бездетный. Его дом, если знаешь, третий от Новой синагоги.

— Может, Алтер Песин.

— Алтер, Алтер, чтоб им всем подохнуть! Алтер! Да, да, Алтер!

— И что же, она выходит замуж за этого Алтера? Но как это возможно? Каким образом?

— А я знаю, каким образом? Тем образом или этим образом? Слыхал, что он ее берет... Однако, говорят, ты женился и счастлив? Правда ли это, Иоселе-сердце? Но, дохлые! Восемьдесят тяжких лет вам! Как думаешь, светлая будет сегодня ночь? Правда, сейчас вторая половина элула. Дай бог до рассвета добраться хотя бы до каменной корчмы.

— То есть как до рассвета? Ведь вы обещали доставить меня в Мазеповку к вечеру! Это что же такое, реб Лейзер?

— Я обещал?! Кажется, сам видишь, ни минуты не стоим. Все едем и едем.

— Так гоните, реб Лейзер, лошадей! Пусть идут быстрее. Прошу вас!

— Быстрее? Видать, вы, молодой человек, прибыли из быстрых краев. Легко другому сказать — скачи быстрее! Хотел бы я видеть, как бы ты, будучи лошадкой, скакал в гору.

— В какую гору? Горы еще и в помине нет. Даю вам, реб Лейзер, еще трояк, еще пятерку даю, только езжайте быстрей! Мне, понимаете ли, нужно как можно скорей.

— Тебе, видать, к спеху? Ну, что ж, я не прочь поскорей... Но, мои орлики! Еще пятерка, провалиться вам! Пошел! Пошел!.. Все будет ладно.

Лейзер погонял лошадей, полосовал их и кнутом и кнутовищем, в то же время сыпал проклятья на кашперовскую ярмарку и тамошних барышников. А Иоселе улегся под навесом в повозке, подпер голову руками и углубился в думы. Он не слышал проклятий Лейзера, посвист, которым он погонял свою живо-

тину, не слышал его печальной песенки без начала и конца, которую он напевал каким-то утробным голосом.

Иоселе-соловей, как вы знаете, еще с детских лет легко предавался мечтам, игре воображения, всяческим химерам; вечно витал в облаках, фантазировал, ткал золотые сны наяву. Вырвавшись на несколько дней из Бердичева, он в дороге рисовал себе, как въедет в родной город, как его там никто не узнает. Он прикажет везти себя к домику кантора Шмулика. Отец удивленно глянет на него. «Кого вам нужно?» — спросит он. «Папа, ты меня не узнал? Ведь это я», — ответит Иоселе и бросится отцу на грудь. Потом начнется кутерьма: «Иоселе приехал!» Мачеха, конечно, захочет сделать доброе дело и побежит известить Злату и Эстер: «Знаете, какой у нас гость? Наш Иоселе приехал!» Только Иоселе не разрешит ей идти туда. Он сам отправится к соседкам и затеет с ними разговор, как совершенно незнакомый человек. Уж он найдет, о чем поболтать! Он заговорит об Иоселе-соловье и будет смотреть при этом на Эстер. Потом он откроется им, как Иосиф-прекрасный своим братьям в Египте, и скажет: «Это я, Иосиф» *. Эстер покраснеет, и в глазах у нее выступят слезы. Позже, когда они останутся одни, он ей с глазу на глаз расскажет обо всем, что с ним приключилось за это время, откроет перед ней душу, ничего не утаит. Он расскажет ей все, все, и она простит его. Он расскажет, как все время рвался домой, а Гедалья-бас — чтоб ему пропасть! — не пускал его, тащил из одного города в другой, без конца откладывая поездку на родину. А потом, когда он уже совсем было собрался, на него свалилась эта напасть — мадам Переле; он попал в сети, очутился в каком-то аду, но спохватился уже слишком поздно. Он знает, как все это глупо, как позорно обошелся он со всеми, не посоветовался со старшими. Выкинуть такую штуку, не поговорив с отцом?! Он знает, до чего все это бессмысленно. Но что поделаешь, если разум приходит с годами? Он не станет врать Эстер. Да, отчасти сама Переле и ее игра на рояле, отчасти ее деньги вскружили ему голову. Но он

совершенно не может понять, как мог он забыть любимых, дорогих ему людей. Как мог он променять Эстер на Переле? И чего ради? Из-за денег? Но зачем ему эти деньги? Иоселе расскажет Эстер, чего он натерпелся, сколько выстрадал за этот месяц; как трудно было ему вырваться домой; как Переле все хотела ехать с ним, и он еле отговорил ее, умолял, чтобы она отпустила его одного; как ему опротивела жизнь, как тесно и душно кругом, как тяжко живется на свете; как сердце его рвалось домой, к ней, к Эстер, и ради нее он готов на все, даже умереть. Пусть она все знает, пусть скажет, что ему делать, и он сделает. Он исполнит все, что она прикажет. Ради нее он готов идти в огонь и в воду, готов бежать с ней хоть на край света...

И Иоселе начинает рисовать себе, как он убежит с Эстер на край света.

На повозке у ямпольского извозчика Иоселе уснул и пробудился лишь, когда они въехали в Кашперов, где произошла встреча двух извозчиков. Лейзер сообщил ему позже горькую весть об Эстер, и воображение Иоселе тотчас заработало в совершенно ином направлении.

XXIX

Лейзер гонит лошадь вовсю, но доставляет Иоселе домой только поздно ночью

После того как Иоселе услыхал недобрую весть о том, что Эстер выходит замуж за другого, за какого-то Алтера, в голове у него пошли бродить совсем иного рода мысли. Все его прежние мечты мгновенно разлетелись, исчезли. Он негодовал теперь на Алтера, на Злату и даже на Эстер. Все оказались виноватыми. Только не он. Ему и в голову не приходило спросить себя: «А может, я и есть главный виновник?» Он никак не мог дождаться минуты, когда наконец явится домой. Секунда казалась ему годом.

— Еще далеко? — спросил он, высунув голову из-под навеса и тронув Лейзера за рукав.

Лейзер буркнул что-то под нос и сплюнул. Видимо, он был не очень доволен тем, что потревожили лучший его сон. Да и лошади тихонько дремали; они еле перебирали ногами, хотя и делали вид, что бегут.

А в воздухе крепко пахло концом августа. Солнце уже заходило, и один край неба опоясался широкой красной полосой, точно кровью заливая весь запад. Прохладный ветерок забрался к Иоселе под навес, пошевелил его длинные, волнистые волосы, погладил щеку. Иоселе прислонился к краю повозки и стал дремать.

Поддувает легкий ветерок, поскрипывает навес, звенят колокольцы, лошадки помахивают хвостами, а Лейзер, позевывая, тянет ту самую тоскливую песенку, у которой нет ни начала, ни конца. Все это навевает на Иоселе еще бо́льшую тоску. И он засыпает.

Иоселе засыпает, и ему кажется, что он еще ребенок. Он в Мазеповке, стоит подле той самой горы, которая в детстве казалась ему невероятно высокой, чуть ли не до неба. Там, на вершине, рассказывали в хедере, растут душистые травы, благоухают цветы. И закопан там, на вершине, богатый клад; Мазепа схоронил его когда-то втайне от всех. Еще говорили в хедере, есть там хрустальный дворец, а в том дворце живет провинившаяся царевна, одна-одинешенька. Каждую ночь, когда взойдет луна, она горько рыдает, зовет кого-то к себе печальным голосом филина. И тогда одному, без провожатого, страшно ходить. И вот ему кажется, что он взбирается на эту гору. Лезет, лезет, но до вершины все еще далеко; ползет на четвереньках, быстро-быстро, точно какой-то леший, карабкается все выше, выше, но до вершины все ж далеко. Вдруг он оборачивается, глядит вниз, и его охватывает оторопь: какой длинный путь он проделал! А до вершины все еще далеко. Тело его покрывается холодным потом — как высоко он забрался! Кругом ни души, ни жилья, и даже обыкновенной земли здесь нет — только камень да небо, небо да камень. Иоселе

чувствует, что силы покидают его и он вот-вот упадет замертво.

Он просыпается, но скоро вновь засыпает, и ему чудится, будто он в густом лесу лежит на зеленой лужайке. В одной руке у него тарелка с праздничными маковыми пирогами, другой он гладит волосы Эстер. А она тихо напевает одну из песенок Гольдфадена * — из «Юной души», ту песенку, которую они вместе певали в детстве:

Была уже полночь, все спало,
Лежала кругом тишина.
Средь звездочек в небе гуляла
Совсем одиноко луна

Вдруг он видит — к нему крадется большая белая кошка. Она тихо переступает своими мягкими лапами, подбирается к нему все ближе, ближе, наконец вонзает свои острые когти ему в горло и душит его. Иоселе чувствует, как внутри у него хрипит, клокочет; хочет крикнуть, но не в силах; глядит кошке в глаза, и ему кажется, что она смеется; всматривается и узнает в ней Переле; пытается кричать — не выходит... Над ним стоит черный кудлатый пес, теребит его, кусает; Иоселе вглядывается в него и узнает Гедалью, вырывается и кричит не своим голосом: «Ой, папа!»

— Ой, папа! — громко простонал Иоселе и проснулся сам не свой. — Тьфу, тьфу, тьфу! Где мы, реб Лейзер?

— Спрашиваешь, где мы? — обиженно ответил Лейзер, шагая рядом с лошадьми и проклиная их на чем свет стоит. — Эге, мы уже достаточно далеко, чтоб вы сдохли, холеры эдакие! Уже одолели больше полгоры, чтоб вас погибель взяла! Измаялся я с вами. Послушай-ка, сделай милость, слезь, прогуляйся вот здесь, сбоку, лошадкам чуть полегчает, сгореть бы вашей шкуре!

— Ну, а город-то скоро, реб Лейзер? — жалобно протянул Иоселе.

— Скоро, скоро. Понятно, скоро. Вот здесь за горой пойдет песок, потом будет небольшой лес, за ним опять песок, а там уж и почтовый тракт прямо до города.

Ну, что поделаешь? Иоселе слез и скрепя сердце побрел вслед за повозкой. У него отяжелела голова, ноги подкашивались, комок подкатывал к горлу. Несчастные лошадки неохотно тащили возок в гору. Они остановились бы хоть сию минуту среди дороги, несмотря на проклятья, которыми беспрестанно осыпал их хозяин, но тот давал им понять кнутом, что надо идти вперед.

Луна, появившаяся у края горизонта, поднимается все выше. Ветер становится прохладней. А Иоселе уже шагает за повозкой довольно бодро, как человек, который примирился с постигшей его бедой.

— А теперь сделай милость, полезай обратно в повозку, — сказал Лейзер, придержав лошадей. — Не успеешь и глотка воды выпить, как будем дома.

Будто новую душу вдохнул в него Лейзер. Не стыдись Иоселе, он обнял бы его и расцеловал. И хотя поездка продолжалась еще довольно долго и за это время можно было выпить не один глоток воды, все же они в конце концов добрались до Мазеповки.

Никогда еще Иоселе не был так рад своему родному местечку, вонючим лужам, маленьким, мрачным, заспанным домишкам. Он чувствовал себя вельможей, въезжающим в собственные владения, и радовался здесь всякой мелочи. Он не мог спокойно усидеть, высунул было нос из-под навеса, но вынужден был тут же зажать его. Иоселе подскакивал от радости, как малое дитя, и разговаривал сам с собой:

— Вот дом резника Залмен-Эли. Вот дом богача Цемеха. Это двор сапожника Арке. А вот и лавки! Ага, вон она, старая молельня, а там и дом Златы, где живет отец. Но отчего это там так светло? Реб Лейзер, посмотрите, пожалуйста, почему это там так светло? О, боже мой, да ведь там, кажется, горит!

— Что горит? Где горит? — переспросил Лейзер, зверски стегая лошадей. — Нигде ничего не горит. Еще чего выдумал!

— Но отчего же там так светло? Подождите, кажется, музыка играет. Ну да, бьет барабан, медные тарелки звякают. Что такое? Неужто свадьба? Реб Лейзер, вы слышите, это что же — свадьба?

Но Лейзер ни слова не проронил в ответ. Он безжалостно хлестал кнутом своих лошадок, которые и сами уже были рады тому, что добрались, наконец, домой и скоро смогут чуточку отдохнуть. Набегались вволю, хватит! Задрав хвосты, они неслись из последних сил и при каждом ударе недовольно качали головами, будто приговаривали: «Старый ты дурень! Чего ты нас хлещешь? Мы и сами понимаем, когда нужно мчаться, а когда и помедлить можно».

С громом, с треском остановилась повозка подле дома Шмулика, чуть не саданув дышлом в окно. Иоселе спрыгнул и подбежал к двери. На половине, где жил Шмулик, было темным-темно, и на дверях висел замок, — значит, дома никого нет. Зато во второй половине, где обитала галантерейщица Злата, все окна ярко светились, там царило веселье: играла музыка, и слышно было, как пляшут, топают ногами и кричат: «Живей! Живей!»

У дверей толкался всякий люд. Любопытные щелкали семечки и смеялись.

Иоселе подошел поближе и спросил кого-то:

— Что здесь такое?

— Еврейская свадьба,— ответили ему весело, тыкая пальцем в двери.

Поработав локтями, Иоселе протиснулся внутрь и увидел картину, от которой у него потемнело в глазах.

XXX

Евреи веселятся поневоле, и Иоселе является в самый разгар веселья

«Поневоле живешь ты», — говорят наши мудрецы. Поневоле отбывает свою жизнь еврей, поневоле женит своих детей, поневоле веселится. Еврей, если он хочет гульнуть, выказать свою радость, должен заставить себя это сделать. «Братья!— взывает он тогда.— Братья, давайте веселиться!» И вот люди собираются и опрокидывают рюмочку, другую через силу, потому что не привык еврей выпивать. Если ж у кого душа не

принимает, такому насильно вливают в глотку, — на языке выпивох это называется «вогнать шарик»,—и он становится веселеньким, хотя ему вовсе не весело; он танцует, хотя ему вовсе не до танцев.

Одно удовольствие смотреть, как евреи, собравшись на каком-нибудь торжестве, после первых двух «шариков» начинают хлопать в ладоши и напевать:

Будем все мы пить вино! —
«Шарик» вгонят все равно.
Приказал нам ребе это —
Веселиться до рассвета.

И тут кафтан вдруг становится таким тяжелым, что его обязательно нужно сбросить с плеч долой и остаться, простите, в одних штанах и талескотне поверх рубахи. Тогда и танцуется совсем по-иному. Все берутся за руки и устраивают еврейский хоровод. Музыканты уже играют без нот, пиликают что-то несусветное. Люди прыгают, топочут ногами, задрав кверху головы и заведя глаза к потолку, совсем как на молитве, а не во время пляски. А кто упрется и не станет танцевать, того силою втянут в круг, и ему поневоле придется плясать, то есть кружиться вместе со всеми и выделывать ногами кренделя.

Вот так плясал и кантор Шмулик на свадьбе Эстер. Кто не видал его в тот момент, тот ничего грустного не видывал в жизни. Ах, какой это был горестный танец! Шмулику хотелось плакать от той капли вина, которую ему влили в горло. Ему стало еще тоскливее, чем раньше. Злата была очень рада тому, что Шмулик танцует вместе со всеми. Заметив, что и он выделывает что-то ногами, она остановилась подле мужчин, на которых, простите, кроме штанов да рубахи ничего не было. Но на свадьбе можно и распоясаться, не велика беда! Злата стала хлопать в ладоши и, уже совсем охрипшая, затянула:

Куглем * называют,
В печке запекают,
В рот возьмешь — он тает.
Куглем называют,
В печке запекают,
В рот возьмешь — он тает.

Неизвестно, то ли от того, что он глотнул лишнего, то ли от нескольких «шариков», которые в него насильно вогнали, а может, просто так, но на Шмулика нашел вдруг какой-то стих, и ему до того захотелось веселиться, что он уселся со сватами и Калменом пить горькую. Но как пить? Напропалую, закусывая соленым огурцом, вернейшим средством от хмеля. Они так долго опрокидывали рюмки и закусывали огурцом, пока Шмулик не увидал перед собой двух Калменов. Калмен в свою очередь увидел перед собой двух Шмуликов. Да и все вещи двоились теперь у них в глазах. Это еще больше раззадорило Шмулика, и его подмывало без конца хохотать. Все казалось ему удивительно смешным. Он посмотрел на Злату, которая, приплясывая, пела: «Куглем называют, в печке запекают», — и так расхохотался, что Злата приостановилась и перестала петь. Буркнув что-то, она отступила в сторону. А Шмулик, держась обеими руками за живот, все еще продолжал хохотать. На него глядя, закатился реб Калмен, за ним — сваты, и всем стало до того весело, что они принялись меняться шапками и ермолками.

Резник Залмен-Бер добыл где-то шляпу, подвернул полы сюртука, подпоясался шнурком, а бороду (у него самая величественная борода в Мазеповке) повязал платком и пошел плясать «Немца», подпевая:

Немцами зовемся,
Дружно пьем свой шнапс.

Шмулик, реб Калмен, все гости хохотали до упаду.

Служку Элхонона тоже разобрало, и он вздумал показать свое уменье. Убрав за уши пейсы и надув щеки пузырем, он вылупил глаза и пошел «барыню», напевая русскую песню на еврейский лад.

Табачник Шимшн-Янкл вывернул веки, уселся на полу и, покручивая кистью талескотна, изобразил нищего слепца:

Ой був собі святий Лазар [1].

---

[1] Ой, жил святой Лазарь *(укр.)*.

Не выдержал и Калмен, он тоже показал себя: паясничая, надел юбку и изобразил роженицу.

В общем, люди веселились на свадьбе у Златиной дочки кто как мог.

А Шмулик все лакал рюмку за рюмкой и не переставая хохотал.

Внезапно резник Залмен-Бер из немца преобразился в кантора, а Шмулик и все другие стали у него певчими. Залмен-Бер накинул на себя, вместо талеса, белую шаль и, встав лицом к стене, грустно запел на мотив еврейской молитвы:

Ах, Алтер,
Пропал ты!
Ведь ты не знаешь,
Не можешь,
Не гож ты!
Чего же ты
лезешь?
Чего берешься?

А Шмулик, Шимшн-Янкл, Калмен и служка Элхонон, жестикулируя, подтянули, как настоящие певчие; страшными голосами они взывали на мотив той же молитвы:

Ай-яй-яй-яй-яй!
Ой-ой!

Гости покатывались со смеху, глядя на них.

Иоселе-соловей стоял в толпе, наблюдая за всем, что здесь происходит, и все искал кого-то глазами. Но той, которую ему хотелось увидеть, уже не было здесь.

Гости были сильно на взводе, поэтому никто и не заметил Иоселе, который, приткнувшись в уголке, разглядывал каждого из них. Иоселе почувствовал, как у него горит лицо, стучит в висках; комната завертелась колесом, в глазах замелькало, забегало — вроде пошел золотой дождь. И он тут же ощутил, как острые кошачьи когти вонзились ему в горло и стали душить его. Схватившись за шею, Иоселе выбежал из комнаты. . . . .
. . . .

Ночь становилась все мрачней и мрачней. На небе клубились небольшие черные облака; время от времени они проглатывали луну и затем снова выплевывали ее. Поддувал прохладный ветерок, он тоскливо свистел, словно глубокой осенью. Становилось холодно. Но Иоселе было жарко, так жарко, что он ежеминутно отирал полою катившийся по лицу пот. Ему казалось, что кожа горит на нем.

Иоселе мчался со свадьбы во весь опор, чтобы не слышать музыки, топанья танцующих и песен, которые вливались отравой в его сердце и жгли адским огнем. Иоселе бежал, и его преследовал грустный молитвенный напев, сопровождаемый потешными словами. Закрыв руками уши, чтобы ничего не слышать, он бежал, как безумный, сам не зная куда и зачем.

XXXI

Шмулик произносит традиционные семь благословений плаксивым голосом

Назавтра к обеду, посвященному обряду «повязывания», Злата принарядилась, как положено матери невесты. Подле нее вертелись ее сестры, всякие свойственницы, тоже разодетые в праздничные платья. Из мужчин пока никого не было. Свои пошли в синагогу молиться, а чужие, то есть званые гости, не особенно спешили и отправились тем временем на базар: «Может, перепадет что-нибудь! Может, господь пошлет какой-нибудь заработок!» Ничего, служка не хвор еще раз прийти за ними! Но близкие Злате женщины пришли помочь ей накрывать на стол, нарезать пряники и просто так посидеть, чтобы невесте было веселей. Ну, а раз здесь все свои, можно взять по рюмочке и закусить.

Женщины взяли по печенью и от всей души пожелали Злате:

— Дай вам бог, Златочка, чтобы дочка доставила вам много радости в жизни; чтобы никогда горя не

знала; пусть старится со своим мужем в богатстве и чести. А через год не забудьте, Златочка, пригласить нас на рождение сына. Не беспокойтесь, мы мастера на почин! Всюду, где мы бываем на свадьбе, через год обязательно — сын. Такая уж у нас легкая рука!

— Аминь, дай бог! — произнесла Злата с благочестивой миной на лице.

Брайна глянула на Ентл, Ентл — на Брайну, а Злата — на них обеих. Три сестры объяснились между собой взглядами, лучше чем кто-нибудь языком. Они хорошо поняли друг друга.

Позже начали сходиться гости. Они садились за стол, выпивали, чокались с женихом, с Златой и с разными свойственниками. Лицо у Алтера сияло под новой бархатной фуражечкой, и выглядел он совсем хватом, вроде даже помолодел на несколько лет. Совершенно иной вид был у невесты. Повязанная, разодетая как какая-нибудь красивая барыня, она была очень невесела. В лице ее, слишком белом, даже с некоторым оттенком желтизны, не было ни кровинки. Черные глаза за длинными ресницами были холодны, тусклы, безо всякого огня, и почему-то казались больше обычного; щеки как будто впали. Новый повойник на голове, украшенный жемчугом и брильянтами, походил на какой-то венец. В своем дорогом шелковом платье, отделанном бархатом и позументами, обвешанная с головы до ног драгоценностями, Эстер выглядела настоящей принцессой, — царевна, да и только. Живая, веселая Эстер вдруг притихла, стала степенной, уравновешенной и серьезной. «Вот это настоящая невеста!» — думали про себя гости, любуясь ее красивым, ясным лицом.

— Какой прекрасной панночкой выглядит она, не сглазить бы! — прошептала женщина, указывая на невесту. — Чиста, как только что выпавший снег. Такая жена — украшение в доме, не правда ли? Полюбуйтесь, Фруме-Сора, дай вам бог здоровья!

Фруме-Сора охотно согласилась, что такая жена — украшение в доме. Гости тем временем принялись омывать руки. Они передавали друг другу большую медную кружку с двумя ручками и брали у своего

соседа мокрое, уже успевшее почернеть полотенце.

В комнату вошел Шмулик.

— Здравствуйте, — радушно сказала Злата. — Отчего так поздно? Прошу вас, омойте руки и садитесь за стол. Видать, вы совсем забыли, что вам сегодня читать семь благословений. А где ваша жена, реб Шмулик? Какой-то вы сегодня развинченный. Что с вами?

— У меня гость, — сказал с кислой миной Шмулик. — Гость у меня. Сын приехал.

— Иоселе? — вскрикнули все разом. — Иоселе здесь? Пусть бог благословит вас и вашего гостя! Но где же он?

— Что значит, где? Дома, — ответил Шмулик, не двигаясь с места. — Что-то заболел. Приехал еще вчера ночью, а домой явился на рассвете, то есть утром. Простудился, видно, все жалуется на боль в голове. Сейчас он чуть живой, весь горит. Мы уж прикладывали мокрые полотенца, терли ему виски. Ничего не помогает.

— Потеть! — изрекли сразу несколько человек. — Лучшее средство — пропотеть. Присядьте, реб Шмулик! Что вы так расстроились? Бывает, человека продует. Ничего, с божьей помощью пройдет.

Шмулик остановился возле Златы и что-то стал рассказывать ей. Злата, поглядывая на Эстер, качала головой. А Эстер, услыхав, что приехал Иоселе, напрягла все силы, чтобы не свалиться под стол. Она была крепче железа, если сдержалась и не кинулась с воплем: «Неужто Иоселе!» Эстер лишь тихо спросила Шмулика, и глаза ее зажглись своим обычным огоньком:

— Он приехал один?

— Один, — ответил убитый Шмулик, все еще стоя подле Златы и не зная, что ему надо делать.

Эстер взметнулась сразу, точно грянул гром, но тотчас опустилась на место. Она будто взмыла ввысь и вновь упала. Эстер осталась сидеть на том же месте во главе стола, белая как мел, а внутри у нее все точно отмерло. Эстер пережила в одно мгновение больше,

чем иной за год. Дурная мысль мелькнула у нее в голове: вскочить, бросить гостей, свадьбу, все на свете и бежать к соседям, чтобы видеть Иоселе. Ее влекло туда с неимоверной силой. Туда, туда! Но все это длилось мгновение. Эстер взяла себя в руки: ведь она невеста, молодуха, мужняя жена!

Борьба, которую она выдержала, была выше ее сил. Два стремления боролись в ней. С одной стороны демон-искуситель нашептывал ей: «Глупая Эстер! Чего ты их слушаешь? Приехал Иоселе, лежит больной, конечно, он ждет тебя, а ты сидишь здесь. Зачем? Для чего? Послушай, Эстер! Ты молода, хороша собой. Живи! Живи! Живи!» С другой стороны она слышала иную речь: «Ты ведь порядочная девушка, внучка реб Авремеле из Славуты! Гм, любовь? Нет, ты уже невеста! Ты — посвящена, связана, скручена, жена своего мужа!» А демон-искуситель продолжал свое: «Кто же виноват во всем этом? Глупости! Тебя связали, скрутили. Но ты живой человек и должна жить. Послушай меня, Эстер!»

Эстер сидела за столом чинно, как и подобает невесте на свадебном обеде. И хотя она была мертвенно-бледна, без кровинки в лице, красота ее сияла из-под повойника, а украшения сверкали и переливались на ней, придавая ей особую прелесть. Женщины не могли налюбоваться ею и без конца хвалили красивую, светлую, милую невесту.

Печален, тосклив был голос Шмулика, когда он произносил семь благословений, и Эстер чудилось, что идет он из-под земли, доносится с того света. Какое это было горестное пение! Держа в одной руке бокал и другой прижимая кадык по обычаю старомодных канторов, Шмулик закинул голову, закатил глаза и повел старчески надтреснутым голосом славословие. А кончил он «да возрадуются жених и невеста!» так грустно, что всех разобрало. Каждый вдруг закручинился, опечалился, не понимая и сам отчего. Так уж всегда от радости на торжестве у жениха и невесты евреи делаются печальными. Господи, да что ж это за пение и музыка у евреев, что навевают такую тоску?! А женщины, стоя в сторонке и произнося традицион-

ное «благословен бог, благословенно имя его», даже всплакнули, глядя на заливающуюся слезами Злату. Но то, что Злата плачет, никого не удивляло: все знали, каково матери, выдающей дочку замуж.

— И все же, — говорили прочувственно женщины, — дай бог всем нам справлять свадьбы детей и ходить друг к другу на празднества!

— Дай бог, аминь! Дай бог, аминь!

Вот женщины встали, попрощались с Златой, расцеловались с невестой и пожелали ей дожить до свадьбы собственных детей. А Эстер глядела на них удивленными глазами. Ее сердце, ее помыслы были далеко отсюда. Ей хотелось, чтобы все уж поскорей ушли, чтобы ей остаться одной и как следует выплакать свое горе. А женщины все лезли к ней с поцелуями и пожеланиями всяких благ.

Наконец-то господь помог, и гости понемногу разошлись. Эстер направилась к себе в комнату отдохнуть от гама, который стоял в доме весь этот день. Остались только родственники да сват Калмен. Как всегда после свадьбы, в комнатах царил кавардак. На длинном столе стояли пустые бутылки и рюмки кверху дном, лежали куски недоеденного пирога и обглоданные кости. На полу валялось несколько опрокинутых стульев. Трое нищих, опоздавших к обеду, вылизывали тарелки и засовывали за пазуху остатки пирога. А синагогальные служки, которые к концу уже хватили лишнего, стоя делились между собой капиталами, которые оставили гости на их жалких тарелочках; делили, несмотря на то что Злата, Брайна и Ентл торопили их поскорей уходить, чтобы можно было наконец привести в порядок дом.

Больше всех хлопотала по дому, конечно, Злата. Шелковый платок ее был повязан под самым подбородком, лицо пылало. Она до того охрипла, что услышать ее было очень трудно. И все же она не утихомирилась — все обхаживала гостей, распоряжалась по дому, провожала уходивших и прощалась с ними, правда, только жестами и взглядами, так как говорить

она уже была не в состоянии. По виду Златы можно было подумать, что она здесь горы свернула, сотворила невесть какое доброе дело. Да вряд ли и сама Злата отдавала себе отчет в том, что сделала она со своей дочкой, со своей единственной, дорогой, любимой дочкой; кому отдала ее, с кем связала, кому сбыла с рук! Когда, однако, было ей обо всем этом думать? Ведь вот только что жених посватался, затем была помолвка, а тут уж и свадьба. Это ведь не шутка — справить свадьбу! А Злата, дочь Баси-оптовщицы, не справит лишь бы какую свадьбу! Она, слава богу, не из портняжек и не из сапожников. Пусть ее господь наказал, и она осталась вдовой, да к тому еще бедной вдовой, но ведь она как-никак сноха реб Авремеле Славутского! Как же она допустит, чтобы подвенечное платье у единственной дочери было не из шелка, а за свадебным столом, на удивление и пересуды всему городу, не было бы полным-полно гостей! «Боже мой, — думала Злата, — дожить бы только, — пускай у младшеньких свадьба будет не хуже!»

Между тем у мужчин шел крупный разговор, они о чем-то спорили, препирались. Реб Калмен предъявлял претензии жениху. Держа одной рукой Мойше-Аврома Зализняка за бороду и другой зажимая Алтеру рот, он сам кричал изо всех сил. Алтер, весь в поту, пытался что-то сказать, но Калмен не давал ему. «Позвольте! — кричал он. — Вот я кончу, потом и вы скажете свое, скажете». Мойше-Авром и Бейниш (оба шуряка) и другие родственники жениха старались примирить спорящих, но все было напрасно. Алтер был тверд как сталь, не гнулся — хоть режь его, хоть кроши на мелкие куски. «Вот скажите хоть вы, реб Шмулик, можно ли так обижать свата? Я спрашиваю вас!» Сидевший в сторонке, расстроенный, грустный Шмулик очень хотел бы помочь Калмену. Почему не помочь человеку? Только Калмен сам же помешал ему. Чуть только тот начал с привычного «что и говорить», сват затараторил: «Вот это и обидно! Договорились, понимаете ли, с самого начала договорились обо всем, чтобы все было как полагается. И что же в

конце концов? Сплошное огорчение. Никак не думал, что придется опять разговаривать о вознаграждении. Эх, реб Алтер, реб Алтер!»

— Время читать предвечернюю молитву, — сказал Мойше-Авром, выглянув в окошко, где садилось солнце, и провел пальцем по потному стеклу.

Все встали, подпоясали платками сюртуки и принялись считать, наберется ли в комнате нужный для молитвы десяток человек *. Тут жених, Шмулик, два шурина — Мойше-Авром и Бейниш, три родственника жениха, да еще Калмен и двое служек, — как раз десять человек. Все омыли руки, и Шмулик, став лицом к стене, принялся глухим, надтреснутым голосом читать молитву. Злата, Брайна и Ентл молча слушали его, — для женщин это ведь тоже добродетель.

Эстер, услышав из своей комнаты грустное чтение Шмулика, неторопливо подошла к двери и высунула голову. Здесь она увидела, как мужчины и женщины, приподнявшись на цыпочках, быстро шепчут: «Свят, свят, свят», — и не знала как ей быть: ведь она теперь тоже женщина. На ней уже тоже лежит обязанность... Брайна подмигнула ей издали и показала пальцами на лоб, но Эстер не поняла, чего от нее тетка хочет, и покраснела. По окончании молитвы Брайна подошла к молодой, — оказывается, у нее выбился волосок из-под платка. Эстер надела другое платье, сняла повойник, все украшения, повязала голову шелковым платком, и тотчас девушка Эстер преобразилась в женщину Эстер. Она будто меньше стала, вся переменилась. На ее ясное, красивое лицо легло облачко, и теперь в этом платке она выглядела на несколько лет старше. Но ее лучистые глаза светились в темноте, как две звездочки в небе, и казалась она еще прекрасней, чем раньше.

— Если хочешь, — прохрипела Злата, — если у тебя есть время, зайдем к канторше проведать больного.

Выстрели тут пушка, Эстер не так всполошилась бы, как от этих нескольких слов. Лишь минуту тому назад она прикидывала, какой бы найти предлог, чтобы зайти к соседям взглянуть на Иоселе. И вдруг

мать сама предлагает ей это. Однако лицо Эстер не выдало, как колотится ее сердце, как трепещет оно, готовое выскочить из груди. Эстер ответила матери тихо и совсем спокойно: «Что ж, сходим, если хочешь». На самом деле ей хотелось броситься матери на шею и расцеловать ее. «Мамочка! Сердце мое! Дорогая, дорогая мамочка!» — думала она, медленно проходя вместе с другими женщинами по комнате, где мужчины стояли лицом к стене и раскачивались каждый по-своему. «Мамочка! Любонька!» — говорила про себя Эстер, чинно ступая за ней, хотя готова была лететь как на крыльях.

У Шмулика в доме было уже довольно темно, как бывает в сумерки, между днем и ночью. Света еще не зажигали. В углу на кровати, утонув во множестве подушек, лежал Иоселе-соловей, а возле него на стуле сидела мачеха.

— Ш-ш-ш, он спит! — прошептала она, когда женщины, громко разговаривая, вошли в дом.

— Нет, я не сплю, — сказал Иоселе и быстро сел в кровати. Сердце ему будто подсказало, что здесь недалеко стоит Эстер.

— Как себя чувствуешь? — пропели три женщины разом, разглядывая Иоселе на расстоянии.

— Не суждено мне, видно, быть у вашей дочери на свадебном обеде, — отозвалась канторша. — Поди знай, что свалится такая напасть! Мало лиха, вот тебе еще! Такой гость приехал и ни с того ни с сего свалился. Присаживайтесь, Златочка! Брайна-сердце, Ентл-голубушка, садитесь! Садитесь же, прошу вас! Садись, Эстер! Чего ты стоишь?

Женщины сначала разглядывали Иоселе, качали головами, затем каждая из них указала на известное только ей единственное замечательное средство, которое спасает от головной боли, ломоты, сухоты и всякой иной хвори. После этого все уселись на скамье у окна, и вскоре у них завязалась дружная беседа, разумеется о свадьбе, об ужине после венца, о свадебном обеде, о свадебных подарках от мужниной и жениной родни. И хотя Злата здорово осипла, она все же высказывалась с жаром, помогая себе жестами

там, где изменял голос. Заломив руки, она негодовала по поводу того, что «представьте себе, Фруме-Сора... Вы знаете Фруме-Сору? Так вот эта Фруме-Сора осмелилась заявить, что на свадьбе у ее младшей дочери было вдвое больше гостей, а подарки, — говорит она, — были в тысячу раз лучше. Ну, как это можно стерпеть?»

— Да что вы, Златочка, говорите о Фруме-Соре! Я вам лучше расскажу, что Ципе-Рейзл сболтнула мне сегодня о своей младшей дочери. Господи, где только у меня есть враги!.. Милосердный боже!..

Разговор у женщин становился все завлекательней, говорили они все жарче и наконец вовсе забыли о больном.

А Иоселе сидел на кровати, голова его была повязана полотенцем, из-под которого выбивались длинные, волнистые волосы. Мертвенно-бледное лицо его отливало желтизной, и только глаза горели по-прежнему. Увидев вошедшую Эстер, он готов был соскочить с кровати, но тут же замер, будто его приковали к месту, не в силах слова вымолвить.

Эстер тоже долго стояла молча, разглядывая его. И лишь когда женщины очень уж заговорились, она подошла поближе и спросила:

— Как ты поживаешь?

Эти слова были произнесены так дружески, с такой теплотой, с такой любовью, как только сестра может сказать. Иоселе ничего не ответил, но его взгляд, его горькая усмешка достаточно сказали ей. Она подошла еще ближе и, точно это у них было заранее условлено, села возле него на стул, где до того сидела мачеха.

Эстер показалось, что глаза Иоселе стали больше и смотрели они на нее менее приветливо, чем раньше.

— Как же ты поживаешь? — снова спросила Эстер.

— Ах, Эстер! — вздохнул Иоселе и схватился руками за голову.

В этих двух словах послышался стон человека, которого постигло большое горе, такое горе, что и словами не выскажешь. Эстер чувствовала, что ему худо, но отчего и почему — не знала. Когда и как это случилось, она не поймет, но ее рука оказалась в его

руке. Ее жжет как огнем, она вся горит. Ее тянет к нему, как магнитом. И снова дурные, грешные мысли зашевелились у нее в голове. Опять в ней боролись две силы. Демон-искуситель шептал в ухо, что пока еще есть время. Она еще может быть счастлива. Она молода, здорова, свежа и не смеет похоронить себя. Она должна жить, жить, жить! А другой голос твердил: «Ты ведь молодуха, невеста только что из-под венца, Златина дочка, мужняя жена. Беги отсюда!» А рука все еще лежала в его руке, и ее нестерпимо жгло, палило огнём.

У Иоселе вдруг развязался язык. Он заговорил без удержу, но мысли его шли вразброд, слова, бессвязные и путаные, опережали друг друга. Каждую минуту он хватался за голову. Внезапно лицо его вспыхнуло, глаза заблестели. Сорвав с головы полотенце, он придвинулся к Эстер и сказал ей с жаром, но так, чтобы никто не слышал:

— Все это, Эстер, чепуха — ты связана, я связан! Глупости это, Эстер! Ей-богу, глупости! Они говорят, что я болен. Да кто болен? Скажи мне только слово, что ты согласна, и я вскочу с постели совершенно здоровый, заберу тебя с собой, увезу из этой проклятой Мазеповки. Послушай меня, бежим, пока не поздно! Будет погоня? Ну и что же? Нам бы только выбраться отсюда — и мы свободны. А там уж все будет хорошо. Я увезу тебя далеко-далеко. И ты будешь моей. Навеки моей! Эстер! Ах, Эстер, Эстер!

У Эстер не было даже времени хорошенько подумать над его словами. Непонятная сила неодолимо влекла ее к нему, и она уже готова была отдаться в его руки и бежать с ним хоть на край света. Тот самый демон-искуситель явился ей теперь в образе ангела-избавителя и снова стал нашептывать: «Глупая, глупая, Эстер! Вот оно, твое счастье, перед тобой, судьба твоя в твоих руках. Выбирай! Либо райская жизнь, чудесная жизнь в просторном, вольном мире с милым, любимым другом, с ним, с Иоселе на вечные времена, либо мрачное, горькое прозябание вот здесь, в этом болоте, с этим жирным, противным Алтером. Глупая, глупая Эстер!» Этот дух-искуситель со своими

сладкими разговорами, с одной стороны, и Иоселе со своим пламенным взором и обжигающими речами, с другой, почти убедили ее. Никогда еще не хотелось ей так жить, быть счастливой, как теперь; никогда еще мир не казался ей таким прекрасным, как в эти минуты. Эстер вся дрожала. Она готова была бежать куда угодно, взлететь на небо, провалиться в преисподнюю, бросить, забыть всех и все, только бы быть с ним, с Иоселе. А Иоселе не переставая нашептывал ей пылкие речи. Его взгляд жег ее, пронизывал насквозь.

— Ах, Эстер, Эстер! — жарко вздохнул он. — Ах, Эстер, Эстер! — повторил он, склонился к ней и протянул руки, собираясь обхватить ее стан.

Ощутив его так близко, Эстер невольно отшатнулась, вскочила и нечаянно ухватилась за голову, за свою покрытую голову. Как сон, мелькнули и отлетели греховные мысли; она мгновенно вспомнила об Эстер — молодой жене, благочестивой женщине, и тут как раз увидела подле себя мать.

— Что ж, пошли? — сказала ей Злата. — Мы тут немного заболтались. Недаром про женщину говорят, что у нее слов девять коробов.

Перед уходом Злата посоветовала канторше еще несколько лекарств. А Брайна добавила, что, если б резник Шахне еще сегодня пошептал над Иоселе заговор от сглаза, было бы совсем хорошо.

Уже стоя на пороге, Эстер обернулась туда, где на кровати сидел Иоселе, и ей почудилось, что она видит огонек его глаз, которые умоляюще смотрят на нее. Сердце дрогнуло в ней, явилось новое чувство, чувство человека, который видел павшего и не протянул ему руку помощи. Ей казалось, он все еще сидит в той позе — с простертыми к ней руками, а в ушах все еще звучал его тоскливый призыв: «Ах, Эстер, Эстер!» Еще мгновенье задержалась она у порога. И опять то, дурное, мелькнуло в голове. Нечистый опять источал свои сладкие речи: «Назад, Эстер! Назад! Вот на этой минуте зиждется твой мир! Одно слово, наивное дитя! Только одно слово! Подойди и скажи ему это единственное слово, и вы счастливы навеки».

«Будь ты неладен, проклятый Асмодей! * — крикнул голос у нее в груди. — Прочь от меня! Не на ту напал! Еврейская девушка этого не позволит. Она скорей в жертву себя принесет, но не сделает этого... Да к тому же еще жена, замужняя женщина!.. Беги отсюда, Эстер! Беги!»

Эстер собрала все силы, вырвалась из лап нечистого и зашагала за матерью в свой дом.

Пробираясь по залу, она снова увидела мужчин, сидевших за столом и урезонивавших Алтера.

— Погляди! — сказал один из жениховых родственников, показывая глазами на Эстер. — Погляди, Алтер, что это за товар! А ты торгуешься из-за каких-то паршивых пятидесяти целковых.

Точно по горячим угольям, пробежала Эстер комнату, ворвалась к себе в спальню и там на своей кровати, уткнувшись головой в белоснежную подушку, горючими слезами выплакала свое незапятнанное, свое невинное сердце чистой, очень хорошей, но очень несчастной девушки. . . . .

XXXII

Иоселе-соловей в незавидном состоянии, а извозчик Лейзер философствует

Три недели, три тяжких, страшных недели прожил Иоселе-соловей. Никто уж не думал, что он выживет. Шмулик не понимал, откуда у человека столько сил, как может он перенести столько мук, так неистово кричать.

«Уберите эту кошку! — вопил Иоселе. — Разве вы не видите ее?! Она подбирается к горлу, хочет меня задушить!» А другой раз он ни с того ни с сего кричал: «Отдайте мне мою Эстер! Она моя!» Шмулик отвечал ему: «И чего ты кричишь, глупенький? Вот она, Эстер. Стоит здесь вместе с нами». А он опять свое: «Эстер! Отдайте мне мою Эстер! Зачем вы пустили ее одну в лес? Там собака!» Иногда он начинал петь, выделывая

всякие канторские штучки, или задирал голову к потолку и говорил: «Вы слышите? Вы слышите, как играют в костеле? В костеле замечательно играют, одно удовольствие слушать». Говоря так, он страшно метался на своем ложе. Только отец может снести такие муки, какие перенес Шмулик в эти три недели у постели своего сына. Он непрестанно сидел подле него, не спал ночей, без конца прикладывая лед к голове больного.

Лекарь Юдл, великий мазеповский специалист, объяснил, что это у Иоселе «такой огонь в голове, и по-докторски это называется воспаление мозга, и это опасная болезнь». Чего только не делал Шмулик! Постился, ходил на могилу Зелды, несколько раз собирал в синагоге людей читать псалмы. Наконец господь смилостивился, и больному чуть полегчало. Доктор Юдл сказал тогда: «Раз он все это перенес, значит, он уже человек, и можно сказать, больше чем наполовину на этом свете».

С радости Шмулик расплакался, как малое дитя, а на него глядя, и все в доме. Поднялся такой плач, точно стряслась какая-то беда. Эстер, которая приходила навещать больного несколько раз на день, увидев Иоселе сидящим в постели, тоже не сдержалась,— слезы катились у нее градом, хотя лицо улыбалось.

Эстер уходила из дому каждый раз якобы к матери, проведать братиков, а там забегала к Шмулику на несколько минут и просиживала у постели больного, пока Алтер не посылал за ней. Один лишь бог знает, с каким сердцем она возвращалась домой.

— Эстерка, отчего ты не ешь? — улыбался ей Алтер. — Эстерка, отчего ты не пьешь?

Едва дождавшись утра, она рада была немедленно мчаться туда, а возвратившись домой, опять бежать обратно.

— Что-то ты, сердце мое, слишком частый гость у своей матери? — говорил Алтер с добренькой усмешкой, которая была для нее словно острый нож. — Частый гость, душенька, скоро приедается, хе-хе. Хозяюшка должна дома сидеть, за хозяйством следить, за хозяйством!

Но Эстер и не слышала этих речей, голова ее была занята только Иоселе. Лишь об одном молила она бога — чтоб Иоселе выздоровел. Сидя в субботу в синагоге над своим молитвенником, Эстер только и старалась выпросить у бога долгих лет Иоселе. Ночью, лежа в постели, Эстер с плачем молила: «Дай ему, боже, силы! Пошли ему, господи, долгую жизнь!» И бог внял ее мольбам — Иоселе начал поправляться, недомогание стало проходить, и можно было надеяться, что вскоре он окончательно выздоровеет. Эстер не знала, как благодарить всевышнего за его милость.

Придя домой, Алтер увидел, что Эстер вся сияет, лицо ее светится радостью, и он сразу ожил.

— Вот это мне нравится! — сказал он, заглядывая ей в лицо и ласково улыбаясь.— Такой и должна быть женушка спустя три недели после свадьбы. Красивенькая! Так, так!

Эстер наскоро проглотила обед, давясь каждым куском, сидела как на иголках и, улучив подходящую минуту, снова убежала из дому.

С тех пор как Иоселе поправился и начал садиться в постели, от него не отступали ни на шаг. Друзья собирались вокруг него и все выспрашивали, как он себя чувствует и почему он все время кричал. Что он такое видел, что все говорил про птичек, про костел, о каких-то каретах, кошках и собаках? Но Иоселе ничего не отвечал. Был очень мрачен и смотрел каким-то странным, тупым взглядом.

— Оставьте его в покое! — бранился доктор и гнал всех прочь.— Оставьте его. Ему нужно «спокойствие», а вы морочите ему голову.

— Но что же мы особенного делаем? Только спрашиваем. Велика беда!

— Ну, что поделаешь с такими людьми! — сказал уже сердито Юдл. — Вот упрямцы! Ведь вам говорят, что ему нужно «спокойствие», ну, как, к примеру, роженице. Будете говорить с ним после. Дайте ему лучше что-нибудь в рот — стаканчик чаю, немного бульону, каплю молока или еще чего-нибудь.

«Больной хочет есть!» Это была такая ошеломля-

ющая новость, что все разом кинулись искать еду. «Что бы ему такое дать?» Канторша пошла по соседям занимать четверть курицы. Шмулик забегал по квартире, ища для больного что-нибудь повкусней. А Эстер помчалась к матери, разложила огонь в очаге и поставила варить бульон.

Стоя у шестка со сложенными на груди руками и глядя в пылающий огонь, вслушиваясь, как бурлит в горшке, Эстер замечталась. Ей припомнилось, как несколько лет назад она вот так стояла у шестка, а рядом с ней стоял Иоселе. Как все переменилось с той поры! Сколько за это время воды утекло, сколько дел переделано, сколько горя перенесла она за эти два с половиной года! Могла ли она тогда предположить во время разговора с Иоселе, что станет женой Алтера? Она припомнила, как Иоселе долго держал ее руку, крепко жал ее; на глазах у него блестели слезы, и он поклялся, что вечно будет все тот же. «Вечно тот же?— говорила себе Эстер. — Бог знает! Бог знает!» С тех пор как Иоселе приехал, она лишь теперь впервые задумалась над поведением Иоселе, над его поступками. Ни о чем другом не думалось ей до сих пор, как только о его болезни. Голова была занята лишь одним: как чувствует себя Иоселе? Как протекает его болезнь? Что говорит доктор? Какая у Иоселе температура? Сколько еще пройдет времени, пока он начнет потеть? И так дальше и тому подобное. Словом, ею владела лишь одна мысль: Иоселе болен! Этого было достаточно, чтобы прогнать все остальное из головы, тем более что и мать, и тетя Брайна, и тетя Ентл, и все другие бывалые люди говорили, что, если, не дай бог, вовремя не будет перелома и Иоселе не пропотеет, он пропал. Когда Эстер слышала такие речи, ей трудно становилось дышать, ее охватывал озноб, темнело в глазах. И как же она была счастлива, когда узнала, что больной потеет!

— Еще как потеет, как потеет! — сказал доктор Юдл.— Вот подождите и увидите, что значит потеть. Если у больного не сойдет три ведра поту, у меня это не называется потеть. Понимаете?

Вряд ли у Юдла был когда-либо больший добро-

желатель, чем Эстер в те минуты. Тем более теперь, когда Иоселе сел в постели и попросил есть. «Благодарю тебя, боже! Благодарю, отец сердечный, милостивый, добрый!»

Вдруг дверь отворилась, и в комнату просунулась голова какой-то женщины в модной шляпке под вуалью.

— Здесь живет кантор Шмулик?

— Здесь. Только на второй половине, — ответила Эстер и, взяв горшок обеими руками, пошла к соседям. — Пойдемте, я иду туда.

— Как чувствует себя кантор Шмулик? — спросила женщина, идя рядом с Эстер.

— А как ему себя чувствовать?— ответила Эстер.— Слава богу здоров. Живет, но и горя не чурается.

— Здоров? — переспросила удивленно женщина, разглядывая тем временем Эстер и думая про себя: «Какая она красивая!» — Но ведь Иоселе перед отъездом говорил мне, что отец очень болен, чуть ли не при смерти?

— Как? — вырвалось у Эстер. Она недоуменно посмотрела на пришелицу, и в голове у нее мелькнуло: «Кто эта женщина?» — Нет, вы ошибаетесь, это Иоселе, а не Шмулик, был опасно болен.

— Иоселе? — дико вскрикнула женщина.

Эстер попросила ее вести себя тише, так как здесь рядом, за дверью, лежит больной.

Эстер шла с горшком в руках, а впереди нее мчалась женщина с простертыми руками. Но, войдя в комнату, они обе мгновенно застыли как истуканы, не понимая, что здесь происходит. Иоселе-соловей сидел на кровати лицом к стене и пел, прижимая большим пальцем кадык, как это делали старомодные канторы. А все вокруг него стояли изумленные, потрясенные, растерянные.

Пел Иоселе очень странно. Пение это было чудесно до страшного и страшно тоскливо. Звуки вырывались из груди вместе с тяжким вздохом, обнимали слушателя всего, разили до мозга костей. Это было неслыханное, ни на что не похожее пение: лились чудные звуки, необычайные, прекрасные, чистые,

мягкие и вместе с тем какие-то нечеловеческие, дикие, сумасшедшие. Неожиданно Иоселе закончил свое пение страшным «кукареку» и диким хохотом. У всех волосы стали дыбом; оцепеневшие, они только переглядывались между собой.

— Вот! Вот она, кошка! Кошка явилась! — вскрикнул Иоселе, показывая на пришедшую с Эстер женщину (понятно, это была Переле). — Видите? Она опять здесь! Она опять здесь! Ловите ее! Гоните ее! Выбросьте вон! Она задушит меня! Что же вы стоите? Гав-гав-гав!

Иоселе соскочил, полуобнаженный, с кровати и хотел было кинуться к Переле, но та спряталась за Эстер и вцепилась обеими руками ей в плечо. Обе дрожали, как овечки. Но тут подбежал лекарь Юдл и, ухватив Иоселе за руки, потащил его обратно к постели. Иоселе упирался, отбивался изо всех сил. Наконец ему удалось вырваться из рук лекаря. В одно мгновенье он подбежал к Эстер, выхватил у нее горшок с кипящим бульоном и выплеснул его на Юдла.

— Он с ума сошел! — закричал Юдл. — Что вы стоите как истуканы? Вяжите его! Скрутите его! Вы ведь видите, что он рехнулся! . . . .

. . . .

Через несколько дней несчастный Шмулик вынужден был собственноручно связать своего сына или, как говорил доктор Юдл, «скрутить его» и отвезти в Макаровку к цадику. Кто не видел, как несчастный Шмулик в ситцевом халате, с зеленым шарфом на шее, держит обеими руками Иоселе, чтобы тот не выпрыгнул из повозки, — кто этого не видел, должен жить лишних десять лет.

— Да, человеку нечем кичиться! — говорили провожавшие этих двух несчастных.

Извозчик Лейзер никак не думал, что в той самой повозке, в которой он месяц тому назад доставил Иоселе целым и невредимым, он повезет его обратно в эдаком состоянии. Всю горечь своего сердца он изливал на ни в чем не повинных лошадок и, шагая рядом с Шмуликом в гору возле повозки, держал к нему

целую речь, которую он закончил следующими словами:

— Вы слышите меня, реб Шмулик! Ведь это глупости! Вы, конечно, знаете наш извозчичий промысел. Как говорится, насмотришься всяких людей. Бегут, едут, один туда, другой сюда, как на ярмарке. Клянусь вам, можете мне поверить, — ведь у меня уже внуки, дай бог им здоровья, дедушка я, — так вот, если хорошенько призадумаешься, то увидишь, что мир у нас дрянной! Право же!

Эпилог

— Непонятно, почему моей Эстер все время неможется, — проговорила Злата, сидя с сестрицей Ентл на базаре в большом кругу лавочниц. — С тех пор как она вышла замуж, я еще ни разу улыбки на ее лице не видела. Выглядит она все хуже и хуже. Не пойму, что такое. Кажется, так жить, как она живет за своим мужем, не сглазить бы! Что бы это могло значить?

— Ну, что тут особенного? — отозвалась одна из женщин. — Все мы такие. Пока в девушках — всякая гарцует, как казак, а вышла замуж — конец, поблекла, завяла, тряпка тряпкой, грош цена.

— А я вам говорю, — заявила другая, — это беременность, и больше ничего. Моя младшая невестка — помните, какие у нее были щеки? — как только затяжелела, сразу высохла, врагам не пожелаю! Уверяю вас, это беременность.

— Ну и ну! — вставила Ентл. — Из ваших уст да богу в уши! Хороша беременность! Когда увижу, тогда и поверю!

— Что ж тебе не верится? — перебила ее пожилая женщина. — Мы и не такое видали. Сидит молодуха годами — нет и нет детей, а бог поможет, и она пошла рожать, сыплет как курочка. С божьей помощью, Злата, в будущем году будем у вас на рождении сына.

— Аминь! — ответила Злата. — Добрый человек благословляет — кошка моется.

Никто не знал, что с Эстер. Видели только, что она чахнет, худеет с каждым днем, тает как свеча.

Алтер не жалел полтинника на лекаря. Доктор Юдл приходил, осматривал Эстер и говорил: «Она попросту нездорова. У нее болит сердечный «лист» и под ложечкой жмет»; велел ей пить рыбий жир, шалфей, липовый цвет и разные другие травы, советовал также не простужать кашля. «Если кашель простудишь, — говорил он, — это очень нехорошо». Юдл рекомендовал ей пить побольше молока, есть много масла и иметь всегда под рукой хорошую настойку. Словом, не отказывать себе ни в чем. Эстер выполняла все его наказы, но по-прежнему таяла как свеча. И никто не знал, что с ней.

Кантор Шмулик давно уже лежит на новом кладбище. В Мазеповке стало еще больше голодных — прибавилась одна вдова и несколько детишек. Конечно, о них пекутся: Брайна, старшая сестра Златы, и еще одна благодетельница отправляются с платком по городу и собирают пожертвования для канторши и ее потомства.

Переле осталась вдовой при живом муже, но живется ей, как говорят, неплохо. Денег у нее много, и она каждый год ездит в Франценсбад. Отцу ее, Мееру Зайчику, приходится туго, пока он не вырвет у нее сотнягу. «Как из пасти у собаки», — говорит жена его Малка.

У горничной Лейцы с любовью вышло неладно. Ее жених Лейви-Мотл, носивший длинные штаны и сапоги с калошами, бессовестно выманив у нее деньги, нашел себе другую невесту, без оспин. А несчастная Лейца, прослужив еще года три горничной, вышла за сапожника. Увлекательные «романсы» она уже давно забросила. Живется ей недурно — она сама себе хозяйка. Недостает ей только коровы. Она послала своей «мадам» обстоятельное письмо, где просила у бывшей хозяйки помощи. Но ответа от нее не получила и по сей день.

— Сходи-ка опять к писарю Гензлу, — говорит ей муж Генех. — Пускай напишет письмо подлинней. Может, то было слишком коротким.

Сват Калмен еще жив. Он очень стар и совсем глух. Но в голове у него все еще бродят мысли о

свадьбах, помолвках, обручениях. Ему еще являются во сне засидевшиеся парни, перезревшие девицы, вдовы, разводки.

Гедалья-бас разъезжает где-то с седлецким кантором. Он все приглядывается, не пошлет ли ему бог опять какого-нибудь Иоселе-соловья. Однако чудеса нынче кончились, и такого соловья ему уж не найти.

Городок Стрищ стоит на том же месте, а Берл-Айзик теперь состоятельный хозяин, владелец собственного дома и лавки. Зимой он носит шубу на лисьем меху, и в синагоге у него место у восточной стены. В местечке он — целая шишка. «Наш Берл-Айзик!» — говорят здесь о нем.

В местечке Макаровке много лет подряд можно было встретить на улице или в синагоге высокого, худощавого человека. Поверх расстегнутой рубахи он носил большой желтый талескотн, его редкие волосы покрывала странного покроя шляпа. Горло у него было всегда повязано теплым шарфом, глаза прикрыты синими очками, на одной ноге был ботинок, на другой сапог. Он заходил в первый попавшийся дом, не говоря ни слова омывал руки и, сотворив молитву, садился за стол, ожидая, когда ему подадут что-нибудь поесть. А поев, он опять творил молитву, вставал и безмолвно уходил прочь. Очень редко он говорил с кем-нибудь. Но еще реже становился лицом к стене и начинал петь, но так чудесно, так замечательно, с таким чувством, так мастерски, что прохожие бросали все дела и останавливались послушать, как «сумасшедший изображает кантора». Однако человек этот очень редко допевал до конца. На самом интересном месте, забравшись на самые верхи, рассыпавшись трелями, он вдруг, бывало, захохочет, начнет мяукать кошкой, лаять по-собачьи, а то захлопает в ладоши, как петух крыльями, и глуповато закричит — «кукареку!» Все прямо-таки мертвели при этом.

Женщины, глядя на него, качали головами и, утирая слезы, благочестиво говорили:

— Нечего сказать — божье созданье, грешный человек! Глядите, люди, что может стрястись! Такое дарование! И что же? Вселился в него злой дух, и все тут — да ми́нет нас эдакая напасть! Горе отцу и матери его, где они там есть! Господи, покарай меня лучше смертью, чем эдакой казнью!

Мужчины относились к нему с большим состраданием — кормили, поили его, иной раз давали старую рубаху, какие-нибудь обноски, а то и грошик сунут. Страдания причиняли безумному только мальчишки,— тут уж на его долю приходился целый пуд лиха. Озорники гнались за ним ватагами, не давали ни минуты покоя, толкали, щипали, хватали за волосы, давали щелчки и кричали вслед во все горло:

— Соловей! Ты соловей, петух или аист? Спой нам что-нибудь, черногуз!

Но человек этот все хладнокровно сносил, даже не морщился, не вступал ни с кем в пререкания, только, высоко вскинув голову, шагал и шагал вперед, гордо поглядывая на окружающих сквозь синие очки, словно весь великий, неоглядный мир — его вотчина.

Всем, конечно, понятно, что это был Иоселе-соловей.

1886

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ

Повесть в письмах

Ко второму изданию

Менахем-Мендл — не герой романа и вообще личность не выдуманная. Это человек обыденный, заурядный, с которым автор лично и близко знаком. Он вместе с ним прошел лет двадцать жизненного пути. Встретившись в 1892 году на одесской «малой бирже», мы потом рука об руку проделали все семь кругов ада на бирже в Егупце, «шли» с ним вместе в Петербург и Варшаву, пережили множество кризисов, кидались от одной профессии к другой, но — увы! — нигде счастья не нашли и вынуждены были в конце концов, по примеру многих, эмигрировать в Америку. Там, говорят, евреям неплохо... Об этом можно будет судить по дальнейшим его письмам из Америки.

А пока суд да дело, я собрал все письма, которые он на протяжении восемнадцати лет писал своей жене Шейне-Шейндл в разное время и печатал в разных местах, так же как и письма его жены к нему, и составил из них книгу, чуть ли не письмовник.

Да и в самом деле письмовник. В нем шесть разделов: при этом я имел в виду следующее: если купец пожелает написать письмо своей жене, скажем, из Одессы, — пусть ищет образец в первой книге «Лондон». Биржевой спекулянт, торгующий всякого рода акциями и тому подобным товаром, найдет образчик письма во второй книге — «Бумажки», или же в

третьей — «Миллионы». Маклер, сват или агент пусть ищут дальше. Словом, каждый найдет здесь свое.

А так как еврейские дела, по милости божьей, повсюду одинаковы, то есть начинаются они как будто бы совсем неплохо и сулят золотые горы, а кончаются в большинстве случаев крахом, как у моего Менахем-Мендла, то над составлением письма нет нужды особенно трудиться. Его можно взять прямо из книги таким, как оно есть. А если найдется один из тысячи, у которого дела идут хорошо, то он может быть уверен, что это ненадолго. Все, что висит в воздухе и держится на ветру, должно в конце концов рухнуть. Это, конечно, не особенно приятно, но зато правда, а ведь правду все люди любят...

Готовя второе издание писем, я многие из них сильно сократил, а многие и вовсе выбросил. Потеряли при этом только наборщики, больше никто. Автор этой книги считает, что произведение, чем оно короче, тем лучше. Кто находит, что книга и сейчас длинновата, может быть уверен, что при дальнейших изданиях она с каждым разом будет становиться все короче и короче, пока не приблизится к идеалу: «С молчанием этого не сравнить...»

Шолом-Алейхем

Нерви (Италия), канун праздника ханука.

1909

«ЛОНДОН»

(Одесская биржа)

I

Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку*

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я просто не в состоянии описать тебе город Одессу, его величие и красоту, его жителей с их чудесными характерами, а также блестящие дела, которые здесь можно делать.

Представь себе, стоит мне выйти с тросточкой на Греческую (так в Одессе называется улица, где заключаются всякие сделки) — и у меня двадцать тысяч дел! Хочу пшеницу — пожалуйста! Отруби? — Отруби! Шерсть? — Шерсть! Мука, соль, перья, изюм, мешки, селедки, — в общем, все что ни назови, можно найти в этой Одессе! Я поначалу наметил было два-три дельца, но они мне пришлись не по душе. И я шатался

по Греческой до тех пор, пока не наткнулся на настоящее дело. А именно? Я торгую «Лондоном» и зарабатываю на этом совсем неплохо! Иной раз четвертной перепадет, иной раз полсотни, а при удаче — так и вся сотня. Словом, «Лондон» — это такое дело, которое может человека осчастливить в один день. Вот недавно приехал сюда какой-то синагогальный служка, хапнул одним махом тридцать тысяч, и теперь ему сам черт не брат! Говорю тебе, жена моя дорогая, золото здесь на улицах валяется! Я, упаси бог, не раскаиваюсь, что съездил в Одессу. Но ты, пожалуй, спросишь, как я попал в Одессу, — ведь я совсем ехал в Кишинев? Суждено мне, видать, свыше нажить добрых несколько рублей! Вот послушай, как господь бог направляет человека.

Когда я приехал в Кишинев к дяде Менаше за приданым, он меня спрашивает: зачем оно мне нужно?

— Стало быть, нужно! Не надо было бы, я бы не приезжал.

Тогда он мне говорит, что наличных у него сейчас нет, он может дать распоряжение к Бродскому в Егупец.

— Пускай будет Егупец! Лишь бы деньги!

А он говорит, что не знает, есть ли сейчас в Егупце деньги. Он может дать мне письмо к Бахраху в Варшаву.

— Пускай будет Варшава, — отвечаю, — лишь бы деньги!

Тогда он говорит:

— Зачем тебе Варшава? Варшава — далеко. Если я хочу, он даст мне бумагу к Барабашу в Одессу.

— Пускай будет Одесса! — говорю я. — Лишь бы деньги!

— На что тебе так понадобились деньги? — спрашивает он опять.

— Стало быть, нужны! — повторяю я. — Не надо было бы, я бы не приехал.

Короче говоря, изворачивался он, как мог, но помогло это ему, как мертвому банки: раз я сказал: «Деньги!» — значит, деньги!

Тогда он достал два векселя по пятьсот рублей сроком всего на пять месяцев, на триста рублей дал письмо к Барабашу в Одессу, а остальные — наличными: это, — говорит он, — будет мне на расходы.

Так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Будь здорова, кланяйся от меня тестю, и теще, и деткам, чтоб здоровы были, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Когда я пришел с денежным письмом к Барабашу, мне говорят, что никакое это не письмо! А что же это? На вербе — груши! Пускай, говорят они, раньше прибудет от вашего дяди Менаше вагон пшеницы, и пускай эта пшеница будет продана, вот тогда вам дадут деньги. Интересная история! Я тут же написал дяде Менаше в Кишинев открытку, что если он не вышлет немедленно пшеницу, я ему телеграфирую! Словом, пиши туда, пиши сюда — ходил я по Одессе сам не свой. И только вчера прибыли из Кишинева сто рублей наличными и на двести рублей вексель. Теперь ты понимаешь, почему я тебе все это время не писал? Я считал, что эти триста рублей пропали! Отсюда следует, что человек никогда не должен отчаиваться. Есть на свете бог, он правду видит. Все наличные я всадил в «Лондон», купил комплект «госов» и «бесов» *, и — благодарение богу, — говорят, что есть уже прибыль!

Тот же.

II

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что меня снова мучает давнишняя спазма, такую бы самую твоему дяде Менаше, который так ловко зажилил эти полторы тысячи целковых приданого! Такую бы ему жизнь! Такое счастье! Моя мать, дай ей бог здоровья, говорит: «Послали кота по сметану!» Векселя я бы у него брала? А хворобу он не хочет? Лихоманку сроком на пять месяцев! Слушай, Мендл, дай бог мне соврать, но боюсь, что остальных денег ты не увидишь, как ушей своих, которые занесло аж в Одессу. Твое счастье, что мама ничего не знает об этих векселях: несдобровать бы тебе! А то, что ты пишешь о твоих заработках, всем нам, конечно, это очень приятно. Но — тысяча чертей тебе! Почему бы не написать по-человечески, что это за товар такой, которым ты торгуешь? Почем аршин? Или его продают на вес? Откуда мне знать, что это такое и с чем это едят? И еще одного я не понимаю: вот, ты говоришь, купил товар, и вот уже имеешь прибыль? Что же это за товар, который растет в цене, как на дрожжах? «Мухоморы, — говорит моя мама, — и те без дождя не растут!» А если товар и в самом деле вздорожал, почему же ты его не продашь? Чего ты ждешь? Чтоб к нему и подступу не было?

А почему ты не пишешь, где остановился, как столуешься? Как будто я тебе чужая, не жена до ста двадцати лет, а какая-нибудь полюбовница поганая! Как мать говорит: «Уйдет корова в стадо, так «до свидания» не скажет!»

Послушал бы ты меня, Мендл, расторговался бы поскорее, собрал бы наличные и приехал бы домой. Найдешь здесь более приличное дело, чем вот это самое... Знать бы мне так лихорадку, как я знаю, что это такое!

И будь здоров, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

III

Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она! Со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно: меня нисколько не удивляет, что ты не понимаешь, в чем смысл «Лондона». Коль скоро опытные купцы, бородачи, об этом понятия не имеют, так где уж тут разобраться женщине? Поэтому я все объясню, чтобы ты поняла, в чем тут дело.

Надо сказать, что «Лондон» — материя тонкая. Продают его только на словах, а видеть никто его не видит. И каждую минуту он то дорожает, то дешевеет. То — «гос», то — «бес». Это значит, что рубль в Берлине то повышается, то понижается. Все зависит от Берлина: как Берлин скажет, так и будет! Курсы прыгают вверх и вниз, как сумасшедшие, депеши летят туда и сюда, а люди носятся, как на ярмарке, делают дела, получают прибыль, а среди них и я. Шум, суета — одуреть можно! Вот, например, вчера я сделал «стеллаж» *, стоил он мне полсотни, а сегодня утром, ровно в двенадцать часов, от моей полсотни и следа не осталось!

Но ты, наверное, не знаешь, что значит «сделать стеллаж», — надо тебе это объяснить. Дают, к примеру, полсотни за день, а тот «ставит курс». Ты можешь сделать из этого «стеллажа» «две стороны»: то есть два «беса» или два «госа», а то и просто остановиться и продать другому «втемную» до «закрытия» (так у нас в Одессе называется предвечернее время, как у вас, скажем, сумерки). И вот, если курс

«отстает», то полетели твои пятьдесят рублей. Вот это значит «сделать стеллаж».

Но только ты не огорчайся, дорогая моя жена! Потерять полсотни — по здешним делам сущие пустяки! Бог поможет, пойдет «правой стороной», и я заработаю деньги, много денег! А насчет того, что ты пишешь о векселях дяди Менаше, то ты ошибаешься. Черт его еще не взял, он еще пользуется доверием! Если бы я уступил хоть немного, у меня бы эти векселя с руками оторвали! Но я не желаю. Если понадобятся деньги, я лучше продам парочку «госов» или «бесов». Но мне и это сейчас ни к чему. Я лучше куплю еще один «стеллаж». Чем больше «стеллажей», тем лучше! Ляжешь спать со «стеллажом», так и спится по-другому!

Так как я сейчас очень тороплюсь, то пишу тебе вкратце. Бог даст в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Ты спрашиваешь, где я остановился и что ем? Так пишу тебе, жена моя, что я и сам не знаю, на каком я свете. Одесса — огромный город, все здесь очень дорого, дома высоченные — до небес, полчаса надо карабкаться по железным лестницам, пока доберешься до своего пристанища под самым небом. Окошечко крошечное, как в тюрьме. Я просто оживаю, когда наступает день и можно вырваться из этой тюрьмы туда, на Греческую. И вот там, на ходу то есть, и перекусишь, что бог пошлет, потому что — кто это может усесться кушать, когда надо поминутно узнавать, каковы курсы в Берлине! Зато фрукты здесь нипочем. Виноград едят, не как у вас в Касриловке в Новый год, только чтобы сотворить молитву над ним, — здесь его едят каждый день, на улице, без всякого стеснения.

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что смотрю я на тебя, как на сумасшедшего! Знать бы мне так твою Одессу, не к ночи будь помянута, как я понимаю, что ты такое болтаешь в твоем письме: «гос», «бес», «дилижанс»... Черт вас там ведает! Летят у тебя полусотенные, как галушки, — там у вас, видать, и деньги не деньги, трын-трава! Конечно, в золоте можно ходить при таких делах! Не понимаю, хоть ты мне голову сними, что это за товар, которого никто не видит? Кот в мешке!..

Слышишь, Мендл, не нравится мне все это! Я у отца своего не приучена к такого рода воздушным заработкам, упаси меня бог от них и в дальнейшем! Как моя мама говорит: «На воздухе и простудиться недолго...» Ты пишешь: «С дилижансом и спится по-другому...» Кто это спит с дилижансом? По-каковски ты говоришь? По-турецки, что ли? А насчет того, что ты пишешь, будто векселя дяди Менаше у тебя с руками оторвут, то если я в это и не поверю, большого греха не будет. Правильно мать говорит: «Не верь, пока не пересчитаешь...» Знаешь что, Мендл? Послушай меня, жену, — плюнь ты на Одессу и приезжай лучше домой, в Касриловку. Полторы тысячи у тебя есть, квартиру дает нам отец, лавки в аренду сдаются, — чего тебе еще не хватает? Зачем нужно, чтобы люди перемывали мои косточки, чтобы враги болтали, будто ты удрал в Одессу, а меня бросил, — не дожить тебе до этого! Скапутиться за нашу Касриловку может твоя Одесса со всеми твоими домищами с железными лестницами, по которым надо карабкаться, как одурелому! Очень стоит ради этого портить себе желудок!

Подумаешь, виноград дешев! Виноград надо жрать, а сливы чем плохи? У нас нынче урожай на сливы, пятиалтынный — ведро! Но разве тебя интересует, что дома делается? Ты даже не спрашиваешь, как дети поживают. Забыл уже, что ты отец троих деточек, дай им бог здоровья! Недаром мама говорит: «Дальше очи — дальше сердце...» Такую бы тебе болячку, какую правду она говорит!

Пока будь здоров и счастлив, как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

V

Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что сейчас пошел невероятный «бес», и я накупил себе «Лондона» целую кучу и обеспечил себя семнадцатью «бесами» и восьмью «стеллажами». Затем я должен получить несколько сот рублей «диференцов», и тогда я, с божьей помощью, сделаю еще немножко «бесов». Посмотрела бы ты, дорогая моя, как тут заключаются сделки на слово, ты поняла бы, что такое Одесса. Простой кивок здесь все равно что контракт. Я выхожу на Греческую, захожу в кафе, сажусь за столик и заказываю стакан чаю, или кофе, или еще там чего-нибудь. Подходит ко мне один маклер, второй, третий... Не надо ни контрактов, ни расписок, ни строчки написанной! У каждого маклера — книжечка и карандашик. Он достает книжечку и записывает, что я имею у него два «беса», а я достаю несколько рублей и плачу ему — удовольствие! А спустя час-другой, если бог захочет, узнают

«таксировку» из Берлина, и прибегает тот же маклер и дает тебе четвертной билет — чистой прибыли, а потом, когда прибывают еще сведения, он сует тебе полсотни, а к концу дня, если богу угодно, набегает и вся сотня, а иной раз может случиться, что и две, а то и все три... Почему бы и нет? На то и биржа! Биржа — это игра, дело удачи. А насчет того что ты не веришь в векселя дяди Менаше, то могу тебе сообщить, что я их уже продал, — иначе откуда бы я взял деньги на такое количество «бесов» и «стеллажей»? «Стеллажи» — это не дилижансы, как ты пишешь. Дилижансы — это то, на чем ездят из Радомысля в Житомир, а «стеллаж» — это лист бумаги, на котором кто-нибудь пишет и расписывается в том, что когда настанет «ультимо», то есть в конце месяца, он обязан столько-то фунтов сверх того или иного курса — либо дать тебе, либо получить с тебя. Так что выбор за тобой, поступай как знаешь: хочешь давай, хочешь получай. Теперь ты понимаешь, что такое «стеллаж»? Если бог даст добрые «варьяции» на «Лондон» и в газетах заговорят о войне, русский рубль полетит вниз, а «Лондон», как двинется вверх, — ничего кругом узнать нельзя! Вот заговорили на прошлой неделе, будто английской королеве что-то не можется, и тут же русский рубль упал, а «стеллажи» подскочили выше домов! Теперь в газетах пишут, что королева поправилась, — и русский рубль поднялся в цене, и уже можно покупать «стеллажи», сколько душе угодно. Словом, не беспокойся, дорогая моя, все, бог даст, будет, как у нас в Одессе говорят, «в наилучшем порядке»! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам и всем остальным.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! У нас в Одессе страшная жара, — изжариться можно, да и по ночам таешь как воск. Поэтому как только наступает вечер, город пустеет.

Народ разъезжается на Фонтаны — на Большой Фонтан или на Малый Фонтан, а то и вовсе на «Ланджерон». Там имеется все, что душе угодно, можно купаться в море, можно слушать музыку — и все это бесплатно, без копейки денег!

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я уже опять вожусь с зубами, дай бог твоим одесским «дронжикам»! Я здесь лезу на стенку от зубной боли, мучаюсь с его детьми, а ему хоть бы что! Живет себе, как господь бог, в Одессе, катается верхом на «дронжиках», купается в море, и музыка ему подыгрывает. Чего ему еще не хватает? Как моя мама говорит: «На метле бы он у меня верхом разъезжал, а не на дронжиках!» Одно из двух: если ты купец и торгуешь этим замечательным товаром, который называется «Лондон», то думай о торговле, а не об английской королеве. Думай лучше о своей жене. У тебя есть жена — до ста двадцати лет, и трое деток, дай им бог здоровья. Моя мама говорит: «Думай о себе, тогда забудешь о других...» А что касается твоих счастливых дел, то скажу тебе правду, у меня от них голова кругом идет! Не верю, хоть режь меня, что сотни так и летят прямо в руки! Что это колдовство такое, наваждение, что ли? Смотри, как бы ты от великой радости не тронул приданое. Имей в виду, если хоть один грош убудет из приданого, достанется тебе от матери!.. Хоть бы вспомнил! Ведь ты хорошо знаешь, что мне до зарезу

нужна шелковая мантилья, шерсть на платье, два куска морозовского батиста. Всякую глупость я должна ему напоминать, — сам он, бедняга, ничего не знает, мозги у него высохли. Не зря моя мама говорит: «Кто сам не догадается, того в бок толкают».

Как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

VII

Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже далеко пошел, а именно — у меня уже полно «бесов», и я теперь в состоянии дать и взять сразу десять тысяч фунтов, двадцать тысяч фунтов, разумеется, при наличии «депо»... У меня уже крупные знакомства в конторах, и я уже могу себе позволить сидеть у Фанкони в кафе наравне с другими крупными спекулянтами, за белыми мраморными столиками и заказывать порцию мороженого, потому что у нас в Одессе такой порядок: чуть присел к столику — к тебе подходит человек во фраке и велит, чтобы приказали подать мороженое. Нельзя же быть свиньей, и поневоле велишь подать. Но не успеешь съесть одну порцию мороженого, как тебе велят потребовать вторую, — иначе тут сидеть нельзя, и остается шататься по улице. Дельцу это, конечно, не пристало, да и городовой следит, чтобы на улице зря не околачивались... Но так как людям все-таки нужно быть на улице, то они ловчатся, обманывают городового, прячутся от него как можно дальше... А если он все же

поймает кого-нибудь, он тащит его, как драгоценность, прямо в участок: «Вот, мол, я доставил вам еврея...» Ты не веришь в крупные «варьяции» и «диференции»? Это значит, что ты слаба в политике. Вот, к примеру, сидит у нас в кафе у Фанкони человек, которого прозвали «Гамбетта» *. День и ночь он говорит о политике и только о политике! Он приводит тысячу доказательств, что пахнет войной. Он слышит, говорит, каждую ночь пушечные выстрелы — не здесь, а у французов. Французы, говорит он, никогда в жизни не простят Бисмарку *. Должна, непременно должна в скором времени вспыхнуть война, иначе и быть не может! Послушать Гамбетту, то нужно продать все, что имеешь, снять с себя последнюю рубаху и покупать «стеллажи» и «бесы» — бесконечное количество!

Ты пишешь мне насчет мантильи... Дорогая моя, я присмотрел для тебя кое-что получше: золотые часики с медальоном и золотой цепочкой, и брошь, и браслеты видел я в окне совсем недалеко от Фанкони... Замечательные вещи! Прима! Но так как я сейчас очень занят, то пишу тебе вкратце. Дай бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Сутолока здесь, не сглазить бы, очень велика, и люди так поглощены делами, что забывают о субботе и о празднике. Для меня, конечно, суббота — это суббота! Хоть бы камни с неба валились, я в субботу непременно иду в синагогу. Одесскую синагогу стоит посмотреть! Во-первых, она называется «хоральной», потому что потолок у нее колпаком, а особой восточной стены там нет *. Все сидят лицом к востоку. А кантор (его зовут Пине; ну и кантор!) хоть и бреет бороду, но молитвы знает получше вашего старого верзилы Мойше-Довида! Ты бы видела, что он вытворяет, когда доходит до молитвы «Да будет благословенно имя владыки вселенной!». «Хвалебную песнь субботе» можно по билетам слушать! Вокруг кантора стоят певчие в маленьких

талесах — красота! Если бы суббота бывала дважды в неделю, я бы дважды в неделю ходил слушать Пине. Не понимаю я здешних евреев, почему они не ходят молиться? И даже те, что ходят, не молятся. Сидят, как намалеванные, в цилиндрах, с жирными холеными рожами, в маленьких талесах и молчат. А если кому-нибудь захочется помолиться чуть погромче, к нему подходит служка с пуговицами и говорит, чтоб тихо было. Странные в Одессе евреи!

Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что я не понимаю, с какой такой радости надо сидеть у Франкони, — сгореть бы ей! — за мраморным столиком и жрать с утра до ночи черт знает что! Лишь бы деньги тратить? И что это у вас там, в Одессе, за сумасшедший, которому снится, что стреляют, чтоб его самого застрелило! Войны ему захотелось! Как моя мама говорит: «Чужая кровь что вода!» Золотые часики с браслетами ты увидал в одесских магазинах? Нашел, чему радоваться! Что мне, Мендл, от твоих подарков, которые ты видишь за стеклом? Моя мама говорит: «Вареники во сне — это не вареники, а только сон...» Ты лучше зайди в магазин и купи мне кусок полотна на белье, и мадаполаму на наволочки, и пару байковых одеял, и немного серебра для дома, и еще кое-чего. Представь себе, даже Блюма-Злата, — чтоб ее пузырем раздуло! — и та уже куражится передо мной. Почему? Она, видишь ли, носит нитку

жемчуга, чтоб ее задушило! Вот кому доля замужем! Людям везет во всем. Одна я родилась в такой злополучный час, что должна каждую мелочь мужу напоминать! Пусть тебе кажется, что ты купил еще один «гос» или «бес», или черт его знает, как это там у вас называется! Я говорю ему: продай, что имеешь, и сосчитай деньги, а он покупает еще! Чего ты боишься? Не достанешь потом этого товара? Я уже понимаю, что это за торговля и что за город твоя Одесса, когда суббота — не суббота, и праздник — не праздник, и кантор ходит с бритой мордой *, — мои бы болячки на его голову! Мне кажется, из такого города и от таких людей бежать надо, как от поганой ямы, а он там завяз и вылезать не хочет. Как моя мама говорит: «Забрался червяк в хрен и думает, что слаще ничего и нету...» Поэтому и пишу тебе, дорогой мой муж, подумай хорошенько, что ты делаешь, и перестань проводить время в замечательной твоей Одессе, — пусть она сгорит, — как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Да! Скажи мне, Мендл, вот эта «Франконя», о которой ты пишешь, что вы там просиживаете дни и ночи, — кто это такая, это «он» или «она»?..

IX

Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что пахнет уже крупными тысячами! Если бог даст и «ультимо» пройдет благополучно, то в моих руках главный

выигрыш! Заинкассирую все свои «диференцы», съезжу домой и возьму тебя, с божьей помощью, сюда, в Одессу. Квартиру снимем на «Ришелье», купим хорошую мебель и заживем так, как живут у нас в Одессе. Но пока я, не про тебя будь сказано, вожусь с желудком: видно, мороженое мне повредило... Теперь, когда прихожу к Фанкони, я мороженого не ем. Я велю подать себе напиток, который тянут через соломинку. Это и сладко и горьковато, вроде лакричного порошка с солью... Больше двух, в крайнем случае — трех стаканов этого напитка одолеть невозможно. А все остальное время приходится таскаться по улице и иметь дело с городовым. А это очень неприятно! Уж он давно ко мне присматривается, но до сих пор господь бог миловал: я каждый раз удираю от него и прячусь. Чего не делают ради заработка! Только бы реализация прошла благополучно, — тогда я, с божьей помощью, куплю тебе все, что пожелаешь, и гораздо больше, чем ты можешь себе представить. А насчет Гамбетты ты ошибаешься: вовсе он не сумасшедший, он только малость вспыльчив. Упаси бог сказать ему что-нибудь о политике не так, как ему нравится! Он готов разорвать человека на куски! Он утверждает, что не сегодня-завтра обязательно должно что-то случиться. А то, что сейчас вдруг тихо стало, — говорит он, — лишний раз доказывает, что война на носу. «Перед бурей, — говорит он, — всегда бывает тихо...» Вчера я мог продать несколько «бесиков» и два-три «стеллажа» и прилично заработать, но Гамбетта не дал мне этого сделать. «Я, говорит, вам голову оторву, если вы в такое время выпустите из рук товар! Наступает такая пора, — говорит он, — когда полусотенный «стеллаж» будет стоить двести рублей, и триста, и четыреста, и даже тысячу, а почему и не две?..» Будь так, как говорит Гамбетта, даже наполовину, — и я разбогател! Надеюсь, что после реализации я поверну обратно на «гос», начну покупать рубли и давать «Лондон», на чем свет стоит! Я покажу им, что такое «Лондон» и что такое — рубль! Но так как у меня сейчас нет

времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Ты спрашиваешь о Фанкони (не «Франконя» как ты пишешь), то это не «он» и не «она». Это — кафе, где пьют кофе, едят мороженое и заключают сделки на «Лондон». Дай бог мне хотя бы половину стоимости сделок, которые там заключают за день!

Тот же.

X

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что дети болеют корью, все трое, я ночей не сплю, а он там распивает какую-то бурду с лакрицей! Чего ему не хватает, скажите на милость! Головной боли? Ишь ты, как он распрыгался! В Одессу он хочет меня забрать! Думает, — только скажет мне: «Одесса», — я туда и полетела! Выбей эту дурь из головы, Мендл, ты меня туда не заманишь! Будь спокоен. Бабка моей бабки никогда там не бывала и обошлись без Одессы, так уж и я как-нибудь обойдусь. Так я тебя и послушалась: брошу отца с матерью и всех родных и помчусь в треклятую Одессу, чтоб она в огне сгорела! Говори что хочешь, Мендл, не нравится мне твоя Одесса. Терпеть ее не могу, сама не знаю, за что. По моему разумению, тебе следует распродать помаленьку твой товар и получить деньги. Мама го-

ворит: «Из всех молочных блюд самое лучшее — это кусок мяса!..» А если ты немного и потеряешь, — черт с ним, их счастье! Что же касается твоего сумасшедшего Гамбетты (а я все-таки говорю тебе, что он сумасшедший!), который не дает тебе продавать, то я вообще не понимаю, при чем тут он? Какое ему дело? Плюнь ты ему в рожу, если он опять станет морочить тебе голову своими войнами! Послушай меня, Мендл, кончай с этим делом, продай все, ради бога! Заработал несколько целковых? И хватит. Сколько можно торчать в этой Одессе?

Но что говорить? Разве я что-нибудь значу? Ведь я же всего лишь Шейне-Шейндл, я ведь не Блюма-Злата! Блюма-Злата только пикнет на своего мужа, а его уже лихоманка трясет! Ради бога, Мендл-сердце, распродай все и собирайся в дорогу! Не забудь только дюжину вышитых сорочек для меня, бархату маме на пальто — пусть и она помнит, что зять ее был в Одессе и торговал с сумасшедшими, — кусок ситца модного рисунка и, если войдет в чемодан, — немного стеклянной посуды, а остальное — по твоему усмотрению. И приезжай домой, пусть люди перестанут мне колоть глаза и чернить меня. Попробуй только меня не послушать! Ничего! По-моему сделаешь! Если бы так чирьи на спине у врагов моих, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

XI

Менахем-Мендл из Одессы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что день реализации настал, и все пошло кувырком, господи спаси и помилуй! Большая «варьяция», которой я ждал, как мессии, обернулась мыльным пузырем. Бисмарк, говорят, простудился, схватил насморк — и в политике пошла такая суматоха, что никто ничего не понимает! «Лондон» стал действительно на вес золота, но рубль провалился в тартарары, и пошел страшный «бес»! Ты, пожалуй, спросишь, где же мои «бесы» с моими «стеллажами»? Но дело в том, что теперь уже «бесы» не «бесы» и «стеллажи» не «стеллажи», никто не хочет брать, никто не желает давать, вот и поступай как знаешь! И словно назло, я рассовал свой товар таким людишкам, которых — чуть прижало, а их уже и раздавило. Словом, горе, чума, все вверх дном! Ах, если бы я изловчился на один день раньше! Но поди будь пророком! Теперь все бегают, как травленые мыши, безумие охватило каждого! Все кричат: «Лондон»!», «Где мой «Лондон»?», «Давайте мне «Лондон»!», «Но где там «Лондон»?», «Что там «Лондон»?» Летят оплеухи, мелькают кукиши, родителей поминают, и я тоже, как и все... В общем, нигде, как видно, никакого «Лондона» нет!.. Короче, дорогая моя жена, кругом мрак... Все мои заработки, все приданое, драгоценности, которые я для тебя купил, — все это пошло туда... Даже субботний кафтан пришлось снять и заложить.

Я сейчас в очень печальном положении, даже представить себе трудно, и так скучаю по дому, что вся душа истомилась! Проклинаю себя сто раз на дню! Лучше бы я ногу себе сломал до того, как приехал сюда, в Одессу, где человек ничего не стоит. Здесь можно умереть на улице, и никто даже не оглянется. Сколько маклеров кормилось возле меня, сколько их благодаря мне нажилось, а сейчас они меня даже не узнают! Раньше они меня здесь называли «касриловским Блейхредером» *, а теперь сами же маклеры надо мной издеваются. Они говорят, что я не понимаю дела. «Лондон», говорят они, понимать

надо! А где ж они раньше были, эти умники? Обо мне вообще больше не говорят, как если бы я умер! Лучше бы я и в самом деле умер, чем дожить до такого! И как назло, здесь этот Гамбетта, пропади он пропадом, виснет над головой и не перестает трещать на ухо о своей политике: «Ну, не говорил ли я вам, что будет «бес»?» — «Что мне толку от вашего «беса», — спрашиваю я, — когда мне «Лондона» не дают?» А он смеется и говорит: «Кто же вам виноват. Биржу, говорит, понимать надо! А кто не умеет торговать «Лондоном», пусть торгует солеными огурцами...» Говорю тебе, жена моя дорогая, — так опротивела мне Одесса с ее биржей, с Фанкони, со всеми этими людишками! Бежал бы куда глаза глядят! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст бог в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. И кланяйся сердечно деткам, и тестю, и теще.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Здесь, в Одессе, такой порядок: если кому-нибудь нужно одолжить немного денег, он обращается не к соседу, не к родственнику или к знакомому, как, скажем, у нас в Касриловке. Не потому, что лень к ним сходить, нет, — просто каждый знает наперед, что никто с деньгами не сунется: не дают, и дело с концом! Как же быть, если деньги все-таки нужны? Для этого существует «ломбард», который выдает какую угодно ссуду, был бы залог приличный: золото так золото; серебро так серебро! Медь? И медь сойдет, и одежина, и стул. Приведи корову, — тебе и под нее деньги дадут. Беда только в том, что оценивают в ломбарде все чересчур дешево! Зато проценты дерут без стеснения, кусачие проценты, так что процент подчас всю ссуду съедает. Вот ломбард и производит каждые две недели «леситацию», то есть распродажу невыкупленных закладов. Люди покупают вещи по дешевке и неплохо зарабатывают. Будь я при деньгах, я бы тоже этим занялся и вернул себе то, что потерял, да еще с лихвой... Но что поделаешь!

Без денег лучше не родиться на свет божий, а уж если родился, то лучше умереть... Не могу я больше писать. Пиши мне о твоем здоровье, как поживают детки, и кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Тот же.

XII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Одессу

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе: дурья голова, подумай, что ты натворил! Какой черт понес тебя в Одессу? Чего ты там не видал? Жареных рябчиков ему захотелось! «Лондон»! Мороженого! Бурды с лакрицей! Увидал, что «Лондон» банкротится, чего же ты вовремя не покончил с ним, согласился бы на какой-нибудь процент, как все купцы поступают! А люди где? А раввин? Господи боже мой, что это за отговорка — «ультимо-шмультимо»? Ведь ты покупал товар, — куда же он девался?! Боже мой, какое несчастье! Чуяло мое сердце, что от Одессы — сгореть бы ей! — добра не будет! Я пишу ему: уезжай Мендл, плюнь на них с их «Лондоном», чтоб его холера забрала, господи милосердый! Удирай, — говорю я ему, — удирай, Мендл! Как мать говорит: «Дырявая крыша, трещала б потише!» Нет, не слушает, — ведь я же всего только Шейне-Шейндл, горе мне, а не какая-нибудь Блюма-Злата. Нет, моя мама умница! Она все время твердит, что мужу потакать нельзя, мужа надо держать в руках, чтобы он чувствовал, что есть у него жена! Но что поделаешь, когда у меня такой характер, не могу я быть грубой, как Блюма-Злата, не умею я мужа в гроб вгонять, как она, не умею!

Была бы твоей женой Блюма-Злата, — не дожить ей до того! — тогда бы ты знал, как велик наш бог! А насчет того, что ты говоришь о смерти, умник мой, то должна тебе сказать, что ты большой дурак: не по своей воле человек родится, не по своей воле и умирает. А если даже потеряно приданое, так ничего больше не остается, как руки на себя наложить? Глупый! Где это сказано, что Менахем-Мендл должен иметь деньги? Разве с деньгами Менахем-Мендл не тот же Менахем-Мендл, что и без денег? Чудак! Против бога хочешь идти? Ты же видишь, что он не велит, чего же ты ерепенишься? Черт с ними, с деньгами! Пусть тебе кажется, что разбойники напали на тебя в лесу, или ты заболел и все приданое просадил ко всем чертям! Главное, не будь бабой, Мендл! Положись на предвечного, он — всех кормящий и насыщающий. Приезжай домой, — гостем будешь, дети тебя заждались... Посылаю тебе несколько рублей на дорогу и смотри, Мендл, не ходи ни на какие «лестации» и не торгуй старым тряпьем! Этого еще не хватало! Как только получишь мое письмо и деньги, немедленно распрощайся с Одессой. А как только ты выедешь из города, пусть он загорится со всех четырех сторон, пусть он горит и пылает, и сгорит дотла, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Конец первой книги

1892

«БУМАЖКИ»

(Егупецкая биржа)

I

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже не в Одессе. Я в Егупце (тоже красивый город, мне бы такую жизнь!) и не торгую больше ветром и воздухом, «Лондоном»... У меня сейчас, слава богу, дело более верное, солидное. Бумажное дело, то есть я торгую «бумажками». Ты, конечно, спросишь, как я попал в Егупец? Должен тебе, дорогая моя жена, рассказать целую историю и просить не обижаться за то; что я так долго не писал. Просто не о чем было писать. К тому же я рассчитывал, что вот-вот еду домой, и бог свидетель, как тянуло меня домой, но, видно, предначертано свыше, чтобы я очутился в Егупце и торговал «бумажками». Клянусь тебе, доро-

гая моя, своей жизнью, что я уже в вагоне сидел, ехал в Касриловку. Так вот надо же было мне встретиться с одним одесским спекулянтом, который едет в Егупец. Чем он занимается в Егупце? — спрашиваю. Он, говорит, торгует «бумажками». Что значит «бумажками»? «Бумажки», — объяснил он, — это не «Лондон», который зависит от Берлина, от Бисмарка и от английской королевы.

«Бумажки» — это такое дело, которое зависит только от Петербурга и от Варшавы. И еще одно достоинство: это вещь, которую можно видеть, нащупать руками, не то что «Лондон», который не больше, чем фантазия, сон... Затем он стал мне расхваливать город Егупец и тамошних спекулянтов: это совсем другие люди, — говорит он, — деликатные люди! Он, говорит, не даст десять битых одесситов за одного егупецкого биржевика! Словом, человек этот так меня разохотил, что я решил: ведь я же все равно еду мимо Фастова, — дай-ка заодно съезжу в Егупец — посмотреть здешнюю биржу и здешних дельцов. И попал я как раз в такое время, когда на бумаги идет ужасный «бес», а «премии» продают за полцены. Много денег вкладывать не нужно, вот я и решил — сыграю разок, авось, бог милостив, заработаю, и будет у меня на расходы. И бог смилостивился, «бумажки» поднялись, я продал свои «премии» с прибылью, купил еще парочку «премий» и снова заработал, сколотил добрых несколько сотен и — как раз — наличными. Тогда я подумал: зачем мне платить кому-то «премии», — лучше я сам себе «ангажирую» * наличные «бумажки»! Обратился через контору в Петербург и составил себе «портфель» из самых различных «бумажек»: «Путивль» *, и «Транспорт», и «Волга», и «Мальцевские», и тому подобные акции, которые растут в цене, и я, слава богу, тоже расту! Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяюсь сердечно деткам, а также тестю и теще.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Когда будешь писать, пиши мне на мое имя в Бойберик*, потому что в Егупце мне жить нельзя*. Поэтому я целыми днями верчусь на Крещатике возле биржи, а вечером еду в Бойберик. Там живет вся компания биржевиков. Живут на дачах, ночи напролет играют в карты (мужчины и женщины вместе, — такой здесь порядок...). А рано утром все спешат в Егупец, а вместе со всеми и я.

Тот же.

II

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем!

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, чтоб враги мои были так в силах жить, как я в силах писать тебе письма. Я еле ноги волочу, мне еще, чего доброго, потребуется «реперация», — так говорит наш новый доктор — горе ему и все казни египетские! * Он надеется из меня деньги выкачивать! А от чего, думаешь, все это у меня? Только от досады, от сердечной боли. Помилуй, — я посылаю тебе на расходы и наказываю, чтобы ты приехал домой, а ты уезжаешь в Егупец, — разве не заслужил ты, чтоб тебя живым в землю зарыли! А позор какой! Людей стыдно! Как мать говорит: «Сморкай нос да размазывай по роже...» Торговля! Дела! А я-то думала: уж если твой замечательный «Лондон» окачурился наконец, то я хоть в себя приду, вернется домой кормилец мой богоданный! Что же оказывается? Новое несчастье — Егупец проклятый! «Бумажки»! Новая напасть! Где это видано, чтобы люди торговали черт знает чем, клочками бумаги! Читаю я твое письмо, дорогой мой, и

думаю: отец-вседержитель! То ли ты, упаси бог, сошел с ума, то ли я спятила? Говоришь ты со мной на каком-то тарабарском языке: «бумажки», «Петербург»... «Крещатик»... «Портфель»... Наваждение, честное слово, нечистая сила тебя одолела! Днем он в Егупце, ночью — в Бойберике с мужчинами и женщинами вместе... Что ты делаешь по ночам в Бойберике? Что ты себе думаешь? Одно из двух: хочешь от меня избавиться, приезжай и разведись со мной. А не хочешь — убирайся уж лучше ко всем чертям в Америку, как Иосл Лейбл-Арона, и пусть уж я лучше не знаю, где твои косточки подевались, если мне суждено оставаться навеки брошенной женой с малыми детишками-цыплятами! Но не дождутся этого враги мои! Везет тебе как утопленнику, что я не могу сейчас ехать, что я наказана богом и вынуждена лежать в постели... Правильно моя мать говорит: «Без пальцев и кукиша не покажешь...» Не то бы я сразу же, как получила твое письмо, съездила в Егупец и доставила бы тебя домой! Я бы показала тебе, что жена — это жена! А что я тебя иной раз словом задену, — так ведь это с досады, да и отходчивая я. Как мать говорит: «Спичка вспыхнет, да тут же и погаснет...» Как желает тебе

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

III

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что иметь дело с «бумажками» не значит, как ты думаешь, —

просто торговать бумагой. Это только так называется, на самом деле речь идет об акциях, петербургских акциях, например таких, как «Путивль», «Транспорт», «Волга», «Мальцевские» и тому подобных. Это такие фабрики, где на акции строят железные дороги, то есть выпускают акции по сто рублей, а платят за них триста, потому что выдают «девендент» *. Чем больше «девендента», тем лучше. Но так как до конца года никто не знает, какой «девендент» будет выдан, то действуют втемную — покупают и покупают. Начинается, таким образом, «гос», то есть бумаги растут в цене, люди зарабатывают деньги, а среди них и я. Ты бы видела, дорогая моя жена, как мелкие людишки, маклеры, нищие вдруг выросли, сделались богачами! Живут на дачах в Бойберике, ездят за границу, на купанья, дамы у них ходят разодетые в бархат и золото, дети разъезжают на «лесепедах», в доме держат «губернанток», говорят по-французски и играют на фортепьянах, едят варенье и пьют вишневку, рубль — не деньги, не житье, а сплошное удовольствие! И все это — на «бумажки». Посмотрела бы ты, что творится на Крещатике, когда наступает день! Полно народу! Да и что удивительного? Из контор выгоняют, на улице стоять не дают. А ведь каждому хочется узнать раньше других, как обстоят дела... Кутерьма! Вот прибыли сегодня из Петербурга «Путивльские» по сто семьдесят восемь, — ну, как же не купить «Путивль»? Или, скажем, «Мальцевские», говорят, пришли по тысяче триста пятьдесят, — неужели не купить «Мальцевские»? Они каждый день растут в цене! На свои «Путивльские» мне предстоит заработать добрых несколько сотен. Но подождут они, положим, пока я их продам! Наоборот, я рассчитываю прикупить еще штук полтораста «Путивльских» и пять «Мальцевских» и немного «Волги». А если бог даст, то куплю еще немного «Транспорта», потому что из Петербурга пишут, чтобы обязательно покупали «Транспорт»! У всех здесь имеется «Транспорт»: у мужчин, у женщин, у врачей, у меламедов, у лакеев и прислуг, у ремесленников, — у кого только нет «Транспорта»? Здесь, когда встречаются, первым

долгом спрашивают: «Как сегодня с «Транспортом»?» Зайдешь в ресторан, хозяйка спрашивает: «Почем сегодня «Транспорт»?» Покупаешь коробок спичек, — лавочник спрашивает: «Почем сегодня «Транспорт»?» Словом, Егупец — это место, где действительно можно заработать. Все спекулируют, все тянутся вверх, зарабатывают деньги, а среди них и я. Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. А пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Ты спрашиваешь, что я делаю по ночам в Бойберике? Я же тебе писал, что в Егупце евреям жить нельзя, разве что «первогильдейцам» *. Когда я разгружу свой «портфель» и увижу итог, я уплачу «гильдию» и смогу жить в Егупце со всеми наравне. Пока приходится скрываться, а лучшего места, чем Бойберик, не найти. Это — дачная местность. Здесь много дачников. Дачники бегут, и я бегу. Понимаешь?

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что у нас случилось несчастье, которое окончилось счастьем. Наш Мойше-Гершеле проглотил копейку! Пришла я с базара, — это было в пятницу, купила рыбу, свежую, еще трепетавшую, а ребенок кричит, надрывается! Я его бью, колочу, а он не перестает кричать!

«Чего тебе надо? Наказание божье! Тварь противная! На, возьми мои горести! Колики в животе! На́ тебе копейку!» Еле-еле, с трудом успокоился. Через несколько минут спохватываюсь: «Мойше-Гершеле, где копейка?» — «Нима тапейти», — отвечает он и ручкой показывает на ротик. Проглотил? Ох, горе мне! Ох, беда! Беру ребенка, заглядываю ему в рот, — ах ты господи! Ах, несчастье мое! «Мойше-Гершеню! Душа моя! Скажи, куда ты девал копейку?» Трясу его, колочу, щипаю, синяков наставила, а он в один голос кричит: «Нима, гам тапейту, гам!» Словом, привела его к доктору, а тот велел кормить его картошкой... Два дня мучили ребенка, насильно пичкали картошкой, ни молока, ни глотка воды не давали, одну только картошку да картошку, думала — конец моему ребенку! И только на третий день стали убирать в доме, смотрю — в кровати, под подушкой, лежит копейка! Так бы они здоровы были, наши доктора, как знают они, что такое болезнь! Вот, не хватало мне! Как мама говорит: «К горестям добавка...» Я должна возиться с его детьми, с докторами, с чертями-дьяволами, а ему, золотодобытчику моему, хоть бы что! Носится из Одессы в Егупец, из Егупца в Бойберик! Нашел, чему радоваться: «бумажки», «транспорты», «портфели»! Втемяшил себе в башку, что можно одним духом богачом стать! А ведь это — мать говорит: «Похуже всякой хворобы...» Глупый, рассказываешь ты мне чудеса в решете: «акции-шмакции», «девендент-шмевендент»... Выеденного яйца все это не стоит! С одними пятью пальцами богачом не станешь. Моя мама говорит: «Кто лихоманку вложит, тот хворобу и вынет...» Заруби себе, Мендл, на носу: все твои егупецкие людишки, которые, как ты пишешь, одним махом разбогатели, в скором времени, бог даст, снова будут теми же нищими, только малость посвежее. Потому что я верю в твои «транспорты» и «мальцевские» так же, как и в одесский «Лондон». Уж я скорее поверю в колдовство и нечистую силу, чем во все твои егупецкие «портфели»... Ох, съела бы собака мое сердце, — она бы взбесилась...

Я должна видеть, как у людей жены уважением пользуются, слово иной раз скажут, а то и прикрикнут так, что у мужа поджилки трясутся, — а мне нужно подлаживаться, слово боюсь вымолвить, обругать не смею мужа за позор, который мне приходится принимать от людей... Я должна делать веселую мину. «Щеки себе щипать, — как мама говорит, — чтоб румянец стоял...» Но — что мы и что наша жизнь? Буду я так изнывать и таять потихоньку, покуда не истаю как свеча, буду убиваться от досады, — убиваться, и надорваться бы твоим егупецким щелкунам, как желает тебе и сейчас и всегда от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Погоди-ка! Берл, сынок дяди Менаши, нажил себе новую беду: он на той неделе погорел, вышел в чем мать родила. А теперь ему же хлопот не обобраться: враги донесли, что все у него было застраховано втрое против стоимости, поэтому он, наверное, сам произнес молитву: «Благословен сотворивший огненные светила!»... * Пригласили его к следователю. Но Берл тоже не из тех, что — десяток на копейку: у него свидетели, которые готовы присягнуть, что его в ту ночь и дома-то не было. Однако пока-что его засадили, а Златка с испуга выкинула и родила семимесячного. Поздравляю тебя!

V

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже связался с Варшавой. Ты, пожалуй, спросишь: коль скоро я живу в Егупце и торгую с Петербургом, — зачем же я полез в Варшаву? Не беспокойся, Варшава — тоже город! В Варшаве тоже имеются «бумажки», да какие еще «бумажки»! На Варшаве биржевики состояния нажили! Варшава — это не Петербург! Варшава — сотнями швыряется. Варшава на той неделе взяла да и подняла «лилипуты» с тысячи двухсот до двух тысяч! Ну, скажи сама, можно ли не купить такую бумагу? Или, скажем, «возочки». Недели три тому назад они стоили тысячу четыреста. А сейчас, как ты думаешь, какая им цена? Две тысячи! И без купона! Ведь это же злодеем надо быть, чтоб не купить такую бумагу! Затем у Варшавы еще одно достоинство: она не требует денег, она знать не хочет никаких «депо». Хочешь иметь «лилипуты», «возочки»? Уплати сотню-другую сверх курса и делай себе «премию» до «ультимо», то есть до начала следующего месяца. Наступит начало месяца, тогда поступай, как знаешь: либо бери бумажки, либо не бери. Но кто даст тебе дождаться начала месяца? На то господь бог и создал маклеров на белом свете, чтоб они проходу не давали: «Нет ли у вас «лилипутов»?», «Нет ли у вас «возочков»?» И морочат голову до тех пор, пока не дадут сколько-нибудь сверх курса и не выманят у тебя твои «бумажки». Вот только вчера насели на меня два одесских маклера, пристали, чтобы я отдал им мои «лилипуты» и «возочки». Нашли кого дурачить! «Братцы! — говорю я им. — Нет у меня ничего! Быть бы мне так же чистым от всякого зла!» Словом, отбояривался я от них до тех пор, пока они все-таки не выманили у меня пять «лилипутов» и пять «возочков». Но я их здорово нагрел! Я тут же сделал кое-какие комбинации, и есть надежда, что я, с божьей помощью, на этом деле заработаю, потому что везет мне, не сглазить бы, в последнее время здорово: что ни куплю, на другой день дорожает. Все говорят, что я счастливчик! Дай бог, чтобы «ультимо» прошло в Варшаве благополучно, тогда у меня освободится весь «портфель», и я свяжусь с другой кон-

торой, потому что в той, с которой я сейчас веду дела, столько народу, что не знаешь, на каком ты свете. На той неделе чуть не вспыхнул скандал: уже доходило до пощечин, то есть один из нас уже получил пощечину... Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся от меня сердечно каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! То, что ты пишешь относительно Берла, сына дяди Менаши, мне кажется вполне вероятным: при ваших касриловских заработках купцу иначе никак не обернуться. А вот у нас, в Егупце, такая история случиться не может. Во-первых, здесь всем живется, не сглазить бы, очень хорошо, а во-вторых, если и приключится пожар, то тушат его по-иному: еще до того, как начинает гореть, летит команда в медных киверах, прыгает прямо в огонь и поливает из кишки. Тебе стоило бы посмотреть на пожар в Егупце!

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем!

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что, по-моему, ты уже, упаси господи, форменный сумасшедший, можешь уже начать бегать по улицам. Мало того, что его знают в Одессе, в Егупце и в Бойберике, — ему нужно, чтоб и Варшава знала, что есть на свете Менахем-Мендл, который занимается торговлей.

Раньше он торговал «Лондоном», а сейчас торгует сбитыми подковами, обтрепанными вениками, какими-то «бумажками», «портфелями», «возочками», которые надо искать аж в Варшаве, да еще драться из-за этого. Эх, нашелся бы умный человек и выбил бы дурь из твоей головы, чтоб не думал ты черт знает о чем, в то время как дома у тебя жена — до ста двадцати лет, которая возится с твоими детьми: и днем и ночью — то одно, то другое! Только вчера чуть не ошпарила ребенка кипятком из дуршлага. Хорошо еще, что не всю головку. Недаром мама говорит: «И на беду удача нужна!» А ему — ничего! Гуляет, таскается по пожарам... Обрадовался: Егупец горит; сгореть бы ему вместе с Варшавой и с Петербургом, господи милосердый! Всяк, кто в бога верует, надо мной потешается. Ведь я даже по улице пройти не могу. Все тычут пальцами: «Вон она, Менахем-Мендлова благоверная из Егупца!» Хорошо прозвище, горе мне! Жить бы долго моей маме, — она твердит: «Мужа нельзя отпускать ни на минуту, потому что покуда плотник на досках сидит, доски на месте... Я, — говорит она, — наперед знала, что добром это не кончится. Денежного зятя захотелось мне... Как это говорится: «Боров, есть у тебя деньги? Давай породнимся!» «Золотое дно»... Золото вытекает, а дно остается. Письма я бы ему писала? А лихорадки он не хочет? Кто намеков не понимает, того палкой бьют... Я бы, говорит, его на метле домой привезла! На кочерге!..» Скажи сам, не права ли она? Но что делать, когда я, прости господи, такая овца... Мне что ни скажут, то и ладно, и чего только от меня не добиваются? Другая на моем месте, например Блюма-Злата, давно бы уже побывала в Егупце у всех раввинов, на улице бы поймала и задала бы тебе такую взбучку, что ты забыл бы, как тебя звать и чем торгуешь... О твоих золотых делах и удачах можно судить по подаркам, которые ты присылаешь мне из Егупца — по брильянтам и алмазам, по вышитым сорочкам и стеганым одеялам... Шутка ли? Добром говорю тебе, дорогой мой супруг, больше я этого вынести не могу! Одно из двух: либо

приезжай как можно скорее домой и будь человеком, как все люди, либо пускай погибель свалится на голову моих врагов, и пусть будет этому конец, как желает тебе и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

VII

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я шумлю, лечу, горю, в огонь прыгаю и расту, расту! Многие мне завидуют: что бы я ни купил, на другой день дорожает. «Возочки» поднялись еще на двести рублей, а мои «лилипуты» уже перевалили за две с половиной тысячи. Но мне сейчас невыгодно их продавать, потому что говорят, что они еще поднимутся... Возможно даже, что заграница набросилась на наши «бумажки». Устроили «сендекат», то есть такую шайку, хотят раскупить все, до последней бумажки и не оставить нам ни одной! Ты спросишь, в чем дело? Очень просто! Денег, понимаешь ли, теперь во всем свете — хоть пруд пруди! Процент — дешевле пареной репы: четыре-пять годовых для нас предостаточно. А если дело приносит десять—пятнадцать, так ведь это же счастье! А насчет «лилипутов» я тебе уже писал, что это бумажка такой фабрики, на которой делают железные дороги и выплачивают девендент. Дороги находятся в «Симбири», «бумажки» — в Варшаве, а покупатели — в Егупце. Представляешь себе? То же самое и с «возочками», и с «Путивлем», и с «Транспортом». Но ты

можешь подумать, что, покупая «бумажки», кто-нибудь видит их в глаза? Ошибаешься! Надо тебе объяснить, чтобы ты поняла все в точности. Захотелось тебе, например, купить «Транспорт». Приходишь в контору, вносишь в кассу несколько рублей — «депо» и велишь записать для тебя немного товару. Тебе выдают письмо о том, что закуплено для тебя столько-то «Транспорта» по такой-то цене, с таким-то «депо». Если, упаси бог, это падает в цене, то ты должен доплатить. Но — глупости! — не так-то скоро падают цены, и доплачивать не приходится. Наоборот, цены растут! Вот так я работаю все время, и дела мои идут хорошо, дай бог дальше не хуже. Помог бы мне бог, вырваться в Васильков, — я бы тогда уплатил гильдию и перестал бы скитаться — днем в Егупце, ночью — в Бойберике. Все маклеры нынче заделались купцами. Посмотрела бы ты, как живут, что едят! А их дамы — в брильянтах и алмазах!.. Я расспросил, где здесь покупают брильянты и присмотрел для тебя парочку вещиц таких, скажу я тебе, что не только у вас в Касриловке, но даже у нас в Егупце они могли бы наделать шуму! Но так как мне сейчас некогда, то пишу тебе вкратце. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Ты, наверное, думаешь, дорогая моя, что один я торгую «бумажками»! Бродский * тоже торгует ими. Разница только в том, что я, когда иду покупать бумаги, должен рассчитать, сколько мой желудок переварить может, а Бродский покупает сразу тысячу штук, пять тысяч, десять тысяч. Шутишь с Бродским? Тот, как выедет в своей карете, — Крещатик дрожит! Все шапки снимают, в том числе и я. Вот ловко было бы, если бы я вдруг выскочил в Бродские!.. Глупенькая, если бог захочет...

Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем!

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой супруг, что «из поросячьего хвоста, — как говорит моя мама, — бобровой шапки не сошьешь...» Это я относительно твоей замечательной невестки Ентл, чтоб она сгорела! На прошлой неделе она надумала распустить по городу слух, будто ты уехал в Америку, а меня — не дождаться ей этого! — оставил вдовой при живом муже. Откуда, говорит, она это взяла? Сора-Нехама слыхала от Лейзер-Гершке Аврома, будто Борух, сын Бенциона, сам видел у Мойше-Шмуеля письмо, полученное от Меер-Мотла из Америки. Я, конечно, побежала к Мойше-Шмуелю: «Где письмо?» А он спрашивает: «Какое письмо?» — «Которое Меер-Мотл пишет вам из Америки». А он мне: «Кто вам сказал?» — «Борух, Бенционов сын!» — отвечаю я. А Мойше-Шмуель: «Как он мог сказать вам, этот лгун, этот враль, что-нибудь подобное, когда я с ним вот уже больше года не разговариваю?» Бегу оттуда к Боруху, сама не своя. Оказывается, что его уже третья неделя, как в Касриловке нет. Полетела к Лейзер-Гершке и задала ему порцию как следует, — зачем он наболтал Сора-Нехаме такую чепуху насчет письма, которого и на свете не было? А он смотрит на меня, как на помешанную: о чем речь? Оказывается, это она сама, твоя Ентл то есть, пропади она пропадом, выдумала все! На что способна, подлая! Но тебе, наверное, все, что я пишу, и в голову не лезет, тебя больше интересуют твои егупецкие дамы, чтоб их дьявол побрал с их брильянтами вместе! Слышишь, Мендл! Я даже имени

их слышать не желаю, — до того я их ненавижу! Мне уже опротивели подарки, которые ты собираешься купить для меня! Наперед тебе говорю, дорогой мой супруг: если хочешь купить мне что-нибудь, покупай то, чего там не носят. Не хочу, чтобы ты сравнивал меня с кем-либо, — пусть они провалятся сквозь землю! Но дожить бы уже и увидеть от тебя хоть что-нибудь на самом деле, а не на бумаге. Как моя мама говорит: «Словом меньше, да куском больше...» Зачем тебе откладывать на другой день? При таких делах, если не оторвешь насильно, так и иметь не будешь! Но можешь говорить что угодно: покуда не увижу своими глазами — не поверю. Не потому, что считаю тебя лгуном, а потому, что тебе егупецкие жулики наврут с три короба, а ты и уши развесишь. Что ты равняешься к Бродскому? Вы с ним вместе свиней пасли? Дают тебе за твои бумажки какие-нибудь деньги — бери! Что ты из себя корчишь? Одесские шарлатаны и в Бойберике нашли тебя и пытались выманить твои драгоценности? Пожалуйста! Пусть носятся с этим барахлом! Как моя мама говорит: «Хватай шапку с орехами и беги!..» Но что говорить с сумасшедшим! Вдруг ему вздумалось сделаться купцом, да еще васильковским к тому же! С жиру бесится человек! Не знает, что бы ему еще придумать! Что это тебе так понравился Васильков? Впрочем, чему тут удивляться? Когда днем торчат в Егупце, ночью — в Бойберике, а торгуют с Петербургом и Варшавой, — почему не быть прописанным в Василькове? Хоть у черта на куличках! Смотри, Мендл, как бы все твои счастливые дела не кончились тем, что мне опять придется высылать тебе на расходы, как желает тебе и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Должна тебе, дорогой мой муж, сообщить невеселую весть: твой брат Берл-Биньомин остался вдовцом... Уж когда письмо было запечатано, пришли и сказали, что Ентл умерла. Умерла от родов, родила двойню. Двоешки живы, а она умерла. Казалось бы, могло быть наоборот? Как моя мама говорит: «Любит бог наперекор делать...» ...Пусть ей земля будет пухом!

Твоя золовка, да простит мне, со мною хоть и не ладила, но по моей земле она не ходила. Я бы ничего не имела против того, чтобы она жила еще сто лет и не оставляла бы семерых сирот, мал мала меньше! На похоронах я была и так наплакалась, что еле живая домой пришла. «Как вспомнишь про смерть, так и за жизнь не поручишься...» — говорит моя мама.

IX

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я целую неделю пролежал в Бойберике. Болезнь была не то, чтобы опасная, но противная: разболелась поясница, повернуться не мог. Теперь немного полегчало. Всю неделю думал, что с ума сойду, — шутка ли, восемь дней кряду быть оторванным от биржи, не знать курсов! Мне казалось, что там весь свет перевернулся! Бог даст, завтра-послезавтра уже, наверное, поеду в город. А пока пишу тебе письмо, хочется поговорить и, кстати, дать тебе полный отчет о моих делах, чтоб ты не думала, что я плутую, что я заморочен или обманываю себя. «Портфель» мой сейчас состоит из полутораста штук «Путивля», ста штук «Транспорта», пяти «Мальцевских», пяти «лилипутов» и пяти «возочков», не считая «премий». Что касается «Путивля» и «Транспорта», то они у меня проданы вперед (получил трешницу в задаток). Как только их у меня выкупят в срок, — а выкупят ведь обязательно! — мне останется чистого заработка, за вычетом всех расходов, — тысячи четыре-пять. Кроме того, у меня имеется

десятка два «госов» на «Путивль» и на «Мальцевские», так что я и на них надеюсь заработать сотен семнадцать — восемнадцать. Вот тебе уже без малого семь тысяч. За пять «Мальцевских» я считаю, на худой конец, четыре тысячи рублей наличными, потому что ведь это же будет позор, если они в ближайшее время не поднимутся по меньшей мере до двух тысяч рублей за штуку, хотя в последние дни они немного подались вниз. Но это всего только махинации петербургских биржевиков... Остается самое главное — то есть «лилипуты» и «возочки». Здесь расчет точный: до «ультимо» осталось ровно восемнадцать дней. А так как «лилипуты» повышаются ежедневно на сто рублей, то мы имеем таким образом восемнадцать раз по сто, помноженные на пять, итого равно девять тысяч рублей. А «возочки»? Ведь они растут на полтораста в день, — значит, восемнадцать раз по полтораста, помноженные на пять — то есть тринадцать тысяч пятьсот рублей! А где же «Волга»? «Днепр», «Дон»? А прочие? Словом, чересчур большого кошеля я себе не шью, но считаю, что за вычетом всяких расходов — «куртаж» *, «крадеж» * и тому подобное — мне останется чистых тысяч сорок — пятьдесят! Бог даст, «ультимо» пройдет благополучно, тогда я реализую все свои «бумажки» и «повернусь на другую сторону» — то есть начну работать «а-ля бес» *, стану все продавать и зарабатывать деньги. Потом я снова метнусь «а-ля гос» * и снова крупно заработаю. Так, если богу угодно, пятьдесят тысяч могут превратиться в сто и в двести, а из двухсот тысяч станет четыреста и так далее — до миллиона! А как же ты думаешь, глупенькая, становятся миллионщиками? Бродским? Да и что такое Бродский? Такой же смертный, который ест, и пьет, и спит. Я его сам видел, видеть бы мне так все самое лучшее! Словом, не огорчайся, дорогая моя, я присмотрелся к бирже и стал таким знатоком, что ко мне уж иной раз и за советом приходят. Я, с божьей помощью, понимаю всю эту игру! А то, что ты не веришь и велишь мне кончать с этим делом, меня не удивляет. Взять хотя бы Хинкиса! Есть у нас такой спекулянт по фамилии Хинкис, человек горячий и за-

ядлый картежник. Днем играет на бирже, а ночью — в карты. И вот приключилась с ним на прошлой неделе история. Приснилась ему ночью скверная карта — примета, указывающая на «бес», и он в один день распотрошил весь свой «портфель». Сейчас он, конечно, волосы на себе рвет! Пускай не верит снам! Я жду не дождусь завтрашнего дня, чтобы узнать курсы. Я решил, как только приеду в город, зайти к ювелиру за твоей брошью и брильянтовыми сережками, и если будет у меня завтра время, сходить на Подол и купить тебе немного белья, скатертей, полотенец, детям на рубашки и еще кое-чего из хозяйственных вещей, — не то, что ты говоришь, будто я тебя, упаси бог, забыл. Но так как у меня сейчас мало времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Поцелуй деток и кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности. А Берл-Биньомину скажи от моего имени, чтоб он не принимал слишком близко к сердцу смерть жены. Все образуется...

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Из того, что я писал тебе о Василькове, ты, видно, ничего не поняла. Так как мне здесь жить нельзя, то я хочу сделаться местным купцом, а этого нельзя добиться сразу: надо хотя бы полгода числиться прописанным в Василькове. А как только стану здешним жителем, я сниму квартиру на Подоле и заберу сюда в добрый час тебя и детей. Ты очень зла на Егупец, но это потому, что ты не знаешь города и здешних людей. О самом городе и говорить нечего — картинка! А люди здешние — ну, прямо золото! Куда одесситам до них! Здесь мужчины и женщины такие сердечные, такие приветливые!.. Единственный недостаток, что они очень любят карты. Как только наступает ночь, все принимаются за работу, просиживают до утра и кричат: «Пас!» Крупные заняты игрой, которая называется «преферанц», а те, что помельче, играют в «стуколку», в «очко» или в «тертель-мертель».

Тот же.

X

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получить такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, чтоб ты не огорчался, — тебя можно поздравить: твой братец Берл-Биньомин уже женился, в добрый час! Даже полных двух месяцев не выждал — уехал в Бердичев, который поставляет мачех на весь мир, и привез оттуда мамашу своим деткам, девушку лет девятнадцати! Такую бы жизнь и долю всем мужчинам, как красиво это все выглядит! Недаром мама говорит: «Лучше уж нам вдовами оставаться, нежели вам детей наших сиротами делать!» Представляю себе, как бы ты слезы проливал, Мендл, если бы тебе, упаси бог, пришлось меня пережить, — не дожить бы до этого егупецким дамам! Они бы налетели на тебя, как пчелы на мед, и подцепили бы тебя в первый же месяц! И было бы у тебя, как моя мама говорит: «Тут тебе и плошка, тут тебе и ложка»: мог бы навсегда остаться егупецким жителем! «Шумишь», — пишешь ты? Шуми! Лети! Прыгай в огонь! Я к тебе не поеду, даже если бы знала, что ты там на смертном одре лежишь! А твои пятьдесят тысяч меня мало трогают. Во-первых, ты мой — как с пятьюдесятью тысячами, так и без них, а во-вторых, твои пятьдесят тысяч значат для меня не больше, чем понюшка табаку. Запомни мамины слова: «Покуда деньги на бумаге — это бумага, а не деньги...» Скажу тебе правду, дорогой мой, если ты имеешь сколько-нибудь наличными и намерен ждать, пока из них станет непременно пятьдесят тысяч, то ты либо сумасшедший, либо злодей и разбойник, которому не жаль ни жены, ни детей. Мне нравится, как он кормит меня «завтраками»:

завтра он будет у ювелира, завтра он купит мне белье — все завтра. Дурень эдакий! О завтрашнем дне пусть господь заботится. Ты купи лучше сегодня. Оторвешь и захватишь — все равно, что найдешь! Моя мать, дай ей бог здоровья и долголетья, говорит очень умно: «На что тебе, дочка, подарки, скатерти, полотенца? Деньги пусть пришлет! Смерть, — говорит она, — не спрашивает у покойника, есть ли у него саван...» Подожду еще неделю-другую, пока не буду чувствовать себя вполне здоровой, а тогда я сажусь и еду, с божьей помощью, туда, к тебе, и тогда, Мендл, я тебе не позавидую! Я буду следовать за тобой по пятам, я там везде побываю. И ручаюсь тебе, что ты удерешь из Егупца средь темной ночи, как желает тебе от всего сердца

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

XI

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что творится нечто ужасное! Прибыли из Петербурга такие курсы, что у всех у нас в глазах потемнело. Словно громом убило, бомбой! Во всех конторах мрак, на Крещатике — землетрясение! И сразу же после Петербурга Варшава стукнула нас своими курсами. Началась суматоха, паника, столпотворение. Биржевики разбежались, будто корова их языком слизнула, а вместе с ними и я. Конец бирже! Конторы опустели, банкиры ходят без головы — все рухнуло! Представь себе, дорогая

моя, что даже «Мальцевские», которые я считал, на худой конец, по две тысячи рублей, упали до девятисот пятидесяти! Или, скажем, «Путивль»: скорее я мог рассчитывать на то, что они вообще провалятся, нежели на понижение со ста восьмидесяти до шестидесяти восьми! О «Транспорте» и говорить не приходится: сорвался, никто его и в руки не берет! То же самое и «Волга», и «Дон», и все прочие бумажки. Однако все это еще золото в сравнении с Варшавой. Там и вовсе беда! С тех пор как мир существует, такого несчастья не было. Варшава сшибла «лилипутов» с двух тысяч четырехсот пятидесяти на шестьсот двадцать! А «возочки», которые держались так хорошо, так чудесно: мы думали, — вот-вот они до трех тысяч дойдут! А сегодня? И не угадаешь: четыреста шмардованцев! * Как тебе нравится такой курс? Светопреставление! Ну и Варшава! Отличилась! Гнала, гнала и вдруг — на́ тебе! С чего все взялось, никто толком не знает. Один говорит одно, другой — другое. Дело тут, конечно, в деньгах, то есть в том, что денег нет! По-немецки это называется «гельд-мангель», а по-нашему — просто: «Ни ломаного гроша!» Ты, пожалуй, спросишь, как же так, ведь только вчера еще деньги на улицах валялись? На это никто тебе не ответит, но факт таков, что спекулянтов словно кипятком ошпарило, а заодно со всеми и меня. Скажу тебе правду: меня злость берет не столько на Петербург, сколько на Варшаву. Петербург двигался медленно: каждый день там понижались цены рублей на двадцать—тридцать, и все тут. Все-таки это более или менее прилично. А Варшава, — чтоб ей ни дна ни покрышки! — ведь это прямо-таки содом! * Упаси господи! Нет такого дня, чтобы она не рванула то полтораста, то двести, а то и триста рублей... Пощечина за пощечиной, — так что мы здесь все ходили как пришибленные, оглядываться не успевали! Миллионов сто́ит нам эта Варшава, миллионов! Бог ты мой, где же был наш рассудок? Ах, если бы я тебя послушался, жена моя дорогая, — ведь я бы теперь всему свету три кукиша мог показать! Бродскому было бы далеко до меня! Но, видно,

так бог велит. Не пришла, значит, настоящая пора... Хорошо еще, что мой банкир, дай ему бог долголетия, не торопит меня с уплатой нескольких рублей, которые я остался должен его конторе. Наоборот, он жалеет меня: обещает, когда положение улучшится, «подкинуть» кое-что, чтобы я при его помощи мог иной раз сколько-нибудь заработать. Но пока делать нечего. По бирже ходят не спекулянты, а мертвецы. Маклеры околачиваются без дела. Биржа, говорят, умерла и не воскреснет. Не за что браться. Были бы деньги, я мог бы кое-как перебиться, переждать это лихолетие. Небо еще, как говорят, на землю не свалилось. Глупости! Сердце мне предсказывает, что будет еще чем заниматься. Господь бог жив, а Егупец — это город... Не то, так другое... Но где взять деньги? Как твоя мама говорит: «Без пальцев и кукиша не покажешь...» Попытался было занять у кого-нибудь ненадолго, но все говорят, что в городе сейчас очень туго с деньгами, даже крупные дельцы и те нуждаются, прямо-таки до земли кланяются, ни за грош пропадают... Сотворил бы господь бог со мной чудо: пусть бы разбойники на меня напали и убили или так бы мне умереть на улице, потому что, дорогая моя, я уже не в состоянии все это переносить! Помилуй! Так хорошо, так крепко, так на месте я себя чувствовал! Держал в руках, как говорят, полную шапку, и вдруг — нá тебе!

Так как я очень пришиблен, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Пиши мне, как поживают детки, как твое здоровье? Кланяйся сердечно тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Говорят в народе, что после пожара богатеют. Я полагаю, что после такого поражения, какое мы сейчас пережили, можно делать блестящие дела. Потому что все подешевело наполовину. Теперь можно было бы почти без денег делать «госики» с «премиями» на самые лучшие «бумажки». Я предсказываю и готов поклясться, что каждый, кто

сейчас приобретает что-нибудь в Петербурге или в Варшаве, — осчастливит себя! Я могу похвастать, что хорошо разбираюсь во всех тонкостях дела. Для биржевой игры требуются три вещи: сметка, удача и деньги. Сметка у меня, слава богу, ничуть не меньше, чем у всех здешних дельцов. Удача — это от бога. А деньги? Деньги — у Бродских.

Тот же.

XII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же сведения в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что, может быть, и следовало бы написать тебе очень много, но мне нечего писать, слов больше не хватает. Да и что из того, что я буду тебя проклинать, живым в могилу вгонять, — мне это разве поможет? Ведь я же не Блюма-Злата, которая мужа поедом ест. Я есть тебя не буду, я даже слова тебе не скажу, языком не шевельну. Одно только спрошу я у тебя, ломота забралась бы в кости врагов моих: скажи сам, не говорила я тебе, что так все это кончится? Не писала ли я тебе все время: Мендл, беги, беги, как от огня! На что тебе мусор, бумажки? Моя мама правильно говорит: «Сиди дома, сапоги целее будут...» Но он меня не слушает! Приковало его к Егупцу! Помереть готов за тамошних людишек, — помереть бы им за меня, за тебя, за всех нас. Стала бы я унижаться перед ними, занимать у них деньги! Дай им бог легкую хворобу и весеннюю лихорадку на целый год! Как моя мама говорит: «Лучше прибежать к самому концу молитвы, чем прибегнуть к самому луч-

шему человеку...» Но тебе я все-таки удивляюсь, Мендл! Ты ведь знаешь, что в священных книгах написано: «Не своей волею жив человек, не своей волею умирает», — зачем же ты говоришь глупости? Все от бога. Ведь ты же видишь: сам бог тебе указывает, чтоб не зарился ты на легкий хлеб в Егупце! Человек должен трудиться, мытариться и жену кормить! Вот Нехемия — тоже порядочный человек, в книгах знает толк, а посмотри, как он из кожи лезет вон, ездит по ярмаркам, пешком тащится, землю роет, работает как вол. Он, быть может, тоже не отказался бы разгуливать, как ты, с тросточкой по Егупцу и палец о палец не ударять, торговать прошлогодним снегом, ездить в Бойберик и смотреть, как егупецкие дамы играют в карты... Но у него есть жена, которую зовут Блюма-Злата. Ей достаточно взглянуть на Нехемию, чтоб у него язык отнялся. Он и без слов ее понимает. А пусть придет ему такая блажь, что он приехал из Ярмолинца и не привез жене мантильи, или шляпки, или зонтика, или горести, или хворобы ей в душу!.. А что же? Так, как я, от которой ты отделываешься тем, что каждый раз обещаешь купить мне и то и другое, — а чуть до дела, так и нет ничего! Но ты, наверное, думаешь, что я очень нуждаюсь в твоих подарках? Нужны они мне — твои брошки и брильянты! Только бы мне дождаться, увидеть тебя в добром здоровии! Мне даже не верится, что ты еще жив! Сегодня ночью мне снилась бабушка Цейтл, царство ей небесное. Такая же, как была, ни чуточки не изменилась. Поэтому я хотела бы уж дождаться тебя и как можно скорее, как желает тебе счастья и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Конец второй книги

1896

МИЛЛИОНЫ

(Купцы, маклеры и «спекулянты»)

I

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже больше не спекулянт. Плюнул я на спекуляцию, не знать бы ее! Она измучила меня как лихорадка, извела и состарила. Шутка ли, что мы тут пережили! От Егупца ничего не осталось, на бирже все вверх дном, тьма кромешная, как после войны, еще хуже, чем в свое время в Одессе. Все потерпели поражение, всех обуяла паника. Люди стали объявлять себя банкротами, а среди них и я. Что ни день, то новое банкротство. Банкротство прямо-таки в моду вошло! Чего уж больше? Крупные банкиры, львы и те стали улепе-

тывать. Начало положил банкир, через которого мы все вели дела по нашим «бумажкам» с Петербургом и Варшавой. Прихожу в одно прекрасное утро в контору: застряло там несколько моих «Мальцевских» и «Путиловских» акций, по которым ему с меня причиталась небольшая разница. Начинаю расспрашивать, где он, этот барин? А мне отвечают: поминай как звали, — он уже давным-давно в Америке! Словом, поднялся переполох. Сразу же принялись за железную кассу и нашли там бутылку чернил и старый потертый пятиалтынный да еще с дыркой. Другой оставил в несгораемом шкафу охапку старых календарей и удрал в Палестину. Третий, совсем крупный банкир, хоть и не обанкротился, но просто в течение недели вылетел в трубу с несколькими миллионами и остался при одном своем имени. Только Бродскому каким-то чудом удалось счастливо выскочить. Я убедился раз навсегда: если не суждено, — ничего не поможет, как ни мудри! Хорошо еще, что я вовремя спохватился и тут же занялся другим делом, почтенным делом, а именно: я стал маклером, просто маклером, здесь же, в Егупце, на бирже. Маклеров в Егупце, не сглазить бы, — что звезд на небе. Чем же я хуже их? У меня тоже как будто есть руки, и ноги, и нос, и глаза, как у всех людей, а таких родовитых, как я, здесь много, — тем не менее им всем пристало ходить с тросточкой и заниматься маклерством. Подумаешь, премудрость какая! Надо уметь соврать, а если к тому же иметь немного нахальства, то этого вполне достаточно, чтобы сделаться маклером. Наоборот, чем больше лжи и чем больше нахальства, тем искуснее маклер. Уверяю тебя, в Егупце есть маклеры, которые у вас в Касриловке могли бы быть разве что извозчиками, — еле-еле умеют имя свое подписать, и все же, сама видишь, как твоя мама говорит: «Захочет бог, так и веник выстрелит...» Надо только напялить на себя белую рубаху и шляпу получше, повсюду соваться, вынюхивать, ловить слово на лету, скок сюда, прыг туда и «Пожалте картаж!» Картаж — это комиссионные, плата... И до чего же это легкий хлеб — этот «картаж»! Ни забот, ни хло-

пот! Я только вчера сцапал полсотни, честное слово, даже не знаю за что! Я сделал десять тысяч пудов сахару легко, легче, чем папиросу выкурить. То есть сделали другие, а я просто втерся. Одним словом, я с божьей помощью хапнул полсотни! Если и дальше так пойдет, хотя бы в течение полугода, то я снова встану на ноги и буду тем, чем был прежде, потому что у нас в Егупце деньги играют главную роль. Самого человека здесь и в грош не ставят, кто ты такой по происхождению, — до этого никому дела нет. Можешь быть кем хочешь, чем угодно, — были бы деньги! Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе вкратце. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет детям, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Напиши мне, прошу тебя, что у вас слышно хорошего, идут ли дожди, как поспевают бураки и много ли жучков? Мне это необходимо знать и как можно скорее!

Тот же.

II

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, душа моя, — погибель и холера на врагов моих! Ты изверг, Титус-злодей*, разбойник эдакий! Ты ведь знаешь, что жена твоя была при смерти после реперации, которую сделал наш замечательный доктор, — дай бог твоим егупецким дамам... Я еле ноги волочу. А с детьми твоими

сколько возни: зубки, горлышки, животики, дифтерит, всякие напасти и несчастья на головы врагов моих! Как это можно молчать столько времени, ни единого письма не написать? Одно из двух: если ты умер — напиши, а если ты еще жив, то тем более должен писать! Но что толковать с человеком, у которого не все дома. Как моя мама, чтоб она жива и здорова была, говорит: «Скорее пьяный протрезвится, нежели дурак поумнеет...» Можешь себе представить, горе мое горькое, когда я, Шейне-Шейндл, дочь Борух-Герша — мужа Лея-Двоси, должна быть женой маклера! Но чем люди не занимаются? Человек готов стать маклером, лотошником, гицелем, лишь бы жить в Егупце, провались он сквозь землю! Затем ты пишешь, что заработал пятьдесят рублей на теперешних твоих замечательных делах и надеешься каждый день загребать по полсотни... Не каждый день бывает праздник! Думаешь, это тебе одесский «Лондон», «бумажки» и всякие прочие твои счастливые дела, которые до сих пор у меня в печенках сидят? Дурья голова! У тебя пятьдесят раз подряд глаза на лоб полезут прежде, чем ты дождешься следующих пятидесяти рублей. А помимо всего, я вообще что-то не верю в твои егупецкие заработки, которые всегда начинаются так счастливо, а кончаются химерой. Ты, говоришь, очень счастлив, что не сошел с ума... Должна тебе сказать, что из твоего письма это не видно...

Пишешь ты что-то непутевое. Справляешься зачем-то о бураках, спрашиваешь, идут ли у нас дожди? Чего же ты хотел, чтобы летом падал снег? И какое отношение имеет мужчина к буракам? Да и откуда теперь возьмутся бураки? У нас варят борщ из рассола, из щавеля, а бураки поспеют только к осенним праздникам. И почему ты вдруг стал интересоваться жучками? Какие еще жучки на твою голову? Не хватало еще жучков? Мало того, что с клопами возишься, — ему еще жучки понадобились! Ну, скажи сам: в Егупце ты торчишь, сахар ты делаешь, пятидесятирублевки ты ловишь на лету — не хватает тебе только бураков, дождя и жучков! Понимаешь ли ты,

что-нибудь во всем этом? Моя мать — дай ей бог жизни и здоровья — говорит очень разумно: «Помешанный бьет чужие стекла, не свои...»

Так вот, послушай меня, Мендл! Брось ты все это и, если у тебя осталось еще сколько-нибудь от твоих пятидесяти рублей, приезжай домой, а если не осталось, я тебе вышлю на расходы. Вспомни о том, что у тебя дома есть жена — дай бог до ста двадцати лет! — и маленькие дети, которые ждут не дождутся отца. И пусть люди перестанут перемывать мои косточки, и пусть у меня лицо не горит от стыда, как желает тебе счастья и благополучия

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Да! А почему ты не интересуешься домашними делами? Тебя, видно, мало трогает, что мать расстроила брак моей сестрички? Думаешь, из-за денег? Деньги — само собой. Но началось с того, что отец жениха приехал к нам на субботу. И мама с ним повздорила — намекнула на то, что он из мясников, закинула словечко насчет того, что от вола, кроме воловьего мяса, и ждать нечего, и еще кое-какие шпильки подпустила. И вот он приехал домой — болячка ему! — и прислал отказ! А пока что бедняжка Нехама-Брайндл в третий раз разневестилась, — снова в девках сидит.

III

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что ты не совсем раскусила то, о чем я тебе писал. Не огорчайся, пожалуйста, оттого, что я из биржевика превратился в маклера, — все к лучшему! Я в Егупце не один. Здесь у нас — не сглазить бы! — маклеров хоть отбавляй: маклеры «сахарные», «биржевые», «хлебные», «денежные», маклеры, торгующие домами, имениями, лесами, машинами, баржами, бревнами, фабриками, заводами, железными дорогами, — вообще, всем, что только может в голову взбрести и чего твоя душа пожелает... Ни одна сделка не обходится без маклера. И каждый маклер прибегает к другому, потому что у одного маклера имеется покупатель, а у другого — продавец, вот и составляется пара. Затем часто случается, что к одному маклеру присосутся еще два-три маклера, тогда все делятся куртажем, сколько кому придется. Если дележ не удастся кончить полюбовно, — то либо полагаются на суд третьих лиц, либо поступают, как бывало в Одессе, — то есть «компезируют» оплеухами... Теперь ты уже понимаешь, что такое маклерство? Самые крупные маклеры — это сахарники, потому что весь сахар проходит через их руки, а они получают огромные деньги, разъезжают в собственных каретах, живут в Бойберике на дачах, играют в карты и имеют содержанок и шансонеток... Вообще, я убедился, что маклерство — самое лучшее дело. Ибо чем маклер рискует? Одно из двух: если я попал в точку, то мой клиент зарабатывает деньги, а если нет, то обоим нам могила!

Разумеется, ты права: не каждый день удается заработать полсотни. С того времени мне ничего больше не попадало, а тот заработок растаял в одну минуту, потому что долгов у меня было больше, чем волос на голове, к тому же я несколько рублей сам кое-кому одолжил, и сейчас снова сижу без гроша. Однако надеюсь, что вскоре, с божьей помощью, устрою одно дело, и тогда я тебе пришлю переводом немного денег. А что я справляюсь насчет дождей, то это очень просто: сахар, понимаешь ли, делают из бураков, а бураку нужны дожди, иначе он расти не будет. Вот

я и спрашиваю, часты ли у вас дожди? Но дай бог, чтоб дождей лучше не было, пускай жучки жрут бураки на чем свет стоит! Потому что, когда мало бураков, мало и сахару, а если сахар будет на вес золота, спекулянты станут делать дела, маклеры будут зарабатывать деньги, а в том числе и я.

Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе вкратце. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет сердечный деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Ты пишешь о твоей сестрице... Так вот, если у нее еще никого на примете нет, то у меня есть для нее жених, замечательный жених! Здешний, холостой, хотя не такой уж молодой, можно сказать — в летах, с седоватой бородкой. Богачом его назвать нельзя. Но ремесло у него приличное: он маклер и трется среди сахарников. Если тебе это кажется подходящим, телеграфируй или напиши открытку, и я устрою им встречу.

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу тебе я — все, что снилось мне в прошлую ночь, и эту ночь, и за весь год, — все это пусть обрушится на головы моих врагов! Нашел, чему радоваться: если не будет дождей, то не будет бураков, а не будет бураков, не будет сахару, а когда не будет сахару, он заработает деньги! Точь-в-точь история с цыганом и медведем! А что ты скажешь, Мендл,

если я тебе сообщу, что дожди у нас льют, как из ведра, изо дня в день, что бураки прут из земли, как нечистая сила, а жучков, кроме клопов и тараканов, у нас и в помине нет, — легче тебе от этого?

Господь свидетель: я знала наперед, что от пятидесяти рублей у тебя одно воспоминание осталось; я знала наперед, что ты скорее растранжиришь, раздашь в долг эти несколько рублей, чем подумаешь о том, что у тебя есть жена, до ста двадцати лет! Давать деньги взаймы? Хворобу я бы им дала и все мои горести! Потому что, когда тебе придется обратиться за одолжением к ним, тогда увидишь, что никого дома не окажется. Как моя мать говорит: «Кто горазд брать, тот не любит давать», «Имел я милого дружка, покуда не дошло до кошелька». Но кто же во всем виноват, как не я сама? Шутка ли, так потакать мужу! Ведь он с жиру бесится! Не знает, что бы ему придумать! Шатается по Егупцу, словно граф какой, не хватает ему только дождей да жучков, а я здесь, как собака в конуре, из бед не вылезаю! На каждом шагу какое-нибудь несчастье! Идет ребенок Мойше-Гершеле, — чтоб он сгорел! — падает и рассекает себе губу; было у меня колечко с камушками, — прислуга украла... Везет, слава тебе господи, со всех сторон... Как мама говорит: «Привалило счастье, — опорожняй помойку!..» Ну, не права я была, когда говорила, что полусотенные на улице не валяются? А что касается жениха, которого ты предлагаешь моей Нехама-Брайндл, то пускай уж он лучше сидит там в болячках, твой старый холостяк с седой бородой. Не доживет Егупец, чтобы мы оттуда женихов брали! Ей сватают, знаешь кого? Первого ее жениха. Он развелся с женой, а сейчас снова сватается к моей сестричке. Пришлась, видно, по вкусу этому шарлатану! Но как мать говорит: «Лучше вор, да свой, чем раввин, да чужой...» А как только сватовство состоится, мы их тут же и поженим, и хотела бы я посмотреть, как это ты не приедешь на свадьбу Нехама-Брайндл, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Наш Копл успел еще раз уже обанкротиться рублей на триста и уже снова уважаемый человек в местечке. А Берла, сына дяди Менаши, опять постигло несчастье: он погорел рублей на сто, а получает двести пятьдесят. Но мне кажется, что это уже последний пожар у нас в городе, потому что товарищество «Якорь», как поговаривают, перестало страховать касриловские дома и касриловские лавки. А Мириам-Бейля надумала: к чему ей парик? Не лучше ли щеголять собственными волосами? Подражает невесткам нашего богача, — болячка им! — которые с мужчинами в карты играют. Но я злословить не люблю. Как моя мама говорит: «Думай о себе, тогда о других позабудешь». И напиши мне, ради бога, что значит «сорежанки» и «шенжешетки». Что это такое и для чего это нужно?

V

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что ты оказалась права. Сахар действительно для меня не дело. Во-первых, от крупных маклеров-сахарников житья нет. Не успеешь оглянуться, как налетает самый крупный маклер и выхватывает прямо из-под рук, хоть он и без того богат, — и поди жалуйся на него господу богу! Ты, пожалуй, спросишь: «Как же так? Где же справедливость?..» Должен тебе сказать, что в Егупце таких вопросов не задают. Справедливость здесь товар не ходкий. «Любезность», «жалость» здесь не водятся. Это одно. А в-третьих, я тебя спрашиваю, скажи на милость, что это за занятие

такое, это самое сахарное дело, когда день и ночь приходится смотреть на небо и молить бога то о дожде, то о засухе?.. Вообще я убедился, что это не для меня. Нужно быть большим нахалом, плюнуть на календарь, а спекулянту внушать, что он ни черта не смыслит, и говорить до тех пор, пока человеку не сделается дурно, пока его не прошибет холодный пот... А я — бог мне свидетель — ничего этого не умею. Я люблю заработать свой рубль с почетом. Сейчас у меня, с божьей помощью, дело, о котором я по крайней мере знаю, что это — дело! Я трусь возле денег, устраиваю займы, учет*, то есть я занимаю и одалживаю деньги под векселя, иначе говоря, я учитываю чужие векселя из божеского процента. Как говорится: прибыли меньше, зато сон спокойнее. Это такое дело, при котором тебе со всех сторон почет оказывают. Потому что, — какие уж там чины, когда деньги нужны... Люди становятся мягче воска, готовы живыми в гроб лечь, а маклеру сулят золотые горы... Встретился мне здесь один мануфактурщик из Бердичева, познакомился я с ним у себя в заезжем доме. Прекрасный молодой человек, с замечательным характером. Он обещает, если я устрою ему кредит тысяч на десять — пятнадцать, так вознаградить, что я смогу даже маклерство бросить... Хотя я до сих пор денег еще не достал, но есть надежда, что я их с божьей помощью, наверное, раздобуду. Все маклеры, устраивающие денежные дела, здорово наживаются, разъезжают на собственных лошадях. А собственный выезд, надо тебе сказать, — это хорошее средство для заработков, так как в Егупце хорошему выезду оказывают гораздо больше почтения, нежели человеку... Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно.

Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, и тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! То, что ты пишешь о банкротстве Копла, кажется мне смешным в сравнении со здеш-

ними банкротствами. Купца, который не обанкротился хотя бы три раза, здесь и купцом не считают. В былые времена банкроты обязательно удирали. Теперь это вышло из моды. Здесь даже не говорят «обанкротился», — говорят: «Он не платит». То есть он не желает платить — и делай с ним что хочешь! Ты спрашиваешь, что такое «содержанки» и «шансонетки»? По древнееврейски это означает «наложницы», а по-нашему их называют «веселыми женщинами». Но, право же, мне они и в голову нейдут...

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что от твоих замечательных писем у меня уже, право, сердце пухнет, пусть горою пухнут мои враги! Только что ты, кажется, делал сахар — и вдруг займодавец! Откуда у тебя деньги взялись? А уж если случилось, что ты и вправду заработал несколько рублей, так ты должен их тут же растранжирить? Ведь ты сам совсем недавно писал, что как только перепадет тебе немного денег, ты сразу же пришлешь мне перевод. Чего стоит твое слово? Но моя мать, дай бог ей здоровья, права, когда говорит: «Дочь моя, оттуда денег не жди, потому что с кладбища ничего не возвращается, а в особенности, — говорит она, — из почтенного, замечательного города Егупца, чтоб он сгорел! Я тебе, — говорит она, — уже не раз повторяла поговорку: «Упаси меня, боже, от бердичевских богатеев, от уманских святош, от константиновских факторов, от могилевских богохульников, от каменецких ходатаев

и от егупецких шалопаев!» Скажи сам, разве она не права? Но что ему жена, что ему дети? День и ночь — то одно, то другое... Мало ли мы в прошлом году, — не теперь будь сказано, — провозились с копейкой, о которой мы думали, что Мойше-Гершеле ее проглотил?

А на прошлой неделе он (бесенок, а не дитя!) надумал и чуть на тот свет не отправился. Был здоров, весел... Вдруг вижу, дитя мое кончается! Клонит головку набок и кричит не своим голосом. «Что с тобой, сыночек, золотко мое, скажи, что у тебя болит?» Показывает ручкой на левое ухо и кричит. Я его тискаю, целую, щипаю, обнимаю, а он все кричит! Лишь на третий день я привела доктора. Спрашивает он меня, этот умник, смотрела ли я ребенку ухо? Я говорю: не только смотрела, я уже и спицей ковыряла, ничего не видать! Тогда он меня спрашивает, что мы ели в прошлую субботу? Я говорю: «Что евреи едят в субботу? Редьку, лук, студень, кугель, что вам еще нужно?» Тогда он говорит: «Может быть, вы варили фасоль, или горох, или другие овощи?» Я отвечаю: «А в чем дело? А если мы и ели горох? По этому случаю ребенок должен держать головку набок и кричать?» А он и говорит: «Коль скоро у вас в доме был горох, ваш ребенок, вероятно, играл с сырым горохом и сунул себе горошину в ухо, а она там у него разбухла и проросла...» Словом, он притащил какую-то машину, полчаса мучил ребенка и вытащил у него из уха целую горсть гороха! Вот тебе, только этого не хватало! Весь мир уписывает горох за обе щеки — и ничего, а у меня без чудес не обходится! Как мать говорит: «Неудачник и на траве поскользнется и нос себе расшибет». Так вот, дорогой мой супруг, на что тебе сдались займы, дела с бердичевскими жуликами, с банкротами, — собери свои несколько рублей и приезжай домой, здесь тоже найдется для тебя дело. Как мать говорит: «За деньги все получить можно, не считая лихорадки...»

Как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл*.

Знаешь, о чем я попрошу тебя, Мендл? Не пиши ты мне о твоих егупецких шарлатанах с веселыми женщинами — я и слышать их поганого имени не желаю! Пускай они там в огне сгорят! Послушай лучше, какая история произошла у нас. Сын Лейви Мойше-Мендлова, Борис, как его называют по имени деда Бериша, царство ему немецкое (поганец, каких мало), зашел на прошлой неделе с двумя служками к Либе Мойше-Мордхеса в лавку и обращается к дочке Либиной, Фейгеле (она себя называет Фанечкой): «Фанечка, душенька, покажи пальчик!» Фанечка показала. Тогда он надевает ей кольцо и произносит: «Будьте свидетелями, господа, в том, что я обручился с ней по закону Мойсея и Израиля!»

Поднялась суматоха, шум, гам. Либа упала в обморок, весь город сбежался полюбоваться на это зрелище. Вмешались люди, побежали к раввину. А раввин говорит, что брак законен и, для того чтобы расторгнуть его, Борис должен дать ей развод! Но Фанечка заявляет, что она вовсе не хочет разводиться, она, оказывается, втюрилась в него уже давно... Сговорились обо всем заранее. Ну, что ты скажешь? Все мои беды — на их головы!

VII

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что денежное дело — это нищенское занятие. То есть вообще — давать взаймы, может быть, не так уже плохо, но для этого нужны свои деньги, а не чужие. Бегаешь, сует-

тишься — и все понапрасну! Нечего завидовать человеку, который вынужден прибегать к милости здешних заимодавцев, ко всем этим бердичевским, винницким и шполянским ростовщикам, которые растут без дождя, как крапива... И даже крупные, с позволения сказать, банкиры, — нежели прибегать к ним, лучше уж сидеть дома и стричь «кумпоны»... Словом, я плюнул на денежное дело и принялся за дома. Почему за дома? Потому что здесь, в Егупце, объявился новый вид спекуляции — домами! Ты небось думаешь, что в Егупце покупают дома так же, как у вас в Касриловке? Ошибаешься. Здесь, когда покупают дом, — его сразу же несут в банк и получают под него деньги; потом его закладывают и снова получают деньги; потом сдают квартиры и опять-таки получают деньги. Словом, покупают дом без гроша и становятся, в добрый час, домовладельцами. Ты, пожалуй, скажешь, если так, то ведь каждый может иметь свой дом! На это я тебе отвечу: где же взять деньги для задатка? Конечно, если я, с божьей помощью, проведу дело, которым я сейчас занят (я собираюсь сделать парочку домов), тогда я и сам куплю дом (на твое имя) тысяч за двадцать, не вкладывая ни ломаного гроша... Вот тебе расчет, как на ладони: пятнадцать тысяч дает мне банк, шесть тысяч я получаю по второй закладной, — стало быть, тысяча уже остается у меня в кармане! Так что на расходы я уже частично имею... А где же квартирная плата и прочие доходы? А как же, ты думала, делаются богачами в Егупце? Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! История о том, как сын Лейви Мойше-Мендлова обручился с Либиной дочерью, мало меня удивляет. Здесь, в Егупце, без влюбления ни одно сватовство не обходится: жених и невеста обязательно должны раньше крутить любовь, иначе и сватовство не сватовство. Здесь часто

случается, что муж бросает свою жену и влюбляется в чужую жену, или жена покидает мужа и влюбляется в другого, а жена того мужа влюбляется в жену мужа той жены, то есть в мужа той жены... Обмениваются, так сказать: мое — твое, а твое — мое... Это тебе не Касриловка, это Егупец...

Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе — где это слыхано на свете, чтобы молодой муж покинул жену и детей, тестя и тещу, пустился бы в чужой город и что ни день занимался новым делом: то он делает сахар, то занимает деньги, то делается владельцем собственного дома в Егупце, да еще без гроша денег?! Нежели иметь дом и быть должным за него больше, чем он стоит, пускай он лучше сгорит дотла вместе с остальными домами в Егупце. Подумаешь, какое меня ждет счастье! Когда у него уладятся дела и он заработает деньги, он мне купит дом на мое имя... На что мне дом? Ты пришли лучше деньги, а я уж сама куплю что надо. Как мать говорит: «Был бы хлеб, а ножик мы и сами найдем...» Ведь это же прямо-таки напасть какая-то, сглазили меня, да и только! Казалось бы, чем я хуже Блюма-Златы? Такая же женщина, такая же раскрасавица, а ума мне тоже у нее не занимать стать... За что же, спрашивается, выпала мне такая несчастная доля, а Блюма-Злату с каждым днем распирает все больше вширь — высохнуть бы ей, как щепке, господи милосердый! Но, с другой стороны, что, собственно,

имею я против Блюма-Златы? По моей земле она не ходит. Пускай себе живет и здравствует со своим Нехемией, а мне пусть бог поможет в свою очередь. Как мать говорит: «Лучше себе пожелать, нежели другого проклясть...» Просто больно делается, когда видишь, что люди живут, одеваются, а я должна сидеть вдовой при живом муже и дожидаться, авось кормильцу привалит счастье: поп уронит, а он поднимет, — тогда он выстроит мне дом в Егупце. Не дождется твой Егупец, чтобы я ради твоих расчудесных людей, которые обмениваются женами, пожертвовала всем, пустилась туда к тебе, сняла бы парик и сделалась у тебя наложницей... Пускай они себе голову сломят на ровном месте, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

«Ни красоты не нужно, — говорит мама, — ни ума: счастье нужно». Сравни, к примеру, мою Нехама-Брайндл и Рохл тети Двойры. Эта хороша как летнее солнце, а та — кислятина. А вот поди же: Нехама-Брайндл, бедняжка, сидит в девицах, а Рохл выходит замуж за какого-то раззяву из Ямполя, очень порядочного, честного, тихого, то есть глуповатого, но из очень родовитой семьи. У него, говорят, сестра выкрестка. Он, правда, не совсем здоров, но зато солдатчины не боится. Удовольствие смотреть на эту парочку. Она думает, что умнее никого на свете нет, а он уверен, что никого красивее нет. Как моя мать говорит: «Не то любо, что хорошо, а то хорошо, что любо...»

IX

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что возня с домами — дело пустяковое. Я вовремя спохватился и занялся другим товаром — имениями. Имения — это совсем не то! Во-первых, не нужно сапоги трепать: напишешь письмо, отошлешь опись, тот съездит, посмотрит землю, и дело, с божьей помощью, сделано. А во-вторых, имеешь дело не со злыднями, не с нищими, а с господами, с помещиками, князьями, графами! Ты, пожалуй, спросишь, каким образом я очутился среди графов? Это целая история.

Ты ведь знаешь, что жить здесь мне нельзя. А так как часто случается, что полиция наведывается к нам в гостиницу по ночам для проверки и «очистки», то хозяйка нас обычно об этом предупреждает, чтобы мы могли вовремя растаять, точно соль в воде: кто в Бойберик, кто на Демиевку, а кто — на Слободку... * Но иной раз хозяйка и сама не знает, когда нагрянет облава, — в таких случаях очень скверно! Однажды на той неделе лежим это мы, все гости, и спим... Вдруг слышим — стучат. Хозяйка соскакивает с постели и обращается к нам, вся дрожа:

— Евреи! Марш из дому, полезайте в солому!..

Поднялась беготня, стали прятаться: кто в погреб, а я — на старое свое место — на чердак, и следом за мной — еще один человек из Каменца. Лежа так в беде на чердаке, слышу я, как человек этот стонет.

— Чего вы вздыхаете? — спрашиваю я шепотом.

— Горе мое горькое! — отвечает тот. — Бумаги свои я оставил в изголовье. За бумаги беспокоюсь.

— А что это за бумаги?

— О, — говорит он, — очень нужные бумаги! Стоят по меньшей мере полмиллиона.

Услыхав такие речи, я потихоньку придвинулся к моему соседу и спрашиваю:

— Откуда у вас столько бумаг? И что это за бумаги такие?

— Это имения, — отвечает он. — Есть у меня имения в Волынской губернии, крупные имения, с угодьями, с лошадьми и волами, с овцами и водяными мельницами, с винокуренными заводами, с прекрасными дворами, с роскошными садами, со всяческим добром!

Я придвинулся к моему соседу еще ближе:

— Откуда у вас столько имений, откуда такие богатства?

— Имения, — отвечает он, — принадлежат не мне, не на моем мусоре выросли. Это барские имения, но они у меня на руках. То есть я должен их продать, ради этого-то я и приехал сюда, привез с собою все бумаги, описи. Как вы думаете, не пострадаю я?

— Боже упаси! — говорю я. — Кому нужно чужое? Дай бог, чтобы сюда на чердак не добрались...

Тем временем пробую пощупать его с другой стороны.

— Ну, а вы уже что-нибудь сделали с вашими имениями?

— Нет, — отвечает, — пока еще ничего. Боюсь здешних маклеров. Они, говорят, ужасные лгуны, ни одному их слову верить нельзя! Может быть, вы знаете маклера по имениям, но только порядочного человека, честного, не лгуна?

— Ох, — говорю я, — с большим удовольствием! Я сам маклер по имениям. То есть с имениями я в жизни своей дела не имел, но это ничего не значит: дал бы только бог покупателя, — можно и имение сделать.

— Я вижу, — сказал тогда мой маклер, — что имею дело с настоящим человеком, с порядочным человеком. Дайте же мне слово, что все это останется между нами, и я передам вам все, — где расположены мои имения и что в них находится.

Словом, мы, с божьей помощью, сделали дело, то есть решили работать на паях: он вкладывает в дело все свои имения, а я — своих покупателей. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко.

Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Тревога в гостинице оказалась напрасной. Какой-то сосед по ошибке постучал к нам в окно, а мы зря разбежались. Но из этого ясно видно: что бы господь ни творил, все к лучшему. Например, если бы сосед не постучал в окно, не было бы никакой тревоги, я не оказался бы на чердаке, не познакомился бы с маклером из Каменца и не знал бы никаких имений и никаких графов. Теперь бы только хоть немножечко удачи.

Тот же.

X

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, пишу я тебе, что меня одолел кашель, — дай бог твоим егупецким мадамам того же. И козье молоко уже пью, уже и у доктора была. Сколько эти доктора вытянули у меня денег за последние годы, — прохворать бы им столько же с аптекой заодно. Хорошо еще, что у нас вторая аптека открылась и можно поторговаться.

Поздравляю тебя с твоими новыми делами, с имениями и графами! Только и знает, что каждый день новое занятие выискивает! Мало того, что он такой расторопный да удачливый, — он еще привередничает: во всем недостатки находит... Как моя мама говорит: «Девица плясать не умеет, а говорит, что музыканты плохи...» Боюсь я, Мендл, что ты до тех пор будешь хвататься за всякие дела, пока не начнешь торговать на улице спичками, как сын тети Соси

Гецл, который пустился в Америку, думал, что там он кота за хвост поймает, а сейчас такие письма шлет, что камень и тот растрогать можно. В Америке, пишет он, каждый вынужден работать до полусмерти, не то, хоть распухни с голоду, никто тебе куска хлеба не подаст... Чудная страна, чтоб она сгорела вместе с твоим Егупцем! Поделом вам! Моя мама говорит: «Имеешь хлеб, — не гонись за пряником!» Очень хотела бы, чтобы господь сотворил чудо, и мне не пришлось бы в близком будущем услышать о тебе то же, что рассказывают о Гецле, сыне тети Соси, а может быть, что-нибудь и похлеще... Как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

«Земля и небо, — говорит мама, — поклялись, чтобы в мире ничего не пропадало без следа!» Приехал к нам из губернии чиновник и рыщет и докапывается, — хочет узнать, куда девались деньги, что Мойше-Мордхе завещал на общественные дела. Какие-то бездельники донесли, будто деньги остались у нашего богача. А богач говорит, что деньги ушли. Куда ушли? На ветер... Хоть бы его к арестантским ротам присудили, боже милосердый!..

XI

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Амины!

А во-вторых, да будет тебе известно, что у меня уже имений свыше чем на миллион! Есть у меня имения на редкость — таких никогда и не увидишь!

Ты, пожалуй, спросишь, откуда у меня столько добра? А вот послушай:

Когда я вышел на биржу со своим компаньоном из Каменца и объявил, что продаю имения, ко мне со всех сторон посыпались маклеры, у которых тоже есть имения для продажи, и мы сделали дело, а именно: мы поменялись имениями, то есть мы им дали описи наших имений, а они дали нам описи своих. Так что одно из двух: если мы сделаем их имения, то мы наверное заработаем; если же они сделают наши имения, то мы опять-таки заработаем. Так или иначе — мы ничего не теряем! Словом, я втерся в компанию маклеров и сам стал, с божьей помощью, не из последних, сижу уже у Семадени наравне со всеми за белым мраморным столиком, как в Одессе, и пью кофе со сдобными булочками. Такой уж здесь обычай, — не то подходит человек и выгоняет вон. Тут, у Семадени, и есть самая биржа. Сюда собираются маклеры со всех концов света. Здесь всегда крик, шум, гам, как — не в пример будь сказано, — в синагоге: все говорят, смеются, размахивают руками. Иной раз ссорятся, спорят, затем судятся, потому что при дележе куртажа вечно возникают недоразумения и претензии; без суда посторонних лиц, без проклятий, кукишей и оплеух никогда ни у кого — в том числе и у меня — не обходится. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Есть у меня в Волынской губернии имение с дворцом. Во дворце этом шестьдесят шесть комнат, потолки и полы в них не более и не менее — сплошь из зеркального стекла, есть и сад, который называется «анджиреей». В этом саду и летом и зимой растут лимоны и апельсины. Затем лошади там, кареты — загляденье! И все это продается за бесценок! Послал бы мне господь бог хорошего

покупателя, — кто бы тогда сравнялся со мной? Беда только в том, что маклеры имений в большинстве случаев на язык слабоваты, то есть не прочь иной раз преувеличить... Но что поделаешь? Ради заработка и привирать приходится.

Тот же.

XII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я уже кровью харкаю от твоих веселых писем! Стыд и срам показать кому-либо, что ты пишешь. Как моя мама говорит: «Самая страшная боль — та, которую не выскажешь!» Что это за работа, спрашиваю я тебя, сидеть по целым дням у Симе-Дины (кто она такая, ко всем чертям? Была у нас когда-то Симе-Дина — лекариха, но ее уже давно на свете нет!) и распивать кофе с булочками в будень день? Подумаешь, нашел чему радоваться: у него есть для продажи имения с шестьюдесятью шестью комнатами — шестьдесят шесть волдырей на языки моим врагам! И правда-таки, что ему делается там в Егупце оттого, что я здесь дни и ночи вожусь с его детьми? Вот вчера только Лееня — дай ей бог здоровья — подралась с Мойше-Гершелем и угодила ему вилкой в лицо. Хорошо еще, что не в глаз! Но что тебе мои слова — в одно ухо вошло, в другое вышло... Ведь это же прямо неслыханно! Пишу, пишу, разрываюсь на части, а он сидит себе, как проклятый, в Егупце, пьет кофе и любуется драками маклеров на бирже! Хоть бы господь бог кого-

нибудь надоумил отдубасить тебя по заслугам! Может быть, ты бы тогда поумнел, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная жена *Шейне-Шейндл.*

Можешь гордиться, Мендл, своими аристократами, погибель на них! Послушал бы ты, что творится у нас в городе с нашими двумя молодыми докторами — доктором Кубебе и доктором Лакриц. Дерутся, как кошки. Доктор Кубебе надумал и подал жалобу на доктора Лакрица, будто он отравил ребенка. Тогда Лакриц, недолго думая, сообщил, что Кубебе вместе с агентом Файвлом застраховали покойника в обществе «Якорь». Тогда Кубебе донес, будто доктор Лакриц... Впрочем, пускай они оба скапутятся вместо меня, и моей семьи, и всех моих родных, и всего нашего народа!

XIII

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я сейчас торгую исключительно лесом, потому что имение без леса, что дом без трубы! Самая изюминка всякого имения — это лес. Торговля лесом многих осчастливила, миллионерами сделала. Ты, пожалуй, спросишь, откуда у меня взялся лес? А вот послушай, как бог направляет человека. Когда я занялся имениями и стал водиться с маклерами, я как раз наскочил на одного из крупных. Он меня и спрашивает:

— Что у вас за товар? А ну-ка, покажите!

Достаю свою пачку описей — имений там на миллион семьсот тысяч — и выкладываю.

— Извините меня, — говорит он, — я должен вам сказать, что имения ваши и трех понюшек табаку не стоят.

— Как так? Почему?

— А потому, — отвечает он, — что все ваши имения — голые! Небо и земля, еще раз небо и земля и опять-таки небо и земля! А где же лес? Что толку от имения, когда в нем леса нет? Чего же вы молчите? Лес давайте мне, лес!

Словом, пришлось промолчать: мне перед самим собой стыдно было за то, что я ношусь с ничего не стоящим товаром!

— Если так, — говорю, — дайте вы мне хорошее имение с лесом. У меня покупатель найдется.

— О! — отвечает он, — с большим удовольствием. У меня, — говорит, — есть для вас лес, в который человеческая нога не ступала. Там имеются деревья, стоящие от сотворения мира, дубы до облаков, кедры ливанские. С одной стороны — железная дорога, с другой стороны — река. И где, вы думаете, протекает река? Вот лес, а вот и река: хвать по дереву — бултых в воду!

Услыхав такие речи, я тут же пошел поразнюхать насчет покупателя, и господь мне помог — наскочил на нужного человека. Узнал, конечно, через маклера, а этот маклер — через другого. Но это ничего не значит, только бы дело выгорело — хватит на всех. Пришел я к покупателю и предлагаю: так, мол, и так, лес стоит от сотворения мира, с одной стороны — железная дорога, с другой — река: хвать по дереву — бултых в воду! Конечно, ему это дело понравилось. Взял он меня на цугундер, стал расспрашивать как лес называется, где он находится, какие в нем растут деревья, скольких они аршин от земли, высота, ширина, от какого места начинаются ветви, какая на них кора, как расположены слои внутри дерева, как туда проехать, какова дорога, снежная ли в тех местах зима?.. Словом, засыпал меня вопросами и не дал слова сказать в ответ. Наконец он обращается ко мне:

— К чему нам пустые разговоры? Принесите опись леса, тогда потолкуем.

— На что вам, — отвечаю, — опись? Давайте-ка я лучше слетаю на одной ноге и приведу к вам самого хозяина леса, — ведь это же лучше тысячи описей!

В общем, сбегал, поймал и привел прямо к покупателю в номер. Увидели друг дружку лесовладелец и покупатель, да как расхохочутся, я думал с обоими тут же удар случится.

— Вот это и есть ваш лесовладелец? — спрашивает покупатель.

— Вот это и есть ваш покупатель? — спрашивает лесовладелец.

В это время открылась дверь, вошли еще двое и все вместе, без дальних слов, уселись за стол, достали карты и затеяли вчетвером партию в «очко». А дело отложили на завтра. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет тестю, теще, деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

XIV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что мне уже жизнь не мила. Как моя мама говорит: «Нежели так ехать, лучше пешком ходить...» Могу себе представить, — горе мое горькое! — кто такие твои купцы: к ним приходят говорить о лесе, которому и цены нет, а они, бросив все дела, садятся на всю ночь играть в «очко»,

чтоб у них в голове так окало, как окает у меня в груди, когда начинает донимать проклятущий кашель! Горе, горе! До чего я дожила! Мой муж, который не знал, как выглядят карты, теперь говорит о картах! Не хваталю еще, Мендл, чтобы и ты на старости лет картежником сделался! Новое несчастье — леса! Что у тебя общего с лесом? Ты видел хотя бы когда-нибудь, как дерево растет? Недаром мама говорит: «Где уж раввину свиньями торговать?!» Боюсь, что от твоих лесов будет не больше толку, чем от всех твоих золотых дел, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Весь свет только и делает, что носится с тобой! На прошлой неделе твоя родственница Крейндл — провались она сквозь землю! — встретила на рынке возле рыбного ряда мою мать и стала меня оплакивать, — болячка бы ей, господи! Почему, говорит, я не разведусь с тобой, и пусть будет покончено с этим делом. Можешь себе представить, мать в долгу не осталась! Она с ней не ссорилась, упаси бог, не ругалась, но доняла ее словечками, как она умеет: «Там, где двое на одной подушке, третьему делать нечего. Нежели новый черепок, лучше старый горшок... Друзья, что крапива — растут без дождя... Почему бы ей на более близкого не оглянуться?.. Каждый чует, что другой чесноку наелся... Отрастил бык длинный язык, а трубить не умеет...» Такими и подобными словечками мать донимала ее до тех пор, пока та не ушла, — у нее и язык отнялся...

XV

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии.

Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что «лес» оказался «степью». Ни медведей, как говорится, ни чащи! Ни леса, ни деревьев, ни реки — чепуха, прошлогодний снег! Зря морочил голову и другим и себе, зря ноги бил, зря сапоги трепал. Я убедился, дорогая жена, что леса — это не для меня, иметь дело с такими лгунами мне не по силам. Они способны выдумать, что на небе — ярмарка, по их милости можно и в тартарары провалиться! Что же мне оставалось делать? Я вовремя спохватился и принялся за другое — за заводы (то есть фабрики, где делают сахар). Это сейчас самое выгодное дело. Люди покупают заводы, а маклера зашибают деньгу, богатеют! Есть тут один маклер из Белополья, он втерся к Радомысльским, каждую неделю делает для них два-три заводика, получает свои десять — пятнадцать тысяч рублей и уезжает на субботу домой. Куда уж больше? Служители, факторы заделались маклерами заводов, носят золотые часы, говорят по-немецки, страдают уже от катара желудка, посылают своих жен на воды, стали большими аристократами. Словом, единственное дело, оставшееся в Егупце на бирже, это заводы! Заводы делают все маклеры, а в том числе и я. Тебе, наверное, интересно знать, каким образом я пристроился к такому фундаментальному делу? Ведь я даже не знаю, с чем это едят! А вот послушай, как бог направляет человека.

Уже давно я перестал бывать у Семадени (не Симе-Дина, как ты говоришь. Это вообще не женщина, а мужчина, и порядочный изверг к тому же). А перестал я бывать не потому, что я с ним поссорился, а просто опротивело мне кофе с булочками, да и денег нет при себе... Стал я вместе с другими шататься по улице. Тут я познакомился с одним маклером по заводам, видно, очень порядочным человеком и большим знатоком дела. Он вхож, говорит, к самым большим людям, даже к Бродским.

— Из каких краев будете? — спросил он меня.

— Из Касриловки. То есть родился я в Ямполе,

прописан в Мазеповке, жену взял из Касриловки, а торговать — торгую в Егупце.

— А что такое эта самая Касриловка? Деревня или местечко?

— Что значит, — говорю я, — местечко? Это настоящий город!

— А евреям там разрешается жить?

— Еще как разрешается!

— Ну, а река, — спрашивает он, — у вас есть?

— Да еще какая река! — отвечаю. — Штинкайла называется!

— Ну, а железная дорога далеко?

— Да нет! Всего в каких-нибудь семидесяти с лишним верстах. А почему это вас интересует?

— Давайте, — отвечает, — вашу руку! Дайте слово, что все это останется между нами. Могу вам сообщить, реб Менахем-Мендл, что мы с божьей помощью вскоре заработаем деньги, много денег, полную шапку! Только что мне пришла в голову мысль, да такая, что раз в сто лет приходит. Дело в том, что желающих покупать заводы сейчас развелось много. А заводов нет. Сколько было, — расхватали Радомысльские. А больше и продавать не хотят. Поэтому народ принялся за постройку новеньких, свеженьких заводов. А так как в деревни евреям доступа нет, то и приходится строить заводы в местечках, где евреям жить разрешается. Теперь вы уже понимаете, что ваша Касриловка с первых дней творения создана для того, чтобы в ней был построен заводишко? А у меня как раз есть клиент, который может построить завод стоимостью в полмиллиона рублей, было бы только место. Все места порасхватали! Не знаете ли вы, с кем можно переговорить, растут ли там бураки и найдется ли место для постройки завода?

— Ох! — отвечаю я, — с превеликим удовольствием! У меня там, — говорю, — жена, дай ей бог долголетия, и тесть, и теща, и вся родня. Могу сейчас же написать туда письмо, и вы можете быть уверены, что мне немедленно ответят обо всем подробно.

Так вот, дорогая жена, я и пишу тебе и прошу повидаться с Азриелем-старостой и с Мошкой-рыжим —

он трется возле начальства... Пусть он выпытает, есть ли место, сколько можно получить бураков и почем? Обо всем этом немедленно сообщи мне письмом. Это необходимо! Тут, понимаешь, пахнет крупным заработком — тысяч десять — пятнадцать, не меньше!

Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечно кланяюсь каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Я расспросил моего компаньона и узнал, что клиент его один из Радомысльских, купец очень азартный: все они, Радомысльские, люди горячие и очень охочие до заводов, будь то хоть ветряная мельница, была бы только труба да гудок. Поэтому я надеюсь, что дело это верное, и мы с божьей помощью заработаем. Правда, у нас довольно-таки много компаньонов, чуть ли не целый десяток. Но пускай уж выгорит дело, а за богатствами, ты знаешь, я не гонюсь!

Тот же.

XVI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во вторых, пишу я тебе, что я читала и перечитывала твое послание, но не поняла ни слова. Чего ты хочешь? Спрашиваешь, есть ли места? Так вот могу тебе сообщить, что у нас на новом кладбище мест сколько угодно, на пол-Егупца хватит. И почему тебя так интересуют бураки? Почему ты заодно не спрашиваешь о капусте, о хрене и пастернаке? А что

касается реки, то дай бог такую долю твоим компаньонам, какая у нас вода! Чуть весна наступит, здесь пьют воду с головастиками, а летом всю реку затягивает зеленью, как травой. Очень хотелось бы, чтобы твои егупецкие ловкачи, которые возятся с желудками, попробовали нашу водичку в середине лета! Нет, Мендл, пускай они хиреют у себя в Егупце, а уж мы как-нибудь обойдемся без их заводов. Выбей себе, Мендл, дурь из головы! Ты так же будешь делать заводы, как делал леса, имения, дома и сахар. Ручаюсь, что прежде, чем ты успеешь оглянуться, твои компаньоны тебя кругом облапошат, потому что ты был растяпой и останешься растяпой, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Да, скажи, пожалуйста, Мендл, что это еще за новости у нас передают? Говорят, будто там, в Егупце, уже записываются на Палестину. Кто уплатит сорок копеек, тот едет. Что это такое? У нас об этом сильно поговаривать стали. Молодежь собирается каждый вечер у Иосла Мойше-Иосиса и толкует о Палестине. Словом, столпотворение. Как моя мама говорит: «Давно уже шуму не было!»

XVII

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что погоня за заводами почти прекратилась. Наступил кризис, и сейчас заводы, можно сказать, на улице валяются:

нет на них покупателей! Народ, понимаешь ли, объелся заводами, даже через край хватил, деньги дороги, а сахар продают за бесценок, потому что столько сахару понаделали, что его и девать некуда, хоть брось! Дело загублено, заводчики готовы жизнь отдать за копейку, капиталисты воздерживаются, а маклеры болтаются без дела, и я тоже!

Но ты, чего доброго, можешь подумать, что на этом свет клином сошелся? Не беспокойся, дорогая моя, и господь еще на небе сидит, и Егупец еще на месте стоит. Такие человечки, как я, не пропадают. Наоборот, именно сейчас у меня есть надежда выплыть. Я веду сейчас дело, которое должно дать на мою долю чуть ли не сто тысяч! Это огромное дело, миллионов на десять, а может быть, и больше. Этому нет границ! Возможно, что одного только золота там на много тысяч. А серебра, а железа, а меди, а свинца, а ртути! О каменном угле и о камнях я уже не говорю! Затем, там масса лесов, полей, всякого добра... Говорят — золотые россыпи, а хотят за все это всего-навсего два с половиной миллиона рублей! Просто даром! Единственный недостаток в том, что это далековато, а именно аж в Сибири, ехать туда надо чуть ли не три недели подряд, так как железной дороги там нет.

Кому можно предложить такое огромное дело? Ясно, Бродскому. Но вот в чем беда: как достучаться в контору Бродского? Прежде всего, у дверей стоит швейцар с пуговицами и окидывает взглядом одежду. Если сюртук на тебе поношенный, швейцар гонит в шею. А если даже чудом проскочишь мимо швейцара, то простоишь часов шесть на лестнице в ожидании, авось господь смилуется, авось удастся увидеть Бродского. Но когда наконец и сподобишься увидеть его, он пролетает стрелой, не успеешь оглянуться, как он уже в карете сидит, — и поминай как звали! Нельзя же быть грубияном, приходится откладывать встречу на следующий день. А на следующий день та же история! Шутка ли, когда у человека столько дел! Не так это просто — пробиться к Бродскому! Но будем надеяться, что я когда-нибудь все-таки про-

бьюсь, и тогда все будет хорошо! Так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл. Ты спрашиваешь о Палестине. Ты, наверно, имеешь в виду сионизм *. Это, видишь ли, очень высокая идея, хотя в Егупце к ней относятся не особенно горячо. Я бывал как-то у здешних сионистов на заседаниях, хотел разузнать, в чем тут дело. Но они все время говорят по-русски, и очень много говорят. Казалось бы, что с евреями они могли бы говорить по-еврейски! Я как-то пытался потолковать об этом со своими маклерами, но они меня на смех подняли: «Ерунда! Циенизм? Доктор Герцл? Пустое дело!»

Тот же.

XVIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что моя Гитл осталась вдовой с семью сиротами мал мала меньше! Умер мой зять от зуба, хотя, вообще говоря, он и всегда был нездоров. Частенько, не про меня будь сказано, похаркивал кровью. И все же мы думали, что он еще помучается на белом свете. Но вот он пошел к фельдшеру Шмельке, выдернул себе зуб, потом вернулся домой, лег и помер. Как моя мама — да продлит господь ее годы — говорит: «Никто не знает, чей будет завтрашний день...» А покуда что Гитл, бедняжка,

убивается, обливается слезами — даже описать невозможно! Конечно, случись, упаси бог, наоборот, то есть если бы она, не дай бог, умерла, а Залмен-Меер остался бы вдовцом, он бы, наверное, столько слез не проливал и, разумеется, сразу же после тридцати дней траура привез бы из Бердичева мачеху своим детям. Я говорю не только о нем, — это касается всех мужчин. Все вы своих жен не стоите! Скажи, где это слыхано, чтобы отец семейства вбил себе в голову такую дурь — миллионы! Экое счастье ему привалило: стоит у Бродского за дверью! Боюсь, что дальше ты не двинешься. Хоть бы сапоги пожалел, право! Так-таки и выложил Бродский свои миллионы и полетел в Симбирь! Как же? Сам Менахем-Мендл слыхал о том, что где-то там, у черта на куличках, валяется золото и ртуть! Как моя мама говорит: «Глухой слыхал, как немой рассказывал, что слепой видал, как хромой побежал...» Ведь я же знаю наперед, в следующем письме ты напишешь, что твое золотое дело прахом пошло. Но отыщется еще какой-нибудь черт, дьявол с каким-нибудь новым вздором, расскажет тебе, что корова над крышей пролетала и яичко снесла, а ты развесишь уши и снова будешь носиться как сумасшедший!

Если бы ты, Мендл, хоть раз подумал о том, что у тебя дома есть жена — дай бог до ста двадцати лет! — и малые дети, которые ждут тебя, как мессию, тебе не захотелось бы валандаться по чужим домам и носиться с такими глупостями, от которых с души воротит! Еще не проучил тебя Егупец, — чтоб он сгорел! — как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Интересная история! Меера Мешулемса ты помнишь? У него есть дочь Шпринцл. Здоровенная такая, ну прямо железная, немного, правда, засиделась в девках, но очень толковая. Так вот повадился к ней книгоноша, который разносит по домам книжки и романсы напрокат. Дорвалась Шпринцл до этих книжек и романсов, прочла их штук сто и вроде как обалдела, не про меня будь сказано! Говорит на

каком-то тарабарском языке такие слова, что ничего не поймешь... Уверяет, будто ее зовут не Шпринцл, а «Берта» и ждет, что с минуты на минуту придет кто-то по имени «лорд», ее «покровитель», выкрадет ее через окно и отвезет куда-то к черту на рога, аж в Лондон, а из Лондона — в Стамбул...

Прямо-таки погибели нет на пустопорожние головы, которые придумывают такие дикие небылицы!..

XIX

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что велик наш бог! Послушай только. С тех пор как я стал вхож к Бродским, я начал пользоваться большим уважением на бирже, возле меня стали вертеться маклеры со всего света и предлагать мне тысячи разных дел: дома, имения, леса, железные дороги, пароходы, миллионные фабрики — и все это для Бродского. Среди этих маклеров имеются два компаньона, нездешних: один из них носит крылатку с пелериной, а у другого такое имя, что мне даже неловко написать его... Эти два маклера поймали меня однажды, когда я возвращался от Бродского, и «пелерина» обратился ко мне со следующими словами:

— Послушайте, реб Менахем-Мендл, что мы вам хотим сказать. Дело, видите ли, вот в чем... Мы слышали, что вы вертитесь там, возле Бродских... Ну, что ж! Пускай вам господь бог поможет... Мы против вас ничего не имеем!

— Итак, — говорю я, — чего же вы хотите?

— Чего, — отвечает он, — нам хотеть? Того же, что и каждый маклер хочет... Мы хотим заработать. Мы тоже маклеры, у нас тоже дела... А вдруг, мало ли что бывает? Отчасти благодаря вам, отчасти благодаря нам, может быть, удастся что-нибудь сделать вместе?.. Поделимся. Лучше меньше заработать, лишь бы заработать. Как это говорится: «И из кривды ужин стряпают...»

— Короче говоря, — перебил я, — к чему такие длинные разговоры? Скажите лучше, что у вас есть, не стесняйтесь.

— Дел у нас, — отвечает он, — слава тебе господи, много. У нас есть уголь в Полтавской губернии, есть железо в Каневском уезде, есть погорелая мельница в Переяславле, есть машины, совершенно новые — выдумал их один пинский еврей... Затем имеется у нас помещик, который хочет выменять лес на винокуренный завод, есть еще один человечек, который хочет без денег купить в Егупце большой дом... Наконец, имения! Леса! Может быть, у вас есть покупатели, — мы вам дадим имения; может быть, у вас есть имения, — мы вам дадим покупателей!

— Нет, — говорю я, — имениями и лесами я больше не торгую — кончено! Я уже обжегся на имениях и дал себе слово ни имений, ни лесов больше в руки не брать!

— Эх! — говорит «пелерина». — Дело делу рознь. Вот, к примеру, имеется у нас сейчас имение на Кавказе! Имение с нефтью. То есть такая земля, из которой бьет керосин. Бьет не переставая! Вполне возможно, что земля эта может выбросить миллион пудов керосина в сутки!

— Если так, — говорю, — мы с вами сойдемся. Это дело подходящее! Это давайте сюда!

И мы втроем пошли в «Еврейскую молочную» (я уже больше не хожу к Семадени: оттуда выгоняют, а в «Еврейской молочной» по-домашнему, все-таки среди своих, здесь можно сидеть, разговаривать и делать что угодно), там мы обсудили дело и заключили союз. Когда же нужно было расписаться, они мне

открыли секрет, что в деле участвует еще несколько компаньонов: один толстогубый, другой рыжий — он торгует часиками — ужасный лгун, упаси бог! Еще один с красным носом в прыщах, тоже дикий лгун, и еще один вдовец. Такое количество компаньонов мне, правду сказать, не очень-то понравилось. Но «пелерина» столько говорил и столько примеров приводил, что я не мог не согласиться с тем, чтобы мы все расписались на бумаге. Само собой разумеется, что между компаньонами не обходится без претензий: каждый доказывал, что ему причитается более крупная доля. Но помог бы мне бог так легко уладить дело с другой стороной, как легко было сговориться с маклерами, — было бы совсем неплохо. Потому что как же на таком деле не заработать хотя бы миллион?

Я твердо решил, если только дело это, даст бог, выгорит, я тут же снимаю контору на Николаевской и становлюсь, с божьей помощью, крупным маклером.

Так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи! Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Я имел в виду написать тебе о чем-то очень нужном, но забыл о чем. Так что оставляю это до другого раза.

Тот же.

XX

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, я пишу тебе вкратце, потому что у меня уже сил не стало говорить с тобой. Все это словно горох об стену. Как моя мама говорит: «Играй жениху печальное, а у него свое на уме...» Ты, конечно, в большом почете в Егупце: ведь ты стоишь у Бродского за дверью, а миллионами у тебя кишмя кишит. Но, несмотря на все это, пожалуйста не зазнавайся.

Миллионы пока что не у тебя, а у Бродского, и дело может обернуться так, что земля, о которой ты пишешь, течет не елеем, а помоями... И как до дела дойдет, то кончится пощечинами... А бить кого будут? Тебя! Поэтому я тебе советую: убирайся оттуда, пока цел, и приезжай домой. Забудь обо всем, что было до сих пор. Может быть, я тебя когда-нибудь словом задела... Как мать говорит: «Лучше оплеуха от друга, нежели поцелуй от врага...» Дай телеграмму и приезжай как можно скорее, и пусть я уже избавлюсь от всего этого, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Могу рассказать тебе историю, которая у нас произошла и прогремела на весь мир! Ты ведь знаешь Меер-Мотла, сына Мойше-Меера? Так вот есть у него дочка Рацл... Дочка, надо сказать, богоданная... Шибко образованная: трещит по-французски, колотит по фортопчану, ни с кем не водится. Шутка ли, она ведет свой род от мясников. Как моя мама говорит: «Родовит — не лыком шит». Словом, женихов ей сватают со всего света, а она привередничает: что ни покажешь, не нравится! Ей нужен жених со всеми достоинствами: красивый, умный, богатый — звездочка с неба. Сваты из сил выбивались и откопали-таки ей жениха на редкость — заморский фрукт и как раз из маленького местечка Овруча! Съехались на смотрины; жениха с невестой, как водится, оставили одних в комнате, чтоб они могли познакомиться. И вот невеста обращается к жениху: «Что у вас слыхать насчет Дрейфуса? *» — «Насчет какого Дрейфу-

са?» — спрашивает он. А она ему: «Вы не знаете, кто такой Дрейфус?» А он ей: «Нет. Чем он торгует?» Она, конечно, вылетела из комнаты и упала в обморок, а жених, бедняга, должен был с позором вернуться в Овруч... Болячка ему, болячка ей, болячка им обоим!

Очень прошу тебя, объясни мне, ведь ты там среди людей: кто такой этот самый Дрейфус, с которым весь мир носится?

XXI

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что с Бродским я разошелся. То есть мы с ним, упаси бог, не ссорились, но я попросту перестал бывать у него: что мне Бродский, когда я добираюсь уже до Ротшильда* в Париже?

Ты, верно, спросишь, куда мне, Менахем-Мендлу, до Ротшильда в Париже? Разгадка — Кавказ и опять-таки нефть! Вся нефть, что на Кавказе, принадлежит ему, а он сам сидит себе в Париже. Каким же, спрашивается, образом мне попасть к Ротшильду?

И вот приходит мне в голову мысль: есть у нас на бирже одна птица по имени Тодрес. Тодрес этот в свое время был крупным спекулянтом, горячим, завзятым дельцом. После того как народ порастряс свои последние гроши, все крупные спекулянты (и я в том числе) сделались маклерами, а Тодрес укатил в Париж и ворочает там колоссальными, миллионными делами. На мое счастье Тодрес сейчас в Егупце,

Я, конечно, не поленился, побежал к нему домой и передал, что пронюхал на Кавказе местечко, которое брызжет нефтью. А так как тут требуются большие деньги, то как будто бы ясно, что дело это под стать только Парижу. Тогда мне Тодрес говорит:

— У меня есть покупатель!

— Кто такой? — спрашиваю.

— Ротшильд! — отвечает он.

— А вы знакомы с Ротшильдом?

— Знаком ли я с Ротшильдом? — говорит он. — Дай бог нам обоим столько денег, сколько я уже на нем заработал!

— Извините! — отвечаю я. — Может быть, вы потрудитесь написать Ротшильду в Париж?

— Написать, — говорит он, — не штука! Хотя мы с Ротшильдом запанибрата, но одно другого не касается: нужно иметь опись и план, иначе нельзя.

Тогда я пошел к своим компаньонам и принес ему опись и все, что требуется.

Ну, что ты скажешь, дорогая жена, — нравится тебе, как Менахем-Мендл с божьей помощью дела делает? И если только всевышний поможет и придет добрая весть от Ротшильда, представляешь себе, что будут значить для меня все егупецкие крупные маклеры? Плохо только, что сейчас не хватает наличной трешницы! Если бы ты только видела, что у нас творится, какое всюду безденежье! Прямо-таки за целковый помирают! Со дня на день ждут крупных банкротств.

Но не горюй, дорогая жена! Все это до поры до времени. За наши мытарства мы, даст бог, будем вознаграждены сторицею. Пусть только прибудет благая весть из Парижа, я уж тогда заберусь в магазин и не забуду ни о себе, ни о тебе, ни о детках, дай им бог здоровья!

Но так как я сейчас занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Ты спрашиваешь о Дрейфусе. Это очень интересная история. Дело было так: в Париже жил Дрейфус, капитан. То есть жил-был капитан по имени Дрейфус. А Эстергази был майор (майор выше капитана, а может быть, и наоборот, — капитан выше?). И был он, Дрейфус то есть, евреем, а Эстергази, майор, — христианином. И вот он написал «бордеро». То есть майор Эстергази написал «бордеро», а всю вину свалил на него, то есть на Дрейфуса. Дрейфус пошел и хотел оправдаться. А его засудили — вечно сидеть среди моря на острове, одному-одинешенькому, взаперти. Тогда пошел Золя и поднял гвалт и стал доказывать: «Помилуйте! — Он прекрасно знает, что это «бордеро» писал не Дрейфус. Чего, мол, вы к нему привязались! Это майорова работа, Эстергази!» Тогда и его посадили. А он, Золя то есть, взял да и удрал. Тогда пошел еще один, Пикар, полковник, и тоже стал кричать и скандалить. Тут выскочил Мерси, генерал, заметь, и еще какой-то Роже, тоже генерал, и еще много генералов и ложно свидетельствовали против Дрейфуса. Пошла тут среди французиков кутерьма: требуют, чтоб доставили его, то есть Дрейфуса. И вот привезли его в Рени на суд. Приехал адвокат из Парижа, его хотели пристрелить и таки стреляли ему в спину. Но он от всех этих генералов камня на камне не оставил. А Дрейфуса все-таки во второй раз осудили, но тут же и выпустили. То есть и виноват, и все-таки не виноват, и делай с нами, что хочешь!.. Теперь ты уже понимаешь историю с Дрейфусом?

Тот же.

XXII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я, тебе уже недалеко до полного сумасшествия, не хватает лишь одного: взять палку в руки и бегать по улицам! Скажите на милость, какая радость: он брызжет керосином, летает в Париж, швыряется миллионами! Равняет себя с егупецкими богачами: у них нет денег и у него ни гроша. Как моя мать говорит: «И я корова, я тоже дохну в стаде». Помяни мое слово, Мендл: тебя привезут домой либо в кандалах, либо в смирительной рубахе, как тебе и полагается, — чтобы ты помнил, что есть у тебя жена, — до ста двадцати лет, — которая понимает побольше твоего. А за подарки, которые ты намерен купить для меня, я тебе очень благодарна. Желаю егупецким лавочникам побольше таких покупателей, как ты, а твои компаньоны — лгуны, которые зарабатывают миллионы и подыхают за грош; дай бог и дальше не хуже, как желает тебе счастья и всего хорошего

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

В истории Дрейфуса, о которой ты мне писал, я не поняла ни одного слова! Как может быть еврей капитаном? И что это за «бандеро» такое, которое сваливают друг на друга? Зачем этот самый Зола должен был удирать, почему его хотели застрелить и почему сзади, а не спереди?.. Как моя мама говорит: «Знать бы так козам чужие огороды, как он знает, что с ним творится».

XXIII

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии.

Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что Кавказ мог бы провалиться сквозь землю прежде, чем я о нем узнал! Мне теперь прямо-таки нельзя на бирже показаться! В чем дело? Очень просто: вчера выхожу на биржу, а навстречу мне идет Тодрес и говорит:

— Послушайте-ка, уважаемый, где он находится, ваш Кавказ?

— Кавказ? — отвечаю. — На Кавказе! А что такое?

— Я, — говорит он, — искал по карте, где находится ваше дело, оказывается, что города, который вы назвали, на свете нет!

— То есть как же это на свете нет?

— А так... Нет такого города... И название какое-то неслыханное... Как же это человек берет на себя смелость предлагать несуществующие дела? Да еще кому? Вы знаете, кто такой Ротшильд?

— Почему же, — говорю, — мне не знать? Я очень хорошо знаю, кто такой Ротшильд, но я-то чем виноват? Так сказали мне, так и я вам сказал.

И тут же отправился разыскивать «пелерину». Нашел я его в «Еврейской молочной» — там, где все сидят, и стал расспрашивать.

— Скажите мне, пожалуйста, пелерина-сердце, где находится наше дело?

— Что это за вопрос? — отвечает он. — Дело-то ведь у нас! У вас же покупатель!

— Нет, — говорю я, — не об этом речь. Я имею в виду самое дело, где оно расположено, в каких местах, как туда проехать, через какой город?

— Этого, — отвечает он, — я как раз не знаю. Об этом должен знать мой компаньон.

Пошли вместе искать компаньона. Но компаньон говорит, что слыхал обо всем от красноносого. А красноносый заявляет, что он понятия не имеет: слыхал, говорит, от толстогубого, что «пелерина» имеет какое-то дело на Кавказе, но где на Кавказе, что на Кавказе, — он знать не знает и ведать не ведает, не знать бы ему так зла!

Словом, когда начали докапываться, как завязалось дело и кто его предложил, — один стал кивать на другого, другой — на третьего и в конце концов пришли к выводу, что виноват во всей истории не кто иной, как я. Уж у меня, — прости господи! — счастье такое: всегда я оказываюсь козлом отпущения!..

Знаешь, дорогая жена, к какому заключению я пришел? Если нет счастья, лучше живым в могилу лечь! За что бы я ни принимался, все на первых порах идет чинно и благородно, вот-вот, кажется, и счастье у тебя в руках, вот оно, как будто бы уже в кармане, а под конец колесо поворачивается в обратную сторону, и все оказывается нелепым сном! Не суждено мне, видимо, нажиться на маклерстве, сорвать крупный куш и удрать! Не суждено Менахем-Мендлу стать на ноги, как другим маклерам в Егупце! Все орудуют, трещат, и только я один стою и смотрю, как люди ворочают делами, зарабатывают деньги, только я шатаюсь, как чужой. Вижу перед собою миллионы и миллионы, а поймать их не могу. Я всегда и всюду как бы в стороне... Видимо, я еще не набрел на правильный путь. Никто не знает, где его счастье обретается... Надо долго искать, а кто ищет — тот найдет.

Так как я очень пришиблен, то пишу кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Передай привет тестю и теще, напиши мне, как твое здоровье, целуй деток и напиши, что хорошего в Касриловке?

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! «Горе многих — наполовину утешение». Когда видишь, что и другой мучается, становится немного легче на душе. Взять, к примеру, того постояльца, что живет со мной в одной комнате. Был он когда-то, по его словам, подрядчиком, богачом, имел свои дома и магазины. А теперь он судится с казной и надеется получить много денег, очень много... Но так как у него ни гроша за душой, то я его поддерживаю. Бог даст, когда ему присудят его деньги, он, говорит, меня не забудет... Живет со мной

и другой еще несчастнее того: он писатель, пишет в газетах и сочиняет книгу. Но пока книга будет готова, он живет вместе с нами, и хозяйка из жалости иногда дает ему стакан чаю. А еще у нас в заезжем доме есть один нищий из нищих, так что писатель в сравнении с ним — прямо щенок! Кто он и что он такое, — я и сам не знаю: то ли агент, то ли сват, то ли актер... Поет песенки, крыс выводит... Веселый человек: рубахи на теле нет, с голоду пухнет — и хоть бы что!

Словом, кругом видишь столько горя, что забываешь о своем собственном. Помни же, ради бога напиши о своем здоровье, о детках, о тесте, и теще, и о каждом в отдельности.

Тот же.

XXIV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе: скажи сам, дурак набитый, кто был прав? Что я тебе говорила? Ведь ты целовать должен каждое мое слово! Как мать говорит: «Целуй плетку, которая тебя бьет...»

Ну, ты уже расторговался, нам, мол, много не надо... А теперь связался с замечательной компанией: подрядчики, нищие, сочинители, песельники, крысоморы... Смеяться некому, да и только! Конечно, ради этого стоит торчать в Егупце, жить в гостинице и сорить деньгами. Однако мне нравится, что ты наконец одумался: видно, говоришь ты, не суждено тебе там стать на ноги и сделаться миллионером! Ты еще сомневаешься, Мендл? Ведь я уже сколько времени твержу, чтобы ты выбил из головы все эти глупости. Быть бы мне так защищенной от всяческого зла, а

тебе от глупости своей, как защищен ты от миллионов! Забудь, Мендл, о миллионах, забудь о том, что существует на свете Бродский, и благо будет душе твоей! «Не гляди на то, что выше тебя, а гляди на то, что ниже тебя», — так, кажется, написано в наших священных книгах? И не завидуй егупецким людишкам, которые гремят и трещат. Пускай трещат, пускай трескаются, пускай они себе шею свернут, как желает тебе и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Скажи, пожалуйста, с чего это ты, дорогой мой Мендл, вдруг стал расспрашивать о нашей Касриловке? И с каких пор я тебе так дорога стала, что ты забеспокоился о моем здоровье? Видно, ты и в самом деле соскучился без нас? Как моя мама говорит: «Пускай теленок прыгает, проголодается домой прибежит!»

Жду от тебя телеграммы о выезде. Пора, давно пора! Пусть это письмо мое будет последним...

Конец третьей книги

1899—1900

ПОЧТЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

(Менахем-Мендл — писатель)

I

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я бросил все дела! Покончено с биржей, с Семадени, с маклерством, — все это жульничество, суета, позор, черт знает что! У меня теперь новая профессия, совершенно новая, почище и посолиднее: я стал — в добрый час! — писателем. Я пишу! Ты, пожалуй, спросишь, какое я имею отношение к писательству? Это от бога!

Как ты, наверное, помнишь из последнего письма, я у себя в гостинице познакомился с писателем, который пишет в газетах и тем кормится. Каким образом? Он садится, пишет какую-нибудь вещь и отсылает, а когда ее напечатают, он получает плату со строки, копейку за строчку, сколько строчек, столько копеек.

Вот я и подумал: господи боже мой, чем я хуже его? Подумаешь какая премудрость? Я как будто тоже учился в хедере, а почерк у меня даже лучше, чем у него, — может быть, и мне попытаться писануть в еврейскую газету? Что мне за это будет? Авось голову не снимут. Одно из двух: да? да! нет? нет!

И я взял да и написал прямо в редакцию: так, мол, и так, — рассказал всю свою биографию, о том, как я когда-то гремел на бирже в Одессе и в Егупце, всем богам переслужил, торговал и маклачил «Лондоном», и «бумажками», и прошлогодним снегом, до миллионов добирался, семьдесят семь раз бывал то богачом, то нищим, то на коне, то под конем. Словом, не пожалел труда, написал им обо всем подробно, чуть ли не на десяти страницах. И просил, чтоб они мне ответили, нравится ли им мое писание? Если нравится, то я буду им писать и писать. И что же ты думаешь? Не прошло и полутора месяцев, как от редакции прибыл ответ. Пишут, что писание мое им очень понравилось, и предлагают мне, чтобы я изложил им все мои описания подробно. И если мои описания будут хорошо описаны, то они мои сочинения с удовольствием напечатают в своей газете и заплатят мне со строки, по копейке за строку. Понимаешь? Сколько строчек, столько копеек. Я, конечно, тут же принялся подсчитывать, сколько я могу написать? Полагаю, что в течение долгого летнего дня можно написать по крайней мере тысячу строк! Выходит, таким образом, десятка в день? Стало быть, почти триста рублей в месяц. Очень приличное жалование, как ты находишь? И, недолго думая, я купил бутылку чернил, стопу бумаги и сел за работу.

Так как сейчас у меня самый разгар писания, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующих письмах напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Сердечный привет деткам, и тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Если бог поможет и я справлюсь со своими описаниями, то есть с названием, потому

что названия у меня еще нет, я тут же отошлю это в редакцию и попрошу, чтобы они выслали в счет его несколько рублей на твое имя в Касриловку. Хочу, дорогая моя, чтобы и ты порадовалась теперешней моей профессии. Это почище маклерства: там это называется «картаж», а у писателей — «гонорар»... Приятный заработок — этот самый гонорар... Легкий и почетный...

Тот же.

II

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой суженый: что с тобой будет? Ведь тебя никакая пуля не берет! Ни добром, ни злом! Как об стенку! Моя мама, — ее слова записывать надо! — говорит: «Больной выздоровеет, пьяный протрезвится, черный белым станет, а дурень так дураком и останется...» Скажи, не права ли она? Подумай, чего ты не делал с тех пор, как я тебя мужем своим знаю, горе мое горькое! А тебе все еще мало: на старости лет надумал рифмачом заделаться, бумагомарателем стал и марает! И находятся еще такие дураки, которые за это платят. Кто знает, что ты своими описаниями натворить можешь! Уж я научена! Как моя мама говорит: «Битой собаке палку не показывай...» А профессии выбирает он себе все-таки легкие, птичьи. Что ему? Он будет себе сидеть в Егупце в гостинице и «мазюкать», а я буду валяться здесь, в Касриловке, с его детьми и хворать «фленцией»! * Вот уже недели три, как она забралась к нам, «фленция» эта самая, и даже не думает убираться. Всех свалила — от мала до велика...

А за деньги, которые ты мне даришь из твоих писательских заработков, я заранее благодарю! Твоим бы егупецким ловкачам иметь столько на обед, сколько ты получишь этого самого «голенара»... * Дурень ты сплошной — с головы до ног!.. И если ты не хочешь, чтобы я, молодая, на тот свет ушла и оставила, упаси бог, детей твоих сиротами, выбрось из головы все твои воздушные заработки и свою замечательную писанину и приезжай наконец домой к жене и детям, к тестю и теще, — гостем будешь, как моя мама говорит: «Печку на радостях впору развалить...» Как желает тебе здоровья и счастья и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Мойше-Довида коллектора * ты помнишь? Надумал он и давно уже стал коситься на свою жену. Хотел от нее избавиться, но не знал, каким образом. И вот он взял и отправился в Америку. Но она поймала его на границе и закатила такой скандал, что он десятому закажет от жены удирать. На что способен литвак! * Мои бы горести на его голову!

III

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что все, слава богу, идет хорошо. Мое имя напечатано в газете наряду со всеми писателями, и я теперь чувствую себя совсем другим человеком. В первую минуту, когда я увидал напечатанным свое имя — «Менахем-Мендл», у меня слезы на глаза навернулись. Думаешь, отчего? От радости, что есть такие хорошие, ласковые, поря-

дочные люди на свете! Я имею в виду редакцию. Ведь надо понимать, что я у них не один, есть еще довольно много писателей и помимо меня. И тем не менее она не поленилась, села и прочла все мои писания, как видно от корки до корки, и ответила мне в газете, то есть в почтовом ящике, что мои описания ей нравятся, но что они несколько длинноваты. Это — одно. А во-вторых, она желает, чтобы я не выдумывал из головы; она хочет, чтобы я только «изображал» (так и сказано) жизнь города Егупца со всеми его типами. Судя по всему, она хочет знать, что у нас в Егупце творится, ибо как же иначе понимать слово «типы»?.. Не правда ли, какая деликатность со стороны редакции? Ну, так ведь нельзя же быть грубияном и откладывать на другой день. Я снял кафтан, сел и пишу ей, — вот уже третий день пишу и пишу, а писанию все еще конца нет! И так как я очень занят писанием и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Прошу тебя, напиши, получила ли ты какие-нибудь деньги от редакции? Я просил, чтоб она тебе выслала пока, в счет будущего, немного денег. Что может случиться? Десяткой меньше, десяткой больше, — мы с ней сочтемся.

Тот же.

IV

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что уже кровью харкаю от твоих замечательных писем. Что это еще за красавица, ради которой ты снял кафтан и стал с ней шуры-муры разводить? Пускай она сгорит вместе со своими деньгами! Нужна она мне очень, как моя мама говорит: «Не дари мне меда твоего и не надо мне жала твоего...» Уж она бы, положим, не обрадовалась, твоя Редакция, если бы послала мне деньги!.. Опротивели мне писания, которые ты посылаешь мне! А если уж и суждено мне иметь мужем писаку, то я не понимаю, почему для этого необходимо сидеть в Егупце? Чернил, что ли, нет в Касриловке? Стало быть, тут что-то не так, неспроста это... Как моя мама говорит: «Раскусишь яблочко, а там — червяк...» Так вот, дорогой мой муж, собери свои писания и приезжай домой без всяких отговорок, — я уже больше не могу видеть, как томятся дети. Они каждый раз спрашивают, когда папа приедет? А я откладываю от пасхи до осени, а с осени до пасхи... А уж о Мойше-Гершеле и говорить не приходится! Такой умница, гораздо умнее отца, как желает тебе счастья и всего хорошего и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Как тебе нравится моя Брайндл? Она уже и со вторым мужем разводится. Никто не знает, почему. Но по секрету он показал мне свою руку всю в кровоподтеках. Он, говорит, готов отказаться от приданого и ее драгоценностей, лишь бы избавиться от напасти. Как мать говорит: «Лучше золотник счастья, нежели фунт золота...» Всей нашей семье не везет на мужей...

V

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже исписал две бутылки чернил, принимаюсь за третью. Шутка ли описать такой город, как Егупец! Начал я с гостиницы, где живу, и первым долгом взялся за хозяйку. Ты, пожалуй, спросишь, почему за хозяйку? Потому что хозяина у нас нет. Она уже тринадцать лет как вдовеет. Муж ее был солдатом *, а она у него второй женой. Вышла за него, говорит она, чтобы потом, пользуясь его правами, иметь возможность жить в Егупце. Жила она за ним так, что только врагам пожелать можно, потому что она лет на двадцать моложе его и считалась красавицей. Все мужчины — и евреи и русские — сохли по ней... А теперь она должна ждать случая, авось какому-нибудь Менахем-Мендлу захочется съесть тарелку борща или кусок мяса с хреном, и на такие заработки содержать сына-гимназиста и дочь-гимназистку, которые палец о палец не ударяют и ни в чем ей помочь не хотят. Привыкли на всем на готовеньком. Только и ждут, чтобы мамаша утром чашку кофе в постель подала. А потом, когда они приходят из гимназии, — есть ли, нет ли, — обед должен стоять на столе! А если подано не так скоро, устраивают скандал!

Вот какие это дети. На днях девица-гимназистка раскричалась утром, почему нет мыла, вбежала полуголая, вся шея наружу, в комнату, где гости сидели и пили чай, да как напустится на мать: «Что за свинство!»

Тут уж мы не выдержали и стали ее отчитывать: «Этому, что ли, учат вас в гимназиях?»

— Мало того, — говорю я, — что мать так трудится, ботинки твои чистит, пока ты спишь...

Я только еще хотел проучить ее как следует, но тут налетел на меня ее братец:

— А вам какое дело?

И стал меня ругать на чем свет стоит.

Это, конечно, меня задело, и я описал бедную вдову с ее распрекрасными деточками. Надеюсь, что напечатают, — это будет получше всяких нравоучений. Мир велик! Есть, наверное, еще такие же бедные вдовы и такие же дети, гимназисты и гимназистки, которые доводят своих матерей до могилы... Теперь ты понимаешь, дорогая моя, за что мне платят деньги? Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Ты спрашиваешь о редакции. Ты, наверное, не поняла, что это такое. Редакция — это не один человек, а несколько. Они вскладчину все вместе издают газету. Газету рассылают во все города и выручают за нее деньги. Но так как газета должна иметь материал, то редакция просит нас, чтобы мы писали, и платит нам за это. Мы оказываем ей любезность и пишем, а она печатает. Теперь ты понимаешь, что это за дело?

Тот же.

VI

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что я читала твое письмо и глазам своим не верила. Дурной сон, да и только! Нашел, что описывать! Господь бог послал ему вдову с детьми, черт знает какими, а он разжало-

бился и сделал из этого праздничное блюдо! Будь я на твоем месте в Егупце, я бы этого паренька по-другому описала, а девку с голыми плечами посадила бы на кухню картошку чистить, а не то что нравоучение ей читать. Нравоучителем заделался мой муж, проповедником, и ему еще, видите ли, деньги за это платят. Как моя мама говорит: «Всякие есть сумасшедшие на свете!..» Мне кажется, нежели совать нос в чужие горшки и вмешиваться в чужие семейные дела, лучше было бы, чтоб голова сохла за свои собственные. Ведь ты, кажется, детям своим отцом приходишься. Или нет? Ты бы послушал, как Мойше-Гершеле учит еврейскую азбуку! Окочуриться могли бы твоя егупецкая вдова с редакцией вместе! Было бы у меня легче на душе, я сняла бы его вместе с остальными детьми и послала бы тебе карточку, посмотрел бы ты кого променял на вдов и на редакции, на горести и на всякие напасти, как желает тебе здоровья и счастья и сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

VII

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что с хозяйкой я уже покончил и теперь принялся за постояльцев, то есть описываю подряд всех неудачников, которые живут здесь. Могу похвалиться, что мне это, не сглазить бы, удается: один другого чище. Но самый крупный из них — тот, которого прозвали «счастлив-

чиком». О нем можно столько писать, что не хватит ни бумаги, ни чернил. Сам он, этот молодой человек, из Жванца. Женат он был сначала на девице из Ладыжина, затем — на сорокской, поселился в Екатеринославе и занялся первым своим делом — стал торговать золотом, то есть какая-то шайка продала ему несколько мешков золота, забрала у него все деньги, а на поверку оказалось, что купил он песок. Стало ему очень скверно, хоть бросайся живым в Днепр. Взял он тогда тросточку, вышел на биржу, состряпал какое-то дело, заработал несколько рублей и объявил в газетах, что ищет компаньона. Прошло немного времени, и нашелся компаньон, торгующий железом. Купили они участок земли возле Кривого Рога, за который предлагали много тысяч отступного. Но он заявил: либо полмиллиона, либо — ничего! Ничего и не получилось! Тогда он бросился на каменный уголь, отыскал какого-то инженера, немца, то есть еврея, который говорил по-немецки, заарендовал вместе с ним по сходной цене шахту и принялся за работу — добывать уголь. Но вдруг, неизвестно откуда, хлынула вода — потоп! Поставили две машины выкачивать воду. Но с одной стороны выкачивают, а с другой прибывает новая — бесконечное лихо! Тогда он плюнул на немца и познакомился с евреем, который скупает яйца — битые, тухлые, — и делает из желтков какую-то вещь, я забыл, как она называется. Но надо же так случиться, что лопнула машина, компаньон удрал, а наш «счастливчик» остался один с битыми яйцами. Яйца эти стали издавать такой убийственный запах, что на него составили протокол. И однажды ночью ему пришлось выпрыгнуть из окна и бежать: пусть, мол, Екатеринославу останутся на память эти тухлые яйца. Немного денег у него было, он поехал в Кременчуг и с кем-то в компании открыл фабрику гильз. Но компаньон оказался страстным любителем шахмат, а так как сам он тоже ярый шахматист, который может просидеть за шахматами день и ночь, не евши, не пивши, то оба они играли в шахматы до тех пор, покуда не остались при пустых коробках. Куда девались гильзы, никто не знает.

Между тем он услыхал, что в местечке, недалеко от Кременчуга, какой-то аптекарь распродает полную лавку разных товаров за бесценок. Он поехал, купил чуть ли не задаром весь товар и упаковал его, уверенный, что заработает кучу денег. Но и тут не обошлось без беды: среди купленных вещей оказался ящик с порохом. А ящик этот возьми да и выстрели в вагоне, — вагон разлетелся, а кондуктору ногу оторвало — еле жив остался. Как тебе нравится такой «счастливчик»? Он сам о себе говорит, что стоит ему на речку взглянуть, как в ней вся рыба дохнет. И вдобавок ко всему, он еще остряк. Сам он маленький, подвижной, с горящими глазами, шляпа сдвинута на затылок, руки в карманах, а голова работает — комбинации строит, бесконечное количество комбинаций! Он говорит, что должен непременно стать миллионером, не то он поднимется и уедет в Америку. И меня уговаривает ехать. Он уверяет, что такие люди, как мы, нигде не пропадают. Но я еще с ума не сошел — бросить такое почтенное дело, как писательство, и уехать счастья искать! Но так как я очень занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет деткам, тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Не понимаю, почему я не получаю ответа от редакции относительно моей первой работы, которую я им отослал. Ни ответа, ни денег. Я уже написал им три письма. Надеюсь, не сегодня-завтра получить ответ.

Тот же.

VIII

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что, как только ты получишь это письмо, ты обязательно должен тут же приехать домой, потому что отец мой опасно болен. Был уже консилиум докторов, и они нашли у него, — горе мое! — воду в животе. Видеть, как он мучается, просто невозможно. Можешь себе представить, что маму и узнать нельзя! Она, можно сказать, жертвует собой ради него. Она говорит: «Соседа, с которым тридцать лет в одном доме проживешь, и то жаль...» А ты торчишь там, в твоем замечательном Егупце, и описываешь неудачников, пропади они пропадом за папину ермолку, как желает тебе здоровья и счастья

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Помни же, ради бога, немедленно выезжай и телеграфируй.

IX

Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что твое письмо было для меня точно пуля в сердце. Были б у меня крылья, я бы орлом полетел к вам в Касриловку. Но мне не с чем с места тронуться. Хозяйке гостиницы я задолжал так, что волосы на голове — и те не мои! Мало того, я еще у нее не раз занимал на бумагу и чернила, не говоря уже о том, что я ее объедаю. Все

думал — вот-вот... Столько бумаги и чернил извел, столько интересных историй придумал, все пальцы себе исписал, а редакция хоть бы ответила! Очень нехорошо с ее стороны! Набрала полон рот воды и молчит. Одно из двух: не нравится вам мое писание, напишите мне, и я перестану писать. Чужой труд для них, видно, ничего не стоит. Будь на моем месте другой, он бы их выругал на все корки. Или, были бы у меня деньги, я дал бы им депешу: либо — либо! Я даже не в силах передать тебе досаду, боль и пришибленность, которые я сейчас чувствую. Даже рука не поднимается писать им. Чего больше? Просил присылать мне хотя бы газету бесплатно — не отвечают. Если бы я все это время дрова колол, я бы и то больше заработал! Не знаю, как с другими писателями, но со мной они обошлись хуже, чем с последним из последних!

Я вздымаю очи горе и взываю: «Откуда придет ко мне помощь?» Может быть, господь смилуется, ибо «дошла вода до самого горла», хуже некуда!.. И так как я очень пришиблен, то пишу тебе кратко. Даст бог! в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. И пусть господь пошлет тестю полное исцеление. Дай бог увидеться здоровым со всеми и с детками, по которым я очень стосковался, прямо вся душа изныла!

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Письмо лежит уже второй день, так как нет у меня на марку. Уж я все это время думал, за что бы приняться, что делать, с чего бы начать? Кажется, нет на свете профессии, которую я бы не испытал. Одного только не делал: сватовством не занимался. У нас тут в гостинице живет один сват. По его словам, он загребает деньгу. Дело это, быть может, и не такое почтенное, как писательство, но лучше маклерства безусловно. Главное, чтобы господь бог дал хоть немного удачи.

Тот же.

X

Шейне-Шейндл из Касриловки — своему мужу в Егупец

Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!

Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем.

А во-вторых, пишу я тебе, что писать мне тебе нечего. Я показала твое письмо матери, а она говорит, что я сама виновата. «Как постелешь, — говорит она, — так и поспишь... Дала бы ты мне переписываться с ним, с моим зятьком богоданным, так я бы его давно оттуда вытащила. Я бы не поленилась, сама бы к нему съездила». На твое счастье, отец лежит на смертном одре, а мы обе еле на ногах держимся. Деньги, которые я тебе посылаю, это мамины деньги — знай ее доброту! Я молю бога, чтобы больше от тебя писем не получать. И как только ты выедешь из Егупца, пусть разверзнется земля и пусть этот город провалится, как содом, со всеми его золотыми делами, с удачами, с маклерами, сватами, с гостиницами и хозяйками гостиниц, с редакциями, — как желает тебе здоровья и счастья сейчас и всегда

твоя истинно преданная супруга *Шейне-Шейндл.*

Конец четвертой книги

1903—1909

НЕ ВЕЗЕТ!

(Менахем-Мендл — сват)

Менахем-Мендл с дороги — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

А во-вторых, да будет тебе известно, что не везет мне, не везет, хоть разорвись! Как только я получил присланные тобою несколько рублей, я прежде всего расплатился в заезжем доме и сразу стал собираться в дорогу.

Чего больше? Я уже в вагоне сидел, взял билет до Фастова, а из Фастова рассчитывал ехать прямо домой, то есть в Касриловку.

Но велик наш бог! Послушай, какую штуку сыграл он со мной... Я как-то писал тебе, что в заезжем доме вместе со мной находился человек, занимающийся сватовством, по имени Лейбе Лебельский. Он все хвастал,

что держит у себя за пазухой весь мир и зарабатывает груды золота. Между тем понадобилось ему съездить куда-то на день-другой по крупному брачному делу. Он, говорит, получил «строчную депешу» — не медлить. И вот он оставил хозяйке узел до своего возвращения — вернется, тогда и расплатится с ней. Уехал и — только его и видели.

Когда я собрался в дорогу, хозяйка мне говорит:

— Ведь вы же едете по той линии. Возьмите с собой узел этого рохли Лебельского... Может быть, встретите где-нибудь, отдадите ему его «шпаргалы»...

— На что мне чужие узлы? — говорю я.

— Не бойтесь! — отвечает она. — Это не деньги, — бумажки какие-то, листки...

И действительно. Уже сидя в вагоне, я из любопытства развязал узел. Заглянул, — а там целый клад! Письма от сватов, списки родителей женихов и невест и всякие другие бумажки. Среди этих бумажек — длинный список женихов и невест на древнееврейском языке. Передаю тебе его слово в слово:

Овруч. Хава, дочь богача реб Лейви Тонкиног... Знатное происхождение... Жена его, Мириам-Гитл... тоже из знатных... Высокого роста... Красавица... Четыре тысячи... Хочет «окончившего»...

Балта. Файтл, сын богача реб Иосифа Гитлмахера... Просвещенец... * Сионист... Окончил бухгалтерию... От призыва свободен... Молится ежедневно... Хочет денег...

Глухов. Ефим Балясный... Аптекарь... бритый... Расположен к евреям... Дает деньги в рост... Хочет брюнетку...

Дубно. Лея, дочь богача реб Меера Коржик... Родовитость... Низенького роста... Рыжая... Говорит по-французски... Может дать деньги...

Гайсин. Липе Браш... Шурин Ици Коймена... Советник на сахарном заводе реб Залмана Радомысльского... Единственный сын... Красавец... Хитрющие глаза... Хочет золотое дно...

Винница. Хаим Гехт... Холостяк, играет на бирже... Разъезжает в фаэтоне... Крупно зарабатывает... Стоит десять тысяч...

Житомир. Богач Шлойме-Залман Таратайка... Две девицы... Красавицы — прима... Младшая рябоватая... Рояль, немецкий, французский... Хотят образованного... Диплом не обязательно.

Хмельник. Богачиха Бася Флекл... Вдова, ростовщица... Удивительная умница... Хочет талмудиста... Можно без денег...

Тальное. Раввин реб Авремеле Файнцик... Вдовец... Ха́сид... Знаток библии... Ищет вдову с делом...

Ямполь. Мойше-Нисл Кимбак... Богач-выскочка... Жена его, госпожа Бейля-Лея... До зарезу хотят просватать... Сколько бы другая сторона ни дала, обязуется дать в два раза больше. Вознаграждение свату немедленно при помолвке... Подарок свату экстра от мамаши...

Касриловка. Реб Носон Корах... Богат как Крез... Ужасная свинья... Сын ученого Иойсеф-Ицхока... Ученая голова... Тургенев и Дарвин... Тихий омут... Ищет бедную сиротку... Красавицу из красавиц... Не хвор выслать на расходы... Не подмажешь, не поедешь...

Липовец. Сын богача Лейбуша Капоте... Заядлый ха́сид... Сдает экзамены за восемь классов... Живет в Одессе... Играет на скрипке и знает древнееврейский... Красавец...

Межбиж. Реб Шимшон-Шепсл Шимелиш... Вдовец... Имеет двух дочерей и три тысячи... Но должен прежде сам жениться... Хочет также девицу...

Немиров. Смицик Бернард Мойсеевич... Из настоящих Смициков... Разведен... самостоятельный... Мастерски играет в преферанс... Вхож к начальству... Достоин девицы с пятью тысячами, либо разводки с десятью тысячами...

Смела. Переле Дама... Разводка с десятью тысячами... Требуется просвещенный комиссионер...

Игнатовка. Домовладелец реб Менде Лопата... Старик за семьдесят... Но держится крепко... Похоронил трех жен... Хочет девицу...

Прилуки. Гимназист Фрайтик... Сын богача Михеля Фрайтика... Носит дома шапку... * Не пишет по субботам.... Хочет двадцать тысяч, ни копейки меньше... Сам дает половину этой суммы...

Царицын. Опись богача вдовца Фишера... Живет в Астрахани... Обещал два выигрышных билета первого займа... Кроме вознаграждения свату... Нужно написать еще раз... Просил выслать двадцать пять рублей на расходы... По крайней мере — марки...

Кременчуг. Просвещенный и заклятый сионист... Сотни комиссий... Умница... Шахматист... Талмуд — наизусть... Знаток... Говорун... Остряк... Прекрасный почерк... Слыхал, что он уже женился...

Радомысль. Внук реб Нафтоли Радомысльского... Приверженец Садагоры... * Сахарный завод... Золотое дно... Наполовину хасид, наполовину немец * — короткие пейсы * и длинный сюртук... Знаток языков и раввинской учености... Имеет дядю миллионера и зачетную квитанцию *. Ищет красавицу из хорошей семьи, двести тысяч, рояль, порядочность, французский язык, парик, умение танцевать, набожность, барышню без кавалеров...

Шпола. Богач и мудрец Эля Чернобыльский... Живет в Егупце... Маклер по сахару и имениям... Компаньон знаменитого богача Бабишке... Единственная дочь... Хочет звездочку с неба... Знатока большего, чем доктор... Свободного от призыва... Красивого, как Иосиф-прекрасный, умного, как Соломон-мудрый... * Певца и музыканта на всех инструментах... Семью без пятнышка... Денег без счету... Все качества... Чуть ли не Бродского... Телеграфировал в Радомысль...

Томашполь. Пять девиц... Три красавицы и две — образины... И каждой — либо доктора с кабинетом и обстановкой, либо адвоката с практикой в Егупце... Писал много раз...

И вот сижу я в вагоне с узлом этого Лебельского, читаю еще и еще раз список женихов и невест и думаю: «Господи боже мой! Сколько профессий создал всевышний для своих евреев! Вот, к примеру, сватовство это самое. Что, казалось бы, может быть солиднее, приличнее, лучше и легче этого? Работы почти никакой! Нужно иметь только клепку в голове, уметь

прикидывать, кто кому под стать. Например: Овруч имеет девицу-красавицу с четырьмя тысячами, желающую окончившего, а в Балте живет сионист, ученый, который окончил бухгалтерию и ищет в браке деньги, — чем не пара? Или, скажем, в Тальном сидит вдовец, который ищет вдову с торговлей. Отчего бы ему не потрудиться съездить в Хмельник к вдове Басе Флекл, которая ищет вдовца, хотя бы без денег, но обязательно ученого? Словом, дорогая моя, нужно только уметь строить комбинации. Если бы я родился сватом, я поставил бы это дело совсем по-другому. Я бы списался со всеми сватами на свете, собрал бы все их списки и засел бы сочетать, — предварительно, конечно, на бумаге, — этого жениха с этой невестой, ту невесту с тем женихом... А в каждом городе у меня был бы компаньон, — сколько городов, столько и компаньонов. А заработки делил бы по справедливости: половина — мне, половина — тебе. Возможно, что имело бы смысл открыть контору в Егупце или в Одессе, содержать людей, которые сидели бы, писали письма и посылали телеграммы, — а я сам ничего не делаю, сижу, составляю пары и строю комбинации».

Такого рода мысли и фантазии мелькают у меня в голове. Между тем приносит нелегкая в вагон какого-то пассажира, заросшего с головы до пят; тащит за собой мешок, сопит, как гусь, и обращается ко мне по-особому вежливо, совсем не так, как водится:

— Молодой человек! — говорит он. — Не будете ли вы так любезны потревожить свою особу и чуть потесниться, дабы такой человек, как я, к примеру, мог иметь честь примоститься на минутку рядышком с вами?

— Почему же нет? Пожалуйста! С удовольствием! — отвечаю я, освобождаю для него место и спрашиваю больше приличия ради: — Из каких будете мест?

— Откуда явился, то есть? Из Кореца, — отвечает он. — Имя мое Ошер, а зовут меня реб Ошер-сват. Я уже, — говорит, — потихоньку да полегоньку, с божьей помощью, почти сорок лет этим делом занимаюсь.

— Вот как? — говорю я. — Значит, вы тоже сват?

— Итак, — отвечает он, — я должен толковать ваши слова в том смысле, что уж вы-то наверное сват. Значит, свой брат. В таком случае вам по закону полагается приветствие.

Так заявляет этот самый сват, сует мне огромную, мягкую, волосатую руку и спрашивает, тоже, очевидно, из вежливости:

— Ваше имя?

— Менахем-Мендл...

— Знакомое имя, — говорит он, — слыхал как-то, не помню где. Послушайте, — продолжает он, — реб Менахем-Мендл, что я вам скажу. Уж ежели стряслась такая беда, то есть, я хочу сказать, — уж ежели господь бог по мудрости своей великой так судил, чтобы мы, два свата, столкнулись в одном месте, то, может быть, возможно, чтобы мы тут же, сидя с вами в вагоне, что-нибудь наладили?

— А именно? — спрашиваю я. — Что бы мы могли наладить?

— Может быть, — говорит он, — у вас найдется охотник на хорошее вино в скверной посудине?

— А именно? Что вы называете хорошим вином в скверной посудине?

— Разрешите, — отвечает он. — Сейчас объясню, и тогда вам все станет ясно. Но... Вы должны вникнуть в это дело. У меня имеется в Ярмолинце товарец... Отборный, прямо-таки редкость... Зовут его реб Ицикл Ташрац. Что касается происхождения, то об этом и говорить не приходится. Дальше некуда! Мало того что он сам знатного рода, — она, жена его, еще более родовита, чем он. Беда только в том, что за свою родовитость этот Ташрац хочет получить наличными. Сколько бы он ни дал, ему хочется, чтобы другая сторона дала в два раза больше...

— Позвольте, — говорю я, — мне кажется, есть как раз то, что вам требуется.

Хватаюсь за свой узел, достаю памятную книжку Лейбе Лебельского, отыскиваю Ямполь и показываю:

— Вот он тот, кого вы ищете! Прочтите — увидите: «Мойше-Нисл Кимбак... Богач-выскочка... До

зарезу хотят просватать... Сколько бы другая сторона ни дала, обязуется дать в два раза больше...» Как раз то, что вам нужно!

Услыхав такие речи и узнав, что этот Мойше-Нисл Кимбак вдобавок обещает вознаграждение сватам сразу же при помолвке и, кроме того, еще специальный подарок от мамаши, — мой реб Ошер вскочил с места, схватил меня за руку и говорит:

— Поздравляю вас, реб Менахем-Мендл! Мы сделали дело! Я заметил у вас в корзинке, если не ошибаюсь, яичные коржики, чай, сахар и прочую дребедень, может быть, не мешало бы нам пока что перекусить, а когда мы, с божьей помощью, доберемся благополучно до Фастова, вы потрудитесь сбегать за кипятком, — я видел, у вас есть чайник, — выпьем по стаканчику чаю, а на станции, надо полагать, и винца достанем, пятидесятисемиградусной, тогда выпьем заодно за здоровье моего ярмолинецкого аристократа и вашего ямпольского богача, которому так не терпится просватать, и пускай будет в добрый и счастливый час!

— Аминь! — отвечаю. — Вашими устами да мед пить! — Но не так скоро дело делается, как сказка сказывается...

— Разрешите, — перебивает он меня, — вы не знаете, реб Менахем-Мендл, с кем дело имеете. Я не мальчик! Вы изволите разговаривать с мировым сватом по имени реб Ошер, у которого волос на голове меньше, чем устроенных им браков. Дай бог нам обоим столько сотен, сколько пар у меня уже развелись, снова поженились и снова развелись... Стоит мне только заглянуть в список, я сразу нащупаю, пойдет дело или не пойдет. Ваш Мойше-Нисл, насколько я понимаю, не без изъяна. В самом деле, давайте разберем, отчего ему так приспичило? И по какому случаю так горячится мамаша и даже обещает подарок свату от себя? Видимо, где-то копошится червячок. То есть яблочко, очевидно, с червоточиной...

— Каков же, — говорю, — будет ваш совет?

— Совет, — отвечает он, — самый простой: мы оба должны немедленно разъехаться в разные стороны.

Я в Ярмолинец — к моему знатному Ицику Ташрацу, а вы — в Ямполь, к вашему Мойше-Нислу Кимбаку. Но... работать нам придется изо всех сил. Вы, с вашей стороны, должны будете настаивать, чтобы ваше червивое яблочко дало как можно больше, а я, со своей стороны, конечно, постараюсь, чтобы мой Ташрац дал действительно половину, как обещал... Потому что мало ли что взбредет в голову человеку, торгующему своим происхождением?

Как видишь, дорогая моя, началось как будто с пустяков, с шутки, а кончилось настоящим делом. Пока то да се, мы приехали в Фастов. По приезде в Фастов мы прежде всего напились чаю, закусили честь-честью и стали серьезно обсуждать наше дело. Сначала, по правде сказать, мне от всей этой истории было не по себе: какой я сват? И какое отношение я имею к чужим спискам? Ведь это же, если хочешь, — прямой грабеж! Человек, скажем, уронил кошелек с деньгами, а я поднял... Но, с другой стороны, что особенного случилось? Одно из двух: если выгорит, — поделимся! Ведь я же не разбойник с большой дороги, — мне чужого не надо. Словом, выходит, что никакой несправедливости во всем этом нет, и мы порешили двинуться в путь — он в Ярмолинец, я — в Ямполь. Сговорились мы так: сразу же по приезде на место я прежде всего должен выведать, в чем тут дело, почему этому Мойше-Нислу Кимбаку так не терпится просватать. А когда я осмотрю дом и самый «предмет» мне понравится, я должен дать телеграмму реб Ошеру в Ярмолинец: «Так, мол, и так», а он мне ответит телеграммой: «Так, мол, и так», — и тогда мы съедемся, вероятно, в Жмеринке на смотрины, и, если пара подходящая, сватовство состоится. «Главное, — говорит он мне, — вы, реб Менахем-Мендл, должны не жалеть расходов, давать депеши, потому что при сватовстве депеша — самое важное... Родителей жениха и невесты, — говорит он, — при виде депеши черт за душу хватает...»

Когда дело дошло до расставания и надо было покупать билеты, оказалось, что моему мировому свату реб Ошеру не хватает на дорогу. Он, говорит,

израсходовался до последней копейки на депеши и телеграммы. «Дай вам бог, — говорит он, — зарабатывать ежемесячно столько, во сколько мне в неделю обходятся депеши и телеграммы!» Понимаешь? Вот она, какая профессия! Словом, поезд дожидаться не станет, пришлось мне выложить несколько рублей, — не расстраивать же дела из-за расходов! Мы обменялись адресами, очень тепло распрощались и разъехались — он в Ярмолинец, а я — в Ямполь.

Приехал в Ямполь и перво-наперво стал выведывать:

— Кто такой Мойше-Нисл Кимбак?

— Дай бог всем евреям жить не хуже! — отвечают мне.

— Много у него детей?

— Много детей бывает у нищих... А богач имеет одно только дитя.

— Какое дитя?

— Дочь, — говорят.

— Какова она из себя?

— Из нее можно сделать двух...

— А приданого он много дает?

— Сколько бы ни давал, — отвечают, — он не хвор дать в два раза больше.

Хочу нащупать, в чем дело? Но щупай тут, щупай там — ничего не нащупаешь. Тогда я надел субботний кафтан и отправился прямо к этому Кимбаку.

Ну, описать тебе дом я просто не в состоянии. Богатый дом, полная чаша, а люди — брильянты! Когда я сказал, кто я такой и зачем приехал, меня приняли по-царски, угостили сладким чаем с печеньем и лимонным вареньем, поставили на стол бутылку хорошей вишневки. Он, Мойше-Нисл то есть, мне ужасно понравился: приветливый такой, душевный человек, можно сказать, без желчи. Да и она, Бейля-Лея то есть, понравилась мне с первого взгляда. Дородная женщина, с двойным подбородком, тихая, скромная. Оба они стали выпытывать у меня, кто другая сторона, хорош ли у них сын и что он умеет? Что мне

было сказать, когда я и сам не знаю? Но человек с головой на плечах находит выход из положения.

— Давайте, — говорю я им, — покончим сначала с одной стороной, а потом будем толковать о другой. Во-первых, я хотел бы знать точно, сколько вы приданого даете? А во-вторых, я хотел бы повидать вашу дочь.

Услыхав такие речи, он, Мойше-Нисл то есть, обращается к жене, Бейле-Лее то есть:

— Где ж это Сонечка? Позови-ка ее.

— Сонечка одевается, — отвечает ему жена, подымается с места и уходит в соседнюю комнату, а мы с ним, с Мойше-Нислом то есть, остаемся одни. Выпили по рюмочке вишневки, закусили лимонным вареньем и беседуем. О чем? Я и сам не знаю, — так, вообще, о всякой всячине.

— Давно вы уже занимаетесь своим делом? — спрашивает он и наливает мне рюмку вишневки.

— С самой женитьбы, — отвечаю я. — Мой тесть — сват, и отец у меня был сватом, и все мои братья занимаются тем же, чуть ли не вся наша семья, — говорю, — состоит из сватов...

Лгу на чем свет стоит, даже не поморщившись, и чувствую только, что лицо у меня пылает. Сам не знаю, откуда что взялось! Но что же мне было делать? Как твоя мать говорит: «Влез в болото, — полезай дальше...» Решил я про себя, как я уже говорил тебе, что если всевышний окажет мне милость и я обломаю это дело, — свою часть заработка, с божьей помощью, без всяких отговорок, поделить пополам с тем сватом, Лейбе Лебельским, который оставил в заезжем доме свой узелок с бумагами. Чем он виноват? Ведь, если судить по справедливости, то, может быть, все мое вознаграждение принадлежит ему, Лейбе Лебельскому то есть? Но — с другой стороны, а я с чем же останусь? Ведь я же, собственно говоря, во всей этой истории главный зачинщик. А труды мои совсем ничего не стоят?! И врать без зазрения совести ради другого я тоже как будто не нанимался. Да и кто знает, может быть, бог так судил, чтобы тот потерял, а я чтобы нашел и чтобы благодаря мне три человека заработали деньги?

Размышляю я таким образом, а в это время отворяются двери и входит мамаша, Бейля-Лея то есть, а следом за ней Сонечка, невеста то есть. Красивая, высокая, полная и солидная такая, вроде мамаши. «Ну, и рост и объем, не сглазить бы! — думаю я. — Не Сонечка, а целый «сонечник»!» Одета она, невеста, както странно: в длинный капот, пестрый такой, и выглядит она скорее замужней женщиной — не потому, что она стара на вид, а потому что уж очень широка! Надо было бы с ней кое о чем побеседовать, посмотреть, что за зверь такой, но он, отец то есть, слова сказать не дает. Говорит без остановки, так и сыплет. О чем, думаешь, говорит? О Ямполе. Что это за город! Город сплетников, завистников, клеветников, готовы человека в ложке утопить... Пустые разговоры.

Спасибо, мамаша, Бейля-Лея то есть, перебила и обратилась к мужу:

— Мойше-Нисл, может быть, хватит уже разговаривать? Пускай лучше Сонечка сыграет им на «фертипьяне»!

— Я ничего против не имею! — ответил ей Мойше-Нисл и подмигнул дочери.

Подходит она к «фертипьяну», усаживается, раскрывает большую книгу и начинает почем зря молотить пальцами. Тогда мамаша говорит ей:

— Сонечка, к чему тебе «тюды»?[1] Сыграй им лучше «Ехал козак за Дунаем», что-нибудь из «Колдуньи» или «Субботнюю песню»...

— Пожалуйста, не мешай! — отвечает Сонечка и продолжает барабанить так быстро, что даже глаз не поспевает за пальцами, а мать смотрит на нее не отрываясь, будто хочет сказать: «Видали, какие пальцы?»

В самый разгар игры отец с матерью незаметно выскользнули из комнаты, и мы с невестой, с Сонечкой то есть, остались с глазу на глаз.

«Теперь, думаю, самое время потолковать с ней, узнать хотя бы, умеет ли она говорить». Но с чего

---

[1] Этюды.

начать? Хоть убей, не знаю! Поднимаюсь с места, подхожу, становлюсь у нее за спиной и говорю:

— Извините, Сонечка, что перебиваю вас посреди игры. Я хотел вас кое о чем спросить...

Она поворачивает ко мне лицо, смотрит сердито и спрашивает по-русски:

— Например?

— Например, — говорю, — я хотел спросить у вас, каковы ваши требования? То есть какого, к примеру, жениха вы хотели бы, чтобы вам дали?

— Видите, — отвечает она уже немного мягче и опустив глаза, — собственно, я хотела бы «окончившего», но я знаю, что это понапрасну. Поэтому я хотела бы по крайней мере, чтобы он был образованный, потому что, хотя наш Ямполь считается фанатическим городом, мы все же получили русское образование. И хотя мы не посещаем учебных заведений, вы все же не найдете у нас ни одной барышни, которая не была бы знакома с Эмилем Золя, с Пушкиным и даже с Горьким...

Разговорилась моя красавица, Сонечка то есть, и пошла молоть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски, то есть больше по-русски, чем по-еврейски. В это время входит мамаша и отзывает невесту, словно хочет сказать: «Все хорошо в меру!» Входит отец, и мы снова усаживаемся с ним вдвоем и начинаем обсуждать: сколько он дает приданого, где бы съехаться на смотрины, когда справлять свадьбу и тому подобные подробности дела. Потом подымаюсь и хочу идти на станцию — дать телеграмму, но Мойше-Нисл берет меня за руку и говорит:

— Вы не пойдете, реб Менахем-Мендл! Вы прежде пообедаете с нами, вы, наверное, голодны.

Пошли руки мыть, сели за стол, выпили по рюмочке вишневки, а у него, у отца то есть, все время рот не закрывается: Ямполь, Ямполь и Ямполь...

— Вы не знаете, — говорит он, — что это за город! Город бездельников и сплетников! Если бы вы меня послушали, вы держались бы от них в стороне, не говорили бы с ними ни слова. Ничего не рассказывайте им — кто вы, откуда, что вы тут делаете... А моего

имени даже не упоминайте, как будто вы меня и не знаете. Понимаете, реб Менахем-Мендл? Вы меня совсем не знаете!

Так он мне наказывает раз десять подряд. Я ухожу и даю телеграмму моему компаньону в Ярмолинец, как мы и сговорились. А пишу я ему очень ясно следующее:

«Товар осмотрел. Первый сорт. Шесть тысяч. Телеграфируйте, сколько напротив. Где съехаемся...»

На другой день от моего компаньона прибывает какой-то странный ответ:

«Упирался десять. Напротив половина шесть. Работайте набавке. Согласен Жмеринке. Товар прима. Телеграмируйте».

Бегу к своему Мойше-Нислу, показываю ему депешу и прошу разъяснить мне ее, потому что я ни слова не понимаю. Он прочитал депешу и говорит:

— Чудак! Чего вы тут не понимаете? Ведь это же яснее ясного. Он, понимаете ли, хочет, чтобы я дал десять, тогда он мне даст половину шести, то есть три тысячи. Напишите же ему, что он чересчур умен. Короче говоря: сколько бы он ни дал, даю в два раза больше. И еще пишите, чтоб не медлил, потому что найдется другой.

Я послушал его и дал компаньону такую депешу:

«Коротки слово. Сколько дает, кладу напротив два раза более. Не медливать. Подхватится другой».

В ответ получаю снова непонятную телеграмму:

«Согласен два раза менее выговором тысяча назад. Товар находка».

Снова бегу с депешей к моему Кимбаку. А он опять:

— Все ясно. Ваш компаньон говорит, что согласен дать ровно половину, но с условием, что получит тысячу обратно. Это значит: если я, к примеру, дам десять, то он должен был бы дать пять; но ему хочется оттянуть одну тысячу. Получится, значит, что я даю десять, а он — только четыре. Неглуп, что и говорить! Он хочет меня обдурить с головы до пят. Но я, знаете ли, купец и в делах кое-что понимаю. Я лучше дам ему вдвое больше того, что дает он, да еще накину тысячу.

Иначе говоря, если он даст три — дам семь, даст четыре — дам девять, даст пять — дам одиннадцать. Раскусили? Так вот, — говорит, — идите сейчас же и дайте ему «строчную», чтоб он не тянул и пусть тоже ответит вам «строчной» о встрече, и дело с концом!

Бегу, даю своему Ошеру «строчную» депешу:

«Даст три — кладет семь. Даст четыре — кладет девять, даст пять — кладет одиннадцать. Не тянуть длинную скамейку. Строчите выехаем».

В ответ получаю «строчную» депешу — всего два слова:

«Выехаем. Выехайте».

Когда прибывает такая важная депеша? Конечно, ночью. И ты сама должна понять, что спать в эту ночь я уже больше не мог. Стал рассчитывать, сколько, примерно, наберется на мою долю, если, скажем, всевышний поможет, и я сосватаю весь список, который Лейбе Лебельский потерял? Что тут, в сущности, невозможного, если бог захочет? Я твердо решил: как только, с божьей помощью, проведу это дело, заключить с Ошером постоянный союз. Человек он, судя по всему, предприимчивый, да и везет ему здорово. И, разумеется, Лейбе Лебельский тоже не будет обойден. Что я могу иметь против него? Он тоже бедняк, обремененный семьей...

Еле дождался утра, помолился и пошел к моим Кимбакам — депешу показывать. Те сразу велели подать кофе со сдобными булочками, и было решено, что в тот же день мы вчетвером выезжаем в Жмеринку. Но для того чтобы Ямполю не показалось подозрительным, чего это мы едем вчетвером, мы устроили так: я выезжаю с поездом, который уходит раньше, а они — позже. А до их приезда я в Жмеринке присмотрю для них гостиницу получше и закажу приличный ужин.

Так оно и было. Приехал я в Жмеринку раньше всех, остановился в лучшей гостинице, собственно единственной в Жмеринке, под названием «Одесская гостиница». Познакомился первым долгом с хозяй-

кой, — очень славная женщина, гостеприимная такая. Спрашиваю:

— Что у вас можно покушать?

— А чего бы вы хотели?

— Рыба у вас есть?

— Можно купить.

— Ну, а бульон?

— Можно и бульон сварить.

— С чем? С лапшой или с рисом?

— Хотя бы с клецками.

— Ну, а скажем, к примеру, жареные утки?

— За деньги, — говорит, — можно и уток достать.

— Ну, а пить? — спрашиваю.

— А что вы пьете?

— Пиво есть?

— Почему нет?

— А вино?

— Были бы денежки!

— Так вот, — говорю я, — потрудитесь, дорогая моя, готовьте ужин не больше, не меньше, как на восемь персон.

— Откуда взялось восемь персон? — отвечает она. — Ведь вы только один?

— Странная женщина! — говорю я. — Какое вам дело? Вам говорят восемь, значит, — восемь.

Во время нашего разговора входит мой компаньон, реб Ошер то есть, бросается ко мне на шею и начинает целовать меня и обнимать, как родной отец:

— Чуяло мое сердце, — говорит он, — что найду вас здесь, в «Одесской гостинице»! Тут есть что перекусить?

— Только что, — отвечаю, — я заказал хозяйке ужин на восемь персон.

— При чем тут ужин? — говорит он. — Ужин — ужином, но пока обе стороны выберутся и приедут, мы вовсе не обязаны поститься. Вы тут, я вижу, свой человек. Прикажите накрывать на стол, пусть нам подадут водочки и чего-нибудь мясного на закуску. Кушать хочется, — говорит, — до полусмерти!

И, не ожидая долго, реб Ошер направляется на кухню руки мыть, знакомится с хозяйкой, велит

подавать, что можно, и мы садимся честь-честью за стол, а реб Ошер, закусывая, рассказывает чудеса, как он стену пробивал, в лепешку расшибался, пока, наконец, ему удалось уломать своего аристократа дать эти три тысячи.

— Как это, — говорю я, — три тысячи? Ведь речь шла о четырех и не меньше?

— Разрешите, — отвечает он, — реб Менахем-Мендл! Я знаю, что делаю. Меня зовут реб Ошер! Надо вам знать, — говорит он, — что мой Ташрац вовсе ничего давать не хотел, потому что он знатного происхождения, а жена еще больше родовита. Он, говорит, если бы хотел породниться с кем попало, так ему бы еще доплатили. Словом, я достаточно потрудился, горы ворочал, и еле-еле с грехом пополам уговорил его дать по крайней мере две тысячи.

— Что значит, — говорю, — две тысячи? Ведь вы же только что говорили — три тысячи!

— Разрешите! — снова отвечает он. — Реб-Менахем-Мендл, я сват более опытный, чем вы, и зовут меня реб Ошер! Пускай стороны съедутся, пускай жених с невестой свидятся, тогда все будет в порядке. Из-за какой-нибудь несчастной тысячи у меня сватовство не расстраивается! Меня, понимаете ли, зовут реб Ошер! Есть, правда, одна заковыка, которая меня тревожит...

— А именно? — спрашиваю. — Что вас тревожит?

— Меня тревожит призыв. Я уверил своего Ташраца, что хотя у вашего Мойше-Нисла совсем молодое дитя, кровь с молоком, но призыва он не боится... Сказал даже, что он уже покончил с призывом...

— Что вы такое болтаете, реб Ошер? — спрашиваю я своего компаньона. — Какой такой призыв? Откуда?

А он опять:

— Разрешите, реб Менахем-Мендл! Меня зовут реб Ошер!..

— Вы можете, — отвечаю я, — восемнадцать раз называться реб Ошер, и все же я не понимаю, о чем вы говорите! Что это вы лопочете: «Призыв — шми-

зыв...» Откуда у моего Мойше-Нисла взялся призыв? Женщины, по-вашему, тоже отбывают воинскую повинность?

— Что значит женщины? — говорит мне Ошер. — А где же сын вашего Мойше-Нисла?

— Откуда, — отвечаю, — у Мойше-Нисла возьмется сын, когда всего-то-навсего у него одна-единственная дочь? Од-на-един-ствен-ная!

— Значит, — говорит он, — выходит, что и у вас девица? Позвольте, но ведь мы же говорили о женихе!

— Конечно, о женихе! Но я иначе и не думал, что женихова сторона — это вы!

— Из чего следует, — говорит он, — что женихова сторона — это я?

— А из чего следует, — отвечаю я, — что женихова сторона — это я?

— Почему вы не предупредили меня, что у вас девица?

— Ну, а вы предупредили меня, что у вас девица?

Тут он рассердился и говорит:

— Знаете, что я вам скажу, Менахем-Мендл? Вы такой же сват, как я раввин!

— А из вас, — отвечаю, — такой же сват как из меня раввинша!

Слово за слово... Он мне: «Растяпа!» Я ему: «Лгун!» Он мне: «Рохля!» А я ему: «Обжора!» Он мне: «Менахем-Мендл!» Я ему: «Пьянчуга!» Это его, конечно, задело, он мне — пощечину, а я его — за бороду... Скандал, упаси бог!

Понимаешь? Столько расходов, и времени, и трудов... А позор-то какой! Все местечко сбежалось полюбоваться на сватов-ловкачей, которые сосватали двух девиц! Но Ошер этот самый — черт бы его побрал! — сразу же исчез, меня оставил одного рассчитываться с хозяйкой за ужин, который я заказал на восемь персон. Счастье, что мне удалось улизнуть вовремя, до того как родители обеих невест приехали в Жмеринку. Что там творилось с ними, я не знаю. Но представляю себе. Так вот, поди будь пророком, знай, что этот сват, — провались он сквозь землю! — такая пустельга, черт бы его побрал! Такая ветряная

мельница! Говорит, разъезжает, носится, дает депеши, а в конце концов? Обе девицы! Раз навсегда дорогая моя, не везет, хоть живым в воду! И потому что я очень пришиблен, я пишу на сей раз кратко. Даст бог, в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам, по которым я сильно стосковался, тестю, и теще, и каждому в отдельности

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Господь поражает, господь и исцеляет. Едучи из Жмеринки, я думал, что небо уже свалилось на меня. Было бы у меня на дорогу, я бы уже кое-как добрался до дому, в Касриловку. Но как я ни считал, выходило, что я обязательно застряну где-нибудь в пути, хоть ложись поперек рельсов. Но на то и бог! В вагоне знакомлюсь с каким-то чудаком, который штрафует* людей от смерти. Он уговаривает меня, обещает золотые горы, лишь бы я стал агентом. Что такое агент и как штрафуют людей от смерти, — писать долго, а я уж и так хватил через край. Оставляю это до другого раза.

Тот же.

Конец пятой книги

1900—1909

ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ

(Менахем-Мендл — агент)

Менахем-Мендл с дороги—своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку

Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шейндл, да здравствует она со всеми домочадцами!

Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь!

Во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя жена, что мне пришлось исчезнуть, то есть удрать. Я только что выпутался из большой беды! Надо бога благодарить! Чуть-чуть в кутузку не угодил и, бог знает, чем бы все это кончилось. Об арестантских ротах и говорить не приходится, — пахло каторжной Сибирью, хотя виноват я столько же, сколько и ты. Как твоя мама говорит: «Придет беда — отворяй ворота!» Сейчас, когда господь бог помог, и я вовремя вырвался, как из огня, я хочу написать тебе обо всем подробно. От начала до конца.

Из предыдущего моего письма, ты, наверное, поняла, в каком я очутился положении после того, как

сосватал двух девиц... Я тогда думал, что все кончено! Нет больше Менахем-Мендла! Но встретился я с одним типом, с агентом-инспектором из «Эквитебеля» *, который штрафует людей от смерти и зарабатывает на этом крупные деньги. Он достал книжку и показал мне, скольких людей он уже заштрафовал от смерти, и сколько человек у него уже умерло. А это такое дело, что чем больше умирают, тем лучше — и для покойников и для живых. Ты, пожалуй, спросишь, в чем тут смысл? А смысл простой! Например, взял «Эквитебель» и заштрафовал меня от смерти на десять тысяч рублей. Я должен платить за это всего каких-нибудь двести—триста рублей в год — до самой смерти. Так что одно из двух: если я умер, упаси бог, в первый же год, — твое счастье: десять тысяч на улице не валяются! А если я живу, то — счастье «Эквитебеля». Служит там бесконечное количество людей, все больше евреев, у которых тоже имеются жены и дети и которые тоже хотят жить. Но меня это не касается. Беда, однако, в том, что не каждый может быть агентом. Агент должен быть первым долгом хорошо одет, но по-настоящему — хорошо! Приличный костюм, воротник и манжеты — хотя бы бумажные, но обязательно белые, красивый галстук, ну, а о шляпе говорить не приходится. А главное — это разговор. Агент обязан уметь говорить. Это значит, он должен уметь разговаривать, уговаривать, переговаривать, заговаривать, говорить до тех пор, пока человек не почувствует, что ему необходимо заштрафоваться от смерти. А больше ничего не нужно. Словом, мой агент-инспектор нашел, что из меня должен выйти хороший агент, замечательный «инквизитор»... *

Теперь, дорогая моя, я должен тебе объяснить разницу между агентом-инспектором и агентом-инквизитором. Агент-инквизитор — это просто агент, который штрафует людей от смерти, а агент-инспектор — это уже старший, который сам агентов делает. Затем имеется еще «кружной» * агент-инспектор, который делает агентов-инспекторов, а надо всеми этими инквизиторами, инспекторами и «кружными» существует начальник, которого называют «генерал-

инспектором». Старше его нет никого на свете. Понятно, для того, чтобы стать «генералом», нужно сначала быть «инквизитором», потом инспектором, затем «кружным» и так далее. А уж когда бог поможет и дослужишься до генерала, тогда ты обеспечен заработком на всю жизнь. Есть, говорят, генералы, которые не меньше тридцати тысяч в год проживают. Словом, он стал меня уговаривать сделаться агентом. И я подумал: а чем я рискую? Одно из двух: пойдет так пойдет, а нет так нет. «Масла, — говорит он, — я в это дело не кладу. Наоборот, я еще получаю, — говорит он, — «аванс», то есть мне дают задаток в счет моей работы, чтобы я имел на расходы, на новый костюм и на покупку портфеля». В таком случае это и вовсе не плохая комбинация! И я дал себя уговорить и сделался, в добрый час, агентом.

Однако это не так скоро делается, как говорится. Чтобы стать агентом, надо прежде всего повидаться с генералом, потому что покуда генерал не подпишет, — все это гроша ломаного не стоит. И вот он, инспектор то есть, взял и на свой счет привез меня в Одессу к генералу «Эквитебеля», который распоряжается двадцатью с лишним губерниями и имеет в своем подчинении, говорят, восемнадцать сотен агентов.

Описать тебе величие этого генерала просто невозможно. То есть сам по себе он не так уж велик, но шум вокруг него велик. Глаза у него большие и острые, а личико светлое, щечки розовые и звать его Евзером. Контора генерала занимает целый дом: комнаты, комнаты, комнаты... Множество столов и стульев, книг и бумаг, агенты толкутся, шум, гам, депеши летят во все стороны — столпотворение! Пока добьешься к самому генералу, надо пройти через все семь кругов ада.

Я весь помертвел, когда меня ввели к этому Евзеру, хотя он пригласил меня сесть, угостил папиросой и расспросил обо всем: кто я такой, и что я такое, и чем занимаюсь... Я рассказал ему все, от начала до конца: как я ехал в Кишинев и очутился

в Одессе, как торговал «Лондоном», а потом попал в Егупец, вертелся там на бирже, покупал и продавал «Путивль», «лилипутов» и другие «бумажки», до миллионов добирался, а потом как я, не теперь будь сказано, сделался маклером по сахару и по деньгам, по домам и имениям, по лесам и заводам, и как я потом стал сватом и даже писателем, словом, ворочал делами, горел, пылал, трещал на весь мир, и как все это кончилось плохо, дальше некуда...

Выслушал меня генерал, Евзер то есть, поднялся, положил руку мне на плечо и сказал:

— Знаете, что я вам скажу, господин Менахем-Мендл? Вы мне нравитесь. Имя у вас славное, а говорить вы, слава богу, мастер! Предсказываю, что со временем вы будете крупным агентом, очень крупным! Пока получите аванс, выезжайте в свет: по еврейским городам и местечкам, — вас там все знают, — и дай бог счастья!..

И действительно. Получив у них деньги, я тут же облачился в царские одежды. Ты бы меня, наверное, не узнала. Портфель я купил себе большой. Насовали мне в него книжек и бумаг — целый транспорт, и я пустился в свет!

Прежде всего отправился в Бессарабию — счастливый уголок! Там, говорят, можно дела делать — штрафовать и штрафовать! И должно же так случиться, что как раз на эти дни пришлась годовщина смерти отца. Я остановился от поезда до поезда в каком-то захолустном местечке, черт бы его взял! Я и не знал, что местечко это славится своими озорниками, нахалами, доносчиками и ябедниками. Сгореть бы ему до того, как я его узнал! Но уж если суждено несчастье, — так именно в этом местечке надо было мне остановиться и попасть в такое болото, — господи, спаси и помилуй! Чуяло мое сердце, что добром это не кончится. Но когда нужно прочесть поминальную молитву, так ведь от этого не откажешься!

Пошел я в синагогу и попал как раз к вечерней молитве. Когда помолились, подходит ко мне служка и спрашивает:

— Годовщина?

— Годовщина! — отвечаю.

— Откуда будете?

— С белого света, — говорю.

— Как ваше имя?

— Менахем-Мендл.

— Привет вам! — говорит он и здоровается со мной, а за ним и все молящиеся.

Окружили меня со всех сторон и начали выспрашивать: кто я такой, и откуда, и чем занимаюсь?

— Я — агент! — говорю.

— По каким делам? — спрашивают. — По машинам?

— Нет, — отвечаю. — Я агент-инквизитор от «Эквитебеля».

— Это что еще за напасть? — спрашивают они.

— Я обеспечиваю людей после смерти.

И объясняю им, что это значит и как штрафуют людей от смерти. А те стоят с раскрытыми ртами, как если бы им рассказывали, что на небе — ярмарка.

Среди них я заметил двоих людишек: один из них высокий, тощий, весь какой-то изогнутый, и нос у него тоже изогнутый и лоснящийся. И манера у этого человечка во время разговора выдергивать по одному волосы из бородки. Второй — невысокого роста, коренастый, черный, как цыган, с одним глазом — вороватым и все время глядящим куда-то в сторону. И как бы серьезно он ни говорил, все кажется, что он ухмыляется. Эти двое, видимо, хорошо раскумекали, что значит штрафовать людей от смерти: они как-то странно все время переглядывались и пробормотали один другому: «Будет дело!»

Я сразу же сообразил, что этих двух нельзя равнять с остальными: они понимают дело и с ними можно столковаться.

И действительно, как только я вышел из синагоги, они пошли следом и обратились ко мне:

— Куда вы так спешите, реб Менахем-Мендл? Погодите минуточку, мы хотим у вас кое-что спросить. Вы собираетесь у нас, в этой дыре, дело делать?

— А почему бы и нет? — спрашиваю.

— С нашими евреями? — говорит долговязый с изогнутым носом.

А тот, с глазком, подхватил:

— С евреями хорошо кугель кушать!

— Что же прикажете делать? — говорю я.

— Дело надо делать с помещиками!

— Дай им бог здоровья! — подхватил одноглазый.

Идем мы таким образом и разговариваем. А когда говорят, — можно и договориться. Оказывается, что у них сокровище — барин, молдаванин, богатый хозяин, который дает им подзаработать. Вот они и думают, что его можно было бы заштрафовать на кругленькую сумму...

— Ну что ж! С удовольствием! А ну-ка, возьмитесь за это дело, и давайте поработаем вместе... Я не жадный...

И решено было, что завтра утром в синагоге они передадут мне ответ их барина молдаванина. Они только просили все сохранить в тайне, не проговориться в заезжем доме, что мы виделись и затеяли вместе дело.

Как только рассвело, я поторопился в синагогу. Помолился, а моих типов нет. Подождал, покуда помолилась новая партия прихожан, — нету моих людей. Почему я, дурень, не спросил, как их звать, где они живут? Подойти к служке и спросить, — боюсь: ведь я же дал слово все сохранить в тайне. И только, когда все помолились, они пожаловали. Увидал я их, и сердце у меня екнуло от радости. Однако подойти к ним и спросить, как обстоит дело, — воздержался. Это неудобно. Помолившись наспех, они пошли. Я за ними.

— Ну? — спрашиваю.

А они мне:

— Помалкивайте. Не говорите на улице. Вы не знаете нашего города, сгореть бы ему! Вы идите лучше следом за нами к нам домой. Там сделаем дело, а кстати, и закусим...

Так говорит долговязый, что с изогнутым носом, делает какой-то знак одноглазому, и тот исчезает. А мы вдвоем идем какими-то мрачными закоулками, — он впереди, а я за ним. Наконец господь помог, и мы благополучно прибыли.

Вошли мы в темную, закопченную избушку со множеством мух на стенах и на потолке, с размалеванным «востоком» *, с красной скатертью на столе, с лампой, обвешанной поблекшими бумажными цветами... Возле печи стояла маленькая женщина-замухрышка с бледным перепуганным лицом. Женщина испуганно поглядела на мужа, а тот, проходя мимо, бросил: «Кушать!» — и в одно мгновение на столе появилась другая скатерть, булка, водка и закуска. Прошло немного времени, и вошел одноглазый, а следом за ним вкатился человечище пудов двенадцать весом, с большим синим носом, с огромными волосатыми ручищами и парой странных ног, сверху довольно толстых, а книзу все тоньше и тоньше. Нелегко им, должно быть, таскать такую тушу.

Это и был тот самый барин молдаванин. Увидав на столе бутылку водки, он жирным голосом выдавил из жирного брюха:

— Оце добре діло!

Выпив по рюмочке (барин выпил две), оба типа заговорили с ним насчет пшеницы и ржи, а между делом одноглазый шепнул мне на ухо:

— Набит деньгами, как мешок! У него чуть ли не тысяча четвертей хлеба, не считая овса... Вы не смотрите, что он так одет: скряга!

А второй, долговязый, все время советует барину хлеб не продавать, потому что пшеница будет в цене. Лучше весь хлеб приберечь до зимы.

— Оце добре діло! — повторяет барин, раз за разом опрокидывает рюмку и, закусывая, будто с голодухи, отдувается губами и носом. После еды долговязый мне говорит:

— Теперь можете потолковать с барином о вашем деле...

Сели мы с ним в уголок, и я разговорился, — сам не знаю, откуда что взялось! Я объяснил ему, как

важно каждому человеку штрафоваться, будь он хотя бы богат, как Крез. «Наоборот, чем богаче человек, тем, — говорю я, — нужнее, чтобы он заштрафовался, потому что богатому, когда он на старости лет теряет свои капиталы, в тысячу раз хуже, чем бедняку. Бедняк, — говорю я, — свыкся со своей нищетой, а богатый, если останется, упаси бог, без денег, хуже, чем покойник! Як написано у нас, — говорю я ему, — «òни хошув кимес», — значит: бедный хуже, як мертвый. А потому, — говорю я, — ваше благородье, заштрафируйте соби от смерти, — через сто двадцать лет, — на десять тысяч!!!»

— Оце добре діло! — отвечает барин и отдувается, как кузнечный мех.

Чувствую, что желание говорить разгорелось во мне со страшной силой, хочу продолжать, но долговязый обращается ко мне:

— Довольно звонить! Доставайте бумагу, нарисуйте что требуется...

Одноглазый подает мне чернила и перо, и я проделываю все, что полагается. А когда дошло до подписи, мой барин, бедняга, здорово попотел, пока изобразил свое имя. Потом мы пошли с ним к доктору, чтобы тот его осмотрел, я получил задаток, выдал квитанцию и — дело сделано.

Пришел под вечер в заезжий дом в хорошем настроении, заказал ужин. Хозяин спрашивает:

— Что у вас хорошего?

— Ничего особенного.

— Можно вас поздравить?

— А с чем? — спрашиваю я.

— С дельцем, которое вы тут обделали...

— С каким дельцем? — прикидываюсь я дурачком.

— С барином! — говорит он.

— С каким барином?

— С толстым барином...

— А откуда, — спрашиваю, — вы знаете, что я сделал дело с барином?

— Это такой же барин, — говорит он, — как я жена раввина...

— А кто же он такой?

— Свинья рогатая! — говорит хозяин и смеется мне прямо в лицо.

Тогда я подсел к нему и стал спрашивать, умолять, чтобы он мне сказал, что значит «свинья рогатая», и откуда он знает, где я был и что я делал?

Словом, он, по-видимому, понял, что я тут ни сном, ни духом не виноват. Пожалел он меня, заперся со мной в отдельной комнате и стал рассказывать о моих компаньонах такие вещи, что у меня волосы дыбом встали. Оказывается, что эти двое — просто жулики, бандиты, каких свет не видал.

— Они, — говорит он, — за свою жизнь столько уголовных дел совершили, что если бы их поймали, то отправили бы невесть куда... Их счастье, что каждый раз они выставляют вместо себя кого-нибудь третьего, а сами остаются в стороне... Этот барин, которого они вам представили, как богатого молдаванина, всего-навсего простой «лапацон», пьянчуга, каких мало, а тот, кого вы заштрафовали, — либо готовится богу душу отдать, либо давно уже у господа бога в раю... Понимаете, чем это пахнет?

У меня душа в пятки ушла! Мне только того и недоставало, как попасть надолго в тюрьму! Я не стал откладывать, тут же побежал на станцию, чтобы удрать, куда глаза глядят. Я даже видеться не пожелал больше с моими типами. Пусть они провалятся сквозь землю со своим барином, со всей Бессарабией и со всем этим штрафованием людей от смерти, которое может привести к несчастью... Дай бог лучших дел! Прибыть бы мне благополучно на место. Но так как я собираюсь в дальний путь, то пишу тебе кратко. Даст бог, из Гамбурга напишу обо всем подробно. Пока дай бог здоровья и удачи. Привет милым деткам. Дай им бог здоровья и сил и дай бог свидеться при более веселых обстоятельствах! Привет тестю, и теще, и каждому в отдельности.

Твой супруг *Менахем-Мендл.*

Главное забыл! Я совсем забыл написать тебе, куда я еду. Дорогая моя жена, я еду в Америку. Не один, — целая компания едет. То есть едем мы,

собственно, в Гамбург, а уж оттуда в Америку. Почему в Америку? Потому что в Америке, говорят, неплохо живется. Золото, говорят, там на улицах валяется. Деньги там считают на доллары, а люди там в большом почете: червонец — человек! А уж о евреях и говорить не приходится, — они там в ступе на самом верху... Все меня обнадеживают, что в Америке я, с божьей помощью, буду процветать! Весь мир едет в Америку, потому что здесь делать нечего. Совсем нечего! Кончились все дела. А уж если все едут, почему же мне не ехать? Чем я рискую? Но только ты не огорчайся, дорогая моя, и не подумай обо мне дурного! Поверь моему слову, что я, упаси бог, не забуду ни тебя, ни наших деток, дай им бог здоровья! Я буду трудиться день и ночь, никакой работы не испугаюсь, и как только господь мне поможет и мне повезет, а мне обязательно повезет, я в этом уверен так же, как и в том, что сейчас день на белом свете, — я пришлю шифскарты * для тебя и для детей, заберу вас сюда, и будешь ты у меня жить в почете, как графиня, все самое лучшее доставлю тебе, пылинке не дам на тебя упасть. Да и пора уже, право, чтобы и ты пожила в свое удовольствие! Только не горевать и не принимать близко к сердцу, — ибо велик наш бог!..

Тот же.

Конец шестой книги

1900—1907

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК

«АЗ НЕДОСТОЙНЫЙ»

(Письмо Тевье-молочника к автору)

Моему любимому и дорогому другу, реб Шолом-Алейхему, — дай бог здоровья и достатка вам с женой и детьми! Да сопутствуют вам радость и утеха всюду и везде, куда бы вы ни обратили стопы свои, — вовеки аминь!

«Аз недостойный», — должен сказать я, выражаясь словами праотца нашего Иакова, с которыми он обратился к господу богу, собираясь в поход против Исава... Но, может быть, это не так уж к месту, — не взыщите, пожалуйста: человек я простой, вы, конечно, знаете больше моего, — что и говорить! Живешь, прости господи, в деревне, грубеешь, некогда ни в книгу заглянуть, ни главу из священного писания повторить... Счастье еще, что летом, когда в Бойберик на дачи съезжаются егупецкие богачи, можно кой-когда встретиться с просвещенным человеком, услышать умное слово. Поверьте, вспоминать о тех днях, когда вы жили неподалеку от меня в лесу и выслушивали мои глупые россказни, мне дороже какого угодно заработка! Не знаю, чем я заслужил, что вы возитесь с таким маленьким человечком, как я, пишете мне письма да еще собираетесь выставить мое имя в книге, преподнести меня как лакомое блюдо, точно бы я был невесть кто! Не должен ли я воскликнуть: «Аз недостойный!..»

Правда, я вам поистине преданный друг, дай мне бог хотя бы сотую долю того, что я желаю вам! Вы, я думаю, и сами могли видеть, как я старался ради вас еще в те добрые времена, когда вы снимали большую дачу, — помните? Не купил ли я вам за полсотни корову, какую и по дешевке за пятьдесят пять рублей не купишь. А что она на третий день околела, так я же не виноват! Ведь вот вторая корова, которую я для вас купил, тоже подохла!.. Вы сами отлично знаете, как это меня огорчило, я прямо-таки голову тогда потерял! Я ли не старался доставлять вам все, что ни есть лучшего, да поможет так бог мне и вам в наступающем Новом году, чтобы было у вас, как в молитве сказано: «Обнови дни наши, яко встарь...» А мне да поможет господь в моем деле! Чтобы и я и лошаденка моя были здоровы, чтобы коровы давали много молока, дабы я и впредь мог служить вам верой и правдой и доставлять сыр и масло вам и егупецким богачам, пошли им бог удачи в делах и всего наилучшего. А что касается вашего труда и почета, который вы мне оказываете своей книгой, то я еще раз повторяю: «Аз недостойный!» Не много ли чести для меня, чтобы весь мир вдруг узнал, что по ту сторону Бойберика, недалеко от Анатовки, живет человек по имени Тевье-молочник? Однако вы, надо полагать, знаете, что делаете, учить вас уму-разуму мне не приходится; как писать, вам виднее, а во всем остальном целиком полагаюсь на ваш благородный характер: уж вы, я надеюсь, постараетесь там в Егупце, чтобы мне от этой книжки кое-что перепало. Сейчас это, знаете ли, было бы очень кстати: я собираюсь вскоре начать подумывать о свадьбе — дочь надо замуж выдать. А если господь, как вы говорите, дарует жизнь, то, пожалуй, и двух сразу... А пока будьте здоровы и всегда счастливы, как желает вам от всего сердца ваш лучший друг

Тевье.

Да! Главное забыл! Когда книжка будет готова и вы вздумаете выслать мне немного денег, будьте добры отправить их в Анатовку на имя тамошнего рез-

ника. У меня зимой два поминальных дня: один осенью, незадолго до Покрова, а другой поближе к Новому году, — так что эти дни я провожу в городе. А просто письма можете посылать прямо в Бойберик на мое имя. Пишите так: «Передать господину Тевлу, молочного еврей».

1895

СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!

Удивительная история о том, как Тевье-молочник, бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, достойному описания. Рассказана самим Тевье и передана слово в слово

«Из праха подъемлет он нищего,
из тлена — убогого...»
(Псалтырь)

Знаете, пане Шолом-Алейхем, уж коль суждено счастье, оно само в дом приходит! Как это говорится: «Если повезет, так на рысях!» И не надо при этом ни ума, ни умения. А ежели, упаси господи, наоборот, — так уж тут говори не говори, хоть разорвись, — поможет, как прошлогодний снег! Как в поговорке: «Сладу нет с худым конем — ни умом, ни кнутом!» Человек трудится, надрывается, хоть ложись, — прости господи! — да помирай! И вдруг — не знаешь, отчего и почему, — удача прет со всех сторон... «Облегчение и спасение да приидут на иудеев!» Растолковывать вам эти слова нужды нет, но смысл их такой: покуда душа в теле, покуда хоть одна жилка еще бьется нельзя терять надежды. Я знаю это по себе. И в самом деле, какими судьбами пришел я к теперешнему моему промыслу? Ни бабка моя, ни прабабка никогда молочным не торговали. Нет, право же, вам стоит выслушать эту историю от начала до конца. Я присяду на

минутку вот здесь, возле вас, на травке, а лошадка тем временем пускай пожует. Как говорится: «Душа всего живущего» — тоже ведь божья тварь.

Словом, было это около пятидесятницы *, то есть, чтобы не соврать, — за неделю или за две до пятидесятницы... А впрочем, может быть, и неделю-другую после пятидесятницы. Не забывайте, что делу этому уже как-никак не первый год, то есть ровно девять лет, если не все десять, а может быть, еще и с хвостиком.

Был я тогда совсем не тот, что сейчас, то есть, конечно, тот же Тевье, а все же не тот, как говорится: та же бабка, да повойник другой. Почему, спросите вы? Очень просто: был я тогда, не про вас будь сказано, гол как сокол, нищий... Хотя, с другой стороны, если говорить начистоту, я и сейчас еще не богач. Мы можем с вами вместе пожелать себе заработать нынешним летом столько, сколько мне не хватает до состояния Бродского... Но в сравнении с тем, что было, я сейчас, можно сказать, — богач: у меня своя лошаденка с повозкой, у меня, не сглазить бы, пара дойных коровок и еще одна стельная, вот-вот должна отелиться. Грех жаловаться: каждый день у меня свежее молоко, масло, сыр, сметана — и все своим трудом добыто, потому что работаем мы всей семьей, никто без дела не сидит. Жена доит коров, дочери разносят крынки, сбивают масло, а сам я, как видите, что ни утро, езжу на базар, обхожу в Бойберике все дачи, встречаюсь с тем, с другим, с самыми богатыми людьми из Егупца... Поговоришь с человеком, — начинаешь чувствовать, что и сам ты как-никак человек на белом свете, как говорится, не кляча колченогая... А уж в субботу — и говорить нечего! В субботу я — король: заглядываю в книгу, просматриваю главу из Пятикнижия, почитываю «Поучение отцов», псалом — то да се, пятое—десятое... Смотрите вы на меня, пане Шолом-Алейхем, а про себя небось думаете: «Э-ге, а ведь этот Тевье не так уж прост!..»

Словом, о чем же я начал рассказывать? Да... был я тогда, стало быть, с божьей помощью, горемычный бедняк, помирал с голоду вместе с женой и детьми

трижды в день, не считая ужина. Трудился, как вол, возил бревна из лесу на вокзал, полный воз, бывало, везу — чего тут стесняться? — за два пятиалтынных, да и то не каждый день... И вот на такие заработки изволь прокормить полон дом едоков, не сглазить бы, да еще содержать конягу, которой и вовсе дела нет до всякого рода толкований и изречений: корми ее каждый день без отговорок, и дело с концом!

Однако на то и бог! Ведь он, как говорится, «всех кормящий и насыщающий», — разумно миром управляет... Видит он, как я из-за куска хлеба бьюсь, и говорит: «Ты небось думаешь, Тевье, что все уже кончено, светопреставление, небо на землю валится? Ну и глуп же ты, Тевье, ой как глуп! Вот увидишь, счастье, если богу будет угодно, повернется этак налево кругом, — и сразу во всех уголках светло станет!» Выходит, как в молитве сказано: «Кто будет вознесен, а кто — низвергнут», — кто ездит, а кто пешком плетется. Главное — упование! Надо жить надеждой, только надеждой! А ежели до поры до времени приходится горе мыкать, так на то же мы и евреи на белом свете, как говорится, избранный народ... Недаром нам весь мир завидует... К чему я это говорю? Да к тому, что и меня господь бог не оставил своей милостью... Вы только послушайте, какие чудеса на свете бывают.

Однажды летом, в предвечернюю пору, еду я лесом, возвращаюсь порожняком. Голову повесил, на душе кошки скребут. Лошаденка едва ноги волочит, хоть ты ее режь...

— Ползи, — говорю я, — несчастная! Пропадай со мной заодно! Знай и ты, что значит пропоститься долгий летний день, раз ты у Тевье в лошадях состоишь!

Кругом тишина. Каждый щелчок бича гулом отдается в лесу. Солнце садится, день угасает. Тени от деревьев вытягиваются до бесконечности. Темнеет. Тоскливо становится. В голову лезут разные думы, образы давно умерших людей встают перед глазами. О доме вспомнишь, — горе горькое! Дома мрак, уныние, ребятишки, будь они здоровы, раздетые, разутые,

ждут не дождутся отца-добытчика, не привезет ли каравай свежего хлеба, а то и булку! А она, старуха моя, — известное дело, женщина! — ворчит: «Детей ему нарожала, да еще семерых! Хоть возьми, прости господи, и утопи их живыми в речке!» Каково такие речи слушать!

А ведь мы всего только люди, плоть да кровь. Разговорами сыт не будешь. Поешь селедки, — чаю захочется, а к чаю сахар требуется, а сахар, говорите вы, у Бродского...

— За кусок хлеба, что не доела, — говорит моя жена, — утроба не взыщет. Но без стакана чаю утром я не жилица на белом свете: ребенок за ночь все соки из меня высасывает!

Однако и о том, что ты еврей, забывать нельзя: солнце на закате... Молитва хоть и не коза, никуда не убежит, а помолиться все-таки пора... Правда, какая уж там молитва! Можете себе представить: как раз, когда положено стоять неподвижно, лошаденка, точно назло, срывается с места и несется как шальная... Вот и бежишь за тележкой, натягивая вожжи, и припеваешь: «Господь Авраама, господь Исаака, господь Иакова...» Хороша молитва, нечего сказать! А помолиться, как нарочно, хочется горячо, с огнем, — авось на душе полегчает...

Короче говоря, бегу это я за возом и читаю нараспев, совсем, как в синагоге (не будь рядом помянута!): «Питающий все живущее от щедрот своих!» То есть кормящий всякое свое творение... «Выполняющий обет свой перед покоящимся во прахе...» То есть даже перед теми, кому и жизнь — сырая могила...

«Эх, думаю, жизнь наша — могила глубокая! Ну и маемся же мы на свете! Не то, что егупецкие богачи, которые целое лето на дачах в Бойберике проводят, пьют, едят, как сыр в масле катаются! Эх, господи владыко небесный! И за какие грехи мне все это? Не такой я, что ли, как все другие? «Воззри на нашу бедность!» Посмотри, мол, на наши муки, погляди, как мы трудимся, и заступись за нас, бедняков, потому что больше за нас заступиться некому! «Исцели нас да будем исцелены». Пошли нам исцеле-

ние, а болячек нам не занимать стать. «Благослови нас...» Пошли нам добрый год, чтобы хлеба уродились — и рожь и пшеница, и ячмень... Хотя, с другой стороны, какая мне, горемычному, от этого польза? Не все ли равно, скажем, моей лошаденке, дорог овес или дешев?

Однако не нам судить о деяниях всевышнего. А еврей и подавно должен все принимать безропотно и повторять: «И то благо!» Так, видно, богу угодно! А кощунствующие, — продолжаю я, — «ристократы», которые говорят, что нет на свете бога, будут посрамлены когда явятся туда... Поплатятся с лихвой, ибо он, «сокрушающий врагов», — воздаст им сторицею! С ним шутки плохи, с ним ладить надо, упрашивать, умолять: «Отец всемилостивый! Внемли гласу нашему!» — услышь наши вопли! «Обрати милосердие твое к нам! — пожалей жену мою и деток, — они, бедные, голодны. Почти за благо, — смилостивься над возлюбленным народом твоим, как некогда в священном храме, когда священнослужитель и левиты...» И вдруг — стоп! Лошаденка остановилась. Я мигом отхватил оставшуюся часть молитвы, поднял глаза и вижу: выходят мне навстречу из чащи два каких-то странных существа, одетые будто бы не по-людски... «Разбойники!» — мелькнуло у меня в голове. Однако я тут же спохватился: «Фу, Тевье, дурачина ты эдакий! Столько лет подряд ездишь по лесу и днем и ночью — что это тебе разбойники вдруг померещились?»

— Вью! — крикнул я лошаденке, набрался духу и хлестнул ее еще несколько раз, будто ничего не замечая.

— Уважаемый! Послушайте, дяденька! — обращается ко мне одно из этих существ женским голосом и машет мне платком. — А ну-ка, остановитесь на минутку, погодите удирать, ничего худого мы вам не сделаем!

«Ага! Нечистая сила! — подумал я, но тут же говорю себе: — Дурья голова! Откуда вдруг ни с того ни с сего духи и черти?» Остановил лошаденку. Присмотрелся получше — женщины. Одна пожилая,

в шелковом платке на голове, другая помоложе — в парике. Обе раскраснелись и вспотели.

— Добрый вечер! Вот так встреча! — говорю я громко и даже как будто бы с радостью. — Чего изволите? Если купить что-нибудь, то у меня ничего нет, разве что колики в животе да сердечные боли на неделю вперед, есть еще и хлопоты, и заботы, и всякая морока, и горести всухомятку, беды и напасти — оптом и в розницу!

— Тише! Погодите! — отвечают они. — Скажи, пожалуйста, как его прорвало! Извозчика чуть словом задень, — жизни рад не будешь! Ничего, — говорят, — нам покупать не надо, мы только хотели вас спросить, не знаете ли вы, где здесь дорога на Бойберик?

— На Бойберик? — переспросил я с напускным смешком. — Для меня это все равно, как если бы вы спросили, к примеру, знаю ли я, что меня зовут Тевье.

— Вот как! — говорят они. — Вас зовут Тевье? Добрый вечер, реб Тевье! Нам не совсем понятно, что тут смешного? Мы не здешние, мы из Егупца и живем в Бойберике на даче. Вышли на минутку погулять и кружим в этом лесу чуть ли не с самого утра... Бродим, плутаем и никак не можем попасть на дорогу. А тут мы услыхали, — кто-то поет в лесу. Поначалу подумали, — а вдруг упаси бог, разбойник! Но когда увидели вблизи, что вы еврей, стало легче на душе. Понимаете?

— Ха-ха! Хорош разбойник! — отвечаю я. — Слыхали вы когда-нибудь историю о еврейском разбойнике, который напал на прохожего и потребовал от него понюшку табаку? Хотите, — могу рассказать...

— Историю, — говорят они, — оставим до другого раза. Вы лучше укажите нам дорогу на Бойберик.

— На Бойберик? Позвольте! Но ведь это и есть самая настоящая дорога на Бойберик! Если вы даже не хотите, вы все равно по этой дороге обязательно придете прямо в Бойберик!

— Так чего же вы молчите?

— А чего, — говорю, — мне кричать?

— В таком случае, — говорят они, — вы, наверное, знаете, далеко ли до Бойберика?

— До Бойберика, — отвечаю, — недалеко, несколько верст. То есть верст пять-шесть или семь, а может, и все восемь.

— Восемь верст! — вскричали женщины в один голос и, заломив руки, чуть не расплакались. — Помилуйте! Что вы говорите? Понимаете ли вы, что говорите? Шутка ли — восемь верст!

— Что же, — отвечаю, — я могу поделать? Если бы от меня зависело, я бы, пожалуй, подсократил это расстояние. Человек должен все на свете испытать. В пути и не то бывает... Случается иной раз тащиться по грязи в гору, да еще в канун субботы, дождь хлещет в лицо, руки коченеют, есть хочется до полусмерти, а тут вдруг — трах! — ось лопнула...

— Болтаете вы что-то непутевое! — говорят они. — Вы не в своем уме, право! Что вы нам рассказываете басни, сказки из «Тысячи и одной ночи»? Мы уже не в силах на ногах держаться. За весь день, кроме стакана кофе с плюшкой, у нас маковой росинки во рту не было, а вы нам всякие истории рассказываете!

— Ну, это другое дело! — отвечаю. — Плохи пляски да шутки, когда пусто в желудке. Что такое голод, я знаю хорошо, — можете мне не рассказывать. Возможно, что кофе с плюшками я в глаза не видал вот уже лет...

И представляется мне тут стакан горячего кофе с молоком и свежей булкой и другие вкусные вещи... «Скажите на милость! Чего захотел... — думаю я. — Какое деликатное воспитание: кофе с булочками... А ломоть хлеба с селедкой — хвор?» Но сатана, будь он неладен, как назло, не унимается: слышу запах кофе, чувствую вкус сдобной булки — свежей, хрустящей — объедение!..

— Знаете что, реб Тевье? — обращаются ко мне женщины. — Чем здесь стоять, не лучше ли нам забраться к вам в телегу, а вы бы потрудились отвезти нас домой, в Бойберик. Что вы на это скажете?..

— Вот те и здравствуй! — говорю я. — Я из Бойберика еду, а вам надо в Бойберик! Как же это выйдет?

— Ну и что же? — отвечают они. — Не знаете, что делать? Человек, да еще ученый, находит выход: поворачивает оглобли и едет обратно. Не беспокойтесь, реб Тевье, будьте уверены, — если вы нас благополучно доставите домой, то дай нам бог столько прохворать, сколько вы на этом деле потеряете...

«Говорят они со мной чего-то на тарабарском языке! — подумал я. — Все какими-то обиняками!» И приходят на ум мертвецы, ведьмы, шуты, нечистая сила. «Дурень набитый! — думаю. — Чего ты стоишь как пень? Полезай на облучок, пугни конягу кнутом и — пошел, куда глаза глядят!» Но, как на грех, у меня против воли срывается:

— Полезайте в телегу!

А те, как услышали, — не заставили себя долго упрашивать... Я следом за ними — на облучок, повернул дышло и стал нахлестывать лошаденку: «Раз, два, три — пошел!» Да где там! Как бы не так! С места не трогается, хоть режь ее. «Ну, думаю, теперь ясно, что это за женщины такие! И дернула же меня нелегкая остановиться ни с того ни с сего посреди дороги и завести разговор с женщинами!..»

Понимаете? Кругом лес, тишина, ночь надвигается, а тут — два каких-то существа в образе женщин... Разыгралась у меня фантазия не на шутку! Вспомнилась история об извозчике, который однажды ехал один-одинешенек лесом и увидел на дороге мешок с овсом. Извозчик не поленился, слез, схватил мешок на плечи, — чуть не надорвался, кое-как взвалил его на телегу, и марш вперед. Отъехал с версту, хватился мешка, а его и нет! Ни тебе овса, ни мешка! На возу лежит коза с бородкой. Извозчик хочет дотронуться до нее рукой, а она ему язык с аршин как высунет, как расхохочется — и нет ее!

— Почему же вы не едете? — спрашивают мои пассажирки.

— Почему не еду? Сами, — говорю, — видите, почему: конь танцевать отказывается, охоты нет.

— А вы его, — говорят они, — кнутом! Ведь у вас кнут есть.

— Спасибо, — отвечаю, — за совет! Хорошо, что напомнили. Беда только в том, что мой молодец таких вещей не боится. С кнутом он уже свыкся, как я с нищетой...

Шучу понимаете, а самого лихоманка трясет.

Словом, что тут долго рассказывать, — выместил я на несчастной моей лошаденке все, что накопилось на душе. В конце концов господь помог, лошадка снялась с места, и мы отбыли — поехали лесом, своим путем-дорогою.

Еду, а в голове новая мысль проносится: «Эх, Тевье, и осел же ты! Как началось твое падение, как был ты нищим, так нищим и останешься. Подумай, такая встреча, ведь это раз в сто лет случается, — как же ты не сторговался с самого начала, чтобы знать, «что почем», сколько ты получишь? Ведь, как ни суди, — по совести ли, по человечности ли, по закону или почему бы то ни было, — а заработать на таком деле, право же, не грех. Да и почему не поживиться, раз так случилось? Останови лошадку, осел ты эдакий, и скажи им — так, мол, и так, без церемоний: «Дадите столько-то, — ладно, а не дадите, — тогда, прошу прощения, извольте слезть с телеги!» Но, с другой стороны, думаю, ты и в самом деле осел, Тевье! Не знаешь разве, что медвежью шкуру в лесу не продают? Как наши крестьяне говорят: «Ще не поймав, а вже скубе...»

— Почему бы вам не ехать побыстрее? — говорят мои пассажирки, тормоша меня сзади.

— А куда вам так торопиться? Тише едешь, дальше будешь, — отвечаю я и поглядываю на них искоса.

Как будто бы ничего... Женщины как женщины: одна в шелковом платке, другая в парике. Сидят, смотрят друг на дружку и перешептываются.

— Далеко еще? — спрашивают они.

— Да уж не ближе, чем от этого места! — отвечаю я. — Вот сейчас поедем с горы, а потом в гору; затем — снова спуск и снова подъем и лишь потом

будет большой подъем, а уж оттуда дорога пойдет прямо-прямехонько до самого Бойберика...

— Ну и извозчик! — обращается одна к другой.

— Бесконечное лихо! — говорит другая.

— Еще недоставало! — говорит первая.

— Вроде придурковатый!..

«Конечно, думаю, придурковатый, раз позволяю себя за нос водить!»

— А где, к примеру, — спрашиваю я, — где, милые женщины прикажете вас скинуть?

— Что значит, — говорят, — «скинуть»? Что за скидывание такое?

— Это на извозчичьем языке так говорится, — объясняю я. — На нашем наречии это означает: куда доставить вас, когда, бог даст, приедем в Бойберик и, по милости всевышнего, будем живы и здоровы! Как говорится: лучше дважды спросить, чем один раз напутать.

— Ах, вот оно что! Вы, — говорят они, — будьте добры довезти нас до зеленой дачи, что у реки, по ту сторону леса. Знаете, где это?

— Почему же, — говорю, — мне не знать? В Бойберике я как у себя дома. Было бы у меня столько тысяч, сколько бревен я туда доставил. Вот только прошлым летом я привез на зеленую дачу две сажени дров сразу. Дачу снимал какой-то богач из Егупца, миллионщик, — у него, наверное, сто, а может быть, и все двести тысяч!

— Он и сейчас ее снимает, — отвечают обе женщины, а сами переглядываются и шепчутся, чему-то усмехаясь.

— Позвольте, — говорю я, — уж ежели стряслась такая история, то, может статься, что вы к этому богачу имеете кое-какое касательство... А если так, то, может быть, вы будете добры замолвить за меня словечко, похлопотать? Не найдется ли, чего доброго, для меня дело какое-нибудь, должность, мало ли что? Вот я знаю одного молодого человека, неподалеку от нашего местечка, звать его Исроел... Был никудышный парень. Однако пробился каким-то путем к богачу, а сейчас он важная шишка, зарабатывает

чуть ли не двадцать рублей в неделю, а может быть, и сорок!.. Кто его знает? Везет людям!.. Или вот, скажем, чего не хватает зятю нашего резника? Что было бы с ним, если бы он не уехал в Егупец? Правда, вначале он немало горя хлебнул, несколько лет мучился, чуть с голоду не помер. Зато сейчас — дай бог мне не хуже — домой деньги присылает. Он даже хотел бы взять туда жену и детей, да беда в том, что им там жить не разрешается. Спрашивается, как же сам он там живет? Очень просто — мучается... Однако, — говорю, — погодите-ка! Всему конец приходит: вот вам река, а вот и большая дача...

И лихо подкатил — дышлом в самое крыльцо. Увидели нас — и пошло тут веселье, крики, возгласы: «Ой, бабушка! Мама! Тетя! Отыскалась пропажа! Поздравляем! Боже мой, где вы были? Мы здесь голову потеряли... Разослали на поиски по всем дорогам... Думали — мало ли что? Волки... Разбойники, упаси боже... Что случилось?»

— Случилась интересная история: заблудились в лесу, ушли бог весть куда, верст за десять... Вдруг — человек... Что за человек? Да так, какой-то горемыка с лошадкой... С трудом упросили его...

— Фу ты господи, страсти какие! Одни, без провожатого! Скажите на милость! Бога благодарить надо...

В общем, вынесли на веранду лампы, накрыли на стол и начали таскать горячие самовары, чай на подносах, сахар, варенье, яичницы, сдобные булочки, свежие, пахучие, потом блюда всякие — бульоны жирные, жаркое, гусятину, наилучшие вина, настойки... Стою это я в сторонке и смотрю, как едят и пьют егупецкие богачи, сохрани их господи от дурного глаза! «Последнюю рубаху заложить, — подумал я, — только бы богачом быть!» Верите ли, мне кажется, того, что здесь со стола на пол падает, хватило бы моим детям на всю неделю, до субботы. Господи боже милосердый! Ведь ты же великий, всемилостивый и справедливый! Какой же это порядок, что одному ты даешь все, а другому — ничего? Одному — сдобные булочки, а другому — казни египетские! Однако, с другой стороны, — думаю я, — ты все-таки очень глуп, Тевье!

Что это значит? Ты берешься указывать богу, как миром управлять? Уж если ему так угодно, значит, так и быть должно. Потому что если бы должно было быть иначе, то и было бы иначе. А на вопрос, почему бы и в самом деле не быть по-иному, есть один только ответ: «Рабами были мы» — ничего не попишешь! На то мы и евреи на белом свете. А еврей должен жить верой и надеждой: верить в бога и надеяться на то, что со временем, если будет на то воля божья, все переменится к лучшему...»

— Позвольте, а где же этот человек? — спросил кто-то. — Уже уехал, чудак эдакий?

— Упаси боже! — отозвался я. — Как же это я уеду, не попрощавшись? Здравствуйте, добрый вечер! Благослови господь сидящих за столом! Приятного вам аппетита! Кушайте на здоровье!

— Подите-ка сюда, — говорят они мне. — Чего вы там стоите в темноте? Давайте хоть посмотрим, какой вы из себя! Может быть, рюмочку водки выпьете?

— Рюмочку водки? С удовольствием! — отвечаю. — Кто же отказывается от рюмочки! Как в писании сказано: «Кому за здравие, а кому за упокой». А толковать это следует так: вино — вином, а бог своим чередом... Лехаим! — говорю и опрокидываю рюмку. — Дай вам бог всегда быть богатыми и счастливыми! И чтобы евреи оставались евреями. И пусть господь бог даст им здоровья и силы переносить все беды и горести!

— Как вас звать? — обращается ко мне сам хозяин, благообразный такой человек в ермолке. — Откуда будете? Где место вашего жительства? Чем изволите заниматься? Женаты? А дети у вас есть? Много ли?

— Дети? — отвечаю. — Грех жаловаться. Если каждое дитя, как уверяет меня моя Голда, миллиона стоит, то я богаче любого богача в Егупце. Беда только, что нищета — богатству не чета, а кривой прямому не сродни... Как в писании сказано: «Отделяющий праздник от будних дней», — у кого денежки, тому и жить веселей. Да вот деньги-то у Бродского, а у меня — дочери. А дочери, знаете, большая утеха,—

с ними не до смеха! Но — ничего! Все мы под богом ходим, то есть он сидит себе наверху, а мы мучаемся внизу. Трудимся, бревна таскаем, — что ж поделаешь? Как в наших священных книгах говорится: «На безрыбье и рак рыба...» Главная беда — это еда! Моя бабушка, царство ей небесное, говаривала: «Кабы утроба есть не просила, голова бы в золоте ходила...» Уж вы меня простите, если лишнее сболтнул... Нет ничего прямее кривой лестницы и ничего тупее острого словца, особливо, когда хватишь рюмочку на пустой желудок...

— Дайте человеку покушать! — сказал богач.

И сразу же на столе появилось — чего хочешь, того просишь: рыба, мясо, жаркое, курятина, пупочки, печенка...

— Закусите чего-нибудь? — спрашивают меня. — Мойте руки.

— Больного, — отвечаю, — спрашивают, а здоровому дают. Однако благодарю вас! Рюмку водки — это еще куда ни шло, но усесться за стол и пировать в то время, как там, дома, жена и дети, дай им бог здоровья. Уж если будет на то ваша добрая воля...

Словом, очевидно поняли, на что я намекаю, и стали таскать в мою телегу — кто булку, кто рыбу, кто жареное мясо, кто курятину, кто чай и сахар, кто горшок смальца, кто банку варенья...

— Это, — говорят они, —вы отвезете домой в подарок жене и детям. А сейчас разрешите узнать, сколько прикажете заплатить вам за труды?

— Помилуйте, — отвечаю, — что значит я прикажу? Уж это как ваша добрая воля... Поладим авось... Как это говорится, — червонцем меньше, червонцем больше... Нищий беднее не станет...

— Нет! — не соглашаются они. — Мы хотим от вас самих услышать, реб Тевье! Не бойтесь! Вам за это, упаси господи, головы не снимут.

«Как быть? — думаю. — Скверно: сказать целковый, — обидно, а вдруг можно два получить. Сказать два, — боязно: посмотрят, как на сумасшедшего, за что тут два рубля?»

— Трешницу!.. — сорвалось у меня с языка, и все так расхохотались, что я чуть сквозь землю не провалился.

— Не взыщите! — говорю я. — Быть может, я не то сказал. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается, а уж человек с одним языком и подавно...

А те еще пуще смеются. Прямо за животики хватаются.

— Довольно смеяться! — сказал хозяин и, достав из бокового кармана большой бумажник, вытащил оттуда — сколько бы вы подумали к примеру? А ну, угадайте! Десятку! Красненькую, огненную, — чтоб я так здоров был вместе с вами! — и говорит: — Это вам от меня, а вы, дети, дайте из своих, сколько найдете нужным...

Словом, что тут говорить! Полетели на стол пятерки, и трешницы, и рублевки — у меня руки и ноги дрожали, думал — не выдержу, в обморок упаду.

— Ну, чего же вы стоите? — обращается ко мне богач. — Заберите ваши деньги и езжайте с богом к жене и детям.

— Воздай вам бог сторицею! — говорю. — Пусть у вас будет в десять, в сто раз больше! Всего вам хорошего и много-много радости!

И стал обеими руками сгребать деньги и, не считая, — где тут считать! — совать бумажки во все карманы.

— Спокойной вам ночи! — говорю. — Будьте здоровы и дай бог счастья вам, и детям вашим, и детям детей ваших, и всему вашему роду!

Направляюсь к телеге. Но тут подходит ко мне жена богача, та, что в шелковом платке, и говорит:

— Погодите-ка, реб Тевье. От меня вы получите особый подарок. Приезжайте, с божьей помощью, завтра. Есть у меня бурая корова. В свое время была корова хоть куда, двадцать четыре кружки молока давала. Да вот сглазили ее, и она перестала доиться... То есть она доится... То есть она доится — но молока не дает...

— Дай вам бог долголетья! — отвечаю. — Можете не беспокоиться! У меня ваша корова будет и доиться

и молоко давать. У меня старуха большая мастерица: из ничего лапшу крошит, из пяти пальцев затирку варит, чудом субботу справляет и колотушками ребят укладывает... Извините, — говорю, — если лишнее сболтнул. Спокойной вам ночи, всего хорошего и будьте мне всегда здоровы и счастливы!

Вышел во двор к своему возу, хватился лошаденки, — нет лошаденки! Ах ты, горе мое горькое! Гляжу во все стороны, — вот ведь беда! — нету, и все тут!

«Ну, Тевье, думаю, попал ты в переплет!» И приходит мне на память история, которую я вычитал как-то в книжке, о том, как нечистая сила заманила набожного человека в какой-то дворец за городом, накормила, напоила его, а потом оставила его с глазу на глаз с какой-то женщиной. А женщина эта обернулась диким зверем, зверь — кошкой, а кошка — чудовищем... «Смотри-ка, Тевье! — говорю я себе. — А не водят ли тебя за нос?»

— Что это вы там копошитесь? Чего ворчите? — спрашивают меня.

— Копошусь...— говорю я. — Горе мне и всей моей жизни! Беда со мной приключилась: лошаденка моя...

— Лошадка ваша в конюшне, — отвечают мне. — Потрудитесь зайти на конюшню!

Захожу, смотрю: и правда, честное слово! Стоит, понимаете ли, моя молодица среди господских лошадей и с головой ушла в еду: жует овес на чем свет стоит, аж за ушами трещит!

— Слышь ты! — говорю я ей. — Умница моя, домой пора! Сразу набрасываться тоже нельзя! Лишний кус, говорят, впрок нейдет...

В общем, еле упросил ее, запряг, и поехали мы домой, довольные и веселые. Я даже молитву праздничную запел. А лошаденку и не узнать, будто в новой шкуре. Бежит, кнута не дожидаясь. Приехал я домой уже поздненько, разбудил жену.

— С праздником, — говорю, — поздравляю тебя, Голда!

— Что еще за поздравления? — рассердилась жена. — С какой такой радости? С чего это на тебя такое веселье нашло, кормилец мой хваленый? Со свадьбы,

что ли, приехал или с рождения, добытчик мой золотой?

— Тут тебе все вместе — и свадьба и рождение! Погоди, жена, сейчас увидишь клад! — говорю я.— Но прежде всего разбуди детей, пусть и они, бедняги, отведают егупецких разносолов...

— То ли ты сдурел, то ли спятил, то ли рехнулся, то ли с ума сошел? Говоришь, как помешанный, прости господи! — отвечает мне жена и ругается, осыпает меня проклятьями, как полагается женщине.

— Баба, — говорю я, — бабой и останется! Недаром Соломон-мудрый говорил, что среди тысячи жен он ни одной путной не нашел. Хорошо еще, что нынче вышло из моды иметь много жен...

Вышел я, достал из телеги все, что мне надавали, и расставил на столе. Моя команда, как увидела булки, как почуяла мясо,— налетели, горемычные, словно голодные волки. Хватают, руки дрожат, зубы работают... Как в писании сказано: «И вкушали...» А значит это — набросились, как саранча! У меня даже слезы на глаза навернулись...

— Ну, рассказывай, — обращается ко мне жена, — у кого это была трапеза для нищих или пир какой?.. И чему ты так радуешься?

— Погоди, — говорю, — Голда, все узнаешь. Ты взбодри самоварчик, усядемся все за стол, выпьем по стаканчику чаю, как полагается. Человек живет на свете всего только один раз, не два. Тем более сейчас, когда у нас есть своя корова на двадцать четыре кружки в день, — завтра, бог даст, приведу ее. А ну-ка, Голда, — говорю я и достаю из всех карманов ассигнации. — А ну-ка, попробуй угадай, сколько у нас денег?

Посмотрел я на свою жену, — стоит бледная как смерть и слова вымолвить не может.

— Бог с тобой, Голда-сердце, — говорю я, — чего ты испугалась? Уж не думаешь ли ты, что я украл или награбил эти деньги? Фи, постыдись! Ты столько времени жена мне. Неужели ты могла подумать обо мне такое? Глупенькая, это деньги, честно заработанные, добытые собственным моим умом и трудами.

Я спас, — говорю, — двух человек от большой опасности. Если бы не я, бог знает, что было бы с ними!

Словом, рассказал я всю историю от начала до конца, и принялись мы вдвоем считать и пересчитывать еще и еще раз наши деньги. Там оказалось ровным счетом дважды по восемнадцать * и один лишний, а в общем вы имеете не больше и не меньше, как тридцать семь рублей!..

Жена даже расплакалась.

— Чего же ты плачешь, глупая женщина?

— А как же мне не плакать, — отвечает она, — когда плачется? Сердце переполнено, и глаза — через край. Вот тебе бог, — говорит, — предчувствовала я, что ты приедешь с доброй вестью. Уж я и не припомню того времени, когда бабушка Цейтл, мир праху ее, мне во сне являлась. Сплю это я, и вдруг снится мне подойник, полный до краев. Бабушка Цейтл, царство ей небесное, несет подойник, прикрывая его фартуком от дурного глаза, а ребята кричат: «Мама, мони!»

— Ты погоди, душа моя, торопиться, не забегай вперед! — говорю я. — Пусть твоя бабушка Цейтл блаженствует в раю, а будет ли нам от нее какая-нибудь польза, не знаю. Но если господь бог мог совершить такое чудо, чтобы мы имели корову, так уж, наверное, он постарается, чтобы корова эта была коровой. Ты лучше посоветуй мне, Голда-сердце, что делать с деньгами?

— Лучше скажи мне ты, Тевье, что ты собираешься делать с такими деньгами?

— Нет, — говорю я, — ты, ты скажи, как ты считаешь, что мы можем сделать с таким капиталом?

И стали мы думать, прикидывать и так и эдак, долго ломали себе голову, перебирали все промысла на свете. И чем только мы в эту ночь не промышляли! Покупали пару лошадей и тут же их перепродавали с большой прибылью; открывали бакалейную лавочку в Бойберике, наскоро распродавали весь товар и тут же открывали мануфактурную торговлю; покупали лесной участок, с тем чтобы получить за него отступ-

ные и уехать; пытались взять в откуп коробочный сбор * в Анатовке; собирались давать деньги в рост...

— С ума сошел! — рассердилась жена. — Хочешь растранжирить деньги и остаться при одном кнутовище?

— А ты думаешь, торговать хлебом и потом обанкротиться лучше? Мало ли народу, — говорю,— нынче разорилось на пшенице? Поди послушай, что творится в Одессе!

— Сдалась мне твоя Одесса! — отвечает она. — Мои деды и прадеды не бывали там, и дети мои тоже не будут, покуда я жива и на ногах держусь.

— Чего же ты хочешь? — спрашиваю я.

— Чего мне хотеть? — говорит она. — Я хочу, чтобы ты не был дураком и не говорил глупостей.

— Ну, конечно! — отвечаю я. — Теперь ты умная... У кого сто рублей, тот всех умней! Богатство еще только на примете, а уж умней его и нет на свете!.. Всегда так бывает!

Словом, мы несколько раз ссорились, тут же мирились и порешили, наконец, к обещанной мне бурой корове прикупить еще одну, дойную, которая дает молоко...

Вы, конечно, спросите: почему корову, почему не лошадь? На это я могу ответить: а почему лошадь? Почему не корову? Бойберик, понимаете, — такое место, куда летом съезжаются все егупецкие богачи, а так как егупецкие богачи с детства приучены, чтобы им прямо ко рту подносили и мясо, и яйца, и кур, и лук, и перец, и всякую всячину, — почему же кому-нибудь не взяться доставлять им к столу сыр, сметану, масло и тому подобное? Покушать егупчане любят, а деньги для них — трын-трава, значит, можно и товар легко сбыть и заработать неплохо. Главное, чтоб товар был хорош. А такого товара, как у меня, вы и в Егупце не сыщете. Дай боже, мне вместе с вами столько счастья, сколько раз очень почтенные господа, даже христиане, упрашивали меня привозить им свежий товар:

«Мы, — говорят они, — слыхали, что ты, Тевье, человек честный, хоть и нехристь...» Думаете, от своих

дождешься такого комплимента? Как бы не так! Доброго слова от них не услышишь. Они только и знают — совать нос, куда не следует. Увидали у Тевье корову, тележку новую и начали ломать себе голову: откуда такое? А не торгует ли этот самый Тевье фальшивыми ассигнациями? А не варит ли он втихомолку спирт? «Ха-ха-ха! Ломайте себе головы, думаю, на здоровье!» Поверите ли, вы чуть ли не первый человек, которому я рассказал подробно всю эту историю...

Однако мне кажется, я заболтался. Не взыщите! Надо о деле думать. Как в писании сказано: «Каждая ворона к своему роду», то есть каждый берись за свое дело. Вы — за свои книжки, а я — за горшки и крынки... Об одном только хочу попросить вас, пане Шолом-Алейхем, — чтобы вы про меня в книжках не писали. А если напишете, то хоть имени моего не называйте.

Будьте здоровы и всего вам хорошего!

1895

ХИМЕРА

«Много дум у человека на сердце» — так, кажется, сказано в священном писании? Объяснять вам, реб Шолом-Алейхем, что это значит, как будто, нет нужды. Но есть у нас поговорка: «И резвому коню кнут нужен, и мудрому человеку совет требуется». О ком я это говорю? О себе самом. Ведь будь я умнее да зайди к доброму приятелю, расскажи ему все как есть, так, мол, и так, — я бы, конечно, не влип так нелепо! Однако «и жизнь и смерть от языка зависят», то есть, если бог захочет наказать человека, — он его и разума лишит. Уж я сколько раз думал про себя: «Посуди сам, Тевье, осел эдакий! Ведь ты, говорят, человек не глупый, — как же это ты дал себя вокруг пальца обвести? Да еще так подурацки? Чего бы тебе не хватало, к примеру, сейчас, при нынешних твоих, хоть и небольших, заработках? Ведь твой молочный товар славится везде и всюду — и в Бойберике, и в Егупце, и где угодно... Как хорошо и радостно было бы, если бы твои денежки лежали себе тихонько в сундуке, на самом донышке, и чтобы ни одна душа об этом не знала? Потому что кому, скажите на милость, какое дело, есть у Тевье деньги или нет их? В самом деле! Очень, что ли, интересовались этим самым Тевье, когда он в пыли и прахе валялся, горе мыкал, когда он

с женой и детьми трижды в день с голоду помирал? Ведь это только потом, когда господь бог, обратив око свое к Тевье, вдруг осчастливил его, и Тевье стал кое-как приходить в себя и приберегать целковый-другой про черный день, о нем везде и всюду заговорили, и он сделался уже «реб Тевье» — шутка ли! И друзей тут объявилось — не счесть! Как в писании сказано: «И все любимые, и все ясные», в общем: «Даст господь ложкой, так и люди — ушатом...» Каждый со своим советом лезет: один предлагает мануфактурную лавку, другой — бакалейную, один предлагает дом, второй — имение, третий — лес, хлеб, торги...»

— Братцы! — взмолился я. — Отстаньте вы от меня! Вы жестоко ошибаетесь! Вы, поди, подумали, что я — Бродский? Иметь бы всем нам столько, сколько мне не хватает до трехсот, и даже до двухсот, и даже до полутораста рублей! На чужое добро, — говорю, — глаза разгораются. Каждому кажется, что у другого золото блестит, а подойдешь поближе — медная пуговица!

Короче говоря, сглазили-таки, — чтоб им ни дна ни покрышки! Послал мне господь родственничка... Да и то сказать: родственник — нашему забору двоюродный плетень. Менахем-Мендл звать его, — ветрогон, фантазер, путаник, — шут его знает! Взялся он за меня и заморочил голову химерами, небылицами, мыльными пузырями. Вы, пожалуй, спросите, — как же так? Как я, Тевье, попал к Менахем-Мендлу? На это я вам отвечу: так, видно, суждено. Вот послушайте.

Приехал я как-то в начале зимы в Егупец, привез немного товара — фунтов двадцать с лишним свежего масла, — да какого масла! — пару изрядных мешочков творога, — золото, а не товар! дай нам бог обоим такую жизнь! Ну, сами понимаете, товар у меня тут же расхватали, ни крошки не оставили. Я даже не успел побывать у всех моих летних покупателей, бойберикских дачников, ожидающих меня, как мессию... Да и что удивительного? Разве могут егупецкие торговцы, — хоть лопни они! — давать

такой товар, как Тевье дает? Вам-то мне нечего рассказывать. Как у пророка сказано: «Да будешь чужими хвалим», — хороший товар сам себя хвалит...

Словом, расторговался я вчистую, подбросил лошаденке сенца и пошел бродить по городу. «Человек из праха создан», — все мы люди, все мы человеки, хочется на мир божий поглазеть, воздухом подышать, полюбоваться на чудеса, что выставляет Егупец напоказ в окнах магазинов, будто говоря: смотреть — смотри, сколько душе угодно, а руками трогать — не моги! И вот стою это я у большого окна, за которым разложены полуимпериалы, серебряные целковики, банковые билеты и просто ассигнации, гляжу и думаю: «Господи боже мой! Иметь бы мне хоть десятую долю того, что здесь лежит, — чего бы мне еще тогда желать? И кто бы мог со мной сравняться? Перво-наперво, выдал бы я старшую дочь, дал бы за ней пятьсот рубликов приданого, не считая подарков, одежи и свадебных расходов; конягу с тележкой и коров продал бы, переехал бы в город, купил бы себе постоянное место в синагоге у восточной стены, жене — дай ей бог здоровья! — нитку-другую жемчуга, раздавал бы пожертвования, как самый зажиточный хозяин; синагогу покрыл бы железом, чтоб не стояла, как сейчас, без крыши — вот-вот провалится; устроил бы какую ни на есть школу для ребят, соорудил бы больницу для бедных, как во всех порядочных городах, чтобы бедняки не валялись в синагоге на голом полу; выставил бы наглеца Янкла из погребального братства, — хватит ему водку пить и пупками да печенками закусывать на общественный счет!..»

— Мир вам, реб Тевье! — слышу я вдруг позади себя. — Как живете?

Оборачиваюсь, смотрю, — готов поклясться, что знакомый!

— Здравствуйте, — отвечаю. — Откуда будете?

— Откуда? Из Касриловки. Родственник ваш, — говорит он. — Правда, не так, чтобы очень близкий: ваша жена Голда приходится мне кровной четвероюродной сестрой.

— Позвольте-ка, — говорю я. — Так вы, может быть, зять Борух-Герша, мужа Лея-Двоси?

— Вроде угадали! — отвечает он. — Я зять Лея-Двосиного Борух-Герша, а жену мою зовут Шейне-Шейндл, дочь Лея-Двосиного Борух-Герша! Теперь вам ясно?

— Погодите-ка, — говорю я. — Бабушка вашей тещи, Соре-Ента, и тетка моей жены, Фруме-Злата, были как будто бы чуть ли не кровными двоюродными сестрами, а вы, если не ошибаюсь, женаты на средней дочери Борух-Герша, мужа Лея-Двоси. Но дело в том, что я забыл, как вас зовут, вылетело у меня из головы ваше имя. Как же вас зовут по-настоящему?

— Меня, — отвечает он, — зовут Менахем-Мендл, зять Лея-Двосиного Борух-Герша, — так зовут меня дома, в Касриловке.

— В таком случае, дорогой мой Менахем-Мендл, — говорю я ему, — тебе особая честь! Скажи же мне, дорогой Менахем-Мендл, что ты здесь поделываешь, как поживают твои теща и тесть? Как твои дела, как здоровье?

— Эх! — отвечает он. — На здоровье, слава богу, не жалуемся, живем помаленьку. А вот дела нынче что-то невеселые.

— Авось бог милостив! — говорю я и поглядываю на его одежду: потрепана сильно, а сапоги, извините, каши просят... — Ну, ничего! Господь поможет. Поправятся, надо думать, дела. Знаешь, как сказано: «Все суета сует», — деньги — они круглые: нынче там, а завтра здесь, — был бы только человек жив! А главное — это надежда! Надо уповать. А что приходится горе мыкать, так ведь на то мы и евреи! Как говорится: «Ежели ты солдат, — нюхай порох!» А в общем, — говорю, — вся жизнь наша — сон... Ты скажи мне лучше, Менахем-Мендл-сердце, каким образом ты вдруг очутился в Егупце?

— Что значит «очутился»? — отвечает он. — Уж я здесь полегоньку да потихоньку года полтора...

— Ах, вот как! — говорю я. — Стало быть, ты здешний, егупецкий житель?

— Ш-ш-ш! — зашипел он, оглядываясь по сторонам. — Не говорите так громко, реб Тевье! Здешний-то я здешний, но это — между нами!..

Стою я и смотрю на него, как на полоумного.

— Ты что? — спрашиваю. — Беглец? Скрываешься в Егупце посреди базара?

— Не спрашивайте, — говорит он, — реб Тевье! Все это правильно. Вы, наверное, не знаете егупецких законов и порядков... Пойдемте, — предлагает он, — и я вам расскажу, что значит быть здешним и в то же время нездешним...

И стал он мне рассказывать целую историю о том, как здесь люди мытарствуют...

— Послушай меня, Менахем-Мендл! — говорю я. — Съезди ко мне в деревню на денек. Отдохнешь, кости разомнешь. Гостем будешь и желанным! Старуха моя так тебе обрадуется!

В общем, уговорил: едем. Приехали домой — радость! Гость! Да еще какой! Кровный четвероюродный брат! Шутка ли? Свое — не чужое! И пошли тары-бары: что слышно в Касриловке? Как поживает дядя Борух-Герш? Что поделывает тетя Лея-Двося? А дядя — Иосл-Менаше? А тетя Добриш? А дети их как поживают? Кто умер? Кто женился? Кто развелся? У кого кто родился и у кого жена на сносях?

— Ну, что тебе, — говорю я, — жена моя, до чужих свадеб и рождений? Ты позаботься лучше, чтоб перекусить было чего. «Всяк алчущий да приидет...» Какая там пляска, коли в брюхе тряска? Ежели есть борщ, — прекрасно, а нет борща, так и пироги сгодятся, или вареники, галушки, а то и блинчики, лазанки, вертуты... Словом, пускай будет блюдом больше, лишь бы скорее!

Короче говоря, помыли руки и славно закусили, как положено.

— Кушай, Менахем-Мендл, — говорю я, — ибо «все суета сует», как сказал царь Давид*, нет на свете правды, одна фальшь. А здоровье, — говорила моя бабушка Нехама — царствие ей небесное, умная была женщина! — здоровье и удовольствие в тарелке ищи...

Гость мой, — у него, у бедняги, даже руки тряслись, — на все лады расхваливал мастерство моей жены и клялся, что он уж и времени того не помнит, когда ему доводилось есть такие чудесные молочные блюда, такие вкусные пироги и вертуты!

— Глупости! — говорю я. — Попробовал бы ты ее запеканку или лапшевник — вот тогда бы почувствовал, что такое рай на земле!

Ну вот, покушали, молитву прочитали и разговорились каждый о своем, как водится: я о своих делах, он о своих. Я — о том о сем, пятое — десятое, а он — об Одессе, о Егупце, о том, что он уже раз десять бывал «и на коне и под конем», нынче богач, завтра — нищий, потом снова при деньгах и опять бедняк... Занимался такими делами, о которых я сроду и не слыхивал, дикими какими-то, несуразными: «гос» и «бес», «акции-шмакции». «Потивилов», «Мальцев-Шмальцев» — бог его ведает! А счет ведется прямо-таки сумасшедший — десять тысяч, двадцать тысяч... Деньги — что щепки!

— Скажу тебе по правде, Менахем-Мендл, — говорю я ему, — то, что ты рассказываешь о своих диковинных делах, — это, конечно, ловкости требует, уметь надо... Но одно мне не совсем понятно: насколько я знаю твою супружницу, меня очень удивляет, что она позволяет тебе эдак носиться и не приезжает к тебе верхом на метле...

— Эх, — отвечает он со вздохом. — Об этом, реб Тевье, лучше не напоминайте мне... Достается мне от нее и так... И в жар и в холод бросает... Послушали бы вы, что она мне пишет, — вы бы сами сказали, что я праведник! Но все это мелочь, на то она и жена, чтобы в гроб вгонять. Есть, — говорит, — кое-что похуже. Имеется у меня еще и теща. Рассказывать вам о ней мне не к чему, — вы сами ее знаете!

— В общем, — говорю я, — у тебя, как сказано: «И пятнистые, и пегие, и пестрые...» Болячка на болячке, а поверх болячки — волдырь!

— Совершенно верно, реб Тевье! Это вы очень правильно сказали. Болячка — болячкой, но волдырь, — отвечает он, — хуже всякой болячки!

Словом, проболтали мы таким манером до поздней ночи. У меня даже голова закружилась от всех этих историй и сумасшедших дел, от этих тысяч, которые то взлетают кверху, то свергаются вниз, от сказочных богатств Бродского... Всю ночь потом мерещились мне Егупец, полуимпериалы, Бродский, Менахем-Мендл со своей тещей... И только на следующее утро он наконец выложил все начистоту. В чем дело?

— Так как, — говорит он, — у нас в Егупце сейчас деньги, можно сказать, на вес золота, а товар полетел вниз, то вы, реб Тевье, могли бы в настоящее время отхватить порядочный куш, а меня вы бы очень поддержали, прямо-таки из мертвых воскресили бы!

— Рассуждаешь ты, как мальчик! — отвечаю я. — Думаешь, у меня егупецкие деньжищи, полуимпериалы? Глупенький! Дай бог нам с тобою в компании заработать до пасхи столько, на сколько я не дотянул до Бродского!

— Конечно, — говорит он, — я и сам понимаю... Но вы думаете, что для этого нужны большие деньги? Дайте мне, — говорит, — одну сотню, и в течение трех-четырех дней я сделаю вам из нее двести, триста, шестьсот, семьсот, — а почему бы и не всю тысячу?..

— Очень, — отвечаю я, — может случиться так, как в писании сказано: «Барыш под рукой, да карман — за рекой...» Все это хорошо, когда есть чем рисковать. А как же быть, если и сотни нет? Вот и получается: «Пришедший в одиночку, в одиночку и изыде», — иначе говоря: хворобу вложил, — лихоманку достал!..

— Бросьте! — говорит он. — Сотня у вас еще найдется, реб Тевье! При ваших заработках, при вашем добром имени, не сглазить бы...

— А что толку, — отвечаю я, — от моего имени? Имя, конечно, вещь хорошая, да беда в том, что я так при имени своем и остаюсь, а денежки-то все-таки у Бродского... Если хочешь знать в точности, то у меня всего-навсего едва ли сотня наберется. Да и

ею надо тысячу дыр заткнуть: во-первых, дочь замуж выдать...

— Об этом и разговор! — перебил он меня. — Когда еще, реб Тевье, вам такой случай подвернется: вложить в дело одну только сотню, а получить, с божьей помощью, столько, чтобы хватило и на выданье дочерей и еще кое на что?

И снова пошла канитель на битых три часа. Он стал объяснять мне, как из одного рубля делают три, а из трех — десять. Перво-наперво, говорит он, вносят сотню и велят купить десять штук, — уж я и забыл, как это называется, — потом выжидают несколько дней, пока это самое не поднимется в цене... Тогда дают куда-то такое телеграмму и велят продать это, а на вырученные деньги купить вдвое больше... Потом это снова повышается в цене, и снова посылают телеграмму, и так до тех пор, пока сотня не превратится в две, две — в четыре, четыре — в восемь, а восемь — в шестнадцать. Чудеса да и только! Видел он, говорит, в Егупце таких, что совсем еще недавно без сапог ходили, были маклерами, лакеями на побегушках... А сейчас у них собственные дома, палаты каменные, жены у них с желудками возятся, за границу лечиться ездят... А сами они носятся по Егупцу на резиновых шинах — фу-ты, ну-ты! — и людей не узнают!

Словом, о чем тут долго говорить! Разобрало меня не на шутку! Чего, думаю, на свете не бывает! А вдруг сама судьба послала его мне? Ведь вот, слышу я, люди в Егупце при помощи пяти пальцев богатеют! Чем я хуже их? Менахем-Мендл как будто бы не лгун, не из головы же он выдумывает такие чудеса! А вдруг, думаю, и в самом деле повернет, как говорят, направо, и Тевье на старости лет в люди выбьется? И правда, до каких пор маяться, из сил выбиваться? День и ночь только и знаешь: коняга да телега, сыр да масло... Пора, говорю, тебе, Тевье, отдохнуть, зажить по-человечески, не хуже других, в синагогу почаще заглядывать, за священной книгой посидеть... Да, но что если, неровен час, все это обернется другой стороной, упадет,

так сказать, маслом вниз? Но, опять-таки, почему же мне не надеяться, что все будет хорошо?

— А? Что ты скажешь? — обращаюсь я к своей старухе. — Как тебе, Голда, нравится его план?

— Что я могу сказать? — отвечает она. — Я знаю, что Менахем-Мендл — не первый встречный, обманывать он тебя не станет. Он, упаси бог, не из портных и не из сапожников! У него очень порядочный отец, а дед был и вовсе святой жизни человек: день и ночь, уже будучи слепым, сидел над книгами. А бабушка Цейтл, — да будет ей земля пухом, — тоже была женщина не из простых...

— Пошла болтать ни к селу ни к городу, — говорю я. — Тут о деле разговор, а она — со своей бабушкой Цейтл, которая пряники пекла да со своим дедом, у которого за рюмкой душа ушла в рай... Баба бабой остается! Недаром царь Соломон весь свет изъездил, и ни одной женщины с клепкой в голове не нашел...

Короче говоря, решено было составить компанию: я вношу деньги, Менахем-Мендл — сметку, а что бог даст, — пополам.

— Поверьте мне! — сказал Менахем-Мендл. — Я с вами, реб Тевье, рассчитаюсь, бог даст, честно, как самый добропорядочный человек, и вы, надеюсь, будете получать деньги, деньги и деньги!

— Аминь! — ответил я. — И вам того же. Из твоих бы уст да богу в уши! Однако непонятно мне одно: как коту Ваське речку переплыть? То есть, понимаешь... Я здесь, ты там... Деньги — ведь это, знаешь, материя деликатная... Уж ты не обижайся, я без задних мыслей. Помнишь, как у праотца Авраама * сказано: «Сеющий во слезах, с песнею пожнет...» То есть лучше наперед оговорить, нежели потом слезы проливать...

— Ах! — спохватился он. — Может быть, вы хотите расписку? Пожалуйста, с удовольствием!

— Погоди-ка, — сказал я. — Если подойти к этому делу с другой стороны, то ведь одно из двух: если ты захочешь меня зарезать, то чем уж тут расписка поможет? Как в талмуде сказано: «Не мышь

ворует, а нора...» Платит-то не вексель, а человек. Ну, что ж поделаешь? Повис на одной ноге, — буду висеть на обеих!

— Поверьте мне! — опять сказал он. — Честным своим именем клянусь вам, реб Тевье. Да поможет мне бог! Обманывать вас, реб Тевье, я не собираюсь, боже меня сохрани! У меня в мыслях лишь одно: честно, честно и благородно делиться с вами поровну, доля в долю, вам половина, мне половина: мне сто — вам сто, мне двести — вам двести, мне триста — вам триста, мне четыреста — вам четыреста, мне тысяча — вам тысяча...

В общем, достал я свои несколько рублей, трижды пересчитал, — руки у меня тряслись, — подозвал старуху свою в свидетели, еще раз объяснил Менахем-Мендлу, какие это кровные деньги, и отдал их ему, зашил в боковой карман, чтобы, упаси бог, в дороге не украли. Уговорились мы с ним, что не позднее будущей недели он напишет мне подробно обо всем, попрощались честь-честью, расцеловались сердечно, как полагается родственникам.

Уехал он, а меня, едва я остался один, стали одолевать всякого рода мысли, ну прямо сны наяву, — и все такие сладостные, что хотелось, чтобы они продолжались вечно, чтобы им конца не было. Представлялся мне большой дом в центре города, железом крытый, с сараями, чуланами, клетями и кладовыми, полными всякого добра. А хозяйка с ключами за поясом заглядывает во все углы: это моя жена Голда, но ее и узнать нельзя, право — совсем другое обличье! Богачиха, с двойным подбородком, с жемчугами на шее. Важничает и слуг ругает почем зря. Дети одеты по-праздничному, околачиваются без дела, палец о палец не ударяют. Двор кишмя кишит курами, гусями и утками. В доме у меня все сверкает, в печи огонь — готовится ужин, а самовар шипит, как злодей! Во главе стола сам хозяин, то есть Тевье, в халате и в ермолке, а вокруг самые уважаемые люди, и все лебезят перед ним: «Извините, реб Тевье!» «Не взыщите, реб Тевье!..» «Эх, —

думаю я, — денежки, черт бы вашего батьку с прабатькой взял!»

— Кого это ты ругаешь? — спрашивает меня Голда.

— Да никого! — отвечаю. — Так, размечтался... Мысли всякие, глупости, прошлогодний снег... Скажи-ка мне, Голда-сердце, ты не знаешь, чем это он торгует, твой родственник, Менахем-Мендл то есть?

— Вот те и здравствуй! — говорит она. — Все, что снилось мне в прошлую и позапрошлую ночь и за весь год, пусть обрушится на головы моих врагов! Просидел с человеком битые сутки, говорил, говорил... А потом спрашивает у меня, чем он торгует! Ведь вы же вместе какое-то дело затеяли!

— Да, — отвечаю я, — затеять-то затеяли, но что затеяли, убей меня, — не знаю! Не за что, понимаешь ли, ухватиться... Однако одно другого не касается, — беспокоиться тебе, жена моя, нечего: сердце мне предсказывает, что мы заработаем и как следует заработаем! Говори «аминь» и готовь ужин!

Между тем проходит неделя, другая и третья, — нет письма от моего компаньона! Я вне себя, голову теряю, не знаю, что и подумать! Не может быть, чтобы он просто забыл написать: он слишком хорошо знает, как мы тут дожидаемся весточки. Но тут же мелькает мысль: а что я с ним поделаю, если он, например, снимет себе все сливки, а мне скажет, что заработка никакого нет? Поди разберись! «Да не может этого быть! — говорю я сам себе. — Как же это так? Я обошелся с человеком, как с самым близким и родным, дай мне бог того, что я ему желаю! Неужели же он сыграет со мной такую штуку?» Однако тут же мелькает и другая мысль: что уж там о барышах говорить? Бог с ними — с барышами! Не до жиру — быть бы живу! Помог бы господь при своем остаться! Меня даже холодом обдало: «Старый дурень! — говорю я себе. — Держи карман пошире, ослиная твоя голова! За эти сто рублей можно было купить парочку лошадок, каких свет не видывал, и тележку обменять на рессорную бричку!..»

— Тевье, почему ты ни о чем не думаешь? — говорит жена.

— То есть как это, — говорю, — я не думаю? У меня голова от дум раскалывается, а она спрашивает, почему я не думаю!..

— Не иначе, — говорит она, — стряслось с ним что-нибудь в дороге. Либо разбойники на него напали и обобрали до нитки, либо, упаси бог, заболел он, либо, не приведи господь, умер!..

— Еще чего придумаешь, душа моя? — отвечаю я. — Разбойники ни с того ни с сего!

А сам, между прочим, думаю: мало ли что с человеком в дороге случиться может!

— Уж ты, — говорю я, — жена моя, всегда не к добру истолкуешь...

— У него, — отвечает жена, — вся семья такая: мать его, — да будет она заступницей за нас перед богом! — недавно умерла совсем еще молодой; были у него три сестры — царство им небесное! — и вот одна из них умерла еще в девицах, вторая, наоборот, успела выйти замуж, да простудилась как-то в бане и тоже умерла, а третья сразу же после первых родов сошла с ума, помучилась, помучилась и тоже богу душу отдала.

— Ну и что же? — говорю я. — Все мы, Голда, помрем. Человек подобен столяру: столяр живет, живет и умирает, и человек — тоже...

Словом, порешили мы, что я съезжу в Егупец. Тем временем товару немного накопилось — сыр, масло, сметана. Товар — первый сорт! Запряг я лошадку и — «покинули Сукот», то есть — марш в Егупец! Еду я, а на душе у меня, можете себе представить, невесело, тоскливо: один в лесу, фантазия разыгралась и полезли в голову всякие мысли.

Вот интересно-то будет, думаю я: приезжаю, начинаю расспрашивать о своем молодчике, а мне и говорят: «Менахем-Мендл? Те-те-те! Здорово оперился! К нему теперь не подступись! Собственный дом! В каретах разъезжает! Не узнать его!» И вот, — представляю я себе, — набрался я духу и прямо к нему домой. «Тпрру! — говорят мне и локтем в грудь. — Не суйтесь, дяденька, сюда соваться нечего!» — «Да я, говорю, свой, родственник!

Он — четвероюродный брат моей жены!» — «Поздравляем вас! — отвечают мне. — Очень приятно! Однако, говорят, можете и здесь у дверей подождать, ничего вам не сделается...» Догадываюсь, что надо задобрить привратника: не подмажешь, не поедешь... И поднимаюсь к нему самому. «Здравствуйте, говорю, реб Менахем-Мендл!» Но — куда там! Ни ответа ни привета. Даже не узнает! «Вам чего?» — спрашивает. Я чуть в обморок не падаю. «То есть как же это? — говорю я. — Родственника не узнаете? Меня звать Тевье». — «Как? — отвечает он. — Тевье? Припоминаю такое имя...» — «Серьезно? — говорю я. — Припоминаете? А не припомните ли, говорю, блинчики моей жены, ее пироги, галушки? Постарайтесь-ка припомнить...» Однако тут же представляется мне совсем другая картина: прихожу к Менахем-Мендлу, а он радушно и приветливо поднимается мне навстречу: «Гость! Какой гость! Присядьте, реб Тевье! Как живете? Как жена? Заждался я вас: рассчитаться пора!» — и насыпает мне полную шапку полуимпериалов. «Это, — говорит он, — барыши, а основной капитал остается в деле. Сколько бы мы ни заработали, будем делить все поровну, доля в долю: мне сто — вам сто, мне двести — вам двести, мне триста — вам триста, мне четыреста — вам четыреста...»

Задремал я, размышляя, и не заметил, как мой молодец свернул с дороги, зацепил колесом за дерево... Меня как стукнет сзади, — искры из глаз посыпались. «И то благо! — говорю я. — Спасибо, хоть ось не сломалась!»

Приехал я в Егупец, прежде всего распродал свой товар, справился, как всегда, быстро, без задержек, и пошел разыскивать своего компаньона. Брожу час, другой, третий, «а дитяти все нет» — что-то не видать его! Стал останавливать людей, расспрашивать:

— Не слыхали ли, не видали ли человека по имени Менахем-Мендл?

— Менахем-Мендл, — отвечают, — скушал крендель... Мало ли Менахем-Мендлов на белом свете?

— Вы, наверное, хотите знать его фамилию? Понятия не имею! Даже у него на родине, в Касриловке то есть, если вам угодно знать, его называют по имени тещи — Менахем-Мендл Лея-Двоси. Да чего уж больше, — тесть его, человек в летах, и тот зовется Борух-Герш Лея-Двоси. И даже сама она, Лея-Двося то есть, тоже зовется Лея-Двося, жена Борух-Герша Лея-Двосиного... Теперь вы понимаете?

— Понимать-то мы понимаем! — говорят они. — Но этого еще мало. Какая у него профессия, чем он занимается, ваш Менахем-Мендл?

— Чем занимается? — отвечаю. — Он здесь торгует полуимпериалами, каким-то «бес-мес», Потивилов, посылает телеграммы куда-то такое в Петербург и в Варшаву...

— А-а! — покатываются они со смеху. — Так уж не тот ли это Менахем-Мендл, который торгует прошлогодним снегом? Потрудитесь в таком случае перейти на ту сторону, — там их, этих зайцев, много бегает, и ваш среди них...

«Чем дольше живешь, тем больше жуешь, — думаю я. — Зайцы какие-то, прошлогодний снег?»

Перешел на другой тротуар, а там народу — ступа непротолченная, как на ярмарке! Теснота — не протолкнуться! Носятся как сумасшедшие, кто туда, кто сюда, друг на дружку наскакивают... Сутолока, ералаш, все говорят, кричат, размахивают руками: «Потивилов!», «Твердо, твердо!», «Ловлю вас на слове!», «Всучил задаток!», «Почешется!», «Мне куртаж причитается!», «Паршивец эдакий!», «Голову тебе размозжу!», «Плюнь ему в рожу!», «Смотри, пожалуйста, — зарезали!», «Тоже мне спекулянт!», «Банкрот!», «Лакей!», «Черта твоему батьке!»

Оплеухами пахнет! «И бежал Иаков», — сказал я себе. — Удирай, Тевье! Уноси ноги, не то и тебе влетит!.. Ну и ну, — думаю я. — Господь — отец, а Шмуел-Шмелькес его стряпчий, Егупец — город, а Менахем-Мендл — добытчик... Это вот здесь и ловят счастье за хвост? Полуимпериалы? И вот это у них называется заниматься делом? Горе тебе, Тевье, с твоими затеями!»

Остановился я возле большого окна, за которым выставлено множество брюк, и вдруг увидел в стекле отражение моего дорогого родственничка. У меня даже в груди оборвалось, когда я его увидел, чуть душа не выскочила. Врагам бы моим и вашим выглядеть так, как выглядел Менахем-Мендл! Где уж там пиджак! Какие там сапоги! А лицо! Господи, краше в гроб кладут! «Ну, Тевье, — подумал я. — Яко благ, яко наг, яко нет ничего! Пропала твоя головушка! Плакали твои денежки! Уже, как говорится, «ни медведей, ни леса» — ни товара, ни денег, — одни горести!»

Он, в свою очередь, тоже, видать, очень растерялся. Остановились мы оба как вкопанные, не в силах слово вымолвить, и только смотрим друг на друга, как петухи, будто желая сказать: «Оба мы с тобою обездолены! Остается нам обоим по суме надеть и по миру пойти!»

— Реб Тевье! — произнес он едва слышно, а слезы так и душат его. — Реб Тевье! Несчастливому, знаете, лучше и на свет не родиться! Нежели такая жизнь... Вешать, — говорит, — меня надо, четвертовать...

И больше ни слова вымолвить не может.

— Конечно, — сказал я, — тебя, Менахем-Мендл, за такое дело следовало бы разложить вот здесь, посреди Егупца, и всыпать тебе, не жалеючи, да так, чтобы ты свою бабушку Цейтл на том свете увидал! Подумай сам, что ты сделал? Взял да погубил целую семью, без ножа зарезал столько живых душ, несчастных, ни в чем не повинных людей? С чем, скажи, я вернусь теперь домой к своей жене и детям? Нет, скажи сам, душегуб эдакий, разбойник, злодей!

— Правда! — пробормотал он, прислонясь к стене. — Святая правда, реб Тевье! Честное слово...

— Ада, дурень эдакий, ада и того для тебя мало!

— Правда, реб Тевье! Все правда... Честное слово... Нежели такая жизнь, реб Тевье... Чем так жить... — повторил он и поник головой.

Стою я и гляжу на него, горемычного, смотрю, как он стоит, прислонившись к стене, понурив голову,

шапка на сторону, и каждый его вздох и стон надрывают мне сердце.

— Хотя, — говорю, — если подойти к этому делу с другой стороны, то ведь совершенно ясно, что ты, может быть, во всем этом нисколько не виноват. Если рассудить как следует, то одно из двух: думать, что ты это сделал по злобе, — глупо, — ты ведь был таким же компаньоном, как и я, заработок мы должны были поделить поровну. Я вложил деньги, ты — сметку. Горе мне! Ты, конечно, рассчитывал, как говорится, «на жизнь, а не на смерть». А если все это пошло прахом, — значит, не суждено. Как сказано: «Не хвастай днем грядущим», — человек предполагает, а бог располагает. Ведь вот возьми для примера мой промысел. Уж на что, казалось бы, верное дело? А между тем, когда суждено было, то прошлой осенью, — не про тебя будь сказано! — полегла у меня корова, которая по дешевке, на мясо, не меньше полусотни стоила, а следом за ней — красная телка, за которую я бы и двадцати рублей не взял... И ничего не попишешь, как ни мудри! Уж если не везет, так и трижды три — нос утри... Я даже спрашивать у тебя не стану, где мои деньги. Сам понимаю, где они торчат, кровные мои денежки, горе мое горькое! В бумажки вложены, в прошлогодний снег... А кто же виноват, как не я сам? Дал уговорить себя, легкого хлеба захотелось, шальных прибылей... Деньги, братец ты мой, надо зарабатывать тяжким трудом, потом и кровью добывать! Бить тебя, Тевье, надо, бить, сколько влезет! Но что теперь толку от моего крика? Как в писании сказано: «И возрыдала отроковица», — плачь, хоть надорвись! Разум и раскаяние — обе эти вещи всегда приходят слишком поздно. Не суждено Тевье богачом стать. Как в поговорке: «Не було у Микиты грошив и не буде!» Так, видать, судил господь. «Бог дал, бог и взял», а толковать это надо так: пойдем, — говорю, — братец, хватим по рюмочке!..

Так, пане Шолом-Алейхем, окончились все мои мечты химерой! И думаете, меня очень огорчало то, что я деньги потерял? Право же, нет! Ведь мы с вами знаем, что в писании сказано: «И серебро мое и злато

мое», — деньги — чепуха! Главное — человек, то есть, чтобы человек оставался человеком! Досадовал я только на то, что золотой мой сон кончился. Хотелось, ох, как хотелось, побыть богачом хоть минутку! Но тут уж ничего не попишешь! Сказано: «Не по своей воле живешь», — не по своей воле сапоги рвешь! Твое дело, Тевье, — говорит бог, — сыр и масло, а не пустые фантазии! Ну, а надежды? Это — само собой. Чем больше горестей, тем больше надежд, чем беднее, тем сильнее упование... Ибо...

Но мне кажется, я на сей раз немного заболтался. Пора ехать, делом заняться, как это говорится: у каждого свои болячки.

Будьте здоровы и всегда счастливы!

1899

НЫНЕШНИЕ ДЕТИ

Я это к тому, что вы говорите «нынешние дети»... «Растил я чад своих и пестовал...» Легко сказать — роди детей, мыкайся, жертвуй ради них собою, работай день и ночь... А ради чего? Все думаешь: авось так, авось эдак, — каждый по своему разумению и достатку. До Бродского мне, конечно, далеко, но и ставить себя ни во что я тоже не нанимался, потому что и сам я человек не из последних, и происходим мы, как жена, чтоб здорова была, говорит, — не от портных да не от сапожников... Вот я и рассчитывал, что дочери меня выручат. Почему? Во-первых, господь бог благословил меня красивыми дочерьми, а красивое лицо, как вы сами говорите, — половина приданого. А во-вторых, я и сам сейчас, с божьей помощью, не тот Тевье, что в былые времена, — могу добиться самого лучшего жениха, даже из Егупца, не так ли? Однако есть на свете бог, бог милосердия и сострадания, — вот он и являет мне чудеса свои, бросает меня и в жар и в холод, швыряет вверх и вниз. «Тевье, — говорит он, — выкинь дурь из головы, и пускай все на свете идет, как повелось!..» Вот послушайте, чего только не бывает. А с кем приключаются всякие истории? С таким счастливчиком, как Тевье, конечно.

Но зачем размазывать? Вы, надо полагать, не забыли, что случилось со мной недавно, — помните, конечно, историю с моим родственничком Менахем-Мендлом, — чтоб ему ни дна ни покрышки! — и наши блестящие дела с ним в Егупце с полуимпериалами и «потивиловскими» акциями? Всем моим врагам желаю таких дел! Как я тогда убивался! Думал, — конец приходит Тевье, конец молочному хозяйству!

— Дурень ты эдакий! — говорит мне однажды моя старуха. — Довольно горевать, этим делу не поможешь! Только изведешь себя. А если бы, скажем, разбойники на тебя напали и обобрали... Сходи-ка, — говорит, — лучше в Анатовку, к мяснику Лейзер-Волфу, ты ему, говорит он, очень нужен...

— В чем дело? Зачем я ему так срочно понадобился? Если, — говорю, — насчет нашей бурой коровы, то пускай он колом вышибет себе эту дурь из головы.

— А что такое? — отвечает жена. — Подумаешь, сколько молока, сколько сыра и масла дает тебе эта корова!

— Да не в том дело, — говорю я. — Просто так. Во-первых, как можно такую корову на убой отдавать? Жалость берет... У нас в священном писании сказано...

— Хватит тебе, Тевье! Весь мир, — говорит она, — знает, что ты большой знаток священного писания. Послушай меня, жену свою, сходи к Лейзер-Волфу. Каждый раз, по четвергам, когда наша Цейтл приходит к нему в лавку за мясом, он ей покою не дает: скажи, говорит, отцу, чтобы пришел, он мне очень нужен...

Словом, надо же когда-нибудь и жену послушать, не так ли? Дал я себя уговорить и прихожу к Лейзер-Волфу в Анатовку, верстах в трех от нас. И, конечно, не застаю его дома,

— Где он? — спрашиваю у какой-то курносой женщины, которая толчется в комнате.

— На бойне, — отвечает она. — С самого утра там быка режут. Скоро должен вернуться...

Брожу один по всему дому Лейзер-Волфа и начинаю разглядывать хозяйство. Дом, не сглазить бы, — полная чаша, дай бог всем моим друзьям не хуже: шкаф ломится от медной посуды — за полтораста целковых не купишь; самовар и еще один самовар, и поднос медный и еще один — варшавский, пара серебряных подсвечников, и бокалы, и рюмочки золоченые, и семисвечник литой, и много еще вещей, и всякой дребедени без конца! «Владыко небесный! — думаю я. — Видеть бы мне столько добра у моих детей, дай им бог здоровья! Ну и везет же этому мяснику! Мало того, что он так богат, — у него к тому же всего-навсего двое дочерей, да и те уже замужем, а сам вдовцом остался...»

Наконец господь смилостивился, отворяется дверь и входит Лейзер-Волф — сердитый, мечет громы и молнии на резника. Резник его погубил, забраковал, черт его возьми, здоровенного быка, — гора — не бык! — из-за пустяка признал его трефным, отыскал какой-то изъян на легком, величиной с булавочную головку, чтоб ему сквозь землю провалиться!

— Здравствуйте, реб Тевье! — говорит он. — Что это вас никак не дозовешься! Как живете, что поделываете?

— Да как вам сказать? — отвечаю я. — И дело как будто делаем, а все на месте стоим... Как в писании сказано: «Ни жала твоего, ни меда твоего», — ни тебе денег, ни здоровья, ни минуты спокойной.

— Грешите вы, реб Тевье, — говорит он. — В сравнении с тем, что было когда-то, вы сейчас, не сглазить бы, богач!

— Дай нам боже, — отвечаю, — обоим столько, сколько мне еще не хватает. Но я не ропщу, и на том спасибо! В талмуде, — говорю я, — сказано: «Аскакурдо демасканто декурносе дефарсмахто...»* — А сам думаю: чтоб ты так с носом был, живодер, как что-нибудь похожее где-нибудь сказано! И слов-то таких на свете нет...

— Вы, — говорит он, — вечно со своей ученостью. Хорошо вам, реб Тевье, что вы знаете толк в мелких буковках. Но к чему она, эта премудрость и ученость?

Давайте потолкуем лучше о нашем деле. Присядьте, реб Тевье. — И приказывает: — Чаю!

Тут же, как из-под земли, вырастает курносая, вихрем подхватывает самовар и — айда на кухню.

— Теперь, — говорит Лейзер-Волф, — когда мы одни, с глазу на глаз, можно и о деле поговорить. А дело, видите ли, вот в чем: я уже давно собирался потолковать с вами, реб Тевье, я вашей дочери уже несколько раз наказывал, просил, чтобы вы потрудились ко мне... Видите ли, мне приглянулась...

— Знаю, — перебил я, — кто вам приглянулся, да только понапрасну, зря стараетесь, не выйдет это дело, реб Лейзер-Волф, не выйдет.

— Почему так? — спрашивает он и смотрит на меня как будто испуганно.

— Потому, — говорю. — Я могу и подождать, мне не к спеху, река, что ли, загорелась?

— Зачем же ждать, когда можно сейчас же?

— Это, во-первых, — продолжаю я, — а во-вторых, попросту душа за нее болит, жаль живое создание...

— Скажите, пожалуйста! — говорит с усмешкой Лейзер-Волф. — Какие нежности при нашей бедности! Послушал бы кто со стороны, — мог бы подумать, что она у вас одна-единственная. Мне кажется, у вас, реб Тевье, их, не сглазить бы, — достаточно...

— Ну и пускай, — отвечаю, — живут на здоровье. А кто мне завидует, пусть сам не имеет...

— Завидует? — говорит он. — Причем тут зависть? Наоборот, именно потому, что все они у вас, не сглазить бы, такие удачные, я и хотел бы... Вы, конечно, меня понимаете? Не забывайте, реб Тевье, какая вам от этого будет выгода.

— Да, да, — отвечаю я, — от ваших благодеяний голова окаменеть может... Зимой снега не пожалеете... Это нам известно с давних пор...

— Ах! — говорит он медовым голосом. — Что вы сравниваете, реб Тевье, те времена с нынешними? Тогда было одно, а теперь совсем другое дело: сейчас мы ведь как-никак породниться собираемся, не правда ли?

— Как это породниться?

— Обыкновенно, — говорит он, — породниться.

— Позвольте, реб Лейзер-Волф, как вы думаете, о чем мы толкуем?

— А ну, скажите вы, реб Тевье, о чем у нас речь идет?

— Что значит? — говорю. — О бурой корове, которую вы хотите у меня купить.

— Ха-ха-ха! — закатывается он. — Ничего себе корова, да еще бурая! Ха-ха-ха!..

— А о ком же разговор, реб Лейзер-Волф? Скажите, я тоже посмеюсь.

— О дочери вашей, — отвечает он. — О вашей Цейтл говорим мы все время! Ведь вы же знаете, реб Тевье, что я, не про вас будь сказано, остался вдовцом. Вот я и подумал: к чему искать счастья на стороне, связываться со всякими сватами и свахами, с чертом и дьяволом? Ведь мы же оба на месте, я знаю вас, вы знаете меня, сама она мне тоже нравится, я ее вижу по четвергам у себя в лавке, пробовал как-то заговаривать с ней, — ничего, видать, тихая... А сам я, как вы знаете, человек зажиточный, не сглазить бы: свой дом, кладовок парочка, хозяйство, сами видите, — грех жаловаться; есть еще запасец шкур на чердаке и деньжата кой-какие в сундуке... К чему нам, реб Тевье, цыганские штуки, хитрить да ловчиться? Давайте ударим по рукам — раз, два, три и — готово! Понятно вам или нет?

Когда он мне все это выложил, я онемел, как человек, ошеломленный неожиданной вестью. Сразу, правда, мелькнула у меня мысль: Лейзер-Волф... Цейтл... У него уже дети такие, как она... Однако я тут же сам себе возразил: помилуй, такое счастье! Такое счастье! Ведь ей хорошо будет! Правда, у него не очень-то щедрая рука. Но ведь это по нынешним временам, наоборот, большое достоинство! Как говорится: «Ближе всего человеку он сам», — кто добр к людям, тот недобр к себе. Нехорошо, правда, что уж чересчур он простоват... Но ничего не поделаешь! Не всем же грамотеями быть! Мало ли в Анатовке, и в Мазеповке, и даже в Егупце богатых и весьма уважаемых людей, для которых слово печатное — потемки?

А все же, дай бог мне столько счастья, сколько почета им оказывают. Как в писании сказано: «Нет хлеба, нет и учения», то есть ученость — она в сундуке, а мудрость — в кармане...

— Ну, реб Тевье, — говорит он, — чего же вы молчите?

— А чего мне кричать? — отвечаю я, будто в нерешительности. — Это, реб Лейзер-Волф, понимаете ли, такое дело, которое нужно обмозговать как следует, со всех сторон. Это ведь не шуточки: первое дитя у меня.

— Вот именно, — говорит он, — именно потому, что первое дитя, не надо откладывать. Потом уж, с божьей помощью, вы сможете выдать вторую дочь, а там и третью. Понимаете?

— Аминь! — отвечаю. — И вам того же! Замуж выдать — не велика штука, дал бы только всевышний каждой своего суженого...

— Нет, — говорит он, — я не об этом, реб Тевье, я совсем о другом. Приданого я не прошу, а справить все, что девице требуется, это я беру на себя, да и вам, надо думать, кое-что перепадет...

— Фи! — отвечаю я. — Разговариваете вы со мной совсем, извините, как в мясной лавке. Что значит «перепадет»? Фи! Моя Цейтл, упаси бог, не такая, чтобы ее нужно было за деньги продавать. Фи! Фи!

— Ну что ж, — говорит он. — «Фи!» так «фи». Я, наоборот, хотел как можно лучше... Но раз вы говорите «фи», пусть будет «фи». Вам любо, так и мне хорошо. Главное, — поскорее бы, не откладывая, хозяйку, так сказать, в дом! Понимаете?

— За мной, — отвечаю, — остановки нет. Но ведь еще и со старухой надо переговорить. В таких делах — она указчица. Дело-то не шуточное, как в писании сказано: «Рахим оплакивает сынов своих», что означает: мать — превыше всего! Наконец и ее самое, Цейтл то есть, тоже не худо бы спросить... Как это говорится: всю родню на свадьбу отправили, а жениха дома оставили...

— Вздор! — отвечает он. — Спрашивать? Только сказать, реб Тевье! Надо приехать домой, сказать —

так, мол, и так, — и сразу под венец, раз, два, три и — магарыч!

— Не скажите, реб Лейзер-Волф, не скажите! Девица — это не вдова...

— Ну, конечно, — отвечает он. — Девица — это девица, а не вдова... Но потому-то и надо заранее обо всем условиться. Тут, понимаете, и платья, и то да се, и всякая дребедень... А пока, давайте, реб Тевье, пропустим по маленькой, или не надо?

— Почему же нет? — говорю я. — Одно другому не помеха. Как говорится: человек — человеком, а вино — вином. Есть у нас в талмуде такое изречение...

И пошел сыпать изречениями якобы из талмуда... Одно, другое, все, что на ум взбредет: стихи из «Песни песней», из «Сказания на пасху»...

Словом, хлебнули мы горькой влаги, выпили честь-честью, по завету божьему. Тем временем курносая притащила самовар, и мы приготовили себе по стаканчику пунша. Беседуем по-приятельски, обмениваемся пожеланиями, калякаем насчет свадьбы, толкуем о том о сем и опять-таки о свадьбе.

— Да знаете ли вы, реб Лейзер-Волф, — говорю я, — что это за брильянт?

— Знаю, — отвечает он, — поверьте мне, что знаю. Если бы не знал, и говорить не стал бы.

А говорим мы оба разом. Я кричу:

— Брильянт! Алмаз! Сумеете ли вы ее ценить? Мясника в себе попридержите...

А он:

— Не беспокойтесь, реб Тевье! То, что она у меня по будням кушать будет, она у вас и по праздникам не едала...

— Чепуха! — говорю я. — Подумаешь, какое дело — еда! И богачи червонцев не глотают, и бедняки камней не грызут. Человек вы простоватый, сумеете ли вы ее ценить! Как она печет! Как рыбу готовит, реб Лейзер-Волф! Попробовать ее рыбу, — да ведь этого удостоиться надо...

А он:

— Вы, реб Тевье, извините, уже выдохлись. Людей не знаете, реб Тевье, меня не знаете...

А я — свое:

— На одну чашку весов — золото, на другую — Цейтл. Уверяю вас, реб Лейзер-Волф, будь у вас хоть двести тысяч, все равно вы и подметки ее не стоите...

А он опять:

— Поверьте мне, реб Тевье, вы — большой дурень, хоть вы и старше меня...

В общем, горланили мы таким манером, надо полагать, довольно долго, и оба были здорово навеселе, потому что, когда я заявился домой, было уже довольно поздно, и ноги меня плохо слушались... Жена моя, дай ей бог здоровья, сразу же почуяла, что я «под мухой», и отчитала меня по заслугам.

— Тише, Голда, не сердись! — говорю я, ног не чуя под собой от радости. — Не кричи, душа моя, нас поздравить можно!

— Поздравить? С чем бы это? — отвечает она. — Проморгал бурую корову, продал ее Лейзер-Волфу?

— Хуже того, — говорю.

— Выменял на другую? Обманул Лейзер-Волфа? Некому его беднягу пожалеть...

— Еще хуже!

— Да говори же, — кричит она, — по-человечески! Смотри, пожалуйста, слова из него не вытянешь!

— Поздравляю тебя, Голда! — говорю я снова. — Поздравим друг друга! Наша Цейтл просватана!

— Коли так, — отвечает она, — значит, тебе не на шутку в голову ударило! Говоришь что-то непутевое. Выпил ты, видно, здорово!

— По рюмочке, — говорю, — мы, действительно, с Лейзер-Волфом пропустили да по стаканчику пунша выпили, но я еще в своем уме. Да будет тебе известно, Голда-братец, что наша Цейтл — в добрый час — просватана за него, за Лейзер-Волфа то есть.

И рассказал ей всю историю от начала до конца, как, и что, и почему, и о чем мы с ним говорили, не упустив ни одной мелочи.

— Знаешь, Тевье, — говорит жена, — а ведь право же, чуяло мое сердце, — да поможет мне так господь

бог! — чуяло оно, что Лейзер-Волф звал тебя неспроста! Но я боялась и думать об этом, а вдруг окажется, что все это — мыльный пузырь. Благодарю тебя господи, спасибо тебе отец милосердый! Пусть же это и в самом деле будет в добрый час! Пусть она состарится с ним в богатстве и чести, потому что покойная жена Лейзер-Волфа, Фруме-Сора — царство ей небесное! — как будто не так уж счастливо жила с ним. Она — не к ночи будь помянута! — была женщина въедливая, да простит она мне, не умела ладить ни с кем, совсем не то, что наша Цейтл. Благодарю, благодарю тебя господи! Ну, Тевье! Что я тебе говорила, умник мой! Надо ли горевать человеку? Уж ежели что суждено, так оно само в дом приходит.

— Что и говорить! — отвечаю я. — Ведь есть такой стих...

— Что толку в твоих стихах? — говорит она. — Надо к свадьбе готовиться. Прежде всего надо составить для Лейзер-Волфа список, что нашей Цейтл требуется к свадьбе. Ведь у нее ни лоскута белья, ни чулок даже нет. Затем — платья: одно шелковое к венцу, одно шерстяное на лето, другое — на зиму, и еще пару платьев бумажных, и нижних юбок, и шуб, — говорит, — хочу, чтоб у нее было две: кошачий бурнус для будней и другая шуба — лисья — для субботы; затем — сапожки на каблучках, корсет, перчатки, носовые платки, зонтик и всякие прочие вещи, которые нужны девушке по нынешним временам...

— Откуда, — говорю я, — Голда-сердце, ты знаешь обо всех этих финтифлюшках?

— Что ж, — говорит, — я среди людей не бывала? Или, думаешь, я у нас, в Касриловке, не видала, как люди одеваются? Ты дай мне, уж я с ним столкуюсь. Лейзер-Волф, слава богу, человек богатый, он, надо думать, и сам не захочет людям на язык попасть. Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет! *

Словом, проговорили мы эдак до самого рассвета.

— Собери-ка, — говорю, — жена, сыр и масло, надо, пока суд да дело, в Бойберик съездить. Все это, конечно, очень хорошо, но дело запускать тоже не

следует. Как там сказано: «Душа божья, да спина-то барская», что означает: «И о деле помнить надо!»

И ранехонько, чуть свет, я запряг лошадку и отправился в Бойберик. Приехал на рынок — ага! Существуют разве секреты у нашего брата? Все уже известно, со всех сторон меня поздравляют:

— Дай бог счастья, реб Тевье! Когда, с божьей помощью, свадьба?

— Спасибо! — отвечаю. — И вам того же. Выходит по поговорке: отец родиться не успел, а сын уже на крыше вырос...

— Глупости! — кричат они. — Ничего вам, реб Тевье, не поможет! Выпивку придется поставить. Не сглазить бы, такое счастье! Прямо — золотое дно!

— Ну, — говорю я, — это еще бабушка надвое ворожила: золото может утечь, а дно останется... — Однако от компании отставать не приходится, — нельзя же свиньей быть! Вот справлюсь только со своими егупецкими покупателями, тогда и выпивка будет и закуска... Живи — не горюй! Как сказано: «Радуйся и веселися!» — гуляй, голытьба!..

Словом, справился я со своей торговлей быстро, как всегда, выпил с братвой по рюмочке, пожелали мы друг другу всего хорошего, как полагается, затем я уселся в тележку и покатил домой — живо, весело, под хмельком.

Еду лесом, время летнее, солнышко хоть и припекает, но с обеих сторон тень от деревьев, сосной пахнет — благодать! Растянулся я барином на возу, вожжи отпустил, дал своему коняге волю: шагай, мол, будь ласков, сам небось дорогу знаешь... И распелся во весь голос, заливаюсь. На душе эдак празднично, и на память приходят напевы покаянных молитв. Гляжу ввысь, в небо, а мысли мои — здесь, на земле.

«Небеса, — вспоминаю я слова молитвы, — небеса — чертог божий», «а землю» — а землю, он отдал «детям Адама», то есть сынам человеческим, — пусть, мол, бьются головой о стенку, дерутся, словно кошки, от «великой роскоши» из-за почестей и старшинства... «Не мертвым славить бога»: черта с два понимают они, как надо благодарить его за ниспосы-

лаемые им милости... «А мы...» Но мы, бедняги, чуть выпадет на нашу долю хоть один сносный день, благодарим и славим господа и говорим: «Возлюбил», — люблю тебя, господи, за то, что внемлешь голосу и молитве моей, за то, что обращаешь ко мне ухо твое, когда окружают меня со всех сторон нищета и горести, беды и напасти: то корова средь бела дня падет, то принесет нелегкая родственничка недотепу, вроде Менахем-Мендла из Егупца, который заберет у тебя последний грош, а ты, не дав себе времени подумать, решаешь, что все уже кончено, что весь мир рушится, что «все люди лживы», что нет правды на земле... Но что же делает бог? Внушает Лейзер-Волфу мысль взять за себя мою Цейтл, как есть, без приданого... Дважды буду славить тебя, господи, за то, что ты обратил око свое к Тевье, пришел мне на помощь, судил мне радость от дитяти моего... Приеду к ней в гости, увижу ее хозяйкой... шкафы ломятся от белья, кладовые полны банок с гусиным салом и вареньем, во дворе не пройти от кур, гусей и уток...

Вдруг пустился мой коняга куда-то под гору, и, прежде чем я успел поднять голову и сообразить, где нахожусь, я оказался на земле вместе со всеми порожними горшками и крынками, а воз на мне. Кое-как с трудом выкарабкался, встал разбитый, искалеченный и всю свою злость сорвал на коняге:

— Чтоб ты провалился! Кто тебя просил, растяпа эдакий, показывать, что ты мастак под гору бегать? Ведь ты мне чуть бед не натворил, дьявол эдакий!

Задал я ему, сколько влезло. Мой молодец, видно, и сам понял, что сильно набедокурил, стоит, понурив голову, как корова над подойником.

— Прах тебя побери! — говорю я, подымаю воз, собираю посуду и — «пошел к праотцам» — поехали дальше. — Нехорошая примета, — говорю я про себя, — не случилось ли какой-нибудь беды дома?

Так и есть. Отъезжаю еще версты две, уже и дом недалеко, вижу по дороге движется мне навстречу женская фигура. Подъезжаю ближе, вглядываюсь: Цейтл! Не знаю почему, но сердце у меня екнуло, когда я ее увидел. Спрыгнул с воза.

— Цейтл, это ты? Что ты тут делаешь?

А она с плачем бросается мне на шею.

— Бог с тобой, — говорю, — доченька, чего ты плачешь?

— Ах, — отвечает она. — Отец, отец!

И обливается слезами. В глазах у меня потемнело, сердце защемило.

— Что с тобой, дочь моя, скажи, что случилось? — говорю я и обнимаю ее, ласкаю, целую.

А она:

— Отец, дорогой, сердечный ты мой! Раз в три дня кусок хлеба есть буду... Пожалей меня, пожалей мою молодость! — И снова обливается слезами, слова вымолвить не может.

«Горе мне великое! — думаю я. — Уж я догадываюсь, в чем дело. Понесла меня нелегкая в Бойберик!»

— Зачем же плакать? — говорю я и глажу ее по голове. — Глупенькая, зачем же плакать? Ну что ж поделаешь, — нет так нет, никто тебе насильно ничего не навязывает. Мы хотели тебе же лучше сделать. А если тебе не по сердцу, — что ж поделаешь? Не суждено, видать...

— Спасибо тебе, отец! — отвечает она. — Дай тебе бог долгие годы! — и снова падает ко мне на грудь, снова целует меня и обливается слезами!

— Однако, — говорю, — хватит слез! «Все суета сует» — вареники и те приедаются. Полезай-ка в тележку, поедем домой. Мать небось невесть что передумала.

Короче говоря, уселись, и я стал ее успокаивать разговорами о том о сем.

— Видишь ли, в чем дело, — говорю я. — Мы, конечно, ничего плохого в виду не имели. Бог свидетель, —нам хотелось, так сказать, обеспечить свое дитя на всякий случай. А ежели ничего из этого не выходит, значит, бог так велит. Не суждено тебе, дочь моя, прийти на все готовое, сделаться хозяйкой такого богатства, а нам — дождаться на старости лет утехи за все наши труды: и день и ночь словно к тачке

прикованы, ни минуты хорошей, — одна только нищета, нужда, одни неудачи, куда ни сунься!..

— Ах, отец! — отвечает она и снова плачет. — Я в прислуги пойду, глину месить буду, землю рыть!..

— Чего ты плачешь, глупая девчонка! — говорю я. — Разве я тебя упрекаю? Или требую чего-нибудь от тебя? Просто жизнь наша горькая, безрадостная, — вот я и изливаю свою душу, с ним толкую, с господом богом, о том, как он со мною обходится. Он — отец милосердый, жалеет меня, силой своей похваляется, — да не накажет он меня за такие речи! — счеты со мной сводит, и делай что хочешь, хоть караул кричи! Но, видно, так уж быть должно. Он там наверху, а мы — внизу, глубоко-глубоко в земле... Вот и приходится нам говорить, что он всегда прав и суд его справедлив. Ибо, ежели посмотреть на это с другой стороны, то не дурень ли я? В чем дело? Чего я горячусь? Как это так — я, червяк, ползающий по земле, жалкое создание, которое, если бог захочет, малейшим дуновением ветерка может быть в одно мгновение сметено с лица земли, — я со своим глупым разумом осмеливаюсь указывать ему, как надлежит править миром! Уж если он велит, чтоб было так, а не иначе, значит, так тому и быть, — жалобы не помогут! За сорок дней, — говорю, — так у нас в священных книгах сказано, — за сорок дней до зачатья ребенка в утробе матери прилетает ангел и возглашает: «Дочь такого-то — такому-то!» Пусть дочь Тевье возьмет какой-нибудь Гецл, сын Зораха, а мясник Лейзер-Волф пусть потрудится поискать свою суженую в другом месте. То, что ему положено, от него не уйдет, а тебе пусть господь бог пошлет твоего суженого, только бы порядочного человека, да поскорее. Аминь! Да будет воля его! Хоть бы мать не слишком кричала... Ох, и достанется же мне от нее!..

Словом, приехали домой, распрягли лошаденку, сели возле дома на травке и стали думать да гадать, как тут выйти из положения, какую бы сочинить для моей жены небылицу, сказку из «Тысячи и одной ночи», чтобы выпутаться из беды.

Дело к вечеру. Солнце садится. Теплынь. Вдалеке лягушки квакают, стреноженная лошадь щиплет траву, коровки, только что пригнанные из стада, стоят над подойниками и ждут, пока их подоят; а трава кругом благоухает — рай земной, да и только! Сижу это я, смотрю на все это и думаю, как мудро всевышний устроил свой мир. Каждое существо — от человека, скажем, и до коровы — должно свой хлеб зарабатывать, даром ничего не дается! Ты, коровушка, есть хочешь, — давай молоко, корми хозяина, и жену его, и деток. Ты, лошадка, жевать хочешь, — вози каждый раз горшки в Бойберик и обратно. То же и человек: кусок хлеба хочешь, — изволь трудиться, доить корову, таскать крынки, сбивать масло, готовить сыр, а потом запрягай конягу и тащись чуть свет в Бойберик на дачи, кланяйся, спину гни перед егупецкими богачами, улыбайся, льсти, к каждому в душу влезай, смотри, чтобы они довольны были, чтобы как-нибудь, упаси боже, гонор их не задеть!.. Остается, правда, вопрос: «Чем отличается?» — почему такая разница? Где это сказано, что Тевье должен работать на них, вставать ни свет ни заря, когда сам бог еще спит? А ради чего? Ради того, чтобы доставить им к утреннему кофе свежее масло и сыр... Где это сказано, что Тевье обязан маяться из-за жидкой похлебки, из-за крупенного кулеша, а они, егупецкие богачи, должны косточки свои на дачах нежить, палец о палец не ударять и кушать обязательно пироги, блинчики и вертуты? Не такой же я человек, как и они? Разве не было бы справедливо, чтобы Тевье хоть одно лето на даче пожил? Но опять-таки спрашивается: откуда возьмутся тогда сыр и масло? Кто будет коров доить? Да хотя бы они же, егупецкие аристократы, то есть... И сам расхохотался при этой сумасбродной мысли... Поговорка на этот счет есть: «Послушал бы господь дураков, — был бы свет не таков...»

— Добрый вечер, реб Тевье! — называет меня вдруг кто-то по имени.

Оборачиваюсь, гляжу — знакомый: Мотл Камзол, портновский подмастерье из Анатовки.

— И тебя с добрым вечером! — говорю я. — Вот так гость! Легок на помине... Садись, Мотл, на божью землю. Каким судьбами?

— Какими судьбами? Своими ногами! — отвечает он, присаживается на траву и поглядывает туда, где мои девицы возятся с горшками и крынками.

— Давно уже, — говорит он, — собираюсь я к вам, реб Тевье, да все времени нет. Один заказ сдаю, за другой принимаюсь. Я теперь от себя работаю, дела, слава богу, хватает. Все портные завалены заказами: лето у нас нынче такое выдалось — все свадьбы да свадьбы. Берл Фонфач дочь замуж выдает, у Иосла Шейгеца свадьба, у Мендла Заики свадьба, у Янкла Пискача свадьба. Свадьбу справляют и Мойше Горгл, и Меер Крапива, и Хаим Лошак, даже у вдовы Трегубихи — и у той свадьба.

— Весь мир, — говорю, — свадьбы справляет, одному только мне не везет. Не заслужил, видать, у бога...

— Нет, — отзывается Мотл, поглядывая на моих девиц, — вы ошибаетесь, реб Тевье. Если бы вы захотели, вы тоже могли бы сейчас готовиться к свадьбе... От вас зависит.

— А именно? — спрашиваю я. — Каким образом? Может быть, есть у тебя на примете жених для моей Цейтл?

— Как по мерке! — отвечает он.

— Что-нибудь стоящее? — сграшиваю и думаю: вот ловко-то будет, если он имеет в виду мясника Лейзер-Волфа!

— И ладно скроено и крепко сшито! — отвечает он на своем портновском языке и все поглядывает на моих дочерей.

— Откуда, — говорю, — жених? Из каких краев? Если пахнет от него мясной лавкой, то я и слышать об этом не желаю!

— Упаси бог! — отвечает он. — Никакой мясной лавкой он не пахнет. Да вы, реб Тевье, его хорошо знаете!

— Но это — подходящее дело?

— Да еще как! — отвечает он. — Подходящее подходящему рознь! Это, как говорится, в облиточку — тютелька в тютельку!

— Кто же это такой, интересно знать?

— Кто такой? — переспрашивает он, все еще не спуская глаз с моих дочерей. — Жених, понимаете ли, реб Тевье, я сам и есть.

Только вымолвил он эти слова, — я, как ошпаренный, вскочил с места, а он следом за мной. Так и застыли друг против друга, нахохлившись, как петухи.

— Рехнулся ты или просто с ума спятил? — говорю я. — Ты и сваха, ты и сват, да ты же и жених? Свадьба, так сказать, с собственной музыкой? Нигде не слыхивал, чтобы парень сам себе невесту сватал.

— Что касается сумасшествия, — отвечает он, — то пускай враги наши с ума сходят. Я еще, можете мне поверить, в своем уме. Вовсе не нужно быть помешанным, чтобы хотеть жениться на вашей Цейтл. Недаром даже Лейзер-Волф, самый богатый человек у нас в местечке, и тот захотел взять ее как есть... Думаете, это секрет? Все местечко уже знает. А насчет того, что вы говорите: «Сам, без сватов», — я, право, удивляюсь вам, реб Тевье: ведь вы же все-таки человек, которому, как говорится, пальца в рот не клади — откусить можете... Но к чему длинные разговоры? Дело, видите ли, в том, что я и ваша дочь Цейтл давно уже, больше года тому назад, дали друг другу слово пожениться...

Лучше бы мне нож в сердце, нежели слышать такие слова. Во-первых, куда ему, портному Мотлу, быть зятем Тевье? А во-вторых, что это за разговор такой — «они дали друг другу слово пожениться»!

— Ну, а я? Где же я? — спрашиваю. — Я тоже как будто бы имею кое-какое право слово сказать своей дочери! Или меня уж и спрашивать нечего?

— Что вы, помилуйте! — отвечает он. — Ведь я же для того и пришел, чтобы переговорить с вами. Как только я услыхал, что Лейзер-Волф сватается к вашей дочери, которую я уже больше года люблю...

— Скажите, пожалуйста! — говорю я. — У Тевье есть дочь Цейтл, а тебя зовут Мотл Камзол и занимаешься ты портновским ремеслом, — что же ты можешь иметь против нее, за что тебе не любить ее?

— Нет, — отвечает он, — не в этом дело, вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что люблю вашу дочь и что ваша дочь любит меня уже больше года, мы уже друг другу слово дали, что поженимся. Я уже несколько раз собирался потолковать с вами, да все откладывал, пока не сколочу немного денег на покупку швейной машины, а потом — пока не справлю себе одежи, как полагается. Ибо по нынешним временам любой, хоть самый ледащий парень должен иметь два костюма и несколько жилеток...

— Тьфу ты, пропасть! — говорю я. — Рассуждаете вы как дети. А что вы будете делать после свадьбы? Зубы на чердак закинете, или ты жену свою жилетками кормить будешь?

— Удивляюсь я вам, реб Тевье, от вас ли такое слышать? Я полагаю, что и вы, когда собирались жениться, собственного каменного дома не имели, и все же, как видите... Что ж, как люди, так и я... А ведь у меня как-никак и ремесло в руках...

В общем, что тут долго рассказывать, — уговорил он меня. Да и к чему себя обманывать, — а как все молодые люди у нас женятся? Если обращать внимание на такие вещи, то ведь людям нашего достатка и вовсе жениться нельзя было бы... Одно только было мне досадно, и понять я этого никак не мог: что значит — они сами дали друг другу слово? Что это за жизнь такая пошла? Парень встречает девушку и говорит ей: «Дадим друг другу слово, что поженимся...» Так просто, за здорово живешь? Однако, когда я посмотрел на моего Мотла, когда увидел, что стоит он, понурив голову, как грешник, что говорит он серьезно, без задних мыслей, я стал думать по-другому. Давайте, думаю, взглянем на это дело с другой стороны: чего это я ломаюсь и прикидываюсь? Рода я, что ли, очень знатного? Или приданого за моей дочерью даю невесть сколько, или одежу, прости господи, роскошную? Мотл Камзол, конечно, всего лишь портной, но

он очень славный парень, работяга, жену прокормить может и честный человек к тому же. Чего же еще мне от него надо? «Тевье, — сказал я самому себе, — перестань чваниться и говори, как в писании сказано: «Прощаю по слову твоему!» Дай бог счастья!»

Да, но как быть с моей старухой? Ведь она же мне такое закатит, что жизни рад не будешь! Как же к ней подъехать, чтобы и она примирилась?

— Знаешь что, Мотл? — обращаюсь я к новоявленному жениху. — Ты ступай домой, а я здесь тем временем все улажу, поговорю с тем, с другим. Как в предании об Эсфири написано: «И питие, как положено», — все это надо обмозговать, как следует. А завтра, бог даст, если ты к тому времени не передумаешь, мы, наверное, увидимся.

— Передумаю? — отвечает он. — Я передумаю? Да не сойти мне с этого места! Да превратиться мне в камень!

— К чему мне твои клятвы? — говорю я. — Я и без клятвы тебе верю. Будь здоров, спокойной тебе ночи и пускай тебе снятся хорошие сны...

Сам я тоже лег спать, но сон меня не берет. Голова пухнет: то одно придумываю, то другое. Наконец придумал-таки. Вот послушайте, что Тевье может прийти в голову.

Около полуночи, — все в доме крепко спят, кто храпит, кто посвистывает, — а я вдруг как закричу не своим голосом: «Гвалт! Гвалт! Гвалт!» И, конечно, переполошил весь дом. Первая вскочила Голда и стала меня тормошить:

— Бог с тобой, Тевье! Проснись! Что случилось? Чего ты кричишь?

Я раскрываю глаза, оглядываюсь по сторонам, точно ищу кого-то, и спрашиваю с дрожью в голосе:

— Где она?

— Кто? Кого ты ищешь?

— Фрума-Сору, — отвечаю, — Фрума-Сора, жена Лейзер-Волфа только что стояла тут...

— Ты бредишь, Тевье! — говорит жена. — Бог с тобой! Фрума-Сора, жена Лейзер-Волфа, — не про нас будь сказано, — давно уже на том свете...

— Знаю, — отвечаю я, — что она умерла, и все же она только что была здесь, возле самой кровати, говорила со мной. Схватила за горло, задушить хотела...

— Опомнись, Тевье! — говорит жена. — Что ты болтаешь? Тебе, наверное, сон приснился. Сплюнь трижды и расскажи мне, что тебе померещилось, я тебе к добру истолкую...

— Дай тебе бог здоровья, Голда, — отвечаю я. — Ты привела меня в чувство. Если бы не ты, у меня бы от страха сердце разорвалось... Дай мне глоток воды, и я расскажу тебе, что мне приснилось. Только не пугайся, Голда, и не подумай невесть что. В наших священных книгах сказано, что только три доли сна могут иной раз сбыться, а все остальное — чепуха, глупости, сущая бессмыслица...

— Прежде всего, — начал я, — снилось мне, что у нас какое-то торжество — не то свадьба, не то помолвка, — много народу: женщины, мужчины, раввин, резник... А музыкантов!.. Вдруг отворяется дверь и входит твоя бабушка Цейтл, царство ей небесное...

Услыхав про бабушку Цейтл, жена побледнела как полотно и спрашивает:

— Как она выглядела с лица? А во что была одета?

— С лица? — отвечаю я. — Всем бы нашим врагам такое лицо: желтое, как воск, а одета, конечно, в белое, в саван... «Поздравляю! — говорит мне бабушка Цейтл. — Я очень довольна, что вы для вашей дочери Цейтл, которая носит мое имя, выбрали такого хорошего, такого порядочного жениха. Его зовут Мотл Камзол, в память моего дяди Мордхе, и хоть он портной, но очень честный молодой человек...»

— Откуда, — говорит Голда, — к нам затесался портной? В нашей семье имеются меламеды, канторы, синагогальные служки, могильщики, просто нищие, но ни портных, упаси боже, ни сапожников...

— Не перебивай меня, Голда! — говорю я. — Наверное, твоей бабушке Цейтл лучше знать... Услыхав такое поздравление, я говорю ей: «Почему вы, бабушка, сказали, что жениха Цейтл зовут Мотл и что он портной? Его зовут вовсе Лейзер-Волф, и он —

мясник!» — «Нет, — отвечает бабушка Цейтл, — нет, Тевье, жениха твоей Цейтл зовут Мотл, он портной, с ним она и проживет до старости в довольстве и в почете». — «Ладно, говорю, бабушка, но как же быть с Лейзер-Волфом? Ведь я только вчера дал ему слово!» Не успел я вымолвить это, гляжу — нет бабушки Цейтл, исчезла! А на ее месте выросла Фрума-Сора, жена Лейзер-Волфа, и обращается ко мне с такими словами: «Реб Тевье, я всегда считала вас человеком порядочным, богобоязненным... Как же могло случиться, чтобы вы решились на такое дело: как вы могли пожелать, чтобы ваша дочь была моей наследницей, чтобы она жила в моем доме, владела моими ключами, надевала мое пальто, носила мои драгоценности, мой жемчуг?» — «Чем же, отвечаю, я виноват? Так хотел ваш Лейзер-Волф!» — «Лейзер-Волф? — говорит она. — Лейзер-Волф кончит плохо, а ваша Цейтл... жаль мне бедняжку! Больше трех недель она с ним не проживет. А когда пройдут три недели, я явлюсь к ней ночью, схвачу ее за горло, вот так!..» При этом, — говорю, — Фрума-Сора схватила меня за горло и стала душить изо всех сил... Если бы ты меня не разбудила, я был бы давно уже далеко-далеко...

— Тьфу, тьфу, тьфу! — трижды сплюнула жена. — Пускай все это в воде потонет, сквозь землю провалится, по чердакам мотается, в лесу покоится, а нам и детям нашим не вредит! Всякие беды и напасти на голову мясника, на его руки и ноги! Пропади он пропадом за один ноготок Мотла Камзола, хоть он и портной. Ибо раз он носит имя моего дяди Мордхе, то он, наверное, не прирожденный портной... И уж если бабушка, царство ей небесное, потрудилась и пришла с того света, чтобы поздравить, значит, мы должны сказать: так тому и быть, в добрый и счастливый час! Аминь!

Словом, что тут долго рассказывать? Я в ту ночь был крепче железа, если не лопнул со смеху, лежа под одеялом... Как сказано в молитве: «Благословен

создавший меня не женщиной», — баба бабой остается. Понятно, что на следующий день была у нас помолвка, а вскоре и свадьба, — как говорится, — одним махом! И молодая парочка живет, слава богу, припеваючи. Он портняжит, ходит в Бойберик, из одной дачи в другую, набирает работу, а она день и ночь в труде да заботе: варит и печет, стирает и моет, таскает воду. Едва-едва на кусок хлеба хватает. Если бы я не приносил иной раз кое-чего молочного, а в другой раз немножко денег, было бы совсем невесело. А спросите ее, — она говорит, что живется ей, благодарение богу, как нельзя лучше, был бы только здоров ее Мотл... Вот и толкуй с нынешними детьми!

Так оно и выходит, как я вам вначале говорил: «Растил я чад своих и пестовал», — работай как вол ради детей, бейся как рыба об лед, — «а они пренебрегли мною», а они говорят, что лучше нас понимают. Нет, как хотите, — чересчур умны наши дети!

Однако, кажется, я на сей раз морочил вам голову больше, чем когда-либо. Не взыщите, будьте здоровы и всего вам наилучшего!

1899

ГОДЛ

Вы удивляетесь, пане Шолом-Алейхем, что Тевье давно не видать? Осунулся, говорите, как-то сразу поседел? Эх-эх-эх! Если бы вы знали, с какими горестями, с какой болью носится Тевье! Как это там у нас сказано: «Прах еси и в прах обратишься», — человек слабее мухи и крепче железа. Прямо-таки книжку обо мне писать можно! Что ни беда, что ни несчастье, что ни напасть — меня стороной не обойдет! Отчего это так? Вы не знаете? Может быть, оттого что по натуре я человек до глупости доверчивый, каждому на совесть верю. Тевье забывает, что мудрецы наши тысячу раз наказывали: «Почитай его и подозревай», а по-еврейски это означает: «Не верь собаке!» Но что поделаешь, скажите на милость, если у меня такой характер? Я, как вам известно, живу надеждой и на предвечного не жалуюсь — что бы он ни творил, все благо! Потому что, с другой стороны, попробуйте жаловаться, — вам что-нибудь поможет? Коль скоро мы говорим в молитве: «И душа принадлежит тебе и тело — тебе», то что же может знать человек и какое он имеет значение? Я постоянно толкую с ней, с моей старухой то есть:

— Голда, ты грешишь? У нас в писании сказано...

— Ну, что мне твое писание! — отвечает она. — У нас дочь на выданье. А за этой дочерью следуют, не сглазить бы, еще две, а за этими двумя — еще три!

— Эх! — говорю я. — Чепуха все это, Голда! Наши мудрецы и тут свое слово сказали. Есть в книге поучений...

Но она и сказать не дает.

— Взрослые дочери, — перебивает она, — сами по себе хорошее поучение...

Вот и толкуй с женщиной!

Словом, как вам должно быть ясно, выбор у меня, не сглазить бы, достаточный, и «товар» к тому же хорош, грех жаловаться! Одна другой краше! Не полагается, конечно, самому расхваливать своих детей. Но я слышу, что люди говорят: «Красавицы!» А всех лучше — старшая, звать ее Годл, вторая после Цейтл, той, которая втюрилась, если помните, в портнягу. И хороша же она, вторая дочь моя, Годл то есть, ну, как вам сказать? Совсем, как написано в сказании об Эсфири: «Ибо прекрасна она обличьем своим», — сияет как золото. И как на грех, она к тому же девица с головой: пишет и читает по-еврейски и по-русски, а книжки — книжки глотает, как галушки. Вы, пожалуй, спросите: что общего у дочери Тевье с книжками, когда отец ее всего-навсего торгует сыром и маслом? Вот об этом-то я и спрашиваю у них, у наших молодых людей то есть, у которых, извините за выражение, штанов нет, а учиться — страсть какая охота. Как в сказании на пасху говорится: «Все мы мудрецы», — все хотят учиться, «все мы знатоки», — все хотят быть образованными... Спросите у них: чему учиться? Для чего учиться? Козы бы так знали по чужим огородам лазить! Ведь их даже никуда не допускают! Как там сказано: «Не простирай руки!» — брысь от масла! И все же посмотрели бы вы, как они учатся! И кто? Дети ремесленников, портных, сапожников, честное слово! Уезжают в Егупец или в Одессу, валяются по чердакам, едят хворобу с болячкой, а закусывают лихоманкой, месяцами куска мяса в глаза не видят. Вшестером в складчину булку с селедкой покупают и — «да возрадуешься в день праздника твоего», — гуляй, голытьба!

Словом, один из этих молодчиков затесался и в наш уголок, невзрачный такой паренек, живший не-

подалеку от наших мест. Я знавал его отца, был он папиросник и бедняк, — да простит он меня, — каких свет не видал! Но не в этом дело. Чего уж там! Если нашему великому ученому, раби Иоханав-Гасандлеру* не стыдно было сапоги тачать, то ему, я думаю, и подавно нечего стыдиться, что отец у него папиросник. Одного только я в толк не возьму: с чего бы это нищему хотеть учиться, быть образованным? Правда, черт его не взял, этого парнишку, — голова у него на плечах неплохая, хорошая голова! Перчиком звать его, этого недолю, а мы его на еврейский лад переименовали — «Феферл» *. Он и выглядит, как перчик: неказистый такой, щупленький, черненький, кикимора, но — башковит, а язык — огонь!

И вот однажды случилась такая история. Еду я домой из Бойберика, сбыл свой товар — целый транспорт сыра, масла, сметаны и прочей молочной снеди. Сижу и по обыкновению своему размышляю о всяких высоких материях: о том о сем, о егупецких богачах, которым, не сглазить бы, так везет и так хорошо живется, о неудачнике Тевье с его конягой, которые всю жизнь маются, и тому подобных вещах.

Время летнее. Солнце печет. Мухи кусаются. А кругом — благодать! Широко раскинулся мир, огромный, просторный, хоть подымись и лети, хоть растянись и плыви!..

Гляжу — шагает по песку паренек, с узелком под мышкой, пóтом обливается, едва дышит.

— Стоп, машина! — говорю я ему. — Присаживайся, слышь, подвезу малость, все равно порожняком еду. Как там у нас говорится: «Ослу друга твоего, если встретишь, в помощи не откажи», а уж человеку и подавно...

Улыбнулся, шельмец, но просить себя долго не заставил и полез в телегу.

— Откуда, — спрашиваю, — к примеру, шагает паренек?

— Из Егупца.

— А что, — спрашиваю, — такому пареньку, как ты, делать в Егупце?

— Паренек, вроде меня, — говорит он, — сдает экзамены!

— А на кого, — говорю, — такой паренек учится!

— Такой паренек, — отвечает он, — и сам еще не знает на кого учится.

— А зачем, — спрашиваю, — в таком случае паренек зря морочит себе голову?

— А вы, — отвечает, — не беспокойтесь, реб Тевье! Такой паренек, как я, знает, что делает.

— Скажи-ка, пожалуйста, уж если я тебе знаком, кто же ты, к примеру, такой?

— Кто я такой? Я, — говорит, — человек!

— Вижу, — говорю, — что не лошадь. Чей ты?

— Чей? — отвечает. — Божий!

— Знаю, — говорю, — что божий! У нас так и сказано: «Всяк зверь и всякая скотина...» Я спрашиваю, откуда ты родом? Из каких краев? Из наших или, может быть, из Литвы?

— Родом, — говорит он, — я от Адама. А вообще-то я здешний. Вы, наверное, меня знаете.

— Кто же твой отец? А ну-ка, послушаем.

— Отца моего, — отвечает он, — звали Перчик.

— Тьфу ты, пропасть! Зачем же ты мне так долго голову морочил? Стало быть, ты — сын папиросника Перчика?

— Стало быть, я — сын папиросника Перчика.

— И учишься, — говорю я, — в «классах»?

— И учусь, — отвечает, — в «классах».

— Ну, что же! «И Гапка — люди, и Юхим — человек!» А скажи-ка мне, сокровище мое, чем же ты, к примеру, живешь?

— А живу я, — говорит он, — от того, что ем.

— Вот как! Здорово! Что же, — спрашиваю, — ты ешь?

— Все, что дают, — отвечает он.

— Понимаю, — говорю, — что ты не из привередливых. Было бы что. А если нет ничего, закусываешь губу и ложишься натощак. И все это ради того, чтобы учиться в «классах»? По егупецким богачам равняешься? Как в писании сказано: «Все любимые, все избранные...»

Говорю я с ним эдаким манером, привожу изречения, примеры, притчи, как Тевье умеет. Но, думаете, он, Перчик то есть, в долгу остается?

— Не дождутся, — говорит он, — богачи, чтобы я равнялся по ним! Плевать я на них хотел!

— Ты, — отвечаю, — что-то больно взъелся на богачей! Боюсь, не поделил ты с ними отцовского наследства...

— Да будет вам известно, — говорит он, — что и я, и вы, и все мы имеем, быть может, очень большую долю в их наследстве.

— Знаешь что? — отвечаю я. — Лучше бы ты помалкивал!.. Вижу, однако, что парень ты не промах, за язык тебя тянуть не приходится... Если будет у тебя время, можешь забежать ко мне сегодня вечером, потолкуем с тобой, а заодно, кстати, и поужинаешь с нами...

Разумеется, паренек мой не заставил повторять приглашение и пришел в гости, в самую точку угодил, когда борщ уже на столе стоял, а пирожки на сковороде жарились.

— Хорошо, — говорю, — тому жить, кому бабушка ворожит. Можешь идти руки мыть. А не хочешь, можешь и так за стол садиться. Я у бога в стряпчих не состою, и сечь меня на том свете за тебя не будут.

Говорим мы с ним эдаким вот манером, и чувствую я, что тянет меня к этому человечку. Почему, — сам не знаю, а только тянет. Люблю, понимаете, человека, с которым можно словом перекинуться — иной раз изречением, другой раз — притчей, рассуждением о разных высоких материях, — то да се, пятое, десятое... Таков уж Тевье.

С этих пор мой паренек стал приходить чуть ли не каждый день. Покончит с уроками и заглянет ко мне отдохнуть, побеседовать. Можете себе представить, что это были за уроки и что они ему давали, прости господи, если самый крупный богач у нас привык платить не больше трешницы в месяц, да и то требует, чтобы учитель вдобавок прочитывал его телеграммы, надписывал адреса или бегал иной раз

по поручениям... Почему бы и нет? Ведь ясно сказано: «Всей душой и всем сердцем», — если ешь хлеб, должен знать за что...

Хорошо еще, что кормился, он, собственно, у меня. За это он занимался понемногу с моими дочерьми. Как говорится: «Око за око...» Таким образом сделался он у нас своим человеком. Дети подносили ему стакан молока, а старуха присматривала, чтобы у него рубаха на теле была и носки целые. Вот тогда-то мы и прозвали его «Феферл», переделали то есть его имя на еврейский лад. И можно сказать, что все мы его полюбили, как родного, потому что по натуре он, надо вам знать, и в самом деле славный паренек, без хитростей: мое — твое, твое — мое, душа нараспашку...

За одно только я его терпеть не мог: за то что он вдруг, ни с того ни с сего пропадал. Неожиданно подымется, уйдет, и ищи ветра в поле — нету Перчика! «Где ты был, дорогой мой птенчик?» Молчит как рыба... Не знаю, как вы, а я не люблю человека с секретами! Я люблю так, как сказано в писании: «Что есть, то и выкладывай!» Зато, с другой стороны, было у него и большое достоинство: уж если разговорится, — «кто на воде, а кто в огне», — так и пышет жаром, так и режет. Язычок, будь он неладен! Говорит против бога и против помазанника его, и больше всего — против помазанника... А планы у него все какие-то дикие, нелепые, сумасшедшие, и все-то у него шиворот-навыворот, все вверх ногами. Богач, например, по глупому его разумению, вообще ничего не стоит, а бедняк, наоборот, цаца великая, а уж мастеровые, рабочие — те и вовсе соль земли, потому что труд, говорит он, — это главное, всему основа.

— А все же, — говорю я, — с деньгами этого не сравнишь!

Тут он вспыхивает и начинает меня убеждать, что деньги — зарез для всего мира. От денег, — говорит он, — всяческая подлость на земле, да и вообще все, что творится на белом свете, — несправедливо. И приводит мне десять тысяч доказательств и примеров, и все они пристают ко мне, как горох к стене.

— Выходит, стало быть, по сумасшедшему твоему рассуждению, что доить корову или заставлять лошаденку в упряжи ходить — тоже несправедливо?

И много таких каверзных вопросов задаю я ему, припираю его, так сказать, к стенке на каждом шагу, как Тевье умеет! Однако и Феферл мой тоже это умеет, да еще как умеет! Лучше бы уж он не умел. А уж если есть у него что-нибудь на сердце, — тут же выложит.

Сидим мы однажды под вечер у меня на завалинке и эдак вот рассуждаем, философствуем... Вдруг он и говорит мне, Феферл то есть:

— Знаете, реб Тевье? Дочери у вас очень удачные!

— Серьезно? — отвечаю. — Спасибо за добрую весть! Им было, — говорю, — в кого уродиться.

— Одна, — продолжает он, — старшая, и вовсе умница! Человек в полном смысле слова!

— И без тебя знаю! — говорю я. — Яблоко от яблони недалеко падает.

Говорю это я ему, а у самого сердце, конечно, тает от удовольствия. Какому отцу, скажите, не приятно, когда хвалят его детей? Поди угадай, что от этих похвал разгорится такая пламенная любовь, не приведи господи! Вот послушайте.

Короче говоря, «и бысть вечер и бысть утро», — было это в сумерки, в Бойберике. Еду я на своей тележке по дачам, вдруг меня кто-то останавливает. Гляжу — Эфраим-сват. Эфраим, надо вам сказать, такой же сват, как и все сваты, то есть занимается сватовством. Увидал меня в Бойберике и остановил:

— Извините, реб Тевье, мне нужно вам кое-что сказать.

— Ну что ж! Лишь бы что-нибудь хорошее, — отвечаю я и придерживаю конягу.

— У вас, — говорит, — реб Тевье, есть дочь.

— У меня их — отвечаю, — семеро, дай им бог здоровья!

— Я знаю, — отвечает он, — что у вас семеро! У меня тоже семеро.

— Стало быть, — говорю, — у обоих у нас ровным счетом четырнадцать.

— Словом, — отвечает он, — шутки в сторону. Дело вот в чем, реб Тевье: я, как вам известно, сват. И вот есть у меня для вас жених — всем женихам жених! Высший сорт!

— Например? Что у вас называется «всем женихам жених»? Если, — говорю, — портняжка, или сапожник, или меламед, пускай себе сидит на месте, а мне, как в Мидраше сказано: «Радость и освобождение придут с другой стороны» *. Найду себе ровню в другом месте...

— Вы все со своими притчами! — говорит он. — С вами разговаривать, — надо хорошенько подпоясаться! Начинаете сыпать словечками да изречениями. Вы лучше послушайте, какого жениха Эфраим-сват намерен предложить вам. Вы только слушайте и молчите.

Так говорит он мне, Эфраим то есть, и начинает выкладывать... Ну, что я вам скажу? В самом деле что-то необыкновенное! Во-первых, из очень хорошей семьи, сын почтенных родителей, не безродный какой-нибудь, а для меня, надо вам знать, это важнее всего, потому что и сам я не из последних. У меня в семье, как говорится, «и пятнистые, и пегие, и пестрые», — есть и простые люди, есть мастеровые, а есть и хозяева. Затем он, жених этот, большой грамотей, хорошо разбирается в мелких буковках, а это для меня и подавно великое дело — терпеть не могу невежд! Для меня невежда в тысячу раз хуже шалопая! Можете ходить без шапки, хоть головой вниз, ногами кверху, но если вы знаете толк в Раши*, то вы для меня — свой человек. Таков уж Тевье. «Затем, — говорит Эфраим, — он богат, набит деньгами, разъезжает в карете на паре огневых лошадей, так что пыль столбом...» Ну что ж, думаю, это тоже не такой уж недостаток. Нежели бедняк, пускай уж лучше богач. Как сказано: «Приличествует бедность Израилю», — сам бог бедняка не любит. Ибо если бы бог любил бедняка, так бы бедняк бедняком не был!

— Ну, послушаем дальше!

— А дальше, — говорит Эфраим, — он хочет с вами породниться, помирает человек, сохнет. То есть

не по вас, а по вашей дочери сохнет. Он хочет красивую девушку.

— Вот как? — Отвечаю. — Пусть сохнет! Кто же он такой, ваше сокровище? Холостяк? Вдовец? Разведенный? Черт, дьявол?

— Холостяк! — отвечает. — Холостяк. Правда, в летах, но холостяк.

— Как же его святое имя?

Не хочет сказать, хоть режь его.

— Привезите ее в Бойберик, тогда скажу!

— Что значит, — говорю, — я ее привозить буду? Приводят лошадь на ярмарку или корову на продажу...

Словом, сват, сами знаете, и стенку уломать может. И порешили мы, что, даст бог, на будущей неделе я ее привезу в Бойберик. И светлые, сладостные мечты приходят мне в голову: представляю себе мою Годл разъезжающей в карете на паре горячих коней. И весь мир завидует... Не столько роскошному выезду, сколько тому, что я благодаря дочери-богачке творю добрые дела, помогаю нуждающимся, даю взаймы — кому четвертной, кому полсотни, а кому и все сто... Ведь и у другого, говорите вы, душа — не мочалка...

Размышляю я эдак, возвращаясь под вечер домой, нахлестываю свою лошаденку и беседую с ней на лошадином языке: «Вьо! — говорю. — А ну-ка, пошевеливай ходулями, да поживее, — получишь порцию овса... Ибо сказано у нас: «Без хлеба нет и учения», — не подмажешь, не поедешь...»

Разговариваем мы так со своей конягой, и вижу я, из лесу идут двое: похоже мужчина и женщина. Идут рядом, вплотную друг возле друга, горячо беседуют о чем-то. «Кто бы мог сюда забрести?» — думаю я и всматриваюсь сквозь огневые прутья солнца. Готов поклясться, что это Феферл! С кем же это он гуляет так поздно? Заслоняю рукою глаза от солнца и еще пристальнее вглядываюсь: кто же эта женщина? Ой, кажется, Годл! Да, она, честное слово — она... Вот как? То-то они так усердно занимаются грамматиками, книжки читают! «Эх, Тевье! Ну и дурень же ты!» —

думаю. Останавливаю лошаденку и обращаюсь к моей парочке:

— Добрый вечер! — говорю. — Что слыхать насчет войны? Какими судьбами вы попали сюда? Кого поджидаете? Вчерашнего дня?

Услыхав такое приветствие, моя парочка остановилась, как говорится, между небом и землей — то есть ни туда ни сюда — растерялись и покраснели... Постояли эдак несколько минут молча, опустив глаза. Потом стали поглядывать на меня, я на них, они — друг на друга.

— Ну, — говорю. — Чего это вы меня разглядываете, точно давно не видали. Я как будто тот же Тевье, что и был, ничуть не изменился.

Говорю это я, не то досадуя, не то подтрунивая над ними. А дочь моя, Годл то есть, еще больше покраснела и говорит:

— Отец, нас нужно поздравить...

— Поздравляю! Дай бог счастья! А по какому случаю? Клад, — спрашиваю, — в лесу нашли? Или только что от большой беды спаслись?

— Нас, — говорит он, — следует поздравить, мы — жених и невеста!

— Что значит, — спрашиваю, — жених и невеста?

— Вы, — отвечает он, — не знаете, что значит жених и невеста? Жених и невеста значит, что я — ее жених, а она — моя невеста!

Так говорит Феферл и смотрит мне прямо в глаза. Но и я ему прямо в глаза смотрю и спрашиваю:

— Когда же у вас была помолвка? Почему меня не пригласили на торжество? Я как-никак ей будто бы сродни... Не так ли?

Шучу, понимаете, а самого черви грызут, тело мое точат. Но ничего! Тевье — не баба. Тевье любит выслушать до конца...

— Не понимаю, — говорю я. — Что же это за сватовство без свата, без помолвки?

— А на что нам сват? — отвечает Феферл. — Мы уже давно жених и невеста.

— Вот как? Чудеса, да и только! Чего же вы, — говорю, — до сих пор молчали?

— А чего нам кричать? — говорит он. — Мы бы и сегодня не рассказали, но так как нам скоро нужно будет разлучиться, мы и решили раньше повенчаться.

Тут уж я не вытерпел... «Подступила вода к горлу», как говорится, — за живое задело. То, что он говорит: «Жених и невеста», — это еще куда ни шло... Как это там сказано: «И возлюбил», — она ему нравится, он ей... Но венчаться! Что значит — венчаться? Ума не приложу!.. Жених, видать, понял, что я от всей этой истории малость ошалел, и говорит.

— Понимаете ли, реб Тевье, дело вот в чем: я собираюсь уезжать отсюда.

— Когда ты едешь?

— Вскоре.

— Куда, к примеру?

— Этого, — отвечает он, — я вам не скажу, это тайна.

Понимаете? Тайна! Ну, как вам это нравится? Приходит вот такой Феферл, маленький, черненький, кикимора какая-то, объявляет себя женихом, хочет венчаться, собирается уезжать и даже не говорит куда. Лопнуть можно!

— Ну что ж! — говорю я. — Тайна, так тайна... У тебя все тайны... Однако растолкуй ты мне, братец, вот что: ведь ты за справедливость ратуешь, ты же насквозь пропитан любовью к людям, — как же это так могло случиться, чтобы ты вдруг, ни с того ни с сего, забрал у Тевье дочь и сделал ее вдовой при живом муже? Это, по-твоему, и есть справедливость? Любовь к людям? Хорошо еще, что ты меня не обокрал, не поджег...

— Отец! — говорит Годл. — Ты даже не знаешь, как мы счастливы, я и он, что рассказали тебе обо всем. У нас прямо-таки камень с души свалился! Поди сюда, давай расцелуемся!

И, недолго думая, они обхватывают меня оба, она с одной стороны, он с другой, и начинают обнимать и целовать... Они меня, я их, а под шумок, должно быть от большой спешки, — они уже давай целовать друг друга! Комедия, да и только! Театр...

— Может быть, хватит, — говорю, — целоваться! Пора и о деле потолковать.

— О каком деле? — спрашивают они.

— О приданом, о платьях, о свадебных расходах, — то-се, пятое, десятое.

— Ничего этого, — отвечают они, — нам не нужно! Ничего! Ни пятого, ни десятого...

— А что же вам нужно?

— Нам, — отвечают, — только повенчаться нужно...

— Слыхали разговор?

Словом, о чем тут долго рассказывать! Ничего не помогло. Пришлось их повенчать. Венчание, конечно, венчанию рознь! Что и говорить, не такое оно было, какое пристало Тевье. Тоже мне... Тихая, с позволения сказать, свадьба... А к тому же еще жена, как говорится: сверх болячки — волдырь! Мучает меня, пристает, чтобы я объяснил ей: почему такая спешка? Изволь объяснить женщине, что тут пожар, горит!.. Пришлось, чтоб не поднимать шума, придумать какую-то дикую историю о наследстве, о богатой тетке из Егупца, врать почем зря, лишь бы она меня оставила в покое. И в тот же день, через несколько часов после этой хваленой свадьбы, я запрягаю лошаденку, усаживаемся втроем — я, дочь и он, зятек мой богоданный, — и марш к поезду, в Бойберик. Сижу я на возу, поглядываю со стороны на свою парочку и думаю: велик наш бог и как удивительно он своим мирком правит! Каких только нелепых созданий, каких чудаков нет у него! Вот вам чета, только что из-под венца: он уезжает, бог его ведает куда, а она остается здесь, — и хоть бы слезинку уронили, ну, из приличия, что ли! Но — молчу. Тевье — не баба. Тевье может потерпеть. Молчу и смотрю, что дальше будет... Вижу, пара молодчиков, порядочных оборванцев, в стоптанных сапогах, пришла к поезду попрощаться с моим птенчиком. Один из них, одетый как крестьянский парень, с рубахой, извините, навыпуск, стал о чем-то шушукаться с моим зятем... «Смотри, Тевье, думаю, уж не попал ли ты в компанию конокрадов, карманников, взломщиков или фальшивомонетчиков?»

На обратном пути, едучи с Годл из Бойберика, я не вытерпел и откровенно сказал ей, о чем подумал. А она смеется и хочет меня уверить, что все они — честнейшие люди, глубоко порядочные, замечательные люди, которые всей своей жизнью жертвуют ради других, а о себе даже не думают...

— А вот тот, что в рубашке, — говорит она, — из очень богатой семьи! Родителей бросил в Егупце, ломаного гроша у них брать не хочет.

— Скажи, пожалуйста! Чудеса в решете! — говорю я. — Очень славный парень, право ему бы к его рубахе навыпуск и длинным волосам еще гармошку в руки или собаку на привязи — то-то было бы загляденье!

Вымещаю эдаким манером всю свою злобу на ней, бедной, и на нем заодно... А она? Ничего! «Не открывает себя Эсфирь» — прикидывается непонимающей. Я ей — «Феферл», а она мне — «общее благо, рабочие», — прошлогодний снег...

— Что мне, — говорю, — от вашего общего блага и от ваших рабочих, когда все это у вас делается по секрету? Есть такая поговорка! «Где секрет, там не чисто...» Вот скажи мне прямо, зачем он поехал, Феферл, и куда?

— Все, — отвечает, — скажу, только не это! И не спрашивай лучше! Поверь, со временем все узнаешь. Бог даст, услышишь, может быть даже вскоре, много нового, много хорошего!

— Аминь! — говорю. — Дай бог! Твоими устами да мед пить! Но чтоб наши враги так здоровы были, как я знаю и понимаю, что тут у вас творится и что означает вся эта канитель!

— В том-то, — отвечает она, — и беда, что ты этого не поймешь!

— Что ж, это так замысловато? Я, кажется, с божьей помощью, и более заковыристые вещи понимаю...

— Этого, — говорит она, — одним умом не понять, это чувствовать надо, сердцем чувствовать...

Так говорит она мне, Годл то есть, а лицо в это время у нее пылает, глаза горят. Будь они неладны,

дочери Тевье! Захватит их что-нибудь, так уж целиком — с головой и сердцем, с душой и телом!

Расскажу я вам вкратце: проходит неделя, и две, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь — ни ответа, ни привета. «Ни гласа, ни отзыва», — ни письма, ни весточки.

— Пропал, — говорю, — Феферл! — и поглядываю на свою Годл. Ни кровинки в лице. Выискивает, бедная, себе работу по дому, хочет, видать, горе свое заглушить... Но хоть бы вспомнила о нем! Тихо! Как будто никогда и не было на свете никакого Перчика!

Но вот однажды случилась такая история: приезжаю домой, вижу — моя Годл ходит заплаканная, с набухшими веками. Начинаю расспрашивать и узнаю, что был недавно какой-то длинноволосый и о чем-то шептался с ней, с Годл то есть. «Ага! — думаю. — Это, наверное, тот самый, который удрал от богатых родителей и носит рубаху навыпуск...» И, недолго думая, вызываю Годл и сразу же беру ее в оборот:

— Скажи-ка мне, дочка, ты получила от него весточку?

— Да!

— Где же он, твой суженый?

— Далеко! — говорит.

— Что он поделывает?

— Сидит.

— Сидит?

— Сидит.

— Где сидит? За что?

Молчит. Смотрит мне прямо в глаза и молчит.

— Скажи-ка, мне, дочь моя, — говорю я, — насколько я понимаю, он сидит не за воровство. Но в таком случае это у меня в уме не укладывается: коль скоро он не вор и не жулик, — за что же он сидит, за какие такие грехи?

Молчит. «Не говоришь, — подумал я, — не надо! Твое сокровище, не мое! Ну и шут с ним!» Но в сердце я ношу боль. Ведь я все же отец! Недаром в молитве говорится: «Как отец детей своих жалеет», — отец отцом остается.

Короче говоря, было это в седьмой день праздника «кущи»* вечером. Уж у меня так заведено, что в праздники я и сам отдыхаю и лошаденке отдых даю, как сказано в писании: «Ты и вол твой, и осел твой и сам отдыхай, и жена твоя и лошадь твоя...» Да и то сказать, в Бойберике делать уже почти нечего: чуть только запахнет осенью, дачники разбегаются, словно крысы в голодную пору, и Бойберик превращается в пустыню. В такое время я люблю сидеть дома на завалинке. Это для меня самая лучшая пора. Каждый хороший день — дар божий. Солнце уже не пышет жаром, оно ласкает мягко, душу живит. Лес еще зелен, от сосен по-прежнему пахнет смолой, и кажется мне, что лес выглядит празднично, как божьи кущи. Вот здесь, думаю я, господь справляет праздник. Здесь, а не в городе, где шум и суголока, где люди носятся как угорелые, душу себе выматывают в погоне за куском хлеба, где только и слышно, что деньги, деньги и деньги! А уж вечером, да еще в такой праздник, — здесь и вовсе рай земной: небо синее, звезды сверкают, переливаются, мигают, совсем как человеческие глаза. Иной раз случается, — пролетит стрелой звезда и оставляет после себя на секунду зеленоватую черту — это закатилась чья-нибудь звездочка, чье-то счастье кануло. Ведь что ни звездочка, то чья-то доля... «Хоть бы не моя судьба бесталанная», — думаю я и вспоминаю о своей Годл. Уже несколько дней как она чего-то приободрилась, ожила, совсем другая стала. Кто-то ей письмо привез, верно от него, от Перчика. Хочется, страсть как хочется знать, что он пишет, но спрашивать не желаю. Молчит — и я молчу. Словно в рот воды набрал. Тевье — не баба, Тевье может и подождать.

Между тем выходит сама Годл, усаживается рядом со мной на завалинке, оглядывается по сторонам и говорит тихонько:

— Знаешь, папа? Я должна тебе кое-что сказать: сегодня мы с тобой распрощаемся... Навсегда...

Говорит она тихо, чуть слышно, и смотрит на меня так странно, что вовек мне этого ее взгляда не забыть. «Топиться хочет», — мелькнуло у меня в голове.

Откуда такая страшная мысль? Дело в том, что недавно по соседству с нами случилась такая история: еврейская девушка влюбилась в деревенского парня и ради него... понимаете, конечно? Мать от горя заболела и умерла, отец растратил все, что имел, стал нищим. А парень раздумал и женился на другой. Тогда девушка пошла к речке, бросилась в воду и утонула...

— Что значит — ты прощаешься со мной навсегда? — спрашиваю я и опускаю голову, чтобы она не видела, как помертвело мое лицо.

— Это значит, — отвечает она, — что я уезжаю завтра на рассвете... Мы уже никогда больше не увидимся... никогда.

Немного отлегло от сердца. «И за то слава богу! — думаю я. — И то благо — могло быть и хуже, а хорошему ведь конца-краю нет...»

— Куда же, к примеру, ты едешь, если, — говорю, — я достоин узнать об этом?

— Я еду к нему.

— К нему? А где же он сейчас?

— Пока что он еще сидит, — отвечает она, — но скоро его высылают.

— Значит, ты едешь попрощаться с ним? — прикидываюсь я дурачком.

— Нет, — отвечает, — я еду за ним туда.

— Туда? Куда же? Как это место называется?

— Еще, — говорит, — точно неизвестно, как называется место, но это очень далеко отсюда, страшная даль...

Говорит она, Годл, и кажется мне, что произносит она слова с гордостью, как будто он совершил нечто такое, за что следовало бы наградить его медалью в пуд весом!.. Что можно ответить на это? За такие речи отец должен был бы рассердиться, отхлестать по щекам или отчитать как следует! Но Тевье — не баба. Я считаю, что злиться — значит дьяволу угождать. И я, как обычно, привожу стих из писания:

— Вижу я, дочь моя, что ты выполняешь завет божий: «А потому да покинет...» Оставляешь ради Перчика отца с матерью и отправляешься в неведо-

мые края, в пустынные места, на застывшее море, туда, где странствовал на корабле Александр Македонский и попал на дальний остров к дикарям, как я читал когда-то в одной книжке...

Говорю я это полушутя, полусердито, а сердце у меня плачет. Но Тевье — не баба. Тевье сдерживается. Да и она, Годл то есть, тоже духом не падает. Отвечает мне обстоятельно, не торопясь, обдуманно. Дочери Тевье умеют говорить.

И хоть я и сижу, понурив голову, и с закрытыми глазами, мне кажется, что я ее вижу. Вижу ее лицо, усталое и бледное как луна, и сдается мне, что голос у нее как будто приглушен и дрожит... Броситься ей на шею, просить, умолять, чтоб она не ехала? Но я знаю, что из этого ничего не выйдет. Провались они, мои дочери! Уж если втюрятся в кого-нибудь, так всем, всем сердцем, всей душой без остатка!

Словом, просидели мы на завалинке долго-долго, чуть ли не всю ночь. Больше молчали, нежели говорили, да и говорили-то мы полусловами... Она говорила, я говорил... Об одном только я спрашивал: где это слыхано, чтобы девушка вышла замуж только для того, чтобы потом следовать за мужем куда-то к черту на рога? А она мне:

— С ним — хоть к черту на рога!

Я, конечно, стараюсь ей доказать, как это глупо. А она по-своему объясняет, что мне этого не понять. Тогда я привожу ей пример: курица высидела утят. Утята только встали на ноги, побежали к речке — и в воду, а наседка, бедная, квохчет.

— Что ты, — говорю, — на это скажешь, доченька?

— Что же мне сказать? — говорит она. — Наседку, конечно, жалко. Но неужели же из-за того, что она квохчет, утятам не плавать?

Понимаете, какой разговор? Дочь Тевье не говорит впустую...

Между тем время идет. Уже светать начинает. Старуха моя ворчит. Она уже несколько раз посылала звать нас домой. Увидев, что не помогает, она высунула голову в окно и начала меня отчитывать, как водится:

— Тевье, что ты себе думаешь?

— Тише, — говорю, — Голда! Как в писании сказано: «О чем шумите?» Ты забыла, наверное, какой сегодня праздник. В эту ночь на небе решается наша судьба *. Эту ночь спать не полагается. Послушай меня, Голда, потрудись-ка раздуть самовар, напьемся чаю, а я тем временем запрягу лошаденку. Поедем с Годл к поезду.

И уж, как водится, сочиняю новую из-под иголочки небылицу, рассказываю, будто Годл едет в Егупец, а оттуда еще дальше, все по тому же делу, насчет наследства то есть, и может статься, что она там останется на всю зиму, а может быть, на зиму, и на лето, и еще на одну зиму. Так что, говорю, надо ей приготовить на дорогу все, что полагается: немного белья, подушки, наволочки, платья, то-се и прочее...

Командую я эдак и наказываю, чтобы никаких слез не было. Сегодня праздник на белом свете! «Сегодня, говорю, плакать нельзя! В законе прямо так и сказано!» Думаете, послушались, закона испугались? Куда там! — плачут. А как дошло до прощания, заголосили все, ревмя ревут и мать, и дети, да и сама она, Годл то есть, плачет навзрыд. Особенно тяжело было прощаться с моей старшей дочерью, с Цейтл (она к нам на праздники приходит вместе со своим мужем, с Мотлом Камзолом). Сестры как бросились друг дружке на шею, так их еле разняли. И только я один взял себя в руки, держался твердо, как кремень. То есть, конечно, это только так говорится... Внутри кипит, как в самоваре, но я, разумеется, и виду не подаю. Тевье — не баба... Всю дорогу до Бойберика мы молчали, и только, уже подъезжая к станции, я попросил ее в последний раз объяснить мне, что же все-таки сделал он такого, Феферл то есть? «Ведь все, говорю, должно иметь какой-нибудь смысл!» Она вспыхнула и стала клясться всеми клятвами на свете, что он чист как стеклышко!

— Он, — говорит, — человек, который меньше всего думает о себе. Вся его забота — о благе других, об общем благе, и, главное, — о рабочих, о трудовом народе!

— Стало быть, — говорю я, — он заботится обо всех на свете? А почему же свет о нем не заботится, если он такой уж хороший человек? Ну, поклонись ему от меня, твоему Александру Македонскому, скажи ему, что я полагаюсь на его порядочность, — он ведь насквозь справедливостью пропитан, я надеюсь, что он дочь мою не обманет и напишет когда-нибудь письмецо старику отцу.

Говорю я эдак, а она вдруг как бросится мне на шею и давай плакать!

— Попрощаемся, — говорит. — Будь здоров, отец! Бог знает, когда мы увидимся!..

Кончено! Тут уж я больше не выдержал...

Вспомнилась мне, понимаете ли, эта самая Годл, когда она была еще крошкой... дитя малое... на руках носил ее... на руках... Уж вы извините меня, что я так... совсем по-бабьи... Но если бы вы знали, что это за Годл! Если бы вы знали! Читали бы вы ее письма! Вот она у меня где... глубоко-глубоко... Нет, не могу я всего этого выразить...

. . . .

Знаете что, пане Шолом-Алейхем? Давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе?

1904

ХАВА

«Хвалите господа, ибо благостен он», — как господь бог судит, так и ладно, то есть приходится говорить, что ладно, ибо подите будьте умником и сделайте лучше! Вот хотелось мне быть умным, толковал я изречения и так и эдак... А как увидел, что не помогает, махнул рукой и сказал самому себе: «Тевье, ты глуп! Мира тебе не переделать. Ниспослал нам всевышний «муки воспитания детей», что означает: дети доставляют огорчения, а принимать это надо за благо». Вот, к примеру, старшая моя дочь, Цейтл, влюбилась в портнягу, в Мотла Камзола. Ну, что я могу иметь против него? Правда, человечек он простецкий, в грамоте не слишком силен. Да ведь что поделаешь? Не всем же, как вы говорите, учеными быть! Зато он человек порядочный, работяга, в поте лица свой хлеб добывает. У нее с ним, посмотрели бы вы, полон дом голопузых, — не сглазить бы! — и оба они мыкаются в «богатстве и в почете»... А поговорите с ней, она вам скажет, что живется ей хорошо, лучше некуда... С одним только делом не все ладно: на хлеб не хватает. Вот вам, так сказать, номер первый.

О второй дочери, о Годл, мне вам рассказывать нечего: сами знаете. Проиграл я ее, потерял навеки! Бог знает, увидят ли ее когда-нибудь мои глаза, разве что на том свете, через сто двадцать лет... Заговорю

о ней, — и до сих пор в себя прийти не могу, — жизни моей конец! Забыть, говорите вы? Да как же можно живого человека забыть? Да еще такое дитя, как Годл? Читали бы вы, что она мне пишет, — умереть можно! Живется ей там, пишет она, очень хорошо. Он сидит, а она зарабатывает. Стирает белье, читает книжки и видится с ним каждую неделю. И надеется, говорит, что у нас тут все перебродит, что солнце взойдет и настанет свет, тогда его со многими другими такими же вернут, — и вот тогда только они примутся за настоящую работу и перевернут мир вверх ногами. Ну, как вам нравится? Хорошо, не правда ли? Что же делает господь-вседержитель? Ведь он же, говорите вы, бог милосердный, бог всемилостивый... Вот он мне и говорит: «Погоди-ка, Тевье, вот я устрою так, что ты обо всех своих горестях забудешь!..» И действительно, — стоит послушать. Другому не стал бы рассказывать, потому что боль велика, а позор — и того больше! Но — как это там сказано: «Таю ли я что-нибудь от Авраама?» — от вас у меня секретов нет. Все, как есть, выкладываю. Об одном только прошу: пусть это останется между нами. Потому что — повторяю — боль велика, но позор, позор — и того больше!

Словом, как в «Поучении отцов» сказано: «Возжелал господь очистить душу», — захотел бог облагодетельствовать Тевье и благословил его семью дочерьми — одна другой лучше, умные, красивые, крепкие, — сосны! Эх, быть бы им лучше безобразными, уродинами, — пожалуй, и для них было бы лучше и для меня. Ибо что мне, скажите на милость, толку от доброго коня, если он на конюшне стоит? Что толку от красивых дочерей, когда торчишь с ними в глухомани и живого человека не видишь, кроме Антона Поперилы — сельского старосты, или писаря Федьки Галагана — верзилы с копной волос на голове и в высоких сапогах, да еще попа, чтоб ему ни дна ни покрышки! Имени его слышать не могу — и не потому, что я еврей, а он поп. Наоборот, мы с ним много лет хорошо знакомы, то есть в гости друг к другу не ходим, но при встрече здороваемся, то-се, чего на

свете слыхать... Пускаться с ним в долгие рассуждения я не люблю, потому что чуть что, начинается канитель: наш бог, ваш бог... Я, конечно, не сдаюсь, перебиваю его поговоркой, говорю, что есть, мол, у нас изречение... Но и он меня перебивает и говорит, что изречения он знает не хуже моего, а может быть, и лучше. И как начнет шпарить наизусть наше Пятикнижие, да еще по-древнееврейски, только как-то по-своему... «Берешит бара элогим...» * Каждый раз одно и то же. Опять-таки перебиваю его и говорю, что есть у нас «мидраш»... «Мидраш, — отвечает он, — это уже талмуд», — а талмуда он не любит, потому что талмуд, по его мнению, — это чистое жульничество... Тут уж я вспыхиваю не на шутку и начинаю выкладывать ему все, что на ум придет. Думаете, это его трогает? Ничуть. Смотрит на меня, посмеивается и бороду расчесывает. А ведь ничего на свете нет хуже, чем когда ругаешь человека, с грязью его смешиваешь, а тот молчит. У вас желчь разливается, а тот сидит и усмехается!

Тогда я не понимал, но теперь мне ясно, что означала эта усмешка...

Возвращаюсь однажды домой уже к вечеру и застаю писаря Федьку на улице с моей Хавой, с третьей дочерью, следующей за Годл. Увидав меня, парень повернулся, снял передо мною шапку и ушел. Спрашиваю у Хавы:

— Что тут делал Федька?

— Ничего! — говорит.

— Что значит «ничего»?

— Мы разговаривали! — отвечает она.

— А что общего у тебя с Федькой? — спрашиваю я.

— Мы, — говорит она, — знакомы уже давно.

— Поздравляю тебя с таким знакомством! — говорю я. — Хорошая компания для тебя — Федька!

— А ты разве его знаешь? — отвечает она. — Знаешь, кто он такой?

— Кто он такой, я не знаю, — говорю я, — родословной его не видал. Но понимать — понимаю, что

он, должно быть, очень знатного рода: отец его, наверное, был либо пастух, либо сторож, либо просто пьяница...

Тогда она мне заявляет:

— Кем был его отец, я не знаю и знать не хочу, — для меня все люди равны. Но то, что сам он человек необыкновенный, это я знаю наверняка...

— А именно? — спрашиваю я. — Что же он за человек такой? А ну-ка, послушаем...

— Я бы сказала тебе, да ты не поймешь. Федька — это второй Горький.

— Второй Горький? А кто же такой был первый Горький?

— Горький, — отвечает она, — это нынче чуть ли не первый человек в мире!..

— Где же он обретается, — говорю я, — твой мудрец, чем он занимается и что он проповедует?

— Горький, — отвечает Хава, — это знаменитый писатель, сочинитель, то есть он книги пишет, и к тому же редкий человек, чудесный, замечательный, честный, тоже из простонародья, нигде не учился, все самоучкой... Вот его портрет.

При этом Хава достает из кармана карточку и показывает мне.

— Вот это, — говорю, — и есть твой праведник, реб Горький? Готов поклясться, что я его где-то видал: не то мешки на станции грузил, не то бревна в лесу таскал...

— Что ж, это, по-твоему, недостаток, если человек своими руками хлеб добывает? А ты сам не трудишься? А мы не трудимся?

— Да, да, — отвечаю я. — Конечно, ты права! В писании прямо так и сказано: «От трудов рук своих будешь кормиться» — не будешь трудиться, — есть не будешь. Однако я все же не понимаю, чего здесь надо Федьке? По-моему, лучше бы ты была с ним знакома на расстоянии. Ты не должна забывать, — говорю, — «откуда пришел и куда идешь», — кто такая ты и кто он.

— Бог, — говорит Хава, — создал всех людей равными.

— Да, да! Бог создал Адама по образу и подобию своему. Нельзя, однако, забывать, что каждый должен искать себе ровню, как в писании сказано: «Каждый по достатку своему».

— Удивительное дело! — перебивает она меня. — На все у тебя имеется изречение. А нет ли у тебя изречения насчет того, что люди сами поделили себя на евреев и неевреев, на господ и рабов, на богачей и нищих?

— Те-те-те! — отвечаю я. — Это ты, дочка, больно далеко хватила!

И объясняю ей, что так уж повелось на земле с первых дней сотворения мира.

— А почему так повелось?

— Потому что бог так создал мир!

— А почему бог так создал мир?

— Ну, знаешь, — отвечаю я. — Если мы начнем спрашивать, отчего да почему, так вопросам конца не будет!

— На то, — говорит она, — бог и дал нам разум, чтобы мы вопросы задавали...

Тогда я ей говорю:

— Есть у нас обычай: если курица петухом петь начинает ее сейчас же к резнику волокут, как в молитве сказано: «Дарующий разум петуху...»

— А не хватит ли горланить? — вмешивается вдруг моя Голда, выходя из дому. — Уже час, как борщ на столе, а он все заливается!

— Вот те и здравствуй! Недаром мудрецы говорят: «У бабы слов — девять коробов». Тут о серьезных вещах толкуют, а она со своим молочным борщом!

— Молочный борщ, — отвечает Голда, — может быть, такая же серьезная вещь, как и все твои серьезные вещи...

— Поздравляю! — говорю я. — Новый философ выискался, прямо из-под печки! Мало того что дочери такими умными сделались, так и жена Тевье стала через трубу в небо летать!

— Уж раз заговорили про небо, так провались ты сквозь землю!

Как вам нравится такое приветствие, да еще натощак?

Словом, давайте, как пишется в книжках, оставим царевича и возьмемся за царевну, то есть за попа...

Однажды под вечер еду я домой с порожними крынками и у самой деревни встречаю его. Сидит на кованой бричке, сам правит лошадьми, а расчесанная борода развевается по ветру. «Ах ты, черт побери, думаю, хороша встреча!»

— Добрый вечер! — говорит он. — Не узнал меня, что ли?

— Скоро разбогатеете, батюшка! — отвечаю, снимаю шапку и хочу ехать дальше.

— Погоди немного, Тевль, — говорит он. — Куда ты так торопишься? Я хочу сказать тебе пару слов.

— Ну что ж! — отвечаю. — Если хорошее что-нибудь, пожалуйста! А если нет, — можно и до другого раза отложить.

— А что у тебя называется «до другого раза»?

— До другого раза, — говорю я, — это до пришествия мессии.

— Мессия, — отвечает он, — уже пришел...

— Ну, это мы уже слыхали не раз. Вы бы, батюшка, что-нибудь новое придумали...

— А я как раз и собираюсь! — отвечает он: — Хочу поговорить с тобой о тебе самом, то есть о твоей дочери...

Екнуло у меня сердце: какое ему дело до моей дочери?

— Мои дочери, — говорю я, — упаси бог, не такие, чтобы за них говорить надо было: они и сами за себя постоять могут.

— Но тут, — отвечает он, — такое дело, что она сама о нем говорить не может. Тут должен говорить другой, потому что речь идет о весьма существенном, собственно, о ее судьбе...

— А кого, — говорю, — касается судьба моего дитяти? Мне кажется, уж если зашел разговор о судьбе, то я своей дочери отец до ста двадцати лет, не правда ли?

— Конечно, — отвечает он, — ты своему дитяти отец. Но только ты слеп, не видишь, что дитя твое рвется в другой мир, а ты ее не понимаешь, либо понимать не хочешь...

— Не понимаю ли я ее, или не хочу понимать, — об этом можно потолковать. Но вы-то тут причем, батюшка?

— Меня, — говорит он, — это очень даже касается, потому что она сейчас в моем распоряжении...

— Что значит — в вашем распоряжении?

— А то и значит, что она под моей опекой... — отвечает поп, глядя мне прямо в глаза и расчесывая свою красивую окладистую бороду.

— Кто? — подскочил я. — Мое дитя под вашей опекой? А по какому праву? — говорю и чувствую, что во мне все закипает.

— Ты только не горячись, Тевль! — отвечает он хладнокровно, с усмешкой. — Давай лучше спокойно обсудим это дело. Ты знаешь, я тебе, упаси бог, не враг, хоть ты и еврей. Ты, — говорит, — знаешь, что я евреев уважаю, и у меня душа болит за их упрямство, за то, что они так несговорчивы и понять не хотят, что им добра желают.

— О доброжелательстве, батюшка, — отвечаю я, — вы со мной лучше не говорите, потому что каждое слово ваше для меня сейчас капля смертельного яда, пуля в сердце. Если вы мне действительно друг, как вы говорите, то прошу вас только об одном: оставьте мою дочь в покое...

— Ты глупый человек! — говорит он. — С дочерью твоей, упаси бог, ничего плохого не случится. Ее ждет счастье, она выходит замуж за хорошего человека, мне бы такую жизнь...

— Аминь! — отвечаю я будто в шутку, а у самого ад в сердце. — Кто же он, к примеру, жених этот, если я достоин знать?

— Да ты его, наверное, знаешь. Это очень славный, честный человек, образованный, хоть и самоучка; он влюблен в твою дочь и хочет на ней жениться, но не может, потому что он не еврей...

«Федька!» — подумал я, и точно огнем обожгла меня эта мысль, а затем холодным потом окатила, так что я еле усидел в тележке. Но показывать ему мое состояние — это уж извините, этого ему, положим, не дождаться! Натянул я вожжи, хлестнул своего конягу и — айда восвояси, даже не попрощался...

Приезжаю домой, — батюшки! Все вверх дном. Дети уткнулись в подушки и ревут. Голда — чуть жива... Ищу Хаву... Где Хава? Нет Хавы! Спрашивать, где она, не хочу. Что уж тут спрашивать, горе мое! Чувствую адскую муку, горит во мне злоба, а против кого, и сам не знаю... Вот взял бы, кажется, и сам себя отхлестал. Набрасываюсь на детей, вымещаю свою горечь на жене. Места себе не нахожу. Иду в хлев корма подсыпать лошади, вижу, запуталась она, одной ногой по ту сторону колоды стоит. Вскипел я, схватил палку и стал ее отчитывать, колошматить почем зря: «Чтоб ты сгорела, дохлятина! Овса захотелось? Припасен для тебя овес, как же! Чтоб ты так жила! Горе мое, если хочешь, могу тебе дать, напасти мои, несчастья, болячки!»

Ругаю ее, беднягу, однако спохватываюсь: а она-то в чем виновата? С чего я на нее накинулся? Подсыпаю ей немного сечки, «а в субботу, говорю, даст бог, сено тебе на картинке покажу...» Возвращаюсь в дом и ложусь, зарываюсь в подушку, сам с кровавой раной в груди, а голова — голова раскалывается от дум, от вопросов: «Что все это значит? В чем вина моя и прегрешение мое? Чем я, Тевье, провинился больше всех на свете? За что меня карают суровее кого-либо другого? Ах ты господи, господи, владыко вселенной! Что мы и что наша жизнь? Кто я такой, что ты все время помнишь обо мне, не упускаешь меня из виду и ни одним горем и несчастьем, ни одной бедой и напастью не обходишь меня?»

Лежу эдак вот, как на горячих углях, размышляю и слышу, как жена моя, бедняжка, стонет, — прямо за сердце хватает.

— Голда, — говорю, — ты спишь?

— Нет, — отвечает, — а что?

— Ничего, — говорю, — скверно, Голда... Хоть

сквозь землю провались! Может быть, посоветуешь, что делать?

— У меня, — отвечает, — советов спрашиваешь? Горе мое горькое! Встает утром дитя, здоровое, крепкое, одевается и вдруг бросается ко мне на шею, целует, обнимает и ничего не говорит. Я думала, она, упаси бог, рехнулась! Спрашиваю: «Что с тобой, доченька?» Не отвечает. Выбегает на минутку к коровам и — нет ее. Жду час, два, три, — где Хава? Нет Хавы! Тогда я говорю детям: «А ну-ка, сбегайте на минутку к попу!..»

— А откуда ты, Голда, — говорю я, — знала, что она у попа?

— Откуда, — отвечает, — я знала? Горе мне! Что же, глаз у меня, что ли, нету? Или я не мать?

— А если у тебя есть глаза, — говорю я, — и если ты мать, почему же ты молчала и мне ничего не говорила?

— Тебе говорить? А когда ты дома бываешь? Да если я и говорю, ты разве слушаешь? Тебе скажешь, а ты сейчас же изречением отвечаешь. Забиваешь голову изречениями, да тем и отделываешься.

Так говорит она мне, Голда то есть, и я слышу, как она плачет в темноте... Отчасти, думаю, она права, ибо что может понимать женщина? И болит у меня за нее сердце, слышать не могу, как она плачет и стонет.

— Вот видишь, Голда, — обращаюсь я к ней, — ты недовольна, что у меня про всякий случай изречение есть. Должен и на это ответить тебе изречением. Сказано у нас: «Как отец сжалится над детьми», — отец любит дитя свое. Почему, — я говорю, — не сказано: «Как мать сжалится над детьми своими»? Потому, что мать — это не отец; отец умеет по-иному с детьми разговаривать. Вот увидишь, завтра, даст бог, повидаюсь с ней...

— Дай-то бог, — говорит она, — чтобы ты с ней мог повидаться и с ним тоже. Он — человек неплохой, хоть и поп. Он добр к людям. Попросишь его, в ноги поклонишься, — может быть, он и сжалится.

— Кто? — говорю я. — Поп? Чтоб я ему в ноги

кланялся? С ума ты сошла или рехнулась? «Не отверзай уст своих дьяволу на потеху!» Не дождутся этого враги мои!

— Ну, вот видишь, — отвечает она, — опять ты за свое...

— А ты, — говорю, — что ж думала? Стану я у женщины на поводу ходить? Твоим бабьим умом жить буду?

В таких-то разговорах и прошла вся ночь. Еле дождался я первых петухов, встал, помолился, взял кнут и пошел к попу во двор... Женщина — это, конечно, всего только женщина, но куда же мне было идти? В могилу?..

Короче говоря, прихожу к попу во двор, и тут собаки устраивают мне встречу, хотят привести в порядок мой кафтан, попробовать мои икры — не придутся ли они по вкусу их зубам...

Счастье, что я захватил с собою кнут и растолковал им изречение: «Пусть пес зубов не точит», то есть: «Нехай собака даром не бреше...» На шум выбежали поп и попадья, с трудом разогнали веселую компанию и пригласили меня в дом. Приняли меня как почетного гостя, даже самовар хотели поставить. Я сказал, что самовар ни к чему, что мне нужно побеседовать с ним, с попом то есть, с глазу на глаз. Он, конечно, догадался, зачем я пришел, и мигнул жене, чтобы та, мол, потрудилась закрыть дверь с другой стороны. А я приступил к делу прямо, без всяких предисловий: пусть прежде всего скажет, верует ли он в бога? Затем пусть ответит, понимает ли он, что значит оторвать от отца любимое дитя? И еще пусть скажет, что, по его мнению, есть богоугодное дело, а что — грех? И еще одно хотел бы я у него узнать: какого он мнения о человеке, который врывается в чужой дом и хочет там все перевернуть, переставить стулья, столы и кровати?..

Он, конечно, оторопел и говорит:

— Тевль, ты человек умный, как же ты задаешь мне столько вопросов сразу и хочешь, чтобы я тебе тут же ответил? Погоди, я тебе отвечу на все по порядку.

— Нет, — говорю я. — Ты мне, батюшка дорогой, никогда на это не ответишь. Знаешь почему? Потому что все твои мысли я знаю наперед. Ты лучше скажи мне вот что: могу ли я еще надеяться увидеть свое дитя, или нет?

— Что значит «еще»? — всполошился он. — С твоей дочерью ничего плохого не случится! Наоборот...

— Знаю! — перебил я. — Знаю, вы хотите ее осчастливить? Но я не об этом говорю. Я хочу знать, где она и могу ли я ее видеть?

— Все что угодно, — отвечает он, — только не это!

— Ну, вот так и говорите! Коротко и ясно! Будьте здоровы и пусть господь воздаст вам сторицею!..

Пришел домой, застал свою Голду в кровати, лежит скрюченная, как черный клубок, и плакать уже не может.

— Встань, — говорю я ей, — жена моя, разуйся и сядем на пол — траур справлять по завету божьему. «Господь дал, господь и взял», — не мы первые, не мы последние. Пусть нам кажется, что никогда у нас никакой Хавы и не было... Или возьмем для примера Годл, которая ушла от нас невесть куда, бог знает, увидим ли мы ее когда-нибудь. Всевышний — бог милосердный, он ведает, что творит!

Изливаю я так свое горе и чувствую, что слезы душат меня, клубком к горлу подкатываются. Но Тевье — не баба. Тевье сдерживает себя. Положим, это только так говорится «сдерживает себя», потому что, во-первых, вы только подумайте, какой позор... А во-вторых, как же можно сдерживать себя, когда теряешь такое дитя, такой брильянт, такую дочь, которая чуть ли не больше всех детей дорога сердцу моему и сердцу матери? Почему, я и сам не знаю. Может быть, потому что в детстве она часто и подолгу хворала, перетерпела, бедняжка, всяческие муки. Мы просиживали над нею ночи напролет, не раз прямо-таки вырывали ее из рук смерти, отхаживали, как отхаживают полурастоптанного цыпленочка, — ибо если бог захочет, он из мертвых воскрешает, как в молитве сказано: «Не умру, но жить

буду!» — если не суждено умереть, то не умирают. А может быть, потому что она такая ласковая, преданная, всегда любила нас обоих всем сердцем, всей душой. Спрашивается, как же она могла причинить нам горе? Но такова уж, видать, наша доля. Не знаю, как вы, а я верю в судьбу. А во-вторых, это — наваждение, порча, вроде колдовства! Можете смеяться надо мной, но уверяю вас, — я вовсе не такой отпетый дурак, чтобы верить в чертей, в домовых и прочую нечисть. А в колдовство, понимаете ли, верю, ибо что же это, если не колдовство? Вот послушайте, что дальше было, — и вы со мною согласитесь...

Словом, если сказано в наших священных книгах: «Не своею волею жив человек» — сам себя человек жизни не лишает, — то говорится это недаром: нет на свете раны, которая бы не залечилась, и нет горя, которое не было бы забыто. То есть забыть не забудешь, но что поделаешь? «Человек животному подобен», — человек должен трудиться, маяться, горе мыкать ради куска хлеба. Принялись мы, знаете ли, все за работу: жена и дети — за крынки, я — за тележку и конягу, и — «все в мире по заведенному порядку» — жизнь идет своим чередом. Наказал я в доме, чтобы имя Хавы никто не смел упоминать, — нет Хавы! Вычеркнута — и кончено! Собрал я немного свежего товара и отправился в Бойберик к своим покупателям.

Приехал в Бойберик — все обрадовались:

— Как поживаете, реб Тевье? Что это вас не видать?

— Да как мне поживать? — отвечаю. — Сказано: «Обнови дни наши яко встарь!». Тот же неудачник, что и прежде. Коровка у меня пала...

— И что это, — говорят они, — с вами всякие чудеса случаются?

И каждый в отдельности расспрашивает меня, какая коровка пала, и сколько она стоила, и сколько коров у меня еще осталось... И посмеиваются при этом, развлекаются... Известно, богачи любят пошутить над бедняком неудачником, особенно после обеда, когда на душе спокойно, а на дворе жарко, и

зелено, и дремать хочется... Но Тевье не из тех, с кем можно шутки шутить. Дудки, мол, так вы и узнали, что у меня на душе творится! Покончив с покупателями, пустился я порожняком в обратный путь. Еду лесом, лошадке волю дал, пускай себе плетется да украдкой травку пощипывает... А сам углубился в свои думы, и всякие мысли приходят мне на ум: о жизни и о смерти, об этом и о том свете, и что такое мир божий, и для чего живет человек... Размышляю, стараюсь рассеяться, чтобы не думать о ней, о Хаве... Но как назло, в голову лезет именно она, только она. То вижу ее высокую, красивую и стройную, как сосна, а то — наоборот, представляется мне, как я держу ее на руках, маленькую, болящую, дохлятинку, и она, словно цыпленок, склонила головку ко мне на плечо: «Чего тебе, Хавеле? Дать хлебушка кусочек? Молочка?» И забываю на минуту все, что она натворила, и тянет меня к ней, и душа болит, тоскует... Но лишь вспомню, — кровь во мне закипает, огнем разгорается злоба и на нее, и на него, и на весь мир, и на себя самого: почему я не могу забыть о ней ни на минуту, почему не могу вычеркнуть, вырвать ее из сердца? Не заслужила она разве этого? Для того ли должен Тевье всю свою жизнь маяться, горе мыкать, носом землю рыть, детей растить, чтобы они потом вдруг отрывались и опадали, словно шишки с дерева, и чтобы заносило их ветром невесть куда? Вот, к примеру, думаю я, растет дерево в лесу, дуб... И приходит человек с топором, отрубает ветвь, вторую, третью... А что такое дерево без ветвей? Взял бы ты лучше, человече, подрубил бы дерево под корень — и дело с концом! Зачем оголенному дереву в лесу торчать?!

Размышляю я таким образом и вдруг чувствую, что лошаденка моя остановилась — стоп! В чем дело? Поднимаю голову, гляжу — Хава! Та же Хава, что и прежде, ничуть не изменилась, даже платье на ней то же!.. Первое, что приходит на мысль, — соскочить с телеги, обнять ее, поцеловать... Но тут же спохватываюсь: «Тевье, ты что — баба?» Дергаю вожжу: «Но, растяпа!» — и сворачиваю вправо. Смотрю, — и

она вправо и рукой машет, будто говоря: «Погоди минутку, мне сказать тебе кое-что нужно...» И что-то внутри у меня обрывается, руки и ноги не слушаются... Вот-вот с телеги спрыгну! Однако сдерживаю себя и сворачиваю влево. Она тоже влево, смотрит на меня дикими глазами, лицо у нее помертвело...

«Что делать? — думаю. — Стоять, или дальше ехать?» Но не успеваю оглянуться, как она уже держит коня за уздечку и говорит:

— Отец! Пусть я умру, если ты с места сдвинешься! Прошу тебя, выслушай меня прежде, отец дорогой! Папа!

«Эге! — подумал я. — Силой взять меня хочешь? Нет, душа моя! Не знаешь ты, видать, отца своего...» И давай нахлестывать лошаденку на чем свет стоит! Лошаденка тронула с места, скачет, но то и дело голову назад поворачивает да ушами прядает.

— Но-но! — говорю я. — «Не приглядывайся к посудине» — не смотри, умник мой, куда не следует!..

А самому, думаете, разве не хочется мне обернуться, хоть одним глазом посмотреть на то место, где она осталась? Но нет, Тевье — не женщина. Тевье знает, как обходиться с дьяволом искусителем...

Словом, не буду растягивать — жаль вашего времени. Если суждены мне загробные муки, то я, конечно, их уже отбыл, а что такое ад, геенна огненная и прочие ужасы, которые в наших священных книгах описываются, — об этом спросите меня, я вам расскажу. Всю дорогу мне казалось, что она бежит следом и кричит: «Выслушай меня, отец-родитель!» Мелькнула мысль. Тевье! Не слишком ли много ты берешь на себя? Что тебе сделается, если ты остановишься на минутку и выслушаешь, чего она хочет? Может быть, она сказала бы такое, что тебе следовало бы знать? Может быть, она, чего доброго, раскаивается и хочет вернуться? Может быть, ей с ним жизнь невтерпеж и она просит тебя помочь ей вырваться из ада?.. Быть может то, быть может другое, множество таких «бытьможетей» проносится у меня в голове, и я снова вижу ее ребенком, и вспоминается изречение: «Как отец сжалится над детьми

своими», — нету, мол, у отца плохого дитяти, и мучаюсь я, и сам о себе говорю, что «жалости недостоин» — не стою я того, что земля меня носит! В чем дело? Чего ты горячишься, сумасшедший упрямец? Чего шумишь? Повороти, изверг, оглобли, помирись с ней, ведь она — твое дитя, ничье больше!.. И приходят мне в голову какие-то необыкновенные, странные мысли: «А что такое еврей и нееврей? И зачем бог создал евреев и неевреев? А уж если он создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от бога, а другие — не от бога?» И досадно мне, почему я не так сведущ, как иные, в книгах, почему не так учен, чтобы найти толковый ответ на все эти вопросы.

И, чтобы рассеяться, я начинаю предвечернюю молитву: «Блаженны восседающие в чертогах твоих и славящие тебя вовеки!» Молюсь, как полагается, вслух, с напевом.

Но что толку от моей молитвы, от напевов, когда в глубине души звучит совсем другое: «Ха-ва! Ха-ва!» И чем громче я пою «блаженны», тем громче поет во мне «Ха-ва», и чем больше я хочу забыть о ней, тем больше и ярче встает она передо мною, и кажется мне, что я слышу ее голос, взывающий: «Выслушай меня, отец!» Затыкаю уши, чтобы не слышать, закрываю глаза, чтобы не видеть, читаю молитву и не слышу, что произносят мои уста, бью себя в грудь и не знаю за что... И вся моя жизнь расстроена, и сам я расстроен, и никому не говорю об этой встрече, и никого не расспрашиваю о ней, о Хаве, хотя знаю, хорошо знаю, где она и где он и что они делают... Но никогда и никто от меня ничего не узнает! Не дождутся враги мои, чтобы я кому-нибудь пожаловался! Вот какой человек Тевье!

Хотелось бы мне знать, все ли мужчины таковы, или это я один такой сумасшедший? Вот, к примеру, иногда бывает... Не будете смеяться надо мной? Боюсь — будете... Иной раз, бывает, надену субботний кафтан и отправляюсь на станцию... Готов уже сесть в поезд и поехать к ним, — я знаю, где они

живут. Подхожу к кассиру и прошу дать мне билет. «Куда?» — спрашивает он. «В Егупец», — отвечаю. А он: «Такого города нет у меня...» — «В таком случае я не виноват...» — говорю я и возвращаюсь домой. Снимаю субботний кафтан и снова за работу... Как там говорится: «Каждый за свое дело, всяк за свою работу», — портной — за ножницы, сапожник — за верстак... Смеетесь надо мной? Я так и говорил. Я даже знаю, что вы думаете. Вы думаете: «Не все дома у Тевье!..»

Поэтому я полагаю, что хватит на сей раз. Будьте здоровы и пишите письма. Но, ради бога, не забывайте, о чем я вас просил: ни слова об этом! То есть книжки из этого не делайте! А уж если придется писать, пишите о ком-нибудь другом, не обо мне. Обо мне забудьте. Как в писании сказано: «И позабыл его», — нет больше Тевье-молочника!

1906

ШПРИНЦА

Большой и сердечный привет вам, пане Шолом-Алейхем! Мир вам, вам и детям вашим! Сто лет мы с вами не видались! Батюшки, сколько воды с тех пор утекло! Сколько горя оба мы, да и весь народ наш, пережили за эти несколько лет. Кишинев, «коснетуция», погромы, беды да напасти *, — ах ты господи владыко небесный! Я даже удивляюсь вам, — извините, что прямо скажу, — ведь вы же и на столечко не изменились, — тьфу, тьфу, не сглазить бы! А на меня взгляните: шестидесяти еще нет, а как поседел Тевье! Шутка ли, «муки воспитания детей» — чего только от них не натерпишься! А кому еще на долю выпало столько горя из-за детей, сколько мне? У меня новая беда стряслась — с дочкой Шпринцей, да такая беда, что ее и сравнить нельзя с тем, что было раньше. И тем не менее, как видите, ничего, живем... Как это там сказано: «Не по своей воле жив человек», — хоть лопни, а напевай песенку:

Что мне жизнь и что мне целый свет,
Если нету счастья, если денег нет?

Словом, как в писании сказано: «И возжелал всевышний удостоить своей милостью», — захотел господь бог облагодетельствовать своих евреев, и свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье —

коснетуция. Ну и коснетуция! Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились наутек из Егупца за границу, теплые воды придумали, нервы, соляные ванны, вчерашний день, прошлогодний снег... Ну, а коль скоро из Егупца разъехались, так уж и Бойберик с его воздухом, лесом и дачами насмарку пошел... Но велик наш бог, чье око не дремлет и неусыпно следит, как бы бедняки не перестали мучиться на белом свете, — и выдалось у нас лето — ай-ай-ай! Понаехали к нам в Бойберик из Одессы, из Ростова, из Екатеринослава, из Могилева, из Кишинева тысячи богачей, толстосумов, миллионщиков! Видать, коснетуция эта самая там еще свирепее, чем у нас в Егупце, потому что бегут оттуда беспрестанно, бегут без оглядки. Вы, пожалуй, спросите, чего они бегут к нам? На это есть один ответ: наши чего бегут к ним? Так уж, слава богу, повелось: чуть только заговорят о погромах, евреи начинают метаться из одного города в другой, как в писании сказано: «И ехали, и отдыхали, отдыхали и снова ехали», — что означает — вы к нам, а мы к вам... Между тем Бойберик, можете себе представить, превратился в большой город, полно народу, женщин и детей. А дети любят покушать, им молоко да масло подавай... А где взять молочное, как не у Тевье? Короче говоря, Тевье вошел в моду. Со всех сторон: Тевье и Тевье! Реб Тевье, пожалуйста, сюда! Реб Тевье, зайдите ко мне! Шутка ли, когда бог захочет...

Однажды случилось такое дело. Было это накануне пятидесятницы. Приехал я со своим товаром к одной из моих покупательниц, к молодой богатой вдове из Екатеринослава. Поселилась она в Бойберике на лето с сыном Арончиком и, сами понимаете, первым делом познакомилась со мной.

— Мне, — говорит она, вдова-то есть, — вас рекомендовали. У вас, говорят, самые лучшие молочные продукты.

— Еще бы! — отвечаю. — Недаром царь Соломон сказал, что доброе имя гремит по свету, аки трубный глас. А если хотите, — говорю, — могу вам рассказать, как толкует это место мидраш...

Но она, вдова то есть, перебивает меня и говорит, что она — вдова и в таких вещах мало сведуща. Не знает, мол, с чем это едят... Главное, чтобы масло было свежее и творог вкусный... Ну, поди поговори с женщиной!

Словом, я стал бывать у екатеринославской вдовы дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, точно по календарю. Доставляю товар, даже не спрашиваю, нужно или не нужно. Стал своим человеком и по обыкновению начал приглядываться к порядкам в доме, сунул нос на кухню, сказал раз-другой то, что считал нужным сказать. Поначалу, как водится, прислуга меня осадила, чтоб не вмешивался, чтоб не заглядывал в чужие горшки. В другой раз, однако, прислушались к моим словам, а там и советоваться со мной стали: вдова разглядела, кто такой Тевье. Дальше — больше, и вот однажды открыла она мне свое сердце. С Арончиком у нее беда! Помилуйте, парню двадцать с лишним лет, а у него одни лошади да «лисапед» на уме, да еще рыбная ловля, а больше, говорит, он знать ничего не желает. Слышать не хочет ни о делах, ни о деньгах. Отец оставил ему приличное наследство, почти что миллион, а он даже не интересуется! Только и знает — тратить, руки у него, говорит, дырявые!

— Где он, — спрашиваю, — ваш сынок? Давайте-ка его сюда, я с ним немного потолкую, поучу его малость уму-разуму, приведу парочку изречений?

А она смеется:

— Что вы! Вы ему коня приведите, а не изречение!

Говорим мы, и вдруг посреди нашего разговора «появилось дитятко» — пожаловал Арончик собственной персоной... Здоровенный такой детина, стройный, как сосна, кровь с молоком. Широкий пояс прямо, извините, на штанах, часики в кармашке, рукава засучены повыше локтей.

— Где ты был? — спрашивает мать.

— Катался на лодке, — отвечает, — рыбу удил...

— Прекрасное занятие, — говорю я, — для такого

паренька, как вы. Тут могут весь дом разнести, а вы там будете рыбку ловить!

Взглянул я на мою вдову, — покраснела как маков цвет, даже в лице изменилась. Наверное, думала, что сынок схватит меня ручищей за шиворот, надает, сколько влезет, оплеух и вышвырнет, как битый горшок... Глупости! Тевье таких штук не боится! У меня — что на уме, то на языке!

И что же вы думаете? Услыхав такие речи, парень отступил на шаг, заложил руки за спину, свистнул как-то по-особенному, окинул меня взглядом с головы до пят да вдруг как расхохочется! Мы даже испугались, — уж не рехнулся ли часом? И — знаете, что я вам скажу? — с этих самых пор мы с ним подружились, лучшими приятелями стали! Должен признаться: парень мне с каждым разом все больше нравился. Правда, — мот, шалопай, деньгам счета не знает и к тому же с придурью. Встретит, к примеру, нищего, сунет руку в карман и подаст, не считая. Ну, кто так делает? Или снимет с себя пальто, целехонькое, новенькое и отдаст первому встречному... Ну, что говорить, когда у человека не все дома! Мать, бедную, от души было жаль! Плачется мне, бывало, — что делать? Просит меня, чтобы я с ним потолковал. Я, конечно, готов: жалко мне, что ли? Денег стоит? Принимался рассказывать ему истории, приводил примеры, изречения, притчи, — как Тевье умеет. А он как раз любил меня послушать, расспрашивал о моем житье-бытье, какие у меня порядки в доме.

— Хотел бы я, — говорит он однажды, — как-нибудь побывать у вас, реб Тевье.

— За чем же дело стало? Хотите побывать у Тевье, прокатитесь разок ко мне на хутор. У вас достаточно лошадей и лисапедов. А в крайнем случае можно и пешком пройтись, — авось ноги не отвалятся! Это недалеко, только лес пересечь...

— А когда, — спрашивает он, — вы бываете дома?

— Меня, — говорю, — можно застать дома только в субботу или в праздник. Погодите-ка, знаете что? В будущую пятницу у нас пятидесятница. Если

хотите, прогуляйтесь к нам на хутор, моя жена угостит вас молочными блинчиками, да такими... — и добавляю по древнееврейски: — каких наши предки и в Египте не едали...

— Что это значит? — спрашивает он. — Вы же знаете, что по части древнееврейского я не очень-то силен.

— Знаю, — говорю, — что вы не очень-то сильны. Если бы вы учились в хедере, как я когда-то учился, вы бы тоже кое-что кумекали...

Рассмеялся он и говорит:

— Ладно! Буду вашим гостем: в первый день праздника приеду, реб Тевье, кое с кем из моих знакомых к вам на блинчики, только уж вы, — говорит, — смотрите, чтоб горяченькие были!

— С пылу, с жару! — отвечаю. — Со сковородки — прямо в рот!

Приезжаю домой и говорю своей старухе:

— Голда, у нас будут гости на праздник.

— Поздравляю! — отвечает. — Кто такие?

— Об этом после узнаешь, — говорю. — Ты приготовь побольше яиц; сыра и масла у нас достаточно. Напечешь блинчиков на три персоны, но на такие персоны, которые не дураки покушать, а в писании ничего не смыслят!

— Наверное, — говорит она, — напросился какой-нибудь растяпа из голодающей губернии?

— Глупая ты, Голда! Во первых, — говорю, — не велика беда, если мы бедного человека накормим праздничными блинчиками. А во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя супруга, благочестивая и смиренная госпожа Голда, что одним из наших гостей будет сынок вдовы, тот самый Арончик, о котором я тебе рассказывал.

— Ну, — отвечает она, — это совсем другое дело!

Вот она, сила миллионов! Даже моя Голда, едва почует деньги, совсем другим человеком становится. Таков мир, что и говорить! Как это в молитве сказано: «Сребро и злато — дело рук человеческих», — деньги губят человека...

Короче, — наступил радостный, зеленый праздник. О том, какая красота у меня на хуторе в эту пору, как там зелено, светло и тепло, вам рассказывать нечего. Самый крупный богач у вас в городе мог бы пожелать себе иметь такое голубое небо, такой зеленый лес, такие пахучие сосны, такую чудесную траву — корм для коровок, которые стоят, жуют и смотрят вам в глаза, будто желая сказать: «Вы нас всегда такой травкой кормите, а уж молока мы вам не пожалеем».

Нет, говорите что хотите, предложите мне самое прибыльное дело, но если для этого понадобится переехать из деревни в город, я с вами не поменяюсь. Где у вас в городе такое небо? Как в молитве говорится: «Небеса — чертог господен», — только богу под стать такое небо! В городе, если голову задерешь, — что увидишь? Дом, крышу, трубу. Но разве есть там такие деревья? А уж если и попадется деревцо, так вы на него хламиду напяливаете.

Одним словом, гости мои налюбоваться не могли, когда ко мне на хутор приехали. Прибыли они, четыре молодца, верхом. Лошадки — одна другой лучше. А уж под Арончиком была лошадка... Жеребец! Настоящий мерин! За триста рублей такого не купишь.

— Милости просим, дорогие гости! — говорю я. — Это вы что же ради праздника решили верхом прокатиться? * Да ладно! Тевье не такой уж праведник, а если вас, даст бог, на том свете посекут за это, — не мне больно будет... Эй, Голда! Присмотри-ка там, чтобы блинчики были готовы, и пусть вынесут стол сюда, во двор, в доме мне перед гостями хвастать нечем... Эй, Шпринца, Тайбл, Бейлка! Куда вы там запропастились? Пошевеливайтесь!

Командую я эдак, и вот вынесли стол, стулья, скатерть, тарелки, ложки, вилки, соль и тут же — Голда моя с блинчиками, горячими, пламенными, прямо со сковороды, вкусными, жирными — объедение! Гости мои нахвалиться не могут...

— Чего ты стоишь? — говорю я жене. — Повторить надо ради праздника! Сегодня у нас пятидесят-

ница, а в этот день стих «хвалю тебя» произносят дважды!

Голда, недолго думая, снова наполняет миску, а Шпринца подает к столу. Вдруг посмотрел я на моего Арончика и вижу, что он загляделся на мою Шпринцу — глаз с нее не сводит. Что он такое на ней увидел?

— Кушайте! — говорю я ему. — Почему вы не едите?

— А что же я, по-вашему, делаю? — спрашивает он.

— Вы, — говорю, — смотрите на мою Шпринцу...

Поднялся хохот, все смеются, смеется и Шпринца. И всем весело, радостно... Чудесный, славный праздник! Поди знай, что радость эта обернется бедой, несчастьем, горем, наказанием божьим на мою голову!.. Но что говорить! Человек глуп! Человек разумный не должен все принимать близко к сердцу, надо понимать, что как есть, так и следует быть. Ибо, если бы должно быть иначе, то и было бы не так, как есть. Разве не читаем мы в псалмах: «Уповай на бога», — ты, мол, только понадейся на него, а уж он постарается, чтоб тебя в три погибели согнуло... Да еще скажешь: «И то благо!» Послушайте, что может случиться на белом свете, но прошу вас, слушайте внимательно, так как только сейчас и начинается настоящая история.

«И бысть вечер, и бысть утро», — однажды вечером приезжаю домой распаренный, измученный беготней по дачам в Бойберике и застаю во дворе около дома привязанного к дверям знакомого коня. Готов поклясться, что это конь Арончика, тот самый мерин, которого я в триста целковых оценил. Подошел я к нему, шлепнул его по боку, пощекотал шею, гриву потрепал. «Приятель, говорю, друг сердечный, что ты тут делаешь?» А он повернул ко мне свою славную морду и смотрит умными глазами, будто сказать хочет: «Что меня спрашивать? Хозяина спроси». Вхожу в дом и принимаюсь за жену:

— Скажи-ка мне, Голда-сердце, что тут делает Арончик?

— А я почем знаю? — отвечает она. — Ведь он из твоих дружков.

— Где же он?

— Ушел, — говорит, — с детьми в рощу на прогулку.

— Что за прогулки ни с того ни с сего? — говорю и велю подавать на стол.

Поужинал и думаю: «Чего ты, Тевье, так расстроен? Человек приходит к тебе в гости, что же тут волноваться? Наоборот...»

А в это время гляжу: идут мои девицы с этим молодчиком, в руках букеты, впереди обе младшие — Тайбл и Бейлка, а позади Шпринца с Арончиком.

— Добрый вечер!

— Здравствуйте!

Арончик подошел ко мне — какой-то странный, поглаживает коня, жует травинку.

— Реб Тевье, — говорит он, — хочу с вами дело сделать. Давайте лошадками поменяемся.

— Не нашли, — говорю, — над кем смеяться?

— Нет! — отвечает. — Я это серьезно.

— Вот как? Серьезно? Сколько же, примерно, стоит ваша лошадка?

— А во сколько, — спрашивает, — вы ее цените?

— Я ценю ее, боюсь сказать, рублей в триста, а может быть, и с гаком!

А он смеется и говорит, что конь стоит больше чем втрое. И опять:

— Ну как? Меняемся?

Не понравился мне этот разговор: ну, что это значит — он хочет выменять своего коня на мою развалину? Предложил я ему отложить дело до другого раза и спрашиваю в шутку: неужто он специально ради этого приехал? «Если так, говорю, то зря потратились...» А он мне серьезно:

— Приехал я к вам, собственно, по другому делу. Если вам угодно, пойдемте немного прогуляемся.

«Что за прогулки такие?» — подумал я и направился с ним в рощу. Солнце уже давно село. В роще темновато, лягушки у плотины квакают, от травы аромат — благодать! Арончик идет, и я иду, он

молчит, и я молчу. Наконец он останавливается, откашливается и говорит:

— Что бы вы сказали, реб Тевье, если бы я, к примеру, сообщил вам, что люблю вашу дочь Шпринцу и хочу на ней жениться?

— Что бы я сказал? — говорю. — Я бы сказал, что одного из сумасшедших надо вычеркнуть, а вас вписать...

Посмотрел он на меня и спрашивает:

— Что это значит?

— А вот то и значит! — говорю.

— Не понимаю.

— Значит, — говорю, — сметки не хватает. Как в писании сказано: «Очи мудреца в голове его...» Понимать это надо так: — умному — мигнуть, а глупому — палкой стукнуть...

— Я говорю с вами прямо, — отвечает он обиженно, — а вы все шуточками да изречениями отделываетесь...

— Ну что же, — говорю я. — Каждый кантор посвоему поет, а каждый проповедник для себя проповедует... Если хотите знать, что вы проповедуете, переговорите прежде всего со своей мамашей, — уж она вам все обстоятельно разъяснит...

— Что же я, по-вашему, мальчишка, который должен у мамы спрашиваться?

— Конечно, — говорю, — вы должны спроситься у матери. А мать вам, наверное, скажет, что вы не в своем уме, и будет права.

— И будет права?

— Конечно, — говорю, — будет права. Посудите сами, какой же вы жених для моей Шпринцы? Разве она вам ровня? А главное, каково-то вашей матери породниться со мною?

— Ну, если так, — отвечает он, — то вы, реб Тевье, глубоко ошибаетесь. Я не восемнадцатилетний мальчик и вовсе не намерен подыскивать родственников для моей мамаши. Я знаю, кто вы такой и кто ваша дочь... Она мне нравится, я так хочу, и так оно и будет!

— Извините, — говорю, — что перебиваю. С одной стороной, насколько я вижу, вы уже поладили. А как обстоит дело с другой стороной?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я имею в виду, — говорю, — свою дочь, Шпринцу... С ней вы уже говорили? Что она вам сказала?

А он будто обиделся и говорит с улыбкой:

— Ну, что за вопрос! Конечно, говорил с ней и не один, а несколько раз. Ведь я сюда каждый день приезжаю.

Понимаете? Он ежедневно сюда приезжает, а я даже не знаю об этом? Эх, Тевье, Тевье! Голова садовая! Ведь тебя соломой кормить надо! Если ты так дашь себя за нос водить, тебя и купят и продадут ни за грош, осел ты эдакий!

Подумал я так и повернул с Арончиком к дому. Распрощался он с моей командой, вскочил на коня и — марш в Бойберик.

Теперь оставим, как вы в своих книжках пишете, царевича и примемся за царевну, за Шпринцу то есть...

— Скажи-ка мне, дочка, хочу я тебя спросить, — говорю я ей, — расскажи-ка мне, пожалуйста, о чем это с тобой договорился Арончик без моего ведома?

Но можно ли добиться ответа от дерева? Так и от нее! Покраснела, опустила глаза, как невеста, набрала полон рот воды и — молчок! Ладно, думаю, сейчас говорить не хочешь, после скажешь... Тевье — не баба: он и подождать может. Выждал я некоторое время, потом как-то улучил минутку, когда остались мы нею с глазу на глаз, и говорю:

— Скажи мне, Шпринца, хочу тебя спросить: знаешь ли ты хотя бы этого Арончика?

— Конечно, знаю! — отвечает она.

— Знаешь ли ты, что он — свищик?

— Что значит свищик?

— Пустой орех, — говорю, — что свистит.

— Ошибаешься! — отвечает она. — Арнольд — хороший человек.

— Уж он, — говорю, — у тебя Арнольдом называется, а не Арончик-шарлатан.

— Арнольд, — отвечает она, — не шарлатан, у него сердце доброе. Арнольд живет среди низких людей, которые только и знают, что деньги да деньги!

— Вот как! — говорю. — И ты, Шпринца, уже стала философствовать? Ты тоже возненавидела деньги?

Словом, чувствую по разговору, что дело у них зашло довольно далеко, и спохватился я поздновато — назад не воротишь. Я свою публику знаю! Уж я вам как-то говорил, что дочери Тевье, будь они неладны, ежели прилипнут к человеку, так всем сердцем, всей душой! И подумал я: «Глупец! Всех на свете умнее хочешь быть? Может быть, это от бога? Может быть, так суждено, чтобы именно через эту вот тихоню Шпринцу ты был вознагражден за все удары и муки, что тебе пришлось перенести? Может быть, суждено тебе на старости лет обрести покой и почувствовать, что значит жить на белом свете? Может быть, суждено тебе иметь дочь-миллионщицу? А что? Не пристало тебе? Где это сказано, что Тевье должен всю жизнь бедствовать, таскаться с лошаденкой, доставлять сыр и масло егупецким богачам, заботиться, чтоб им было чего жрать? Кто знает, может быть, мне предначертано свыше, чтобы я на старости лет сотворил что-нибудь хорошее, сделался благотворителем, гостеприимным хозяином, а может быть, и вовсе засел бы с учеными людьми и занялся священными книгами?» Такие вот чудесные, золотые мечты лезут в голову... Как в молитве сказано: «Много дум в сердце человеческом», — или как наши мужики говорят: «Дурень думкою богатеет...» Захожу в дом, отзываю в сторону свою старуху и завожу с ней разговор:

— Что было бы, — говорю, — если бы наша Шпринца, к примеру, стала миллионщицей?

— А что это значит «миллионщица»?

— Миллионщица значит — жена миллионщика!

— А что такое миллионщик?

— Миллионщик, — говорю я, — это человек, у которого есть миллион...

— А сколько это миллион?

— Если ты дура, — говорю я, — и не знаешь,

сколько это миллион, так о чем же с тобой разговаривать?

— А кто тебя просит разговаривать? — отвечает она.

И тоже права. Словом, проходит день, приезжаю домой.

— Был Арончик?

— Нет, не был.

Еще день проходит.

— Был парень?

— Нет, не был...

Зайти под каким-нибудь предлогом к вдове мне неудобно: подумает, что Тевье набивается в родственники... Кроме того, я чувствовал, что для нее все это, «аки роза среди терниев», нужно ей это, как пятое колесо телеге. Хотя я не понимаю почему? Потому что у меня нет миллиона? Так ведь зато у меня теперь свойственница — миллионщица! А у нее свойственник — кто? Нищий, бедняк, Тевье-молочник? Кому же зазнаваться — мне или ей? Скажу вам по чистой совести, я стал желать этого брака, и не столько ради самого брака, сколько ради того, чтобы почувствовать себя победителем. «Черта бы их батьке с матерью, егупецким богачам, пускай знают, кто такой Тевье! До сих пор только и слыхать было, что Бродский да Бродский, будто остальные и не люди!»

Размышляю я так однажды по пути из Бойберика домой. Приезжаю, а навстречу мне старуха с радостной вестью: посыльный только-что был из Бойберика от вдовы, чтоб я обязательно сейчас же приехал туда, хотя бы среди ночи. «Все равно, запрягай и поезжай, ты там очень нужен!»

— Чего это им, — говорю, — так приспичило? Что это они так торопятся?

Взглянул я на Шпринцу. Молчит, но глаза ее говорят, — ох и говорят! Никто, как я, так не понимал ее сердца... Я все время боялся, — мало ли что, — а вдруг вся эта история кончится ничем! И наговаривал я на этого Арончика, как мог, — уж он, мол, такой и эдакий. Но я видел, что это как горохом об стенку, — Шпринца тает, как свеча.

Запряг я снова лошаденку и пустился обратно уже к вечеру в Бойберик. А по пути все думаю: «Чего это они меня так спешно вызывают? Насчет заручения? Или помолвки? Так ведь молодец, кажется, мог бы приехать ко мне? Ведь я все-таки отец невесты». Но тут же рассмеялся: где же это видано на белом свете, чтобы богач к бедняку первым шел? Конец света, что-ли, настал? Времена мессии наступили? Как вот эти, нынешние молодчики, меня уговорить хотят, — наступит, мол, скоро время: богач с бедняком сравняются, мое — твое, твое — мое? Все трын-трава! Мир как будто вовсе не так глуп, — а вот не перевелись же еще такие дураки! Эх-хе-хе!»

С такими вот мыслями добрался я до Бойберика и прямо на дачу, к вдове. Привязал лошаденку — где вдова? Нет никакой вдовы! Где парень? Нет никакого парня! Кто же меня звал?

— Я вас звал! — отвечает мне круглый, плотный человечек с выщипанной бородкой и толстой золотой цепочкой на брюшке.

— Кто же вы такой будете? — спрашиваю я.

— Я, — говорит он, — брат вдовы, Арончику дядей прихожусь. Меня депешей вызвали из Екатеринослава, я только-что приехал...

— В таком случае, — говорю, — с приездом вас!

Присаживаюсь, а он, увидев, что я сел, говорит:

— Садитесь!

— Спасибо, — говорю, — я уже сижу. Как же вы поживаете? Как там у вас насчет коснетуции?

На это он мне ничего не ответил, развалился в качалке, руки в карманы, выпятил вперед свое брюшко с цепочкой и обращается ко мне:

— Вас, кажется, зовут Тевье?

— Да, — говорю, — когда меня вызывают к свиткам торы, то провозглашают: «Прийди, реб Тевье, сын Шнеера-Залмана...»

— Послушайте, — начал он, — реб Тевье, что я вам скажу: к чему нам долгие разговоры? Давайте прямо приступим к делу.

— Ну что ж, — отвечаю. — Еще Соломон-мудрый говорил: «Всему свое время». Если нужно говорить о деле, давайте — о деле. Я человек деловой...

— Это, — говорит он, — видать, что вы человек деловой... Вот я и хочу поговорить с вами по-купечески... Хочу, чтобы вы мне сказали, только откровенно, во что нам обойдется эта история? Но только откровенно!

— Если говорить откровенно, — отвечаю, — то я не знаю, о чем вы говорите?

— Реб Тевье, — обращается он ко мне снова, не вынимая рук из карманов. — Я спрашиваю, во что нам обойдется вся эта музыка?

— Это, — отвечаю я, — зависит от того, какую свадьбу вы затеваете. Если вы имеете в виду устроить шикарную свадьбу, как вам пристало, то я не в состоянии.

Уставился он на меня и говорит:

— Не то вы прикидываетесь простачком, не то вы и в самом деле... Хотя по вас не видать, чтобы вы были простачком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото... Пригласили будто бы на праздничные блинчики, подставили там красивую девушку, — дочь она вам или не дочь, — в такие тонкости я не вдаюсь... А она ему полюбилась, то есть понравилась... А о том, что он ей понравился, и толковать нечего, — это само собой... Я ничего не говорю, очень может быть, что она честная девушка и принимает, бедняжка, все это всерьез... Я в такие тонкости не вдаюсь... Но вы не должны забывать, — говорит он, — кто вы такой и кто такие мы. Ведь вы же разумный человек, как же вы можете допустить, чтобы молочник Тевье, который доставляет нам сыр и масло, стал нашим родственником? А то, что они друг другу дали слово, — ну что ж, они его друг другу и вернут. Большой беды тут нет. Если нужно сколько-нибудь заплатить за то, что она его освободит от слова, — пожалуйста! Мы ничего против не имеем. Девица, — говорит он, — конечно, не парень, — дочь она вам или не дочь — в такие подробности я не вдаюсь...

«Господи боже ты мой! — думаю я. — Чего от меня хочет этот человек?»

А тот не перестает говорить, так и барабанит у меня над головой. Пусть я не думаю, говорит он, что мне удастся устроить скандал, растрезвонить повсюду, что его племянник сватался к дочери Тевье-молочника. Чтоб я себе выбил из головы, будто сестра его такой человек, из которого можно выкачивать деньги... Добром, говорит, получить у нее несколько рублей — это еще куда ни шло: вроде как пожертвование... Все мы, говорит, люди, надо иной раз оказать помощь человеку...

Вы хотите знать, что я ему ответил? Ничего я, — горе мне, — ему не ответил. Как это говорится: «Прильпе язык мой к гортани моей», — отнялась у меня речь. Поднялся я, повернулся к дверям и — нет меня! Как от пожара удрал, как из тюрьмы!

У меня гудело в голове, мелькало в глазах, в ушах звенели слова: «Откровенно говоря...», «Дочь она вам или не дочь...», «Вдова для выкачивания...», «Вроде как пожертвование...»

Подошел я к своей лошаденке, ткнулся лицом в тележку и — не будете смеяться надо мной? — расплакался. И плакал, и плакал... А когда вдоволь наплакался и, усевшись, выместил на своей несчастной кляче все, что накопилось на душе, — обратился я, как Иов *, к господу богу с вопросом: «Что ты такого увидел, господи, в старом Тевье? За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? На мне, что ли, свет клином сошелся?»

Приезжаю домой, застаю всю свою команду веселой — не сглазить бы! Ужинают. Шпринцы нет.

— Где Шпринца? — спрашиваю.

А они мне:

— Что слышно? Зачем тебя звали?

— Где Шпринца? — спрашиваю я снова.

А они опять:

— Что слышно?

— Ничего, — говорю, — особенного не слышно. Тихо, слава богу. О погромах не слыхать...

В эту минуту входит Шпринца. Заглянула мне в глаза и села за стол как ни в чем не бывало, будто не о ней речь. По лицу ее ничего не узнаешь, только притихла уж очень, сверх всякой меры. И не нравится мне ее задумчивость и какое-то слепое послушание. Скажешь ей: сиди — сидит; скажешь: ешь — ест; скажешь: пойди — пойдет. Окликнешь ее — бросается... Смотрю я на нее и щемит у меня сердце, и гнев внутри разгорается — на кого, сам не знаю... Ах ты господи боже ты наш! За что караешь меня, за чьи грехи?

Короче, вы хотите знать, чем это кончилось? Такого конца я и злейшему врагу не пожелаю, и нельзя этого никому пожелать, потому что горе детей — родителям худшее проклятье и кара божья.

Кто знает, быть может, меня кто-нибудь и проклял? Вы не верите в такие вещи? Ну, а что же это, по-вашему? Скажите — послушаем... Но о чем тут рассуждать? Расскажу вам конец.

Однажды к вечеру еду домой. Сами понимаете, каково у меня на душе: подумайте, какая обида, какой позор! А дитя свое как жаль! А вдова? — спросите вы. А сын ее? Где там вдова! Какой там сын! Уехали и даже не попрощались. Стыдно признаться, — даже за сыр и масло не рассчитались со мной... Но об этом что говорить! Забыли, наверное... Я говорю о том, что даже не попрощались, так и уехали. Что перенесла Шпринца, об этом ни одна душа не знала, кроме меня, потому что я отец, а отцовское сердце чует... Думаете, она хоть словом обмолвилась? Жаловалась? Плакала? Э, не знаете вы в таком случае дочерей Тевье! Тихо, вся ушла в себя, таяла, угасала, как свеча. Изредка лишь вздох прорвется, да такой, что клок сердца вырывает!

Словом, еду я так, углубился в печальные размышления, задаю вопросы господу богу и сам на них отвечаю. И уже не столько бог меня трогает — с ним я уже кое-как поладил, — сколько люди: почему люди такие злые? Разве не могут они добро творить? Зачем им нужно портить жизнь и другим и себе, когда они могли бы жить и хорошо и счастливо?

Неужто бог создал человека для того чтобы он мучился на земле? Зачем это ему нужно было?

С такими думами приезжаю к себе на хутор и вижу издали, возле гребли, скопище людей — крестьяне, крестьянки, девушки, парни и малые ребята. Что могло случиться? Пожара нет. Наверное, утопленник. Кто-нибудь купался возле гребли и утонул. Никто не знает, где смерть подстережет, как мы говорим в молитве...

И вдруг вижу, бежит моя Голда, шаль по ветру развевается, руки простерты... А впереди мои дети — Тайбл и Бейлка — голосят, рыдают, надрываются:

— Дочь! Сестра! Шпринца!

. . . .

О чем я хотел спросить вас? Да! Вы когда-нибудь видели утопленника? Никогда? Когда человек умирает, он почти всегда лежит с закрытыми глазами... У утопленников глаза открыты... Не знаете, почему это так?

Извините меня, я отнял у вас много времени. Да и сам я занят: надо идти к лошаденке, развезти свой товар. Жизнь требует своего! Нужно и о заработке подумать, а о том, что было, забыть. Потому что все, что землей прикрыто, должно быть забыто, а покуда жив человек, душу не выплюнешь. Никакие увертки не помогут, хочешь не хочешь, а приходится возвращаться к старой истине: покуда душа в теле, поезжай дальше, Тевье!

Будьте здоровы, а ежели вспомните обо мне, не поминайте лихом.

1907

ТЕВЬЕ ЕДЕТ В ПАЛЕСТИНУ

(Рассказано самим Тевье в железнодорожном вагоне)

Батюшки, кого я вижу! Как поживаете, реб Шолом-Алейхем? Вот так встреча! Даже не снилось! Ну, здравствуйте! Мир вам! А я, понимаете, все думал да гадал: что за притча такая? Что это его столько времени не видать ни в Бойберике, ни в Егупце? Мало ли что случается: а вдруг, думаю, приказал долго жить и перебрался туда, где редьки с салом не едят? Но, с другой стороны, думаю: неужто он такую глупость сделает? Ведь он как-никак человек умный! Ну, слава тебе господи, что привелось свидеться в добром здоровье, как это там сказано: «Гора с горой» — человек с человеком... Глядите вы на меня как-то так, будто не узнаете. Да ведь это же ваш старый приятель Тевье. «Не гляди на сосуд»*,—вы не смотрите, что человек в новом кафтане. Это все тот же злополучный Тевье, что и был, ничуть не изменился, разве что, когда приоденешься по-субботнему, то и выглядишь приличнее, вроде как богатый, потому что в дороге, на людях нельзя иначе, тем более, когда едешь в такую даль, в Палестину, — шутка ли. Небось удивляетесь, откуда у такого маленького человечка, как Тевье, который всю жизнь торговал маслом да сыром, эдакие замашки? Ведь это только какой-нибудь Бродский мог бы себе

позволить на старости лет такое путешествие! «Сплошь загадка», пане Шолом-Алейхем, все ясно как на ладони, поверьте мне! Вы только будьте добры, отодвиньте немножко ваш чемоданчик, я сяду рядом с вами и расскажу вам историю. Вот послушайте, что господь может устроить.

Должен вам прежде всего сообщить, что я, не про вас будь сказано, остался вдовцом. Умерла моя Голда, царство ей небесное. Женщина была она простая, без затей, но великая праведница. Пусть уж она там за детей своих заступницей будет, достаточно она из-за них натерпелась, а может быть, из-за них она и со свету ушла, перенести не могла, что разбрелись они в разные стороны — «кто в лес, кто по дрова». «Что это, прости господи, за жизнь, — говорила она, — когда ни дитяти, ни теляти? Корова и та скучает, когда от нее теленка отлучают...»

Так, бывало, говорит она, Голда то есть, и плачет горючими слезами. И вижу я, что женщина тает день ото дня как свеча, и сердце у меня от жалости сжимается, и говорю я ей, душу изливаю:

— Эх, Голда-сердце, сказано у нас: «Либо как детей, либо как рабов»*, — что с детьми, что без детей... Есть у нас великий бог, милосердый и всемогущий... А все же, — говорю, — столько бы мне счастья, сколько раз случается: выкинет господь-вседержитель такую штуку, врагам бы моим такую долю!..

Но ведь она, Голда, не тем будь помянута, всего только женщина... Вот она и отвечает мне:

— Грешишь ты, Тевье! Нельзя грешить...

— Вот тебе и раз! Разве я плохое что-нибудь сказал? Что же я, по-твоему, против бога, что ли, восстаю? Ведь если господь бог создал свой мир так расчудесно, что и дети — не дети, и родители — трын-трава, стало быть он знает, что делает...

Но она не понимает, что я говорю, и отвечает ни к селу ни к городу:

— Умираю я, Тевье, кто тебе ужин готовить будет?

Говорит она мне это и смотрит на меня такими глазами, что камень и тот был бы тронут. Но Тевье — не женщина, отвечаю ей словцом, изречением и еще изречением:

— Голда, — говорю я, — ты столько лет была мне верна, неужели ты на старости лет в дураках меня оставишь?

Глянул на нее — кончается человек!

— Что с тобой, — говорю, — Голда?

— Ничего! — отвечает она едва слышно.

Эге! Вижу, что шутки плохи, запряг я лошадку, поехал в город и привез доктора, самого лучшего доктора. Приезжаю домой, — где там! Лежит моя Голда на полу со свечой в изголовье и выглядит, покрытая черным, как кучка земли. Стою я и думаю: «Вот он и весь человек! Эх ты, владыко небесный! Что ж это ты творишь с твоим Тевье? Что я теперь делать стану на старости лет, горе мое горькое!» И как сноп повалился наземь. Но — кричи не кричи! Знаете, что я вам скажу? Когда видишь перед собой смерть, поневоле вольнодумцем становишься, начинаешь размышлять, «что мы и что наша жизнь», — что такое наш мир с его планетами, что вертятся, с поездами, которые бешено несутся, со всем этим шумом и треском, и что такое даже сам Бродский с его миллионами? Суета сует, чепуха и ерунда!

Словом, нанял я человека — по Голде «кадеш» * читать — и уплатил ему за год вперед. Что же мне оставалось делать, когда господь бог наказал меня, не дал мне мужчин — одни женщины, дочери да дочери, будь они неладны! Не знаю, все ли так мытарятся со своими дочерьми, или я один такой злосчастный, что не везет мне с ними? То есть против них самих я ничего не имею, а счастье — ведь оно от бога. Того, что они мне желают, пошли мне, господи, хоть половину! Наоборот, они чересчур уже преданы, а все, что чересчур, — вредно. Вот возьмите мою младшую дочь, ее Бейлкой звать. Если бы вы знали, что это за человек! Вы меня не первый день знаете, — год, да год, да еще денек, — и знаете, что я не из тех отцов, которые любят расхваливать зазря

своих детей. Но раз зашел разговор о Бейлке, то я вам должен сказать в двух словах: с тех пор как господь бог Бейлками промышляет, он такой еще не создавал. О красоте и говорить нечего! Дочери Тевье, сами знаете, по всему свету славятся как первые красавицы. Но она, Бейлка то есть, всех их за пояс заткнет: что и говорить, — всем красавицам красавица! Вот о ней можно сказать словами притчи: «Обманчива красота», — не в красоте дело, а в характере. Золото, чистое золото, говорю я вам! Я для нее всегда был первым человеком в доме, но с тех пор как моя Голда, да будет ей земля пухом, померла, отец для нее — зеница ока! Пылинке упасть на меня не дает. Уж я говорил про себя: господь бог, как сказано в молитве, «предпосылает гневу своему милосердие» — посылает исцеление еще до болячки. Трудно только угадать, что хуже — исцеление или болячка... Поди будь пророком и узнай, что Бейлка ради меня продаст себя за деньги и отошлет отца своего на старости лет в Палестину! Положим, это только так говорится — отошлет. Поверьте, она повинна в этом так же, как и вы. Виноват кругом он, ее избранник, — проклинать его не хочу, пусть на него казарма свалится! А может быть, если хорошенько вдуматься да покопаться поглубже, то виноват в этом больше всех я сам, потому что ведь у нас в талмуде так и сказано: «Человек повинен...» Но мне ли вам рассказывать, что в талмуде говорится!

Короче, не буду вас долго задерживать. Прошел год и еще год, Бейлка моя выросла, стала, не сглазить бы, девицей на выданье. А Тевье знай свое: возит в тележке сыр и масло — летом в Бойберик, зимой в Егупец, чтоб их затопило, как содом! Видеть не могу этот город и не столько город, сколько его жителей, и не всех жителей, а одного человека — Эфраима-свата, пропади он пропадом! Вот послушайте, что может натворить сват.

«И бысть день», — приезжаю я однажды в середине сентября в Егупец с товаром. Гляжу, — «и прииде Аман» — идет Эфраим-сват! Я вам о нем как-то рассказывал. Человечек он хоть и въедливый, но чуть

его завидишь, поневоле остановишься, — такая уж сила у этого человека...

— Слышь ты, умница моя, — говорю я своей кляче, — а ну-ка постой тут малость, я тебе пожевать дам.

И останавливаю Эфраима, здороваюсь с ним и завожу разговор издалека:

— Что слыхать насчет заработков?

— Скверно! — отвечает он со вздохом.

— А в чем дело?

— Делать, — говорит, — нечего!

— Совсем?

— Совсем!

— Что за причина? — спрашиваю.

— Причина, — говорит он, — в том, что браки нынче дома не заключаются.

— Где же, — спрашиваю, — они нынче заключаются?

— Где-то там, за границей...

— А как же быть, — говорю, — такому человеку, как я, у которого и дедушкина бабушка там не бывала?

— Для вас, — отвечает он и протягивает мне табакерку, — для вас, реб Тевье, у меня имеется товарец здесь, на месте...

— А именно?

— Вдова, — отвечает он, — без детей, полтораста рублей приданого, служила кухаркой в лучших домах...

Гляжу я на него и спрашиваю:

— Реб Эфраим, вы кому это сватаете?

— Кому же, — говорит, — как не вам?

— Тьфу, пропасть! Сдурели вы, что ли? — отвечаю я, угощаю лошаденку кнутом и хочу ехать дальше.

Тогда Эфраим говорит:

— Извините меня, реб Тевье, если я вас обидел. Скажите, а кого же вы имели в виду?

— Кого же, — говорю, — иметь мне в виду, как не мою младшую?

Тут он даже подпрыгнул и хлопнул себя по лбу:

— Погодите-ка! Вот хорошо, что напомнили мне, реб Тевье, дай вам бог долгие годы!

— Аминь! — отвечаю. — Желаю и вам до пришествия мессии дожить. Но с чего это на вас такая радость напала?

— Хорошо! — восклицает он. — Замечательно! Лучше некуда!

— Да в чем же дело?

— У меня, — говорит, — для вашей младшенькой есть на примете нечто исключительное, счастье, главный выигрыш, богач, денежный мешок, миллионщик, Бродский. Сам он подрядчик и звать его Педоцур!

— Педоцур? — говорю я, — знакомое имя, из Пятикнижия...

— Да что там Пятикнижие? Причем тут Пятикнижие? Он подрядчик, этот Педоцур, он дома строит, мосты, побывал во время войны в Японии, привез кучу денег, разъезжает на огненных конях, в каретах с лакеями у дверей, с собственной банькой у себя в доме, с мебелью из Парижа, с брильянтовым перстнем на пальце, совсем еще не старый, холостой, настоящий холостяк, прима! И ищет он красивую девушку, кто бы она ни была, раздетую, разутую, лишь бы красавица!..

— Тпр-ру! — говорю я. — Если вы так скакать будете без передышки, то мы с вами, реб Эфраим, заедем невесть куда. Если не ошибаюсь, вы уже как-то сватали того же самого жениха моей старшей дочери Годл.

Услыхав это, мой сват как схватится за бока да как захохочет! Я думал, с ним удар случится...

— Эге! — говорит. — Вспомнили тоже, как моя бабка впервые рожала... Тот до войны еще обанкротился и в Америку удрал!

— Царство ему небесное! — отвечаю. — Может быть, и этот туда же удерет?

Тут мой сват прямо из себя вышел:

— Да что вы говорите, реб Тевье! Тот был пустельга, шарлатан, мот, а этот — подрядчик со времени войны, ведет большие дела, имеет свою контору, служащих и... и... и...

Словом, так разгорячился мой Эфраим, что даже стащил меня с телеги, ухватил за лацканы да так меня стал трясти, что подошел городовой и хотел нас обоих отправить в часть. К счастью, я вспомнил, что в писании сказано: «С чужого бери», — с полицией надо уметь ладить...

Короче, что тут долго рассказывать? Этот Педоцур стал-таки женихом моей младшей дочери Бейлки, и «недолго тянулись дни», то есть я хочу сказать, что прошло все-таки довольно много времени, пока мы их обвенчали. Почему прошло много времени? Потому что она, Бейлка то есть, не хотела за него выходить, как человек помирать не хочет. Чем больше этот Педоцур приставал к ней с подарками, с золотыми часиками да с брильянтовыми колечками, тем противнее он ей становился. Мне, знаете ли, пальца в рот не клади. Я отлично видел это по ее лицу, видел и слезы, которые она тайком проливала. Подумал я однажды и говорю ей эдак между прочим:

— Слушай-ка, Бейлка, боюсь, что твой Педоцур мил и люб тебе так же, как и мне...

А она вся зарделась и отвечает:

— Кто тебе сказал?

— А чего ты плачешь ночи напролет?

— Разве я плачу?

— Нет, — говорю, — не плачешь, а всхлипываешь. Думаешь, если уткнулась головой в подушку, то спрятала от меня слезы? Думаешь, отец твой мальчик или мозги у него высохли и он не понимает, что ты это ради старика отца делаешь? Ты отцу покойную старость обеспечить хочешь, чтобы ему было, где голову приклонить, чтобы ему, упаси бог, побираться не пришлось? Если ты так думаешь, то ты, — говорю, — очень глупа, голубушка! Есть у нас великий бог, а Тевье не приживальщик, чтобы жить на чужих хлебах из милости. А деньги — чепуха, как в писании сказано. Возьми, к примеру, твою сестру Годл. Как она бедствует! А посмотри-ка, что она пишет бог весть из каких далеких краев и как она счастлива там, где-то на краю света, со своим беднягой Перчиком!..

А ну-ка, будьте умником, отгадайте, что ответила на это Бейлка?

— С Годл, — говорит она, — ты меня не равняй. Годл выросла в такое время, когда мир ходуном ходил, чуть было не перевернулся. Тогда думали обо всем мире, а о себе забывали. А сейчас, когда мир спокойно на месте стоит, каждый думает о себе, а о мире забыли...

Так отвечает мне Бейлка, и подите разгадайте, что она под этим разумеет.

— Ну? Что вы скажете о дочерях Тевье?

Видели бы вы ее под венцом — принцесса! Я глядел на нее, любовался и думал: «Вот это Бейлка, дочь Тевье? Где она научилась так стоять, так ходить, так держать голову, так одеваться, чтобы все на ней было как вылитое?» Однако долго любоваться мне не дали, потому что в тот же день, после венца, часов около шести вечера молодожены поднялись и курьерским поездом умчались, — шут их знает куда, в какую-то «Наталию» [1] на воды, как принято у богачей, а вернулись уже зимой и тут же прислали за мной, чтобы я во что бы то ни стало немедленно приехал в Егупец. Я подумал: это неспроста. В чем дело? Если бы им просто хотелось, чтобы я приехал, они бы так и наказали: приезжай, мол, и дело с концом. К чему же еще «во что бы то ни стало» и «немедленно»? Значит, здесь что-то кроется! Спрашивается, что же это может быть? И полезли в голову всякие мысли и предположения — и хорошие и дурные. Может быть, молодожены уже успели рассориться, как две кошки, и дело идет к разводу? Но тут же я возражаю себе: «Ты глуп, Тевье! Почему ты должен все истолковывать к худшему? Откуда ты знаешь, для чего тебя зовут? Может быть, они соскучились и хотят тебя видеть? А может быть, Бейлке вообще захотелось, чтобы отец был возле нее? А вдруг этот Педоцур решил принять тебя на службу, взять к себе в дело и сделать своим управляющим? Так или иначе, — ехать надо». И вот сажусь — «и направился в

---

[1] Италия.

Харран» — и еду в Егупец. В дороге разыгралась у меня фантазия, и представляется мне, что я оставил деревню, продал корову, конягу с тележкой, со всем барахлом и переехал на жительство в город. Сделался у моего Педоцура сначала доверенным лицом, потом кассиром, а дальше стал управлять всеми его подрядами и, наконец, вошел в дело полноправным компаньоном, — все у нас пополам, и я, как и он, разъезжаю на паре огненных коней — один буланый, другой гнедой, — и сам себе удивляюсь: «Что сие и к чему сие?» — куда мне, такому маленькому человеку, вести такие крупные дела? На что мне весь этот тарарам, весь этот базар и вечная суета? К чему мне, как скажете вы, «восседать с вельможами», толкаться среди миллионщиков? Оставьте меня, мне хочется покойной старости, хочется иной раз в священную книгу заглянуть, главу из псалмов прочитать, — ведь надо же и о душе когда-нибудь подумать, не так ли? Как царь Соломон говорит: человек — что скотина: забывает, что сколько бы он ни жил, а смерти не миновать...

С такими вот мыслями и думами приехал я, с божьей помощью, в Егупец прямо к Педоцуру. Хвастать перед вами, рассказывать «о величии его и богатствах его» — то есть о его квартире и обстановке, — я просто не в состоянии. Я никогда в жизни не удостоивался чести быть в доме у Бродского, но насколько я могу себе представить, лучше и краше, чем у Педоцура, быть не может! Судите, что это за палаты царские, хотя бы по тому, что сторож, который стоит у дверей, верзила с серебряными пуговицами, ни за что меня пускать не хотел, хоть ты ему кол на голове теши! В чем дело? Двери стеклянные, я вижу, как он стоит, этот верзила, пропади он пропадом, и чистит платье. Я ему киваю, руками размахиваю, знаками показываю, чтобы он пустил меня, потому что жена хозяина мне родной дочерью приходится... Но он, дурья голова, знаков не понимает, и тоже руками показывает, чтобы я убрался ко всем чертям! Вот ведь горе какое! К родной дочери рука требуется! «Горе тебе и седой твоей голове, Тевье, до

чего ты дожил!» — думаю я и гляжу сквозь стеклянную дверь. Вижу, вертится там какая-то девица. «Наверное, горничная», — думаю, потому что глаза у нее вороватые. У всех горничных такие глаза. Я, знаете, вхож в богатые дома и со всеми горничными знаком... Кивнул я ей: «Отвори, мол, кошечка!» Та отворила двери и спрашивает, представьте себе, по-еврейски:

— Кого вам?

— Здесь, — говорю, — живет Педоцур?

— А вам кого? — спрашивает она громче.

А я ей еще громче:

— Тебя спрашивают, отвечай толком! Здесь живет Педоцур?

— Здесь.

— Ну, коли так, — говорю, — значит, мы с тобой свои люди. Поди же скажи мадам Педоцур, что к ней гость приехал, отец ее, Тевье, в гости к ней пожаловал и вот уже сколько времени на улице стоит, как нищий у дверей, потому что он, видишь ли, не удостоился чести снискать любовь и благоволение вон того идола с серебряными пуговицами, провались он сквозь землю за один твой ноготок!

Услыхав такие речи, девушка — видать, хорошая шельма! — расхохоталась, захлопнула у меня перед самым носом двери, побежала наверх, потом сбежала вниз, впустила и привела меня в такой дворец, какой и отцам отцов моих не снился. Шелк и бархат, золото и хрусталь, идете и шагов своих не слышите, потому что ступаете грешными своими ногами по дорогим коврам, мягким, как снег. А часов, часов! На стенах часы, на столах часы, бесконечное количество часов. «Господи благодетель, много ли у тебя таких на свете? К чему человеку столько часов?» — думаю я и, заложив руки за спину, иду дальше. Смотрю, несколько Тевье сразу двигаются мне навстречу со всех сторон, один сюда, другой туда, один ко мне, другой от меня... Тьфу ты, пропасть! Со всех сторон зеркала!.. Только такой гусь, как этот подрядчик, может позволить себе столько часов и столько зеркал!.. И приходит мне на память Педоцур, тол-

стенький, кругленький, с лысиной во всю голову, говорит громко и смеется мелко, дробненьким смешком... И вспоминаю, как приехал он ко мне в деревню в первый раз — на горячих конях — и расположился у меня, как у себя дома. Познакомился с моей Бейлкой и тут же отозвал меня в сторону и сообщил по секрету на ушко, да так, что слышно было по ту сторону Егупца, что дочь моя ему понравилась, что он желает — раз-два-три и — под венец! Ну, то, что дочь моя ему по нраву пришлась, понять нетрудно, но это «раз-два-три», — «аки меч двуострый», — точно тупым ножом меня по сердцу полоснуло! Что значит «раз-два-три и — под венец»? А где же я? А Бейлка где? Ох, и хотелось мне закатить ему парочку изречений, чтоб он меня попомнил! Но, с другой стороны, подумал я: «К чему тебе, Тевье, вмешиваться? Многого ты добился у старших дочерей своих, когда пытался им советы давать? Наговорил с три короба, всю свою ученость выложил, а кто в дураках остался? Тевье!»

Короче говоря, оставим, как в ваших книжках пишут, царевича и примемся за царевну. Исполнил я стало быть их просьбу и приехал в Егупец. «Здравствуйте! Здравствуйте! Как поживаете? Как дела? Садитесь!» — «Спасибо, можно и постоять!» — ну, и все прочие церемонии, как водится.

Соваться вперед с вопросом: «Что отличает сей день от прочих», — то-есть, что, мол, означает этот вызов, зачем понадобился, — неудобно. Тевье — не женщина, он и потерпеть может. Между тем входит какая-то личность в больших белых перчатках и объявляет, что обед подан. Поднимаемся втроем и входим в комнату из сплошного дуба: стол дубовый, стулья дубовые, стены из дуба, потолок из дуба, и все это точеное, разукрашенное, размалеванное... А на столе — царская роскошь! Чай, и кофе, и шоколад, и печенье, и коньяк, и соленья наилучшие, всякие блюда, фрукты и овощи, стыдно признаться, но боюсь, что моя Бейлка у своего отца ничего этого и в глаза не видала. Наливают мне рюмочку и еще рюмочку, а я пью, смотрю на нее, на Бейлку, и

думаю: «Дождалась дочь Тевье, как сказано: «Подъемлющий нищего из праха», — коли поможет господь бедняку, так его и узнать нельзя. Казалось бы, Бейлка, а все же не Бейлка!» И вспоминаю я прежнюю Бейлку и сравниваю с той, что сейчас, и больно и обидно мне становится, как если бы я оплошал, дурака свалял, заключил бы невыгодную сделку, взял бы, к примеру, свою лошаденку-работягу и выменял бы на жеребенка, про которого и не знаешь, что из него выйдет — конь или дубина.

«Эх, Бейлка, Бейлка, думаю, что с тобой стало! Помнишь, как, бывало, по вечерам ты сидишь при коптящей лампочке, шьешь и песню напеваешь, оглянуться не успею, ты двух коровок выдоишь, а то, засучив рукава, приготовишь мне простой молочный борщ, или галушки с фасолью, или пампушки с сыром, или ушки с маком и скажешь: «Отец, поди руки мой!» Ведь это лучше всякой песни было!» А сейчас сидит она со своим Педоцуром за столом, как королева, два человека к столу подают, тарелками брякают... А Бейлка? Хоть бы слово вымолвила! Зато он, Педоцур то есть, за двоих уплетает, рта не закрывает! В жизни не видал человека, который бы так любил болтать и балабонить бог знает о чем, рассыпаясь при этом своим дробненьким смешком. У нас это называется: сам сострил, сам и смеется... Кроме нас троих, сидит за столом еще какой-то тип с румянцем во всю щеку. Не знаю, кто он такой, но едок он, видать, не из последних, потому что все время, покуда Педоцур говорил и смеялся, тот уписывал за обе щеки, как в писании сказано: «Трое, что ели...» — ел за троих... Тот ел, а Педоцур трещал и все такую ерунду, что слушать тошно: подряд, губернское правление, удельное ведомство, казначейство, Япония... Из всего этого меня интересовала одна только Япония, потому что с Японией у меня кое-какие счеты были. Во время войны, — знаете, конечно, — лошади в большом почете были, их днем с огнем искали... Наскочили стало быть и на меня и взяли моего конягу в работу: смерили его аршином, прогнали его несколько раз взад-вперед и выдали ему

белый билет. Вот и говорю им: «Я наперед знал, что напрасны ваши труды, как в писании сказано: «Знает праведник душу скотины своей», — не Тевьиной кляче на войну ходить...» Однако, извините меня, пане Шолом-Алейхем, я путаю одно с другим, так и с пути сбиться недолго. Давайте-ка лучше, как вы говорите, — «вернемся к делу» — обратимся к нашей истории.

Словом, выпили мы, значит, честь-честью, закусили как полагается, а когда встали из-за стола, взял он, Педоцур, меня под руку и привел к себе в свой кабинет, убранный по-царски — с ружьями и кинжалами на стенах, с пушками на столе... Усадил он меня на эдакий диван, мягкий, точно масло, достал из золотой коробки две длинные, толстые, пахучие сигары — одну себе, другую мне, закурил, уселся против меня, вытянул ноги и говорит:

— Знаете, для чего я за вами посылал?

«Ага! — думаю. — Хочет, видно, потолковать со мной насчет того самого». Однако прикидываюсь дурачком и говорю:

— «...Сторож я, что ли, брату своему?» — Откуда же мне знать?

— Я, — отвечает он, — хотел поговорить с вами относительно вас самих.

«Служба!» — думаю и отвечаю:

— Ну что ж, если что-нибудь хорошее, пожалуйста! Послушаем.

Тогда он вынимает сигару изо рта и обращается ко мне с такой речью:

— Вы, — говорит, — человек не глупый и не обидитесь, если я буду с вами говорить откровенно. Надо вам знать, что я веду крупные дела. А когда ведешь такие крупные дела...

«Да! — думаю. — Меня имеет в виду!» Перебиваю его и говорю:

— У нас в талмуде сказано: «Чем больше достояние, тем больше забот». Знаете, как это надо толковать?

А он отвечает мне довольно-таки откровенно:

— Скажу вам по чистой совести, что талмуд я никогда не изучал и даже не знаю, как он выглядит!

И рассыпался мелким смешком. Ну, что вы на это скажете? Казалось бы, уж если господь тебя наказал и остался ты невеждой, неучем, — так уж пусть это будет шито-крыто! Нашел тоже, чем хвастать!

— А я иначе и не думал! — говорю. — Знаю, что к таким вещам вы отношения не имеете... Однако послушаем, что же дальше?

— А дальше, — отвечает он, — я хотел вам сказать, что по моим делам, по моему имени и положению мне неудобно, что вас называют «Тевье-молочник». Не забывайте, что я знаком лично с губернатором, что ко мне в дом может, чего доброго, нагрянуть эдакий... Бродский, Поляков *, а то, пожалуй, и сам Ротшильд!.. Чем черт не шутит?..

Говорит он мне это, Педоцур то есть, а я сижу, смотрю на его лоснящуюся лысину и думаю: «Очень может быть, что ты и с губернатором лично знаком и что Ротшильд может к тебе в дом прийти, но говоришь ты как собака поганая!»

И обращаюсь к нему не без досады:

— Как же быть, если Ротшильд, чего доброго, и в самом деле нагрянет?

Думаете, он почувствовал мою шпильку? Куда там! «Ни леса, ни медведей!» Даже в голову ему не пришло!

— Я бы хотел, — говорит он, — чтоб вы бросили это самое молочное дело и занялись чем-нибудь другим.

— А именно? Чем?

— Чем хотите! — отвечает он. — Мало ли дел на свете? Я помогу вам деньгами, сколько потребуется, лишь бы вы не были больше Тевье-молочником. Или, погодите-ка, знаете что? А может быть, вы бы совсем — раз-два-три — взяли и уехали бы в Америку? А?

Говорит он это, засовывает сигару в зубы и смотрит мне прямо в глаза, а лысина блестит... Ну? Что можно ответить такому грубияну? Сперва я подумал: «Чего ты, Тевье, сидишь как истукан? Под-

нимись, хлопни дверью и уйди, ни слова не сказавши на прощание!» Так меня за живое задело! На что способен подрядчик! Наглость какая! «Что значит, — ты велишь мне бросить честный и почетный заработок и ехать в Америку? К нему, видите ли, может заглянуть Ротшильд, а по этому случаю Тевье-молочник должен бежать невесть куда?!»

Внутри у меня, как в котле, кипит, немного взволнован я был еще и раньше, и зло меня берет на нее, на Бейлку: «Чего ты сидишь, как принцесса, среди сотен часов и тысяч зеркал, в то время как отца твоего сквозь строй гонят по горячим углям?!»

«Столько бы мне радостей, думаю, насколько лучше поступила твоя сестра Годл! Конечно, что правда, то правда, — нет у нее такого дома и таких финтифлюшек, как у тебя, но зато у нее муж Перчик... Ведь это человек, который о себе и не думает, обо всем мире заботится... И к тому же у него голова на плечах, а не макитра с лоснящейся лысиной... А язычок у этого Перчика — чистое золото! Ему изречение приведешь, а он тебе — три сдачи! Погоди, подрядчик, вот я тебе такое изречение закачу, что у тебя в глазах потемнеет!»

Подумал я эдак и обратился к нему с такими словами:

— То, что талмуд для вас книга за семью печатями, это еще куда ни шло: когда человек живет в Егупце, называется Педоцуром и занимается подрядами, то талмуд может спокойно лежать на чердаке. Но простой стих, — ведь это же и мужик в лаптях поймет. Вы, наверное, знаете, что у нас в писании сказано насчет Лавана Арамейского: «Из хвостито поросяти шапкато не сварганито...»

А он смотрит на меня как баран на новые ворота и спрашивает:

— Что же это значит?

— Это значит, — отвечаю я, — из поросячьего хвоста шапки не сварганишь!

— Это вы, собственно, к чему же? — снова спрашивает он.

— А к тому, — говорю, — что вы предлагаете мне ехать в Америку!

Рассмеялся он дробненько и говорит:

— В Америку не хотите? Тогда, может быть, в Палестину? Все старые евреи едут в Палестину...*

И только проговорил он это, как засело у меня гвоздем в голове: «Погоди-ка, может быть, это вовсе не так глупо, Тевье, как ты думаешь? И в самом деле... Нежели таковы отцовские радости, какие мне сулил бог, может быть, лучше Палестина? Глупец! Чем ты рискуешь и кто здесь остается у тебя? Твоя Голда, царство ей небесное, все равно уже в могиле, а сам ты, прости господи, мало, что ли, маешься? Да и до каких пор тебе топтаться на белом свете?»

А кроме того, надо вам знать, пане Шолом-Алейхем, что меня давно уже тянет побывать у «стены плача»*, у гробницы праотцев наших, на могиле праматери Рахили, увидеть своими глазами Иордан, Синай, Черное море, Питом и Рамзес* и тому подобные святые места... И уносят меня мысли в обетованную землю Ханаанскую, в землю, как говорится, «текущую млеком и медом...»

Но Педоцур перебивает мои мысли:

— Ну? Чего тут долго раздумывать? Раз-два-три...

— У вас, — говорю я, — все «раз-два-три», как в писании сказано: «Все едино: что хлеб, что мякина...» А для меня это, знаете ли, не так-то просто, потому что подняться и ехать в Палестину — на это деньги нужны...

Рассмеялся он своим дробненьким смешком, подошел к столу, открыл ящик, достал бумажник и вынул мне, можете себе представить, порядочную сумму, а я не заставил себя упрашивать, сгреб бумажки (вот она — сила денег!) и засунул в карман поглубже. Хочу ему привести хоть парочку изречений, подходящих к случаю, но он и слушать не желает.

— Этого, — говорит он, — вам хватит до места с лихвой, а когда приедете туда и вам нужны будут деньги, напишите и — раз-два-три — деньги будут

сейчас же высланы. А напоминать вам лишний раз об отъезде, я думаю, не придется, — ведь вы же человек честный, совестливый...

Говорит он это мне, Педоцур, и смеется своим дробненьким смешком, от которого с души воротит. Мелькнула у меня мысль: «А не швырнуть ли ему в рожу эти бумажки и не сказать ли ему, что Тевье за деньги не покупают и что с Тевье не говорят о совести и справедливости?»

Но не успел я и рта раскрыть, как он позвонил, позвал Бейлку и говорит ей:

— Знаешь, душенька? Ведь отец твой нас покидает, распродает все свое имущество и — раз-два-три — уезжает в Палестину.

«Снился мне сон, да не ведаю... — думаю я. — Вот уж действительно: и во сне не снилось и наяву не мерещилось...» Смотрю я на Бейлку, а она хоть бы поморщилась! Стоит, как деревянная, ни кровинки в лице, смотрит то на меня, то на него и — ни единого слова. Я, на нее глядя, тоже молчу, молчим стало быть оба, как в псалмах говорится: «Прильпе язык мой» — онемели! Голова у меня кружится, в висках стучит, как от угара. «Отчего бы это? — думаю. — Вероятно, от сигары, которой он меня угостил». Но вот ведь он сам, Педоцур, тоже курит! Курит и говорит, говорит, рта не закрывает, хотя глазки у него слипаются, видать, вздремнуть хочет.

— Ехать, — говорит он, — вам надо отсюда до Одессы курьерским, а из Одессы морем до Яффы. А ехать морем сейчас самое лучшее время, потому что позже начинаются ветры, снега, бури и... и...

Язык у него заплетается, как у человека, которого клонит ко сну, однако он не перестает трещать:

— А когда будете готовы к отъезду, дайте нам знать, и мы оба приедем на вокзал попрощаться с вами, потому что когда-то мы еще увидимся.

При этом он, извините, сладко зевнул и сказал Бейлке:

— Душенька, ты тут немного посидишь, а я пойду прилягу на минутку.

«Никогда, — подумал я, — ты ничего умнее не говорил, честное слово! Теперь-то я душу отведу!» И хотел было выложить ей, Бейлке то есть, все что на сердце накипело за весь этот день, но тут она как бросится мне на шею да как расплачется!.. У моих дочерей, будь они неладны, у всех такая уж натура: крепятся, хорохорятся, а когда прижмет, — плачут как ивы плакучие. Вот, к примеру, старшая моя дочь Годл, мало ли она рыдала в последнюю минуту, перед отъездом в изгнание, к Перчику, в холодные края? Но что за сравнение! Куда ей до этой?

Скажу вам по чистой совести: я, как вы знаете, не из слезливых. По-настоящему я плакал только однажды, когда моя Голда, царство ей небесное, лежала на полу; еще раз всласть поплакал я, когда уехала Годл, а я остался на вокзале, как дурень, один со своей клячей; и еще как-то раз-другой я, как говорится, расхлюпался... А так, вообще, что-то не припомню, чтобы я был легок на слезы. Но когда расплакалась Бейлка, у меня так защемило сердце, что я не в силах был сдержаться, и духу у меня не хватило упрекнуть ее. Со мной много говорить не надо, — меня звать Тевье. Я сразу понял ее слезы. Она не просто плакала, она каялась в том, что отца не послушалась... И вместо того чтобы отчитать ее как следует и излить свой гнев на Педоцура, я стал утешать Бейлку и приводить ей один пример за другим, как Тевье умеет. Выслушала она меня и говорит:

— Нет, отец, не оттого я плачу. Я ни к кому претензий не имею. Но то, что ты уезжаешь из-за меня, а я ничем помочь не могу, — это меня огнем жжет!

— Брось! — отвечаю. — Рассуждаешь ты как дитя! Забыла, что есть у нас великий бог и что отец твой еще в здравом уме. Большое, думаешь, дело для твоего отца съездить в Палестину и вернуться, как в писании сказано: «И ездили и отдыхали», — туда и обратно...

Говорю это я, а про себя думаю: «Врешь, Тевье! Уж если уедешь, так поминай как звали! Нет больше Тевье!»

И она, точно угадав мои мысли, говорит:

— Нет, отец, так успокаивают маленького ребенка. Дают ему куклу, игрушку и рассказывают сказочку про белую козочку... Уж если рассказывать сказки, то не ты мне, а я тебе расскажу. Только сказочка эта, отец, скорее грустная, чем интересная.

Так говорит она, Бейлка то есть. Дочери Тевье зря не болтают. И рассказала она мне сказку из «Тысячи и одной ночи» о том, как этот ее Педоцур выбрался, что называется, из грязи в князи, сам, собственным умом добился высокого положения, а сейчас стремится к тому, чтобы к нему в дом был вхож Бродский, и швыряет ради этого направо и налево тысячи, раздает крупные пожертвования. Но так как одних денег недостаточно, — нужно к тому же иметь и родословную, то Педоцур из кожи лезет вон, чтобы доказать, что он не кто-нибудь, а происходит из знатного рода Педоцуров, что отец его был крупным подрядчиком...

— Хоть он отлично знает, — говорит Бейлка, — что мне-то известно, кем был его отец: просто на свадьбах играл. Затем он всем рассказывает, будто отец его жены был миллионером...

— Это он кого же имеет в виду? — говорю я. — Меня? Если судил мне господь иметь когда-нибудь миллионы, так пусть считается, что я уже отбыл это наказание.

— Да знаешь ли ты, отец, — говорит Бейлка, — как пылает у меня лицо, когда он представляет меня своим знакомым и начинает распространяться о знатности моего отца, моих дядей и всей моей родни! Рассказывает такие небылицы, какие никому и во сне не снились. А мне остается только слушать и молчать, потому что на этот счет он очень капризен...

— По-твоему, — отвечаю, — это каприз, а по-нашему, — просто мерзость и безобразие!

— Нет, отец, — говорит она, — ты его не знаешь. Он вовсе не такой уж скверный, как ты думаешь. Но он человек минуты. У него отзывчивое сердце и щедрая рука. Стоит только попасть к нему в добрую минуту и скорчить жалостливую мину, — он душу

отдаст, а уж ради меня и говорить нечего, — звездочку с неба достанет! Думаешь, я над ним никакой власти не имею? Вот я недавно добилась от него, чтобы он вызволил Годл и ее мужа из дальних губерний. Он поклялся, что не пожалеет ради этого многих тысяч, но с условием, чтобы они оттуда уехали в Японию.

— Почему, — спрашиваю, — в Японию? Почему не в Индию или, к примеру, в Падан-Арам* к царице Савской?*

— Потому что в Японии, — отвечает она, — у него есть дела. На всем свете у него дела. Того, что ему в день стоят одни телеграммы, нам хватило бы на полгода жизни. Но что мне от того, когда я — не я?..

— Выходит, — говорю, — как у нас в писании сказано: «Если не я за себя, то кто за меня?» И я — не я, и ты — не ты...

Говорю, отделываюсь шутками, изречениями, а у самого сердце разрывается, глядя, как дитя мое мучается «в богатстве и чести».

— Твоя сестра Годл, — говорю я, — так бы не поступила.

— Я тебе уже говорила, — отвечает она, — чтобы ты меня с Годл не сравнивал. Годл жила в свое время, а Бейлка живет в свое... А от времени Годл до времени Бейлки так же далеко, как отсюда до Японии...

Понимаете, что означают эти странные слова?

Однако, я вижу, вы торопитесь. Еще две минуты, и конец всем историям. Насытившись до отказа горестями и муками моей счастливой дочери, я вышел оттуда разбитый и пришибленный. Швырнул наземь сигару, от которой я угорел, и обращаюсь к ней, к сигаре то есть:

— Пропади ты пропадом, черт бы тебя взял!

— Кого это вы так, реб Тевье? — слышу я позади себя.

Оглядываюсь, он, Эфраим-сват, чтоб ему провалиться!

— Добро пожаловать! — говорю я. — Что вы тут делаете?

— А что вы тут делаете?

— Был в гостях у своих детей.

— Как они поживают?

— А как, — говорю, — им поживать? Дай бог нам с вами не хуже.

— Насколько я понимаю, — отвечает он, — вы очень довольны моим товаром?

— Да еще как доволен! Пусть господь воздаст вам сторицей!

— Спасибо, — говорит он, — на добром слове. Может быть, вы вдобавок к доброму слову подарочек преподнесли бы мне?

— А разве, — спрашиваю, — вы не получили того, что вам за сватовство полагается?

— Иметь бы ему самому столько, вашему Педоцуру! — отвечает он.

— А в чем дело? Маловато?

— Не так, чтобы мало, как от доброго сердца пожаловано.

— А именно?

— А именно... Уже ни гроша не осталось.

— Куда же это подевалось?

— Дочь, — отвечает, — замуж выдал.

— Поздравляю, — говорю, — дай им бог счастья и радости!

— Хороша радость! — отвечает он. — Наскочил я на зятя-шарлатана. Бил, истязал мою дочь, потом забрал денежки и удрал в Америку.

— А зачем, — говорю, — вы дали ему так далеко убежать?

— А что я мог поделать?

— Соли, — говорю, — на хвост насыпать...

— У вас, — отвечает он, — реб Тевье, хорошо на душе...

— Дай боже вам того же, хотя бы наполовину...

— Вот как! — удивился он. — А я-то полагал, что вы богач... В таком случае нате вам понюшку табаку...

Взял я понюшку табаку и отделался от свата.

Вернулся домой, стал распродавать свое хозяйство, нажитое за столько лет. Положим, не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается. Каждый черепок, каждая безделица мне здоровья стоили. Одна вещь напоминала мне Голду, царство ей небесное,

другая — детей... Но ничто так не растревожило душу, как моя лошаденка. Перед ней я чувствовал себя виноватым... Подумайте, проработали мы с нею столько лет, вместе бедствовали, вместе горе мыкали и вдруг — взял да продал! Продал я ее водовозу, потому что от извозчиков ничего, кроме издевательств, не дождешься. Прихожу к ним лошадь продавать, а они:

— Господь с вами, реб Тевье, разве это лошадь?

— А что же это, по-вашему, — говорю, — подсвечник?

— Нет, — отвечают, — не подсвечник, а святой угодник...

— Почему угодник?

— А потому что коню вашему под сорок, зубов ни следа, губа серая, боками трясет, как баба на морозе...

Нравится вам такой извозчичий разговор? Готов поклясться, что лошадка моя понимала, бедняга, каждое слово, как в писании сказано: «Знает бык своего покупщика», — скотина чует, что ее продавать собираются... А в доказательство, когда мы с водовозом ударили по рукам и я сказал ему: «В добрый час!» — лошадь вдруг повернула ко мне свою симпатичную морду и глянула так, будто хотела сказать: «Вот она награда за все мои труды, — так-то поблагодарил ты меня за службу...» Посмотрел я в последний раз на свою конягу, когда водовоз взял ее под уздцы и стал учить уму-разуму, остался один и думаю: «Господи владыко небесный! Как мудро ты миром своим управляешь! Вот создал ты Тевье и создал, к примеру, лошадь, и у обоих у них одна судьба на свете... Только, что человеку язык дан, и он может душу излить, а лошадь — что она может? Бессловесное создание, немое существо!.. Как вы скажете: «Вот оно превосходство человека над скотиной...»*

Вы удивляетесь, пане Шолом-Алейхем, что у меня слезы на глазах, и небось думаете: затосковал, видно, Тевье по свой лошадке? Но почему по лошадке, чудак

вы эдакий? По всему стосковался, всего жаль! Буду тосковать и по лошадке, и по деревне, и по старосте, и по уряднику, и по бойберикским дачникам, и по егупецким богачам, и даже по Эфраиму-свату, чума бы его побрала... Хотя, с другой стороны, если только рассудить, так ведь и он всего-навсего бедняк, который ищет заработка.

Даст бог, приеду благополучно на место, — не знаю еще, что я там делать буду, но ясно, как божий день, что первым долгом отправлюсь на могилу праматери Рахили. Помолюсь я там за своих детей, которых, наверное, никогда больше не увижу, помолюсь и за Эфраима-свата, вспомню и о вас и обо всех евреях. Обещаю вам это, вот вам моя рука! И будьте мне здоровы, счастливого вам пути и передайте от меня привет каждому в отдельности.

1909

ИЗЫДИ!

Большой и горячий привет вам, пане Шолом-Алейхем! Мир вам и детям вашим! Уж я давненько встретиться с вами хочу, набралось у меня «товару» порядочно, есть что рассказать. Все время расспрашиваю: «Где обретаешься?» — почему это вас не видать? А мне говорят, что разъезжаете вы где-то по белу свету, по разным дальним странам, как в сказании об Эсфири говорится: «Сто и двадцать семь царств...» Да только вы как-то странно на меня смотрите... Небось сомнение берет: он или не он? Он, пане Шолом-Алейхем, он самый! Ваш старый приятель Тевье собственной персоной, Тевье-молочник, тот же Тевье, только уже больше не молочник, просто человек, такой, как все, старик, хотя по годам не так уж стар — как в сказании на пасху говорится: «Вот я, семидесятилетний», — до семидесяти еще далеко! А что волосы побелели? Поверьте, не от радости, дорогой друг... Своих горестей немало — что греха таить? — да и всему нашему народу горя не занимать стать!.. Скверное время! Тяжкая година для нашего брата! Но я знаю, что у вас на уме. Вы о другом думаете: вспомнили, наверное, что мы с вами однажды распрощались перед тем, как я должен был уехать в Палестину, а теперь, вероятно, думаете, что видите меня

на обратном пути, из Палестины то есть, и ждете, конечно, новостей оттуда, хотите получить свежий привет от гробницы праматери Рахили, от священной пещеры и тому подобных святынь. Должен вас успокоить. Если есть у вас время и если хотите послушать, какие чудеса бывают на свете, выслушайте меня внимательно, — тогда сами скажете, что человек — тварь неразумная, что велик наш бог и что его волей мир управляется.

Какой раздел Пятикнижия читают нынче? «И воззвал»? А у меня на очереди совсем другой раздел: «Изыди»!* «Изыди!» — сказали мне. Убирайся, Тевье, «из страны своей, с места твоего рождения», — из деревни, в которой ты родился и прожил все свои годы, «на землю, которую я укажу тебе», — куда глаза глядят! И прочли мне эти строки как раз в то время, когда Тевье уже и стар, и немощен, и одинок, как мы в молитве читаем: «Не покидай нас на старости лет...»

Однако я забежал вперед и чуть было не забыл, что не дошел еще до начала рассказа, я ведь еще не рассказал вам о Палестине. Что там слышно, хотите вы знать, дорогой друг? Страна хорошая, что и говорить! «Земля, текущая млеком и медом», — говорится у нас в священном писании. Беда только, что Палестина — в Палестине, а я, как видите, все еще здесь... Это про меня, видно, говорится в сказании об Эсфири: «Суждено мне пропадать — и пропадаю», — как был я неудачником, так неудачником и помру. Был уже, казалось, одной ногой по ту сторону, на земле обетованной то есть, оставалось только взять билет, сесть на корабль — и пошел! Но человек полагает, а бог располагает. Вы только послушайте! Как раз в это время старший мой зять, Мотл Камзол, портной из Анатовки, вдруг надумал помереть, не про вас будь сказано! Лег спать здоровый, крепкий и не встал! То есть, конечно, особенным богатырем он никогда не был. И откуда взяться здоровью: ремесленник, день и ночь, как сказано: «Либо премудрость постигал, либо господу молитвы возносил» с иголкой в руках, штаны, извините, сметывал. Шил, шил, пока сухотку не нажил, кашлять начал, кхекал, кхекал, да так все легкие и

прокхекал. Не помогли ему уже ни доктор, ни знахарь, ни козье молоко, ни шоколад с медом. Славный был парень, хоть и простецкий, не ученый, зато честный, без задних мыслей, а дочь мою любил, как душу свою! И жертвовал собою ради детей, а за меня готов был в огонь и в воду!

Словом, как в библии сказано: «И умер Моисей», — помер Мотл и оставил мне изрядный груз. Где уж там было думать о Палестине? Дома у меня такая Палестина, лучше некуда! Как же я мог, судите сами, оставить дочь вдову с малышами сиротами без куска хлеба? Хотя, с другой стороны, чем я могу ей помочь? Дырявый мешок — как его наполнишь? Мужа я ей из мертвых не воскрешу, детям отца с того света не верну... Да и сам я, грешным делом, не более как человек: хочется на старости лет кости расправить, почувствовать себя разумным созданием, а не скотиной. Пошумел и хватит! Пожил на этом свете и довольно! Пора и о том свете подумать! Тем более, что с хозяйством своим я уже покончил; и как вам известно, я давно спровадил коровок, распродал без остатка, осталась только пара бычков, из которых мог бы выйти толк, если их хорошо кормить, — и вдруг изволь на старости лет сделаться отцом сирот, кормильцем маленьких детей! Думаете, это все? Не торопитесь! Самое главное впереди, потому что у Тевье, если стрясется беда, то, сами знаете, обязательно за ее хвостом другая тащится! Когда однажды, к примеру, случилось несчастье, — пала у меня корова, — то следом же пала вторая... Так уж господь бог создал свой мир, так тому и быть, — ничего не попишешь!

Короче говоря, историю моей младшей дочери, Бейлки, вы, конечно, помните? Помните, какое счастье ей привалило, какого леща она поймала, Педоцура, вертопраха, военного подрядчика, который привез в Егупец полные мешки и втюрился в мою дочь, захотел иметь жену-красавицу, подослал ко мне Эфраима-свата, — чтоб его черт... — землю носом рыл, лез из кожи вон, взял ее, как говорится, в чем мать родила, осыпал с головы до ног подарками, брильянтами да алмазами... Казалось бы, такое счастье, не правда ли?

Ну, так вот, все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как еще вылетело! С треском, господи, спаси и помилуй! Потому что, если бог захочет, чтобы колесо повернулось в обратную сторону, так все летит к черту, маслом вниз, знаете, как в молитве вот написано, «подъемлет нищего из праха», а не успеешь оглянуться, как следом за этим идет: «взирающий с высоты на небо и на землю», — то есть хлоп в яму с постромками!.. Бог любит поиграть с человеком, ох, любит! Сколько раз он эдак играл с Тевье: «То восходит, то нисходит», — то вверх, то вниз! Так было и с моим подрядчиком, с Педоцуром. Помните, конечно, его дом в Егупце с целой оравой слуг, с зеркалами, с часами, с финтифлюшками? Фи-фу-фа! Помните, я, кажется, рассказывал вам, что я тогда уговаривал Бейлку, упрашивал ее постараться, чтобы он купил этот дом и обязательно на ее имя? Меня, конечно, не послушались, куда там! Разве отец понимает что-нибудь? Отец ничего не понимает! Ну, и чем же, вы думаете, все это кончилось? Врагам бы моим такой конец! Мало того, что Педоцур после этого шика и треска обанкротился и распродал все зеркала, и все часы, и женины брильянты и алмазы, — он к тому же влип в скверную историю и должен был удрать, куда Макар телят не гонял, то есть в Америку. Туда ведь едут все разбитые сердца, — вот и они туда поехали. На первых порах здорово помучились, небольшую сумму, какая у них была, проели, а когда жевать стало нечего, пришлось беднягам взяться за работу. Работали каторжно, как наши предки в Египте* — оба, и он и она! Сейчас, пишет она, малость полегчало: они вяжут чулки на машине и «делают жизнь», — так это у них в Америке называется. А по-нашему это означает — перебиваются с хлеба на квас. Хорошо еще, что их всего двое, пишет она, ни дитяти, ни теляти — и то благо!

Вот я и спрашиваю: не черта ли его дядькиной тетке? То есть я имею в виду Эфраима... Сосватал-таки жениха моей дочке, втянул меня в болото, нечего сказать! Чем, скажите, было бы плохо, если бы она вышла за ремесленника, как Цейтл, или за учителя, как Годл? Правда, и тем не больно повезло... Одна

осталась молодой вдовой, а вторая выслана куда-то к черту на кулички на поселение... Но ведь это от бога! Что может предвидеть человек? Знаете, что я вам скажу? Умница была моя Голда, царство ей небесное: вовремя спохватилась, распрощалась с этим глупым светом и ушла к праотцам. Потому что, скажите сами, не правда ли, нежели столько горя терпеть из-за детей, не в тысячу ли раз лучше спокойно лежать в могиле? Но как это там говорится: «Не по своей воле жив человек», — нам не дано взять свою судьбу в руки, а попробуй-ка взять, по рукам получишь!

Однако мы сбились с прямого пути, давайте вернемся к делу. Оставим на время, как это пишется в ваших книжках, царевича и вернемся к царевне. На чем же мы остановились? На разделе «Изыди». Но прежде чем приступить к этому разделу, я попрошу вас потрудиться, — остановимся на минутку на другом. Его, правда, читают не после, а до того раздела, но мне эти разделы прочли в обратном порядке. История интересная, можете ее послушать, — она вам, чего доброго, еще и пригодится.

Дело было давно, сразу после войны, в самый разгар коснетуций, когда на головы евреев посыпались всякие «благодеяния», сначала в крупных городах, потом в местечках... Однако до меня дело не дошло и дойти не могло ни в коем случае! Почему? Очень просто! Живешь столько лет среди крестьян, со всеми соседями дружишь. «Друг сердечный, отец милосердый», «батюшка Тевль» у всех в большом почете, первая личность на селе. Совет нужен: «як Тевль скажет»; лекарство от лихорадки: «до Тевля»; ссудить на время несколько рублей — опять-таки к Тевлю... Ну, мог ли я опасаться погрома? Глупости! И в голову не приходило! Сами крестьяне сколько раз говаривали, что мне совершенно нечего бояться, они не допустят! И действительно... Вот послушайте.

Приезжаю однажды из Бойберика домой. Я тогда еще в полной силе был, торговал молочным товаром — сыром, маслом и прочей снедью. Выпряг лошадку, подсыпал сена и овса, не успел даже руки помыть

к обеду, — гляжу, у меня полон двор крестьян, вся громада, самые почтенные хозяева, от старосты Ивана Поперило и до пастуха Трохима. И все они выглядят как-то странно, у всех праздничный вид... Поначалу у меня екнуло сердце: что за праздник ни с того ни с сего? А не пришли ли они... Однако тут же подумал: «Фи, Тевье! Стыдно, перед самим собой стыдно: столько лет живешь в селе — один-единственный еврей среди стольких крестьян и всегда со всеми в согласии и в ладу, никогда никто тебя пальцем не тронул!»

Вышел я к ним и поздоровался честь-честью:

— Здравствуйте, — говорю, — дорогие хозяева! Зачем пожаловали? Что хорошего скажете? Что нового расскажете?

Выступает староста, Иван Поперило то есть, и говорит ясно, прямо, без всяких предисловий:

— Пришли мы к тебе, Тевль... Побить тебя хотим!

Как вам нравится такой разговор? По-нашему это называется намеки делать, обиняками говорить... Каково было у меня на душе, можете себе представить. Но показывать — дудки! Наоборот... Тевье — не мальчик...

— Поздравляю вас! — отвечаю я как ни в чем не бывало. — Но что же это вы, дети мои, так поздно спохватились? В других местах об этом уже почти забыть успели!

Тогда Иван Поперило, староста то есть, говорит самым серьезным образом:

— Понимаешь, Тевль, мы все время думали и гадали: бить тебя или не бить? Повсюду, во всех других местах, ваших бьют, как же нам тебя обойти? Вот громада и порешила, что надо тебя побить... Да только, видишь ли, сами еще не знаем, что с тобой делать, Тевль: только ли стекла у тебя вышибить, перины и подушки распороть и пух выпустить, или поджечь твою хату, сарай и всю худобу?..

Тут уж у меня и вовсе стало кисло на душе. Смотрю я на своих гостей, стоят, опершись на длинные посохи, и о чем-то шепчутся. По всему видать, что дело нешуточное. «В таком случае, — думаю я про

себя, — выходит, как в псалмах сказано: «Дошла вода до горла», — взяли тебя, Тевье, здорово в работу! Ведь если — не приведи господь... Мало ли что? Кто их знает?.. Нет, брат, со смертью шутки плохи! Надо им сказать что-нибудь».

И что тут долго рассказывать, дорогой друг, суждено было, видать, совершиться чуду... Внушил мне господь не теряться, не падать духом! Набрался я смелости и обращаюсь к крестьянам:

— Выслушайте меня, дорогие мои хозяева. Раз громада порешила, так и рассуждать тут нечего. Вам лучше знать, заслужил ли у вас Тевье, чтобы вы разорили все его хозяйство... Да только, — говорю, — знаете ли вы, что есть на свете кое-кто повыше вашей громады? Знаете ли вы, что есть бог на свете? Я не говорю — мой бог или ваш бог, я говорю о том боге, об общем нашем боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу... Очень может быть, что он сам так решил, чтобы я ни за что ни про что был наказан вами, лучшими моими друзьями, а может быть, — говорю, — и наоборот, может быть, он ни в коем случае не желает, чтобы Тевье зло причинили... Кто же может знать, чего хочет бог? А ну-ка, может быть, среди вас сыщется кто-нибудь, кто бы взялся добиться тут толку?

Словом, увидели они, надо думать, что Тевье им не переспорить. Тогда староста, Иван Поперило то есть, говорит:

— Дело, видишь ли, вот какое. Мы, правду сказать, против тебя, Тевль, ничего не имеем. Ты хоть и жид, но человек неплохой. Да только одно другого не касается, бить тебя надо. Громада так порешила, стало быть пропало! Мы тебе, хоть стекла повышибаем. Уж это мы непременно должны сделать, а то, — говорит, — неровен час, проедет кто-нибудь мимо, пусть видит, что тебя побили, не то нас и оштрафовать могут...

Точно так и сказал, как я вам говорю, чтоб мне так господь помог во всех моих делах!

Ну, вот я и спрашиваю вас, пане Шолом-Алейхем, ведь вы человек бывалый, не прав ли Тевье, когда говорит, что велик наш бог?..

Покончили мы, стало быть, с одной историей. Теперь вернемся к библейскому разделу «Изыди»! Этот отдел со мной прошли совсем не давно и уж по-настоящему. На этот раз не помогли, понимаете ли, никакие речи, никакие проповеди! А дело было так. Надо это рассказать со всеми подробностями, как вы любите.

И «бысть во дни» Бейлиса*, было это как раз в то время, когда Мендель Бейлис — невинная наша жертва — муку принимал за чужие грехи, а весь мир ходуном ходил. Сижу это я однажды на завалинке возле дома, погруженный в свои думы. На дворе лето. Солнце припекает, а голова трещит от мыслей. Как же это так? Возможно ли? В нынешние времена? Такой, казалось бы, мудрый мир! Такие великие люди! Да и где же это бог? Старый еврейский бог? Почему он молчит? Как допускает он такое дело? Что же это значит, и опять-таки, — как же так? И, размышляя эдак о боге, поневоле углубляешься в высокие материи, начинаешь рассуждать, что такое жизнь и что такое загробный мир? И почему бы не прийти мессии?

«Эх, думаю, вот был бы он умницей, если бы вздумал сейчас на белой своей лошадке прискакать! Вот было бы здорово! Никогда, кажется, он так не был нужен нам, как сейчас! Не знаю, как там богачи, к примеру Бродские в Егупце или Ротшильды в Париже? Им, может быть, мессия и ни к чему, они о нем и думать не желают. Но мы, бедняки, — из Касриловки, из Мазеповки, из Злодеевки и даже из Егупца и Одессы, — ох, как ждем его, ждем не дождемся! Прямо-таки глаза на лоб лезут! Вся наша надежда сейчас только на то, что бог свершит чудо и придет мессия!»

И вот, размышляя таким образом, вдруг вижу: белая лошадка, кто-то на ней верхом сидит и — прямо к воротам моего дома! Тпр-ру! Остановился, слез, лошадку привязал и ко мне:

— Здравствуйте, Тевль?

— Здравствуйте, здравствуйте, ваше благородие! — отвечаю я радушно, а про себя думаю: «Вот

легок на помине: ждешь мессию, — приезжает урядник!»

Поднимаюсь, иду ему навстречу:

— Милости просим, гость дорогой! Что на свете слыхать, что хорошего скажете, господин начальник?

А сердце прямо выскочить готово — хочу знать, в чем дело? Но он, урядник то есть, не торопится. Закуривает преспокойно папироску, выпускает дым, сплевывает и спрашивает:

— Сколько тебе, Тевль, потребуется времени, чтобы продать хату и все твои бебехи?

Гляжу я на него с недоумением:

— А зачем же, — говорю, — продавать ее, мою хату? Кому, к примеру она мешает?

— Мешать, — отвечает он, — она никому не мешает. А только я приехал выселять тебя из деревни.

— Только и всего? — говорю я. — А за какие такие добрые дела? Чем я заслужил у вас такую честь?

— Не я, — отвечает он, — тебя выселяю — губерния выселяет.

— Губерния? Что же такого, — говорю, — она на мне увидела?

— Да не одного тебя, — отвечает он, — и не только отсюда, а из всех деревень кругом: из Злодеевки, из Грабиловки, из Костоломовки и даже из Анатовки, которая раньше считалась местечком... Сейчас и она деревней становится, и выгоняют оттуда всех, всех ваших...

— И мясника Лейзер-Волфа тоже? И Нафтоле-Герца? И резника? И раввина тамошнего?

— Всех, всех! — отвечает он и даже рукой махнул, точно ножом отрезал...

Полегчало как-то у меня на душе: как-никак, горе многих — половина утешения. Однако досада меня разбирает, так и жжет меня, и говорю я ему, уряднику то есть:

— Скажи-ка мне, ваше благородие, а знаешь ли ты, что я живу тут гораздо дольше тебя? Знаешь ли ты, что в этом углу жил еще мой покойный отец, и дед мой, и бабка, царство им небесное?

Я не поленился и перебрал всю семью, всех назвал по именам, рассказал, где кто жил и где кто помер... Он выслушал, а когда я кончил, говорит:

— Чудак ты, право, Тевль, и разговору у тебя не оберешься! Да что мне, — говорит он, — толку от твоих бабушек и дедушек? Царство им небесное! А ты, Тевль, собирай свои манатки и фур-фур на Бердичев!

Это меня уж совсем взорвало: мало того что такую добрую весть принес, ты еще издеваешься: «Фур-фур на Бердичев!» Дай-ка, думаю, хоть скажу ему, что на душе!

— Ваше, — говорю, — благородие! Вот уже сколько времени ты у нас начальником. Слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы кто-либо из соседей на меня жаловался, говорил бы, что Тевье его обокрал, или ограбил, или обманул, или попросту забрал что-нибудь? Расспроси-ка мужиков, не жил ли я с ними всегда душа в душу? А сколько раз я, бывало, ходил к тебе, господин начальник, за крестьян хлопотать, чтобы ты их не обижал?..

Это ему, видно, не понравилось! Встал, раздавил папироску пальцами, швырнул ее и говорит:

— Некогда мне с тобой лясы точить, пустыми разговорами заниматься. Прибыла мне бумага, а остальное меня не касается! Поди-ка вот распишись! А времени на выезд дают тебе три дня, чтобы ты мог все распродать и приготовиться в путь-дорогу!

Увидев, что дело плохо, я говорю:

— Три дня даете мне? Дай вам бог за это три года жить в богатстве и чести. Пусть господь воздаст вам сторицей за добрую весть, что принесли мне...

Словом, всыпал ему по первое число, как Тевье умеет! В самом деле, чего мне было церемониться? «Что мне терять?» — подумал я. Конечно, будь я моложе лет на двадцать хотя бы, будь жива моя Голда, будь я тот же Тевье, что прежде, я бы так скоро не сдался! Я боролся бы до крови! А теперь — что уж? «Что мы и что наша жизнь?» — кто я и что я? Мертвец, битый горшок, черепок негодный! «Ах ты, думаю, владыко небесный! И чего это ты привязался к Тевье? Почему бы тебе не поиграть когда-нибудь, хотя

бы шутки ради, с Бродским, к примеру, или с Ротшильдом? Почему им никто не читает главу «Изыди». Им бы это больше кстати было! Во-первых, они бы по-настоящему почувствовали, что значит быть евреем, а во-вторых, пусть бы и они увидали, что есть у нас всесильный бог...»

Однако все это пустые разговоры. С богом вступать в споры бесполезно, и советов у нас никто не спрашивает. Если он говорит: «Небо мое и земля моя», — стало быть он хозяин и надо слушаться. Как бог скажет, так тому и быть!..

Вошел я в дом и говорю своей дочери вдове:

— Цейтл, мы переезжаем в город. Пожили в деревне и хватит. Перемена места — перемена счастья. Принимайся, — говорю, — за дело, начинай загодя готовиться в путь — собирай постель, самовар и прочую рухлядь, а я пойду хату продавать. Прибыла бумага, чтобы мы очистили это место и чтобы через три дня нашего духу тут не было!

Услыхав такую весть, Цейтл как расплачется, а детишки, на мать глядя, тоже ни с того ни с сего разревелись, и в доме поднялся стон и плач, как на похоронах. Я, конечно, рассердился и стал вымещать на дочери, бедняжке, все, что накипело на душе: «Чего, говорю, вы от меня хотите? Что это вы расхныкались так с бухты-барахты, как старый кантор в дни покаяния? Один я, что ли, у господа бога? Единственный? Мало ли евреев сейчас из деревень выгоняют? Поди послушай, что урядник рассказывает! Даже твоя Анатовка, которая до сих пор была местечком, и та, с божьей помощью, деревней стала ради тамошних евреев, чтоб их всех можно было выгнать оттуда... А если так, то чем же я хуже других?

Выкладываю я все это ей, моей дочери, но ведь она всего только женщина...

— Куда, — говорит она, — мы вдруг перебираться станем? Куда пойдем пристанища искать?

— Глупая! — отвечаю я. — Когда бог явился нашему праотцу Аврааму и сказал ему: «Изыди из страны своей», — Авраам не стал спрашивать куда? Бог сказал ему: «В страну, которую я укажу тебе...»

А значит это — на все четыре стороны... Пойдем, куда глаза глядят, куда все идут. Что со всеми будет, то и со мной. А чем ты лучше твоей сестры богачки Бейлки? Ей, видишь ли, пристало торчать сейчас со своим Педоцуром в Америке и «делать жизнь», а тебе почему не пристало? Слава богу, что у нас еще есть с чем с места трогаться. Кое-что осталось от прежнего, немножко от скотины, которую мы продали, за хату сколько-нибудь получим. А тут немножко, там немножко: глядишь — полна плошка. И то благо! Да если бы у нас даже ничего не было, все равно, — говорю, — нам лучше, чем Менделю Бейлису!

Словом, кое-как уговорил ее, чтоб не шибко упрямилась. Втолковал ей, что раз урядник пришел и бумагу принес, раз велят выезжать, то нельзя же поступать по-свински, — надо уходить... А сам отправился на деревню улаживать дело с хатой. Прихожу к Ивану Поперило, к старосте то есть. Он хозяин крепкий, и хата моя давно ему приглянулась! Я не стал ему рассказывать, что, и как, и почему, а говорю прямо:

— Да будет тебе известно, Иван-сердце, что покидаю я вас...

— Что так? — спрашивает он.

— В город, — говорю, — переезжаю. Хочу быть среди своих. Человек я не молодой, а вдруг, упаси бог, помирать придется...

— Что ж ты, — отвечает он, — здесь помереть не можешь? Кто тебе не дает.

— Спасибо, — говорю, — тебе здесь сподручнее помирать. А я лучше к своим пойду... Покупай, Иване, мою хату с огородом. Другому не продал бы, а тебе продам.

— А сколько ты за хату хочешь?

— А сколько дашь?

Словом, пошел разговор: «Сколько хочешь?» — «Сколько дашь?» — стали торговаться, по рукам ударять, десяткой больше, десяткой меньше, — покуда не столковались насчет цены. Взял я у него приличный задаток, чтобы без отказу было, и так вот за один день распродал за бесценок, разумеется, все свое

имущество, все в золото превратил и пошел нанимать подводу, чтобы забрать оставшуюся рухлядь.

Однако послушайте, что с Тевье приключиться может! Вы только внимательно слушайте, я вас долго не задержу, в двух словах передам.

Прихожу я перед отъездом домой, а дома ничего уже нет — разор! Стены голые и кажется, будто они слезами плачут. На полу — узлы, узлы, узлы! На припечке кошка сидит, как сирота, печальная, бедняжка, — меня даже за сердце взяло, слезы на глаза навернулись... Кабы не стыдился дочери, поплакал бы всласть... Что ни говорите, все-таки батьковщина!.. Вырос тут, маялся всю жизнь и вдруг, пожалуйте, изыди! Говорите что хотите, но это очень больно! Однако Тевье — не женщина, сдерживаю себя и эдаким веселым тоном кричу дочь:

— Поди-ка сюда, Цейтл, где ты там запропастилась?

Выходит она, Цейтл то есть, из соседней комнаты с красными глазами, с распухшим носом. «Эге, думаю, дочка моя опять наревелась, как баба в Судный день». С этими женщинами, доложу я вам, — сущая беда: чуть что — плачут! Дешевые у них слезы...

— Глупая! — говорю я. — Чего ты опять плачешь? Посуди сама, какая разница между нами и Менделем Бейлисом...

Но она и слушать не хочет.

— Отец, — говорит, — ты не знаешь, чего я плачу...

— Отлично, — говорю, — знаю! Почему бы мне не знать? Плачешь, потому что жаль с домом расставаться... Ведь ты здесь родилась, здесь выросла, ну, конечно, тебе больно! Поверь мне, не будь я Тевье, будь я другой человек, я бы и сам целовал эти голые стены и пустые полки... Я бы сам припал к этой земле... Мне, как и тебе, каждую пустяковину жаль. Глупенькая! Даже вот кошка, и та сиротой на припечке сидит. Бессловесное существо, животное, а ведь жаль ее, без хозяина остается...

— Положим, — говорит Цейтл, — есть еще кого пожалеть...

— Например?

— Например? Вот мы уезжаем и оставляем здесь одного человека, одинокого как камень...

Не понимаю, о ком она говорит, и обращаюсь к ней:

— Что ты там болтаешь? О ком речь? Что за человек? Какой камень?

— Отец, — отвечает она, — я не болтаю, я знаю, что говорю. Я говорю о нашей Хаве...

Сказала она это и, клянусь вам, будто кипятком ошпарила меня или поленом по голове трахнула!

Накинулся я на нее и стал отчитывать:

— Что это вдруг ни с того ни с сего о Хаве? Ведь я сколько раз говорил, чтобы имя Хавы не упоминалось!

Думаете, она оробела? Ничуть. Дочери Тевье — с характером.

— Отец, — говорит она, — ты только не сердись. Вспомни лучше, не ты ли сам сколько раз говорил: в писании, мол, сказано, что человек должен жалеть человека, как отец свое дитя...

Слыхали? Я, конечно, вскипел и отчитал ее по заслугам:

— О жалости ты мне говоришь? А где была ее жалость, когда я, как собака, валялся в ногах у попа, будь он проклят, умолял его, а она, быть может, была тут же рядом в комнате и, может быть, слыхала каждое слово? Или где была ее жалость, когда покойная мать, царство ей небесное, лежала вот здесь на полу, накрытая черным? Где она была тогда? А ночи, — говорю, — которые я провел без сна? А боль, которая по сей день сжимает мне сердце, когда я вспоминаю, что она с нами сделала, на кого нас променяла! Где же, — говорю, — ее жалость ко мне?

И так у меня защемило сердце, что не могу больше ни слова вымолвить... Думаете, однако, что дочь Тевье не нашлась?

— Ведь ты, — сказала она, — сам говоришь, что человеку, который кается, даже сам бог прощает...

— Кается? — говорю я. — Слишком поздно! Веточка, что однажды оторвалась от дерева, должна засохнуть! Лист, что упал, должен сгнить. И больше не говори со мной об этом! Хватит!

Увидав, что словами ничего не поделаешь, что Тевье уговорами не возьмешь, она припала ко мне, стала руки целовать и говорить:

— Отец! Пусть я умру здесь на месте, если ты и на этот раз оттолкнешь ее, как тогда в лесу, когда она к тебе руки протягивала, а ты поворотил лошадь и удрал!

— Да что ты, — говорю, — пристала ко мне? Что за напасть на мою голову?

Но она не отпускает, держит меня за руки и твердит свое:

— Умереть мне на месте, если ты не простишь ее. Ведь она дочь тебе, так же как и я!

— Чего ты от меня хочешь? — говорю. — Не дочь она мне больше! Она давно уже умерла!..

— Нет! — говорит Цейтл, — она не умерла, она снова твоя дочь, как и была, потому что с первой же минуты, как только она узнала, что нас выселяют, она себе сказала, что выселяют всех нас, то есть и ее тоже. Где мы, — так мне сама Хава сказала, — там и она будет. Наше изгнание — ее изгнание... И вот даже ее узел здесь...

Говорит она все это, торопясь, одним духом, слова сказать не дает и показывает мне какой-то узел, в красный платок завязанный... И тут же открывает дверь во вторую комнату и зовет: «Хава!» Честное слово! И что мне сказать вам, дорогой друг? Совсем так, как у вас в книжках описывается: показывается в дверях Хава — здоровая, крепкая, красивая, как была, ничуть не изменилась, только лицо немного озабоченное и глаза чуть подернуты. А голову держит прямо, с гордостью. Останавливается на минутку, смотрит на меня, а я на нее. Потом простирает ко мне обе руки и только одно слово может выговорить, одно-единственное слово и едва слышно:

— Отец!

Извините меня! Как вспомню, так и сейчас слезы глаза застилают. Не думайте, однако, что Тевье, упаси бог, расплакался, слезам волю дал, глупости!

То есть, конечно, то, что я тогда пережил и перечувствовал, это само собой... Ведь и вы отец и знаете не меньше моего, что значит жалость к детям... Дитя, как бы оно ни провинилось, — если прямо в душу к вам влезает и говорит: «Отец!» — ну, скажите, можно его оттолкнуть? Попробуйте!.. Но, с другой стороны, голова идет кругом, и на память приходит все то зло, что она мне причинила... Федька Галаган... Поп... Мои слезы... Смерть Голды... Нет! Скажите сами, разве можно все это забыть? Как забыть? Но опять-таки родное дитя... «Как отец жалеет детей своих». Разве можно человеку быть таким жестоким, если сам бог говорит о себе, что он — бог всепрощающий! А тем более, если она раскаивается, хочет вернуться к своему отцу и к своему богу? Что скажете вы, пане Шолом-Алейхем? Ведь вы человек, который сочиняет книжки и миру советы подает, — скажите сами, как должен был поступить Тевье? Обнять ее как родную, расцеловать и сказать, как в молитве сказано: «Простил по слову твоему» — иди ко мне, ты мое дитя? Или поворотить дышло, как я сделал когда-то, и сказать ей: «Иди подобру-поздорову, откуда пришла»? Нет, серьезно, допустим, что вы на моем месте... Скажите мне откровенно, как доброму другу: как бы вы поступили? А если не можете сказать сейчас, даю вам срок, подумайте... А пока что надо идти: внуки ждут не дождутся деда. Надо вам сказать, что внуки еще в тысячу раз дороже, чем дети. «Чада и чада чад твоих!» Шутка ли!

Будьте здоровы и не взыщите, что заморочил вам голову. Зато будет у вас, о чем писать. А если даст бог мы еще, наверное, встретимся. До свидания! Всего хорошего!

1914

ПРИМЕЧАНИЯ

СТЕМПЕНЮ

Роман «Стемпеню» был написан Шолом-Алейхемом в 1888 году и напечатан в изданном им сборнике «Ди юдише фолкс-библиотек» (Еврейская народная библиотека), книга по литературе, критике и науке, книга первая, Киев, 1888.

Роман «Стемпеню» это первая попытка Шолом-Алейхема создать реалистический роман из еврейского быта шестидесятых годов прошлого века. Об этом он пишет С. Дубнову (буржуазный еврейский историк и литературный критик, род. в 1860 г., погиб во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.) в письме от 2 сентября 1888 года: «Для моего сборника я пишу «еврейский роман» под названием «Стемпеню». Это имя принадлежит личности, которая в известной мере является исторической. Во всяком случае для юго-западного еврейства. Стемпеню был не кем иным, как замечательным маэстро, скрипачом в Бердичеве... Типов, то есть я хотел сказать характеров, всего имеются только три: Стемпеню — художник, поэт и тому подобное в еврейском смысле, его жена — мелочная, жадная, жестокая личность, и, наконец, еврейская Лаура — идеал чистоты, приятности, красоты и чуткости. Собственно сюжет не отличается изобретательностью, процесс любви — один момент, как и подобает евреям двадцать лет тому назад...»

В своем письме от 11 ноября 1888 года Шолом-Алейхем пишет тому же Дубнову: «Одновременно с этим посылаю вам срочно мое новое произведение «Стемпеню» (мой *первый* роман), которое я вам давно обещал... Проникшись мыслью написать еврейский

роман для *народа,* я спустился к нему, к народу, перенял от него чудесные легенды об этой, так сказать, исторической личности... С этой целью... я стал списываться и установил личные связи с музыкантами, которые отчасти открыли передо мною душу этого человека. Остальное уже выполнила моя творческая фантазия».

При последующих изданиях романа Шолом-Алейхем внес небольшие стилистические исправления и устранил местами некоторые длинноты.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Стр. 45. *Реб* (в смысле «господин») — произносится или пишется перед именем при обращении к старшему по возрасту (женатому) человеку или при обращении пожилых людей друг к другу.

Менделе-Мойхер-Сфорим (Менделе Книгоноша), или сокращенно — Менделе (псевдоним Ш. Я. Абрамовича, 1836—1917) — старейший классик, основоположник современной еврейской литературы, прозванный «Дедушкой» еврейской литературы.

Стр. 46. *Хедер* — еврейская религиозная начальная школа.

Глупск — вымышленное название крупного города в произведениях Менделе.

Мазеповка — одно из вымышленных названий местечек в произведениях Шолом-Алейхема.

Егупец — вымышленное название большого города в произведениях Шолом-Алейхема; по описанию и местоположению соответствует Киеву.

Гнилопятск, Цвиачиц, Тунеядовка — вымышленные названия местечек в произведениях Менделе.

Стр. 49. *Бадхн* — профессиональный шут-рифмоплет, забавлявший гостей, в основном на свадьбах, своими песнями, рассказами и анекдотами.

Стр. 55. *«Покрывание»* (бадекнс), или *«усаживание»* (басецис) — старинный еврейский свадебный обряд; состоял в том, что перед венчанием невесту «усаживали» на специально приготовленном сидении (кресло или помост) в обществе женщин и покрывали голову (волосы) «покрывалом» (дек-тух), позже — фатой; жених, окруженный шаферами и дружками, приходил и опускал «покрывало» на лицо невесты.

Постятся — встарь, по еврейскому обычаю, жених и невеста в день свадьбы до венчания ничего не ели.

Стр. 56. *Меламед* — учитель еврейской религиозной школы.

Стр. 60. *...помыв руки...* — Религиозный обряд перед едой мыть руки, произнося при этом положенное «славословие» (молитву).

Стр. 62. *«Виваты»* — поздравительные мелодии, которые музыканты играли поочередно в честь невесты, жениха, сватов и родичей со стороны невесты и жениха.

Стр. 64. *Цадик* (праведник), или ребе (ученый) — святой, духовный руководитель «хасидов» (приверженцев религиозно-мистического течения в иудаизме — «хасидизм»).

Стр. 68. *На обед, посвященный обряду «повязывания»!* («шлеервармес»). — Встарь у религиозных евреев волосы у взрослой женщины считались «позором». Даже взрослые девушки в присутствии взрослых мужчин должны были покрывать головы платком. Замужняя женщина же должна была коротко остричь или побрить голову и повязать (ойсшлеерн) ее «повойником» («шлеер») или надеть парик и покрыть его также платком, шарфом или «повойником». Обряд «пострижения» и «повязывания» «молодухи» совершался на следующий день после венчания, в честь чего устраивался торжественный обед с музыкой и танцами.

Стр. 92. *«Папе»* — хлеб.

Стр. 93. *Первое «Элула»* — название одиннадцатого месяца еврейского религиозного календаря (август — сентябрь).

Стр. 99. *Самсон на коленях у Далилы.* — Герой библейской легенды Самсон, еврейский богатырь, влюбился в Далилу, — филистимлянку. Далила по наущению сородичей выпытала у Самсона тайну его богатырской силы, которая заключалась в его волосах, остригла их ночью и предала Самсона врагам-филистимлянам.

Стр. 100. *Пурим* — весенний еврейский религиозный полупраздник (за месяц до пасхи), установленный в память чудесного избавления от козней злого Амана, описанного в библейской книге «Эсфирь». По установленному обычаю евреи посылали друг другу гостинцы (сдобное печенье, сладости, фрукты и др.) через посыльных из детей бедноты.

Стр. 125. *«Тайч-хумеш»* — Пятикнижие (первый раздел библии) в переводе на современный еврейский язык (идиш) с комментариями.

Бехас пишет... — Бахья ибн-Пекуда, раввинистский ученый и философ XI века, автор известного в еврейской религиозной письменности сочинения по этике «Хобот галебобот» («Обязанности сердец»).

Стр. 143. *...И речка тоже есть...* — По еврейскому религиозному закону развод может быть совершен только раввином и только в таком населенном пункте, где имеется река.

ИОСЕЛЕ-СОЛОВЕЙ

Роман «Иоселе-соловей» был написан Шолом-Алейхемом в 1889 году и напечатан в изданном им сборнике «Ди юдише фолксбиблиотек» (Еврейская народная библиотека), книга вторая, 1889.

Фактически указанный сборник вышел в свет в начале 1890 года, так как в своем письме от 23 января 1890 года к Менделе (см. прим. к стр. 45) Шолом-Алейхем пишет: «Библиотека» у меня словно кость в горле; ни туда ни сюда, — когда все уже готово, умирает у типографа ребенок...» И только в своем письме от 23 марта 1890 года он сообщает тому же Менделе, что: «Слава богу, сегодня закончено экспедирование «Библиотеки».

В своем письме от 18 июля 1889 года к С. Дубнову (см. прим. к «Стемпеню») Шолом-Алейхем пишет: «Вскоре я приступаю к печатанию второго тома «Библиотеки»... Я сам написал роман «Переле»[1], который сто́ил мне полгода работы и, кажется, нескольких лет жизни. Я никогда еще так не трудился над произведением, не отделывал со всех сторон вещь так тщательно. Характер моего нового романа лирический. При всей моей склонности к веселому юмору нет у меня настроения дурачиться в теперешнем нашем социальном положении, в особенности, когда я нахожу и выкапываю в той жизни, которую я описываю, такие перлы, как Переле...»

При последующем издании романа Шолом-Алейхем внес небольшие стилистические исправления и примерно в восьми местах сократил текст общей сложностью на треть печатного листа.

Стр. 149. *О. М.* — Ольга Михайловна — жена Шолом-Алейхема.

Стр. 151. *Кантор* (хазн) — человек, читающий нараспев молитвы у аналоя (омед) во время синагогальной литургии.

Стр. 152. *Валашская мелодия* («волехл») — мелодия, на которой отразилось влияние песенных мотивов Валахии (Румынии).

Стр. 155. *Виленский Молодожен* (вилнер балабесл) — Ийойэл-Довид Левенштейн, или Страшунский (1816—1850); знаменитый кантор и композитор синагогальных мелодий. Стал выступать в роли кантора с одиннадцатилетнего возраста. В 14 лет его женили (поэтому он и прозван «Молодожен»); впоследствии впал в болезненную меланхолию и умер. По этому поводу вокруг него

[1] Первоначальное (до печати) название романа «Иоселе-соловей».

создано много легенд (одну из которых приводит здесь Шолом-Алейхем), даже несколько пьес и другие поэтические произведения.

Талес — молитвенное облачение: четырехугольное полотнище из шерсти или шелка белого цвета с синими или черными полосами по краям и особого рода кистями по углам; надевается во время утренней молитвы.

Стр. 156. *Лемберг* — немецкое название города Львова.

Стр. 157. *Талескотн* — маленький «талес» с круглым вырезом в центре для того, чтобы продеть голову; религиозные евреи надевают его под верхней одеждой для постоянного ношения.

Стр. 158. *...как некогда жена Потифара — Иосифа-прекрасного.* — Библейская легенда о том, как Иосиф (одиннадцатый сын патриарха Якова), проданный братьями в рабство, попал в услужение к египетскому вельможе Потифару. Иосиф был очень красив, и жена хозяина воспылала к нему преступной страстью. Однажды, когда они только вдвоем были в доме, она схватила его за одежду и предложила ему свою любовь, но Иосиф убежал от нее, оставив в ее руках свою одежду.

Стр. 160. *Ханука* — еврейский религиозный полупраздник, продолжающийся в течение восьми дней и посвященный памяти освящения иерусалимского храма после победы Иудеи и освобождения от греческого ига в 165 году до н. э. (празднуется примерно в ноябре — декабре месяце).

Стр. 174. *...море посохом рассечь...* — Подразумевается: сделать чрезвычайно трудно. Поговорка основана на библейской легенде о том, как пророк Моисей рассек Красное море своим посохом для того, чтобы израильтяне перешли его пешком.

Маца — пресные коржи, употребляемые религиозными евреями в пасхальную неделю вместо хлеба (в это время квашеный хлеб запрещен к употреблению). *«Особая» маца...* — Очень набожные евреи употребляют мацу только из специально подготовленной для этой цели пшеницы.

Стр. 178. *«Кидеш»* — благословение, произносимое над бокалом вина (водки, меда и др.) перед началом субботней или праздничной трапезы.

Стр. 179. *...отдел из торы...* — отдел из Пятикнижия (первый раздел библии). По закону еврейской религии еженедельно по субботам читается с определенным напевом предназначенный для данной недели отдел Пятикнижия (для этого Пятикнижие разделено на отделы в соответствии с количеством недель в году).

Стр. 180. *Левиты* — каста жрецов, совершавшая богослужения в древнем иерусалимском храме.

Стр. 185. *...тринадцати нет...* — Тринадцатилетие (бармицве) — религиозное совершеннолетие у мальчиков (по достижении этого возраста мужчина обязан соблюдать все законы и обряды еврейской религии и самостоятельно нести ответ за свои грехи).

Стр. 188. *Филоктерии* (тефили) — пергаментные коробочки особой формы, в которые вложены выдержки из библии, написанные на пергаменте; религиозные евреи укрепляют эти коробочки специальными ремешками на лбу и предплечье левой руки во время утренней молитвы в будни.

Стр. 222. *Талмудтора* — хедер для детей бедноты, содержавшийся на средства благотворительного общества.

Стр. 225. *Трефное* — непригодное к употреблению в пищу по законам еврейской религии.

Стр. 227. *Каббалисты* — люди, занимающиеся еврейским религиозно мистическим учением «каббалы».

Стр. 228. *Эти «братья» акцизники...* — в данном случае: должностные лица по «питейному откупу» (налог на винно-водочные изделия, взыскание которого сдавалось казной в аренду частным лицам, «откупщикам») в царской России до 1861 года.

Стр. 242. *«Благословен вошедший...»* — приветствие гостям, принятое в еврейском религиозном быту.

Стр. 289. *...три богоугодных дела* — которые законом еврейской религии отведены специально для замужних женщин; одно из них — это зажигание специальных субботних и праздничных свечей; при этом произносится молитва.

Стр. 290. *Лилит* — имя праматери чертей в еврейской демонологии.

Рахиль, Лия — праматери израильтян. По библейской легенде, две сестры, которые были женами патриарха Якова. Вокруг этой библейской легенды впоследствии создано много других легенд, о которых говорится в читаемом Эстер молении.

Исав — библейская личность, старший брат патриарха Якова, неугодный богу.

Стр. 292. *«Шема, Исроел»* (слушай, Израиль!) — начало молитвы; при несчастном случае религиозные евреи произносят громко эту фразу в качестве призыва к богу о помощи.

Стр. 293. *Фрейлехс* — веселая мелодия, танец.

Стр. 298. *«Это я, Иосиф».* — См. прим. к стр. 158. По библейской легенде, Иосиф впоследствии стал правителем Египта, вто-

рым лицом после фараона. Прошло много лет, и братья Иосифа, которые продали его в рабство, вынуждены были приехать в Египет и обратиться к нему за помощью. Они его не узнали, но Иосиф их узнал. В течение некоторого времени Иосиф обходился с братьями, как с чужими, но потом он перед ними открылся, крикнув: «Я Иосиф!»

Стр. 301. *Гольдфаден А.* (1840—1908) — поэт и драматург, основатель еврейского театра.

Стр. 304. *Кугель* — субботняя бабка (кушанье).

Стр. 313. *...десяток человек.* — По закону еврейской религии необходимо не менее десяти взрослых мужчин для того, чтобы молиться публично с кантором во главе.

Стр. 318. *Асмодей* — глава чертей по еврейской демонологии.

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ

Книга «Менахем-Мендл» состоит из шести книг или серий писем Менахем-Мендла, которые писались и печатались Шолом-Алейхемом в периодических изданиях и отдельными книжками начиная с 1892 года по 1903 год. Окончательно книга была отредактирована им и подготовлена к печати в 1909 году, к изданию юбилейного собрания сочинений (25-летие писательской деятельности Шолом-Алейхема было широко отмечено в 1908 году), см. предисловие автора «Ко второму изданию», помещенное впереди текста.

Шолом-Алейхем и в последующие годы продолжал писать и печатать в периодической прессе серии писем Менахем-Мендла, через которые автор откликался на жгучие вопросы современности, но обработать и издать их отдельной повестью он не успел, и они до сего времени самостоятельным изданием не выходили.

«ЛОНДОН»

Первая серия писем Менахем-Мендла «Лондон» написана Шолом-Алейхемом в 1892 году и напечатана в изданном им выпуске «Колмевасер цу дер «Юдишер фолкс-библиотек» («Извещение к «Еврейской народной библиотеке»), Одесса, 1892. Шолом-Алейхем собирался издать третью книгу сборника «Еврейской народной библиотеки», но из-за отсутствия средств издал только означенный маленький выпуск.

Стр. 333. *Касриловка* — во многих произведениях Шолом-Алейхема вымышленное название местечка (городка) с густым еврейским населением. Это заброшенная беспросветная глушь, населенная в основном беднотой. Обитатели Касриловки — «касрилики» — считают себя солью земли, но их представления и суждения о большом мире чрезвычайно наивны и смешны.

Стр. 335. *«Гóсы»* — ценные бумаги, цена которых на подъеме. *«Бесы»* — ценные бумаги, цена которых падает.

Стр. 337. *«Стеллаж»* — биржевая сделка, при которой покупатель обязуется: 1) принять от продавца обусловленные ценные бумаги и оплатить их стоимость; 2) если он их оставляет у продавца, то он должен оплатить курсовую разницу (диференц); если он отказывается от сделки, то он должен уплатить неустойку (премия).

Стр. 344. *...прозвали «Гамбетта».* — Гамбетта Леон Мишель (1838—1882) — известный французский буржуазный политический деятель.

Бисмарк (1815—1898) — князь, представитель немецкого юнкерства, известный государственный деятель второй половины XIX века. С 1861 года — председатель кабинета министров и министр иностранных дел Пруссии, а с 1871 года, после разгрома Франции и объединения Германии — канцлер Германской империи.

...восточной стены там нет. — В обычных (не «хоральных») синагогах места для сидения вдоль восточной стены считаются самыми почетными, при этом люди сидят спиной к стене.

Стр. 346. *...кантор ходит с бритой мордой...* — Это свидетельствует о его недостаточной набожности, так как закон еврейской религии запрещает брить бороду.

Стр. 350. *Блейхредер* — миллиардер, один из крупнейших банкиров в Германии того времени. Организовал Бисмарку заем для войны с Францией.

«БУМАЖКИ»

Вторая серия писем Менахем-Мендла «Бумажки» написана Шолом-Алейхемом в 1895 году и напечатана в сборнике «Дер Хойзфрайнд» («Друг дома»), историко-литературная книга, том пятый, Варшава, 1896.

Стр. 355. *«Ангажирую»* — в данном случае — «заказываю».

«Путивль» — предполагается вероятно «Путилов», то есть акции Путиловского завода.

Стр. 356. *Бойберик* — подразумевается Боярка — дачное местечко возле Киева.

...в Егупце мне жить нельзя. — При царизме в Киеве евреям было запрещено жить.

Казни египетские — десять казней, которыми, согласно библейской легенде, бог наказал египетского фараона за то, что он не хотел освободить израильтян.

Стр. 358. *«Девендент»* (дивиденд) — часть прибыли акционерного общества, которая выплачивается держателям акций.

Стр. 359. *«Первогильдейцы»* — евреи — купцы первой гильдии (разряды, на которые делилось купечество царской России в зависимости от имущественного ценза) имели право жить в Киеве.

Стр. 361. *Благословен сотворивший огненные светила!»* — В данном случае имеется в виду: сам поджег.

Стр. 366. *Бродский* — известный до революции киевский крупный капиталист сахарозаводчик.

Стр. 370. *«Картаж»* (куртаж) — вознаграждение посреднику, маклеру при биржевых сделках.

«Крадеж» — то есть воровство; ироническое выражение, как рифма к «картаж».

«А-ля бес» — на снижение цен.

«А-ля гос» — на повышение цен.

Стр. 374. *...шмардованцев!* — иронически, вместо «карбованцев» *(укр.)* — рублей.

Содом — согласно библейской легенде, город, разрушенный богом за грехи, которые в нем творились.

МИЛЛИОНЫ

Самая большая серия писем Менахем-Мендла, написана Шолом-Алейхемом в продолжение 1899—1900 годов и напечатана в ряде номеров еврейского еженедельника «Дер Юд» («Еврей») за 1899—1900 годы.

Стр. 380. *Титус* — Тит Флавий (римский император, покоривший Иудею и разрушивший Ерусалим в 70 году н. э.), слывший у евреев самым крупным разбойником, злодеем.

Стр. 387. *Учет* (дисконт) векселей — банковская операция при капитализме; состоит в получении ссуды под залог срочных век-

селей (денежных обязательств) третьих лиц с условием выкупа их в случае неоплаты в срок векселедателем.

Стр. 394. *Демиевка, Слободка* — районы в Киеве.

Стр. 409. *Сионизм* — еврейское буржуазно-националистическое реакционное, впоследствии контрреволюционное политическое течение, возникшее в 80-х годах XIX века. «Теоретиком» и главным глашатаем этого течения был доктор Герцель — австрийский писатель (1860—1904).

Стр. 414. *...насчет Дрейфуса?»* — Нашумевшее во второй половине 90-х годов XIX века «Дело Дрейфуса», всколыхнувшее общественность Франции, состояло в том, что французские реакционеры и антисемиты возвели ложное обвинение в шпионаже на офицера французского генерального штаба еврея Дрейфуса. Единственным документом обвинения был список («бордеро») секретных документов генштаба, который автор предлагал передать германскому военному атташе (автором этого списка в действительности был другой офицер, француз Эстергази). Дрейфус был осужден, просидел в тюрьме и ссылке много лет, но впоследствии реабилитирован благодаря протестам социалистической и либеральной общественности Франции (Жореса, Э. Золя, А. Франса и др.). В рассказе Менахем-Мендла об этом деле события перепутаны и их фактическое развитие не передано.

Стр. 415. *Ротшильд* — в данном случае парижский Ротшильд — владелец парижского банкирского дома, один из крупнейших магнатов финансового капитала.

ПОЧТЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Серия писем Менахем-Мендла, написанная Шолом-Алейхемом в 1903 году, была напечатана под названием «Новая профессия» в ежедневной газете «Дер Фрайнд» («Друг») в 1903 году, переработана под настоящим названием в 1909 году.

Стр. 425. *«Флenция»* — то есть инфлуенца — болезнь; то же, что грипп.

Стр. 426. *«Голенар»* (вместо «гонорар») — по-еврейски это означает — круглый дурак.

Коллектор — так называли в то время агентов по распространению выигрышных лотерейных билетов.

Литвак — то есть литовско-белорусский еврей.

Стр. 429. *...Муж ее был солдатом...* — вероятно, «николаев-

ским» солдатом или его потомком. По законам царского правительства евреям, прослужившим 25 лет в армии при Николае I, и их потомкам разрешалось проживать во всех местах Российской империи, даже там, где евреям это было запрещено.

НЕ ВЕЗЕТ!

Письмо Менахем-Мендла написано Шолом-Алейхемом в 1900 году; впервые напечатано в еженедельнике «Дер Юд» («Еврей») в 1901 году под названием «Дрейфус второй»; переработано под настоящим названием в 1909 году.

Стр. 438. *Просвещенец* — в данном случае: светски образованный человек в противоположность окончившему религиозное училище.

Стр. 439. *Носит дома шапку* — то есть набожный человек, так как по закону еврейской религии запрещено ходить с непокрытой головой, а также писать в субботний день.

Стр. 440. *Приверженец Садагоры* — то есть приверженец садагорского цадика.

...наполовину немец... — то есть не придерживающийся обычаев религиозных евреев в смысле одежды и внешнего вида.

Короткие пейсы — подстриженные волосы на висках. По еврейскому религиозному закону запрещено брить или стричь волосы бороды и висков.

Зачетная квитанция — денежная квитанция, освобождавшая держателя от воинской повинности при царизме.

Иосиф-прекрасный, Соломон-мудрый — библейские персонажи.

Стр. 454. *...штрафует...* — искаженное «страхует».

ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ

Письмо Менахем-Мендла написано Шолом-Алейхемом в 1900 году; напечатано впервые в еврейском еженедельнике «Дер Юд» («Еврей») в 1901 году; окончательно переработано в 1909 году.

Стр. 456. *«Эквитебель»* — точнее: Эквитебль — название страхового общества в дореволюционной России.

Инквизитор — искаженное «активизитор» — агент по привлечению новых объектов страхования.

«Кружной» — искаженное *«окружной»*.

Стр. 461. *...с размалеванным «востоком»...* — Во многих домах религиозных евреев было принято на восточной стене, к которой становятся лицом во время молитвы, вешать вышитую или нарисованную картину в рамке, на которой изображен пейзаж или орнамент с надписью «восток», или даже целый стих из библии.

Стр. 464. *Шифскарты* — проездные билеты на океанском пароходе.

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК

Серия монологов, объединенная в книге «Тевье-молочник», писалась Шолом-Алейхемом и печаталась в периодической печати в течение двадцати лет — 1894—1914 годы.

Книга «Тевье-молочник» больше всех других произведений Шолом-Алейхема изобилует цитатами из «священного писания», молитв и др., но это не потому, что Тевье является типом начетника, а потому, что через своего Тевье Шолом-Алейхем высмеивает, развенчивает начетников и начетничество.

В еврейском оригинале все эти цитаты Тевье произносит на древнееврейском языке оригиналов библии, талмуда или молитв и переводит их на еврейский язык (идиш) по-своему, то есть искажая их прямой смысл, не потому, что он не понимает их действительное значение, а потому, что этим он хочет показать несоответствие между «священным писанием» и действительной жизнью.

Нет смысла объяснять все цитаты и их искажения читателю, так как это понятно из контекста.

«АЗ НЕДОСТОЙНЫЙ». СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!

Написаны Шолом-Алейхемом в 1894 году и напечатаны впервые в сборнике «Дер Хойзфрайнд» («Друг дома»), историко-литературная книга, том четвертый, Варшава, 1895.

В своем письме от 26 сентября 1894 года Шолом-Алейхем пишет М. Спектору, редактору-издателю сборника «Дер Хойзфрайнд»: «...Не позже чем через месяц, а именно 20 октября Вы, с божьей помощью, получите от меня обещанное произведение

под названием «Тевье-молочник — история о том, как он неожиданно разбогател, рассказана самим Тевье и изложена слово в слово Шолом-Алейхемом...»

Стр. 471. *Пятидесятница* — еврейский религиозный праздник — пятидесятый день со второго дня пасхи.

Стр. 486. *...дважды по восемнадцать...* — Число восемнадцать и кратные ему по еврейскому народному поверью считаются счастливыми числами, так как числовое значение букв, составляющих древнееврейское слово, обозначающее «жизнь», равно восемнадцати.

Стр. 487. *Коробочный* сбор — специальный налог на «коширное» мясо (то есть мясо от скота или птиц, зарезанных и специально приготовленных по закону еврейской религии) при царизме. Налог этот сдавался на откуп, и откупщик выколачивал его у еврейского населения (в особенности страдала от этого беднота).

ХИМЕРА

Написано Шолом-Алейхемом и напечатано в 1899 году в еженедельнике «Дер Юд» («Еврей»).

Стр. 493. *...«все суетятся», как сказал царь Давид...* — Это изречение взято из библейской книги «Экклезиаст» и никакого отношения к царю Давиду не имеет; Тевье упоминает царя Давида для вящего авторитета.

Стр. 497. *...как праотца Авраама...* — Приведенный стих из псалмов никакого отношения к праотцу Аврааму не имеет (см. предыдущее примечание).

НЫНЕШНИЕ ДЕТИ

Написано Шолом-Алейхемом и напечатано в 1899 году в еженедельнике «Дер Юд».

Стр. 508. *«Аскакурдо демасканто декурносе дефарсмахто...»* — бессмысленный набор выдуманных слов, который по своему звучанию напоминает талмудическую фразу.

Стр. 514. *Ежели есть свинину, то пусть по бороде течет!* — то есть ежели согрешить, то по стóящему делу (по закону еврейской религии есть свинину запрещено).

ГОДЛ

Написано Шолом-Алейхемом и напечатано в 1904 году в ежедневной газете «Дер Фрайнд». («Друг»).

Стр. 529. *Раби* (титул ученого) *Иоханав-Гасандлер* (башмачник) — один из творцов талмуда, живший во II веке н. э.

«Феферл» — еврейский перевод слова «Перчик».

Стр. 534. *«Радость и освобождение...»* — фраза из библейской книги «Эсфирь», к талмуду, мудрашу (сборники толкований священного писания, притч и назидательных сказаний) не имеет отношения.

Раши — комментарий к библии и талмуду.

Стр. 541. *«Кущи»* — осенний еврейский религиозный праздник.

Стр. 544. *В эту ночь на небе решается наша судьба.* — Религиозное суеверие, что в эту ночь подписывается на небе решение о судьбе каждого человека, согласно постановлению, вынесенного о нем в недавно прошедшем «Судном дне».

ХАВА

Написано Шолом-Алейхемом и напечатано в 1906 году в еженедельнике «Дос юдише фолк» («Еврейский народ»), Вильна.

Стр. 548. *«Берешит бара элогим...»* — начальный стих библии: «Вначале бог сотворил...»

ШПРИНЦА

Написано Шолом-Алейхемом и напечатано в 1907 году в ежедневной газете «Унзер лебн» («Наша жизнь»), Варшава.

Стр. 562. *Кишинев, «коснетуция», погромы...* — Имеются в виду: кровавый погром против евреев, учиненный царским правительством в Кишиневе в апреле 1903 года, «конституция» 1905 года, которую царское правительство вынуждено было дать для успокоения революционной бури, и ряд жестоких еврейских погромов, организованных царским правительством в 1905—1906 годах при помощи контрреволюционных черносотенных банд.

Стр. 567. *...решили верхом прокатиться?* — Тевье упрекает молодых людей в том, что они в праздник ездят верхом, так как по

закону еврейской религии по субботам и праздникам ездить куда-нибудь запрещено.

Стр. 576. *Иов* — герой библейской книги под этим же названием, где рассказывается о том, как бог испытывал правоверность Иова, наслав на него разные напасти.

ТЕВЬЕ ЕДЕТ В ПАЛЕСТИНУ

Написано Шолом-Алейхемом и напечатано в 1909 году в ежедневной газете «Дер Фрайнд» («Друг»).

Стр. 579. *«Не гляди на сосуд»...* — талмудическое изречение.

Стр. 580. *«Либо как детей, либо как рабов»...* — фраза из новогодней (в этот день бог творит суд над обитателями земли) молитвы, где в дальнейшем сказано: «Если ты (бог) считаешь нас детьми, то сжалься, как отец над детьми, а если считаешь нас рабами, то наши глаза обращены к тебе, чтобы ты сжалился над нами и оправдал нас по суду». Тевье толкует эту фразу по-своему. Но сейчас же он по ассоциации говорит о великом боге милосердном... который иногда «выкинет... такую штуку...»

Стр. 581. *...нанял я человека...* — По закону еврейской религии, в течение одиннадцати месяцев после смерти родителя сыновья должны ежедневно после каждой литургии в синагоге читать славословие («кадеш») богу в честь умершего. В случае отсутствия мужского потомства, принято было нанимать набожного человека для чтения этого славословия.

Стр. 592. *Поляков* — крупный капиталист, подрядчик по строительству железных дорог того времени.

Стр. 594. *Все старые евреи едут в Палестину...* — У набожных евреев считалось почетным богоугодным делом умереть и быть похороненным в «святой земле», поэтому одинокие старики, при возможности, уезжали умирать в Палестину.

«Стена плача» — так называются остатки одного из строений в Ерусалиме, которые по еврейской религиозной традиции считаются «западной стеной» ерусалимского храма, разрушенного римлянами в 70 году н. э.

Питом и Рамзес — древнеегипетские города, упоминаемые в библии.

Стр. 598. *Падан-Арам* — местность, упоминаемая в библии.

...к царице Савской? — Царица Савская — легендарная личность, упоминаемая в библии.

Стр. 600. *«Вот оно превосходство человека над скотиной...»* — Тевье не заканчивает этого библейского стиха, чтобы подчеркнуть, что скотина (его лошадь) отличается от человека отсутствием языка.

ИЗЫДИ!

Написано Шолом-Алейхемом и напечатано в 1914 году в журнале «Ди юдише велт» («Еврейский мир») — литературно-общественный ежемесячник, Вильно.

Стр. 602. *«Изыди»* — название отдела Пятикнижия, который читается поздней осенью. В этом отделе рассказывается, что бог сказал патриарху Аврааму: «Изыди из страны своей, из места своего рождения». «Изыди» — по-древнееврейски «Лэх-лэхо», стало у евреев синонимом изгнаний и скитаний.

Стр. 605. *...как наши предки в Египте...* — По библейскому сказанию, израильтяне (предки евреев) подверглись в древнем Египте порабощению и подневольно строили там города, крепости и т. п.

Стр. 609. *И «бысть во дни» Белиса...* — Еврей Мендель Бейлис в 1911 году был ложно обвинен царским правительством в ритуальном убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского. «Дело Бейлиса» (1911—1913) вызвало бурю возмущения во всей России, после чего Бейлис был оправдан.

А. ФРУМКИН

СОДЕРЖАНИЕ

ИОСЕЛЕ-СОЛОВЕЙ

Роман

Перевел Л. Юдкевич

МЕНАХЕМ-МЕНДЛ

Повесть в письмах

Перевел М. Шамбадал

ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК

Перевел М. Шамбадал

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

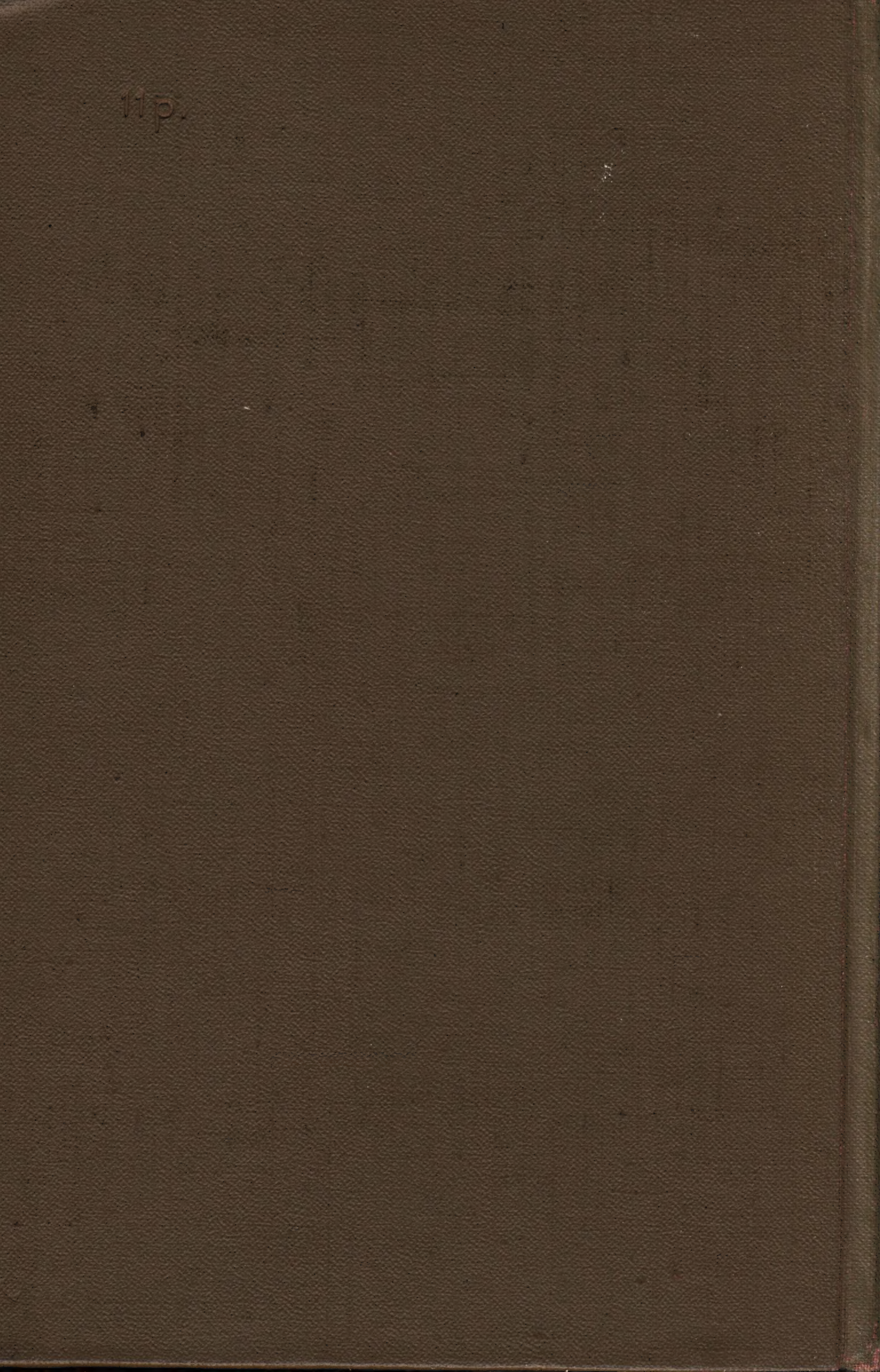
Собр. соч., т. I

Редакторы *Ю. Светланов* и *Р. Рубина.*
Худож. редактор *Г. Кудрявцев.* Техн. редактор *Г. Каунина.*
Корректоры *Г. Сурис* и *А. Шлейфер.*

Сдано в набор 2/I 1959 г. Подписано к печати 10/III 1959 г. Бумага 84 × 108$^1/_{32}$ — 20 печ. л. = 32,8 усл. печ. л. 30,003 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 30,053 л. Тираж 225 000 экз. Заказ № 639. Цена 11 р.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.


11p.


1
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ